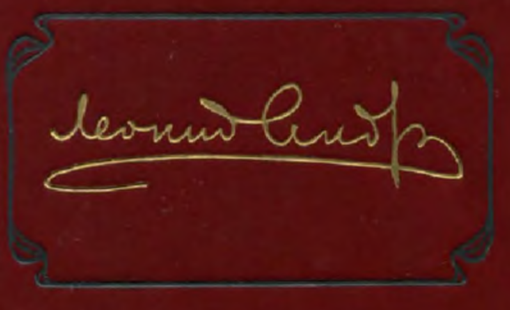

ЛЕОНИД
АНДРЕЕВ
3






ЛЕОНИД АНДРЕЕВ

Собрание сочинений
в шести томах

ЛЕОНИД АНДРЕЕВ

Собрание сочинений в шести томах



Москва

·ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА·
1994

ЛЕОНИД АНДРЕЕВ

Собрание сочинений · Том третий

РАССКАЗЫ
ПЬЕСЫ
1908–1910

Москва

·ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА·
1994

ББК 84(2 Рос=Рус)1
А65

Издание выпущено по Федеральной программе
книгоиздания России

Подготовка текста
Т. Н. БЕДНЯКОВОЙ

Комментарии
А. П. РУДНЕВА и В. Н. ЧУВАКОВА («Мои записки»)

Оформление художника
Г. КОТЛЯРОВОЙ

А $\frac{4702010106-41}{028(01)-94}$ Подписное

ISBN 5-280-01528-8 (Т. 3)
ISBN 5-280-00978-4



РАССКАЗЫ 1908-1910



ИВАН ИВАНОВИЧ

I

На Иване Ивановиче было новое пальто — совершенно новое, великолепного сукна, серого, с нежным серебристым оттенком. Ему не советовали брать такой цвет — марок и вообще не практичен, но он был молодой человек и желал быть красивым. И он был красив, и на душе было радостно и гордо; и если нельзя было вообразить себя генералом или гвардейским офицером, то во всяком случае ясно чувствовалось, что он лучший изо всех околоточных надзирателей, какие есть в Москве и, быть может, даже в других городах. Сзади, в двух шагах за Иваном Ивановичем, шли трое городовых в черных шинелях, башлыках и с ружьями. Ружей они не умели держать, они им мешали и только нагоняли страх; и лица были у них мрачные, недовольные, а шаги они делали короткие, точно сберегали пространство и старались сохранить запас его позади себя. Они боялись дружинников. Но Иван Иванович не боялся и шел молодцевато, с легким вывертом. В городе уже стреляли, но в ихнем участке было тихо, и только в двух-трех местах достраивали запоздалые баррикады. И на нем было новое пальто.

Из-за угла показалась чья-то голова и скрылась; и вдруг сразу высыпала черная кучка народу, и из середины ее кто-то выстрелил прямо в Ивана Ивановича,— как будто вся черная кучка сказала ему: ах! Городовые убежали, Иван Иванович тоже повернулся, чтобы бежать, но сзади крикнули:

— Стой! Застрелим!

Ноги от страху онемели, затряслись, и он остановился. От всего себя он чувствовал одну только спину, неподвижную, серую, широкую, как глухой забор, мимо которого

не пролетит ни одна пуля. И повернуть ее он не мог, так спиною и встретил дружинников, которые сзади несколькими парами рук схватили его за плечи, за руки и даже за шиворот. Повернули.

— Как фамилия? — спросил один. В руке у него был револьвер-браунинг.

— Товарищи! — сказал Иван Иванович.

— Ну-ну! — грозно окрикнул кто-то.

— Граждане,— поправился Иван Иванович. Некоторые засмеялись, но тот суровый, что окрикнул, так же сурово и с отрицанием сказал:

— Дай ему по харе, чтобы не брехал. Дурак!

Иван Иванович закрыл глаза, но его не ударили, а снова спросили о фамилии.

— Авдеев,— солгал он.

Дружинники переглянулись: такого, с такой фамилией не знали,— ничем не был замечателен. Обыскали его, но ничего не нашли в новеньких, чистых карманах,— ни бумаг, ни писем; только в одном нашли гребешочек и зеркальце и без сожаления бросили их в снег. Иван Иванович приободрился и сам помогал выворачивать карманы, а вначале не мог.

— А револьвер-то? — сказал кто-то.— Забыли?

— Давай револьвер. Живее!

Околоточный торопливо начал отстегивать кобуру, исподлобья дружелюбно оглядел дружинников и улыбнулся.

— Сделайте одолжение. Но только разве это оружие? Вот у вас револьверы настоящие, а у нас что, казенные, в двух шагах собаку не застрелишь. Честное слово! Извольте. Да шашку-то, шашку не забудьте, или как она называется — селедку.

Но шашка была свеже отпущена, остра, и на шутку Ивана Ивановича никто не отозвался. Один из дружинников, молодой, краснощекий, сияющий, схватил шашку и перепоясал ее через плечо.

— Вот так!

— Оставь, Василий! Зачем на глаза лезть!

— Ну вот! Пригодится.

Иван Иванович тоже покачал головой и скромно спросил:

— Можно идти теперь?

— Что?! — удивился тот, суровый. И удивление его было так тяжело, зловеще и страшно, что снова смертельный ужас охватил околоточного, и снег перед его глазами точно

почернел, а вокруг черных фигур появились какие-то странные, светлые ореолы. И все закачалось.

— Неужели? — нелепо сказал он, и рот его чему-то смеялся, а побелевшие глаза вылезали из-под лба и дико таращились.

— Не стóит,— сказал первый, тот, что допрашивал Ивана Ивановича. Но суровый настаивал.

— А по-моему, стóит. Всех их стóит. А если вам уж так его жалко, так давайте я. Ну-ка ты, пойдем, поговорим!

— Не стоит! — поддержали другие.— Ну его! Оставьте его, Петров.

Петров сердито пожал плечами, посмотрел прямо в вытаращенные глаза околоточного и отошел в сторону.

— Делайте как хотите,— равнодушно сказал он.

— Господи! — сказал Иван Иванович, провожая его глазами, и перекрестился. Посмотрел на всех и еще раз перекрестился.— Ну и человек. Вот так человек!

Дружинники собрались в кружок и стали советоваться, как поступить с околоточным. Это был первый их пленный, и они не знали, что с ним делать. И молодой, сияющий, с шашкой через плечо, засмеялся, хлопнул Ивана Ивановича по плечу и предложил:

— Пусть-ка идет строить баррикаду. Народу у нас мало, а он парень здоровый. Верно? — И он подмигнул Ивану Ивановичу.

— Как же это? — удивился тот.— В моем положении, и вдруг...

— Вы, быть может, предпочитаете поговорить с товарищем? — вежливо осведомился первый дружинник, указывая на Петрова.

— Нет уж, Бог с ним! — отмахнулся рукою околоточный; дружинник засмеялся, и только Петров нахмурился еще больше и отвернулся.— Я ведь, собственно, ничего не имею. Помочь так помочь, с большим удовольствием. Вот только костюм у меня неподходящий...

— Мы вас не уговариваем...

— Да нет же, Господи, я с большим удовольствием. Пальто вот действительно жалко, вы сами понимаете,— а я что же!

Он говорил развязно и с большим достоинством, но страх не покидал его и маленькой мышкой бегал по телу, а минутами воздух точно застревал в груди и земля уходила из-под ног. Хотелось скорее к баррикаде, казалось, что, когда он возьмется за работу, никто уже не посмеет его

тронуть. Дорогою — нужно было пройти с четверть версты — он старался быть дальше от Петрова и ближе к молодому, сияющему, и даже вступил с последним в беседу.

— Вот, говорят, полицейский, такой-сякой, крючок и прочее. А только как же без полиции, сами рассудите. Когда Господь Бог изгнал из рая Адама и Еву, кого Он у дверей поставил?.. Вот оно откуда еще началось!

— Товарищ, вы слышите? — смеясь, окликнул молодой Петрова.

Петров остановился и, не глядя на товарища, сказал околоточному:

— Ты свое остроумие оставь. Они тебя помиловали, а я тебя не миловал. Услышу твой голос, видишь,— он показал браунинг,— так в голову и всажу. Гадина!

Иван Иванович обиженно замолчал и всю дорогу шел молча, скучный и подавленный. Оглядываться он боялся, и на себя поглядеть как следует боялся, и было страшно и за себя и за пальто, которое он разорвет или испачкает. Так и шел, стараясь только не ускорять и не замедлять шага против остальных, а они шли неровно, то быстро, то тихо, как нарочно. Один раз молодой, сияющий потихоньку от Петрова подмигнул ему, но Иван Иванович угрюмо отвернулся: ему было очень нехорошо. А молодой нагнал Петрова и тихо сказал ему:

— Напрасно вы так, товарищ. Он, ей-Богу, ничего. Конечно, невежественный, темный, а когда-нибудь и он поймет... Все поймут.

Петров хмуро повернул костлявую голову с темными запавшими глазами — и встретил задумчивые, тихо сиявшие глаза. Они сияли тихо, до самой глубины своей, и глядели широко, с радостью и удивлением. И было мучительно глядеть в их светлую глубину, и хотелось разбудить его и крикнуть.

— Все поймут, товарищ, поверьте,— повторил молодой, и Петров кротко согласился:

— Может быть,— и шутливо крикнул околоточному: — Ну что, крючок, очухался?

— Оставьте, пожалуйста, ваши насмешки,— обиженно ответил Иван Иванович и, испугавшись своей дерзости, добавил: — Сами же велели молчать, а теперь... Это, что ль, баррикада-то? Ну, и нагородили!..

II

В действительности народу было много, работа шла веселая и живая, и Иван Иванович долго не мог никуда приткнуться. Пробовал и тащить, и подпихивать, и вязать проволокой, но все у него выходило не так, и его прогоняли. Просто он не понимал назначения баррикады,— она казалась ему странной и нелепой игрушкой, сооружаемой какими-то баловниками для непонятного баловства, и что нужно сделать для того, чтобы она стала лучше, он не догадывался. И вид имел бестолковый, растерянный и даже печальный, так как очень беспокоился к тому же за пальто. Одну полу он уже успел испачкать, и по серебристому сукну проходила скверная, темная полоса. Подумал — и пошел жаловаться к Петрову.

— Не знаешь? — презрительно сказал тот.— Видишь вон столб телеграфный? Ступай и пили.

— Да у меня и пилы нет.

— Поищи.

И опять его гоняли от одного к другому, но наконец нашел пилу и даже подручного для работы, какого-то старого рабочего.

— А ты бы шинель-то снял,— посоветовал рабочий.—Пальто хорошее, жалко, как испортится, да и работать легче.

— Боюсь, украдут,— сказал околоточный.

— Ну вот! — удивился старик.— Кому оно нужно. Тут, брат, граждане, а не воры...

— Рассказывай! — не поверил Иван Иванович, но пальто снял, сложил комочком изнанкой наверх и осторожно положил на подоконник, так, чтобы оставалось на виду.

Работа пошла легко, и все вокруг как-то посветлело, стало проще и понятнее. Поприглядеся околоточный и к народу, и народ был все простой, такой, с каким он привык и умел обращаться: рабочие, какие-то мужики, полугоспода, приказчики из лавок. Были и женщины.

— Смотри-ка,— сказал Иван Иванович,— и бабы тут. Тоже работают.

— А отчего же им не работать. Всяк должен свою лепту.

— Выдрать бы их за эту лепту, вот что.

— Ну, и гадюка же ты! — удивился рабочий.— Тебе-то они чем помешали? А еще скажешь, позову ребят, они тебя научат, в лучшем виде все поймешь.

— Граждане, а деретесь,— упавшим голосом возразил околоточный.

— Мы-то граждане, а ты-то сволочь. Вас да не бить, кого же тогда бить?

И опять стало скучно и беспокойно. Невдалеке стоял Петров и искоса наблюдал, и все кругом было враждебное, злое, обидное в своей веселости. Еще вчера он был лучше их всех и каждому мог дать по морде, а сегодня они считают себя лучше, а сами грязные, оборванные, подлецы. Шагах в пятидесяти у лавки стоял лавочник, толстый, седой, и, заметив его, Иван Иванович осклабился и закивал ему головой: первый, наконец, хороший человек. Околоточный часто забегал к нему в магазин поговорить по телефону, знал его и понимал, что и ему теперь противно смотреть на это безобразие. И действительно, лавочник строго и внимательно глядел на выраставшую баррикаду, потом неодобрительно закачал головой и скрылся в дверях.

— Ага! — сказал околоточный.

— Ты что?

— Ничего, так. Рано вы в граждане записались.

— Ты опять?

Лавочник вышел. Впереди себя он катил огромную пустую бочку, подкатил ее к баррикаде и поставил. Поглядел издали, подперши щеку рукой, выхватил у соседа топор и разбил бочку, так что острыми ребрами своими она расползлась в стороны как своеобразный букет. И среди других голосов и смеха послышался и его густой и самодовольный смех:

— Попробуй-ка, перескочи!

Пытался Иван Иванович для доклада приставу запомнить работавших, но, кроме седого лавочника да одного дворника, который со двора таскал один какие-то огромные бревна, никого признать не мог. Да и Петров, заметив его внимательные, изучающие взгляды, погрозил ему пальцем, и Иван Иванович скромно опустил глаза. «Привязался»,— подумал он, а рабочему насмешливо, но тихо фыркнул:

— Даже и смотреть нельзя, скажите пожалуйста, какие цацы!

— Глаз-то у тебя нехороший,— серьезно заметил старик.— Напрасно они тебя взяли. Самое бы хорошее: повесить тебя на баррикаде заместо красного знамени. И дешево и сердито!

— Что же тут хорошего!

Рабочий, видимо, шутил, но Иван Иванович не мог разобрать, где кончается шутка и начинается серьезное, и серд-

це у него порывами начинало сильно трепыхаться и начиналась изжога, как будто он много съел дурного, прогоркшего масла. Но проходил час и другой, и никто его не трогал, хотя многие грозились, а один мальчишка снежком залепил ему в голову. Мальчишку обругали, а Иван Иваныч совсем успокоился и за себя и за пальто и уже начал понемногу распоряжаться и повышать голос:

— Куда кладешь?! За тот конец бери! За тот, говорю. О Господи, вот же народ бестолковый!

Теперь он понимал, что такое баррикада.

— Упри его концом сюда, так,— чтобы остряком оно вперед. Так, верно!

И уже развязно подходил к Петрову.

— Господин Петров! Извольте приказать, чтобы ваши товарищи помогли мне снять вывеску. Мы ее посередке поставим.

Петров, не оборачиваясь, коротко ответил:

— Убирайся вон.

— Как же это так? — пожимает околоточный плечами, но на время затихает и сжимается, поглядывая как-то изпод низу, как побитая собака. А потом снова овладевал положением и постепенно повышал голос, сразу, впрочем, переходя на шепот, когда встречался взглядами с Петровым. Необходимо было показать, что он хоть и без пальто, но лучше других, чище и благороднее.

— А вы бы, сударыня, лучше не за свое дело не брались,— сказал он женщине в платке, которая привезла на салазках вязанку дров и сбросила в баррикаду.— Лучше бы вашему мужу щи готовили, а не политикой занимались.

Он сказал тихо, спокойно, а женщина вдруг закричала, так что отовсюду посыпал народ.

— Что?! Это ты мне говоришь? Мне? Мужа моего слопал, а теперь мне говоришь!

И со всего размаха ударила его по щеке. Он схватил ее за платок и сорвал, но тут сразу десяток рук вцепились в него и приковали его к месту. И опять от ужаса онемели ноги.

— Я не виноват! Она... Я не виноват, честное, благородное слово! Я ей сказал...

Женщина плакала, сидя на салазках, и дружинники смотрели угрюмо. Петров глядел долго и внимательно и не выдержал,— плюнул.

— Гуманность! — сказал он презрительно.

— Господин Петров! Господин Петров! — звал его околоточный.— Я ей сказал...

— Молчать!

И опять жизнь Ивана Ивановича, как ему казалось, повисла на волоске. Но женщина повязала платок, улыбнулась сквозь слезы и сказала:

— Ну его к Богу.

Пришел молодой, сияющий. Он куда-то уходил и только сейчас вернулся, радостный и возбужденный.

— Надо его на нашу квартиру. Я был там, говорят,— всех доставляйте сюда. Хорошо!

— Что хорошо? — спросил Петров.

— Так. Все хорошо. Погода хорошая.

Когда Василий и двое других дружинников повели Ивана Ивановича, он вдруг остановился и громко закричал:

— А пальто? Я не могу без пальто. Мне холодно. Я простудиться могу.

Вернулись и взяли пальто. Оно так и лежало комочком, как положил его Иван Иванович. Шли молча и торопливо, оглядываясь по сторонам и прислушиваясь; на Ивана Ивановича и его новое пальто не обращали никакого внимания. Теперь, когда было столько случаев расстрелять его и его не расстреляли, он проникся уверенностью, что и впереди ему ничего серьезного не грозит, и смотрел на своих спутников с презрением.

— Послушайте, вы,— сказал он молодому,— как вы шашку нацепили? Разве так носят?

— А что? — спросил тот.

— А то. По ногам бьет, вот что. Подтянуть надо.

— Сойдет и так,— засмеялся молодой.— Сие не есть важно.

«Сие,— подумал Иван Иванович.— Вот еще дурак: сие»,— и с отвращением сплюнул.

— Куда вы меня ведете-то? — грубо спросил он. Один из дружинников сердито взглянул на него и оборвал:

— Молчать!

И опять словно тяжелая крышка захлопнулась над головой околоточного. Стало душно и нехорошо, и хотелось не то плакать, не то ругаться, не то просить о чем-то. Совсем недалеко, где-то за белыми крышами, посыпались частые выстрелы. Дружинники остановились и беспокойно оглянулись.

— Надо свернуть,— сказал один.

— Ничего, пройдем,— ответил молодой.

— Лучше свернуть,— поддержал другой и вынул револьвер.— А у вас есть револьвер, товарищ?

— Нет,— беззаботно ответил Василий. Оказалось,

что у всех троих был только один револьвер, и Иван Иванович злорадно улыбнулся. «Так, так»,— подумал он.

Свернули в коротенький, безлюдный переулок, густо покрытый давно не сгребаемым снегом. Но не успели сделать и нескольких шагов, как из-за поворота вылетел беспорядочной лавиной отряд драгун, человек двадцать пять или тридцать. Прошла только минута или полминуты, и все изменилось: дружинник, у которого был револьвер, одной струей выпустил все заряды и убежал за угол; еще раньше убежал его товарищ. А Василий зацепился за шашку, попавшую ему между ногами, упал, и верхом на нем сидел околоточный, бил его кулаком по затылку и не кричал, а шипел что-то, какое-то бесконечное свистящее ругательство.

Иван Иванович торжествовал. От бурного ликования, от ненависти, от злобы он как будто терял мгновениями сознание и захлебывался словами. Он то смеялся, то начинал обиженно плакать, то визгливо вскрикивал что-то непонятное и все порывался ударить Василия, которого держали за руки драгуны. Постепенно из криков, ругательств и плача выделились визгливые слова:

— Этот самый! Этот самый!

Он бесконечно повторял: «этот самый!»,— вкладывая в эти слова весь свой страх, и ненависть, и обиду... Толстый офицер неподвижно сидел в седле и тусклыми глазами смотрел попеременно то на околоточного, то на пленника.

— Так как же? — сказал он, задыхаясь.— Расскажи, как там было. Покороче!

Иван Иванович рассказал, но не так, как было, а посвоему, и главным виновником нападения выставил Василия. И все время тыкал в него пальцем и кричал:

— Этот самый!

Василий молчал, был страшно бледен, и губы его дрожали. Снизу лицо его озарял чистый, еще не загрязненный снег, сверху падал на него отсвет холодного, белого зимнего неба, и не было уже молодости в этом лице, а только смерть и томление смерти. Сразу все кончалось. Сразу обрывалась жизнь, которая еще сегодня цвела так пышно, так радостно, так полно. Все и навсегда кончалось: глаза не увидят, и уши не услышат, и мертвое сердце не почувствует. Все кончилось.

— Так как же? — сказал офицер.— Надо его расстрелять. Он вас расстрелять хотел, а мы его расстреляем. Вот и будет хорошо.

Солдаты уже прицелились, когда офицер широко раскрыл глаза и закричал:

— Стой! Вы куда же это его поставили, а?

Солдаты не понимали.

— К окнам поставили, идиоты! Стекла побьете. К стенке поставить. Ну, так. Валяй. Нет, погоди. Ты, слушай, отвернись! Не понимаешь? Спиной стань.

Он тихо ответил:

— Не хочу.

— Что? Что ты там бормочешь?

Он так же тихо повторил:

— Не хочу.

Иван Иванович громко засмеялся. Толстый офицер перевел на него тусклые и странно добродушные глаза и сказал:

— Чего вы смеетесь? Это его дело. Не хочет так не хочет. Ну, валяйте.

Когда все кончилось, офицер приказал одному солдату отдать свою лошадь Ивану Ивановичу, а самому сесть позади товарища. Уже тронулись и перешли на рысь, когда офицер внезапно закричал:

— Стой!

Остановились. Офицер тяжело повернулся к околоточному и озабоченно спросил:

— А шашку-то вы взяли?

— Вот она! — весело ответил Иван Иванович.

— Ну то-то. Трогай!

Теперь Иван Иванович чувствовал себя еще лучше, чем утром. В том же новом пальто он ехал на лошади, рядом с настоящим офицером, и хоть сильно подпрыгивал, но держался крепко. Жаль только, что публики не было: улица была пуста, и где-то за белыми крышами бухали пушки.

1908

ПРОКЛЯТИЕ ЗВЕРЯ

Посвящается А. М. А.

Я боюсь города, я люблю пустынное море и лес. Моя душа мягка и податлива; и всегда она принимает образ того места, где живет, образ того, чтó слышит она и видит. И то большая она становится, просторная и светлая, как вечернее небо над пустынным морем, то сжимается в комочек, превращается в кубик, протягивается, как серый коридор между глухих каменных стен. Дверей много, а выхода нет — так кажется моей душе, когда попадает она в город, где в каменных клетках, поставленных одна на другую, живут городские люди. Потому что все эти двери — обман. Когда откроешь одну, за ней стоит другая; и когда откроешь эту, за ней видна еще и еще; и сколько бы ни шел по городу, везде ты увидишь двери и обманутых людей, которые входят и выходят.

И я боюсь города, его каменных стен и людей его, у которых маленькие, сжатые, кубические души, имеющие так много дверей и ни одного свободного выхода. Но бывает иногда,— и причину этого явления знает только таинственная душа моя,— но бывает иногда: вдруг очарует меня далекий город. Так далек я от него, что даже зарева ночных огней его не вижу; так далек я от него, что даже не слышу его грохота — и вдруг он кажется мне близким, вдруг он протягивает ко мне свои каменные пальчатые руки и зовет с величавым укором.

— Глупый человек, пересыпающий между пальцами морской песок и следящий бесконечное движение его! Нет голоса у морского ветра и слуха нет у волн его,— зачем же стучишь ты в дверь, которая замкнута навеки? Посмотри на меня. Разве я не такое же море, как и это, и мало простора

в берегах моих? И дома мои — волны, и грохот мой — грохот бури; и улицы мои — течения, и недра мои — пучина. Погрузись же в меня! Одинокий, стань одною из моих маленьких волн; обособленный, растворись в их однородности; великий, умались их малостью; единый, умножься их множеством. Иди же ко мне!

Так говорит лживый город и протягивает каменные пальчатые руки. И тогда трепещет моя обольщенная душа, порываясь; и тогда прижимаюсь я к ней, к моей возлюбленной, к той, которую я люблю больше всего на свете, и шепчу ей с ужасом:

— Ты слышишь? Город зовет меня.

Бледная, она говорит:

— Посмотри: вот над морем идут облака. Это хоронят умершего героя. Ты видишь титанов в багряных плащах, шагающих так важно? Их волоса разметались, лица их суровы и грозны, и нет на них печали. Они хоронят умершего героя.

— Я не хочу смотреть на небо!

Бледная, она говорит:

— Послушай: вот поют волны и ударяет в литавры прибой.

— Я не слышу! Я не вижу: меня зовет город. Мне чужды облака, эти бесформенные, безобразные груды сгустившихся паров; холодом и тиною дышит на меня плеск волны, безразличием вечности пугает меня огненный закат. Я хочу милых, подвижных людей, которые говорят так понятно; я хочу каменных домов, я хочу электричества, которое я сам зажигаю, сам гашу! Ты помнишь, как ночью под окнами поют гудящие трамваи,— как по асфальту щелкают копыта,— как пахнет мокрой пылью,— как тесно движется горячая толпа,— как над громадою домов горят на черном небе огненные слова, золотые, зеленые, красные...

— «Шоколад и какао»... Ты про эти слова говоришь?

— Да, «шоколад и какао». А что́ говорит мне солнце? Вечность. А что́ говорят луна и звезды? Вечность и тайна. Я не хочу вечности и тайны. Я хочу шоколада и какао. Я хочу, чтобы и на небе было написано то, что́ я понимаю, что сладко и не пугает меня.

— Хорошо,— говорит она и улыбается нежно.— Иди. Но там тебе будет плохо, и я пойду с тобою.

Возлюбленная моя! Ограждающая от зла и смерти! Творящая добро и жизнь! Возлюбленная моя! Люди видят тебя как женщину, а ты — великая и светлая тайна, свя-

щенный престол, у которого надо молиться. Если бы я умирал, ты сказала бы: твоя могила темна и сыра, боюсь, что там будет плохо тебе,— пошла бы за мною. Если б умирала ты, и я бы сказал: не умирай, ты не знаешь, как мне будет плохо без тебя,— ты преодолела бы смерть и жить осталась бы ты. Если бы я сказал...

Кто ты, светлая тайна?

Я суечусь, я в радостной, хлопотливой тревоге. Это уже не лес и не пустынное море, это вагон, наполненный людьми. Все мы сидим, и нас всех вместе везут в город; у всех вещи: чемоданы, картонки и саки, и у меня чемодан, картонка, сак. Все суетятся, хватают вещи, толкаются, зовут носильщика, и я тоже. И все мы, не я один, как в лесу,— и все мы дружно идем к выходу и садимся на извозчиков. Номер моего извозчика: 14 800.

Ее я все время немного забываю, но в карете, где нас почему-то лишь двое, я благодарно смотрю в ее усталое лицо и целую руку:

— Правда: как весело, как шумно? Как много народу! Смотри: идут солдаты.

— У тебя усталые глаза.

— Это ничего. Так ты будешь ждать меня?

— Да,— когда ты придешь.

Упрямая, она хочет поселиться в отеле, который в самом конце города, почти там, где начинается большой городской лес. И со мной в город идти не хочет, говорит, что там, на улицах и в ресторанах, она мне не нужна. Это правда, я все время немного забываю ее, и как будто она несколько отдалилась от меня. Как будто это множество людей, мужчин и женщин, частицу которых составляем мы, разъединяет нас, ее делает похожей на всех женщин в розовых шляпках, меня — на всех мужчин в черных шляпах. И минутами даже странно: почему я говорю ей «ты»? Почему она говорит мне «ты»? Но приятно.

В отеле нас и еще каких-то двух дам и господина поднимают на лифте — всех вместе. В лесу, или на берегу моря, людей всегда видишь издали, а здесь мы, незнакомые, так близки, что лица кажутся огромными, особенно носы. Странно подумать, что и у меня должно быть такое же огромное, носатое лицо, и мне неловко, все кажется, что где-то что-то у меня не в порядке. Потом нам отводят комнату, номер 212-й. Направо и налево по коридору такие же двери и комнаты, и во всех них живут. Под нами, под

полом, еще три этажа, и там все такие же комнаты и двери, и везде живут. Как много людей в городе! А там, внизу, щелкают по асфальту подковы, поют гудящие трамваи, что-то движется, переливается бесконечно, и, охваченный восторгом, я распахиваю окно и кричу, поверх крыш и верхушек деревьев, туда, в сизую дымчатую даль, где колокольни и трубы и какие-то блестящие шпили:

— Город! Город! Город!

Потом быстро оплескиваю водою лицо, торопливо ем и пью что-то, что подают всем, наскоро целую ее,— и туда, вниз, на улицу, где бурлит и грохочет это море. Поскорее стать одною из этих маленьких волн, умалиться их малостью, умножиться их множеством, растворить свое одинокое, сумасшедшее «я» в однородности всех этих таких же одиноких, сумасшедших «я», сделавшихся *«мы»*.

— Город! Город!

То был смутный и странный день, и мне трудно его вспомнить и рассказать, как сон. Я хорошо помню форму всех облаков, какие я видел когда-либо на небе; я твердо помню бледное лицо морской бури, несущейся с визгом на скалы; и все деревья в лесу, и все цветы в поле,— о них я мог бы рассказать, потому что я их помню. Но как запомнить то, что так похоже одно на другое, что движется так странно — что известно и неизвестно, что есть я и не я? Одно я знаю: оно охватило меня, и, как сон, овладело мною оно; и душу мою оно истерзало; и еще более одинокой и дикой стала она; и там, где глаза мои видели «шоколад и какао», там нашла она новую, еще более горькую тайну. Ибо тайной этой стал я сам: единый и множественный, растворенный и нерастворимый, человек и человечество.

...Возлюбленная моя!

Помню, что сперва, по выходе из отеля, я отдался толпе. И она подхватила меня и понесла вдоль каменных домов, мимо блестящих, безумно богатых, пестро изукрашенных витрин; и двери, двери, двери, и зеркальные стекла, отражающие белые рубашки, перстни и лица, и милая, горячая, увлекательная толпа. Я двигался, как и все; и как бы я ни шел, быстро или медленно, и чтó бы я ни делал: останавливался ли у витрин и разглядывал выставленные вещи, ожидал ли на перекрестке удобной минуты, чтобы под мордами

лошадей и перед толстыми колесами дрожащих автомобилей перескочить на другую сторону; и закуривал ли я сигару; и входил ли я в магазин; и покупал ли я газету, и вставлял ли я в петлицу купленный цветок,— я роковым образом отражал движения и поступки других, толпы; я удваивал, утраивал их, повторял бесконечно.

И целый час, быть может, больше, я наслаждался, как никогда; что-то вроде фамильной гордости испытывал я при мысли, что я похож на всех людей, как и они на меня, что я тоже принадлежу к этому великому и славному семейству. Что такое носовой платок? Так, пустяки, маленькая, печальная необходимость. Но когда он у одного, у двух, у всех,— он становится символом, маленьким белым знаменем братства. Мы все употребляем носовой платок; эта старая, избитая истина, ставшая незамечаемым шаблоном, вдруг наполнила меня чувством нелепого восторга и трогательного расположения к людям. Нисколько не сговариваясь, приехавши с разных концов света, говоря на разных языках,— вдруг оба мы, и я и он, вынимаем из кармана платки, развертываем, одинаковым движением подносим к лицу и... раз! готово.

— Почему, когда проходит поезд, все, даже незнакомые люди, размахивают платками, именно носовыми платками? — фантазировал я. И с наслаждением отыскивал все новые и новые сходства, все новые и новые фамильные черты... И то, чтó уже вскоре должно было ужаснуть меня,— эта роковая, трагическая похожесть того, что должно быть различно, эта убийственная необходимость для каждого влезать в одну и ту же форму: иметь нос, желудок, чувствовать и мыслить по одним и тем же учебникам логики и психологии,— радовало меня, как ребенка, в эти первые часы общения моего с городскою толпою. Очень возможно, что в это время я напевал про себя или насвистывал что-то веселенькое, как и некоторые другие счастливцы, двигавшиеся рядом со мною.

Неприятное началось постепенно, и началось оно с того, что эти общность и сходство, которым я радовался, стали проникать несколько глубже, чем я бы хотел. Выразилось это первоначально в очень неопределенном и смутном чувстве, что я не совсем тот, каким был и каким желал бы остаться; а вскоре целый ряд маленьких поступков, которые я начал совершать давно уже, но заметил только теперь, привели меня к открытию, что воля моя, равно как и желания мои, потеряли свою самостоятельность и в значительной степени подчинены воле и желаниям других

людей. И я уже встретил одного, двух, трех, одетых, как я: такие же шляпы, такая же материя на платье и ботинки; и у всех у нас роза в петлице. И уже увидел я одного, двух, трех, похожих на меня лицом,— и вот уже не принадлежит мне мое платье, и лицо мое не принадлежит мне. Так же с волею и желаниями моими: прежде была моя воля и мои желания, а теперь они наши, общие, как и роза в петлице.

Разве я любил когда-нибудь стоять и рассматривать галстуки или дешевые безделушки из терракоты и скверного фарфора или безобразно раскрашенные фотографические портреты усатых господ? Почему же теперь я стою и рассматриваю жадно? Разглядываю ярлыки и соображаю что-то, и вдруг, охваченный нестерпимым, бешеным желанием покупать всю эту дрянь, всю эту мерзость, о которой стыдно будет вспомнить там, на берегу моря, устремляюсь в предательскую дверь, толкаю кого-то и извиняюсь, и покупаю, покупаю. И возле себя я вижу таких же растерянных господ, с натянутой улыбкой выбирающих вещи, за которые им попадет впоследствии от жены и от собственной совести. Зачем я приобрел эту зелененькую ящерицу из жести, которую некуда девать? Только потому, что дешево. Но разве я любил когда-нибудь дешевые вещи? И зачем я купил этот отвратительно пестрый, невыносимый галстук, от которого лицо тотчас же принимает все типичные черты дегенерата? Ведь я же его никогда не надену — даю в этом клятву.

Помню, я еще смеялся вначале; но уже вскоре веселость эта, несколько искусственная, утонула в новом, особенном чувстве, постепенно овладевавшем мною. Это было чувство торопливости, боязни опоздать куда-то, чего-то не успеть. И стоял ли я беззаботно у витрины, или так же по виду беззаботно двигался с толпою — внутри меня непрестанно трепетала какая-то маленькая секундная стрелочка и погоняла меня: скорее, скорее! Скорее иди, скорее смотри, скорее кури свою сигару! У моря целыми часами я мог лежать, не шевелясь, и пересыпать песок между пальцев так медленно, как будто целая вечность передо мною, а тут я, свободный, незанятый, фланер,— изнывал под незаметными ударами какого-то острого бича: скорее, скорее! И вот тогда я стал вместе с ними, со всеми этими торопящимися людьми, прыгать на гудящие трамваи и ехать куда-то. И сперва это успокаивало меня: я стоял на площадке, курил, не торопясь, и добродушно смотрел на улицу, которая вся целиком, лавиною экипажей, автомобилей и велосипедов движется куда-то вместе со мною.

Но было ли в самом движении что-то такое, что вызывало желание двигаться еще быстрее, увлекала ли меня толпа, эти люди, которые так торопливо входили в вагон и выходили, и прыгали, я стал покорно перепрыгивать с одного трамвая на другой, с трамвая на железную дорогу, с железной дороги на подземную, электрическую. Всей массой, торопливо, громко стуча каблуками по асфальту, мы подходили к кассе, бросали деньги, потом через одну-две ступеньки бежали куда-то, вверх или вниз, под стеклянную, закопченную крышу или в голубой свет больших электрических фонарей, освещающих подземную станцию. Там мы рассыпались по перрону, а вагоны уже подбегали и забирали нас, как песок забирает воду, или выбрасывали нас из других, и громко хлопали двери, и вот уже несемся мы в глубокой тьме, или где-то наверху, между черных, глухих стен, закопченных дымом, испещренных огромными вывесками. Как много домов, как много стен, глухих, черных, страшных! В них нет ни дверей, ни окон,— и вдруг кажется: это не дома, это — огромные каменные гробницы, и весь живой город замуравлен в них.

И вот тут стало мне жутко и беспокойно; казалось, я что-то потерял, и это потерянное есть мое *я*. Уже случилось так у одной кассы, что я сказал кассирше, бросая деньги:

— И вот этому дайте билет.

При этом я твердо ткнул себя пальцем в грудь, чтобы она не ошиблась. Как будто недостаточно и непонятно было бы, если бы я сказал: дайте билет мне. Потом в одном из вагонов, кажется, железной дороги, я наткнулся на одну очень неприятную и даже несколько испугавшую меня встречу. Когда я уже сидел, против меня занял место какой-то господин, самый обыкновенный господин в котелке, с небольшими усиками. На нем было черное пальто с бархатным воротником, коричневые перчатки, и в руках он держал тросточку с серебряной ручкой,— таких тросточек я много видел в магазинах и как раз одну купил для себя. Подробнее описать я его не могу, так как он был совершенно обыкновенен. На одну, на две минуты я отвернулся, чтобы посмотреть в окно: мы перелетали какую-то бесконечную, широкую, движущуюся улицу, и когда взглянул вновь, то с мгновенным испугом увидел: рядом с ним сидел другой, точь-в-точь такой же господин. Это не было сходство, допустимое даже в лесу,— это было тожество, это было безумное превращение одного в двоих, чудовищная зеркальность, наводящая на мысль о призраке. И они

сидели, до ужаса одинаковые, думали о чем-то, конечно, до ужаса одинаковом, и руки их, у того и у другого, лежали на палках с серебряными ручками. Боже мой, но ведь и у меня есть такая палка! И что было самое ужасное и непонятное: ни они сами, ни кто-либо другой не замечали этого безумного тожества, и все были спокойны.

— Позвольте мне спичку, я забыл свои,— говорю я несколько дрожащим голосом.

— Я не курю.

Он говорит, он не призрак! И вдруг другой, улыбнувшись приветливо, протягивает мне спички — он курит. Он не совсем похож на этого — он курит! Милый человек, если бы ты знал, что все твое человеческое держится только на том, что ты куришь, а он нет, ты не выпускал бы сигары изо рта, ты спал бы с нею, ты приказал бы мертвому тебе раздвинуть рот и всунуть туда огромнейшую гаванну с золотым ярлыком! И пусть при воскресении мертвых ты явишься с нею к престолу Судии, Он простит тебе эту вольность, мой милый брат!

И я успокоился как будто. Но то жуткое и тревожное, что вошло в меня, уже не оставляло меня и в дальнейшие часы; и что бы я ни делал, какие бы движения и поступки толпы я ни отражал, уже не удовлетворение и радость, а легкий щемящий страх ощущал я. От этого, вероятно, так и похоже на дурной сон все то, что я видел в огромном, прекрасном городе.

О ней я не думал. И помню, я начал искать одиночества. И было очень жарко.

Было очень жарко. Уж давно я начал ощущать эту тягостную, безысходную жару раскаленного города, но так как и всем было, очевидно, жарко, то я поступал, как все: вытирал лицо платком и старался сесть ближе к открытому окну, искал тени — и не особенно беспокоился. Но когда от шумного центра я стал углубляться в пустынные площади, в которых каждая пядь земли залита размякшим горячим асфальтом, я ясно почувствовал, какая это ужасная, особенная, ни на что не похожая жара.

Я не хочу бранить прекрасный город, который делает все, чтобы притвориться немного лесом, немного садом. Я видел внутри его огромный тенистый парк, в котором на озерцах плавают даже в лодках; и эти газоны, и эти бульвары, и цветники; я видел множество людей, которые только и делают, что льют воду на его асфальтовые улицы и на всю

эту зелень, иначе она тотчас же завянет. Но что же поделаешь, если вода сохнет мгновенно, и сами фонтаны кажутся выбрасывающими не живую, холодную влагу, а сухую, серебристую, нарезанную на полоски бумажку; если весь этот асфальт, и камень, и железные столбы, и рельсы, и тысячи железных вагонов, крыш, мостов накаляются сплошь и наполняют воздух горячим, безысходным удушьем. Я слыхал ведь, что в этом городе умирают от жары — не от солнца, как под тропиками, а от жары, где-нибудь в комнатах, в тени. Вдруг станет душно — и вдруг нечем дышать — и человек умер, сердце его остановилось. И солнце неповинно в этих убийствах. Взгляните на него, когда восходит оно из-за моря: разве бывает у убийцы такой лучезарный, такой величавый и благостный лик!

Все пустыннее, все теснее, все у́же становились улицы, по которым я двигался бесцельно, тускло бороздя неподвижный, удушающий жар. Это уже не были те широкие, прямые улицы-аллеи, которые дают иллюзию воздуха и простора, это были изогнутые, узкие коридоры с отвесными стенами, подпирающими небо, каменные трещины, полные заколдованных неотпирающихся дверей, обманчивые пути, заводящие в ловушку. Уже час я шел, а им не было конца, как не видел я и их начала; на запутанный клубок они были похожи, на огромный, запутанный каменный клубок, которым играла гигантская кошка. И то, чего я искал, одиночества, свободы от толпы, вдруг начало меня тревожить. В лесу, или на берегу моря, или в настоящей пустыне,— я долго могу оставаться один, и там одиночество не пугает меня, потому что оно явно, откровенно, правдиво. Там моей мысли не касается ни одна спрятанная стенами человеческая мысль, там моя воля не пересекается незримыми волнами других человеческих воль, там я один. В пустынности же этих улиц, где так много окон и дверей, я почувствовал ложь, и, как всякая ложь, она немедленно превратилась в таинственную угрозу.

Почему на улице нет никого, когда кругом людей так много?

Я их чувствую. Я громко стучу каблуками по асфальту, и как одинок, как моляще-одинок этот непонятный, дробный, жалкий звук! Я свободно перехожу с одной стороны на другую, останавливаюсь и стою минутами, и напеваю я громко, чтобы показать, что я один, но я не один. Тело мое одиноко, это правда, но к мысли моей легкими прикосновениями припадают чьи-то чужие мысли, и в сердце

мое входят чужие чувства, и множество скрытых людей наполняет меня своей таинственной жизнью.

Нечто подобное я испытал однажды в королевской библиотеке, куда, с любезного разрешения ее директора, получил доступ в праздничный день. Был вечер, и в огромном помещении, с миллионом книг, молчаливо теснившихся на полках, я находился один и работал. Помню необычайную остроту моей мысли, в обыкновенное время довольно вялой и инертной. Помню, затем, ее постепенно нараставшую возбужденность, отрывочность и бессвязность образов, непроизвольность чувств, страшную парадоксальность и неожиданность идей, все то, что заставило меня под конец признать себя нездоровым и бросить начатую работу. Помню, наконец, мой испуг, когда я вдруг понял, что это книги действуют на меня,— не те, которые я выбрал сам и читаю, а те, молчаливые, запертые в шкапах, сжатые на полках. Это они, молчаливые книги, соединили какими-то таинственными путями мой мозг с тысячью других, уже умерших мозгов и предательски, молчаливо вливают в меня свою чуждую жизнь. Помню и сторожа, который открывал мне дверь, хмурого человека с необыкновенно старообразным лицом и такими напряженными движениями головы, будто все время он слышит что-то непонятное.

Но то были книги: умершие голоса, угасшие чувства, высохшие слезы,— а здесь два миллиона живых людей, два миллиона раз повторяющих одно и то же безумно сходственное «я». И то, что они были везде, а я их не видел, делало их еще более ощутимыми и власти их надо мною придавало характер фатальности. Я уверен, я убежден непоколебимо, что здесь, где-то поблизости, за одним из этих окон, плачет женщина или ребенок,— иначе откуда бы эти загадочные слезы беспомощности и жалобы, которые уже шевелятся внутри меня?

И мне становится невыносимо. И я хочу уйти скорее из этой пустыни, населенной плачущими призраками, но я не знаю, куда идти. Уже давно я здесь, и очень возможно, что я кружусь по одним и тем же улицам, и тогда я не могу уйти отсюда, тогда я буду кружиться вечно. Нелепая мысль, но она мучит меня до того, что хочется бежать. Можно спросить о дороге, вот идет человек, здесь иногда показываются эти одинокие торопливые фигуры... Нет, не могу,— я боюсь его. Почему? Я не знаю. Но я боюсь его улыбки, поклона, его вежливого предупредительного ответа. Конечно, он ответит предупредительно, но лучше я пройду мимо, притворюсь, что хорошо знаю, куда иду, и пройду мимо

такой же торопливой, озабоченной походкой. Так почему-то будет лучше.

Боже мой! Как я устал! Боже мой, как я устал! И ни одного извозчика, а я не могу идти, я задыхаюсь от этой невыносимой, дьявольской жары, у меня дрожат и подгибаются ноги. Боже мой, что же я буду делать? И вдруг,—и это было одним из самых диких, тяжелых, непонятных чувств, какие я испытывал в жизни,— я чувствую свои каблуки. Высокие, твердые, кожаные каблуки, на которых я ходил всегда, не замечая их. Но теперь я чувствую, я слышу, как твердо прикасаются они к твердому горячему камню, и мгновенный дикий ужас пронизывает меня. Что мне показалось в эту минуту среди этих каменных молчаливых домов? Я не знаю,— мне трудно вспомнить то, что похоже на тяжелый сон.

Кажется, вот что. Кажется — я боюсь ошибиться — мне почудилось,— будто я начал уже каменеть, превращаться в камень, одеваться в какую-то твердую, непроницаемую оболочку, подобную камню. Будто я, уже одетый в камень, безнадежно отделен от воздуха и земли и должен задохнуться в своей каменной одежде. И будто уже безразлично теперь, буду ли я идти, или упаду, я безнадежно окован камнем, я каменный и мертвый. И это, что еще живет во мне, тоже сейчас окаменеет, и тогда не будет ничего.

Но ужас продолжался недолго, может быть, одну секунду или еще меньше. И уже в следующую секунду — и это показывает, насколько уже я был утомлен,— он исчез совершенно и заменился чувством отчаянной, плаксивой беспомощности. Помню, я сел на какие-то каменные ступеньки перед закрытой зеркальной дверью. Долго вздыхал, покачивая головой, потом начал плакать, и даже, кажется, громко, потому что меня услыхали. Отворилась дверь сзади меня, и кто-то спросил:

— Что с вами? Отчего вы плачете? Вы нездоровы? Почему вы уселись на ступеньках?

Я встал и извинился. У портье — это оказался портье — был очень приветливый вид, и говорил он с участием, за которым чувствовалась готовность подать мне первую помощь или отвезти в ближайшую лечебницу. Что мог я сказать этому городскому человеку? Что понял бы он?

— Вам нужен врач?

Что мог сказать я этому городскому человеку? И я по-

шел поскорее, чувствуя на своей спине его недоверчивый взгляд, и мне уже не было ни страшно, ни безнадежно, а только стыдно. И тоскливо немного.

...Возлюбленная моя!

Почему я не поехал прямо к ней,— я ведь так хотел? Не знаю. Но, как только я сел удобно в мягкое, широкое ландо, и возле меня поплыли такие же ландо, автомобили, трамваи, и на тротуарах запестрела живая, горячая, приветливая толпа, я вдруг повеселел, внутри опять забегала, погоняя, маленькая секундная стрелка, и я понял, что нужно ехать в ресторан обедать, что я очень хочу есть. Не скажу, чтобы я действительно хотел есть, но был тот час, когда все обедают, и нужно было торопиться, чтобы не опоздать. Потом пришлось бы брать блюда по карте, что стоит дороже и вообще считается почему-то неудобным.

Не буду утомлять вас описанием ресторана. Вы, конечно, знаете эти роскошные рестораны-дворцы, в которых едят одновременно две-три тысячи человек, где одной прислуги, поваров — двести — триста человек, не помню сколько. Этими ресторанами, убранными в мрамор, живопись и драгоценное дерево, гордится город, и пообедать там считается таким же долгом для приезжего, как и осмотр памятников. Вероятно, и мне кто-нибудь говорил про этот ресторан, потому что я прямо назвал кучеру его имя.

Было так много народу, что я долго не мог найти свободного столика и должен был ждать, пока не встанет какая-то отобедавшая пара. И голова немного кружилась: я принужден был пройти два этажа среди тесно сдвинутых столиков, говора, лязга ножей, женских больших шляп; приходилось ежеминутно извиняться. Но, когда я сел наконец и окинул взором большую залу, внизу густо усеянную людьми, мне очень понравилось. И есть я стал с удовольствием, как и мой незнакомый, неразговорчивый сосед, занявший свободное место против меня. Но от непрерывного ли жужжанья, в какое превращался весь этот лязг и отдаленный говор, оттого ли, что я действительно устал, мне опять сделалось не совсем хорошо; какая-то странная, назойливая, досадная мысль закопошилась в мозгу. Как будто я нашел, отгадал что-то особенное, но никак не могу схватить его.

И вдруг я понял: я ведь не видал никогда, как сразу, одновременно, едят тысячи человек. Что такое еда? Это так просто, так обыкновенно, этого никогда не замечаешь: берешь в рот, что лежит на тарелке, жуешь, глотаешь. И так

же делают другие, кто за столом. Но послушайте, что это за ужасная, за кошмарная вещь, когда сразу, одновременно, под одним потолком, тесно прижавшись друг к другу, едят тысячи человек!

Режут, раскрывают рот, жуют, глотают. Режут, открывают рот, жуют, глотают. Я смотрю на соседа: он только что раскрыл рот. Запихивает туда что-то. Я гляжу направо, налево — везде раскрытые рты, перемалывающие челюсти, особенные, странные, незнакомые глаза, какие бывают только при еде. У некоторых, как у моего соседа, странно движутся уши, и в отчетливой напряженной работе челюстей ясно видится безглазый, костлявый череп с белыми крепкими зубами. Боже мой, но ведь и я ем, и у меня также движутся челюсти! И вот, побледневший, я чувствую свой жующий череп, потом весь свой скелет, как он сидит на стуле, во всей его строгой, неумолимой серьезности; и направо, и налево, и впереди себя я вижу тысячи таких же неумолимо серьезных скелетов; сверху у них что-то улыбается, говорит, чокается, кивает шляпами, а внутри все та же строгая серьезность, изумительная простота, спокойствие. Те, снаружи, как будто не догадываются, что сытости нет, что все это напрасно, жадничают, потом довольно улыбаются, закуривают сигары; а эти, внутри, безнадежно спокойны, терпеливы, покорны. Вот один поднялся и идет к выходу; я вижу, как пришли в движение его кости, обтянутые серыми брюками, и мне хочется встать и крикнуть ему:

— Послушайте, постойте! Посмотрите, кого вы несете внутри себя!

Но он уже ушел. И я поворачиваю к слуге мой спокойный, послушный череп и говорю ему беспокойно:

— А вина! Почему вы не подали мне вина?

— Вы не заказывали вина.

— Разве? Все равно. Принесите. Но, пожалуйста, поскорее.

Слава Богу, я выпил вина, и кошмар проходит. Я снова вижу людей, и только минутами, при повороте головы, я чувствую внутри себя что-то неладное, но и это скоро исчезает. Но какое отвратительное впечатление, когда в таком приятном месте внезапно почувствуешь свой скелет, как он сидит и ворочает голым черепом! И почему он так серьезен — так возмутительно генеральски солиден, разве он — не я? Но довольно о нем. Слава Богу, это прошло...

И от вина, вероятно, мысли мои принимают более естественное, даже несколько смешливое направление. Вдруг я ясно вижу, что это не люди, которые обедают, что

это зверинец, тысячи зверей, которых привели сюда кормить; посадили их, привязали им на шею салфетки и подсовывают им разную еду. И мне доставляет удовольствие разглядывать лица и улавливать сходство с тем или другим животным. Курю сигару, улыбаюсь и думаю: а на кого похож я сам?

Но они продолжают жевать и глотать, жевать и глотать, и это снова начинает раздражать меня. Вдобавок мне подали кислое, плохое вино, от которого становится скучно. Я расплачиваюсь, вновь осторожно пробираюсь между бесчисленными столиками, где жуют и глотают, и наконец выбираюсь на улицу.

Тут хорошо. Светит солнце, и хотя по-прежнему жарко, но все-таки есть чем дышать. И они к тому же гораздо лучше, когда ходят, чем когда едят. Они даже нравятся мне. Беру извозчика и еду в Зоологический сад. Раньше я и не думал ехать в сад, хотя слышал о нем много хорошего, но теперь почему-то мне кажется это естественным и даже необходимым. Вероятно, какая-нибудь ассоциация идей, одна из тех, которым так легко поддаешься в городе, когда становишься одною из его маленьких волн. А может быть, я вспомнил лес, и мне захотелось видеть деревья и зелень, кто знает! Что́ может ответить на это человек, у которого его *я* уже начало расплываться в многоликую, то смеющуюся, то плачущую гримасу?

На сад я как-то мало обратил внимания в первые минуты. Приятно мелькнула зелень перед глазами, вдруг отошел, стал глухим и мягким непрерывный городской шум; утомленные, окаменевшие ноги отрадно почувствовали мягкую податливость гравия, усыпающего дорожки, и это было пока все, что дал мне сад. Вся же острота внимания моего была немедленно обращена на зверинец, на эти павильоны, клетки, проволочные и железные загородки, каменные бассейны и гроты, где смутно и заманчиво мелькнули на отдалении многочисленные движущиеся фигуры зверей с их характерными, звериными и птичьими, столь отличными от человека очертаниями и окраской. Очень возможно,— это случилось потому, что и все другие люди, одновременно со мной вошедшие в сад, не обнаружили никакого интереса к деревьям и зелени, а все сразу, жадно любопытствуя, устремились к зверям. И первое время, подобно им, я был очень поверхностен в осмотре, перебегал от одной клетки к другой, из павильона в павильон, почти сразу увидел

огромный, мясистый, отвратительный рот гиппопотама, высовывающийся из грязной воды, и каких-то маленьких, отчаянно горланящих птичек; посмеялся перед обезьянами, успел бросить хлеба медведям,— и в полчаса, должно быть, обежал весь огромный, крайне богатый зверинец.

Потом оторвался от толпы и сел, окончательно сраженный жарою, чувствуя с отвращением, что мой крахмальный высокий воротничок раскис, обрюзг, съежился, перекосился, как старчески неопрятная физиономия после сильной попойки. У нас в лесу к вечеру становится всегда прохладнее, а здесь железо и камень, набирая тепло, к вечеру душат город, как разбойники. Сидеть было легче; и притом сел я очень удобно, возле самой клетки с тиграми и львами. Но уже вскоре я раскаялся, что выбрал такое место.

Дело в том, что, приглядываясь к метавшимся в клетке зверям, я вдруг заметил, что им жарко, нестерпимо жарко, жарче, кажется, чем даже мне. И, помню, я слегка рассердился, так это показалось мне дико.

— Симуляция, мой друг, симуляция! — мысленно сказал я бенгальскому тигру, тщетно стараясь встретить его мерцающий, загадочный взгляд.— Ты не белый медведь с северного полюса, ты из Индии, ты привык к такому солнцу, перед которым наше не жарче переносной печки. Зачем же ты притворяешься?

Но потом пригляделся еще и еще; вспомнил все эти понурые тела, устало и непрерывно шагающие или бессильно распластавшиеся на досках, вспомнил теплую, нагретую, как в ванне, грязную воду, из которой просяще высовывалась толстая, глупая рожа гиппопотама с крохотными глазками; и понял со страхом, что не одному тигру, а всем им нестерпимо жарко; что весь этот звериный, птичий, водяной мир вокруг меня задыхается от неестественной, дикой, нелепой жары. Задыхается молча, не жалуясь, никем не понимаемый, одинокий в звериной пестроте своей.

И опять я искал глаз тигра, но теперь уже с другой целью: мне хотелось выразить ему сочувствие. Не пожать ему лапу, на это я не решился бы, но просто с лаской и грустью взглянуть ему в глаза. Но я был чужд ему со всем моим идиотским сочувствием; я не существовал для него, и все так же упорно, все тем же загадочно мерцающим взглядом он смотрел перед собой. И только на поворотах, слегка подняв голову, он окидывал глазами сад, и в

этом движении мною почувствовалось что-то разумное, понятное.

— Это он радуется зелени! — подумал я. Правда, как было бы ужасно, если бы в эту жару их оставили совсем без зелени!

И тут, следуя за его взорами, я внимательно пригляделся к саду. И мне стало совестно. Мне, человеку, стало совестно перед зверем. Не за жестокость, нет, что такое жестокость в этом мире! — а за мою, за нашу человеческую глупость. Сад, Боже мой! Огромный, прекрасный сад... И этому я мог радоваться! И это я мог считать за кусочек природы! И это я мог рекомендовать в утешение зверю, умному, неиспорченному, честному зверю!

И я вспомнил с тоскою все эти сады, в которых нет местечка, куда не упал бы тысячекратно взгляд человеческий; все эти уличные аллеи, стволы, окруженные жалкою полоскою земли с валяющимися окурками; корни, придавленные асфальтом. Я смотрю на деревья против меня и вижу — им жарко, нестерпимо жарко, как и зверям,— несчастные деревья! И только цветы радуются и высоко держат голову, политые. Да ведь это рабы — эти жалкие городские цветы, которые могут расти и в тюрьме, которые можно купить стаканом воды из водопровода. Рабы!

— Но кислород и озон. Кислород! Понимаешь, тигр, все это нужно для кислорода. Это вовсе не глупость, кислород!

Но он не понимает. Он не смотрит на меня; и, тяжело поднявшись, иду дальше, куда-то дальше. И таким безнадежно далеким, безумно недостижимым кажется мне мое пустынное море. Но почему я не думаю о ней? Почему, когда я вспомню ее чистые глаза, обращенные ко мне с вопросом,— становится стыдно, хочется опустить голову, спрятать ее в какой-то темный мешок, почему?

...Помню еще вот что: я долго один в каком-то мало посещаемом углу и очень долго, очень серьезно обдумывал вопрос: как может убежать тигр? Ну, допустим, сторож напился пьян и забыл затворить клетку, и это как раз к ночи, когда в саду нет никого. А дальше? Улица. Нет, это невозможно: что будет делать он в своей шкуре на этих улицах! Но, положим, он как-нибудь их проскочит — а дальше? Шоссе, железная дорога, расчищенные парки, фермы; тысячи вооруженных людей, посланных в погоню. Нет, не годится.

И помню,— я, вероятно, несколько задремал от усталости,— я очень часто и упорно представлял себе одну картину: тигр в цилиндре, в перчатках, скрывающих когти, берет билет у кассы и едет по подземной дороге. Потом по железной дороге. У него чемодан из желтой кожи, увязанный ремнями плед, и он все едет, едет. До Индии ведь так далеко! И он все едет, едет... И в руках у него палка с серебряной ручкой, а во рту огромная дымящаяся сигара. Едет...

Их там было много, маленьких городских детей с боннами и гувернантками, но я избегал смотреть на них: при том состоянии, в котором я находился, и в их детских, милых личиках, в их глазах я мог увидеть что-нибудь печальное. Но постепенно утомленное внимание мое стала привлекать девочка — маленькая девочка, с голыми ручками и ножками, в белой рубашечке, по краям обшитой широкими красными полосами. Я плохо разбираюсь в возрасте детей и не знаю, сколько ей было лет: три, четыре года, а может быть, пять.

Сперва я долго, с упорством бессознательности, вглядывался в ее светлые, короткие локоны, свободно раскинутые на круглой головке, и белую нежную шейку, на которой проходила тоненькая серебряная цепочка, вероятно, от крестика,— пока не зажглось во мне чувство какой-то тихой, безмерной радости, умиления, близкого к молитвенному восторгу. Радостно изумленный, я уже сознательно вгляделся в нее, в ее личико, в ее легкую, стройную, строго соразмерную фигурку. Боже, я еще никогда не видал такого совершенного, такого очаровательного человеческого детеныша! Так вот отчего мне весело!

Все в ней было совершенно. Глаза, движения, каждый шаг круглых, наивно незаконченных ножек в белых туфельках,— все было в ней совершенно. И это была не только совершеннейшая красота, это была мысль, огромная, загадочная мысль, великая и светлая тайна, которую читаю я в небесах, когда темной ночью сквозь стекло телескопа бросаю мой взор в глубину Млечного Пути, в мириады сверкающих миров. Но мысль, спустившаяся на землю! Но тайна, принявшая родной и знакомый образ человека! Что же такое — ты, человек, если можешь быть так прекрасен порою!

И какой самостоятельный детеныш: ходит одна между детей — гувернантки не видно,— напевает, думает

о чем-то,— какие должны быть у нее мысли! — посматривает на небо, на меня взглянула. И это среди зверей с их зубами и мерцающим загадочным взглядом! Идет куда-то, все одна — иду за нею, идет дальше — иду за нею. Вот у одной из боковых дорожек железная невысокая решетка и за ней овальный, каменный бассейн, полный все тою же грязной, теплой водой. Вода колышется, ходит большими плоскими волнами, видимо, какое-то большое тело беспокойно бороздит ее там внизу. Вот куда мы шли!

Девочка обнимает тоненькими беленькими пальчиками железные прутья и прижимает к ним свое очаровательное личико. В том, как стоят ее ножки, во всей ее позе видно великолепное, царственно спокойное ожидание. Стоит и ждет, спокойно, великодушно, терпеливо — очаровательно надменный детеныш человека!

И вот, спуская воду с пологих плеч, показывается он. У него круглый, точеный, умный череп, туго обтянутый короткой шерстью — от воды она прилегла совсем как кожа и поблескивает тускло. Он стоит твердо, как изваяние, опершись плавниками о камень, и неподвижно смотрит на девочку своими изумительными, мистическими глазами. Большие, черные, лишенные бровей и ресниц, они смотрят, как широко открытые черные окна, с простотой и величавой откровенностью тысячелетней неразгаданной тайны. И кажется, глядя в эти бездонные глаза, будто остановились все часы в городе и замерли их суетливые стрелки; будто нет времени, и, увлекаемый неведомой силою, погружаешься в самые первоисточники бытия, теряешь имя, память, образ человека...

И прямо, напротив, глаза в глаза, смотрит на него, царя и чудовище, другой царь: маленький, надменный, очаровательный детеныш человека. Что за странная встреча, здесь, в этом городе? Что думаете вы оба, глядя так просто, так понятно друг на друга?

Слышу нежный, влюбленный лепет:

— Милый! Милый!

Молчание.

— Милый!

Молчание.

— Я очень люблю тебя!

И я отошел от них на цыпочках, не решаясь оглянуться, как глупый шпион, застигнутый у чьих-то священных дверей. Помню, я долго блуждал по аллеям, взволнованный, смущенный, радостный, и так бережно нес себя, будто

боялся расплескать что-то драгоценное. Правда, вскоре новые, тягостные впечатления сгладили это чувство и вновь бросили меня к скорби, печали и даже отчаянию, но с тех пор до сего дня мои беспокойные мысли возвращаются непрестанно к этим двум, встретившимся так странно. И разве все то, что я видел потом в городе, не было непрестанным возвращением все к этой же великой тайне? И разве не новыми кажутся мне теперь пустынные море и лес? И разве не новый таинственный смысл влагаю я в мои поцелуи, когда бережно устами моими я прикасаюсь к устам ее, моей возлюбленной, той, которую я люблю больше всего на свете?

...Возлюбленная моя! Одиноко ждущая меня, чтобы дать покой моей исстрадавшейся мысли и открыть последнюю великую тайну. Ограждающая от зла! Творящая благо и жизнь! Возлюбленная моя...

И опять я не поехал к ней, как хотел первоначально. Та странная нерешительность и безволие, которые овладели мною с первых шагов по улице города, продолжали удерживать меня в саду, хотя я взял от него самое лучшее, и более хорошего ждать не мог. И действительно, уже вскоре я наткнулся на зрелище, которое наполнило меня отвращением и гневом.

Это были орлы и орлицы — десять — двенадцать царей и цариц, запертых в небольшую железную клетку. Правда, для воробьев или каких-нибудь мелких птиц эта высокая, почти в два этажа, широкая клетка показалась бы обширнейшим великолепным дворцом. Но для них, для этих огромных, свободных, царственных птиц, с их саженным размахом крыла, она была чудовищно, безобразно мала. И когда какой-нибудь из несчастных пленных царей пробовал лететь,— что за беспорядок, что за отвратительный, жалкий беспорядок поднимался в клетке! Этот несчастный бил своими крыльями по железным прутьям, по земле, по своим, наконец, товарищам, и все они начинали кричать, браниться, ссориться, как торговки, как женщины, собравшиеся со своими горшками к одной печке. Их хриплый, дикий клекот, который звучит так мощно над вершинами гор, над великим простором океана,— здесь становился похож на пьяные голоса сердитых, обиженных людей, изнывающих от тесноты, беспорядка, бессмыслицы жизни. Я не знаю их языка, но ясно, с отвращением, понимал я их пошлую брань, гнусные намеки, противные, плаксивые жалобы, циничный смех и ругательства.

И это были орлы! У всех у них были грязные, всто-

порщенные перья, обломанные крылья; их энергичные остроклювые лица с зоркими, орлиными, властными глазами выражали мелкую злость, раздражение, глупую зависть. И только немногие пытались лететь; большинство же, привыкшее к неволе или даже рожденное в ней, цепко держалось когтями за грязные, загаженные перекладины или обрубленные сучья коротких, вкопанных в землю стволов; и когда те пробовали лететь — эти, обеспокоенные, возмущенные, начинали клеветать, браниться яростно, быть может, даже звали полицию. Мне хотелось посмотреть, как движутся эти, и я стал поджидать, и я дождался: они не летали, они — прыгали короткими прыжками, как большие воробьи, как куры в курятнике.

И это были орлы.

Я должен отдать справедливость людям, которые стояли у этой клетки: они не смеялись. Они подходили быстро, заранее полные того невольного почтения, какое человек оказывает свободному зверю и птице; взглядывали коротко и медленно отходили. Трудно сказать по лицам, что думали они; но мне кажется, судя по внезапной вялости движений и походки: им становилось скучно. И в то время как у клетки с обезьянами всегда стояла густая толпа, здесь было почти пусто.

К сожалению, я должен также упомянуть об одном господине, который засмеялся и даже обратился ко мне с каким-то шутливым замечанием. Но чем меньше о нем говорить, тем лучше.

Я уже шел к выходу, когда откуда-то из глубины сада пронесся громкий, странный, весьма продолжительный крик. Здесь многие кричали: кричали попугаи, ревели львы, испускали свой дикий вопль олени, наполняя воздух густыми трубными, могучими звуками,— столь несоответствовавшими их кротким и задумчивым глазам,— хохотали гиены, тявкали и даже выли собаки, и я не знаю, почему я остановился и потом решительно и быстро пошел в направлении загадочного звука. Конечно, мне не следовало этого делать, но, видимо, уже так печально складывался для меня этот бесконечный, тяжелый, кошмарный день. Кроме того, в самом существе загадочного крика было что-то настолько повелительное, что я не посмел ослушаться. Вместе с тем многие, обычные, по-видимому, посетители сада отнеслись к нему совершенно равнодушно, и только два-три человека так же решительно и быстро последовали за мною.

Уже два раза я назвал крик загадочным, но это потому,

что сразу я совершенно не мог определить его сущность. По силе, по своеобразной дикости, по духу своему — это был, несомненно, голос зверя, но в то же время в нем ясно чувствовалось что-то человеческое, даже слова как будто, целые фразы, выкрикиваемые на неизвестном, но очень выразительном языке. И так же трудно мне определить то, что выражал этот крик. Поскольку он был человечен — это было чувство бешеного гнева, громовая музыка непрерывных огненных проклятий; но поскольку он оставался звериным — в нем было еще что-то, не поддающееся определению, но еще более страшное.

Вообще весь этот крик был настолько страшен и угрожающ, что последнее расстояние я бежал почти бегом, мне начинало казаться, что там случилось что-то и надо поспешить. Но, когда мне оставалось всего несколько шагов и я уже видел кучку людей, толпившихся у железной решетки,— крик вдруг оборвался, и наступило молчание. Осмотревшись, я узнал место: это было почти рядом с тем, где я видел девочку и тюленя; и люди толпились около такого же овального бассейна с грязной, взбудораженной водой. Я приблизился к самой решетке: да, как раз так же ходила вода, разрезаемая по низу большим мечущимся телом, но было ли больше неизвестное тело, или движение его бешенее и быстрее,— волна казалась короче, острее, беспокойнее.

Мелькнула темная, скользкая спина, одно-два беспокойных ломаных движения, тяжелый густой вздох, фырканье, и на поверхность выбрался он, тот, что кричал. Повернулся тяжело, вздохнул так, словно у него была одышка, и неподвижно уставился на нас, как бы давая время лучше разглядеть его безобразное, скуластое, страшное лицо. По-видимому, он был стар, очень болен и скоро должен был умереть; его большие черные глаза отсвечивали кровью, щетинистые редкие усы были седоваты; и, когда он открывал рот и молча скалился, видны были испорченные, гнилые, искрошенные зубы. Вначале мне показалось, что он смотрит на нас; но нет, он смотрел дальше,— гораздо дальше.

И вот тут он снова закричал, сразу, всею полнотой и силой этого дикого, неслыханного крика. И так же сразу, весь похолодев от чувства непередаваемого ужаса, я понял, что он — проклинает. Стоит в своей грязной лоханке, посередине огромного города,— и проклинает проклятием зверя и город этот, и людей, и землю, и небо. Он стар, он очень болен и скоро должен умереть.

Было бы безумием пытаться передать всю грозную силу проклятий несчастного зверя. Все ядовитые слова, какими обмениваемся мы, люди, когда хотим выразить наше неудовольствие друг другу или небу, кажутся комариными укусами сравнительно с этой речью, где каждый напряженно трепещущий звук был налит смертоносным ядом. Я знаю благородный гнев библейского Иова; я помню гневные упреки Каина; в моих ушах еще звучат проклятия пророков, какие посылали они на головы нечестивых городов и народов; но что значат они все перед этим простым, как голос самой оскорбленной земли, проклятием умирающего зверя! Он не ждал ответа; одинокий, умирающий, он не искал понимания; он проклинал в века и пространства, бросал свой голос в их чудовищную, безумную пустоту. И почудилось мне: вместе с проклятием его встают из гроба гигантские тени умерших столетий и идут торжественно в кровавой мгле; и новые встают за ними; и бесконечной вереницей огромных, бледных, окровавленных теней они беззвучно облегают землю и в пространство направляют свой страшный путь...

— Послушайте! послушайте! что же это такое! — схватил я за плечо соседа, лицо которого, как зеркало, отразило мое побледневшее, искаженное болью лицо.

— Я не знаю. Он каждый день так. Он, вероятно, очень болен.

— Это невозможно! Этого же нельзя оставить. Его надо убить! — сказал другой и взволнованно зашагал куда-то.

...И я бежал, гонимый проклятием зверя. И я ворвался в темную комнату, где одиноко ждала она; и я упал перед ней на колени и с рыданием закричал в ее бледное лицо:

— Он проклял меня! Слышишь, он проклял меня!

Мы были в лесу. Уже светила луна, и мы были в лесу, я и она, моя возлюбленная. Она сразу поняла, что случилось со мною; в моих бессвязных речах она почувствовала яд города и молча, как больного ребенка, как человека, отравленного угаром, увлекла меня сюда. И сказала мне:

— Дыши! Дыши всей грудью! И не думай. И смотри на лес.

Но я не смотрел на лес,— я смотрел на нее. Под светом луны лицо ее было холодно и бело, как мрамор. Она молча-

ла и думала о чем-то. О чем думала эта женщина, такая чужая и такая близкая бесконечно?

— Отчего так бледно твое лицо?

— Щеки мои горят. Это так кажется от луны.

— Отчего у тебя такие большие, такие черные глаза? Куда ты смотришь?

— Я смотрю на тебя, мой милый. Я хочу согнать тени с твоего лица.

— Пойдем дальше. Здесь я чувствую еще город.

Все дальше и дальше шли мы, обвеянные лесною свежестью, и мы хотели проникнуть в самое сердце тишины и мягкого света. Здесь, в глубине леса, где не видно уже было станционных огней, луна сияла царственно и мощно. И так священна была светозарная тишина, что казался святотатством каждый легкий звук, хруст сучка под ногами, легкий шелест платья. Вдруг она остановилась.

— За нами идет кто-то. Послушай!

Я прислушался: было светло и немо. И ее, в ее белом платье, и меня облегали пестрые тени сучьев и листвы; и так неподвижны, так тихи были эти легкие тени, что переставало вериться в самое существование звука.

— Нет никого. Тебе послышалось.

— Я боюсь идти дальше. Сядем лучше здесь.

Так она сказала, веря и не веря. И в этих словах я узнал ее, храбрую и трусливую, сильную и слабую женщину, которая смело пойдет на смерть, когда нужно, и испугается до слез темной тени в углу. И я начал смеяться над нею, целуя ее нежно; и такой милой она стала, и вдруг радостно вздохнула вся душа моя,— ибо великая радость для мужчины быть защитником женщины и хранителем ее.

— Трусиха! — смеялся я.— Маленькая, глупенькая женщина, которая вдруг испугалась леса.

И, обижаясь слегка, она отстраняла меня:

— Нет, я не боюсь леса. Но я так ясно почувствовала, что здесь кто-то есть. Сядем вот тут, в тени...

И мы сели в тени высокой, толстой сосны, опершись спинами о ее теплый, шершавый ствол. Перед нами тянулись длинные тени дерев, а когда я взглянул назад — росистая трава отливалась дымчатым серебром, и по ней тянулись такие же дымчатые, длинные, тающие тени. И так по всему лесу неподвижно лежали они, далеко, до той неуловимой взглядом грани, где все вдруг становится непонятным: тени и свет, и чернь и серебро, и дымчатость прозрачной хвои, и все сливается в одну молчаливую, серебристо-черную тайну.

И тихо жаловался я ей, моей возлюбленной:

— Я боюсь проклятия зверя. За что он проклял меня, за что? Разве я виноват, что на земле так плохо? Когда я родился, земля уже была такою; и такою же останется она, когда я умру. Ведь так коротка и бессильна моя жизнь!

И тихо спрашивала она, прижимаясь ко мне:

— А они тоже проклинали — эти тени, которые ты видел?

— Нет. Ведь они мертвые. Они шагали молча. У них огромные окровавленные головы, но они шагали молча...

— В кровавой мгле?

— Да... в кровавой мгле.

Я смотрел на черные тающие тени и думал вслух:

— Он сожжет их города.

— Кто?

— Тот, кто захочет правды. И наступит время, когда ни одного города не останется на земле. Быть может, не останется и человека.

— А кто знает правду?

— Зверь знает.

Она задумалась, и я почувствовал, как нахмурились и сошлись ее брови. И сказала с уверенностью:

— Нет, он тоже не знает. Зачем он проклял тебя? Он не знает правды. Разве тебе не так же плохо, как и ему? Милый мой, дай мне твой лоб, я поцелую его.

— Возьми мои губы.

— Нет. Когда жалеют человека, его нужно целовать в лоб, где его мысли.

И я сказал:

— Что это значит: поцелуй? Вот прикоснулись твои губы к моему лбу, и я уже другой. Откуда это могущество? И что такое женщина? И что такое любовь?

— Женщина — это я. И любовь — это я.

— Ведь ты же умрешь когда-нибудь? Но разве ты чувствуешь смерть?

— Я чувствую только жизнь. Смерти нет.

— Я люблю тебя.

— Я люблю тебя.

И, сказав эти священные слова: «я люблю тебя», и услышав этот священный ответ: «я люблю тебя»,— вдруг почувствовал я и величие, и тайну, и грозное могущество нашей человеческой любви. И почувствовал я, что, еще не борясь, еще отступая, и падая, и плача, я уже победил неведомого врага тем, что громко сказал в эту лунную ночь: «я люблю тебя». Помню, как чуду поклонился я ей, женщи-

не, которую люблю, и к коленам ее припал в безмолвии и тайне. И слышал: вот положила она на голову чудесную руку свою и благословила меня великим благословением любви в безмолвии и тайне...

И тогда... О, город! Проклятый город.

И тогда я услышал этот подлый шорох позади нас, это мерзкое учащенное дыхание. Я приподнялся, окликнул, и вот что увидел: из-за дерева, стоявшего в нескольких шагах позади нас, высовывалась темная, насторожившаяся голова в круглом котелке. После моего оклика он, подглядывавший негодяй, испуганно спрятался; потом вышел и большими шагами, осторожно, на цыпочках, неся на отлете руки, в одной из которых была зажата тросточка с серебряной, блестящей ручкой, бесшумно удалился. Он горбился при этом, когда шел; и навсегда я запомнил эту картину: лес, полный лунного дыма, ее, широко открывшую испуганные, оскорбленные глаза, и скользящую по серебристой траве воровскую тень сгорбившегося господина в котелке и с приподнятыми руками. И навсегда я запомнил это чувство тяжкого оскорбления, невыносимого отвращения, близкого к тошноте, и холодной, смертельной скуки, убивающей желание жить.

Да, я сразу понял, кто был этот господин. Это был один из тех отвратительных, жалких, полусумасшедших эротоманов, которых всюду и всегда, днем и ночью, преследуют грязные, сладострастные образы. Их доводит до сумасшествия, до полного скотства город, полный красивых, но чужих и недоступных женщин. Днем они шатаются по улицам, выслеживают женщин, раздевают их мысленно и замирают от гнусного, сладострастного восторга, когда ветер или сама женщина чуть-чуть поднимет подол шелковой юбки. Они заходят в магазины обуви, чтобы видеть ноги примеривающих ботинки женщин, действующие на них, как дурман; и потом на этих крохотных и скудных обрывках действительности они создают картины гнуснейшего, фантастического разврата, перед которым целомудрием и святостью кажется наивный, правдивый разврат древних. По тысячам скабрезных карточек они изучили все разнообразие женского тела и знают столько форм женских грудей и бедер, сколько едва ли может запомнить сам Творец. Отвратительные, они жалки и несчастны в то же время, ибо голодны ненасытимо. По вечерам они безнадежно пристают к порядочным женщинам, выслушивают презрительные ругательства, иногда терпят дажи побои; бессильные, таскаются по садам, по темным аллеям, где

прячутся влюбленные, подкарауливают, подстерегают, чтобы видом хотя бы чужой любви дать пищу своему жалкому воображению, хотя бы обманом утолить свой ненасытимый голод. Как те голодные собаки в загородных ресторанах, которые появляются неизвестно откуда и целыми часами сидят у стола и целыми часами, не замечаемые никем, молитвенно виляют грязными, запаршивевшими хвостами.

И этот давно, по-видимому, следил за нами, быть может, еще с самого города, с вагона. Как должен был он прятаться искусно, какие чудеса ловкости он должен был проделать, чтобы остаться незамеченным и притаиться так близко. И с отвращением я представил себе, как он стоял за деревом, пока мы говорили; он ничего не понимал из того, что мы говорили, его ноги ныли от усталости, но он слышал слово «люблю», которое он понимает так по-своему, он видел поцелуи, и это наполняло его чувством сладострастных и гнусных предвкушений. Вероятно, он сердился на меня: зачем я так медлю?.. И в жилетном кармане у него тикали часы.

— Кто это? — спросила она сурово.

— Так. Не спрашивай.

— Пойдем.

И по тому, как был суров ее голос, как холодно оперлась она о мою руку, я чувствовал, что она оскорблена где-то в самой глубине женской души своей, оскорблена не только им, которого она не знает, но и мною. Ибо я тоже мужчина. Но разве не оскорблен я сам? И так шли мы с ней по мертвому лесу и молчали, и было так больно нам обоим. И от того, что мы молчали и не говорили о том, что больно, становилось одиноко и грустно, так одиноко и грустно. Ибо и в ней я почувствовал женщину, и отдалилась она от меня, и стала чужой и странной — она, моя возлюбленная, она, чистая и безгрешная.

Вот и станция, та самая станция с большими электрическими фонарями. Быть может, и он здесь,— поджидает поезд и разгуливает среди таких же господ, в котелках и с тросточками. Вот кто-то в конце платформы закуривает сигару и освещает белокурые, приподнятые усы,— не он ли это?

— Ты взял обратно билеты?

— Да. Вот твой. Возьми его и поезжай.

— А ты?

— Я не поеду. Я хочу пройтись немного.

— А ничего? Теперь ночь.

— Нет, ничего. Ты возьмешь экипаж от вокзала.

— Да.

— Не нужно на трамвае. Возьми экипаж.

— Хорошо. Ты поздно вернешься?

— Не знаю.

Так одиноко, так грустно было нам обоим

И только уже прощаясь, входя в дверь вагона, она тихонько пожала мою руку. И хотя пожатие имело такой вид, будто она только благодарит меня за помощь, за то, что помог подняться ей на ступеньки, я понял, так как хорошо знал язык ее руки, что она простила меня. Взглянул ей в глаза: они улыбаются мне. Возлюбленная моя! Но уже двигался поезд, и скорее по движению губ, по выражению всего милого лица, чем по звуку, я уловил ее последние слова:

— Я не буду спать. Я буду ждать тебя.

...Возлюбленная моя!

Когда бываешь с женщинами, приходится сдерживаться, и гнев хорошо знает это: он свертывается в острый колючий клубок и тихонько лежит в душе, только изредка покалывая ее и холодя. И лишь теперь, оставшись один, я свободно отдался ему.

Помню, я шагал крупно по гладко шоссированной дороге, окаймленной огромными черными буками, размахивал палкой, не той безвредной тросточкой с серебряной ручкой, а настоящей, хорошей палкой, которую я вывез еще оттуда; и даже бил ею по стволам, по редким кустикам, ронявшим ночную росу. И при этом выкрикивал что-то, вероятно, короткие, злые ругательства. Не знаю, кого имел в виду мой бешеный гнев, которому я отдаюсь так редко. Тот негодяй, который подсматривал за нами, как-то вдруг сразу потерял свое лицо, смешался с другими, кого я видел сегодня, растворился в чем-то огромном, бесформенном и поганом. Поганом, иначе я не могу назвать того, что слепо лезло на меня своим грязным серым брюхом, тысячью осклабленных, ухмыляющихся идиотских рож.

Откуда взялись эти рожи, когда весь день я видел только лица, вполне приличные, чистые, гладко выбритые человеческие лица? А черт их знает откуда! Разве можно понять что-нибудь в этом сплошном идиотстве, которое... которое...

На этой прямой, как стрела, буковой аллее, служившей, очевидно, городским жителям для катания, еще не совсем прекратилась жизнь. Как огромные тяжелые призраки, проносились изредка автомобили, загораясь вдалеке парою

ярких, ослепительных, чудовищных глаз и принося с собою массу холодного крутящегося воздуха, и совсем редко проплывали тихие, молчаливые велосипеды, осторожно и мягко нащупывающие дорогу. И все это двигалось к городу, и все это возмущало меня и вызывало дикую, нелепую потребность скандала. Именно скандала. Бросить в автомобиль камень или свалить велосипедиста, а когда он станет кричать и ругаться, закричать самому и избить его, изломать его тихую, осторожную, проклятую машину. Пусть кричит! И с ненавистью я пропускал каждый велосипед, оценивая его взглядом, и так было до тех пор, пока чей-то веселый, слегка пьяный голос не крикнул мне из-за яркого ацетиленового фонаря:

— Добрый вечер!

— Добрый вечер! — ответил я.

Действительно: и велосипед его слегка покачивался, и фонарь то выхватывал из темноты толстый, гладкий ствол, то бесцельно уходил куда-то в глубину леса и таял там.— «Бог с ним!» — подумал я.— Бог с ним, раз он говорит: «добрый вечер»,— и перестал бить палкой по деревьям.

Но беспокойство, раз овладевшее мною, уже не оставляло меня. За своей спиной я продолжал чувствовать город; и с каждым шагом, удаляясь от меня, он становился все больше, неотвратимее, фатальнее. Я пытался думать о пустынном море, но тусклы были мои мысли и бледны были образы мои; и все крепче сжимались вокруг измученного сердца каменные объятия призрачного чудовища. Почему я стал вдруг произносить громко это безнадежное, печальное слово: умер! Шел, кивал головою утвердительно и повторял с тоскою, с безнадежною грустью:

— Умер. Да, да. Умер!

Кто умер? О ком я говорил так печально, и кивал головою, и жмурил глаза с безысходной, томительной грустью? Проносился автомобиль, и я бросал в его яркий, ослепительный свет:

— Умер. Да, да. Умер!

Проплывал велосипедист, и его одинокую фигуру я провожал тем же кивком головы и странными, безнадежными словами:

— Умер. Да, да. Умер!

Слева от дороги, за редкою сеткою стволов и сучьев, пролегало железнодорожное полотно и время от времени сверкающей линией окон проносились поезда; и им я сообщил эту печальную, трагическую весть:

— Умер. Умер.

Очевидно, и поступки мои приобрели характер той же непроизвольности, как и чувства, ибо многое, что я делал в тот день, я не умею объяснить и до сих пор. Так, помню хорошо, что я сошел с дороги и, имея самый решительный и разумный вид, долго разыскивал пень, на котором можно было бы сесть. И когда нашел, то так же решительно, как бы и это имея в виду, отдался самой безутешной скорби. Сидел согнувшись, как бы над гробом умершего, и плакал продолжительными обильными слезами и платок держал у лица. Вообще, припоминая тогдашнюю позу свою, я с удивлением замечаю, что по каким-то загадочным причинам я очень старательно, очень точно и искренно имитировал человека, который только что потерял кого-то горячо любимого и в присутствии друзей и близких изливает горе свое над его прахом. И уже не вслух, а только про себя я повторял эти безутешные слова:

— Умер! Да, да. Умер!

Помню еще тот печальный вид, какой приобрело небо за эти часы. Оно затуманилось, сплошь задернулось белесой, тусклой, расползающейся дымкой; и луна, уже опустившаяся низко, светила скупо и уныло, как фонарь сквозь синюю промасленную бумагу. И в лесу уже не было ни ярких пятен света, ни теней: он весь молча стоял в этом тусклом, безжизненном свете и не дышал. Потом почти сразу наступила такая же безжизненная темнота, и впечатление было такое, будто луна не взошла, а погасла, как фонарь, в котором иссякло последнее масло.

...О ком говорил я так печально и над чьим гробом я плакал так безутешно? Говорил ли я о человеке,— или о звере, который умирает одиноко в своей грязной лохани,— или о себе,— или о ней,— или о неведомом, которого мне жалче, чем себя, чем зверя, чем человека? Не знаю. Не спрашивайте меня...

Когда вновь я шел по дороге, возвращаясь в город, она была темна и пустынна. Потом далеко впереди мелькнул слабый огонек, очевидно, кто-то с фонариком вышел из боковой аллеи, и чуть слышно долетело скрипение колес. И так грустно было мне, что захотелось человека, кто бы он ни был, этот далекий неизвестный человек с тусклым фонариком. Я устал, мне трудно было идти, меня покачивало от слабости и от недавних слез, но я собрал последние силы и нагнал его. Он же двигался медленно. И в густой предрассветной темноте я различил небольшую тележку, доверху наполненную чем-то, с фонариком, стоявшим на

краю, и силуэт высокого, сгорбленного, хмуро шагавшего человека. Он шел понурившись и даже не обратил внимания на мои шаги и приветствие, быть может, не слыхал его; но кто же вез тележку?

Боже мой! Это была собака. Худая, высокая, как и ее хозяин, она вытягивалась в своей веревочной упряжи, и видно было, как напрягается ее грудь и задние, длинные, жилистые ноги. И вопреки тому, что делают собаки, когда к ним подходят незнакомые люди,— она не залаяла, она даже не взглянула на меня. Точно оба они, и хозяин ее и она, были лишены и зрения и слуха.

Так некоторое время молча шагали мы все трое, и маленький огарок в фонаре тускло озарял серые, равномерно вытягивающиеся ноги. И громко, сам пугаясь звука своего хриплого голоса, я сказал ему:

— Послушайте, вы! Что делаете вы с собакой?

Но он не ответил, как будто не слыхал. И снова шагали мы в темноте: я, хмурый человек и собака, и прошло много времени, когда я снова крикнул ему:

— Послушайте! Оставьте собаку. Я вам говорю!

И снова он не ответил, и мой голос потерялся где-то в темноте позади нас, потерялся и погас. И снова молча шагали мы трое: он, я и собака, вдруг так тесно связанные общностью каких-то страданий, что как будто и всю жизнь, и еще раньше, до жизни, всегда было так: прямая дорога, он, собака и я, шагающие молча к далекому городскому зареву. И время от времени одинокий голос, молящий и бессильный, похожий на голос женщины, бросал отрывисто и хрипло:

— Оставьте собаку! Оставьте собаку!

И опять тишина, поскрипывание немазаных колес, глухие шаги и тусклый свет фонарика, озаряющий две жилистые, равномерно вытягивающиеся собачьи ноги. Что это? Последний сон, последний дикий кошмар засыпающего города?

Но нет. Вот он остановился и снял зачем-то широкополую мягкую шляпу; и сама остановилась собака, остановилась и молча легла, и вдруг сразу часто и быстро задышала. Остановился и я. И, отвечая на все то, что я говорил ему давно, отвечая еще на что-то, чего я ему не говорил, он произнес коротко и глухо:

— Все мы должны работать.

И только, и больше ничего. Но было что-то в голосе этого старого раба, от чего вдруг захотелось безумствовать,

кричать, побежать к тому несчастному, умирающему зверю, разбудить его дикими словами:

— Послушай, старик! Выходи сюда. Я буду рядом с тобою. Мы будем проклинать вместе. Кричи, громче кричи! Пусть услышит тебя город, и земля, и небо! Громче кричи, старик. Тебе недолго осталось жить, кричи об опасности, кричи об ужасе этой жизни, кричи о смерти! И проклинай, проклинай, и к твоему проклятию зверя я присоединю мое последнее проклятие человека. Город! Город!

И он стоял и молчал, этот старый раб, и часто и быстро дышала измученная собака. И я снял шляпу, и я поклонился ему низко, как герцогу, как королю. И я снял шляпу, и я поклонился низко его собаке,— как королеве поклонился я ей.

Город! Город!

...К тебе иду я, моя возлюбленная! Встреть меня ласково. Я так устал! Я так устал!

РАССКАЗ О СЕМИ ПОВЕШЕННЫХ

Посвящается Л. Н. Толстому

1. В ЧАС ДНЯ, ВАШЕ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО

Так как министр был человек очень тучный, склонный к апоплексии, то со всякими предосторожностями, избегая вызвать опасного волнения, его предупредили, что на него готовится очень серьезное покушение. Видя, что министр встретил известие спокойно и даже с улыбкой, сообщили и подробности: покушение должно состояться на следующий день, утром, когда он выедет с докладом; несколько человек террористов, уже выданных провокатором и теперь находящихся под неусыпным наблюдением сыщиков, должны с бомбами и револьверами собраться в час дня у подъезда и ждать его выхода. Здесь их и схватят.

— Постойте,— удивился министр,— откуда же они знают, что я поеду в час дня с докладом, когда я сам узнал об этом только третьего дня?

Начальник охраны неопределенно развел руками:

— Именно в час дня, ваше превосходительство.

Не то удивляясь, не то одобряя действия полиции, которая устроила все так хорошо, министр покачал головою и хмуро улыбнулся толстыми темными губами; и с тою же улыбкой, покорно, не желая и в дальнейшем мешать полиции, быстро собрался и уехал ночевать в чей-то чужой гостеприимный дворец. Также увезены были из опасного дома, около которого соберутся завтра бомбометатели, его жена и двое детей.

Пока горели огни в чужом дворце и приветливые знакомые лица кланялись, улыбались и негодовали, сановник испытывал чувство приятной возбужденности — как будто ему уже дали или сейчас дадут большую и неожиданную награду. Но люди разъехались, огни погасли, и сквозь

зеркальные стекла на потолок и стены лег кружевной и призрачный свет электрических фонарей; посторонний дому, с его картинами, статуями и тишиной, входившей с улицы, сам тихий и неопределенный, он будил тревожную мысль о тщете запоров, охраны и стен. И тогда ночью, в тишине и одиночестве чужой спальни, сановнику стало невыносимо страшно.

У него было что-то с почками, и при каждом сильном волнении наливались водою и опухали его лицо, ноги и руки, и от этого он становился как будто еще крупнее, еще толще и массивнее. И теперь, горою вздутого мяса возвышаясь над придавленными пружинами кровати, он с тоскою больного человека чувствовал свое опухшее, словно чужое лицо и неотвязно думал о той жестокой судьбе, какую готовили ему люди. Он вспомнил, один за другим, все недавние ужасные случаи, когда в людей его сановного и даже еще более высокого положения бросали бомбы, и бомбы рвали на клочки тело, разбрызгивали мозг по грязным кирпичным стенам, вышибали зубы из гнезд. И от этих воспоминаний собственное тучное больное тело, раскинувшееся на кровати, казалось уже чужим, уже испытывающим огненную силу взрыва; и чудилось, будто руки в плече отделяются от туловища, зубы выпадают, мозг разделяется на частицы, ноги немеют и лежат покорно, пальцами вверх, как у покойника. Он усиленно шевелился, дышал громко, кашлял, чтобы ничем не походить на покойника, окружал себя живым шумом звенящих пружин, шелестящего одеяла; и чтобы показать, что он совершенно жив, ни капельки не умер и далек от смерти, как всякий другой человек,—громко и отрывисто басил в тишине и одиночестве спальни:

— Молодцы! Молодцы! Молодцы!

Это он хвалил сыщиков, полицию и солдат, всех тех, кто охраняет его жизнь и так своевременно, так ловко предупредили убийство. Но шевелясь, но хваля, но усмехаясь насильственной кривой улыбкой, чтобы выразить свою насмешку над глупыми террористами-неудачниками, он все еще не верил в свое спасение, в то, что жизнь вдруг, сразу, не уйдет от него. Смерть, которую замыслили для него люди и которая была только в их мыслях, в их намерениях, как будто уже стояла тут, и будет стоять, и не уйдет, пока тех не схватят, не отнимут у них бомб и не посадят их в крепкую тюрьму. Вон в том углу она стоит и не уходит — не может уйти, как послушный солдат, чьей-то волею и приказом поставленный на караул.

— В час дня, ваше превосходительство! — звучала сказанная фраза, переливалась на все голоса: то веселонасмешливая, то сердитая, то упрямая и тупая. Словно поставили в спальню сотню заведенных граммофонов, и все они, один за другим, с идиотской старательностью машины выкрикивали приказанные им слова:

— В час дня, ваше превосходительство.

И этот завтрашний «час дня», который еще так недавно ничем не отличался от других, был только спокойным движением стрелки по циферблату золотых часов, вдруг приобрел зловещую убедительность, выскочил из циферблата, стал жить отдельно, вытянулся, как огромный черный столб, всю жизнь разрезающий надвое. Как будто ни до него, ни после него не существовало никаких других часов, а он только один, наглый и самомнительный, имел право на какое-то особенное существование.

— Ну? Чего тебе надо? — сквозь зубы, сердито спросил министр.

Орали граммофоны:

— В час дня, ваше превосходительство! — И черный столб ухмылялся и кланялся.

Скрипнув зубами, министр приподнялся на постели и сел, опершись лицом на ладони,— положительно он не мог заснуть в эту отвратительную ночь.

И с ужасающей яркостью, зажимая лицо пухлыми надушенными ладонями, он представил себе, как завтра утром он вставал бы, ничего не зная, потом пил бы кофе, ничего не зная, потом одевался бы в прихожей. И ни он, ни швейцар, подававший шубу, ни лакей, приносивший кофе, не знали бы, что совершенно бессмысленно пить кофе, одевать шубу, когда через несколько мгновений все это: и шуба, и его тело, и кофе, которое в нем, будет уничтожено взрывом, взято смертью. Вот швейцар открывает стеклянную дверь... И это он, милый, добрый, ласковый швейцар, у которого голубые солдатские глаза и ордена во всю грудь, сам, своими руками открывает страшную дверь,— открывает, потому что не знает ничего. Все улыбаются, потому что ничего не знают.

— Ого! — вдруг громко сказал он и медленно отвел от лица ладони.

И, глядя в темноту, далеко перед собою, остановившимся, напряженным взглядом, так же медленно протянул руку, нащупал рожок и зажег свет. Потом встал и, не надевая туфель, босыми ногами по ковру обошел чужую незнакомую спальню, нашел еще рожок от стенной лампы

и зажег. Стало светло и приятно, и только взбудораженная постель со свалившимся на пол одеялом говорила о каком-то не совсем еще прошедшем ужасе.

В ночном белье, с взлохматившейся от беспокойных движений бородою, с сердитыми глазами, сановник был похож на всякого другого сердитого старика, у которого бессонница и тяжелая одышка. Точно оголила его смерть, которую готовили для него люди, оторвала от пышности и внушительного великолепия, которые его окружали,— и трудно было поверить, что это у него так много власти, что это его тело, такое обыкновенное, простое человеческое тело, должно было погибнуть страшно, в огне и грохоте чудовищного взрыва. Не одеваясь и не чувствуя холода, он сел в первое попавшееся кресло, подпер рукою взлохмаченную бороду и сосредоточенно, в глубокой и спокойной задумчивости, уставился глазами в лепной незнакомый потолок.

Так вот в чем дело! Так вот почему он так струсил и так взволновался! Так вот почему она стоит в углу и не уходит и не может уйти!

— Дураки! — сказал он презрительно и веско.

— Дураки! — повторил он громче и слегка повернул голову к двери, чтобы слышали те, к кому это относится. А относилось это к тем, кого недавно он называл молодцами и кто в излишке усердия подробно рассказал ему о готовящемся покушении.

«Ну, конечно,— думал он глубоко, внезапно окрепшею и плавною мыслью,— ведь это теперь, когда мне рассказали, я знаю и мне страшно, а ведь тогда бы я ничего не знал и спокойно пил бы кофе. Ну, а потом, конечно, эта смерть,— но разве я так боюсь смерти? Вот у меня болят почки, и умру же я когда-нибудь, а мне не страшно, потому что ничего не знаю. А эти дураки сказали: в час дня, ваше превосходительство. И думали, дураки, что я буду радоваться, а вместо того она стала в углу и не уходит. Не уходит, потому что это моя мысль. И не смерть страшна, а знание ее; и было бы совсем невозможно жить, если бы человек мог вполне точно и определенно знать день и час, когда умрет. А эти дураки предупреждают: «В час дня, ваше превосходительство!»

Стало так легко и приятно, словно кто-то сказал ему, что он совсем бессмертен и не умрет никогда. И, снова чувствуя себя сильным и умным среди этого стада дураков, что так бессмысленно и нагло врываются в тайну грядущего, он задумался о блаженстве неведения тяжелыми мысля-

ми старого, больного, много испытавшего человека. Ничему живому, ни человеку, ни зверю, не дано знать дня и часа своей смерти. Вот он был болен недавно, и врачи сказали ему, что умрет, что нужно сделать последние распоряжения,— а он не поверил им и действительно остался жив. А в молодости было так: запутался он в жизни и решил покончить с собой; и револьвер приготовил, и письма написал, и даже назначил час дня самоубийства,— а перед самым концом вдруг передумал. И всегда, в самое последнее мгновение может что-нибудь измениться, может явиться неожиданная случайность, и оттого никто не может про себя сказать, когда он умрет.

«В час дня, ваше превосходительство»,— сказали ему эти любезные ослы, и, хотя сказали только потому, что смерть предотвращена, одно уже знание ее возможного часа наполнило его ужасом. Вполне допустимо, что когда-нибудь его и убьют, но завтра этого не будет — завтра этого не будет,— и он может спать спокойно, как бессмертный. Дураки, они не знали, какой великий закон они свернули с места, какую дыру открыли, когда сказали с этой своею идиотской любезностью: «В час дня, ваше превосходительство».

— Нет, не в час дня, ваше превосходительство, а неизвестно когда. Неизвестно когда. Что?

— Ничего,— ответила тишина.— Ничего.

— Нет, ты говоришь что-то.

— Ничего, пустяки. Я говорю: завтра, в час дня.

И с внезапной острой тоскою в сердце он понял, что не будет ему ни сна, ни покоя, ни радости, пока не пройдет этот проклятый, черный, выхваченный из циферблата час. Только тень знания о том, о чем не должно знать ни одно живое существо, стояла там в углу, и ее было достаточно, чтобы затмить свет и нагнать на человека непроглядную тьму ужаса. Потревоженный однажды страх смерти расплывался по телу, внедрялся в кости, тянул бледную голову из каждой поры тела.

Уже не завтрашних убийц боялся он,— они исчезли, забылись, смешались с толпою враждебных лиц и явлений, окружающих его человеческую жизнь,— а чего-то внезапного и неизбежного: апоплексического удара, разрыва сердца, какой-то тоненькой глупой аорты, которая вдруг не выдержит напора крови и лопнет, как туго натянутая перчатка на пухлых пальцах.

И страшною казалась короткая, толстая шея, и невыносимо было смотреть на заплывшие короткие пальцы,

чувствовать, как они коротки, как они полны смертельною влагой. И если раньше, в темноте, он должен был шевелиться, чтобы не походить на мертвеца, то теперь, в этом ярком, холодно-враждебном, страшном свете, казалось ужасным, невозможным пошевелиться, чтобы достать папиросу — позвонить кого-нибудь. Нервы напрягались. И каждый нерв казался похожим на вздыбившуюся выгнутую проволоку, на вершине которой маленькая головка с безумно вытаращенными от ужаса глазами, судорожно разинутым, задохнувшимся, безмолвным ртом. Нечем дышать.

И вдруг в темноте, среди пыли и паутины, где-то под потолком ожил электрический звонок. Маленький металлический язычок судорожно, в ужасе, бился о край звенящей чашки, замолкал — и снова трепетал в непрерывном ужасе и звоне. Это звонил из своей комнаты его превосходительство.

Забегали люди. Там и здесь, в люстрах и по стене, вспыхнули отдельные лампочки,— их мало было для света, но достаточно для того, чтобы появились тени. Всюду появились они: встали в углах, протянулись по потолку; трепетно цепляясь за каждое возвышение, прилегли к стенам; и трудно было понять, где находились раньше все эти бесчисленные уродливые, молчаливые тени, безгласные души безгласных вещей.

Что-то громко говорил густой дрожащий голос. Потом требовали доктора по телефону: сановнику было дурно. Вызвали и жену его превосходительства.

2. К СМЕРТНОЙ КАЗНИ ЧЕРЕЗ ПОВЕШЕНИЕ

Вышло так, как загадала полиция. Четверых террористов, трех мужчин и одну женщину, вооруженных бомбами, адскими машинами и револьверами, схватили у самого подъезда, пятую — нашли и арестовали на конспиративной квартире, хозяйкою которой она состояла. Захватили при этом много динамиту, полуснаряженных бомб и оружия. Все арестованные были очень молоды: старшему из мужчин было двадцать восемь лет, младшей из женщин всего девятнадцать. Судили их в той же крепости, куда заключили после ареста, судили быстро и глухо, как делалось в то беспощадное время.

На суде все пятеро были спокойны, но очень серьезны и очень задумчивы: так велико было их презрение к судьям,

что никому не хотелось лишней улыбкой или притворным выражением веселья подчеркнуть свою смелость. Ровно настолько были они спокойны, сколько нужно для того, чтобы оградить свою душу и великий предсмертный мрак ее от чужого, злого и враждебного взгляда. Иногда отказывались отвечать на вопросы, иногда отвечали — коротко, просто и точно, словно не судьям, а статистикам отвечали они для заполнения каких-то особенных таблиц. Трое, одна женщина и двое мужчин, назвали свои настоящие имена, двое отказались назвать их и так и остались для судей неизвестными. И ко всему, происходившему на суде, обнаруживали они то смягченное, сквозь дымку, любопытство, которое свойственно людям или очень тяжело больным, или же захваченным одною огромною, всепоглощающей мыслью. Быстро взглядывали, ловили на лету какое-нибудь слово, более интересное, чем другие,— и снова продолжали думать, с того же места, на каком остановилась мысль.

Первым от судей помещался один из назвавших себя — Сергей Головин, сын отставного полковника, сам бывший офицер. Это был совсем еще молодой, белокурый, широкоплечий юноша, такой здоровый, что ни тюрьма, ни ожидание неминуемой смерти не могли стереть краски с его щек и выражения молодой, счастливой наивности с его голубых глаз. Все время он энергично пощипывал лохматую светлую бородку, к которой еще не привык, и неотступно, щурясь и мигая, глядел в окно.

Это происходило в конце зимы, когда среди снежных бурь и тусклых морозных дней недалекая весна посылала, как предтечу, ясный, теплый солнечный день или даже один только час, но такой весенний, такой жадно молодой и сверкающий, что воробьи на улице сходили с ума от радости и точно пьянели люди. И теперь, в верхнее запыленное, с прошлого лета не протиравшееся окно было видно очень странное и красивое небо: на первый взгляд оно казалось молочно-серым, дымчатым, а когда смотреть дольше — в нем начинала проступать синева, оно начинало голубеть все глубже, все ярче, все беспредельнее. И то, что оно не открывалось все сразу, а целомудренно таилось в дымке прозрачных облаков, делало его милым, как девушку, которую любишь; и Сергей Головин глядел в небо, пощипывал бородку, щурил то один, то другой глаз с длинными пушистыми ресницами и что-то усиленно соображал. Один раз он даже быстро зашевелил пальцами и наивно сморщился от какой-то радости,— но взглянул кругом и погас, как искра, на которую наступили ногою. И почти мгно-

венно сквозь краску щек, почти без перехода в бледность, проступила землистая, мертвенная синева; и пушистый волос, с болью выдираясь из гнезда, сжался, как в тисках, в побелевших на кончике пальцах. Но радость жизни и весны была сильнее — и через несколько минут прежнее, молодое, наивное лицо тянулось к весеннему небу.

Туда же, в небо, смотрела молодая бледная девушка, неизвестная, по прозвищу Муся. Она была моложе Головина, но казалась старше в своей строгости, в черноте своих прямых и гордых глаз. Только очень тонкая, нежная шея да такие же тонкие девичьи руки говорили о ее возрасте, да еще то неуловимое, что есть сама молодость и что звучало так ясно в ее голосе, чистом, гармоничном, настроенном безупречно, как дорогой инструмент, в каждом простом слове, восклицании, открывающем его музыкальное содержание. Была она очень бледна, но не мертвенной бледностью, а той особенной горячей белизной, когда внутри человека как бы зажжен огромный, сильный огонь, и тело прозрачно светится, как тонкий севрский фарфор. Сидела она почти не шевелясь и только изредка незаметным движением пальцев ощупывала углубленную полоску на среднем пальце правой руки, след какого-то недавно снятого кольца. И на небо она смотрела без ласки и радостных воспоминаний, только потому, что во всей грязной казенной зале этот голубой кусочек неба был самым красивым, чистым и правдивым — ничего не выпытывал у ее глаз.

Сергея Головина судьи жалели, ее же ненавидели.

Также не шевелясь, в несколько чопорной позе, сложив руки между колен, сидел сосед ее, неизвестный, по прозвищу Вернер. Если лицо можно замкнуть, как глухую дверь, то свое лицо неизвестный замкнул, как дверь железную, и замок на ней повесил железный. Смотрел он неподвижно вниз на дощатый грязный пол, и нельзя было понять: спокоен он или волнуется бесконечно, думает о чем-нибудь или слушает, что показывают перед судом сыщики. Роста он был невысокого; черты лица имел тонкие и благородные. Нежный и красивый настолько, что напоминал лунную ночь где-нибудь на юге, на берегу моря, где кипарисы и черные тени от них, он в то же время будил чувство огромной спокойной силы, непреоборимой твердости, холодного и дерзкого мужества. Самая вежливость, с какою давал он короткие и точные ответы, казалась опасною в его устах, в его полупоклоне; и если на всех других арестантский халат казался нелепым шутовством, то на нем его не было видно совсем,— так чуждо было платье челове-

ку. И хотя у других террористов были найдены бомбы и адские машины, а у Вернера только черный револьвер, судьи считали почему-то главным его и обращались к нему с некоторой почтительностью, так же кратко и деловито.

Следующий за ним, Василий Каширин, весь состоял из одного сплошного, невыносимого ужаса смерти и такого же отчаянного желания сдержать этот ужас и не показать его судьям. С самого утра, как только повели их на суд, он начал задыхаться от учащенного биения сердца; на лбу все время капельками выступал пот, так же потны и холодны были руки, и липла к телу, связывая его движения, холодная потная рубаха. Сверхъестественным усилием воли он заставлял пальцы свои не дрожать, голос быть твердым и отчетливым, глаза спокойными. Вокруг себя он ничего не видел, голоса приносились к нему как из тумана, и в этот же туман посылал он свои отчаянные усилия — отвечать твердо, отвечать громко. Но, ответив, он тотчас забывал как и вопрос, так и ответ свой, и снова молчаливо и страшно боролся. И так явственно выступала в нем смерть, что судьи избегали смотреть на него, и трудно было определить его возраст, как у трупа, который уже начал разлагаться. По паспорту же ему было всего двадцать три года. Раз или два Вернер тихо прикасался рукою к его колену, и каждый раз он отвечал одним словом:

— Ничего.

Самое страшное было для него, когда являлось вдруг нестерпимое желание кричать — без слов, животным отчаянным криком. Тогда он тихо прикасался к Вернеру, и тот, не поднимая глаз, отвечал ему тихо:

— Ничего, Вася. Скоро кончится.

И, всех обнимая материнским заботливым оком, изнывала в тревоге пятая террористка, Таня Ковальчук. У нее никогда не было детей, она была еще очень молода и краснощека, как Сергей Головин, но казалась матерью всем этим людям: так заботливы, так бесконечно любовны были ее взгляды, улыбка, страхи. На суд она не обращала никакого внимания, как на нечто совсем постороннее, и только слушала, как отвечают другие: не дрожит ли голос, не боится ли, не дать ли воды.

На Васю она не могла смотреть от тоски и только тихонько ломала свои пухлые пальцы; на Мусю и Вернера смотрела с гордостью и почтением и лицо делала серьезное и сосредоточенное, а Сергею Головину все старалась передать свою улыбку.

«Милый, на небо смотрит. Посмотри, посмотри, голубчик,— думала она про Головина.— А Вася? Что же это, Боже мой, Боже мой... Что же мне с ним делать? Сказать что-нибудь — еще хуже сделаешь: вдруг заплачет?»

И, как тихий пруд на заре, отражающий каждое бегущее облако, отражала она на пухлом, милом, добром лице своем всякое быстрое чувство, всякую мысль тех четверых. О том, что ее также судят и также повесят, она не думала совсем — была глубоко равнодушна. Это у нее на квартире открыли склад бомб и динамита; и, как ни странно,— это она встретила полицию выстрелами и ранила одного сыщика в голову.

Суд кончился часов в восемь, когда уже стемнело. Постепенно гасло перед глазами Муси и Сергея Головина синеющее небо, но не порозовело оно, не улыбнулось тихо, как в летние вечера, а замутилось, посерело, вдруг стало холодным и зимним. Головин вздохнул, потянулся, еще раза два взглянул в окно, но там стояла уже холодная ночная тьма; и, продолжая пощипывать бородку, он начал с детским любопытством разглядывать судей, солдат с ружьями, улыбнулся Тане Ковальчук. Муся же, когда небо погасло, спокойно, не опуская глаз на землю, перевела их в угол, где тихо колыхалась паутинка под незаметным напором духового отопления; и так оставалась до объявления приговора.

После приговора, простившись с защитниками во фраках и избегая их беспомощно растерянных, жалобных и виноватых глаз, обвиненные столкнулись на минуту в дверях и обменялись короткими фразами.

— Ничего, Вася. Кончится скоро все,— сказал Вернер.

— Да я, брат, ничего,— громко, спокойно и даже как будто весело ответил Каширин.

И действительно, лицо его слегка порозовело и уже не казалось лицом разлагающегося трупа.

— Чтобы черт их побрал, ведь повесили-таки,— наивно обругался Головин.

— Так и нужно было ожидать,— ответил Вернер спокойно.

— Завтра будет объявлен приговор в окончательной форме, и нас посадят вместе,— сказала Ковальчук, утешая.— До самой казни вместе будем сидеть.

Муся молчала. Потом решительно двинулась вперед.

3. МЕНЯ НЕ НАДО ВЕШАТЬ

За две недели перед тем, как судили террористов, тот же военно-окружной суд, но только в другом составе, судил и приговорил к смертной казни через повешение Ивана Янсона, крестьянина.

Этот Иван Янсон был батраком у зажиточного фермера и ничем особенным не отличался от других таких же работников-бобылей. Родом он был эстонец, из Везенберга, и постепенно, в течение нескольких лет, переходя из одной фермы в другую, придвинулся к самой столице. По-русски он говорил очень плохо, а так как хозяин его был русский, по фамилии Лазарев, и эстонцев поблизости не было, то почти все два года Янсон молчал. По-видимому, и вообще он не был склонен к разговорчивости, и молчал не только с людьми, но и с животными: молча поил лошадь, молча запрягал ее, медленно и лениво двигаясь вокруг нее маленькими, неуверенными шажками, а когда лошадь, недовольная молчанием, начинала капризничать и заигрывать, молча бил ее кнутовищем. Бил он ее жестоко, с холодной и злой настойчивостью, и если это случалось в то время, когда он находился в тяжелом состоянии похмелья, то доходил до неистовства. Тогда до самого дома доносился хлест кнута и испуганный, дробный, полный боли, стук копыт по дощатому полу сарая. За то, что Янсон бьет лошадь, хозяин бил его самого, но исправить не мог, и так и бросил.

Раз или два в месяц Янсон напивался, и происходило это обычно в те дни, когда он отвозил хозяина на большую железнодорожную станцию, где был буфет. Ссадив хозяина, он отъезжал на полверсты от станции и там, завязив в снегу в стороне от дороги сани и лошадь, пережидал отхода поезда. Сани стояли боком, почти лежали, лошадь по пузо уходила в сугроб раскоряченными ногами и изредка тянула морду вниз, чтобы лизнуть мягкого пушистого снега, а Янсон полулежал в неудобной позе на санях и как будто дремал. Развязанные наушники его облезлой меховой шапки бессильно свисали вниз, как уши у легавой собаки, и было влажно под маленьким красноватым носиком.

Потом Янсон возвращался на станцию и быстро напивался.

Назад на ферму, все десять верст, он несся вскачь. Избитая, доведенная до ужаса лошаденка скакала всеми четырьмя ногами как угорелая, сани раскатывались, наклонялись, бились о столбы, а Янсон, опустив вожжи и каждую минуту почти вылетая из саней, не то пел, не то

выкрикивал что-то по-эстонски отрывистыми, слепыми фразами. А чаще даже и не пел, а молча, крепко стиснув зубы от наплыва неведомой ярости, страданий и восторга, несся вперед и был как слепой: не видел встречных, не окрикивал, не замедлял бешеного хода ни на заворотах, ни на спусках. Как он не задавил кого-нибудь, как сам не разбился насмерть в одну из таких диких поездок — оставалось непонятным.

Его уже давно следовало прогнать, как прогоняли его и с других мест, но он был дешев и другие работники бывали не лучше, и так оставался он два года. Событий в жизни Янсона не было никаких. Однажды он получил письмо по-эстонски, но так как сам был неграмотен, а другие по-эстонски не знали, то так письмо и осталось непрочитанным; и с каким-то диким, изуверским равнодушием, точно не понимая, что письмо несет вести с родины, Янсон бросил его в навоз. Попробовал еще Янсон поухаживать за стряпухой, томясь, видимо, по женщине, но успеха не имел и был грубо отвергнут и осмеян: был он маленького роста, щуплый, лицо имел веснушчатое, дряблое и сонные глазки бутылочного, грязного цвета. И неудачу свою Янсон встретил равнодушно и больше к стряпухе не приставал.

Но, мало говоря, Янсон все время к чему-то прислушивался. Слушал он и унылое снежное поле, с бугорками застывшего навоза, похожего на ряд маленьких, занесенных снегом могил, и синие нежные дали, и телеграфные гудящие столбы, и разговоры людей. Что́ говорило ему поле и телеграфные столбы, знал только он один, а разговоры людей были тревожны, полны слухами об убийствах, о грабежах, о поджогах. И было слышно однажды ночью, как в соседнем поселке жидко и беспомощно тренькал на кирке маленький колокол, похожий на колокольчик, и трещало пламя пожара: то какие-то приезжие ограбили богатую ферму, хозяина и жену его убили, а дом подожгли.

И на ихней ферме жили тревожно: не только ночью, но и днем спускали собак, и хозяин ночью клал возле себя ружье. Такое же ружье, но только одноствольное и старое, он хотел дать Янсону, но тот повертел ружье в руках, покачал головою и почему-то отказался. Хозяин не понял причины отказа и обругал Янсона, а причина была в том, что Янсон больше верил в силу своего финского ножа, чем этой старой ржавой штуке.

— Она меня самого убьет,— сказал Янсон, сонно смотря на хозяина стеклянными глазками.

И хозяин в отчаянии махнул рукою:

— Ну и дурак же ты, Иван. Вот тут и поживи с такими работниками.

И вот этот самый Иван Янсон, не доверявший ружью, в один зимний вечер, когда другого работника услали на станцию, совершил весьма сложное покушение на вооруженный грабеж, на убийство и на изнасилование женщины. Сделал он это как-то удивительно просто: запер стряпуху в кухне, лениво, с видом человека, которому смертельно хочется спать, подошел сзади к хозяину и быстро, раз за разом, ударил его в спину ножом. Хозяин в беспамятстве свалился, хозяйка заметалась и завопила, а Янсон, оскалив зубы, размахивая ножом, начал разворачивать сундуки, комоды. Достал деньги, а потом точно впервые увидел хозяйку и неожиданно для себя самого кинулся к ней, чтобы изнасиловать. Но так как нож при этом он упустил, то хозяйка оказалась сильнее и не только не дала себя изнасиловать, а чуть не удушила его. А тут заворочался на полу хозяин, загремела ухватом кухарка, вышибая кухонную дверь, и Янсон убежал в поле. Схватили его через час, когда он, сидя на корточках за углом сарая и зажигая одну за другою тухнущие спички, совершал покушение на поджог.

Через несколько дней хозяин умер от заражения крови, а Янсона, когда наступил его черед в ряду других грабителей и убийц, судили и приговорили к смертной казни. На суде он был такой же, как всегда: маленький, щуплый, веснушчатый, с стеклянными сонными глазками. Он как будто не совсем понимал значение происходящего и по виду был совершенно равнодушен: моргал белыми ресницами, тупо, без любопытства, оглядывал незнакомую важную залу и ковырял в носу жестким, заскорузлым, негнущимся пальцем. Только те, кто видал его по воскресеньям в кирке, могли бы догадаться, что он несколько принарядился: надел на шею вязаный грязно-красный шарф и кое-где примочил волосы на голове; и там, где волосы были примочены, они темнели и лежали гладко, а на другой стороне торчали светлыми и редкими вихрами — как соломинки на тощей, градом побитой ниве.

Когда был объявлен приговор: к смертной казни через повешение, Янсон вдруг заволновался. Он густо покраснел и начал завязывать и развязывать шарф, точно он душил его. Потом бестолково замахал руками и сказал, обращаясь к тому судье, который не читал приговора, и показывая пальцем на того, который читал:

— Она сказала, что меня надо вешать.

— Какая такая она? — густо, басом, спросил председатель, читавший приговор.

Все улыбнулись, пряча улыбки под усами и в бумагах, а Янсон ткнул указательным пальцем на председателя и сердито, исподлобья, ответил:

— Ты!

— Ну?

Янсон опять обратил глаза к молчащему, сдержанно улыбавшемуся судье, в котором чувствовал друга и человека к приговору совершенно не причастного, и повторил:

— Она сказала, что меня надо вешать. Меня не надо вешать.

— Уведите обвиняемого.

Но Янсон успел еще раз убедительно и веско повторить:

— Меня не надо вешать.

Он так был нелеп с своим маленьким, сердитым лицом, которому напрасно пытался придать важность, с своим протянутым пальцем, что даже конвойный солдат, нарушая правила, сказал ему вполголоса, уводя из залы:

— Ну и дурак же ты, парень.

— Меня не надо вешать,— упрямо повторил Янсон.

— Вздернут за мое почтение, дрыгнуть не успеешь.

— Ну-ну, помалкивай! — сердито окрикнул другой конвойный. Но не утерпел сам и добавил: — Тоже грабитель! За что, дурак, душу человеческую загубил? Вот теперь и повиси.

— Может, помилуют? — сказал первый солдат, которому жалко стало Янсона.

— Как же! Таких миловать... Ну, буде, поговорили.

Но Янсон уже замолчал. И опять его посадили в ту камеру, в которой он уже сидел месяц и к которой успел привыкнуть, как привыкал ко всему: к побоям, к водке, к унылому снежному полю, усеянному круглыми бугорками, как кладбище. И теперь ему даже весело стало, когда он увидел свою кровать, свое окно с решеткой, и ему дали поесть — с утра он ничего не ел. Неприятно было только то, что произошло на суде, но думать об этом он не мог, не умел. И смерти через повешение не представлял совсем.

Хотя Янсон и приговорен был к смертной казни, но таких, как он, было много, и важным преступником его в тюрьме не считали. Поэтому с ним разговаривали без опаски и без уважения, как со всяким другим, кому не предстоит смерть. Точно не считали его смерти за смерть. Надзиратель, узнав о приговоре, сказал ему наставительно:

— Что, брат? Вот и повесили!

— А когда меня будут вешать? — недоверчиво спросил Янсон.

Надзиратель задумался.

— Ну, это, брат, придется тебе погодить. Пока партию не собьют. А то для одного, да еще для такого, и стараться не стоит. Тут нужен подъем.

— Ну, а когда? — настойчиво спрашивал Янсон.

Ему нисколько не было обидно, что одного его даже вешать не стоит, и он этому не поверил, счел за предлог, чтобы отсрочить казнь, а потом и совсем отменить ее. И радостно стало: смутный и страшный момент, о котором нельзя думать, отодвигался куда-то вдаль, становился сказочным и невероятным, как всякая смерть.

— Когда, когда! — рассердился надзиратель, старик тупой и угрюмый.— Это тебе не собаку вешать: отвел за сарай, раз, и готово. А ты так бы и хотел, дурак!

— А я не хочу! — вдруг весело сморщился Янсон.— Это она сказала, что меня надо вешать, а я не хочу!

И, может быть, в первый раз в своей жизни он засмеялся: скрипучим, нелепым, но страшно веселым и радостным смехом. Как будто гусь закричал: га-га-га! Надзиратель с удивлением посмотрел на него, потом нахмурился строго: эта нелепая веселость человека, которого должны казнить, оскорбляла тюрьму и самую казнь и делала их чем-то очень странным. И вдруг на одно мгновение, на самое коротенькое мгновение, старому надзирателю, всю жизнь проведшему в тюрьме, ее правила признававшему как бы за законы природы, показалась и она, и вся жизнь чем-то вроде сумасшедшего дома, причем он, надзиратель, и есть самый главный сумасшедший.

— Тьфу, чтоб тебя! — отплюнулся он.— Чего зубы скалишь, тут тебе не кабак!

— А я не хочу — га-га-га! — смеялся Янсон.

— Сатана! — сказал надзиратель, чувствуя потребность перекреститься.

Менее всего был похож на сатану этот человек с маленьким, дряблым личиком, но было в его гусином гоготанье что-то такое, что уничтожало святость и крепость тюрьмы. Посмейся он еще немного — и вот развалятся гнилостно стены, и упадут размокшие решетки, и надзиратель сам выведет арестантов за ворота: пожалуйте, господа, гуляйте себе по городу,— а может, кто и в деревню хочет? Сатана!

Но Янсон уже перестал смеяться и только щурился лукаво.

— Ну то-то! — сказал надзиратель с неопределенной угрозой и ушел, оглядываясь.

Весь этот вечер Янсон был спокоен и даже весел. Он повторял про себя сказанную фразу: меня не надо вешать, и она была такою убедительною, мудрою, неопровержимой, что ни о чем не стоило беспокоиться. О своем преступлении он давно забыл и только иногда жалел, что не удалось изнасиловать хозяйку. А скоро забыл и об этом.

Каждое утро Янсон спрашивал, когда его будут вешать, и каждое утро надзиратель сердито отвечал:

— Успеешь еще, сатана. Посиди! — и уходил поскорее, пока не успел Янсон рассмеяться.

И от этих однообразно повторяющихся слов и от того, что каждый день начинался, проходил и кончался, как самый обыкновенный день, Янсон бесповоротно убедился, что никакой казни не будет. Очень быстро он стал забывать о суде и целыми днями валялся на койке, смутно и радостно грезя об унылых снежных полях с их бугорками, о станционном буфете, о чем-то еще более далеком и светлом. В тюрьме его хорошо кормили, и как-то очень быстро, за несколько дней, он пополнел и стал немного важничать.

«Теперь она меня и так бы полюбила,— подумал он както про хозяйку.— Теперь я толстый, не хуже хозяина».

И только выпить водки очень хотелось — выпить и быстро-быстро прокатиться на лошадке.

Когда террористов арестовали, весть об этом дошла до тюрьмы: и на обычный вопрос Янсона надзиратель вдруг неожиданно и дико ответил:

— Теперь скоро.

Глядел на него спокойно и важно говорил:

— Теперь скоро. Думаю так, что через недельку.

Янсон побледнел и, точно совсем засыпая, так мутен был взгляд его стеклянных глаз, спросил:

— Ты шутишь?

— То дождаться не мог, а то шутишь. У нас шуток не полагается. Это вы шутить любите, а у нас шуток не полагается,— сказал надзиратель с достоинством и ушел.

Уже к вечеру этого дня Янсон похудел. Его растянувшаяся, на время разгладившаяся кожа вдруг собралась в множество маленьких морщинок, кое-где даже обвисла как будто. Глаза сделались совсем сонными, и все движения стали так медленны и вялы, словно каждый поворот головы, движение пальцев, шаг ногою был таким сложным и громоздким предприятием, которое раньше нужно очень долго

обдумать. Ночью он лег на койку, но глаз не закрыл, и так, сонные, до утра они оставались открыты.

— Ага! — сказал надзиратель с удовольствием, увидев его на следующий день.— Тут тебе, голубчик, не кабак.

С чувством приятного удовлетворения, как ученый, опыт которого еще раз удался, он с ног до головы, внимательно и подробно оглядел осужденного: теперь все пойдет как следует. Сатана посрамлен, восстановлена святость тюрьмы и казни,— и снисходительно, даже жалея искренно, старик осведомился:

— Видеться с кем будешь или нет?

— Зачем видеться?

— Ну, проститься. Мать, например, или брат.

— Меня не надо вешать,— тихо сказал Янсон и искоса поглядел на надзирателя.— Я не хочу.

Надзиратель посмотрел — и молча махнул рукой.

К вечеру Янсон несколько успокоился. День был такой обыкновенный, так обыкновенно светило облачное зимнее небо, так обыкновенно звучали в коридоре шаги и чей-то деловой разговор, так обыкновенно, и естественно, и обычно пахли щи из кислой капусты, что он опять перестал верить в казнь. Но к ночи стало страшно. Прежде Янсон ощущал ночь просто как темноту, как особенное темное время, когда нужно спать, но теперь он почувствовал ее таинственную и грозную сущность. Чтобы не верить в смерть, нужно видеть и слышать вокруг себя обыкновенное: шаги, голоса, свет, щи из кислой капусты, а теперь все было необыкновенное, и эта тишина, и этот мрак и сами по себе были уже как будто смертью.

И чем дальше тянулась ночь, тем все страшнее становилось. С наивностью дикаря или ребенка, считающих возможным все, Янсону хотелось крикнуть солнцу: свети! И он просил, он умолял, чтобы солнце светило, но ночь неуклонно влекла над землею свои черные часы, и не было силы, которая могла бы остановить ее течение. И эта невозможность, впервые так ясно представшая слабому мозгу Янсона, наполнила его ужасом: еще не смея почувствовать это ясно, он уже сознал неизбежность близкой смерти и мертвеющей ногою ступил на первую ступень эшафота.

День опять успокоил его, и ночь опять напугала, и так было до той ночи, когда он и сознал и почувствовал, что смерть неизбежна и наступит через три дня, на рассвете, когда будет вставать солнце.

Он никогда не думал о том, что такое смерть, и образа для него смерть не имела,— но теперь он почувствовал

ясно, увидел, ощутил, что она вошла в камеру и ищет его, шаря руками. И, спасаясь, он начал бегать по камере.

Но камера была такая маленькая, что, казалось, не острые, а тупые углы в ней, и все толкают его на середину. И не за что спрятаться. И дверь заперта. И светло. Несколько раз молча ударился туловищем о стены, раз стукнулся о дверь — глухо и пусто. Наткнулся на что-то и упал лицом вниз, и тут почувствовал, что она его хватает. И, лежа на животе, прилипая к полу, прячась лицом в его темный, грязный асфальт, Янсон завопил от ужаса. Лежал и кричал во весь голос, пока не пришли. И когда уже подняли с пола, и посадили на койку, и вылили на голову холодной воды, Янсон все еще не решался открыть крепко зажмуренных глаз. Приоткроет один, увидит светлый пустой угол или чей-то сапог в пустоте и опять начнет кричать.

Но холодная вода начала действовать. Помогло и то, что дежурный надзиратель, все тот же старик, несколько раз лекарственно ударил Янсона по голове. И это ощущение жизни действительно прогнало смерть, и Янсон открыл глаза, и остальную часть ночи, с помутившимся мозгом, крепко проспал. Лежал на спине, с открытым ртом, и громко, заливисто храпел; и между неплотно закрытых век белел плоский и мертвый глаз без зрачка.

А дальше все в мире, и день, и ночь, и шаги, и голоса, и щи из кислой капусты стали для него сплошным ужасом, повергли его в состояние дикого, ни с чем не сравнимого изумления. Его слабая мысль не могла связать этих двух представлений, так чудовищно противоречащих одно другому: обычно светлого дня, запаха и вкуса капусты — и того, что через два дня, через день он должен умереть. Он ничего не думал, он даже не считал часов, а просто стоял в немом ужасе перед этим противоречием, разорвавшим его мозг на две части; и стал он ровно бледный, ни белее, ни краснее, и по виду казался спокойным. Только ничего не ел и совсем перестал спать: или всю ночь, поджав пугливо под себя ноги, сидел на табурете, или тихонько, крадучись и сонно озираясь, прогуливался по камере. Рот у него все время был полураскрыт, как бы от непрестанного величайшего удивления; и, прежде чем взять в руки какой-нибудь самый обыкновенный предмет, он долго и тупо рассматривал его и брал недоверчиво.

И когда он стал таким, и надзиратели и солдат, наблюдавший за ним в окошечко, перестали обращать на него

внимание. Это было обычное для осужденных состояние, сходное, по мнению надзирателя, никогда его не испытавшего, с тем, какое бывает у убиваемой скотины, когда ее оглушат ударом обуха по лбу.

— Теперь он оглох, теперь он до самой смерти ничего не почувствует,— говорил надзиратель, вглядываясь в него опытными глазами.— Иван, слышишь? А, Иван?

— Меня не надо вешать,— тускло отозвался Янсон, и снова нижняя челюсть его отвисла.

— А ты бы не убивал, тебя бы и не повесили,— наставительно сказал старший надзиратель, еще молодой, но очень важный мужчина в орденах.— А то убить убил, а вешаться не хочешь.

— Захотел человека на дармовщинку убить. Глуп, глуп, а хитер.

— Я не хочу,— сказал Янсон.

— Что ж, милый, не хоти, дело твое,— равнодушно сказал старший.— Лучше бы, чем глупости говорить, имуществом распорядился — все что-нибудь да есть.

— Ничего у него нету. Одна рубаха да порты. Да вот еще шапка меховая — франт!

Так прошло время до четверга. А в четверг, в двенадцать часов ночи, в камеру к Янсону вошло много народу, и какой-то господин с погонами сказал:

— Ну-с, собирайтесь. Надо ехать.

Янсон, двигаясь все так же медленно и вяло, надел на себя все, что у него было, и повязал грязно-красный шарф. Глядя, как он одевается, господин в погонах, куривший папироску, сказал кому-то:

— А какой сегодня теплый день. Совсем весна.

Глазки у Янсона слипались, он совсем засыпал и ворочался так медленно и туго, что надзиратель прикрикнул:

— Ну, ну, живее. Заснул!

Вдруг Янсон остановился.

— Я не хочу,— сказал он вяло.

Его взяли под руки и повели, и он покорно зашагал, поднимая плечи. На дворе его сразу обвеяло весенним влажным воздухом, и под носиком стало мокро; несмотря на ночь, оттепель стала еще сильнее, и откуда-то звонко падали на камень частые веселые капли. И в ожидании, пока в черную без фонарей карету влезали, стуча шашками и сгибаясь, жандармы, Янсон лениво водил пальцем под мокрым носом и поправлял плохо завязанный шарф.

4. МЫ, ОРЛОВСКИЕ

Тем же присутствием военно-окружного суда, которое судило Янсона, был приговорен к смертной казни через повешение крестьянин Орловской губернии, Елецкого уезда, Михаил Голубец, по кличке Мишка Цыганок, он же Татарин. Последним преступлением его, установленным точно, было убийство трех человек и вооруженное ограбление; а дальше уходило в загадочную глубину его темное прошлое. Были смутные намеки на участие его в целом ряде других грабежей и убийств, чувствовались позади его кровь и темный пьяный разгул. С полной откровенностью, совершенно искренно, он называл себя разбойником и с иронией относился к тем, которые по-модному величали себя «экспроприаторами». О последнем преступлении, где запирательство не вело ни к чему, он рассказывал подробно и охотно, на вопросы же о прошлом только скалил зубы и посвистывал:

— Ищи ветра в поле!

Когда ж очень приставали с расспросами, Цыганок принимал серьезный и достойный вид.

— Мы все, орловские, проломленные головы,— говорил он степенно и рассудительно.— Орел да Кромы — первые воры. Карачев да Ливны — всем ворам дивны. А Елец — так тот всем ворам отец. Что ж тут толковать!

Цыганком его прозвали за внешность и воровские ухватки. Был он до странности черноволос, худощав, с пятнами желтого пригара на острых татарских скулах; как-то по-лошадиному выворачивал белки глаз и вечно куда-то торопился. Взгляд у него был короткий, но до жуткости прямой и полный любопытства, и вещь, на которую он коротко взглянул, точно теряла что-то, отдавала ему часть себя и становилась другою. Папиросу, на которую он взглянул, так же неприятно и трудно было взять, как будто она уже побывала в чужом рту. Какой-то вечный неугомон сидел в нем и то скручивал его, как жгут, то разбрасывал его широким снопом извивающихся искр. И воду он пил чуть ли не ведрами, как лошадь.

На все вопросы на суде он, вскакивая быстро, отвечал коротко, твердо и даже как будто с удовольствием:

— Верно!

Иногда подчеркивал:

— Вер-р-но!

И совершенно неожиданно, когда речь шла о другом, вскочил и попросил председателя:

— Дозвольте засвистать!

— Это зачем? — удивился тот.

— А как они показывают, что я давал знак товарищам, то вот. Очень интересно.

Слегка недоумевая, председатель согласился. Цыганок быстро вложил в рот четыре пальца, по два от каждой руки, свирепо выкатил глаза — и мертвый воздух судебной залы прорезал настоящий, дикий, разбойничий посвист, от которого прядают и садятся на задние ноги оглушенные лошади и бледнеет невольно человеческое лицо. И смертельная тоска того, кого убивают, и дикая радость убийцы, и грозное предостережение, и зов и тьма осенней ненастной ночи, и одиночество — все было в этом пронзительном и не человеческом и не зверином вопле.

Председатель что-то закричал, потом замахал на Цыганка рукою, и тот послушно смолк. И, как артист, победоносно исполнивший трудную, но всегда успешную арию, сел, вытер о халат мокрые пальцы и самодовольно оглядел присутствующих.

— Вот разбойник! — сказал один из судей, потирая ухо.

Но другой, с широкой русской бородою и татарскими, как у Цыганка, глазами, мечтательно поглядел куда-то поверх Цыганка, улыбнулся и возразил:

— А ведь действительно интересно.

И с спокойным сердцем, без жалости и без малейшего угрызения совести судьи вынесли Цыганку смертный приговор.

— Верно! — сказал Цыганок, когда приговор был прочитан.— Во чистом поле да перекладинка. Верно!

И, обратясь к конвойному, молодецки бросил:

— Ну, идем, что ли, кислая шерсть. Да ружье крепче держи — отыму!

Солдат сурово, с опаскою взглянул на него, переглянулся с товарищем и пощупал замок у ружья. Другой сделал так же. И всю дорогу до тюрьмы солдаты точно не шли, а летели по воздуху — так, поглощенные преступником, не чувствовали они ни земли под ногами, ни времени, ни самих себя.

До казни Мишке Цыганку, как и Янсону, пришлось провести в тюрьме семнадцать дней. И все семнадцать дней пролетели для него так быстро, как один — как одна неугасающая мысль о побеге, о воле и о жизни. Неугомон, владевший Цыганком и теперь сдавленный стенами, и решетками, и мертвым окном, в которое ничего не видно, обратил всю свою ярость внутрь и жег мысль Цыганка, как разбросанный по доскам уголь. Точно в пьяном угаре, роились,

сшибались и путались яркие, но незаконченные образы, неслись мимо в неудержимом ослепительном вихре, и все устремлялись к одному — к побегу, к воле, к жизни. То раздувая ноздри, как лошадь, Цыганок по целым часам нюхал воздух — ему чудилось, что пахнет коноплями и пожарным дымком, бесцветной и едкой гарью; то волчком крутился по камере, быстро ощупывая стены, постукивая пальцем, примеряясь, точа взглядом потолок, перепиливая решетки. Своею неугомонностью он измучил солдата, наблюдавшего за ним в глазок, и уже несколько раз, в отчаянии, солдат грозил стрелять; Цыганок грубо и насмешливо возражал, и только потому дело кончалось мирно, что препирательство скоро переходило в простую, мужицкую, неоскорбительную брань, при которой стрельба казалась нелепой и невозможной.

Ночи свои Цыганок спал крепко, почти не шевелясь, в неизменной, но живой неподвижности, как бездействующая временно пружина. Но, вскочив, тотчас принимался вертеться, соображать, ощупывать. Руки у него постоянно были сухие и горячие, но сердце иногда вдруг холодело: точно в грудь клали кусок нетающего льду, от которого по всему телу разбегалась мелкая сухая дрожь. И без того темный, в эти минуты Цыганок чернел, принимал оттенок синеватого чугуна. И странная привычка у него появилась: точно объевшись чего-то чрезмерно и невыносимо сладкого, он постоянно облизывал губы, чмокал и с шипением, сквозь зубы, сплевывал на пол набегающую слюну. И не договаривал слов: так быстро бежали мысли, что язык не успевал догнать их.

Однажды днем в сопровождении конвойного к нему вошел старший надзиратель. Покосился на заплеванный пол и угрюмо сказал:

— Ишь запакостил!

Цыганок быстро возразил:

— Ты вот, жирная морда, всю землю запакостил, а я тебе ничего. Зачем прилез?

Все так же угрюмо надзиратель предложил ему стать палачом. Цыганок оскалил зубы и захохотал.

— Ай не находится? Ловко! Вот и повесь, поди, ха-ха! И шея есть, и веревка есть, а вешать-то некому. Ей-Богу, ловко!

— Жив останешься зато.

— Ну еще бы: не мертвый же я тебе вешать-то буду. Сказал, дурак!

— Так как же? Тебе-то все равно: так или этак.

— А как у вас вешают? Небось втихомолку душат!

— Нет, с музыкой,— огрызнулся надзиратель.

— Ну и дурак. Конечно, надо с музыкой. Вот так! — И он запел что-то залихватское.

— Совсем ты, милый, порешился,— сказал надзиратель.— Ну, так как же, говори толком.

Цыганок оскалился:

— Какой скорый! Еще разок прийди, тогда скажу.

И в хаос ярких, но незаконченных образов, угнетавших Цыганка своею стремительностью, ворвался новый: как хорошо быть палачом в красной рубахе. Он живо представлял себе площадь, залитую народом, высокий помост, и как он, Цыганок, в красной рубахе разгуливает по нем с топориком. Солнце освещает головы, весело поблескивает на топорике, и так все весело и богато, что даже тот, кому сейчас рубить голову, тоже улыбается. А за народом видны телеги и морды лошадей — то мужики наехали из деревни; а дальше видно поле.

— Ц-ах! — чмокал Цыганок, облизываясь, и сплевывал набегавшую слюну.

И вдруг точно меховую шапку нахлобучили ему до самого рта: становилось темно и душно, и куском нетающего льду делалось сердце, посылая мелкую сухую дрожь.

Еще раза два заходил надзиратель, и, оскалив зубы, Цыганок говорил:

— Какой скорый. Еще разок зайди.

И наконец, мельком, в форточку, надзиратель крикнул:

— Проворонил свое счастье, ворона! Другого нашли!

— Ну и черт с тобой, вешай сам! — огрызнулся Цыганок. И перестал мечтать о палачестве.

Но под конец, чем ближе к казни, стремительность разорванных образов становилась невыносимою. Цыганку уже хотелось остановиться, раскорячить ноги и остановиться, но крутящийся поток уносил его, и ухватиться не за что было: все плыло кругом. И уже стал беспокойным сон: появились новые, выпуклые, тяжелые, как деревянные, раскрашенные чурки, сновидения, еще более стремительные, чем мысли. Уже не поток это был, а бесконечное падение с бесконечной горы, кружащийся полет через весь видимо красочный мир. На воле Цыганок носил одни довольно франтовские усы, а в тюрьме у него отросла короткая, черная, колючая борода, и это делало его страшным и сумасшедшим по виду. Временами Цыганок действительно забывался и совершенно бессмысленно кружился по каме-

ре, но все еще ощупывал шершавые штукатуренные стены. И воду пил, как лошадь.

Как-то к вечеру, когда зажгли огонь, Цыганок стал на четвереньки посреди камеры и завыл дрожащим волчьим воем. Был он как-то особенно серьезен при этом и выл так, будто делал важное и необходимое дело. Набирал полную грудь воздуха и медленно выпускал его в продолжительном, дрожащем вое; и внимательно, зажмурив глаза, прислушивался, как выходит. И самая дрожь в голосе казалась несколько умышленною; и не кричал он бестолково, а выводил тщательно каждую ноту в этом зверином вопле, полном несказанного ужаса и скорби.

Потом сразу оборвал вой и несколько минут, не поднимаясь с четверенек, молчал. Вдруг тихонько, в землю, забормотал:

— Голубчики, миленькие... Голубчики, миленькие, пожалейте... Голубчики!.. Миленькие!..

И тоже как будто прислушивался, как выходит. Скажет слово и прислушивается.

Потом вскочил — и целый час, не переводя духа, ругался по-матерщине.

— У, такие-сякие, туда-та-та-та! — орал он, выворачивая налившиеся кровью глаза.— Вешать так вешать, а не то... У, такие-сякие...

И белый как мел солдат, плача от тоски, от ужаса, тыкал в дверь дулом ружья и беспомощно кричал:

— Застрелю! Ей-Богу, застрелю! Слышишь!

Но стрелять не смел: в приговоренных к казни, если не было настоящего бунта, никогда не стреляли. А Цыганок скрипел зубами, бранился и плевал — его человеческий мозг, поставленный на чудовищно острую грань между жизнью и смертью, распадался на части, как комок сухой и выветрившейся глины.

Когда явились ночью в камеру, чтобы везти Цыганка на казнь, он засуетился и как будто ожил. Во рту стало еще слаще, и слюна набиралась неудержимо, но щеки немного порозовели, и в глазах заискрилось прежнее, немного дикое лукавство. Одеваясь, он спросил чиновника:

— Кто будет вешать-то? Новый? Поди, еще руку не набил.

— Об этом вам нечего беспокоиться,— сухо ответил чиновник.

— Как же не беспокоиться, ваше благородие, вешать-то будут меня, а не вас. Вы хоть мыла-то казенного на удавочку не пожалейте.

— Хорошо, хорошо, прошу вас замолчать.

— А то он у вас тут все мыло поел,— указал Цыганок на надзирателя,— ишь как рожа-то лоснится.

— Молчать!

— Уж не пожалейте!

Цыганок захохотал, но во рту становилось все слаще, и вдруг как-то странно начали неметь ноги. Все же, выйдя на двор, он сумел крикнуть:

— Карету графа Бенгальского!

5. ПОЦЕЛУЙ — И МОЛЧИ

Приговор относительно пяти террористов был объявлен в окончательной форме и в тот же день конфирмован. Осужденным не сказали, когда будет казнь, но по тому, как делалось обычно, они знали, что их повесят в эту же ночь или, самое позднее, в следующую. И когда им предложили видеться на следующий день, то есть в четверг, с родными, они поняли, что казнь будет в пятницу на рассвете.

У Тани Ковальчук близких родных не было, а те, что и были, находились где-то в глуши, в Малороссии, и едва ли даже знали о суде и предстоящей казни; у Муси и Вернера, как неизвестных, родных совсем не предполагалось, и только двоим, Сергею Головину и Василию Каширину, предстояло свидание с родителями. И оба они с ужасом и тоскою думали об этом свидании, но не решились отказать старикам в последнем разговоре, в последнем поцелуе.

Особенно мучился предстоящим свиданием Сергей Головин. Он очень любил отца своего и мать, еще совсем недавно виделся с ними и теперь был в ужасе — что это будет такое. Самая казнь, во всей ее чудовищной необычности, в поражающем мозг безумии ее, представлялась воображению легче и казалась не такою страшною, как эти несколько минут, коротких и непонятных, стоящих как бы вне времени, как бы вне самой жизни. Как смотреть, что думать, что говорить — отказывался понять его человеческий мозг. Самое простое и обычное: взять за руку, поцеловать, сказать: «Здравствуй, отец»,— казалось непостижимо ужасным в своей чудовищной, нечеловеческой, безумной лживости.

После приговора осужденных не посадили вместе, как предполагала Ковальчук, а оставили каждого в своей одиночке; и все утро, до одиннадцати часов, когда пришли родители, Сергей Головин шагал бешено по камере, щипал

бородку, морщился жалко и что-то ворчал. Иногда на всем ходу останавливался, набирал полную грудь воздуха и отдувался, как человек, который слишком долго пробыл под водою. Но так он был здоров, так крепко сидела в нем молодая жизнь, что даже в эти минуты жесточайших страданий кровь играла под кожей и окрашивала щеки, и светло и наивно голубели глаза.

Произошло все, однако, гораздо лучше, чем ожидал Сергей.

Первым вошел в комнату, где происходило свидание, отец Сергея, полковник в отставке, Николай Сергеевич Головин. Был он весь ровно белый, лицо, борода, волосы и руки, как будто снежную статую обрядили в человеческое платье; и все тот же был сюртучок, старенький, но хорошо вычищенный, пахнущий бензином, с новенькими поперечными погонами; и вошел он твердо, парадно, крепкими, отчетливыми шагами. Протянул белую сухую руку и громко сказал:

— Здравствуй, Сергей!

За ним мелко шагала мать и странно улыбалась. Но тоже пожала руку и громко повторила:

— Здравствуй, Сереженька!

Поцеловала в губы — и молча села. Не бросилась, не заплакала, не закричала, не сделала чего-то ужасного, чего ожидал Сергей,— а поцеловала и молча села. И даже расправила дрожащими руками черное шелковое платье.

Сергей не знал, что всю предыдущую ночь, затворившись в своем кабинетике, полковник с напряжением всех своих сил обдумывал этот ритуал. «Не отягчить, а облегчить должны мы последнюю минуту нашему сыну»,— твердо решил полковник и тщательно взвешивал каждую возможную фразу завтрашнего разговора, каждое движение. Но иногда запутывался, терял и то, что успел приготовить, и горько плакал в углу клеенчатого дивана. А утром объяснил жене, как нужно держать себя на свидании.

— Главное, поцелуй — и молчи! — учил он.— Потом можешь и говорить, несколько спустя, а когда поцелуешь, то молчи. Не говори сразу после поцелуя, понимаешь? — а то скажешь не то, что следует.

— Понимаю, Николай Сергеевич,— отвечала мать, плача.

— И не плачь. Избавь тебя Господи плакать! Да ты его убьешь, если плакать будешь, старуха!

— А зачем же ты сам плачешь?

— С вами заплачешь! Не должна плакать, слышишь?

— Хорошо, Николай Сергеевич.

На извозчике он хотел еще раз повторить наставление, но позабыл. И так и ехали они молча, согнувшись, оба седые и старые, и думали, а город весело шумел: была масленая неделя и на улицах было шумно и людно.

Сели. Полковник стал в приготовленной позе, заложив правую руку за борт сюртука. Сергей посидел одно мгновение, встретил близко морщинистое лицо матери и вскочил.

— Посиди, Сереженька,— попросила мать.

— Сядь, Сергей,— подтвердил отец.

Помолчали. Мать странно улыбалась.

— Как мы хлопотали за тебя, Сереженька.

— Напрасно это, мамочка...

Полковник твердо сказал:

— Мы должны были сделать это, Сергей, чтобы ты не думал, что родители оставили тебя.

Опять помолчали. Было страшно произнести слово, как будто каждое слово в языке потеряло свое значение и значило только одно: смерть. Сергей посмотрел на чистенький, пахнущий бензином сюртучок отца и подумал: «Теперь денщика нет, значит, он сам его чистил. Как же это я раньше не замечал, когда он чистит сюртук? Утром, должно быть». И вдруг спросил:

— А как сестра? Здорова?

— Ниночка ничего не знает,— поспешно ответила мать.

Но полковник строго остановил ее:

— Зачем лгать? Девочка прочла в газетах. Пусть Сергей знает, что все... близкие его... в это время... думали и...

Дальше он не сумел продолжать и остановился. Вдруг лицо матери как-то сразу смялось, расплылось, заколыхалось, стало мокрым и диким. Выцветшие глаза безумно таращились, дыхание делалось все чаще и короче и громче.

— Се... Сер... Се... Се...— повторяла она, не сдвигая губ.— Се...

— Мамочка!

Полковник шагнул вперед и, весь трясясь, каждой складкой своего сюртука, каждою морщинкою лица, не понимая, как сам он ужасен в своей мертвенной белизне, в своей вымученной отчаянной твердости, заговорил жене:

— Молчи! Не мучь его! Не мучь! Не мучь! Ему умирать! Не мучь!

Испуганная, она уже молчала, а он все еще сдержанно тряс перед грудью сжатыми кулаками и твердил:

— Не мучь!

Потом отошел назад, заложил за борт сюртука дрожащую руку и громко, с выражением усиленного спокойствия, спросил белыми губами:

— Когда?

— Завтра утром,— такими же белыми губами ответил Сергей.

Мать смотрела вниз, жевала губами и как будто ничего не слышала. И, продолжая жевать, точно выронила простые и странные слова:

— Ниночка велела поцеловать тебя, Сереженька.

— Поцелуй ее от меня,— сказал Сергей.

— Хорошо. Еще Хвостовы тебе кланяются.

— Какие Хвостовы? Ах, да!

Полковник перебил:

— Ну, надо идти. Поднимайся, мать, надо.

Вдвоем они подняли ослабевшую мать.

— Простись! — приказал полковник.— Перекрести.

Она сделала все, что ей говорили. Но, крестя и целуя сына коротким поцелуем, она качала головою и твердила бессмысленно:

— Нет, это не так. Нет, не так. Нет, нет. Как же я потом? Как же я скажу? Нет, не так.

— Прощай, Сергей! — сказал отец.

Они пожали руки и крепко, но коротко поцеловались.

— Ты...— начал Сергей.

— Ну? — отрывисто спросил отец.

— Нет, не так. Нет, нет. Как же я скажу? — твердила мать, покачивая головою. Она уже опять успела сесть и вся покачивалась.

— Ты...— опять начал Сергей.

Вдруг лицо его жалко, по-ребячьи сморщилось, и глаза сразу залило слезами. Сквозь их искрящуюся грань он близко увидел белое лицо отца с такими же глазами.

— Ты, отец, благородный человек.

— Что ты! Что ты! — испугался полковник.

И вдруг, точно сломавшись, упал головою на плечо к сыну. Был он когда-то выше Сергея, а теперь стал низеньким, и пушистая, сухая голова беленьким комочком лежала на плече сына. И оба молча жадно целовали: Сергей — пушистые белые волосы, а он — арестантский халат.

— А я? — вдруг сказал громкий голос.

Оглянулись: мать стояла и, закинув голову, смотрела с гневом, почти с ненавистью.

— Что ты, мать? — крикнул полковник.

— А я? — говорила она, качая головою, с безумной выразительностью.— Вы целуетесь, а я? Мужчины, да? А я? А я?

— Мамочка! — бросился к ней Сергей.

Тут было то, о чем нельзя и не надо рассказывать.

Последними словами полковника были:

— Благословляю тебя на смерть, Сережа. Умри храбро, как офицер.

И они ушли. Как-то ушли. Были, стояли, говорили — и вдруг ушли. Вот здесь сидела мать, вот здесь стоял отец — и вдруг как-то ушли. Вернувшись в камеру, Сергей лег на койку, лицом к стене, чтобы укрыться от солдат, и долго плакал. Потом устал от слез и крепко уснул.

К Василию Каширину пришла только мать — отец, богатый торговец, не пожелал прийти. Василий встретил старуху, шагая по комнате и дрожа от холода, хотя было тепло и даже жарко. И разговор был короткий, тяжелый.

— Не стоило вам, мамаша, приходить. Только себя и меня измучите.

— Зачем ты это, Вася! Зачем ты это сделал! Господи!

Старуха заплакала, утираясь кончиками черного шерстяного платка. И с привычкою, которая была у него и его братьев, кричать на мать, которая ничего не понимает, он остановился и, дрожа от холода, сердито заговорил:

— Ну вот! Так я и знал! Ведь вы же ничего не понимаете, мамаша! Ничего!

— Ну, ну, хорошо. Что тебе — холодно?

— Холодно...— отрезал Василий и опять зашагал, искоса, сердито глядя на мать.

— Может, простудился?

— Ах, мамаша, какая тут простуда, когда...

И безнадежно махнул рукою. Старуха хотела сказать: «А наш-то с понедельника велел блины ставить»,— но испугалась и заголосила:

— Говорила я ему: ведь сын ведь, пойди, дай отпущение. Нет, уперся, старый козел...

— Ну его к черту! Какой он мне отец! Как был всю жизнь мерзавцем, так и остался.

— Васенька, это про отца-то! — Старуха вся укоризненно вытянулась.

— Про отца.

— Про родного отца!

— Какой он мне родной отец.

Было дико и нелепо. Впереди стояла смерть, а тут вырастало что-то маленькое, пустое, ненужное, и слова трещали, как пустая скорлупа орехов под ногою. И, почти плача — от тоски, от того вечного непонимания, которое стеною всю жизнь стояло между ним и близкими и теперь, в последний предсмертный час, дико таращило свои маленькие глупые глаза, Василий закричал:

— Да поймите же вы, что меня вешать будут! Вешать! Понимаете или нет? Вешать!

— А ты бы не трогал людей, тебя бы...— кричала старуха.

— Господи! Да что же это! Ведь этого даже у зверей не бывает. Сын я вам или нет?

Он заплакал и сел в угол. Заплакала и старуха в своем углу. Бессильные хоть на мгновение слиться в чувстве любви и противопоставить его ужасу грядущей смерти, плакали они холодными, не согревающими сердца слезами одиночества. Мать сказала:

— Ты вот говоришь, мать я тебе или нет, упрекаешь. А я за эти дни совсем поседела, старухой стала. А ты говоришь, упрекаешь.

— Ну хорошо, хорошо, мамаша. Простите. Идти вам надо. Братьев там поцелуйте.

— Разве я не мать? Разве мне не жалко?

Наконец ушла. Плакала горько, утираясь кончиками платка, не видела дороги. И чем дальше отходила от тюрьмы, тем горючее лились слезы. Пошла назад к тюрьме, потом заблудилась дико в городе, где родилась, выросла, состарилась. Забрела в какой-то пустынный садик с несколькими старыми, обломанными деревьями и села на мокрой оттаявшей лавочке. И вдруг поняла: его завтра будут вешать.

Старуха вскочила, хотела бежать, но вдруг крепко закружилась голова, и она упала. Ледяная дорожка обмокла, была скользкая, и старуха никак не могла подняться: вертелась, приподнималась на локтях и коленях и снова валилась на бок. Черный платок сполз с головы, открыв на затылке лысинку среди грязно-седых волос; и почему-то чудилось ей, что она пирует на свадьбе: женят сына, и она выпила вина и захмелела сильно.

— Не могу. Ей-же-Богу, не могу! — отказывалась она,

мотая головою, и ползала по ледяному мокрому насту, а ей все лили вино, все лили.

И уже больно становилось сердцу от пьяного смеха, от угощений, от дикого пляса,— а ей все лили вино. Все лили.

6. ЧАСЫ БЕГУТ

В крепости, где сидели осужденные террористы, находилась колокольня с старинными часами. Каждый час, каждые полчаса, каждую четверть часы вызванивали что-то тягучее, что-то печальное, медленно тающее в высоте, как отдаленный и жалобный клик перелетных птиц. Днем эта странная и печальная музыка терялась в шуме города, большой и людной улицы, проходившей возле крепости. Гудели трамваи, чокали копыта лошадей, далеко вперед кричали покачивающиеся автомобили; на масленицу из окрестностей города понаехали особенные масленичные извозчики-крестьяне, и бубенцы на шее их малорослых лошаденок наполняли воздух жужжанием. И говор стоял: немного пьяный, веселый масленичный говор; и так шла к разноголосице молодая весенняя оттепель, мутные лужи на панели, вдруг почерневшие деревья сквера. С моря широкими, влажными порывами дул теплый ветер: казалось, глазами можно было видеть, как в дружном полете уносятся в безбрежную свободную даль крохотные, свежие частички воздуха и смеются, летя.

Ночью улица затихала в одиноком свете больших электрических солнц. И тогда огромная крепость, в плоских стенах которой не было ни одного огонька, уходила в мрак и тишину, чертою молчания, неподвижности и тьмы отделяла себя от вечно живого, движущегося города. И тогда слышен становился бой часов; чуждая земле, медленно и печально рождалась и гасла в высоте странная мелодия. Снова рождалась, обманывая ухо, звенела жалобно и тихо — обрывалась — снова звенела. Как большие, прозрачные, стеклянные капли, с неведомой высоты падали в металлическую, тихо звенящую чашу часы и минуты. Или перелетные птицы летели.

В камеры, где сидели по одному осужденные, и днем и ночью приносился только один этот звон. Сквозь крышу, сквозь толщу каменных стен проникал он, колебля тишину,— уходил незаметно, чтобы снова, так же незаметно, прийти. Иногда о нем забывали и не слышали его; иногда с отчаянием ждали его, живя от звона и до звона, уже не доверяя тишине. Только для важных преступников была

предназначена тюрьма, особенные в ней были правила, суровые, твердые и жесткие, как угол крепостной стены; и если в жестокости есть благородство, то была благородна глухая, мертвая, торжественно немая тишина, ловящая шорохи и легкое дыхание.

И в этой торжественной тишине, колеблемой печальным звоном убегающих минут, отделенные от всего живого, пять человек, две женщины и трое мужчин, ожидали наступления ночи, рассвета и казни, и каждый по-своему готовился к ней.

7. СМЕРТИ НЕТ

Как во всю жизнь свою Таня Ковальчук думала только о других и никогда о себе, так и теперь только за других мучилась она и тосковала сильно. Смерть она представляла себе постольку, поскольку предстоит она, как нечто мучительное, для Сережи Головина, для Муси, для других,— ее же самой она как бы не касалась совсем.

И, вознаграждая себя за вынужденную твердость на суде, она целыми часами плакала, как умеют плакать старые женщины, знавшие много горя, или молодые, но очень жалостливые, очень добрые люди. И предположение о том, что у Сережи может не оказаться табаку, а Вернер, может быть, лишен своего привычного крепкого чаю, и это еще вдобавок к тому, что они должны умереть, мучило ее, пожалуй, не меньше, чем самая мысль о казни. Казнь — это что-то неизбежное и даже постороннее, о чем и думать не стоит, а если у человека в тюрьме, да еще перед казнью, нет табаку, это совсем невыносимо. Вспоминала, перебирала милые подробности совместного житья и замирала от страха, воображая встречу Сергея с родителями.

И особенною жалостью жалела она Мусю. Уже давно ей казалось, что Муся любит Вернера, и, хотя это была совершенная неправда, все же мечтала для них обоих о чем-то хорошем и светлом. На свободе Муся носила серебряное колечко, на котором был изображен череп, кость и терновый венец вокруг них; и часто, с болью, смотрела Таня Ковальчук на это кольцо, как на символ обреченности, и то шутя, то серьезно упрашивала Мусю снять его.

— Подари его мне,— упрашивала она.

— Нет, Танечка, не подарю. А у тебя скоро на пальце другое кольцо будет.

Почему-то, в свою очередь, о ней думали, что она непременно и в скором времени должна выйти замуж, и это

обижало ее,— никакого мужа она не хотела. И, вспоминая эти полушутливые разговоры свои с Мусей и то, что Муся теперь действительно обречена, она задыхалась от слез, от материнской жалости. И всякий раз, как били часы, поднимала заплаканное лицо и прислушивалась,— как там, в тех камерах, принимают этот тягучий, настойчивый зов смерти.

А Муся была счастлива.

Заложив за спину руки в большом, не по росту, арестантском халате, делающем ее странно похожей на мужчину, на мальчика-подростка, одевшегося в чужое платье, она шагала ровно и неутомимо. Рукава халата были ей длинны, и она отвернула их, и тонкие, почти детские, исхудалые руки выходили из широких отверстий, как стебли цветка из отверстия грубого, грязного кувшина. Тонкую белую шею шерстила и натирала жесткая материя, и изредка движением обеих рук Муся высвобождала горло и осторожно нащупывала пальцем то место, где краснела и саднила раздраженная кожа.

Муся шагала — и оправдывалась перед людьми, волнуясь и краснея. И оправдывалась она в том, что ее, молоденькую, незначительную, сделавшую так мало и совсем не героиню, подвергнут той самой почетной и прекрасной смерти, какою умирали до нее настоящие герои и мученики. С непоколебимой верой в людскую доброту, в сочувствие, в любовь она представляла себе, как теперь волнуются из-за нее люди, как мучатся, как жалеют,— и ей было совестно до красноты. Точно, умирая на виселице, она совершала какую-то огромную неловкость.

Она уже просила при последнем свидании своего защитника, чтобы он достал ей яду, но вдруг спохватилась: а если он и другие подумают, что это она из рисовки или из трусости, и вместо того, чтобы умереть скромно и незаметно, наделает шуму еще больше? И торопливо добавила:

— Нет, впрочем, не надо.

И теперь она хотела только одного: объяснить людям и доказать им точно, что она не героиня, что умирать вовсе не страшно и чтобы о ней не жалели и не заботились. Объяснить им, что она вовсе не виновата в том, что ее, молоденькую, незначительную, подвергают такой смерти и поднимают из-за нее столько шуму.

Как человек, которого действительно обвиняют, Муся искала оправданий, пыталась найти хоть что-нибудь, что возвысило бы ее жертву, придало бы ей настоящую цену. Рассуждала:

— Конечно, я молоденькая и могла бы еще долго жить. Но...

И, как меркнет свеча в блеске взошедшего солнца, тусклой и темной казалась молодость и жизнь перед тем великим и лучезарным, что должно озарить ее скромную голову. Нет оправдания.

Но, быть может, то особенное, что она носит в душе — безграничная любовь, безграничная готовность к подвигу, безграничное пренебрежение к себе? Ведь она действительно не виновата, что ей не дали сделать всего, что она могла и хотела,— убили ее на пороге храма, у подножия жертвенника.

Но если это так, если человек ценен не только по тому, чтó он сделал, а и по тому, что он хотел сделать,— тогда... тогда она достойна мученического венца.

«Неужели? — думает Муся стыдливо.— Неужели я достойна? Достойна того, чтобы обо мне плакали люди, волновались, обо мне, такой маленькой и незначительной?»

И несказанная радость охватывает ее. Нет ни сомнений, ни колебаний, она принята в лоно, она правомерно вступает в ряды тех светлых, что извека через костер, пытки и казни идут к высокому небу. Ясный мир и покой и безбрежное, тихо сияющее счастье. Точно отошла она уже от земли и приблизилась к неведомому солнцу правды и жизни и бесплотно парит в его свете.

«И это — смерть. Какая же это смерть?» — думает Муся блаженно.

И если бы собрались к ней в камеру со всего света ученые, философы и палачи, разложили перед нею книги, скальпели, топоры и петли и стали доказывать, что смерть существует, что человек умирает и убивается, что бессмертия нет,— они только удивили бы ее. Как бессмертия нет, когда уже сейчас она бессмертна? О каком же еще бессмертии, о какой еще смерти можно говорить, когда уже сейчас она мертва и бессмертна, жива в смерти, как была жива в жизни?

И если бы к ней в камеру, наполняя ее зловонием, внесли гроб с ее собственным разлагающимся телом и сказали:

— Смотри! Это ты!

Она посмотрела бы и ответила:

— Нет. Это не я.

И когда ее стали бы убеждать, пугая зловещим видом разложения, что это она,— она! — Муся ответила бы с улыбкой:

— Нет. Это вы думаете, что *это* — я, но *это* — не я. Я та, с которой вы говорите, как же я могу быть *этим*?

— Но ты умрешь и станешь этим.

— Нет, я не умру.

— Тебя казнят. Вот петля.

— Меня казнят, но я не умру. Как могу я умереть, когда уже сейчас я — бессмертна?

И отступили бы ученые, философы и палачи, говоря с содроганием:

— Не касайтесь этого места. Это место — свято.

О чем еще думала Муся? О многом думала она — ибо нить жизни не обрывалась для нее смертью и плелась спокойно и ровно. Думала о товарищах — и о тех далеких, что с тоскою и болью переживают их казнь, и о тех близких, что вместе взойдут на эшафот. Удивлялась Василию, чего он так испугался,— он всегда был очень храбр и даже мог шутить со смертью. Так, еще утром во вторник, когда они надевали с Василием на пояса разрывные снаряды, которые через несколько часов должны были взорвать их самих, у Тани Ковальчук руки дрожали от волнения и ее пришлось отстранить, а Василий шутил, паясничал, вертелся, был так неосторожен даже, что Вернер строго сказал:

— Не нужно фамильярничать со смертью.

Чего же теперь он испугался? Но так чужд душе Муси был этот непонятный страх, что скоро она перестала думать о нем и разыскивать причину,— вдруг отчаянно захотелось увидеть Сережу Головина и о чем-то посмеяться с ним. Подумала — и еще отчаяннее захотелось увидеть Вернера и в чем-то убедить его. И, представляя, что Вернер ходит рядом с нею своею четкой, размеренной, вбивающей каблуки в землю походкой, Муся говорила ему:

— Нет, Вернер, голубчик, это все пустяки, это совсем не важно, убил ты NN или нет. Ты умный, но ты точно в свои шахматы играешь: взять одну фигуру, взять другую, тогда и выиграно. Здесь важно, Вернер, что мы сами готовы умереть. Понимаешь? Ведь эти господа что думают? Что нет ничего страшнее смерти. Сами выдумали смерть, сами ее боятся и нас пугают. Мне бы даже так хотелось: выйти одной перед целым полком солдат и начать стрелять в них из браунинга. Пусть я одна, а их тысячи, и я никого не убью. Это-то и важно, что их тысячи. Когда тысячи убивают одного, то, значит, победил этот один. Это правда, Вернер, голубчик.

Но и это было так ясно, что не хотелось доказывать дальше,— Вернер теперь и сам понял, наверное. А может,

и просто не хотелось ее мысли останавливаться на одном — как легко парящей птице, которой видимы безбрежные горизонты, которой доступны весь простор, вся глубина, вся радость ласкающей и нежной синевы. Звонили часы непрестанно, колебля глухую тишину; и в этот гармоничный, отдаленно прекрасный звук вливались мысли и тоже начинали звенеть; и музыкою становились плавно скользящие образы. Словно тихою темною ночью ехала куда-то Муся по широкой и ровной дороге, и покачивались мягкие рессоры, и бубенцы звенели. Отошли все тревоги и волнения, растворилось во тьме усталое тело, и радостно-усталая мысль спокойно творила яркие образы, упивалась их красками и тихим покоем. Вспомнила Муся трех товарищей своих, повешенных недавно, и лица их были ясны, и радостны, и близки — ближе тех уже, что в жизни. Так утром радостно думает человек о доме своих друзей, куда войдет он вечером с приветом на смеющихся устах.

Очень устала Муся ходить. Прилегла осторожно на койку и продолжала грезить с легко закрытыми глазами. Звонили часы непрестанно, колебля немую тишину, и в их звенящих берегах тихо плыли светлые поющие образы. Муся думала:

«Неужели это смерть? Боже мой, как она прекрасна! Или это жизнь? Не знаю, не знаю. Буду смотреть и слушать».

Уже давно, с первых дней заключения, начал фантазировать ее слух. Очень музыкальный, он обострялся тишиною и на фоне ее из скудных крупиц действительности, с ее шагами часовых в коридоре, звоном часов, шелестом ветра на железной крыше, скрипом фонаря, творил целые музыкальные картины. Сперва Муся боялась их, отгоняла от себя, как болезненные галлюцинации, потом поняла, что сама она здорова и никакой болезни тут нет,— и стала отдаваться им спокойно.

И теперь — вдруг совершенно ясно и отчетливо она услыхала звуки военной музыки. В изумлении она открыла глаза, приподняла голову — за окном стояла ночь, и часы звонили. «Опять, значит!» — подумала она спокойно и закрыла глаза. И как только закрыла, музыка заиграла снова. Ясно слышно, как из-за угла здания, справа, выходят солдаты, целый полк, и проходят мимо окна. Ноги равномерно отбивают такт по мерзлой земле: раз-два! раз-два! — слышно даже, как поскрипывает иногда кожа на сапоге, вдруг оскользается и тут же выправляется чья-то нога. И музыка ближе: совершенно незнакомый, но очень гром-

кий и бодрый праздничный марш. Очевидно, в крепости какой-то праздник.

Вот оркестр поравнялся с окном, и вся камера полна веселых, ритмичных, дружно-разноголосых звуков. Одна труба, большая, медная, резко фальшивит, то запаздывает, то смешно забегает вперед — Муся видит солдатика с этой трубой, его старательную физиономию, и смеется.

Все удаляется. Замирают шаги: раз-два! раз-два! Издалека музыка еще красивее и веселее. Еще раз-другой громко и фальшиво-радостно вскрикивает медным голосом труба, и все гаснет. И снова на колокольне вызванивают часы, медленно, печально, еле-еле колебля тишину.

«Ушли!» — думает Муся с легкой грустью. Ей жаль ушедших звуков, таких веселых и смешных; жаль даже ушедших солдатиков, потому что эти старательные, с медными трубами, с поскрипывающими сапогами совсем иные, совсем не те, в кого хотела бы она стрелять из браунинга.

— Ну, еще! — просит она ласково. И приходят еще. Склоняются над нею, окружают ее прозрачным облаком и поднимают вверх, туда, где несутся перелетные птицы и кричат, как герольды. Направо, налево, вверх и вниз — кричат, как герольды. Зовут, оповещают, далеко возвещают о полете своем. Широко машут крылами, и тьма их держит, как держит их и свет; и на выпуклых грудях, разрезающих воздух, отсвечивает снизу голубым сияющий город. Все ровнее бьется сердце, все спокойнее и тише дыхание Муси. Она засыпает. Лицо устало и бледно; под глазами круги, и так тонки девичьи исхудалые руки,— а на устах улыбка. Завтра, когда будет всходить солнце, это человеческое лицо исказится нечеловеческой гримасой, зальется густою кровью мозг и вылезут из орбит остекленевшие глаза,— но сегодня она спит тихо и улыбается в великом бессмертии своем.

Заснула Муся.

А в тюрьме идет своя жизнь, глухая и чуткая, слепая и зоркая, как сама вечная тревога. Где-то ходят. Где-то шепчут. Где-то звякнуло ружье. Кажется, кто-то крикнул. А может быть, и никто не кричал — просто чудится от тишины.

Вот бесшумно отпала форточка в двери — в темном отверстии показывается темное усатое лицо. Долго и удивленно таращит на Мусю глаза — и пропадает бесшумно, как явилось.

Звонят и поют куранты — долго, мучительно. Точно на высокую гору ползут к полуночи усталые часы, и все

труднее и тяжелее подъем. Обрываются, скользят, летят со стоном вниз — и вновь мучительно ползут к своей черной вершине.

Где-то ходят. Где-то шепчут. И уже впрягают коней в черные без фонарей кареты.

8. ЕСТЬ И СМЕРТЬ, ЕСТЬ И ЖИЗНЬ

О смерти Сергей Головин никогда не думал, как о чем-то постороннем и его совершенно не касающемся. Он был крепкий, здоровый, веселый юноша, одаренный той спокойной и ясной жизнерадостностью, при которой всякая дурная, вредная для жизни мысль или чувство быстро и бесследно исчезают в организме. Как быстро заживали у него всякие порезы, раны и уколы, так и все тягостное, ранящее душу, немедленно выталкивалось наружу и уходило. И во всякое дело или даже забаву, была ли то фотография, велосипед или приготовление к террористическому акту, он вносил ту же спокойную и жизнерадостную серьезность: все в жизни весело, все в жизни важно, все нужно делать хорошо.

И все он делал хорошо: великолепно управлялся с парусом, стрелял из револьвера прекрасно; был крепок в дружбе, как и в любви, и фанатически верил в «честное слово». Свои смеялись над ним, что если сыщик, рожа, заведомый шпион даст ему честное слово, что он не сыщик,— Сергей поверит ему и пожмет товарищески руку. Один был недостаток: был уверен, что поет хорошо, тогда как слуху не имел ни малейшего, пел отвратительно и фальшивил даже в революционных песнях; и обижался, когда смеялись.

— Или вы все ослы, или я осел,— говорил он серьезно и обиженно. И так же серьезно, подумав, все решали:

— Ты осел, по голосу слышно.

Но за недостаток этот, как иногда бывает с хорошими людьми, его любили, пожалуй, даже больше, чем за достоинства.

Смерти он настолько не боялся и настолько не думал о ней, что в роковое утро, перед уходом из квартиры Тани Ковальчук, он один, как следует, с аппетитом, позавтракал: выпил два стакана чаю, наполовину разбавленного молоком, и съел целую пятикопеечную булку. Потом посмотрел с грустью на нетронутый хлеб Вернера и сказал:

— А ты что же не ешь? Ешь, подкрепиться надо.

— Не хочется.

— Ну так я съем. Ладно?

— Ну и аппетит же у тебя, Сережа.

Вместо ответа Сергей с набитым ртом, глухо и фальшиво запел:

Вихри враждебные веют над нами...

После ареста он было загрустил: сделано нехорошо, провалились, но подумал: «Есть теперь другое, что нужно сделать хорошо,— умереть»,— и развеселился. И как ни странно, со второго же утра в крепости начал заниматься гимнастикой по необыкновенно рациональной системе какого-то немца Мюллера, которой увлекался: разделся голый и, к тревожному удивлению наблюдавшего часового, аккуратно проделал все предписанные восемнадцать упражнений. И то, что часовой наблюдал и, видимо, удивлялся, было ему приятно, как пропагандисту мюллеровской системы; и хотя знал, что ответа не получит, все же сказал торчащему в окошечке глазу:

— Хорошо, брат, укрепляет. Вот бы у вас в полку ввести что надо,— крикнул он убеждающе и кротко, чтобы не испугать, не подозревая, что солдат считает его просто сумасшедшим.

Страх смерти начал являться к нему постепенно и как-то толчками: точно возьмет кто и снизу, изо всей силы, подтолкнет сердце кулаком. Скорее больно, чем страшно. Потом ощущение забудется — и через несколько часов явится снова, и с каждым разом становится оно все продолжительнее и сильнее. И уже ясно начинает принимать мутные очертания какого-то большого и даже невыносимого страха.

«Неужели я боюсь? — подумал Сергей с удивлением.— Вот еще глупости!»

Боялся не он — боялось его молодое, крепкое, сильное тело, которое не удавалось обмануть ни гимнастикой немца Мюллера, ни холодными обтираниями. И чем крепче, чем свежее оно становилось после холодной воды, тем острее и невыносимее делались ощущения мгновенного страха. И именно в те минуты, когда на воле он ощущал особый подъем жизнерадостности и силы, утром, после крепкого сна и физических упражнений,— тут появлялся этот острый, как бы чужой страх. Он заметил это и подумал:

«Глупо, брат Сергей. Чтобы оно умерло легче, его надо ослабить, а не укреплять. Глупо!»

И бросил гимнастику и обтирания. А солдату в объяснение и в оправдание крикнул:

— Ты не смотри, что я бросил. Штука, брат, хорошая. Только для тех, кого вешать, не годится, а для всех других очень хорошо.

И действительно, стало как будто легче. Попробовал также поменьше есть, чтобы ослабеть еще, но, несмотря на отсутствие чистого воздуха и упражнений, аппетит был очень велик, трудно было сладить, съедал все, что приносили. Тогда начал делать так: еще не принимаясь за еду, выливал половину горячего в ушат; и это как будто помогло: появилась тупая сонливость, истома.

— Я тебе покажу! — грозил он телу, а сам с грустью, нежно водил рукою по вялым, обмякшим мускулам.

Но скоро тело привыкло и к этому режиму, и страх смерти появился снова,— правда, не такой острый, не такой огневый, но еще более нудный, похожий на тошноту. «Это оттого, что тянут долго,— подумал Сергей,— хорошо бы все это время, до казни, проспать»,— и старался как можно дольше спать. Вначале удавалось, но потом, оттого ли, что переспал он, или по другой причине, появилась бессонница. И с нею пришли острые, зоркие мысли, а с ними и тоска о жизни.

«Разве я ее, дьявола, боюсь? — думал он о смерти.— Это мне жизни жалко. Великолепная вещь, что бы там ни говорили пессимисты. А что если пессимиста повесить? Ах, жалко жизни, очень жалко. И зачем борода у меня выросла? Не росла, не росла, а то вдруг выросла. И зачем?»

Покачивал головою грустно и вздыхал продолжительными тяжелыми вздохами. Молчание — и продолжительный, глубокий вздох; опять короткое молчание — и снова еще более продолжительный, тяжелый вздох.

Так было до суда и до последнего страшного свидания со стариками. Когда он проснулся в камере с ясным сознанием, что с жизнью все покончено, что впереди только несколько часов ожидания в пустоте и смерть,— стало как-то странно. Точно его оголили всего, как-то необыкновенно оголили — не только одежду с него сняли, но отодрали от него солнце, воздух, шум и свет, поступки и речи. Смерти еще нет, но нет уже и жизни, а есть что-то новое, поразительно непонятное, и не то совсем лишенное смысла, не то имеющее смысл, но такой глубокий, таинственный и нечеловеческий, что открыть его невозможно.

— Фу-ты, черт! — мучительно удивлялся Сергей.— Да что же это такое? Да где же это я? Я... какой я?

Оглядел всего себя, внимательно, с интересом, начиная от больших арестантских туфель, кончая животом, на кото-

ром оттопыривался халат. Прошелся по камере, растопырив руки и продолжая оглядывать себя, как женщина в новом платье, которое ей длинно. Повертел головою — вертится. И это, несколько страшное почему-то, есть он, Сергей Головин, и этого — не будет.

И все сделалось странно.

Попробовал ходить по камере — странно, что ходит. Попробовал сидеть — странно, что сидит. Попробовал выпить воды — странно, что пьет, что глотает, что держит кружку, что есть пальцы, и эти пальцы дрожат. Поперхнулся, закашлялся и, кашляя, думал: «Как это странно, я кашляю».

«Да что я, с ума, что ли, схожу! — подумал Сергей, холодея.— Этого еще недоставало, чтобы черт их побрал!»

Потер лоб рукою, но и это было странно. И тогда, не дыша, на целые, казалось, часы он замер в неподвижности, гася всякую мысль, удерживая громкое дыхание, избегая всякого движения — ибо всякая мысль было безумие, всякое движение было безумие. Времени не стало, как бы в пространство превратилось оно, прозрачное, безвоздушное, в огромную площадь, на которой все, и земля, и жизнь, и люди; и все это видимо одним взглядом, все до самого конца, до загадочного обрыва — смерти. И не в том было мучение, что видна смерть, а в том, что сразу видны и жизнь и смерть. Святотатственною рукою была отдернута завеса, сызвека скрывающая тайну жизни и тайну смерти, и они перестали быть тайной,— но не сделались они и понятными, как истина, начертанная на неведомом языке. Не было таких понятий в его человеческом мозгу, не было таких слов на его человеческом языке, которые могли бы охватить увиденное. И слова: «мне страшно» — звучали в нем только потому, что не было иного слова, не существовало и не могло существовать понятия, соответствующего этому новому, нечеловеческому состоянию. Так было бы с человеком, если бы он, оставаясь в пределах человеческого разумения, опыта и чувств, вдруг увидел самого Бога,— увидел и не понял бы, хотя бы и знал, что это называется Бог, и содрогнулся бы неслыханными муками неслыханного непонимания.

— Вот тебе и Мюллер! — вдруг громко, с чрезвычайной убедительностью произнес он и качнул головою. И с тем неожиданным переломом в чувстве, на который так способна человеческая душа, весело и искренно захохотал.— Ах ты, Мюллер! Ах ты, мой милый Мюллер! Ах ты, мой рас-

прекрасный немец! И все-таки — ты прав, Мюллер, а я, брат Мюллер, осел.

Быстро несколько раз прошелся по камере и к новому, величайшему удивлению наблюдавшего в глазок солдата — быстро разделся догола и весело, с крайней старательностью проделал все восемнадцать упражнений; вытягивал и растягивал свое молодое, несколько похудевшее тело, приседал, вдыхал и выдыхал воздух, становясь на носки, выбрасывал ноги и руки. И после каждого упражнения говорил с удовольствием:

— Вот это так! Вот это настоящее, брат Мюллер!

Щеки его раскраснелись, из пор выступили капельки горячего, приятного пота, и сердце стучало крепко и ровно.

— Дело в том, Мюллер,—рассуждал Сергей, выпячивая грудь так, что ясно обрисовались ребра под тонкой натянутой кожей,— дело в том, Мюллер, что есть еще девятнадцатое упражнение — подвешивание за шею в неподвижном положении. И это называется казнь. Понимаешь, Мюллер? Берут живого человека, скажем — Сергея Головина, пеленают его, как куклу, и вешают за шею, пока не умрет. Глупо это, Мюллер, но ничего не поделаешь — приходится.

Перегнулся на правый бок и повторил:

— Приходится, брат Мюллер.

9. УЖАСНОЕ ОДИНОЧЕСТВО

Под тот же звон часов, отделенный от Сергея и Муси несколькими пустыми камерами, но одинокий столь тяжко, как если бы во всей вселенной существовал он один, в ужасе и тоске оканчивал свою жизнь несчастный Василий Каширин.

Потный, с прилипшей к телу мокрой рубахой, распустившимися, прежде курчавыми волосами, он судорожно и безнадежно метался по камере, как человек, у которого нестерпимая зубная боль. Присаживался, вновь бегал, прижимался лбом к стене, останавливался и что-то разыскивал глазами — словно искал лекарства. Он так изменился, что как будто имелись у него два разных лица, и прежнее, молодое ушло куда-то, а на место его стало новое, страшное, пришедшее из темноты.

К нему страх смерти пришел сразу и овладел им безраздельно и властно. Еще утром, идя на явную смерть, он фамильярничал с нею, а уже к вечеру, заключенный в одиночную камеру, был закружен и захлестнут волною беше-

ного страха. Пока он сам, своею волею, шел на опасность и смерть, пока свою смерть, хотя бы и страшную по виду, он держал в собственных руках, ему было легко и весело даже: в чувстве безбрежной свободы, смелого и твердого утверждения своей дерзкой и бесстрашной воли бесследно утопал маленький, сморщенный, словно старушечий страшок. Опоясанный адской машиной, он сам как бы превратился в адскую машину, включил в себя жестокий разум динамита, присвоил себе его огненную смертоносную мощь. И, идя по улице, среди суетливых, будничных, озабоченных своими делами людей, торопливо спасающихся от извозчичьих лошадей и трамвая, он казался себе пришлецом из иного, неведомого мира, где не знают ни смерти, ни страха.

И вдруг сразу резкая, дикая, ошеломляющая перемена. Он уже не идет, куда хочет, а его везут,— куда хотят. Он уже не выбирает места, а его сажают в каменную клетку и запирают на ключ, как вещь. Он уже не может выбрать свободно: жизнь или смерть, как все люди, а его непременно и неизбежно умертвят. За мгновение бывший воплощением воли, жизни и силы, он становится жалким образом единственного в мире бессилия, превращается в животное, ожидающее бойни, в глухую и безгласную вещь, которую можно переставлять, жечь, ломать. Что́ бы он ни говорил, слов его не послушают, а если станет кричать, то заткнут рот тряпкой, и будет ли он сам передвигать ногами, его отведут и повесят; и станет ли он сопротивляться, барахтаться, ляжет наземь — его осилят, поднимут, свяжут и связанного поднесут к виселице. И то, что эту машинную работу над ним исполнят люди, такие же, как и он, придает им новый, необыкновенный и зловещий вид: не то призраков, чего-то притворяющегося, явившегося только нарочно, не то механических кукол на пружине: берут, хватают, ведут, вешают, дергают за ноги. Обрезают веревку, кладут, везут, закапывают.

И с первого же дня тюрьмы люди и жизнь превратились для него в непостижимо ужасный мир призраков и механических кукол. Почти обезумев от ужаса, он старался представить, что люди имеют язык и говорят, и не мог — казались немыми; старался вспомнить их речь, смысл слов, которые они употребляют при сношениях,— и не мог. Рты раскрываются, что-то звучит, потом они расходятся, передвигая ноги, и нет ничего.

Так чувствовал бы себя человек, если бы ночью, когда он в доме один, все вещи ожили, задвигались и приобрели над ним, человеком, неограниченную власть. Вдруг стали бы

его судить: шкап, стул, письменный стол и диван. Он бы кричал и метался, умолял, звал на помощь, а они что-то говорили бы по-своему между собою, потом повели его вешать: шкап, стул, письменный стол и диван. И смотрели бы на это остальные вещи.

И все стало казаться игрушечным Василию Каширину, присужденному к смертной казни через повешение: его камера, дверь с глазком, звон заведенных часов, аккуратно вылепленная крепость, и особенно та механическая кукла с ружьем, которая стучит ногами по коридору, и те другие, которые, пугая, заглядывают к нему в окошечко и молча подают еду. И то, что он испытывал, не было ужасом перед смертью; скорее смерти он даже хотел: во всей извечной загадочности и непонятности своей она была доступнее разуму, чем этот так дико и фантастично превратившийся мир. Более того: смерть как бы уничтожалась совершенно в этом безумном мире призраков и кукол, теряла свой великий и загадочный смысл, становилась также чем-то механическим и только поэтому страшным. Берут, хватают, ведут, вешают, дергают за ноги. Обрезают веревку, кладут, везут, закапывают.

Исчез из мира человек.

На суде близость товарищей привела Каширина в себя, и он снова, на мгновение, увидел людей: сидят и судят его и что-то говорят на человеческом языке, слушают и как будто понимают. Но уже на свидании с матерью он, с ужасом человека, который начинает сходить с ума и понимает это, почувствовал ярко, что эта старая женщина в черном платочке — просто искусно сделанная механическая кукла, вроде тех, которые говорят: «па-па», «ма-ма», но только лучше сделанная. Старался говорить с нею, а сам, вздрагивая, думал:

«Господи! Да ведь это же кукла. Кукла матери. А вот та кукла солдата, а там, дома, кукла отца, а вот это кукла Василия Каширина».

Казалось, еще немного и он услышит где-то треск механизма, поскрипывание несмазанных колес. Когда мать заплакала, на один миг снова мелькнуло что-то человеческое, но при первых же ее словах исчезло, и стало любопытно и ужасно смотреть, что из глаз куклы течет вода.

Потом, в своей камере, когда ужас стал невыносим, Василий Каширин попробовал молиться. От всего того, чем под видом религии была окружена его юношеская жизнь в отцовском купеческом доме, остался один противный,

горький и раздражающий осадок, и веры не было. Но когда-то, быть может, в раннем еще детстве, он услыхал три слова, и они поразили его трепетным волнением и потом на всю жизнь остались обвеянными тихой поэзией. Эти слова были: «Всех скорбящих радость».

Случалось, в тяжелые минуты он шепнет про себя, без молитвы, без определенного сознания: «Всех скорбящих радость» — и вдруг станет легче и захочется пойти к кому-то милому и жаловаться тихо:

— Наша жизнь... да разве это жизнь! Эх, милая вы моя, да разве это жизнь!

А потом вдруг и смешно станет, и захочется кучерявить волосы, выкинуть колено, подставить грудь под чьи-то удары: на́, бей!

Никому, даже самым близким товарищам, он не говорил о своей «всех скорбящих радости» и даже сам как будто не знал о ней — так глубоко крылась она в душе его. И вспоминал не часто, с осторожностью.

И теперь, когда ужас неразрешимой, воочию представшей тайны с головою покрыл его, как вода в половодье прибрежную лозиночку, он захотел молиться. Хотел стать на колени, но стыдно сделалось перед солдатом, и, сложив руки у груди, тихо прошептал:

— Всех скорбящих радость!

И с тоскою, выговаривая умильно, повторил:

— Всех скорбящих радость, прийди ко мне, поддержи Ваську Каширина.

Давно еще, когда он был на первом курсе университета и покучивал еще, до знакомства с Вернером и вступления в общество, он называл себя хвастливо и жалко «Васькой Кашириным» — теперь почему-то захотелось назваться так же. Но мертво и неотзывчиво прозвучали слова:

— Всех скорбящих радость!

Всколыхнулось что-то. Будто проплыл в отдалении чей-то тихий и скорбный образ и тихо погас, не озарив предсмертной тьмы. Били заведенные часы на колокольне. Застучал чем-то, шашкой, не то ружьем, солдат в коридоре и продолжительно, с переходами, зевнул.

— Всех скорбящих радость! И ты молчишь! И ты ничего не хочешь сказать Ваське Каширину?

Улыбался умильно и ждал. Но было пусто и в душе и вокруг. И не возвращался тихий и скорбный образ. Вспоминались ненужно и мучительно восковые горящие свечи, поп в рясе, нарисованная на стене икона, и как отец, сгибаясь и разгибаясь, молится и кладет поклоны, а сам смотрит

исподлобья, молится ли Васька, не занялся ли баловством. И стало еще страшнее, чем до молитвы.

Исчезло все.

Безумие тяжко наползало. Сознание погасло, как потухающий разбросанный костер, холодело, как труп только что скончавшегося человека, у которого тепло еще в сердце, а ноги и руки уже окоченели. Еще раз, кроваво вспыхнув, сказала угасающая мысль, что он, Васька Каширин, может здесь сойти с ума, испытать муки, для которых нет названия, дойти до такого предела боли и страданий, до каких не доходило еще ни одно живое существо; что он может биться головою о стену, выколоть себе пальцем глаза, говорить и кричать, что ему угодно, уверять со слезами, что больше выносить он не может,— и ничего. Будет ничего.

И ничего наступило. Ноги, у которых свое сознание и своя жизнь, продолжали ходить и носить дрожащее мокрое тело. Руки, у которых свое сознание, тщетно пытались запахнуть расходящийся на груди халат и согреть дрожащее мокрое тело. Тело дрожало и зябло. Глаза смотрели. И это был почти что покой.

Но был еще момент дикого ужаса. Это когда вошли люди. Он даже не подумал, что это значит — пора ехать на казнь, а просто увидел людей и испугался, почти по-детски.

— Я не буду! Я не буду! — шептал он неслышно помертвевшими губами и тихо отодвигался в глубь камеры, как в детстве, когда поднимал руку отец.

— Надо ехать.

Говорят, ходят вокруг, что-то подают. Закрыл глаза, покачался — и тяжело начал собираться. Должно быть, сознание стало возвращаться: вдруг попросил у чиновника папиросу. И тот любезно раскрыл серебряный с декадентским рисунком портсигар.

10. СТЕНЫ ПАДАЮТ

Неизвестный, по прозвищу Вернер, был человек, уставший от жизни и от борьбы. Было время, когда он очень сильно любил жизнь, наслаждался театром, литературой, общением с людьми; одаренный прекрасной памятью и твердой волей, изучил в совершенстве несколько европейских языков, мог свободно выдавать себя за немца, француза или англичанина. По-немецки он говорил обычно с баварским акцентом, но мог, при желании, говорить, как

настоящий, прирожденный берлинец. Любил хорошо одеваться, имел прекрасные манеры и один из всей своей братии, без риска быть узнанным, смел появляться на великосветских балах.

Но уже давно, невидимо для товарищей, в душе его зрело темное презрение к людям; и отчаяние там было, и тяжелая, почти смертельная усталость. По природе своей скорее математик, чем поэт, он не знал до сих пор вдохновения и экстаза и минутами чувствовал себя как безумец, который ищет квадратуру круга в лужах человеческой крови. Тот враг, с которым он ежедневно боролся, не мог внушить ему уважения к себе; это была частая сеть глупости, предательства и лжи, грязных плевков, гнусных обманов. Последнее, что навсегда, казалось, уничтожило в нем желание жить,— было убийство провокатора, совершенное им по поручению организации. Убил спокойно, а когда увидел это мертвое, лживое, но теперь спокойное и все же жалкое человеческое лицо — вдруг перестал уважать себя и свое дело. Не то чтобы почувствовал раскаяние, а просто вдруг перестал ценить себя, стал для себя самого неинтересным, неважным, скучно-посторонним. Но из организации, как человек единой, нерасщепленной воли, не ушел и внешне остался тот же — только в глазах залегло что-то холодное и жуткое. И никому ничего не сказал.

Обладал он и еще одним редким свойством: как есть люди, которые никогда не знали головной боли, так он не знал, что такое страх. И когда другие боялись, относился к этому без осуждения, но и без особенного сочувствия, как к довольно распространенной болезни, которою сам, однако, ни разу не хворал. Товарищей своих, особенно Васю Каширина, он жалел; но это была холодная, почти официальная жалость, которой не чужды были, вероятно, и некоторые из судей.

Вернер понимал, что казнь не есть просто смерть, а что-то другое,— но во всяком случае решил встретить ее спокойно, как нечто постороннее: жить до конца так, как будто ничего не произошло и не произойдет. Только этим он мог выразить высшее презрение к казни и сохранить последнюю, неотторжимую свободу духа. И на суде — и этому, пожалуй, не поверили бы даже товарищи, хорошо знавшие его холодное бесстрашие и надменность,— он думал не о смерти и не о жизни: он сосредоточенно, с глубочайшей и спокойной внимательностью, разыгрывал трудную шахматную партию. Превосходный игрок в шахматы, он с пер-

вого дня заключения начал эту партию и продолжал безостановочно. И приговор, присуждавший его к смертной казни через повешение, не сдвинул ни одной фигуры на невидимой доске.

Даже то, что партии кончить ему, видимо, не придется, не остановило его; и утро последнего дня, который оставался ему на земле, он начал с того, что исправил один вчерашний не совсем удачный ход. Сжав опущенные руки между колен, он долго сидел в неподвижности; потом встал и начал ходить, размышляя. Походка у него была особенная: он несколько клонил вперед верхнюю часть туловища и крепко и четко бил землю каблуками — даже на сухой земле его шаги оставляли глубокий и приметный след. Тихо, одним дыханием, он насвистывал несложную итальянскую арийку,— это помогало думать.

Но дело в этот раз шло почему-то плохо. С неприятным чувством, что он совершил какую-то крупную, даже грубую ошибку, он несколько раз возвращался назад и проверял игру почти сначала. Ошибки не находилось, но чувство совершенной ошибки не только не уходило, а становилось все сильнее и досаднее. И вдруг явилась неожиданная и обидная мысль: не в том ли ошибка, что игрою в шахматы он хочет отвлечь свое внимание от казни и оградиться от того страха смерти, который будто бы неизбежен для осужденного?

— Нет, зачем же! — отвечал он холодно и спокойно закрыл невидимую доску. И с той же сосредоточенной внимательностью, с какою играл, будто отвечая на строгом экзамене, постарался дать отчет в ужасе и безвыходности своего положения: осмотрев камеру, стараясь не пропустить ничего, сосчитал часы, что остаются до казни, нарисовал себе приблизительную и довольно точную картину самой казни и пожал плечами.

— Ну? — ответил он кому-то полувопросом.— Вот и все. Где же страх?

Страха действительно не было. И не только не было страха, но нарастало что-то как бы противоположное ему — чувство смутной, но огромной и смелой радости. И ошибка, все еще не найденная, уже не вызывала ни досады, ни раздражения, а также говорила громко о чем-то хорошем и неожиданном, словно счел он умершим близкого дорогого друга, а друг этот оказался жив и невредим и смеется.

Вернер снова пожал плечами и попробовал свой пульс: сердце билось учащенно, но крепко и ровно, с особенной звонкой силой. Еще раз внимательно, как новичок, впервые попавший в тюрьму, оглядел стены, запоры, привинченный к полу стул и подумал:

«Отчего мне так легко, радостно и свободно? Именно свободно. Подумаю о завтрашней казни — и как будто ее нет. Посмотрю на стены — как будто нет и стен. И так свободно, словно я не в тюрьме, а только что вышел из какой-то тюрьмы, в которой сидел всю жизнь. Что это?»

Начинали дрожать руки — невиданное для Вернера явление. Все яростнее билась мысль. Словно огненные языки вспыхивали в голове — наружу хотел пробиться огонь и осветить широко еще ночную, еще темную даль. И вот пробился он наружу, и засияла широко озаренная даль.

Исчезла мутная усталость, томившая Вернера два последние года, и отпала от сердца мертвая, холодная, тяжелая змея с закрытыми глазами и мертвенно сомкнутым ртом — перед лицом смерти возвращалась, играя, прекрасная юность. И это было больше, чем прекрасная юность. С тем удивительным просветлением духа, которое в редкие минуты осеняет человека и поднимает его на высочайшие вершины созерцания, Вернер вдруг увидел и жизнь и смерть и поразился великолепием невиданного зрелища. Словно шел по узкому, как лезвие ножа, высочайшему горному хребту и на одну сторону видел жизнь, а на другую видел смерть, как два сверкающих, глубоких, прекрасных моря, сливающихся на горизонте в один безграничный широкий простор.

— Что это! Какое божественное зрелище! — медленно сказал он, привставая невольно и выпрямляясь, как в присутствии высшего существа. И, уничтожая стены, пространство и время стремительностью всепроникающего взора, он широко взглянул куда-то в глубь покидаемой жизни.

И новою предстала жизнь. Он не пытался, как прежде, запечатлеть словами увиденное, да и не было таких слов на все еще бедном, все еще скудном человеческом языке. То маленькое, грязное и злое, что будило в нем презрение к людям и порою вызывало даже отвращение к виду человеческого лица, исчезло совершенно: так для человека, поднявшегося на воздушном шаре, исчезают сор и грязь

тесных улиц покинутого городка, и красотою становится безобразное.

Бессознательным движением Вернер шагнул к столу и оперся на него правой рукою. Гордый и властный от природы, никогда еще не принимал он такой гордой, свободной и властной позы, не поворачивал шеи так, не глядел так,— ибо никогда еще не был свободен и властен, как здесь, в тюрьме, на расстоянии нескольких часов от казни и смерти.

И новыми предстали люди, по-новому милыми и прелестными показались они его просветленному взору. Паря над временем, он увидел ясно, как молодо человечество, еще вчера только зверем завывавшее в лесах; и то, что казалось ужасным в людях, непростительным и гадким, вдруг стало милым,— как мило в ребенке его неумение ходить походкою взрослого, его бессвязный лепет, блистающий искрами гениальности, его смешные промахи, ошибки и жестокие ушибы.

— Милые вы мои! — вдруг неожиданно улыбнулся Вернер и сразу потерял всю внушительность своей позы, снова стал арестантом, которому и тесно, и неудобно взаперти, и скучно немного от надоевшего пытливого глаза, торчащего в плоскости двери. И странно: почти внезапно он позабыл то, что увидел только что так выпукло и ясно; и еще страннее,— даже и вспомнить не пытался. Просто сел поудобнее, без обычной сухости в положении тела, и с чужой, не вернеровской, слабой и нежной улыбкой оглядел стены и решетки. Произошло еще новое, чего никогда не бывало с Вернером: вдруг заплакал.

— Милые товарищи мои! — шептал он и плакал горько.— Милые товарищи мои!

Какими тайными путями пришел он от чувства гордой и безграничной свободы к этой нежной и страстной жалости? Он не знал и не думал об этом. И жалел ли он их, своих милых товарищей, или что-то другое, еще более высокое и страстное таили в себе его слезы,— не знало и этого его вдруг воскресшее, зазеленевшее сердце. Плакал и шептал:

— Милые товарищи мои! Милые вы, товарищи мои!

В этом горько плачущем и сквозь слезы улыбающемся человеке никто не признал бы холодного и надменного, усталого и дерзкого Вернера — ни судьи, ни товарищи, ни он сам.

11. ИХ ВЕЗУТ

Перед тем как рассаживать осужденных по каретам, их всех пятерых собрали в большой холодной комнате со сводчатым потолком, похожей на канцелярию, где больше не работают, или на пустую приемную. И позволили разговаривать между собою.

Но только Таня Ковальчук сразу воспользовалась позволением. Остальные молча и крепко пожали руки, холодные, как лед, и горячие, как огонь,— и молча, стараясь не глядеть друг на друга, столпились неловкой рассеянной кучкой. Теперь, когда они были вместе, они как бы совестились того, что каждый из них испытал в одиночестве; и глядеть боялись, чтобы не увидеть и не показать того нового, особенного, немножко стыдного, что каждый чувствовал или подозревал за собою.

Но раз, другой взглянули, улыбнулись и сразу почувствовали себя непринужденно и просто, как прежде: никакой перемены не произошло, а если и произошло что-то, то так ровно легло на всех, что для каждого в отдельности стало незаметно. Все говорили и двигались странно: порывисто, толчками, или слишком медленно, или же слишком быстро; иногда захлебывались словами и многократно повторяли их, иногда же не договаривали начатой фразы или считали ее сказанной — не замечали этого. Все щурились и с любопытством, не узнавая, рассматривали обыкновенные вещи, как люди, которые ходили в очках и вдруг сняли их; все часто и резко оборачивались назад, точно все время из-за спины их кто-то окликал и что-то показывал. Но не замечали они и этого. У Муси и Тани Ковальчук щеки и уши горели; Сергей вначале был несколько бледен, но скоро оправился и стал такой, как всегда.

И только на Василия обратили внимание. Даже среди них он был необыкновенен и страшен. Вернер всколыхнулся и тихо сказал Мусе с нежным беспокойством:

— Что это, Мусечка? Неужели он того, а? Что? Надо к нему.

Василий откуда-то издали, точно не узнавая, посмотрел на Вернера и опустил глаза.

— Вася, что это у тебя с волосами, а? Да ты что? Ничего, брат, ничего, ничего, сейчас кончится. Надо держаться, надо, надо.

Василий молчал. И когда начало уже казаться, что он и совсем ничего не скажет, пришел глухой, запоздалый,

страшно далекий ответ: так на многие зовы могла бы ответить могила:

— Да я ничего. Я держусь.

И повторил.

— Я держусь.

Вернер обрадовался.

— Вот, вот. Молодец. Так, так.

Но встретил темный, отяжелевший, из глубочайшей дали устремленный взор и подумал с мгновенною тоскою: «Откуда он смотрит? Откуда он говорит?» И с глубокой нежностью, как говорят только могиле, сказал:

— Вася, ты слышишь? Я очень люблю тебя.

— И я тебя очень люблю,— ответил, тяжело ворочаясь, язык.

Вдруг Муся взяла Вернера за руку и, выражая удивление, усиленно, как актриса на сцене, сказала:

— Вернер, что с тобой? Ты сказал: люблю? Ты никогда никому не говорил: люблю. И отчего ты весь такой... светлый и мягкий? А, что?

— А, что?

И, как актер, также усиленно выражая то, что он чувствовал, Вернер крепко сжал Мусину руку:

— Да, я теперь очень люблю. Не говори другим, не надо, совестно, но я очень люблю.

Встретились их взоры и вспыхнули ярко, и все погасло кругом: так в мгновенном блеске молнии гаснут все иные огни, и бросает на землю тень само желтое, тяжелое пламя.

— Да,— сказала Муся.— Да, Вернер.

— Да,— ответил он.— Да, Муся, да!

Было понято нечто и утверждено ими непоколебимо. И, светясь взорами, Вернер всколыхнулся снова и быстро шагнул к Сергею.

— Сережа!

Но ответила Таня Ковальчук. В восторге, почти плача от материнской гордости, она неистово дергала Сергея за рукав.

— Вернер, ты послушай! Я тут о нем плачу, я убиваюсь, а он — гимнастикой занимается!

— По Мюллеру? — улыбнулся Вернер.

Сергей сконфуженно нахмурился:

— Ты напрасно смеешься, Вернер. Я окончательно убедился...

Все рассмеялись. В общении друг с другом черпая крепость и силу, постепенно становились они такими, как прежде, но не замечали и этого, думали, что всё одни и те

же. Вдруг Вернер оборвал смех и с чрезвычайною серьезностью сказал Сергею:

— Ты прав, Сережа. Ты совершенно прав.

— Нет, ты пойми,— обрадовался Головин.— Конечно, мы...

Но тут предложили ехать. И были так любезны, что разрешили рассесться парами, как хотят. И вообще были очень, даже до чрезмерности любезны: не то старались выказать свое человеческое отношение, не то показать, что их тут совсем нет, а все делается само собою. Но были бледны.

— Ты, Муся, с ним,— показал Вернер на Василия, стоявшего неподвижно.

— Понимаю,— кивнула Муся головою.— А ты?

— Я? Таня с Сергеем, ты с Васей... Я один. Это ничего, я ведь могу, ты знаешь.

Когда вышли во двор, влажная темнота мягко, но тепло и сильно ударила в лицо, в глаза, захватила дыхание, вдруг очищающе и нежно пронизала все вздрогнувшее тело. Трудно было поверить, что это удивительное — просто ветер весенний, теплый влажный ветер. И настоящая, удивительная весенняя ночь запахла тающим снегом,— безграничною ширью, зазвенела капелями. Хлопотливо и часто, догоняя друг друга, падали быстрые капельки и дружно чеканили звонкую песню; но вдруг собьется одна с голоса, и все запутается в веселом плеске, в торопливой неразберихе. А потом ударит твердо большая, строгая капля, и снова четко и звонко чеканится торопливая весенняя песня. И над городом, поверх крепостных крыш, стояло бледное зарево от электрических огней.

— У-ах! — широко вздохнул Сергей Головин и задержал дыхание, точно жалея выпускать из легких такой свежий и прекрасный воздух.

— Давно такая погода? — осведомился Вернер.— Совсем весна.

— Второй только день,— был предупредительный и вежливый ответ.— А то все больше морозы.

Одна за другою мягко подкатывали темные кареты, забирали по двое, уходили в темноту, туда, где качался под воротами фонарь. Серыми силуэтами окружали каждый экипаж конвойные, и подковы их лошадей чокали звонко или хлябали по мокрому снегу.

Когда Вернер, согнувшись, намеревался лезть в карету, жандарм сказал неопределенно:

— Тут с вами еще один едет.

Вернер удивился:

— Куда? Куда же он едет? Ах, да! Еще один? Кто же это?

Солдат молчал. Действительно, в углу кареты, в темноте, прижималось что-то маленькое, неподвижное, но живое — при косом луче от фонаря блеснул открытый глаз. Усаживаясь, Вернер толкнул ногою его колено.

— Извините, товарищ.

Тот не ответил. И только, когда тронулась карета, вдруг спросил ломаным русским языком, запинаясь:

— Кто вы?

— Я Вернер, присужден к повешению за покушение на NN. А вы?

— Я — Янсон. Меня не надо вешать.

Они ехали, чтобы через два часа стать перед лицом неразгаданной великой тайны, из жизни уйти в смерть,— и знакомились. В двух плоскостях одновременно шли жизнь и смерть, и до конца, до самых смешных и нелепых мелочей оставалась жизнью жизнь.

— А что вы сделали, Янсон?

— Я хозяина резал ножом. Деньги крал.

По голосу казалось, что Янсон засыпает. В темноте Вернер нашел его вялую руку и пожал. Янсон так же вяло отобрал руку.

— Тебе страшно? — спросил Вернер.

— Я не хочу.

Они замолчали. Вернер снова нашел руку эстонца и крепко зажал между своими сухими и горячими ладонями. Лежала она неподвижно, дощечкой, но отобрать ее Янсон больше не пытался.

В карете было тесно и душно, пахло солдатским сукном, затхлостью, навозом и кожей от мокрых сапог. Молоденький жандарм, сидевший против Вернера, горячо дышал на него смешанным запахом луку и дешевого табаку. Но в какие-то щели пробивался острый и свежий воздух, и от этого в маленьком, душном, движущемся ящике весна чувствовалась еще сильнее, чем снаружи. Карета заворачивала то направо, то налево, то как будто возвращалась назад; казалось иногда, что уже целые часы они кружатся зачем-то на одном месте. Вначале сквозь опущенные густые занавески в окнах пробивался голубоватый электрический свет; потом вдруг, после одного поворота потемнело, и только по этому можно было догадаться, что они свернули на глухие окраинные улицы и приближаются к С—скому вокзалу. Иногда при крутых заворотах живое согнутое колено

Вернера дружески билось о такое же живое согнутое колено жандарма, и трудно было поверить в казнь.

— Куда мы едем? — спросил вдруг Янсон.

У него слегка кружилась голова от продолжительного верчения в темном ящике и слегка тошнило.

Вернер ответил и крепче сжал руку эстонца. Хотелось сказать что-то особенно дружеское, ласковое этому маленькому сонному человеку, и уже любил он его так, как никого в жизни.

— Милый! Тебе, кажется, неудобно сидеть. Подвигайся сюда, ко мне.

Янсон помолчал и ответил:

— Ну, спасибо. Мне хорошо. А тебя тоже будут вешать?

— Тоже! — неожиданно весело, почти со смехом ответил Вернер и как-то особенно развязно и легко махнул рукою. Точно речь шла о какой-то нелепой и вздорной шутке, которую хотят проделать над ними милые, но страшно смешливые люди.

— Жена есть? — спросил Янсон.

— Нету. Какая там жена! Я один.

— Я тоже один. Одна,— поправился Янсон, подумав.

И у Вернера начинала кружиться голова. И казалось минутами, что они едут на какой-то праздник; странно, но почти все ехавшие на казнь ощущали то же и, наряду с тоскою и ужасом, радовались смутно тому необыкновенному, что сейчас произойдет. Упивалась действительность безумием, и призраки родила смерть, сочетавшаяся с жизнью. Очень возможно, что на домах развевались флаги.

— Вот и приехали! — сказал Вернер любопытно и весело, когда карета остановилась, и выпрыгнул легко. Но с Янсоном дело затянулось: молча и как-то очень вяло он упирался и не хотел выходить. Схватится за ручку — жандарм разожмет бессильные пальцы и отдерет руку; схватится за угол, за дверь, за высокое колесо — и тотчас же, при слабом усилии со стороны жандарма, отпустит. Даже не хватался, а скорее сонно прилипал ко всякому предмету молчаливый Янсон — и отдирался легко и без усилий. Наконец встал.

Флагов не было. По-ночному был темен, пуст и безжизнен вокзал; пассажирские поезда уже не ходили, а для того поезда, который на пути безмолвно ожидал этих пассажиров, не нужно было ни ярких огней, ни суеты. И вдруг Вернеру стало скучно. Не страшно, не тоскливо,—

а скучно огромной, тягучей, томительной скукой, от которой хочется куда-то уйти, лечь, закрыть крепко глаза. Вернер потянулся и продолжительно зевнул. Потянулся и быстро, несколько раз подряд зевнул и Янсон.

— Хоть бы поскорее! — сказал Вернер устало.

Янсон молчал и ежился.

Когда на безлюдной платформе, оцепленной солдатами, осужденные двигались к тускло освещенным вагонам, Вернер очутился возле Сергея Головина; и тот, показав куда-то в сторону рукою, начал говорить, и было ясно слышно только слово «фонарь», а окончание утонуло в продолжительной и усталой зевоте.

— Ты что говоришь? — спросил Вернер, отвечая также зевотой.

— Фонарь. Лампа в фонаре коптит,— сказал Сергей.

Вернер оглянулся: действительно, в фонаре сильно коптела лампа, и уже почернели вверху стекла.

— Да, коптит.

И вдруг подумал: «А какое, впрочем, мне дело, что лампа коптит, когда...» То же, очевидно, подумал и Сергей: быстро взглянул на Вернера и отвернулся. Но зевать они оба перестали.

Все до вагонов шли сами, и только Янсона пришлось вести под руки: сперва он упирался ногами и точно приклеивал подошвы к доскам платформы, потом подогнул колена и повис в руках жандармов, ноги его волоклись, как у сильно пьяного, и носки скребли дерево. И в дверь его пропихивали долго, но молча.

Двигался сам и Василий Каширин, смутно копируя движения товарищей,— все делал, как они. Но, всходя на площадку в вагоне, он оступился, и жандарм взял его за локоть, чтоб поддержать,— Василий затрясся и крикнул пронзительно, отдергивая руку:

— Ай!

— Вася, что с тобою? — рванулся к нему Вернер.

Василий молчал и трясся тяжело. Смущенный и даже огорченный жандарм объяснил:

— Я хотел их поддержать, а они...

— Пойдем, Вася, я поддержу тебя,— сказал Вернер и хотел взять его за руку. Но Василий отдернул руку опять и еще громче крикнул:

— Ай!

— Вася, это я, Вернер.

— Я знаю. Не трогай меня. Я сам.

И, продолжая трястись, сам вошел в вагон и сел в углу. Наклонившись к Мусе, Вернер тихо спросил ее, указывая глазами на Василия:

— Ну как?

— Плохо,— так же тихо ответила Муся.— Он уже умер. Вернер, скажи мне, разве есть смерть?

— Не знаю, Муся, но думаю, что нет,— ответил Вернер серьезно и вдумчиво.

— Я так и думала. А он? Я измучилась с ним в карете, я точно с мертвецом ехала.

— Не знаю, Муся. Может быть, для некоторых смерть и есть. Пока, а потом совсем не будет. Вот и для меня смерть была, а теперь ее нет.

Побледневшие несколько щеки Муси вспыхнули:

— Была, Вернер? Была?

— Была. Теперь нет. Как для тебя.

В дверях вагона послышался шум. Громко стуча каблуками, громко дыша и отплевываясь, вошел Мишка Цыганок. Метнул глазами и остановился упрямо.

— Тут местов нету, жандарм! — крикнул он утомленному, сердито глядевшему жандарму.— Ты мне давай так, чтобы свободно, а то не поеду, вешай тут на фонаре. Карету тоже дали, сукины дети,— разве это карета? Чертова требуха, а не карета!

Но вдруг наклонил голову, вытянул шею и так пошел вперед, к другим. Из растрепанной рамки волос и бороды черные глаза его глядели дико и остро, с несколько безумным выражением.

— А! Господа! — протянул он.— Вот оно что. Здравствуй, барин.

Он ткнул Вернеру руку и сел против него. И, наклонившись близко, подмигнул одним глазом и быстро провел рукою по шее.

— Тоже? А?

— Тоже! — улыбнулся Вернер.

— Да неужто всех?

— Всех.

— Ого! — оскалился Цыганок и быстро ощупал глазами всех, на мгновение дольше остановился на Мусе и Янсоне. И снова подмигнул Вернеру:

— Министра?

— Министра. А ты?

— Я, барин, по другому делу. Куда нам до министра! Я, барин, разбойник, вот я кто. Душегуб. Ничего, барин,

потеснись, не своей волей в компанию затесался. На том свете всем места хватит.

Он дико, из-под взлохматившихся волос, обвел всех одним стремительным, недоверчивым взглядом. Но все смотрели на него молча и серьезно и даже с видимым участием. Оскалился и быстро несколько раз похлопал Вернера по коленке.

— Так-то, барин! Как в песне поется: не шуми ты, мать, зеленая дубравушка.

— Зачем ты зовешь меня барином, когда мы все...

— Верно,— с удовольствием согласился Цыганок.—Какой ты барин, когда рядом со мной висеть будешь! Вот он кто барин-то,— ткнул он пальцем на молчаливого жандарма.— Э, а вот энтот-то ваш того, не хуже нашего,—указал он глазами на Василия.— Барин, а барин, боишься, а?

— Ничего,— ответил туго ворочающийся язык.

— Ну уж какой там ничего. Да ты не стыдись, тут стыдиться нечего. Это собака только хвостом виляет да зубы скалит, как ее вешать ведут, а ты ведь человек. А этот кто, лопоухий? Этот не из ваших?

Он быстро перескакивал глазами и непрестанно, с шипением сплевывал набегающую сладкую слюну. Янсон, неподвижным комочком прижавшийся в углу, слегка шевельнул крыльями своей облезлой меховой шапки, но ничего не ответил. Ответил за него Вернер:

— Хозяина зарезал.

— Господи! — удивился Цыганок.— И как таким позволяют людей резать!

Уже давно, искоса, Цыганок приглядывался к Мусе и теперь, быстро повернувшись, резко и прямо уставился на нее.

— Барышня, а барышня! Вы что же это! И щечки розовенькие, и смеется. Гляди, она вправду смеется,— схватил он Вернера за колено цепкими, точно железными пальцами.— Гляди, гляди!

Покраснев, с несколько смущенной улыбкой, Муся также смотрела в его острые, несколько безумные, тяжело и дико вопрошающие глаза.

Все молчали.

Дробно и деловито постукивали колеса, маленькие вагончики попрыгивали по узеньким рельсам и старательно бежали. Вот на закруглении или у переезда жидко и старательно засвистел паровозик — машинист боялся кого-нибудь задавить. И дико было подумать, что в повешение людей вносится так много обычной человеческой аккурат

ности, старания, деловитости, что самое безумное на земле дело совершается с таким простым, разумным видом. Бежали вагоны, в них сидели люди, как всегда сидят, и ехали, как они обычно ездят; а потом будет остановка, как всегда — «поезд стоит пять минут».

И тут наступит смерть — вечность — великая тайна.

12. ИХ ПРИВЕЗЛИ

Старательно бежали вагончики.

Несколько лет подряд Сергей Головин жил с родными на даче по этой самой дороге, часто ездил днем и ночью и знал ее хорошо. И если закрыть глаза, то можно было подумать, что и теперь он возвращался домой — запоздал в городе у знакомых и возвращается с последним поездом.

— Теперь скоро,— сказал он, открыв глаза и взглянув в темное, забранное решеткой, ничего не говорящее окно.

Никто не пошевельнулся, не ответил, и только Цыганок быстро, раз за разом, сплюнул сладкую слюну. И начал бегать глазами по вагону, ощупывать окна, двери, солдат.

— Холодно,— сказал Василий Каширин тугими, точно и вправду замерзшими губами; и вышло у него это слово так: хо-а-дна.

Таня Ковальчук засуетилась.

— На платок, повяжи шею. Платок очень теплый.

— Шею? — неожиданно спросил Сергей и испугался вопроса.

Но так как и все подумали то же, то никто его не слыхал,— как будто никто ничего не сказал или все сразу сказали одно и то же слово.

— Ничего, Вася, повяжи, повяжи, теплее будет,— посоветовал Вернер, потом обернулся к Янсону и нежно спросил:

— Милый, а тебе не холодно, а?

— Вернер, может быть, он хочет курить. Товарищ, вы, быть может, хотите курить? — спросила Муся.— У нас есть.

— Хочу!

— Дай ему папиросу, Сережа,— обрадовался Вернер.

Но Сергей уже доставал папиросу. И все с любовью смотрели, как пальцы Янсона брали папиросу, как горела спичка и изо рта Янсона вышел синий дымок.

— Ну, спасибо,— сказал Янсон.— Хорошо.

— Как странно! — сказал Сергей.

— Что странно? — обернулся Вернер.— Что странно?

— Да вот: папироса.

Он держал папиросу, обыкновенную папиросу, между обыкновенных живых пальцев и бледный, с удивлением, даже как будто с ужасом смотрел на нее. И все уставились глазами на тоненькую трубочку, из конца которой крутящейся голубой ленточкой бежал дымок, относимый в сторону дыханием, и темнел, набираясь, пепел. Потухла.

— Потухла,— сказала Таня.

— Да, потухла.

— Ну и к черту! — сказал Вернер, нахмурившись и с беспокойством глядя на Янсона, у которого рука с папиросой висела, как мертвая. Вдруг Цыганок быстро повернулся, близко, лицом к лицу, наклонился к Вернеру и, выворачивая белки, как лошадь, прошептал:

— Барин, а что, если бы конвойных того... а? Попробовать?

— Не надо,— так же шепотом ответил Вернер.— Выпей до конца.

— А для ча? В драке-то оно все веселее, а? Я ему, он мне, и сам не заметил, как порешили. Будто и не помирал.

— Нет, не надо,— сказал Вернер и обернулся к Янсону: — Милый, отчего не куришь?

Вдруг дряблое лицо Янсона жалко сморщилось: словно кто-то дернул сразу за ниточку, приводящую в движение морщины, и все они перекосились. И, как сквозь сон, Янсон захныкал, без слез, сухим, почти притворным голосом:

— Я не хочу курить. Аг-ха! Аг-ха! Аг-ха! Меня не надо вешать. Аг-ха, аг-ха, аг-ха!

Около него засуетились. Таня Ковальчук, обильно плача, гладила его по рукаву и поправляла свисавшие крылья облезлой шапки:

— Родненький ты мой! Миленький, да не плачь, да родненький же ты мой! Да несчастненький же ты мой!

Муся смотрела в сторону. Цыганок поймал ее взгляд и оскалился.

— Чудак его благородие! Чай пьет, а пузо холодное,— сказал он с коротким смешком. Но у самого лицо стало иссиня-черное, как чугун, и ляскали большие желтые зубы.

Вдруг вагончики дрогнули и явственно замедлили ход. Все, кроме Янсона и Каширина, привстали и так же быстро сели опять.

— Станция! — сказал Сергей.

Как будто сразу из вагона выкачали весь воздух: так трудно стало дышать. Выросшее сердце распирало грудь,

становилось поперек горла, металось безумно — кричало в ужасе своим кроваво-полным голосом. А глаза смотрели вниз на подрагивающий пол, а уши слушали, как все медленнее вертелись колеса — скользили — опять вертелись — и вдруг стали.

Поезд остановился.

Тут наступил сон. Не то чтобы было очень страшно, а призрачно, беспамятно и как-то чуждо: сам грезящий оставался в стороне, а только призрак его бестелесно двигался, говорил беззвучно, страдал без страдания. Во сне выходили из вагона, разбивались на пары, нюхали особенно свежий, лесной, весенний воздух. Во сне тупо и бессильно сопротивлялся Янсон, и молча выволакивали его из вагона.

Спустились со ступенек.

— Разве пешком? — спросил кто-то почти весело.

— Тут недалеко,— ответил другой кто-то так же весело.

Потом большой, черной, молчаливой толпою шли среди леса по плохо укатанной, мокрой и мягкой весенней дороге. Из леса, от снега перло свежим, крепким воздухом; нога скользила, иногда проваливалась в снег, и руки невольно хватались за товарища; и, громко дыша, трудно, по цельному снегу двигались по бокам конвойные. Чей-то голос сердито сказал:

— Дороги не могли прочистить. Кувыркайся тут в снегу.

Кто-то виновато оправдывался:

— Чистили, ваше благородие. Ростепель только, ничего не поделаешь.

Сознание возвращалось, но неполно, отрывками, странными кусочками. То вдруг мысль деловито подтверждала:

«Действительно, не могли дороги прочистить».

То снова угасало все, и оставалось одно только обоняние: нестерпимо яркий запах воздуха, леса, тающего снега; то необыкновенно ясно становилось все — и лес, и ночь, и дорога, и то, что их сейчас, сию минуту повесят. Обрывками мелькал сдержанный, шепотом, разговор:

— Скоро четыре.

— Говорил: рано выезжаем.

— Светает в пять.

— Ну да, в пять. Вот и нужно было...

В темноте, на полянке, остановились. В некотором отдалении, за редкими, прозрачными по-зимнему деревьями, молчаливо двигались два фонарика: там стояли виселицы.

— Калошу потерял,— сказал Сергей Головин.

— Ну? — не понял Вернер.

— Калошу потерял. Холодно.

— А где Василий?

— Не знаю. Вон стоит.

Темный и неподвижный стоял Василий.

— А где Муся?

— Я здесь. Это ты, Вернер?

Начали оглядываться, избегая смотреть в ту сторону, где молчаливо и страшно понятно продолжали двигаться фонарики. Налево обнаженный лес как будто редел, проглядывало что-то большое, белое, плоское. И оттуда шел влажный ветер.

— Море,— сказал Сергей Головин, внюхиваясь и ловя ртом воздух.— Там море.

Муся звучно отозвалась:

— Мою любовь, широкую, как море!

— Ты что, Муся?

— Мою любовь, широкую, как море, вместить не могут жизни берега.

— Мою любовь, широкую, как море,— подчиняясь звуку голоса и словам, повторил задумчиво Сергей.

— Мою любовь, широкую, как море...— повторил Вернер и вдруг весело удивился: — Муська! Как ты еще молода!

Вдруг близко, у самого уха Вернера, послышался горячий, задыхающийся шепот Цыганка:

— Барин, а барин. Лес-то, а? Господи, что же это! А там это что, где фонарики, вешалка, что ли? Что же это, а?

Вернер взглянул: Цыганок маялся предсмертным томлением.

— Надо проститься...— сказала Таня Ковальчук.

— Погоди, еще приговор будут читать,— ответил Вернер.— А где Янсон?

Янсон лежал на снегу, и возле него с чем-то возились. Вдруг остро запахло нашатырным спиртом.

— Ну что там, доктор? Вы скоро? — спросил кто-то нетерпеливо.

— Ничего, простой обморок. Потрите ему уши снегом. Он уже отходит, можно читать.

Свет потайного фонарика упал на бумагу и белые без перчаток руки. И то и другое немного дрожало; дрожал и голос:

— Господа, может быть, приговора не читать, ведь вы его знаете? Как вы?

— Не читать,— за всех ответил Вернер, и фонарик быстро погас.

От священника также все отказались. Цыганок сказал:

— Буде, батя, дурака ломать; ты меня простишь, а они меня повесят. Ступай, откудова пришел.

И темный широкий силуэт молча и быстро отодвинулся вглубь и исчез. По-видимому, рассвет наступал: снег побелел, потемнели фигуры людей, и лес стал реже, печальнее и проще.

— Господа, идти надо по двое. В пары становитесь как хотите, но только прошу поторопиться.

Вернер указал на Янсона, который уже стоял на ногах, поддерживаемый двумя жандармами:

— Я с ним. А ты, Сережа, бери Василия. Идите вперед.

— Хорошо.

— Мы с тобою, Мусечка? — спросила Ковальчук.— Ну, поцелуемся.

Быстро перецеловались. Цыганок целовал крепко, так что чувствовались зубы; Янсон мягко и вяло, полураскрытым ртом,— впрочем, он, кажется, и не понимал, что делает. Когда Сергей Головин и Каширин уже отошли на несколько шагов, Каширин вдруг остановился и сказал громко и отчетливо, но совершенно чужим, незнакомым голосом:

— Прощайте, товарищи!

— Прощай, товарищ! — крикнули ему.

Ушли. Стало тихо. Фонарики за деревьями остановились неподвижно. Ждали вскрика, голоса, какого-нибудь шума,— но было тихо там, как и здесь, и неподвижно желтели фонарики.

— Ах, Боже мой! — дико прохрипел кто-то. Оглянулись: это в предсмертном томлении маялся Цыганок.— Вешают!

Отвернулись, и снова стало тихо. Цыганок маялся, хватая руками воздух:

— Как же это так! Господа, а? Мне-то одному, что ль? В компании-то оно веселее. Господа! Что же это?

Схватил Вернера за руку сжимающими и распадающимися, точно играющими пальцами:

— Барин, милый, хоть ты со мной, а? Сделай милость, не откажи!

Вернер, страдая, ответил:

— Не могу, милый. Я с ним.

— Ах ты, Боже мой! Одному, значит. Как же это? Господи!

Муся шагнула вперед и тихо сказала:

— Пойдемте со мной.

Цыганок отшатнулся и дико выворотил на нее белки:

— С тобою?

— Да.

— Ишь ты. Маленькая какая! А не боишься? А то уж я один лучше. Чего там!

— Нет, не боюсь.

Цыганок оскалился.

— Ишь ты! А я ведь разбойник. Не брезгаешь? А то лучше не надо. Я сердиться на тебя не буду.

Муся молчала, и в слабом озарении рассвета лицо ее казалось бледным и загадочным. Потом вдруг быстро подошла к Цыганку и, закинув руки ему за шею, крепко поцеловала его в губы. Он взял ее пальцами за плечи, отодвинул от себя, потряс — и, громко чмокая, поцеловал в губы, в нос, в глаза.

— Идем!

Вдруг ближайший солдат как-то покачнулся и разжал руки, выпустив ружье. Но не наклонился, чтобы поднять его, а постоял мгновение неподвижно, повернулся круто и, как слепой, зашагал в лес по цельному снегу.

— Куда ты? — испуганно шепнул другой.— Стой!

Но тот все так же молча и трудно лез по глубокому снегу; должно быть, наткнулся на что-нибудь, взмахнул руками и упал лицом вниз. Так и остался лежать.

— Ружье подыми, кислая шерсть! А то я подыму! — грозно сказал Цыганок.— Службы не знаешь!

Вновь хлопотливо забегали фонарики. Наступала очередь Вернера и Янсона.

— Прощай, барин! — громко сказал Цыганок.— На том свете знакомы будем, увидишь когда, не отворачивайся. Да водицы когда испить принеси — жарко мне там будет.

— Прощай.

— Я не хочу,— сказал Янсон вяло.

Но Вернер взял его за руку, и несколько шагов эстонец прошел сам; потом видно было — он остановился и упал на снег. Над ним нагнулись, подняли его и понесли, а он слабо барахтался в несущих его руках. Отчего он не кричал? Вероятно, забыл, что у него есть голос.

И вновь неподвижно остановились желтеющие фонарики.

— А я, значит, Мусечка, одна,— печально сказала Таня Ковальчук.— Вместе жили, и вот...

— Танечка, милая...

Но горячо вступился Цыганок. Держа Мусю за руку, словно боясь, что еще могут отнять, он заговорил быстро и деловито:

— Ах, барышня! Тебе одной можно, ты чистая душа, ты куда хочешь, одна можешь. Поняла? А я нет. Яко разбойника.... понимаешь? Невозможно мне одному. Ты куда, скажут, лезешь, душегуб? Я ведь и коней воровал, ей-Богу! А с нею я, как... как со младенцем, понимаешь. Не поняла?

— Поняла. Что же, идите. Дай я тебя еще поцелую, Мусечка.

— Поцелуйтесь, поцелуйтесь,— поощрительно сказал женщинам Цыганок.— Дело ваше такое, нужно проститься хорошо.

Двинулись Муся и Цыганок. Женщина шла осторожно, оскользаясь и, по привычке, поддерживая юбки; и крепко под руку, остерегая и нащупывая ногою дорогу, вел ее к смерти мужчина.

Огни остановились. Тихо и пусто было вокруг Тани Ковальчук. Молчали солдаты, все серые в бесцветном и тихом свете начинающегося дня.

— Одна я,— вдруг заговорила Таня и вздохнула.— Умер Сережа, умер и Вернер и Вася. Одна я. Солдатики, а солдатики, одна я. Одна...

Над морем всходило солнце.

Складывали в ящик трупы. Потом повезли. С вытянутыми шеями, с безумно вытаращенными глазами, с опухшим синим языком, который, как неведомый ужасный цветок, высовывался среди губ, орошенных кровавой пеной,— плыли трупы назад, по той же дороге, по которой сами, живые, пришли сюда. И так же был мягок и пахуч весенний снег, и так же свеж и крепок весенний воздух. И чернела в снегу потерянная Сергеем мокрая, стоптанная калоша.

Так люди приветствовали восходящее солнце.



МОИ ЗАПИСКИ

Повесть

I

Мне было двадцать семь лет, я только что с выдающимся успехом защитил диссертацию на степень доктора математики — когда меня взяли среди ночи и ввергли в эту тюрьму. Я не стану подробно рассказывать вам о чудовищном преступлении, в котором меня обвинили: есть события, которых люди не должны ни помнить, ни знать, дабы не получить отвращения к самим себе; но, вероятно, существуют еще в живых многие, которые помнят этот страшный процесс и «человека-зверя», каким называли меня тогда газеты. Помнят, вероятно, и то, как все культурное общество страны единодушно требовало для преступника смертной казни, и только необъяснимой снисходительности тогдашнего главы государства обязан я тем, что живу и пишу сейчас эти строки в назидание людям слабым и колеблющимся. Скажу коротко: был зверски умерщвлен мой отец, старший брат и сестра, и преступление это совершил будто бы я с целью получения действительно огромного наследства.

Теперь я старик, скоро умру, и вам нет ни малейшего основания сомневаться, если я скажу, что был совершенно не виновен в чудовищном и страшном злодеянии, за которое двенадцать честных и добросовестных судей единогласно приговорили меня к смертной казни. Просто роковое сцепление обстоятельств, больших и маленьких событий, темного молчания и неясных слов мне, невинному, придали облик и видимость злодея[1]. И глубоко ошибся бы тот, кто заподозрил бы меня в нерасположении к моим строгим

Примечания автора «Моих записок».

[1] Как я уже упомянул, смертная казнь была впоследствии заменена пожизненным заключением в одиночной камере.

судьям: нет, они были совершенно правы, совершенно правы. Как люди, которые могут судить о вещах и событиях только по видимости их и лишены возможности проникнуть в их сокровенное существо, они не могли и не должны были поступить иначе. Случилось так, что в игре событий правда о моих поступках, которую я знал только один, приобрела все черты наглой и даже бесстыдной лжи: и как это ни странно покажется моему любезному и серьезному читателю, *не правдой, а только ложью мог бы я восстановить и утвердить истину о моей невинности*. Впоследствии, уже в тюрьме, воспроизводя во всех подробностях историю преступления и суда и представляя себя на месте одного из судей, я каждый раз неизбежно приходил к полному убеждению в своей виновности. Тогда же я произвел одну интересную и поучительную работу: откинув совершенно вопрос о правде и лжи по существу, я подверг факты и слова многочисленным комбинациям, строя из них здания, как маленькие дети строят различные сооружения из своих деревянных кубиков; и после упорных стараний мне удалось наконец найти одну такую комбинацию фактов, которая, будучи ложной по существу, по видимости своей была столь правдоподобна, что моя истинная невиновность становилась безусловно ясной, точно и твердо установленной. До сих пор помню то огромное, не лишенное страха, чувство изумления, какое испытал я при моем странном и неожиданном открытии: говоря правду, я привожу людей к ошибке и тем обманываю их; утверждая ложь, привожу их, наоборот, к истине и познанию. Тогда я еще не понимал, что неожиданно, подобно Ньютону с его знаменитым яблоком, я открыл великий закон, на котором зиждется вся история человеческой мысли, ищущей не правды, которой ей не дано знать, а правдоподобности, т. е. гармонии между видимым и мыслимым, на основании строгих законов логического мышления. И вместо того, чтобы радоваться, я в наивном, юношеском отчаянии восклицал: «Где же правда? Где же правда в этом мире призраков и лжи?» (См. мой «Дневник заключенного» от 29 июня 18...)

Я знаю, что в настоящее время, когда мне осталось жить каких-нибудь пять-шесть лет, меня легко могли бы помиловать, если бы я попросил об этом. Но, помимо привычки к тюрьме и других весьма важных причин, о которых я сообщу ниже, я просто не в праве просить о помиловании и тем нарушать силу и естественное течение законного и вполне справедливого приговора. И отнюдь не желал бы я слышать в применении к себе слова: «жертва судебной

ошибки», как выражались, к моему огорчению, некоторые из моих любезных посетителей. Повторяю, ошибки нет и не может быть там, где, при совокупности определенных данных, нормально устроенный и развитой мозг непреложно приходит к одному и единственному выводу.

Я осужден справедливо, хотя и не совершал преступления,— такова та простая и ясная истина, в уважении к которой я радостно и спокойно доживаю на земле мои последние годы.

И единственная цель, какою руководился я при составлении моих скромных «Записок», это показать моему благосклонному читателю, как при самых тягостных условиях, где не остается, казалось бы, места ни надежде, ни жизни, — человек, существо высшего порядка, обладающее и разумом и волею, находит то и другое. Я хочу показать, как человек, *осужденный на смерть*, свободными глазами взглянул на мир сквозь решетчатое окно своей темницы и открыл в мире великую целесообразность, гармонию и красоту [1]. Некоторые из посетителей моих упрекают меня в «надменности», спрашивают, откуда я взял право учить и проповедовать: жестокие в недомыслии своем, они хотели бы и улыбку согнать с лица того, кто как убийца навеки заключен в тюрьму. Нет,— как не сойдет с уст моих благожелательная и ясная улыбка, свидетельство совести чистой и незапятнанной, так никогда не помрачится моя душа, бестрепетно прошедшая сквозь теснины жизни, мощным подъемом воли перенесшая меня через те страшные пропасти и бездонные провалы, где так много смельчаков нашло геройскую, но — увы! — бесплодную гибель. И если тон моих «Записок» иногда может показаться благосклонному читателю *слишком* решительным, то это отнюдь не отсутствие скромности, а лишь твердая уверенность в своей правоте и столь же твердое желание быть полезным ближнему по мере слабых сил моих.

Здесь же я должен извиниться, что буду неоднократно, по степени надобности, ссылаться на мой «Дневник заключенного», неизвестный читателю; но дело в том, что полное опубликование «Дневника» я считаю преждевременным и даже, быть может, опасным. Начатый в далекую юношескую пору жестоких разочарований, крушения всех верований и надежд, дышащий беспредельным отчаянием,

[1] Как бы мне хотелось этими словами пристыдить тех безумцев, которые, живя на свободе, в довольстве и счастье, отвратительно клевещут на жизнь и отрицают непонятный им высший смысл в существовании человека.

он местами с очевидностью свидетельствует, что автор его находился если не в состоянии полного сумасшествия, то на роковой грани его. И если мы вспомним, как заразительна эта болезнь, то моя осторожность в пользовании дневником станет вполне понятной.

О цветущая юность! С невольной слезою во взоре я вспоминаю твои роскошные сны, твои дерзновенные мечты и порывы, твое буйное кипение сил, но не желал бы я твоего возвращения, о цветущая юность! Только с сединою волос приходит ясная мудрость и та великая способность к бескорыстному созерцанию, какая всех старцев делает философами и часто даже мудрецами.

II

Те из моих любезных посетителей, которые оказывают мне честь выражением своего восторга и даже — да простится мне эта маленькая нескромность! — даже преклонения перед моей душевной ясностью, едва ли могут представить, каким явился я в эту тюрьму. Десятки лет, пронесшихся над моей головою и побеливших мои волосы, не могут заглушить того легкого волнения, какое испытываю я при воспоминании о первых минутах, когда со скрипом ржавых петель открылись и навсегда закрылись за мною роковые двери.

Не одаренный литературным талантом [1], я постараюсь со всевозможной точностью представить моему благосклонному читателю себя в ту давнишнюю пору.

Это был почти юноша, 27 лет, как я уже имел случай упомянуть, нрава несдержанного, порывистого, способного к резким уклонениям. Некоторая мечтательность, свойственная возрасту, самолюбие, легко оскорбляемое и становящееся на дыбы при каждом ничтожном поводе, задорная стремительность в решении мировых проблем, припадки меланхолии, чередующиеся с такими же дикими припадками веселья — все это придавало юному математику характер крайней неустойчивости, печальной и резкой дисгармоничности.

Не лишним считаю упомянуть о чрезмерной гордости, фамильной черте, унаследованной мною от матушки и не-

---

[1] То, что люди называют обычно «литературным талантом» и чем так наивно восхищаются, есть в сущности не что иное, как неудержимая наклонность к вымыслу и лжи.

редко мешавшей мне внимать советам людей более опытных и зрелых, а также о крайнем упорстве в проведении целей, свойстве, самом по себе и хорошем, но становящемся опасным в тех случаях, когда поставленная цель недостаточно продумана и обоснована[1].

И вот первые дни заключения я вел себя, как и все другие безумцы, попадающие в тюрьму. Я громко и, конечно, бесцельно кричал о моей невиновности, яростно требовал немедленного освобождения и даже стучал кулаками в дверь и стены, оставляя их, естественно, глухими, а себе причиняя довольно сильную боль. Помню, я даже бился головою о стены и часами лежал в беспамятстве на каменном полу камеры; и в течение некоторого времени, дойдя до отчаяния, отказывался от употребления пищи, пока настойчивые требования организма не победили моего упрямства[2]. Конечно, душевная и умственная сторона моей жизни соответствовала всему вышеизложенному. Я проклинал моих судей и грозил им беспощадной местью, наконец всю человеческую жизнь, весь мир, даже небо я стал признавать одной огромной несправедливостью, насмешкою и глумлением. Забывая, что в моем положении я едва ли могу быть беспристрастным, я с самоуверенностью юноши, с болезненной остротой узника приходил постепенно к полному отрицанию жизни и ее великого смысла. Это были действительно ужасные дни и ночи, когда, сдавливаемый стенами, не получающий ответа ни на один из своих вопросов, я бесконечно шагал по камере и одну за другой бросал в черную пучину все великие ценности, которыми одарила нас жизнь: дружбу, любовь, разум и справедливость.

В некоторое оправдание могу привести то обстоятельство, что как раз в эти первые и наиболее тяжелые годы произошел целый ряд событий, весьма тягостно отразившихся на моей психике. Так, с глубочайшим негодованием я узнал, что девушка, имени которой я не назову и которая должна была стать моею женой, вышла замуж за другого. Она, одна из немногих, верила в мою невиновность, еще при последнем прощании она клялась оставаться мне верной до гроба и скорее умереть, нежели изменить любви,— и вот всего лишь через год она вышла замуж за господина, кото-

[1] Подобно тому, как человек, обладающий походкою быстрою и решительною, попав на неверный путь, зайдет значительно дальше и возврат сделает более затруднительным, чем тот, кто движется медленно и вяло.

[2] Обычно я кушаю умеренно, но, обладая сильным и крепким телом, со свойственным ему энергичным и быстрым обменом веществ, я очень скоро слабею при полном отсутствии пищи.

рого я знал, человека, хотя и обладающего некоторыми достоинствами, но далеко не умного. Я не хотел понять, насколько подобный брак был естественным со стороны молодой, здоровой и красивой девушки, одаренной вдобавок особенной склонностью к материнству,— сам присужденный к длительной смерти, я хотел, чтобы и она, неизвестно для чего, разделила мою участь[1]. В настоящее время госпожа NN — счастливая и уважаемая мать, и это лучше всего показывает, насколько целесообразен и совершенно согласен с требованиями природы и жизни был ее тогдашний, столь огорчивший меня брак.

Должен сознаться, однако, что в ту пору я был далек от спокойствия. Ее чрезвычайно милое и любезное письмо, в котором она уведомляла меня о своем браке, выражая глубокое сожаление, что изменившиеся обстоятельства, внезапно вспыхнувшая любовь принуждают ее нарушить данное обещание,— это милое, правдивое, пахнувшее духами, хранящее следы ее нежных пальцев письмо показалось мне посланием самого дьявола.

Огненные письмена жгли мой измученный мозг, и в диком исступлении я сотрясал двери моей камеры и звал неистово: «Приди! Дай мне только взглянуть в твои лживые глаза! Дай мне только услышать твой лживый голос! Дай мне только прикоснуться пальцами к твоему нежному горлу и в твой предсмертный крик влить мой последний, горький смех» (см. «Дневник заключенного» от 14 дек. 18...).

Из приведенной цитаты мой благосклонный читатель усмотрит, насколько были правы судьи, осудившие меня за убийство: воистину они прозревали во мне убийцу.

Мрачности тогдашнего моего миросозерцания содействовали некоторые другие события, естественности которых не мог понять мой помутившийся рассудок. Через два года после брака моей невесты, а, следовательно, после моего заключения в тюрьму через три, умерла моя мать, и умерла, как мне передавали, от глубочайшей скорби за меня. Как это ни странно, она до конца дней своих хранила твердую уверенность, что это я совершил чудовищное злодеяние. По-видимому, это убеждение было неиссякаемым источником скорби и главной причиной той черной меланхолии, которая сковала ее уста молчанием и вызвала

---

[1] Особенно диким покажется читателю этот взгляд, если вспомнить, что я был хорошо знаком с естественными науками и лучше всякого другого мог понимать, насколько повелительны требования здорового инстинкта. Но — увы! — все мы забываем о естественных науках, когда нам изменяет любимая женщина,— да простится мне эта маленькая шутка.

смерть от паралича сердца. Как мне передавали, она никогда не упоминала моего имени, равно как и имен умерших столь трагически, и все свое огромное состояние, послужившее будто бы мотивом к совершению убийства, завещала на различные благотворительные цели[1].

Теперь я понимаю, что, как бы ни велика была ее скорбь, одной ее было бы недостаточно для смерти, истинной причиной которой был преклонный возраст моей матушки и целый ряд болезней, естественно расшатавших ее когда-то крепкий и стойкий организм. Во имя справедливости я должен сказать, что мой покойный отец, человек весьма слабохарактерный, далеко не был примерным мужем и семьянином и многочисленными изменами, ложью и обманом доводил мою матушку до отчаяния, непрестанно оскорбляя ее гордость и строгую, неподкупную правдивость. Но тогда я не понимал этого, смерть матери показалась мне одним из жесточайших проявлений мировой несправедливости и вызвала новый поток бесцельных и кощунственных проклятий.

Не знаю, должен ли я утомлять внимание читателя рассказом о других событиях однородного свойства. Упомяну коротко, что меня один за другим перестали посещать мои друзья, оставшиеся у меня от того времени, когда я был счастлив и свободен. По их словам, они верили в мою невиновность и первое время горячо выражали мне свое сочувствие. Но наши жизни, моя в тюрьме и их на свободе, были столь различны, что постепенно, под давлением совершенно естественных причин: забывчивости, служебных и иных обязанностей, отсутствию общих интересов, они стали являться на свидания все реже и реже и под конец исчезли совсем. Не могу без улыбки вспомнить: даже смерть матери, даже измена любимой девушки не вызвали во мне такого безнадежно-горького чувства, какое удалось исторгнуть из души моей этим господам, имена которых теперь я и сам плохо помню.

«Какой ужас, какая боль!.. Друзья мои, вы оставили меня одного! Друзья мои, вы понимаете, что вы сделали: вы оставили меня одного? Разве мыслимо оставлять человека

---

[1] Очень характерно то обстоятельство, что даже при таких ужасных условиях материнский инстинкт не совсем покинул ее: в приписке к завещанию некоторую, довольно значительную сумму она оставила мне, вполне обеспечивая мое существование как в тюрьме, так и на свободе. Отсюда, как мне кажется, следует и тот вывод, что противоестественная уверенность в моей вине не была у моей честной матушки достаточно твердой и обоснованной.

одного? Даже у змеи есть товарищ, даже у паука есть подруга,— а человека вы оставили одного. Дали ему душу — и оставили одного; дали сердце, разум, дали руку для пожатия, уста для поцелуя — и оставили одного! Что же делать человеку, когда его оставили одного?» — так восклицал я в «Дневнике заключенного», терзаясь горестными недоумениями. В юношеском ослеплении своем, в боли молодого, неразумного сердца я все еще не хотел понять, что одиночество, на которое я так горько жалуюсь, подобно разуму, есть *преимущество*, данное человеку перед другими тварями, дабы оградить от чуждого взора святые тайны его души [1].

И, называя друзей моих «вероломными изменниками, предателями», не мог я, несчастный юноша, понять того мудрого закона жизни, по которому не вечны ни дружба, ни любовь, ни даже нежнейшая привязанность сестры и матери. Обманутый ложью поэтов, провозгласивших вечную дружбу и любовь, я не хотел видеть того, что каждодневно наблюдает из окон своего жилища мой благосклонный читатель: как друзья, родные, мать и жена, в видимом отчаянии и слезах, провожают на кладбище дорогого покойника и по истечении времени *возвращаются обратно*. Никто не закапывается вместе с мертвецом, никто не просит его потесниться и дать место возле себя в гробу, и если горестная жена восклицает, обливаясь слезами: «о, закопайте меня вместе с ним!», то этим символически она выражает лишь крайнюю степень своего отчаяния [2]. И те, кто удерживают ее, также лишь символически выражают свое сочувствие и понимание, придавая этим похоронному обряду необходимый характер торжественной печали.

Законам жизни, а не смерти и не поэтического вымысла, как бы ни был он прекрасен, должен подчиняться человек. Да и может ли быть прекрасным *вымысел*? Разве нет красоты в суровой правде жизни, в мощном действии ее непреложных законов, с великим беспристрастием подчиняющих

---

[1] Пусть рассудит мой серьезный читатель, во что превратилась бы жизнь, если бы отнять у человека его право, его обязанность быть одиноким? В сборище праздных болтунов, в унылую коллекцию прозрачностеклянных, убивающих друг друга своим однообразием, в дикий город, где все двери открыты, окна распахнуты, и прохожие скучливо, сквозь стеклянные стены, наблюдают одни и те же явности очага и алькова. Только та тварь, что одинока, обладает лицом, и морда, вместо лица, у тех тварей, что не знают великого благодатного одиночества души.

[2] В этом легко может убедиться сторонний наблюдатель, попробовавши хотя бы в шутку столкнуть ее в могилу.

себе как движение небесных светил, так и беспокойное сцепление тех крохотных существ, что именуются людьми!

Припоминаю при этом не лишенный интереса случай, относящийся к тому далекому времени, когда я был еще безбородым юношей, студентом второго курса. В группе с товарищами-однокурсниками я работал над трупом какого-то неизвестного, уже пожилого человека. Помню то отвращение, с каким первоначально услышал я гнилостный запах разложения, то чувство нестерпимой брезгливости и даже страха, какое испытал я при первом прикосновении моих живых пальцев к гниющему мясу. Но, захваченный интересною работой, я постепенно привык к дурному запаху, а вскоре, в один из увлекательнейших вечеров, когда случайно мне пришлось работать одному, я неожиданно почувствовал глубочайший восторг перед необыкновенным зрелищем — обратного шествия материи от жизни к смерти, от сложнейшей конструкции живого организма к простейшим элементам вещества. Долго в экстазе, который я осмелюсь назвать религиозным, любовался я трупом, сам своей неподвижною фигурой, со скальпелем в одной руке, с другой рукою, поднятою ввысь, уподобляясь объекту моего восхищенного созерцания. Так даже в юные годы случайной гостьей навещала меня прекрасная истина, полным обладанием которой только теперь я вправе гордиться.

Позволив себе это краткое, быть может, излишнее отступление, я перехожу к дальнейшему повествованию.

III

Так печально прожил я в тюрьме пять или шесть лет.

Первый спасительный луч мелькнул для меня как раз с той стороны, откуда я всего менее мог ожидать его. Здесь я должен извиниться перед читателями и особенно очаровательными читательницами, что вынужден буду говорить о вещах, о которых обычно умалчивают или ограничиваются смутными намеками. Но великий разум, который путем долгого искуса и страдания я открыл во всех явлениях жизни, да рассеет перед вами ту прозрачную мглу, которую люди неумные, невежественные и часто лицемерные набрасывают на важнейшие стороны жизни человека. Внешней неприличности дальнейшего повествования послужит оправданием, если таковое нужно, его целомудренный и высокий смысл.

Как вы, вероятно, уже догадались, речь идет о так называемом «гнусном пороке»[1], к которому я естественно приведен был всей совокупностью обстоятельств.

Вначале, полный смутного и тоскливого отвращения, я упорно сопротивлялся естественному влечению, но сладкие галлюцинации и сны, наконец, полная невозможность бороться далее с телом, законно требующим своего, привели меня к тому, что я открыто и смело ступил на путь искусственного удовлетворения половой потребности. Обладая даром некоторой фантазии, неизменным объектом своих одиноких любовных вожделений я сделал ее, мою бывшую невесту, мою любовь, мою мечту и, если можно так выразиться, жил с нею в честном браке все эти десятки лет, пока совершенно естественно, с наступлением старости, не погасла во мне потребность в половом общении. И время, которое в движении своем уравнивает факты с продуктами фантазии, одинаково оставляя их только в памяти и больше нигде, дает мне, старцу, сладкую возможность воспоминаний: если бы не боязнь утомить внимание читателя, я мог бы передать ему долгую повесть любовных восторгов, мук ревности, тоски ожидания и радости мгновенных тайных встреч. И могу уверить, что эта повесть была бы нисколько не хуже, не короче, не менее реальна, чем то, что мог бы рассказать нам о своей жизни с г-жой NN ее фактический муж.

Этот случай, сам по себе, быть может, и не столь значительный, показал мне, однако, что, как человек, существо высшего порядка, обладающий не только инстинктом, но и разумом, я могу стать выше обстоятельств и найти исход там, где неразумное животное, вероятно, погибло бы жертвой мучительной неудовлетворенности[2].

Второе,— это случилось почти одновременно с моим вступлением в брак,— что вдруг открыло почву под моими ногами, было, как это ни странно, создавшееся убеждение, *что бегство из тюрьмы для меня немыслимо.*

Первое время моего заключения я, как пылкий юноша-фантазер, строил всевозможные планы бегства, и некоторые из них казались мне вполне осуществимыми. Питая обманчивые и несбыточные надежды, эта мысль, естествен-

---

[1] Какое нелепое название! Как мало люди разбираются в том, что действительно порочно и что часто лишь естественно и необходимо!

[2] Известны факты, когда некоторые животные прибегали к искусственному удовлетворению половых потребностей; но большею частью это происходило совершенно случайно, как опыт едва ли может быть повторено и во всяком разе безусловно лишено разумности.

но, держала меня в состоянии напряженной тревоги и мешала сосредоточиться моему вниманию на более важном и существенном[1]. Отчаявшись в осуществимости одного плана, я немедленно создавал другой, но, конечно, не подвигался вперед, а лишь двигался по замкнутому кругу. Едва ли нужно упоминать, что при этом каждый переход от одной мечты к другой был сопряжен с жестокими страданиями, терзавшими мою душу, как орел тело Прометея.

Но вот однажды, всматриваясь усталым взором в стену своей камеры, я вдруг почувствовал, как непреоборимо толст камень, как крепок цемент, его соединяющий, как искусно, с точным, почти математическим расчетом сложена эта грозная твердыня. Правда, первое ощущение было чрезвычайно тягостно; пожалуй даже, это был ужас безнадежности.

Здесь как в моей памяти, так и в «Дневнике» существует некоторый пробел; я решительно не могу припомнить, что делал я и чувствовал в течение двух или трех последующих месяцев. И первая запись в дневнике, появившаяся после долгого периода молчания, своей незначительностью не дает ключа к разгадке: в коротких и сжатых выражениях я сообщаю лишь, что мне сшили новое платье, и что я пополнел (см. «Дневник заключенного» от 16 апреля 18...).

Факт тот, что, погасив все надежды, сознание невозможности бегства раз и навсегда погасило мучительную тревогу и освободило от рабства мой ум, уже и тогда склонный к возвышенному созерцанию и радостям математики. Все еще смутно, но уже с настойчивостью, обещавшей близкое освобождение, я стал посвящать мои дни тому, что с помощью догадок и приблизительных расчетов начал вычислять размеры и твердость стен, включая сюда и те, что со всех сторон облегали нашу тюрьму[2]. Многочисленные чертежи, испещряющие тогдашний мой «Дневник», свидетельствуют о кропотливой и беспримерно настойчивой работе моей пробудившейся мысли, а дважды в разных местах повторенное и подчеркнутое гордое слово

[1] Пусть вспомнит мой благосклонный читатель прелестную сказочку А. Шопенгауэра об итальянском осле, которого заставляют подвигаться тем, что впереди перед самой мордой привязывают на палке кусок душистого сена. И бедный осел — животное далеко не глупое — идет туда, куда посылают его выгоды господина.

[2] До сих пор, к сожалению, я не могу узнать имени инженера, строившего нашу тюрьму: по-видимому, и сам г. начальник, за давностью времени, забыл его имя. Так неблагодарна память у лучших людей! Впрочем, анонимность в строении нашей тюрьмы нисколько не мешает ее солидности и не уменьшает нашей благодарности к неизвестному творцу.

«εὕρηκα»[1] уже тогда роднит меня со славным мудрецом древности, умевшим решать великие проблемы под градом вражеских стрел, на пепелище родного города.

Но первым настоящим днем освобождения я считаю следующий. Это было прекрасное весеннее утро[2], и в открытое окно вливался живительный, бодрый воздух; и, гуляя по камере, я каждый раз при повороте, бессознательно, со смутным интересом взглядывал на высокое окно, где на фоне голубого безоблачного неба четко и резко вычерчивала свой контур железная решетка.

«Почему небо так красиво именно сквозь решетку? — размышлял я, гуляя.— Не есть ли это действие эстетического закона контрастов, по которому *голубое* чувствуется особенно сильно наряду с *черным*? Или не есть ли это проявление какого-то иного, высшего закона, по которому *безграничное* постигается человеческим умом лишь при непременном условии введения его *в границы*, например, включения его *в квадрат*?»

Вспомнив затем, как всегда в той жизни, при взгляде в широко открытое окно, не защищенное решеткой, или в небесный простор, я испытывал потребность лететь, мучительную по своей явной бесплодности и нелепости[3],— я вдруг почувствовал нежность к решетке, нежную благодарность, почти любовь. Скованная руками, слабыми человеческими руками какого-нибудь невежественного кузнеца, даже не отдающего себе отчета в глубоком смысле своего создания, вделанная в стену столь же невежественным каменщиком, она вдруг явила собою образец глубочайшей целесообразности, красоты, благородства и силы. Схватив в свои железные квадраты бесконечное, она застыла в холодном и гордом покое, пугая людей темных, давая пищу

[1] «Я изобрел» *(древнегреч.)*.

[2] 6-го мая.

[3] Помню то завистливое чувство, какое в детстве испытывал я даже по отношению к воробьям, этим прозаическим птицам, пользующимся своею способностью летать только для того, чтобы с одной кучи лошадиного навоза переноситься на другую. Но мне, человеку, казалось сверхъестественно обидным, что я, человек, не имею того, чем обладает глупый воробей. Только теперь я понял, что воздушный полет в пределах нашей земной атмосферы ничего не изменит в нашем стремлении к бесконечному полету и бесплодность его сделает еще более мучительною. И, вместо того чтобы радоваться успехам воздухоплавания, как это делают мои современники, я предложил бы им серьезно задуматься над вопросом, не лучше ли для человека полная неподвижность, в крайнем случае твердое и верное ползание по земле, нежели обманное порхание в клетке? Конечно, я шучу: как новый способ передвижения, воздухоплавание имеет огромную и светлую будущность.

для размышления людям рассудительным и восхищая мудреца!

Это счастливое наблюдение, сделанное в прекрасное весеннее утро[1], послужило только началом к целому ряду таких же. Откинув все личное, вглядываясь в окружающее холодным и зорким взглядом наблюдателя, я вскоре пришел к чрезвычайно ценному выводу, *что и вся наша тюрьма построена по крайне целесообразному плану*, вызывающему восторг своею законченностью.

IV

Дабы сделать дальнейшее повествование более понятным моему благосклонному читателю, я вынужден сказать несколько слов о том исключительном, весьма для меня лестном и, боюсь, даже не вполне заслуженном положении, какое занимаю я в нашей тюрьме. С одной стороны, моя душевная ясность, редкая законченность миросозерцания и благородство чувств, поражающие всех моих собеседников, с другой — некоторые весьма, впрочем, скромные услуги, оказанные мною г. начальнику, создали для меня ряд привилегий, которыми я пользуюсь, конечно, вполне умеренно, не желая выходить из общего плана и системы нашей тюрьмы. Так, на еженедельные, отнюдь не ограниченные временем свидания ко мне допускаются все желающие меня видеть, что подчас составляет довольно изрядную аудиторию. Не смея вполне принять уверения г. начальника[2], что я мог бы составить «гордость любой тюрьмы», я могу, однако, без ложной скромности сказать, что слова мои пользуются надлежащим весом и что среди посетителей моих я насчитываю немало горячих почитателей и пылких почитательниц. Упомяну, что сам г. начальник, равно как и помощники его, нередко оказывают мне честь своим посещением, черпая у меня силу и мужество для продолжения их нелегкого труда. Конечно, вполне свободно я пользуюсь тюремной библиотекой и даже архивом тюрьмы; и если на мою просьбу дать мне точный план тюрьмы г. начальник ответил вежливым отказом, то отнюдь не по чувству недоверия ко мне, а лишь потому, что таковой план составляет государственную тайну.

---

[1] 6-го мая.

[2] К сожалению, несколько иронические.

Признаюсь, не без некоторого трепета приступаю я к изображению нашей тюрьмы[1].

Это — огромное пятиэтажное здание, имеющее форму буквы Т, со стенами, сложенными в пять, местами в шесть кирпичей. Расположенное на окраине города, на границе пустынного, поросшего бурьяном поля, оно издалека привлекает взоры путника своими суровыми очертаниями, суля ему покой и отдых от бесконечных скитаний. Не будучи оштукатурено, здание сохраняет естественный темно-бурый цвет старого кирпича и вблизи, как говорят, производит впечатление сумрачное, даже угрожающее, особенно на людей нервных, которым красные кирпичи напоминают кровь и кровавые куски человеческого мяса. Небольшие темные, плоские окна с железными решетками естественно завершают это впечатление и всему целому придают характер угрюмой гармоничности, суровой и мрачной красоты. Даже в хорошие дни, когда на нашу тюрьму светит солнце, она не теряет вида мрачной и угрюмой важности и непрестанно напоминает людям, что законы существуют и нарушителей их ждет кара, кара, кара![2]

Моя камера находится на высоте пятого этажа, и в решетчатое окно открывается прекрасный вид на далекий город и часть пустынного поля, уходящего направо; налево же, вне пределов моего зрения, продолжается предместье города и находится, как мне сказали, церковь с прилегающим к ней городским кладбищем. О существовании церкви и даже кладбища я знал, впрочем, и раньше по печальному перезвону колоколов, какого требует обычай при погребении умерших.

Вполне соответствуя внешней выдержанности стиля, внутреннее устройство тюрьмы столь же закончено, гармонично и целесообразно. Чтобы яснее представить это моему читателю, я позволю себе привести пример безумца, который

---

[1] Так как материалом для описания служат главным образом мои наблюдения, естественно ограниченные моим положением узника, то заранее извиняюсь за его неполноту. Считаю своим долгом принести в этих строках горячую благодарность тем из моих любезных посетителей, которые снабдили меня большим количеством фотографий и рисунков, дающих мне возможность составить довольно точное представление о внешнем виде нашей тюрьмы.

[2] Интересно то обстоятельство, что крик ворона, которому народное поверье приписывает зловещее и даже угрожающее значение, когда он раздается над головою, довольно верно воспроизводит своим звуком это чисто человеческое слово: кара! кара! В зимние сумерки, когда над пустынным полем и над крышею нашей тюрьмы носятся тучи бесприютного воронья, я слышу, даже сквозь толстые стекла, этот неумолчный и зловещий крик: кара! кара! кара!

вздумал бы убежать из нашей тюрьмы. Допустим, что смельчак обладает сверхъестественной геркулесовской силой и ломает замок на своей двери,— что он находит? Коридор, многократно прегражденный решетчатыми дверьми, способными выдержать канонаду, и вооруженных надзирателей. Допустим, что он убивает всех надзирателей, ломает все двери и выбирается на двор — быть может, он думает, что он уже на свободе? А стены? А стены, что трижды каменным кольцом обвивают нашу тюрьму!

Допуская всю эту галиматью — я умышленно упустил из виду надзор. А надзор неусыпен. День и ночь я слышу за дверьми шаги тюремщика, день и ночь в маленькое окошечко на двери за мною следит чей-то глаз, контролируя мои движения, читая на лице моем мои мысли, мои намерения, наконец, мои сны. Днем я могу усыпить его внимание ложью, придав лицу выражение веселое и беззаботное, но я еще не встретил почти человека, который мог бы лгать и во сне. Как бы ни охранял я себя днем, ночью я выдам себя невольным стоном, судорогой в лице, выражением усталости и тоски и другими проявлениями совести нечистой и беспокойной[1]. И для меня является огромным счастьем то, что я не преступник, что совесть моя спокойна и чиста: читай, мой друг, читай,— говорю я неусыпному глазу, спокойно укладываясь спать,— ты ничего не прочтешь на моем лице!

Но в одном случае тот, кто наблюдает за мной, стал невольным поверенным моим: читатель догадывается, конечно, что речь идет о моей любви к г-же NN. Должен, однако, отдать справедливость той крайней и благородной деликатности, с какою наблюдающий за мною удаляется от окна, заметив мое характерно возбужденное состояние и некоторые приготовления. Очень возможно, впрочем, что это делается по распоряжению г. начальника, из естественного чувства благодарности, так как окошечко в двери — мое изобретение. *Да, это я изобрел окошечко в двери.*

Я чувствую, что мой читатель удивлен и недоверчиво улыбается, мысленно обзывая меня старым фанфароном и лгуном,— но есть случаи, где скромность излишня и даже вредна. Да, это простое и в своей простоте гениальное

[1] Лишь очень немногие люди, с чрезвычайно сильной волей, умеют лгать и во сне, искусно управляя мышцами лица, даже нередко сохраняя приветливую и ясную улыбку на устах в то время, как душа их, отданная во власть сновидениям, трепещет ужасами чудовищного кошмара,— но как исключения они не могут приниматься в соображение.

изобретение принадлежит мне, так же, как Ньютону — его бином, Кеплеру — его законы вращения светил.

Впоследствии, поощренный успехом моего изобретения, я открыл и ввел в обиход тюрьмы целый ряд маленьких усовершенствований, но они касались деталей: формы замков и т. п., и, как все другие маленькие изобретения, влились в общее русло жизни, увеличив ее правильность и красоту, но не сохранив за собою имени автора[1]. Окошечко же в двери — мое, и всякого, кто осмелится отрицать это, я назову лжецом и негодяем.

Пришел я к моему изобретению при следующих обстоятельствах: однажды во время поверки некий арестант железной ножкой от кровати убил вошедшего к нему надзирателя. Конечно, негодяя повесили на дворе нашей же тюрьмы, и администрация легкомысленно успокоилась, но я был в отчаянии: великая *целесообразность тюрьмы оказывалась мнимой*, раз возможны такие вопиющие факты. Как можно было не заметить, что арестант отломал ножку от своей кровати? Как можно было не заметить, наконец, того несомненно возбужденного состояния, в каком он должен был находиться перед совершением убийства и каковое его внимательному наблюдателю, если бы таковой существовал, дало бы возможность предотвратить происшедшее?

Поставив вопрос столь точно и прямо, я уже тем самым значительно приблизился к решению загадки; и действительно, по прошествии двух или трех недель я совершенно просто и даже как будто неожиданно пришел к моему великому изобретению. Сознаюсь откровенно, что до сообщения моего изобретения г. начальнику тюрьмы я пережил минуты некоторого колебания, весьма естественного в моем положении узника. Читателю, который все же удивится этому колебанию, зная меня за человека с чистой и незапятнанной совестью, я отвечу цитатой из моего «Дневника заключенного», относящейся к тому времени (1 сент. 18...):

«Как затруднительно положение человека, осужденного безвинно, подобно мне. Если он печален, если уста его

---

[1] Между прочим, по моему совету была изменена форма кандалов в нашей тюрьме: вместо прежних колец я ввел двойное полуовальное кольцо, представляющее собою в чистом виде тот знак, который в математике символизирует бесконечность ∞; впрочем, это изобретение относится скорее к области философского, так сказать, щегольства, так как практически прежние неумные кольца с успехом выполняли свое назначение.

скованы молчанием и глаза опущены долу, про него говорят: он раскаивается, он мучится угрызениями совести. Если в невинности сердца своего он улыбается ясно и благожелательно, наблюдатель мыслит: вот лживой и притворной улыбкой хочет он скрыть свою зловещую тайну. Что бы он ни делал, он кажется виновным,— такова сила предвзятости, с которой предстоит мне бороться. Но я не виновен и буду самим собою в твердой уверенности, что ясность духа моего разрушит злые чары предубеждения» [1].

И уже на следующий день г. начальник тюрьмы горячо жал мне руки, выражая свою признательность, а через месяц на всех дверях, во всех тюрьмах государства темнели маленькие отверстия, открывая поле для широких и плодотворных наблюдений. Я же радовался глубоко с сознанием, что если в целесообразности тюрьмы и существуют некоторые пробелы, то не потому, чтобы в основе ее лежала ложная идея, а лишь потому, что ограничены силы человека; но чего не может сделать один, то делает другой, и так в совместной, дружной работе движется человечество к осуществлению великих заветов разума и строгих предначертаний неумолимой справедливости.

Глубокое удовлетворение дает мне весь распорядок нашей тюремной жизни. Часы вставания и сна, обеда и прогулок расположены столь рационально, в таком соответствии с истинными потребностями природы, что уже вскоре теряют характер некоторой принудительности и становятся естественными, даже дорогими привычками. Только этим могу объяснить тот интересный факт, что, будучи на свободе юношей нервным и слабосильным, склонным к простудам и заболеваниям, в нашей тюрьме я значительно окреп и для своих 60 лет пользуюсь завидным здоровьем. Я не толст, но и не худ, имею сильные легкие и сохранил почти все зубы, за исключением двух коренных с левой стороны челюсти; характер у меня прекрасный, ровный, *сон крепкий* [2], почти без сновидений. Фигурою своею, в которой

---

[1] Мечта некоторых увлекающихся людей о том, что наступит счастливое время, когда органы восприятия у человека станут столь чувствительны, что сделается возможным непосредственное чтение мыслей,— мне кажется абсолютно неосуществимою. Даже рентгеновские лучи, если бы таковые были открыты для души, не могут проникнуть в глубочайшие тайники ее, и всегда останется место, куда может скрыться преследуемая мысль.

[2] Упоминаю об этом интересном обстоятельстве, так как обычно у стариков сон очень легок и не крепок.

преобладающим является выражение спокойной силы и уверенности, а также лицом я напоминаю несколько микельанджеловского Моисея — так говорят, по крайней мере, некоторые из моих любезных посетителей.

Но еще более, нежели правильный и здоровый режим, укреплению души моей и тела содействовала та удивительная и вместе совершенно понятная и естественная особенность нашей тюрьмы, по которой из жизни ее совершенно устранен элемент случайного и неожиданного. Не имея ни семьи, ни друзей, я совершенно избавлен от тех гибельных для жизни потрясений, какие приносят с собою измена, болезни, наконец, смерть близких,— пусть вспомнит мой благосклонный читатель, как много людей погибло на его глазах не через себя, а лишь вследствие того, что капризная судьба связала их с людьми недостойными[1]. Не разменивая своего чувства любви на мелкие личные привязанности, я тем самым одновременно освобождаю его для широкой, мощной любви к человечеству, а так как человечество бессмертно, не подвержено болезням и в гармоничном целом своем несомненно движется к совершенству, то и любовь к нему является наиболее верной гарантией душевного и телесного здоровья[2].

Мой день ясен; и столь же ясны, как он, все грядущие дни, ровной и светлой чередою плывущие ко мне навстречу. Ко мне не ворвется корыстный убийца, меня не раздавит шальной автомобиль, на меня не свалится болезнь ребенка, ко мне не подкрадется из темноты жестокое предательство — моя мысль свободна, мое сердце спокойно, моя душа ясна и светла. Ясные и точные правила нашей тюрьмы определяют все, чего не должен я делать, избавляя меня от тех несносных колебаний, сомнений и ошибок, которыми так чревата практическая жизнь. Правда, и в нашу тюрьму, сквозь ее высокие стены, проникает иногда веяние того, что люди невежественные называют случаем или даже роком и что является только необходимым отражением общих

---

[1] Не говоря о непосредственном воздействии одного человека на другого, с которым так или иначе связала его судьба, я сошлюсь на общеизвестное, так называемое «влияние среды». Имея своею «средою» только воздух камеры, в котором я живу, я, конечно, совершенно избавлен от этих, часто пагубных влияний.

[2] Известно, что все люди, обладающие могучею любовью к человечеству, как-то: пророки, великие проповедники, философы, моралисты, ученые и даже художники умирали в очень преклонном возрасте, далеко превышающем средний статистический возраст. И наоборот: все человеконенавистники погибают рано. Исключение можно сделать разве только для одного дьявола, который бессмертен,— да простится мне эта маленькая шутка.

законов[1], но потрясенная временно жизнь быстро возвращается в свое обычное русло, как река после разлива. К этой категории случайностей нужно отнести упомянутое выше убийство надзирателя, редкие и *всегда* неудачные попытки к бегству, а также смертные казни, ареною которых является один из отдаленнейших дворов нашей тюрьмы. Но и здесь я должен отдать справедливость той мудрой целесообразности, с какою проводятся казни: совершаясь обычно на рассвете, в пору наиболее крепкого сна, в надлежащем расстоянии от наших камер, они не нарушают покоя лиц сторонних и незаинтересованных. Только однажды, на рассвете, мне послышался чей-то взволнованный крик, но очень возможно, что я ошибся, приняв за призыв о помощи ночной вопль какого-либо животного или перенеся в действительность отрывок собственного сна[2].

Наконец есть еще одна особенность в строе нашей тюрьмы, которую я считаю наиболее плодотворною, всему целому придающей характер суровой и благородной справедливости. Предоставленный самому себе, и только себе, узник не может рассчитывать ни на поддержку, ни на ту фальшивую, досадную жалость, которая столь часто выпадает на долю людей слабых, сохраняя их для жизни и тем самым искажая основные цели природы. Признаюсь, не без некоторой гордости помышляю я о том, что если сейчас я пользуюсь общим уважением и преклонением, если мозг мой силен, воля крепка, взгляд на жизнь ясен и светел, то этим я обязан только себе, своей силе и настойчивости. Сколько людей слабых погибло бы на моем месте жертвою безумия, отчаяния, тоски — а я победил все! Я перевернул мир; моей душе я придал ту форму, какую пожелала моя мысль; в пустыне, работая один, изнемогая от усталости, я воздвиг стройное здание, в котором живу ныне радостно и спокойно — как царь. Разрушьте его — и завтра же я начну новое и, обливаясь кровавым потом, построю его! *Ибо я должен жить.*

---

[1] Не ведая большинства причин тех явлений, что составляют их жизнь, люди в недоумении останавливаются перед следствиями и создают понятие какого-то особенного вульгарного рока, который будто бы тем и занят, чтобы *причинять* им неприятности или доставлять удовольствие. Отсюда и уверенность, что судьбу можно надуть, как какого-нибудь ротозея, надев на руку цепочку или стараясь ничего не предпринимать в пятницу.

[2] Иногда днем слышится стук топора, сколачивающего эшафот, но так как этот звук ничем не отличается от того, как если бы вместо эшафота плотники строили просто качели для детей г. начальника, то лишь болезненно настроенное воображение способно найти в нем предлог для волнений.

Да простится мне невольный пафос последних строк, столь неидущих к моему уравновешенному и спокойному характеру. Но трудно не взволноваться, вспоминая пройденный путь; надеюсь, впрочем, что в будущем я не омрачу настроения моего читателя какими-либо вспышками взволнованного чувства. Кричит только тот, кто не уверен в правде своих слов; истине же подобает спокойная твердость и холодная простота.

P. S. Не помню, говорил я или нет, что злодей, умертвивший моего отца, до сих пор еще не найден.

V

Время от времени, отступая от спокойной формы исторического повествования, я должен останавливаться на текущем моменте. Так, позволю себе в немногих строках познакомить моего читателя с довольно интересным экземпляром человеческой породы, обретенным мною случайно в недрах нашей тюрьмы. Поводом к знакомству послужило следующее обстоятельство. На днях в послеобеденную пору ко мне изволил пожаловать г. начальник для обычной беседы и, между прочим, сказал, что в тюрьме содержится в настоящее время один очень несчастный человек, на которого я мог бы оказать благотворное влияние. Я любезно выразил мою полную готовность, и вот уже несколько дней подряд, с разрешения г. начальника, я подолгу беседую с художником К. Та первоначальная враждебность, даже строптивость, с какой он, к прискорбию моему, встретил меня при первом визите, ныне совершенно исчезла под влиянием моих речей. Охотно и с интересом выслушивая мои всегда умиротворяющие слова, он постепенно, после целого ряда настойчивых вопросов, рассказал мне свою довольно необычную историю.

Это господин лет двадцати шести—восьми, с приятной внешностью и вполне приличными манерами, свидетельствующими о хорошем воспитании[1]. Некоторая, вполне, впрочем, естественная несдержанность в речах, страстная порывистость, с какой он рассказывает о себе, порою горький, даже иронический смех, а вслед затем тяжелая задумчивость, из которой с трудом удается его извлечь даже прикосновением руки,— дополняют облик моего нового знакомца. Мне лично он не особенно симпатичен, и, как ни странно, особенно неприятно действует на меня его отвра-

[1] Господин К. принадлежит к хорошей семье, обладающей приличными средствами.

тительная привычка постоянно шевелить тонкими худыми пальцами и беспомощно хвататься ими за руку собеседника.

О своей прошлой жизни г. К. рассказал мне очень мало.

— Ну что там! Был художником, вот и все,— повторяет он с досадливой гримасой и совершенно отказывается говорить о том «безнравственном деянии» [1], за которое присужден к одиночному заключению.

— Я не хочу развращать вас, дедушка, живите себе честно,— шутит он с несколько неприличной фамильярностью, которую я допускаю единственно из желания сделать приятное г. начальнику тюрьмы, выпытав у узника действительную причину его страданий, принимающих иногда тяжелую форму буйства и угроз. И действительно, в одну из тяжелых минут, когда воля к сопротивлению у г. К. ослабела в силу томящей его бессонницы, я присел к нему на кровать, несколько приласкал его и вообще отнесся к нему с такой отеческой мягкостью, что тут же он выболтал все. Не желая утомлять читателя точным воспроизведением его истерических выкриков, хохота и слез, я передам лишь содержание его рассказа. Горе г. К., вначале для меня не совсем понятное, заключается в том, что для рисования ему дают не бумагу и не полотно, а большую грифельную доску и грифель [2]. Таким образом, благодаря свойству материала, прежде чем начать новую картину, г. К. должен уничтожить прежнюю, начисто стерши ее с грифельной доски; и это будто бы каждый раз доводит его почти до исступления.

— Вы не можете себе представить, что это значит,— рассказывал он, хватая мои руки своими тонкими, цепкими пальцами,— пока я рисую, я, знаете, совсем забываю, что это бесцельно, бываю очень весел и даже что-то там такое свищу, и раз даже сидел за это в карцере, так как в вашей проклятой тюрьме и свистеть нельзя. Но это пустяки, я там выспался по крайней мере. А вот когда кончу... нет, даже только когда подхожу к концу, тут наступает, дедушка, такое ужасное, что хочется вырвать из головы свой мозг и топтать его ногами [3]. Вы понимаете меня?

---

[1] Меня, как психофизиолога, очень интересовали свойства этого загадочного деяния, за которым чувствуется какая-то извращенность.

[2] Между прочим, поразительно искусство, с каким он овладел новым для него материалом: я видел некоторые его произведения, и, как мне кажется, они могут удовлетворить вкусу самого строгого знатока графических искусств; впрочем, я лично к живописи равнодушен, предпочитая ей живую, правдивую природу.

[3] Рискованный образ, свидетельствующий о том, что мозг моего юного друга находится не в полном порядке.

— Понимаю, мой друг, вполне понимаю и сочувствую вам.

— Ей-Богу? Ну так слушайте, дедушка. Уже последние штрихи я провожу с такою болью, с такой тоской и безнадежностью, как будто навсегда прощаюсь с самым любимым человеком. Но вот кончил — вы понимаете, что это значит? Это значит, что оно ожило, оно живет, что в нем уже есть своя таинственная жизнь. И в то же время оно обречено уже на смерть, оно уже умерло, оно уже мертво, как селедка,— вы можете что-нибудь в этом понять? Я ничего не понимаю. И вот вы представьте, я все-таки, глупец, радуюсь, плачу и радуюсь. Нет, думаю, этого уж я не уничтожу, оно так хорошо, что я его не уничтожу, пусть живет. И правда, мне в это время ничего нового и писать не хочется, совсем не хочется. А все-таки страшно — вы понимаете меня?

— Вполне, мой друг. Несомненно, на другой день рисунок перестает вам нравиться...

— Фу, дедушка, какую ерунду вы говорите! (Он так именно и выразился: «ерунду»). Как может разонравиться умирающий ребенок? Ну, конечно, если б он пожил, из него вышел бы настоящий подлец [1], а когда он умирает... Нет, не то, дедушка, не то. Ведь я сам его убиваю. Целую ночь я не сплю, вскакиваю, гляжу на него и так его люблю, что хочется его украсть. У кого украсть? А я почем знаю. А как наступит утро, я уже чувствую, что не могу, что я снова должен взять этот проклятый грифель и снова творить. Какая насмешка, творить! Да что я, каторжник, что ли?

— Мой друг, вы действительно находитесь в каторжной тюрьме.

— Дедушка, дедушка! Когда я начинаю с губкой подкрадываться к доске, так ведь я же на убийцу похож. Случается, день, два хожу я около него... знаете, я раз палец себе на правой руке обкусал, чтоб не писать, ну и, конечно, пустяки, потому что начал учиться левой рукой. Что это за потребность творить? Творить во что бы то ни стало, творить для мученья, творить, зная, что все это погибнет, вы понимаете это?

— Кончайте, мой друг, не волнуйтесь, потом я изложу мой взгляд.

К сожалению, мой совет едва ли даже достиг ушей г. К. В одном из тех пароксизмов отчаяния, которые так

[1] Почему из ребенка, если он останется жив, должен непременно выйти подлец? Удивительное легкомыслие.

напугали г. начальника тюрьмы, он начал биться на постели, рвать на себе одежду, кричать и плакать, вообще проявил все признаки крайнего огорчения. С глубоким волнением смотрел я на муки несчастного молодого человека (по сравнению с собой я мог бы назвать его юношей), тщетно пытаясь удержать его пальцы, разрывавшие одежду,— я знал, что за это нарушение дисциплины его ждет новый карцер. «О, пылкая юность,— подумал я, когда он несколько успокоился, и ласково разбирал рукою его тонкие, спутавшиеся волосы,— как легко ты впадаешь в отчаяние! Какой-то рисунок, который в конце концов, быть может, пропал бы у грязного старьевщика, торговца старой бронзой и склеенным фарфором, может причинить тебе столько страданий!» Но, конечно, я не сказал этого моему юному другу, стараясь, как и нужно в таких случаях, не раздражать его излишними противоречиями[1].

— Спасибо вам, дедушка,— сказал г. К., видимо успокоившись.— Говоря по правде, вы показались мне сначала очень странным: лицо у вас такое почтенное, а в глазах... Вы никого не убивали, дедушка?

Умышленно привожу эту злую и неосторожную фразу, чтобы показать, как в глазах людей легкомысленных и неглубоких печать тяжкого обвинения превращается в печать самого злодейства. Сдержав чувство горечи, я спокойно заметил дерзкому юноше:

— Вы художник, дитя мое, вам ведомы тайны человеческого лица, этой гибкой, подвижной и изменчивой маски, принимающей, подобно морю, отражение бегущих облаков и голубого эфира. Будучи зеленой, морская влага голубеет под ясным небом и становится черной, когда черно небо и мрачны тяжелые тучи. Чего же вы хотите от моего лица, над которым тридцать лет тяготеет обвинение в жесточайшем злодействе?

Но, занятый своими мыслями, художник не обратил, по-видимому, особенного внимания на мои слова и продолжал упавшим голосом:

— Что же мне делать? Вы видели тот мой рисунок — я его уничтожил и вот уже целую неделю не берусь за грифель. Конечно,— продолжал он раздумчиво, потирая лоб,— лучше бы совсем разбить доску, тогда в наказанье мне не дали бы новую...

---

[1] Человек так любит, чтобы с ним соглашались, что согласием в пустяках можно задешево купить его для весьма крупных и совсем для него неожиданных решений.

— Вы лучше просто возвратите ее начальству.

— Ну хорошо, подержусь я еще неделю, а потом? Ведь я же знаю себя. Ведь уже сейчас этот дьявол подталкивает мою руку: возьми грифель, возьми грифель.

Как раз в это время, блуждая рассеянным взглядом по камере, я вдруг заметил, что часть платья художника, висевшего на стене, неестественно раздвинута и один конец искусно прихвачен спинкою кровати. Сделав вид, что я устал и просто хочу пройти по камере, я пошатнулся как бы от старческой дрожи в ногах и отдернул одежду: *вся стена за ней была испещрена рисунками.*

Художник уже вскочил с постели, и так мы молча стояли друг против друга. С мягкой укоризной я сказал:

— Как вы могли себе позволить это, мой друг! Ведь вы же знаете правила[1] тюрьмы, по которым никакие надписи и рисунки на стенах не допускаются!

— Не знаю я никаких правил! — угрюмо сказал г. К.

— И потом,— уже строго продолжал я,— вы солгали мне, мой друг. Вы сказали, что уже целую неделю вы не брали грифеля в руки...

— Конечно, не брал,— с странной насмешкой и даже вызовом сказал художник.

Вообще, даже будучи уличен, он совершенно не обнаруживал признаков раскаяния и смотрел скорее насмешливо, чем виновато. Вглядевшись пристальнее в рисунки на стене, изображавшие каких-то человечков в разнообразных позах, я заинтересовался странным буровато-желтым цветом неведомого карандаша.

— Это йод? Вы сказали, что у вас что-нибудь болит, и достали йоду?

— Нет, кровь.

— Кровь?

— Да.

Скажу откровенно, в эту минуту он мне даже понравился.

— Как вы добыли ее?

— Из руки.

— Из руки? Но как же вы сумели укрыться от наблюдающего за вами в глазок?

---

[1] Примечание третье к § 25 «Правил для заключенных».

Он хитро улыбнулся и даже подмигнул:

— А вы разве не знаете, что всегда можно обмануть, если захочешь?

Мои симпатии сразу рассеялись: я видел перед собою не особенно умного и, вероятно, уже сильно испорченного человека, даже не допускающего мысли, что существуют люди, которые не в состоянии и просто не умеют лгать. Помня, однако, данное мною г. начальнику обещание, я принял вид спокойного достоинства и ласково, как только мать могла бы говорить своему ребенку, сказал ему:

— Не удивляйтесь и не осуждайте моей строгости, мой друг. Я старик, полжизни проведший в этой тюрьме, у меня уже сложились известные привычки, как у всех стариков, и, сам подчиняясь правилам, я, быть может, несколько преувеличенно требую того же от других. Конечно, вы сами сотрете эти рисунки,— как мне их ни жаль, ибо они искренно восхищают меня,— и я ничего не скажу администрации. И мы все это забудем, как будто не было ничего. Хорошо?

Он вяло ответил:

— Хорошо.

— По существу же вопроса я скажу вам следующее. В нашей тюрьме, где в настоящую минуту мы имеем печальное удовольствие находиться, все построено по крайне целесообразному плану и строжайше подчинено законам и правилам. И то весьма строгое, сознаюсь, распоряжение, в силу которого так кратковременно и, скажу, эфемерно существование ваших творений, преисполнено глубочайшей мудрости. Предоставляя вам совершенствоваться в вашем искусстве, оно в то же время благоразумно ограждает других людей от вредного, быть может, влияния ваших произведений и, во всяком случае, логически заканчивает, довершает, укрепляет и выясняет значение вашего одиночного заключения. Что значит одиночное заключение в нашей тюрьме? Это значит, что человек один. А будет ли он один, если произведениями своими, так или иначе, будет делиться со сторонними лицами?

По выражению лица г. К. я заметил с чувством глубокой радости, что слова мои произвели на него надлежащее впечатление, из области поэтических вымыслов возвратив его в страну суровой, но прекрасной действительности. И, возвысив голос, я продолжал:

— Что же касается нарушенного вами правила, по которому нельзя делать ни надписей, ни рисунков на стенах

нашей тюрьмы, то и оно не менее логично. Пройдут годы, на вашем месте окажется, быть может, такой же узник, как и вы, и увидит начертанное вами,— разве это допустимо! Подумайте! И во что бы, наконец, превратились стены нашей тюрьмы, если бы каждый желающий оставлял на них свои кощунственные следы![1]

— К черту!

Так, именно так выразился г. К. И сказал он это громко и даже как будто спокойно.

— Что ты хочешь этим сказать, мой юный друг?

— Хочу сказать, что ты можешь издыхать здесь, мой старый друг[2], а я отсюда уйду.

— Из нашей тюрьмы бежать нельзя,— сурово возразил я.

— А вы пробовали?

— Да. Пробовал.

Он с недоверием посмотрел на меня и усмехнулся. Он усмехнулся!

— Вы трус, дедушка. Вы просто жалкий трус.

Я — трус! О, если бы этот самодовольный щенок знал, какую бурю гнева поднял он в моей душе,— он завизжал бы от страха и спрятался под кровать. Я — трус! Мир обрушился мне на голову и не раздавил меня, и из его страшных обломков я создал новый мир — по моему чертежу и плану; все злые силы жизни: одиночество, тюрьма, измена и ложь, все ополчились на меня — и все их я подчинил своей воле. И я, подчинивший себе даже сны, я — трус!.. Впрочем, не буду утомлять внимание моего любезного читателя этими лирическими отступлениями, не идущими к делу. Продолжаю.

После некоторого молчания, нарушаемого лишь громким дыханием г. К., я грустно сказал ему:

— Я — трус! И это вы говорите человеку, который пришел с единственною целью — помочь вам! Помочь не только словом, к которому вы, к сожалению, безучастны, но и делом.

— Помочь? Каким же это образом?

— Я достану вам бумагу и карандаш.

Художник молчал. И голос его был тих и робок, когда он спросил, запинаясь:

---

[1] Конечно, стены можно перекрашивать, что и делается почти всякий раз, как на место одного умершего или выбывшего узника является другой; но это сопряжено с расходами и не всегда достигает цели: сковырнув верхний слой краски, узник может найти следы надписи или рисунка.

[2] Буквально так.

— И... рисунки мои... останутся?

— Да, останутся.

Трудно передать тот буйный восторг, которому отдался экзальтированный юноша: ни в горе, ни в радости не знает границ наивная и чистосердечная юность. Он горячо жал мне руки, тормошил меня, беспокоя мои старые кости, называл меня другом, отцом, даже «милой старой мордашкой» (!) и тысячью других ласковых и несколько наивных слов. К сожалению, беседа наша затянулась, и, несмотря на уговоры юноши, не желавшего расстаться со мной, я поторопился к себе.

К г. начальнику тюрьмы я не пошел, так как чувствовал себя несколько взволнованным. До глубокой ночи, как в ту далекую пору, я шагал по камере, стараясь понять, какой способ бежать из нашей тюрьмы, неизвестный мне, открыл этот далеко не умный юноша. Неужели из нашей тюрьмы можно бежать? Нет, я допустить этого не могу, я не должен этого допускать. И, постепенно восстановляя в памяти все, что я знал о нашей тюрьме, я понял, что г. К. напал на какой-нибудь старый, давно мною отброшенный способ, в неосуществимости которого убедится так же, как и я. Из нашей тюрьмы бежать невозможно.

Но еще долго, терзаемый сомнениями, измерял я шагами мою одинокую камеру, придумывая различные планы, как облегчить положение г. К. и тем на всякий случай отвлечь его от мысли о бегстве: ни в каком случае он не должен бежать из нашей тюрьмы. Затем я предался спокойному и глубокому сну, каким благодетельная природа наградила людей с чистой совестью и ясною душою.

Между прочим, чтобы не забыть, упомяну, что в эту ночь я уничтожил мой «Дневник заключенного». Уже давно я собирался сделать это, но та естественная жалость и малодушная любовь, которую мы питаем даже к нашим ошибкам и недостаткам, удерживала меня; к тому же в «Дневнике» не было ничего предосудительного, что могло бы так или иначе компрометировать меня. И если теперь я уничтожил его, то единственно из желания предать полному забвению мое прошлое и избавить возможного читателя от скуки длинных жалоб и стенаний, от ужаса кощунственных проклятий. Да почиет в мире.

VI

Передав г. начальнику тюрьмы содержание моей беседы с г. К., я попросил не подвергать его взысканию за испорченные стены, чтобы этим не выдать меня, и предложил следующий план спасения бедного юноши, принятый г. начальником после некоторых, чисто, впрочем, формальных возражений.

— Ему важно,— сказал я,— чтобы рисунки его сохранялись,— а в чьих руках они находятся, это, по-видимому, для него безразлично. Пусть же он, пользуясь своим искусством, сделает ваш портрет, г. начальник, а затем всего низшего персонала! Не говоря о чести, которую вы окажете ему этим снисхождением, чести, которую он, наверное, сумеет оценить, рисунок может оказаться не бесполезным и для вас, как весьма оригинальное украшение вашей гостиной или кабинета[1]. Наконец, ничто не мешает нам уничтожить рисунки, если мы этого захотим, так как наивный и несколько самовлюбленный юноша даже не допускает, вероятно, мысли, чтобы чья-нибудь рука поднялась на его произведения.

Улыбнувшись, г. начальник, с крайней, весьма польстившей меня вежливостью предложил, чтобы серия портретов была начата с меня. Привожу дословно то, что сказал мне г. начальник:

— Ваше лицо так и просится на полотно. Мы повесим ваш портрет в канцелярии.

Не иначе, как яростью творчества, могу я назвать ту страстную, молчаливую возбужденность, с какой г. К. воспроизводил мои черты. Обычно болтливый, здесь он молчал целыми часами, оставляя без ответа мои шутки и указания.

— Молчите! молчите! — почти кричал он на меня, не обращая внимания на мои слова, что, когда я молчу, мое лицо принимает выражение не свойственной мне мрачности, и только добродушный, благосклонный смех мог бы передать истинный его характер[2].

— Молчите, дедушка, молчите,— вы лучше всего, когда молчите,— настойчиво повторял он, вызывая невольную улыбку перед своим увлечением профессионала.

---

[1] Г. начальник — большой ценитель искусства, особенно живописи и скульптуры.

[2] Вообще я с детства отличаюсь довольно веселым нравом; нередкие шутки, к которым я позволяю себе прибегать, вероятно, не остались незамеченными моим благосклонным читателем.

Мой портрет, приложенный к настоящей книге, напомнит вам, благосклонный читатель, о том загадочном свойстве художников, по которому очень часто собственные чувства, даже внешние черты они переносят на объект своего творчества[1]. Так, с поразительным сходством передав нижнюю часть моего лица, где столь гармонически сочетаются добродушие с выражением авторитетности и спокойного достоинства, г. К., несомненно, перенес в мои глаза свою собственную муку и даже ужас. Их остановившийся, застывший взгляд, мерцающее где-то в глубине безумие, мучительное красноречие души бездонной и беспредельно одинокой,— все это не мое.

— Да разве это я? — воскликнул я со смехом, когда с полотна на меня взглянуло это страшное, полное диких противоречий лицо.— Мой друг, с этим рисунком я вас не поздравляю. Мне он не кажется удачным.

— Вы, дедушка, вы! И нарисовано хорошо, вы это напрасно. Вы куда его повесите?

Он снова стал болтлив, как сорока, этот милый юноша, и все лишь потому, что его жалкая мазня сохранится на некоторое время. О пылкая, о счастливая юность! Здесь я не мог воздержаться от маленькой шутки, имевший целью несколько проучить самоуверенного юнца, и с улыбкой спросил:

— Ну, как же по-вашему, господин художник, убийца я или нет?

Художник, прищурив один глаз, другим критически оглядел меня и портрет. И, насвистывая какую-то польку, небрежно ответил:

— А черт вас знает, дедушка!

Я улыбался. Г. К. понял наконец мою шутку, засмеялся и затем с внезапною серьезностью сказал:

— Вот вы говорите: человеческое лицо, а знаете вы, что нет на свете ничего хуже человеческого лица? Даже говоря правду, даже крича о правде, оно лжет, лжет, дедушка, потому что говорит на своем языке[2]. Знаете, дедушка, со

---

[1] Небезызвестен тот курьезный факт, что художники, которые либо сами курносы, либо имеют курносых жен,— переносят эту черту на свои картины; только этим можно объяснить характер лица у некоторых Мадонн.

[2] К сожалению, г. К. здесь, несомненно, прав. Как правда, так и ложь для выражения своего пользуются одними и теми же человеческими словами, одними и теми же проявлениями чувств, одною и тою же игрой физиономии. Всякий, кому приходилось в жизни встречать искусного лжеца, знает на себе могущественное действие его слез, заклятий и уверений; искренность слез при этом может быть настолько велика, что сам лжец обманывается ею — к искреннему удовольствию холодного мыслителя, сознающего весь трагикомизм положения.

мной был ужасный случай, это было в одной картинной галерее в Испании, я рассматривал Христа, и вдруг... Христос, ну вы понимаете, Христос: огромные глаза, черные, страшная мука, печаль, тоска, любовь — ну, одним словом, Христос. И вдруг меня ударило: вдруг мне показалось, что это — величайший преступник, томимый величайшими, неслыханными муками раскаяния... Дедушка, что вы так смотрите на меня? Дедушка!

Приблизив свои глаза к самому лицу художника, я осторожным шепотом, как того требовали обстоятельства, спросил его медленно, разделяя каждое слово:

— Не думаете ли вы, что когда дьявол искушал Его в пустыне, то Он не отрекся от него, как потом рассказывал, а согласился, продал себя — не отрекся, а продал, понимаете? Не кажется ли вам это место в Евангелии сомнительным?

На лице моего юного друга выразился чрезвычайный испуг; обеими ладонями упершись в мою грудь, как бы отталкивая меня, он произнес таким тихим голосом, что я едва мог разобрать его невнятные слова:

— Что такое? Что вы говорите? Иисус — продался... Зачем?

Я тихо пояснил:

— А чтобы люди, дитя мое, чтобы люди поверили в Него!

— Ну?!

Я улыбался. Глаза г. К. стали круглые, как будто его душила петля; и вдруг, с тем неуважением к старости, которое отличало его, он резким толчком свалил меня на кровать и сам отскочил в угол. Когда же я с медленностью, естественной для моего возраста, стал выбираться из неудобного положения, в какое поставила меня несдержанность этого юнца [1], он громко закричал на меня:

— Не смей! Не смей вставать! Дьявол!

Но я и не думал вставать; я только сел на кровати и, уже сидя, с невольной усмешкой над горячностью юноши, добродушно покачал головою и засмеялся:

— Ах, юноша, юноша! Ведь вы же сами вовлекли меня в этот богословский разговор.

Но он упрямо таращил на меня свои глаза и твердил:

— Сидите, сидите! Я *этого* не говорил. Нет, нет!

— Нет, это вы сказали, вы, мой юный друг, вы. Помните, Испания, картинная галерея... Ах, маленький шутник!

---

[1] Я упал навзничь, головою между подушкою и спинкою кровати.

Сказал и отказывается, насмехаясь над неуклюжей старостью. Ай-ай-ай!

Г. К. опять опустил руки и тихо *сознался*:

— Да, это я сказал. Но вы, дедушка...

Не помню, впрочем, что он говорил потом: так трудно запомнить всю ребяческую болтовню этого доброго, но, к сожалению, слишком легкомысленного молодого человека. Помню только, что мы расстались друзьями, и он горячо жал мне руки, выражая свою искреннюю признательность, даже называл меня, насколько помнится, своим «спасителем».

Между прочим, мне удалось убедить г. начальника, что портрет даже такого человека, как я, но все же узника, не подобает месту столь торжественно официальному, как канцелярия нашей тюрьмы. И сейчас портрет находится на стене моей камеры[1], приятно разнообразя несколько холодную монотонность ее безупречно белых стен.

Оставив на время нашего художника, ныне увлекающегося портретом г. начальника тюрьмы, я перейду к дальнейшему повествованию.

VII

Моя душевная ясность, как я уже имел удовольствие сообщить читателю, создала изрядный круг моих почитателей и почитательниц. Не без понятного волнения расскажу о тех приятных часах задушевного разговора, которые назову я скромно «Мои беседы».

Затрудняюсь объяснить, чем заслужил я это, но большинство приходящих относятся ко мне с чувством глубочайшего почтения, даже преклонения, и только немногие являются с целью спора, всегда, впрочем, имеющего умеренный и приличный характер. Обычно я усаживаюсь посредине комнаты, в мягком и глубоком кресле, предоставленном мне на этот случай г. начальником, слушатели же тесно окружают меня, и некоторые наиболее экзальтированные юноши и девицы усаживаются у моих ног.

Имея перед собою аудиторию, более чем наполовину состоящую из женщин и вполне единодушно настроенную в мою пользу, я обычно обращаюсь не столько к уму, сколько к чуткому и правдивому сердцу. К счастью, я обладаю некоторым ораторским даром, а те довольно обычные в ораторском искусстве эффекты, к которым прибегают и прибегали все проповедники, начиная, вероятно, с Маго-

[1] Конечно, с разрешения г. начальника.

мета [1], и которым я умею пользоваться недурно,— позволяют мне влиять на слушателей моих в желаемом направлении. Вполне понятно, что перед милыми слушательницами моими я не столько мудрец, открывший тайну железной решетки, сколько великий страдалец за не совсем им понятное, но правое дело; чуждаясь рассуждений отвлеченных, они с жадностью ловят каждое слово сочувствия и ласки и отвечают тем же. Предоставляя им любить меня и верить в мое непреложное познание жизни, я даю им счастливую возможность хотя бы на время уйти от холода жизни, ее мучительных сомнений и вопросов.

Скажу откровенно, без ложной скромности, которую я ненавижу, как лицемерие: бывали лекции, когда сам я, находясь в состоянии пафоса, вызывал в моей аудитории чрезвычайно повышенное настроение, у некоторых, наиболее нервных посетительниц моих переходившее в истерический смех и слезы. Конечно, я не пророк, я просто скромный мыслитель, но едва ли кому-нибудь удастся убедить некоторых моих почитательниц, что в речах моих нет пророческого смысла и значения.

Помню одну такую лекцию, имевшую место два месяца тому назад. В эту ночь мне, против обыкновения, как-то не спалось; может быть, просто потому, что была полная луна, влияющая, как известно, на сон и делающая его прерывистым и тревожным. Смутно помню то странное ощущение, какое испытал я, когда бледный диск луны показался за моим окном и железные квадраты черными зловещими линиями разрезали его на маленькие серебряные участки. «Значит, и луна так же»,— думал я сквозь сон, прозревая какую-то новую огромную и важную истину, к сожалению, тотчас же забытую при полном пробуждении [2].

И, отправляясь на лекцию, я чувствовал себя утомленным и склонным скорее к молчанию, нежели к беседе: ночное видение беспокоило меня. Но когда я увидел эти милые лица, эти глаза, полные веры и горячей мольбы

[1] Достаточно взглянуть на любую картину, изображающую знаменитого проповедника в момент его деятельности: как в позе, так и в выражении лица, то гневно-решительного, то благостного, полного любви и ласки, вы найдете все признаки, по которым ораторское искусство отличается от пустой и бесцветной болтовни.

[2] Как человек смелый, болтливый и решительный, попадая в собрание людей тихих, заглушает их невнятные голоса,— так разум, когда человек бодрствует, забивает все иные голоса, глухо доносящиеся из потаенных глубин человеческого организма. И только во сне, когда утомленный разум, потерявший нить логического мышления, бессильно скачет через нелепые провалы,— они начинают звучать громко и властно, часто оказываясь нисколько не глупее, чем сам господин великий разум.

о дружеском совете, когда я узрел перед собою эту богатую ниву, уже вспаханную и ждущую только благого сева,— мое сердце загорелось восторгом, жалостью и любовью. Минуя обычные формальности, какими сопровождается встреча людей, отклонив от себя приветственно протянутые руки, я с благословляющим жестом, которому умею придать особое величие, обратился к зрителям, взволнованным уже одним видом моим.

— Придите ко мне,— воскликнул я,— придите ко мне вы все, ушедшие от той жизни: здесь, в тихой обители, под святым покровом железной решетки, у моего любвеобильного сердца, вы найдете покой и отраду. Возлюбленные мои чада, отдайте мне вашу печальную, исстрадавшуюся душу, и я одену ее светом, я перенесу ее в те благостные страны, где никогда не заходит солнце извечной правды и любви!

Уже многие начали плакать; но еще не настало время для слез, и, прервав их жестом отеческого нетерпения, я продолжал:

— Ты, милая девушка, пришедшая из того мира, что называет себя свободным,— что за грустные тени лежат на твоем милом, прекрасном лице? А ты, мой смелый юноша, почему так бледен ты? Почему не упоение победою, а страх поражения вижу я в твоих опущенных глазах? И ты, честная мать, скажи мне: какой ветер сделал твои глаза красными? Какой дождь, неистово бушующий, сделал влажным твое старческое лицо? Какой снег так выбелил твои волосы,— ведь они были темными когда-то!

Но поднявшийся плач и вопли почти заглушили окончание моей речи, да и сам я, сознаюсь в этом без стыда, смахнул с глаз не одну предательскую слезу. Не дав окончательно утихнуть волнению, я возгласил голосом суровой и правдивой укоризны:

— Не оттого ли вы плачете, что темна ваша душа, поражена несчастьями, ослеплена хаосом, обескрылена сомнениями,— отдайте же ее мне, и я направлю ее к свету, порядку и разуму. Я знаю истину! Я постиг мир! Я открыл великое начало целесообразности! Я разгадал священную формулу железной решетки! Я требую от вас: поклянитесь мне на холодном железе ее квадратов, что отныне без стыда и страха вы исповедуете мне все дела ваши, все ошибки и сомнения, все тайные помыслы души и мечты вожделеющего тела![1]

---

[1] Пусть не смущается мой читатель несколько повышенным тоном моей речи: когда желаешь привлечь людей на свою сторону, необходимо внушить им, что ты знаешь и понимаешь больше, чем они.

— Клянемся! Клянемся! Клянемся! Спаси нас! Открой нам правду! Возьми на себя наши грехи! Спаси нас! Спаси нас! —раздались многочисленные восклицания.

Должен упомянуть о печальном инциденте, разыгравшемся как раз на этой лекции. В тот именно момент, когда возбуждение достигло наивысшего предела и уже открылись сердца, чтобы глаголать, некий юноша, вида хмурого и озлобленного, громко воскликнул, обращаясь, по-видимому, ко мне:

— Лжец! Не слушайте его, он лжет!

Благосклонный читатель легко поверит, что лишь с большим трудом удалось мне спасти неосторожного от ярости собравшихся: оскорбленные в том самом ценном, что есть у человека, в его вере в добро и божественный смысл жизни, слушательницы мои толпою накинулись на безумца и, еще одна минута, подвергли бы его жестокому избиению. Памятуя, однако, что больше радости у пастыря об одном грешнике раскаявшемся, нежели о десяти праведниках, я отвел юношу в сторону, где бы никто не мог нас услышать, и вступил с ним в непродолжительную, впрочем, беседу.

— Это меня, дитя мое, вы назвали лжецом?

Тронутый моей снисходительностью, бедный юноша сконфузился и, запинаясь, ответил:

— Извините меня за резкость, но мне кажется, что вы говорите неправду.

— Я понимаю вас, мой друг: вас смутил, вероятно, тот несколько преувеличенный экстаз, в котором находятся женщины, и вы, как человек умный, не склонный к мистическому, заподозрили меня в обмане, в гнусном обмане. Нет, нет, не извиняйтесь, я понимаю вас. Поймите же и вы меня: именно из трясины суеверий, из глубокого омута предрассудков и необоснованных верований хочу я извлечь их заблудившуюся мысль и поставить ее на твердые основы строго логического мышления. Железная решетка, о которой я упомянул, отнюдь не есть какой-либо мистический знак, а лишь формула, простая, трезвая, честная, математическая формула. Вам, как человеку умному, я с готовностью изложу, объясню эту формулу: решетка — это та схема, в которой расположены управляющие миром законы, упраздняющие хаос и на место его восстановляющие забытый людьми строгий, железный, ненарушимый порядок. Как человек со светлой головою, вы легко поймете...

— Простите, я действительно не понял вас, и, ес-

ли позволите, я... Но зачем же вы заставили их клясться?

— Мой друг, душа человеческая, мнящая себя свободной и постоянно томящаяся этой лживой свободой, неизбежно требует для себя уз, каковыми являются для одних клятва, для других присяга, для третьих просто честное слово. Ведь вы же даете честное слово? [1]

— Даю.

— И этим вы только стремитесь ввести себя в мировую гармонию, где все строжайше подчинено закону. Разве падение камня не есть выполнение клятвы, той клятвы, что называется законом тяготения?

Не буду передавать подробно этой и последующих наших бесед, приведших к тому, что строптивый и несдержанный юноша, оскорбивший меня наименованием лжеца, стал одним из самых горячих моих приверженцев и не только принес требуемую клятву, но выполнил и многое, к чему обязывало его нахождение в среде моих учеников.

Возвращусь к остальным. За то время, как я беседовал с юношей, жажда покаяния достигла у моих очаровательных прозелиток крайнего предела: не имея силы дождаться меня, они в страстном исступлении исповедовались друг другу, придавая комнате вид сада, где одновременно щебечут десятки райских птиц. Когда же я освободился, они одна за другою в глубокой, интимной, сокрытой от постороннего слуха беседе открыли мне всю свою взволнованную душу.

Тайна исповеди священна, и, конечно, я не позволю себе ни здесь, ни в другом месте разглашать того, что в слезах, иногда с краской нестерпимого стыда, доверили мне мои милые «исповедницы». Связанные клятвой, имеющие слушателем бесстрастного старца, которому чуждо все житейское, мелочное, грязное, они трепетно вливали в мое ухо горячую исповедь, подолгу останавливаясь на тех, по виду незначительных, но по существу важных подробностях, которые составляют тело события [2]. Если порою их и смущали мои прямые, настойчивые вопросы, то это продолжалось лишь мгновение; и в полной обнаженности вставала предо мною таинственная душа человека. Я видел, как изо

---

[1] На этом основано большинство обрядов, напр., брак.

[2] Если моему благосклонному читателю когда-либо изменила жена, то ему, вероятно, было интересно знать не только то, что данный факт совершился, но и то, как и при каких обстоятельствах (вечер, утро, помещение и пр.) произошло событие. Иначе ему трудно будет судить о степени виновности горячо, быть может, любимой супруги.

дня в день, из часа в час боролись в ней изначальный и страшный хаос с жадным стремлением к гармонии и порядку; как в кровавой борьбе извечной лжи с бессмертной правдой непостижимыми путями ложь переходила в правду и правда становилась ложью. Все силы, какие есть в мире, нашел я в душе человека, и не дремала ни одна из них, и в буйном водовороте своем каждая душа становилась подобной водяному смерчу, основанием которому служит морская пучина, а вершиною — небо. И каждый человек, как я это познал и увидел, был подобен тому богатому и знатному господину, который устроил пышный маскарад в замке своем и осветил замок огнями; и съехались отовсюду странные маски, и, любезно кланяясь, приветствовал их господин, тщетно вопрошая, кто это; и приходили новые, все более странные, все более ужасные, и все любезнее кланялся господин, шатаясь от усталости и страха. А они смеялись и нашептывали странные речи об извечном хаосе, откуда пришли они, покорные, на зов господина[1]. И огни горели в замке — и горели в замке огни — и далеко светились окна, навевая мысль о празднике, и все любезнее, все ниже, все веселее кланялся обезумевший господин. Мой благосклонный читатель легко поймет, что к чувству некоторого страха, который я испытал, вскоре присоединился глубочайший восторг и даже умиление: ибо уже вскоре увидел я, что побежден извечный хаос и поднимается к небу торжествующая песня светлой гармонии. Не упоминая, конечно, имен, даже избегая всякого намека, могущего установить *личность*, я скажу, что среди предавшихся мне был убийца;[2] но и в душе убийцы открыл я неиссякаемый родник чистой правды и бесконечного стремления к добру.

Не обошлось, к сожалению, дело без недоразумений, столь обычных в нашей жизни[3].

Несмотря на это, мои собеседования пользуются неизменным и прочным успехом, и число посвященных растет, хотя условия моей жизни ставят этому весьма серьезные преграды. Не без чувства гордости упомяну о тех скромных приношениях, которыми мои любезные посети-

---

[1] Хотя я глубоко убежден, что мой вдумчивый читатель вполне понимает меня, все же, во избежание недоразумений, считаю необходимым ему разъяснить приведенную аллегорию: замок — это душа; господин — это человек, властитель своей души; странные маски — это те силы, которые действуют в душе человека и в таинственное существо которых он не может проникнуть никогда.

[2] Упомяну только, что это была женщина.

[3] Так, одна юная девица, имевшая для девицы достаточно темное прошлое, превратно поняла цель моих вопросов, правда, касавшихся до-

тельницы стараются выразить свои чувства любви и поклонения. Не боясь вызвать улыбку на устах читателя, так как и сам я чувствую *комичность* дальнейшего,— сообщу, что в числе приношений, особенно в первое время, было очень много фруктов, пирожков и различных изысканных лакомств. *Боюсь, однако, что никто не поверит, что я действительно отказался от таких приношений,* предпочитая во всей строгости соблюдение тюремного режима тем излишествам, на которые в избытке любви и заботливости обрекали меня дамы. Между прочим, на прошлой моей лекции одна милая и почтенная дама привезла мне целую корзину живых цветов. К сожалению, я принужден был в выражениях весьма любезных отказаться и от этого подарка.

— Простите, сударыня, но цветы не входят в систему нашей тюрьмы. Я очень ценю ваше великодушное внимание,— целую ваши ручки, сударыня! — но от цветов я принужден отказаться. Идя тернистым путем подвига и самоотречения, я не должен ласкать свой взгляд эфемерной и призрачной красотой этих очаровательных лилий и роз. В нашей тюрьме все цветы гибнут, сударыня.

Вчера же другая дама доставила мне очень ценное распятие из слоновой кости, фамильную, как она сказала, драгоценность. Не страдая грехом лицемерия, я откровенно сказал щедрой дарительнице, что моя мысль, воспитанная в законах строго научного мышления, не может не признать ни чудес, ни божественности Того, Кто справедливо именуется Спасителем мира. «Но в то же время,— сказал я,— с глубочайшим уважением я отношусь к Его личности и безгранично чту Его заслуги перед человечеством».

— Если я вам скажу, сударыня, что святое Евангелие составляет уже давно мою настольную книгу, что нет дня в моей жизни, когда я не развернул бы этой великой книги, черпая в ней силу и мужество для прохождения моего нелегкого пути,— вы поймете, что ваш щедрый дар не мог

вольно интимных вещей, и создала на этой почве целую историю, могшую иметь неприятные последствия. Считаю нужным упомянуть об этом ничтожном факте лишь для того, чтобы еще раз в этих строках выразить горячую признательность г. начальнику нашей тюрьмы, с присущей ему прозорливостью сумевшему разобрать, где правда и где ложь, и поставить легкомысленную и вздорную девицу на надлежащее место. Впрочем, на некоторое, весьма непродолжительное время собеседования наши пришлось прекратить: возмущенный несправедливостью, я почувствовал себя таким расстроенным, что, несмотря на уговоры г. начальника, утверждавшего, что если общество мне необходимо, то я еще более необходим для общества,— я предпочел уединиться.

попасть в более подходящие руки [1]. Отныне, благодаря вам, печальное иногда уединение моей камеры исчезает: я не один. Благословляю тебя, дочь моя.

Здесь не могу умолчать о тех странных размышлениях, к которым привело меня распятие, будучи повешено рядом с моим портретом. Это было в сумерки; за стеною на невидимой церкви тягуче звонил колокол, сзывая верующих; вдалеке, по пустынному, поросшему бурьяном полю черной точкой двигался неведомый путник, уходящий в неведомую даль; и тихо было в нашей тюрьме, как в гробнице. Я долго с вниманием всматривался в черты Иисуса, столь покойные, столь радостные в сравнении с тем, что рядом с ним молчаливо и глухо смотрело со стены. И с привычкой вслух обращаться к неодушевленным предметам, создавшейся долгими годами уединения, я шутливо сказал неподвижному распятию:

— Здравствуй, Иисус! Рад приветствовать Тебя в нашей тюрьме. Здесь нас трое: Ты, я и тот, что смотрит со стены, и, надеюсь, мы трое уживемся в мире и добром согласии. Тот молчит и смотрит. Ты молчишь, и глаза Твои закрыты — я буду говорить за троих: верный знак того, что согласие наше никогда не нарушится.

Те оба молчали, и, продолжая шутку, я обратил мою речь к портрету. Укоризненно покачав головой, я сказал:

— Куда ты смотришь так пристально и странно, мой неизвестный друг и сожитель? В глазах твоих тайна и укор — ужели ты дерзаешь укорить Того? Отвечай!

И, делая вид, что портрет отвечает, я продолжал измененным голосом, с выражением крайней суровости и безграничной скорби:

— Да, я укоряю Его. Иисус, Иисус! Зачем так чист, так благостен Твой лик? Только по краю человеческих страданий, как по берегу пучины, прошел Ты, и только пена кровавых и грязных волн коснулась Тебя,— мне ли, человеку, велишь Ты погрузиться в черную глубину? Велика Твоя Голгофа, Иисус, но слишком почтенна и радостна она, и нет в ней одного маленького, но очень интересного штришка: ужаса бесцельности!

Здесь, с выражением гнева, я перебил речь портрета.

— Как смеют,— воскликнул я,— как смеют в нашей тюрьме говорить о бесцельности?

[1] Настоятельно рекомендую моему читателю эту великую книгу; только советую читать ее с глубочайшим вниманием, вникая в смысл каждого слова, каждой, как будто случайной, недомолвки.

Те оба молчали, и вдруг Иисус, не открывая глаз и даже как будто еще крепче сомкнув их, ответил тихо:

— Кто знает тайны Иисусова сердца?

Я расхохотался, и мой уважаемый читатель легко поймет этот смех: оказалось, что я, холодный и трезвый математик, обладаю чуть ли не поэтическим талантом и могу сочинять очень интересные комедии. Мною же придуманный, но все же неожиданный для меня ответ Иисуса показался мне столь восхитительным, что три или четыре раза я с упоением повторил его.

— Кто знает тайны Иисусова сердца?

Не знаю, чем бы окончилась эта сочинительская игра, ибо я уже готовил громовый ответ со стороны моего почтенного сожителя, когда появление тюремщика, принесшего пищу, внезапно прекратило ее. Но, видимо, лицо мое еще хранило следы возбуждения, ибо почтенный человек с суровым сочувствием спросил:

— Молились?

Не помню, впрочем, что я ответил ему.

В нашей тюрьме часы для употребления пищи распределены так: утром мы получаем горячую воду и хлеб, в двенадцать часов дня нам дают обедать, а в шесть вечера вместе с горячей водой дают и ужин: что-нибудь простое, неприхотливое, но достаточно вкусное и здоровое. Правда, пища в общем несколько однообразна, но это и к лучшему, так как, не останавливая внимания нашего на суетных попытках угодить желудку, тем самым освобождают дух наш для возвышенных занятий.

VIII

На прошедшей неделе, в воскресенье, в нашей тюрьме случилось большое несчастье: известный читателю г. К., художник, покончил жизнь свою самоубийством, бросившись головою вниз со стола на каменный пол. Падение и сила удара были так ловко рассчитаны несчастным молодым человеком, что череп рассекся надвое. Горе г. начальника тюрьмы не поддается описанию. Призвав меня к себе в кабинет, г. начальник в весьма гневных и резких выражениях, даже не подав мне руки, упрекнул меня в обмане и успокоился только после моих горячих извинений и обещания, что впредь подобные случаи не повторятся: я составлю такой проект надзора над преступниками, по которому самоубийства станут невозможными. Также огорчена смертью художника и почтенная су-

пруга г. начальника, портрет которой остался незаконченным.

Конечно, я и сам не ожидал такого исхода, хотя уже за несколько дней до самоубийства г. К., при одном случае, он возбудил во мне сильное беспокойство. Именно: пришедши к нему в камеру с утренним приветом, я с изумлением увидел, что г. К. *вновь сидит перед грифельной доской* и чертит на ней каких-то человечков.

— Что это значит, мой друг? — осведомился я с осторожностью, к которой обязывал меня мрачный и несговорчивый нрав юноши.— А как же портрет господина младшего помощника?

— К черту!

— Но ведь вы же...

— К черту!

После некоторого молчания я рассеянно заметил:

— Ваш портрет господина начальника пользуется большим успехом. Хотя некоторые из видевших и утверждают, что правый ус несколько короче левого...

— Короче?

— Да, короче. Но в общем находят, что сходство схвачено весьма удачно.

Г. К. отложил грифель и по виду совершенно спокойно сказал:

— Скажите вашему начальнику, что больше рисовать всю эту тюремную сволочь[1] я не стану.

После этих слов мне оставалось только удалиться, что я и вознамерился сделать. Но г. К., не могший обойтись без излияний, схватил меня за руку и с обычной горячностью сказал:

— Вы подумайте, дедушка, что это за ужас. Каждый день передо мною новая отвратительная рожа[2]. Сидит и смотрит на меня лягушечьими глазами. Что это? Сперва я смеялся, мне даже нравилось, но когда каждый день лягушечьи глаза, мне стало страшно. А он еще квакать начинает: ква-ква! Что это?

В глазах художника, действительно, был какой-то страх, даже безумие, пожалуй,— то безумие, которое уже вскоре свело его в столь преждевременную могилу.

— Дедушка! Нужно что-нибудь красивое, поймите меня.

— А супруга господина начальника? Разве...

Умолчу о тех крайне неприличных выражениях, в каких г. К., под влиянием возбуждения, отозвался о даме. Дол-

[1] Буквально.

[2] Буквально.

жен, однако, признаться, что до известной степени художник был прав в своих жалобах. Я несколько раз присутствовал при сеансах и заметил, что все позировавшие для художника держались не совсем естественно. Люди искренние и наивные, они, очевидно, в сознании необычности и важности своего положения, в убеждении, что черты их лица, увековеченные на полотне, перейдут к потомству, несколько преувеличивали те свойства, которые так характерны для их высокого и ответственного назначения в нашей тюрьме. Некоторая напыщенность поз, преувеличенное выражение суровой властности, явное сознание собственной значительности и отсюда видимое пренебрежение к предмету, на который обращены их взоры,— все это искажало их добрые и приветливые лица [1]. Но не понимаю, что ужасного нашел художник там, где было место лишь для улыбки. Более того, меня искренно возмутило то поверхностное отношение, с каким художник, считающий себя талантливым и умным, прошел мимо людей, не заметив, что у каждого из них теплится искра Божия. В поисках какой-то фантастической красоты он легкомысленно прошел мимо тех истинных красот, которыми полна душа человека. Не могу здесь не пожалеть о тех несчастных людях, подобных г. К., которые, в силу какого-то особенного устройства их мозгов, всегда обращают свои взоры в сторону темного, когда так много радости и света в нашей тюрьме! [2]

Высказав все это г-ну К., я услышал, к сожалению, все тот же стереотипный и неприличный ответ:

— К черту!

Мне оставалось только пожать плечами, что я и сделал; художник же, вдруг совершенно изменив тон и обращение, серьезно обратился ко мне с вопросом, так же, по моему мнению, достаточно неприличным:

— Зачем вы лжете, дедушка?

Конечно, я удивился:

— Я — лгу?!

— Ну как хотите, ну пусть правду, но только зачем? Я вот смотрю и думаю: зачем? зачем?

---

[1] Мой благосклонный читатель не осудит строго этих простых и честных людей, если вспомнит тот общеизвестный факт, что даже великие мыслители, артисты и государственные мужи, позируя перед художником или фотографом, неизбежно принимают более или менее значительную позу, которая должна уже сама по себе свидетельствовать об их уме, таланте и высоком искусстве в управлении людьми.

[2] Так называемый пессимизм не есть научная теория, а просто скверное устройство мозгов. Ведь есть же скверные часы, которые всегда показывают время неверно.

Мой благосклонный читатель, хорошо знающий, чего *стоила мне правда*, легко поймет мое глубокое негодование; умышленно привожу эту дерзкую и подобные ей *клеветнические* фразы, чтобы показать, в какой атмосфере злобы, недоверия и неуважения приходится мне проходить тяжкий путь испытания. А он грубо настаивал:

— Нет, мне довольно ваших улыбок, вы мне прямо скажите: зачем?

Тогда я, признаюсь, вспылил:

— Ты хочешь знать, зачем говорю я *правду*? Затем, что я ненавижу ложь и предаю ее вечному проклятию! Затем, что роковая судьба сделала меня жертвою несправедливости, и, как жертва, как Тот, Кто принял на Себя великий грех мира и его великие страдания, я хочу указать людям путь. Жалкий эгоист, ты знаешь только себя и свое несчастное искусство, а я — я люблю людей.

Гнев мой возрастал, я чувствовал, как надуваются жилы на моем лбу:

— Безумец, жалкий маляр, несчастный школьник, влюбленный в краски! Перед тобой проходят люди, а ты только и видишь, что лягушечьи глаза — как повернулся твой язык, чтобы сказать это? О, если бы хоть раз ты заглянул в человеческую душу! Какие сокровища нежности, любви, кроткой веры, святого смирения открыл бы ты там. И тебе, дерзкому, показалось бы, что ты вошел в храм — светлый, сияющий огнями храм. Но не мечите бисера перед свиньями,— сказано про таких, как ты.

Художник молчал, подавленный моей гневной и, к сожалению, не совсем сдержанной речью, наконец, вздохнув, он сказал:

— Простите меня, дедушка, я говорю глупости, конечно, но я так несчастен и так одинок. Конечно, милый дедушка, все это правда об искре Божией и обо всей этой красоте, но ведь и начищенный сапог красив! Я не могу, я не могу. Вы подумайте, разве может человек иметь такие усы, как у него[1]. А он еще жалуется: левый ус короче!

Он по-детстки засмеялся и, вздохнув, добавил:

— Попробую еще. Буду рисовать эту даму. Действительно в ней есть что-то хорошее. Хотя все-таки она — корова.

Он опять засмеялся и осторожно, боясь смахнуть рукавом непрочный рисунок, отнес грифельную доску в угол. *И здесь я совершил то, к чему обязывал меня мой долг: схватив*

---

[1] Какой удивительный аргумент!

доску, сильным ударом я раздробил ее на куски. Я думал, что художник с яростью бросится на меня, но этого не произошло: его слабому мозгу мой поступок показался таким кощунственным, таким сверхъестественно ужасным, что ни слóва не могли произнести его помертвевшие губы.

— Что вы сделали? — наконец спросил он тихо.— Вы ее разбили?

И, подняв руку, я торжественно ответил:

— Я сделал то, безумный юноша, что совершил бы я над сердцем моим, если бы оно вздумало шутить и смеяться надо мною! Несчастный, разве ты не видишь, что твое искусство уже давно смеется над тобою, что с твоей доски сам дьявол корчит тебе свои гнусные рожи!

— Да! Дьявол!

— Далекий твоему дивному искусству, я первоначально не понял тебя, твоей тоски — твоего ужаса бесцельности. Но когда сегодня, войдя, я увидел тебя за этим гибельным занятием, я сказал себе: пусть лучше он не творит совсем, чем творит так. Послушай меня.

Здесь впервые я открыл этому юноше священную формулу железной решетки, которая, разделяя бесконечное на квадраты, тем самым подчиняет его нам. С трепетом внимал г. К. моим речам, с ужасом невежды глядя на те знаки, которые ему, несомненно, казались кабалистическими и которые были лишь обычными знаками, употребляемыми в математике.

— Я ваш раб, дедушка,— сказал он под конец, целуя холодными губами мою руку.

— Нет, ты будешь моим любимым учеником, сын мой. Благословляю тебя.

И показалось мне, художник был спасен. Правда, ко мне относился он с большою холодностью, легко объясняемой, впрочем, тем чрезмерным уважением, какое внушил я ему, но портрет г-жи начальницы писал с таким жаром, с таким усердием, что почтенная дама была искренно тронута. И странно: в черты этой уже немолодой и несколько полной женщины художнику удалось вложить столько странной красоты, что даже г. начальник, уже давно привыкший к лицу своей супруги, был искренно восхищен его новым и невиданным выражением. Таким образом, все шло, казалось, прекрасно, как вдруг эта новая катастрофа, весь ужас которой знаю *я один.*

Признаюсь, в надежде не быть понятым превратно, что все последние дни я провел в состоянии крайней, даже несколько болезненной тревоги.

Не желая вызывать лишних толков, я скрыл от г. начальника, что художник перед самой смертью своею подбросил мне письмо, замеченное мною, к сожалению, только утром. Я не сохранил этой бумажки и не помню всего, что наговорил мне на прощание несчастный юноша; кажется, это была благодарность за мою попытку спасти его и искреннее сожаление, что слабые силы его не дают ему возможности воспользоваться моими указаниями. Но одна фраза крепко запечатлелась в моей памяти, и вы поймете, почему это, если я приведу ее во всей ее пугающей простоте:

«Я ухожу из вашей тюрьмы» — так гласит эта фраза.

И он *действительно* ушел: вот стены, вот окошечко в двери, вот вся наша тюрьма, а его нет, он ушел. Следовательно, и я мог уйти вместо того, чтобы тратить десятки лет на титаническую борьбу, вместо того, чтобы в отчаянных потугах, изнемогая от ужаса перед лицом неразгаданных тайн, стремиться к подчинению мира моей мысли и моей воле, я мог бы взлезть на стол, и — одно мгновение неслышной боли — я уже на свободе, я уже торжествую над замко́м и стенами, над правдой и ложью, над радостью и страданиями. Не скажу, чтобы и прежде не думал я о самоубийстве, как об одном из способов бегства, но лишь впервые, со всею соблазнительностью встала предо мною эта возможность [1]. В припадке низкого малодушия, которого я не скрою от моего читателя, как не скрываю от него хороших сторон моих, быть может, даже в припадке временного помешательства, я мгновенно забыл все, что знал о нашей тюрьме и ее великой целесообразности, забыл — стыдно сказать — даже великую формулу железной решетки, понятую и усвоенную с таким трудом; и уже приготовил из полотенца мертвую петлю, чтобы удавить себя. И уже в последнюю минуту, когда все было готово и оставалось только оттолкнуть табурет, я, с не покидавшею меня даже в эти минуты наклонностью к мышлению, подумал: но куда же я иду? Ответ был: я иду в смерть. А что такое смерть? И ответ был: не знаю.

---

[1] Интересный вопрос для психологов: насколько соблазнительность самоубийства объясняется тем, что в этом акте несомненна наличность именно у б и й с т в а, первородного греха, к которому доселе так склонен человек. Раздвоение личности может быть так велико, что самоубийца, нанося удар себе, может испытывать тот сладострастный загадочный восторг, какой испытывает и настоящий убийца, разделяя ножом живые ткани. Вспомним скорпиона, который в ослеплении гнева яростно жалит собственное тело. Отнять жизнь почти всегда удовольствие для человека, даже в том случае, если жизнь эта — собственная.

И этих коротких размышлений было достаточно, чтобы я пришел в себя и с горьким смехом над малодушием своим снял с шеи роковую петлю. Как за минуту перед этим я готов был рыдать от тоски, так теперь я хохотал, хохотал, как исступленный, в сознании, *что еще одна ловушка*, подставленная насмешливым случаем, блестяще избегнута мною. О, сколько ловушек в жизни человека: как хитрый рыбак, судьба ловит его то на блестящую приманку какой-то правды, то на волосатого червячка темной лжи, то на призрак жизни, то на призрак смерти. Мой дорогой юноша, мой очаровательный глупец, мой восхитительный безумец — кто сказал вам, что наша тюрьма кончается здесь, что из *одной тюрьмы* вы не попали в *другую*, откуда уж едва ли придется вам бежать! Вы поторопились, мой друг, вы страшно поторопились, вы забыли меня спросить *кое о чем*, и кое-что я сказал бы вам; я сказал бы вам, что как над тем, что вы зовете жизнью и бытием, так и над тем, что вы называете небытием и смертью, одинаково царит всесильный *Закон*. Только глупцы, умирая, думают, что они кончают с собой — они кончают только с одной формой себя, чтобы немедля принять другую.

Так размышлял я, смеясь над глупым самоубийцей, смешным разрушителем уз вечности; и вот что сказал я, обращаясь к тем двум безгласным сожителям моим, что неподвижно прилипли к белой стене:

— Верую и исповедую, что тюрьма наша бессмертна. Что скажете вы на это, *друзья мои*?

Но они молчали. И, рассмеявшись добродушно,— чтó за тихие сожители у меня! — я неторопливо разделся и отдался спокойному сну. И во сне я видел иную величественную тюрьму, и прекрасных тюремщиков с белыми крыльями за спиною, и г. главного начальника тюрьмы; не помню, были ли там окошечки на двери или нет, но кажется, что были: мне помнится что-то вроде ангельского глаза, с нежным вниманием и любовью прикованного ко мне. Мой благосклонный читатель, конечно, догадался, что я шучу: никакого сна я не видел, да и не имею обыкновения их видеть.

Не надеясь, что г. начальник, занятый неотложными делами по управлению, вполне поймет и оценит мою мысль о невозможности бегства из нашей тюрьмы, в своем докладе я ограничился лишь указанием некоторых способов, которыми могут быть предотвращены самоубийства. С великодушной близорукостью, свойственной людям деловым и доверчивым, г. начальник не заметил слабых сторон моего

проекта[1] и горячо жал мне руки, выражая благодарность от имени всей нашей тюрьмы. *В этот день впервые я имел честь выкушать стакан чаю в самой квартире г. начальника, в присутствии его любезной супруги и очаровательных детей, называвших меня дедушкой.* Слезы умиления, овлажнившие мои глаза, лишь в слабой степени могли выразить овладевшие мною чувства.

Между прочим, по просьбе г-жи начальницы, принявшей во мне горячее участие, я подробно рассказал трагическую историю убийства, так неожиданно и страшно приведшего меня в тюрьму. Я не мог найти достаточно сильных выражений,— да их и нет на человеческом языке,— чтобы достойно заклеймить неизвестного злодея, не только убившего трех беззащитных людей, но в какой-то слепой и дикой ярости изуверски надругавшегося над ними.

Как показал осмотр и вскрытие трупов, убийца последние удары наносил уже мертвым; и свойство некоторых колотых ран, бесцельных и жестоких, указывало на садические наклонности отвратительного злодея. Очень возможно, впрочем,— даже и злодеям нужно отдавать справедливость,— что человек этот, опьяненный видом крови стольких невинных жертв, *временно* перестал быть человеком и стал зверем, сыном изначального хаоса, детищем темных и страшных вожделений. Характерно, что убийца после совершения преступления пил вино и кушал бисквиты — *остатки того и другого были найдены на столе со следами окровавленных пальцев.* Но есть нечто ужаснейшее, чего ни понять, ни объяснить не может мой человеческий разум: закуривая сам, убийца, по-видимому, в чувстве какого-то странного дружелюбия, вложил зажженную сигару в стиснутые зубы моего покойного отца.

Давно уже не припоминал я этих ужасных подробностей, почти стертых рукою времени; и теперь, восстановляя их перед потрясенными слушателями, не хотевшими верить, что такие ужасы возможны, я чувствовал, как бледнело мое лицо и волосы шевелились на моей голове. В тоске и гневе я поднялся с кресла и, выпрямившись во весь рост, воскликнул:

— Земное правосудие часто бывает бессильно,— воскликнул я,— но я умоляю правосудие небесное, умоляю спра-

[1] В действительности самоубийств предотвратить нельзя. Изучая в этом смысле летописи нашей тюрьмы, я напал на некоторые факты свидетельствующие о почти гениальной находчивости самоубийц: так, один арестант покончил с собою, засунув в горло намотанную на палке грязную тряпку, которой прочищали ретирады.

ведливую жизнь, которая никогда не прощает, умоляю все высшие законы, под властью которых живет человек,— да не избежит виновный заслуженной им беспощадной кары! кары!

Потрясенные моими рыданиями слушатели тут же выразили пылкую готовность хлопотать о моем освобождении и хоть отчасти искупить этим нанесенную мне несправедливость. Я же, попросив извинения, удалился к себе в камеру.

По-видимому, мой старческий организм уже не выносит таких потрясений; да и трудно, даже будучи сильным человеком, вызывать в воображении некоторые образы, не рискуя целостью рассудка: только этим могу я объяснить ту странную галлюцинацию, что в одиночестве камеры предстала моим утомленным глазам. В некотором оцепенении, бесцельно я смотрел на запертую глухую дверь, когда мне почудилось, что сзади меня кто-то стоит; это чувство и раньше в своей обманчивости посещало меня, и некоторое время я медлил обернуться. Когда же я обернулся, то увидел следующее: в пространстве между распятием и моим портретом, на некотором расстоянии от пола, не превышающем, впрочем, четверти аршина, как бы висящим в воздухе, явился труп моего отца. Затрудняюсь передать подробности, так как уже давно наступили сумерки, но могу сказать наверное, что это был именно образ трупа, а не живого человека, хотя во рту *у него и дымилась сигара*. Точнее сказать, дыма от сигары не было, а только светился слабо красноватый, как бы потухающий огонек. Характерно, что ни в эту минуту, ни потом я не ощутил *запаха табаку* — сам я давно уже не курю. Здесь — я вынужден сознаться в своей слабости, но обман зрения был поразителен — я заговорил с галлюцинацией. Подойдя близко, насколько это было возможно,— труп не отодвигался по мере моего приближения, но оставался совершенно неподвижным, и, наступая дальше, я должен был прямо наткнуться на него,— я сказал призраку:

— Благодарю тебя, отец. Ты знаешь, как тяжело твоему сыну, и ты пришел, ты пришел, чтобы засвидетельствовать мою невиновность. Благодарю тебя, отец. Дай мне твою руку, и крепким сыновним пожатием я отвечу на твой неожиданный приход... Не хочешь? Давай руку! Давай руку — я тебе говорю, иначе я назову тебя лжецом!

Я протянул руку, но, конечно, галлюцинация не *удостоила* меня ответом, и я навсегда лишился возможности узнать, каково прикосновение тени. Тот крик, который я испустил и который так обеспокоил моего друга-тюремщика и произвел некоторый переполох в тюрьме, был

вызван *внезапным* исчезновением призрака, столь внезапным, что образовавшаяся на месте трупа пустота показалась мне почему-то более ужасною, нежели сам труп.

Такова сила человеческого воображения, когда, возбужденное, творит оно призраки и видения, заселяя ими бездонную и навеки молчаливую пустоту. Грустно сознаться, что существуют, однако, люди, которые верят в призраки и строят на этом вздорные теории о каких-то сношениях между миром живых людей и загадочной страною, где обитают умершие. Я понимаю, что может быть обмануто человеческое ухо и даже глаз[1], но как может впасть в такой грубый и смешной обман великий и светлый разум человека?

IX

Произошло нечто в высокой степени неожиданное: хлопоты моих друзей, г. начальника и его супруги, увенчались успехом, и вот уже два месяца, как я на свободе.

Счастлив сообщить, что тотчас же по выходе из нашей тюрьмы я занял положение весьма почетное, на которое едва ли смел когда-либо рассчитывать в сознании моих скромных достоинств. Вся печать с единодушным восторгом встретила меня; многочисленные журналисты, фотографы, даже карикатуристы (люди нашего времени так любят смех и удачные остроты) в сотнях статей и рисунков воспроизвели всю историю моей замечательной жизни. С поразительным единодушием, не сговариваясь друг с другом, газеты присвоили мне наименование «Учитель», высоколестное имя, которое, после некоторых колебаний, я принял с глубокой признательностью[2].

---

[1] Между прочим, я сказал тюремщику:

— У меня какое-то странное ощущение, как будто здесь пахнет сигарным дымом. Вам не кажется?

Тюремщик добросовестно обнюхал воздух и ответил:

— Нет, я не нахожу этого. Вам показалось.

Вот, если вам нужны подтверждения, прекрасное доказательство, что все виденное мною, если и существовало,— то только на сетчатке моего глаза.

[2] Не знаю, стоит ли упоминать о нескольких враждебных заметках, вызванных раздражением и завистью — пороком, столь часто пятнающим человеческую душу: в одной из этих заметок, появившейся, между прочим, в очень грязненькой газетке, какой-то негодяй, руководствуясь жалкими сплетнями и ни на чем не основанными слухами о моих собеседованиях в нашей тюрьме, назвал меня «изувером и лжецом». Возмущенные наглостью жалкого писаки, друзья мои хотели подвергнуть его преследованию, но я убедил их этого не делать: в самом себе находит порок достойную его кару.

Те средства, которые оставила мне добрая матушка и которые сильно возросли за то время, пока я находился в тюрьме, дали мне возможность устроиться не только прилично, но даже и роскошно в одном из наиболее аристократических отелей. В моем распоряжении находится многочисленный штат прислуги, автомобиль — прекрасное изобретение, с которым я познакомился впервые,— и вообще я так умело распорядился деньгами, что, несомненно, попади богатство в мои руки в свое время, я не оставил бы его лежать втуне. Живые цветы, в изобилии доставляемые очаровательными посетительницами, придают моему уголку вид оранжереи или даже кусочка тропического леса. Мой слуга, весьма приличный молодой человек, положительно в отчаянии: никогда, по его словам, он не видал столько цветов и не обонял одновременно столько различных запахов. Если бы не мой преклонный возраст и не та строгая и важная корректность, с какой держусь я с моими почитательницами,— я не знаю, перед чем могли бы остановиться они в выражениях своих пылких чувств. Сколько надушенных записочек! Сколько томных вздохов и покорно молящих глаз! Даже не обошлось дело без прелестной незнакомки под черной вуалью: три раза в различные часы таинственно появлялась она и, узнав, что у меня есть посетители, столь же таинственно исчезала.

Добавлю, что в настоящее время я удостоен чести быть избранным в почетные члены многих человеколюбивых обществ, как-то: «Лиги мира», «Лиги борьбы с детской преступностью», «Общества друзей человека» и некоторых других. Кроме того, по приглашению редактора одной из наиболее распространенных газет, с будущего месяца я начинаю серию публичных лекций, для каковой цели отправляюсь в турне вместе с моим любезным импресарио [1].

---

[1] Я уже подготовил материалы для первых трех моих лекций и в надежде, что читателю моему это будет не совсем безынтересно, сообщу конспект таковых.

ЛЕКЦИЯ ПЕРВАЯ

Хаос или порядок? Извечная борьба между тем и другим. Вечный бунт и вечное поражение бунтовщика — хаоса. Торжество закона и порядка.

ЛЕКЦИЯ ВТОРАЯ

Что такое душа человека? Извечная борьба двух начал в душе человека: хаоса, из коего она рождена, и гармонии, к коей она неудержимо стремится. Ложь, как детище хаоса, и правда, как дитя гармонии. Торжество правды и гибель лжи.

ЛЕКЦИЯ ТРЕТЬЯ

Разъяснение священной формулы железной решетки.

Между прочим, во избежание излишних пересудов (я живу сейчас точно в стеклянном колпаке) я отказался на некоторое время от продолжения тех приятных собеседований, которые на языке моих очаровательных посетительниц назывались исповедью; надеюсь, впрочем, что со временем мне удастся их восстановить и с избытком вознаградить за испытанные лишения мою милую паству.

Как видит мой благосклонный читатель, справедливость все же не пустой звук, и за мои страдания я получаю ныне немалую награду. Но, не смея ни в чем упрекнуть столь милостивую ко мне судьбу, я все же не чувствую того удовлетворения, для которого, казалось, имел бы полное основание. Правда, первое время я был положительно счастлив; но уже вскоре привычка к строго логическому мышлению, зоркость и неподкупность взгляда, приобретенная созерцанием мира сквозь математически правильную решетку, привели меня к ряду разочарований.

Боюсь сейчас сказать это с полной уверенностью, но, кажется, вся их жизнь на так называемой свободе есть сплошной самообман и ложь. Жизнь каждого из тех людей, кого я видел за эти дни, движется по строго определенному кругу, столь же прочному, как коридоры нашей тюрьмы, столь же замкнутому, как циферблат тех часов, что в невинности разума ежеминутно подносят они к глазам своим, не понимая рокового значения вечно движущейся и вечно к своему месту возвращающейся стрелки,— и каждый из них чувствует это [1], но в странном ослеплении уверяет, что он совершенно свободен и движется *вперед*. Подобно глупой птице, которая бьется до полного истощения сил о прозрачную стеклянную преграду, не понимая, что ее удерживает, эти люди беспомощно бьются о стены своей стеклянной тюрьмы. Я не могу без негодования говорить об ихнем небе, глубиной и бесконечностью которого они так восхищаются: наглое, оно обманывает их своею мнимою доступностью, своею лживой красотой. Меня поражает безумие их широко открытых, ничем не защищенных окон, в которые вливается свободно бесконечность, безумие их столь же широко открытых глаз, только усиленным морганием кладущих преграду между собой и вечностью. Додумавшись до того, что время необходимо разделить на минуты, что пространство необходимо разбить на сантиметры, они не умеют справиться с вечностью, надев на нее железную решетку. О, если б они поняли, что свободы нет,

---

[1] Как чувствует, вероятно, и цирковая лошадь.

что свободы не нужно,— как были бы они счастливы в сознании мудрой подчиненности целесообразным и строгим велениям рока.

Глубоко ошибся я, как кажется, и в значении тех приветствий, которые выпали на мою долю по выходе из тюрьмы. Конечно, я был убежден, что во мне они приветствуют представителя нашей тюрьмы, закаленного опытом вождя, учителя, явившегося к ним лишь для того, чтобы открыть им великую тайну целесообразности. И когда они поздравляли меня с дарованной мне свободою, я отвечал благодарностью, не подозревая, какой идиотский смысл влагают они в это слово [1]. Поверит ли читатель такой дикой несообразности: ни одна из газет не осмелилась напечатать моего рассказа о том, каким простым и мудрым способом пришел я к удовлетворению моих половых потребностей, находя, что это может повредить их общественной нравственности.

— А как бы вы поступили на моем месте? — спросил я одного, по виду даже неглупого господина, стыдливо выслушавшего мой рассказ. Он замялся.

— Вероятно, поступил бы так же, но рассказывать об этом... И вообще, чтобы Онания был великим человеком...— он фыркнул.— Вы шутите, конечно?

Я шучу?! Глупые лицемеры, боящиеся сказать правду даже там, где она их украшает. Вообще моя закаленная правдивость нашла для себя жестокое испытание в среде этих лживых и мелочных людей. Положительно ни один субъект не поверил, что в тюрьме я был счастлив, как никогда. Чему же они тогда удивляются во мне и зачем печатают мои портреты? Разве так мало идиотов, которые в тюрьме несчастны! И самое любопытное, всю соль чего сумеет оценить мой благосклонный читатель: часто ни на грош не веря мне, они, тем не менее, *совершенно искренно* восхищаются мною, кланяются, жмут руки и на каждом шагу лопочат: «Учитель!», «Учитель!». И если бы от своей постоянной лжи они получили какую-нибудь пользу,— но нет: они совершенно бескорыстны и лгут точно по чьему-то высшему приказу, лгут в фанатическом убеждении, что ложь ничем не отличается от правды. Дрянные актеры, даже не умеющие сделать порядочного грима, они с утра до ночи кривляются на каких-то подмостках и, умирая самой

[1] Да простится мне это грубое выражение, но я не в силах далее сдерживать моего отвращения к их нелепой жизни, к их помыслам, к их чувствам.

настоящей смертью, страдая самым настоящим страданием, в свои предсмертные судороги вносят грошовое искусство арлекина [1]. Даже мошенники у них не настоящие, а только играют роль мошенников, сами же остаются честными людьми; а роль честных — исполняют преимущественно мошенники и исполняют скверно, и публика видит это, но, во имя все той же фатальной лжи, несет им венки и букеты. А если действительно находится такой талантливый актер, что умеет совершенно стереть границу между правдой и обманом, так, что даже и они начинают верить,— они в восторге называют его великим, объявляют подписку на памятник [2]. Отчаянные трусы, они больше всего боятся самих себя и, любуясь с восторгом отражением в зеркале своего лживого загримированного лица,— воют от ужаса и злости, когда кто-нибудь неосторожный подставляет зеркало ихней душе. Без сомнения, мой благосклонный читатель должен принять все это относительно, не забывая, что старческому возрасту свойственна некоторая ворчливость. Конечно, я встретил немало достойнейших людей, безусловно правдивых, искренних и смелых; горжусь сознанием, что у них я нашел надлежащую оценку моей личности. При поддержке этих друзей моих я надеюсь с успехом закончить борьбу за истину и справедливость. Для моих шестидесяти лет я еще достаточно крепок, и нет, кажется, силы, что могла бы сломить мою железную волю.

Временами мною овладевает усталость: благодаря нелепому строю их жизни, я даже ночью не имею надлежащего покоя. Огромные окна, эти бессмысленные зияющие провалы, даже сквозь толстую завесу зовущие к какому-то полету,— возбуждают и беспокоят меня. И сознание, что, ложась спать, я мог в рассеянности не запереть на ключ двери моей спальни, заставляет меня десятки раз вскакивать с постели и с дрожью ужаса ощупывать замóк. Недавно так и случилось: вынув ключ из двери и спрятав его под подушку, в полной уверенности, что дверь заперта, я вдруг услыхал стук, а затем дверь *приоткрылась*, пропустив улыбающееся лицо моего слуги. Вы, дорогой чита-

---

[1] Пусть мой благосклонный читатель обратит внимание на записки самоубийц, а также пусть вспомнит он все знаменитые «Исповеди» и автобиографии, в которых глубочайшие страдания роковым образом сочетаются с чисто актерской, почти непроизвольной игрой жестами, интонацией и словами. Я убежден, что если гальванизировать свежий труп одного из них, то в свои движения, наряду с несомненной мертвецкой искренностью, он внесет некоторую искусственную жестикуляцию.

[2] Но денег не дают.

тель, легко поймете тот ужас, какой испытал я при этом неожиданном появлении: мне почудилось, что кто-то вошел в *мою душу*. И, хотя мне вовсе нечего скрывать, подобное вторжение мне кажется по меньшей мере неприличным.

На днях я слегка простудился — в их окна страшно дует, и попросил моего слугу пободрствовать возле меня ночь. Наутро я шутя спросил его:

— Ну как, много я болтал во сне?

— Нет, вы ничего не говорили.

— А мне снился какой-то страшный сон, и, помнится, я даже плакал.

— Нет, вы все время улыбались, и я еще подумал: какие счастливые сны видит наш Учитель.

Милый юноша,— по-видимому, он искренно предан мне, и это так трогает меня в настоящие тяжелые дни.

Завтра сажусь за составление лекции. Пора!

X

Боже мой, что со мною случилось! Я не знаю, как рассказать об этом читателю. Я был на краю пропасти. *Я чуть не погиб*. Какие жестокие испытания посылает мне судьба. Ведь мне шестьдесят лет — шестьдесят лет. Безумцы, мы улыбаемся, ничего не подозревая, когда над нами уже занесена чья-то убийственная рука, улыбаемся, чтобы в следующее мгновение дико вытаращить глаза от ужаса. Я — я плакал о чем-то. Я плакал! Еще одно мгновение — и, обманутый, я бросился бы вниз, думая, что лечу к небу. Оказывается — оказывается: та «прелестная незнакомка» под черною вуалью, что трижды таинственно являлась ко мне, есть не кто иная, как г-жа NN, моя бывшая невеста, моя любовь, моя мечта и страдание. *Ведь ни одной женщины, кроме нее, я не знал и не любил во все эти бесконечные, ужасные года*. И оказалось...

Но порядок, порядок! Да простит мне мой благосклонный читатель невольную жалкую бессвязность предыдущих строк, но мне шестьдесят лет, и силы мои слабеют. Силы мои слабеют, и я один. Будь хоть ты моим другом в эту минуту, мой неизвестный читатель: ведь не железный же я, и силы мои слабеют. Слушай, друг: подробно и точно, со всею объективностью, на какую только способен мой холодный и светлый разум, постараюсь передать я происшедшее[1].

---

[1] И пойми то, чего недоскажет мой язык.

Я сидел за составлением лекции, весь охваченный жаром интересной работы, когда мой слуга доложил, что *вновь* явилась незнакомка под черной вуалью и просит разрешения видеть меня. Признаюсь, не без некоторого, вполне понятного раздражения я уже готовился ответить отказом, но любопытство, наконец нежелание причинить обиду побудили меня принять неожиданную гостью. Придав своему лицу и позе то обычное выражение величавого благородства, с каким встречаю я посетителей, и только слегка смягчив его ввиду романического характера истории шутливой и приятной улыбкой, я приказал открыть дверь.

— Прошу садиться, моя дорогая гостья,— любезно предложил я незнакомке, которая, все еще не снимая вуали, в каком-то странном оцепенении стояла предо мною.

Она села.

— Уважая всякую тайну,— продолжал я шутливо,— я все же просил бы вас снять это мрачное, безобразящее вас покрывало. Разве нуждается в маске человеческое лицо?

В волнении, причину которого я понял, как оказалось, совершенно неверно, странная посетительница ответила отказом.

— Хорошо, я сниму, но только потом. Я раньше хочу посмотреть на вас.

Приятный голос незнакомки не вызвал во мне никаких воспоминаний. Весьма заинтригованный и даже польщенный, я с полной готовностью предоставил посетительнице все сокровища моего ума, опыта и таланта. С увлечением, какого уже давно у меня не бывало, я рассказал ей всю поучительную историю моей жизни, непрестанно освещая ее в мельчайших подробностях лучом великой целесообразности[1]. Странное внимание, с каким слушала незнакомка мои речи, частые и глубокие вздохи, нервный трепет тонких пальцев, обтянутых черною перчаткой, взволнованные восклицания: — О, Боже! — вдохновили меня. И — что редко позволяю я себе с дамами — я рассказал ей всю прекрасную повесть моих многолетних отношений с г-жою NN, которая, как воплотившаяся мечта, сама того не ведая, разделяла мое уединение и мое ложе в нашей тюрьме. Захваченный своим рассказом, я, признаюсь, не обратил должного внимания на странное поведение моей посетительницы: потеряв всякую сдержанность, она хватала мои

---

[1] При этом я пользовался отчасти тем материалом, над которым только что работал, подготовляя мои лекции.

руки с тем, чтобы в следующее мгновение резко оттолкнуть их, плакала и, пользуясь каждой паузой в моей речи, умоляла:

— Не надо, не надо, не надо! Замолчите! Я не могу этого слышать!

И в ту минуту, когда я всего менее этого ожидал, она сдернула вуаль, и моим глазам предстало лицо ее, моей любви, моей мечты, моей бесконечной и горькой муки. Оттого ли, что всю жизнь я прожил с нею в одной мечте, с нею был молод, с нею мужал и старился, с нею подвигался к могиле — лицо ее не показалось мне ни старым, ни увядшим: оно было как раз тем, каким видел я в грезах моих, бесконечно дорогим и любимым.

Что сделалось со мною? Впервые за десятки лет я забыл, что у меня есть лицо, впервые за десятки лет, как юноша, как пойманный преступник, я беспомощно смотрел и ждал какого-то смертельного удара.

— Ты видишь, ты видишь! Это я. Боже мой, ведь это же я! Что же ты молчишь? Ты не узнал меня?

Я не узнал ее! Лучше бы никогда не знать мне этого лица! Лучше бы ослепнуть мне, чем снова увидеть ее!

— Что же ты молчишь? Какой ты страшный! Ты забыл меня!

— Сударыня...

Конечно, мне и следовало так продолжать: я видел, как отшатнулась она, я видел, как дрожащими пальцами, почти падая, она искала вуалетку, я видел, что еще слово мужественной правды, и страшное видение исчезнет, чтобы снова не вернуться никогда. Но кто-то чужой во мне — не я, не я! — произнес эту нелепую, смешную фразу, в которой звучало сквозь холод ее так много ревности и безнадежной тоски:

— Сударыня, вы изменили мне. Я вас не знаю. Быть может, вы ошиблись дверью. Вас, вероятно, ждут ваш муж и дети. Позвольте — мой слуга проводит вас до кареты.

Думал ли я, что эти слова, сказанные все же голосом строгим и холодным, *так* отзовутся в сердце женщины: с криком, всю горькую страстность которого я не сумею передать, она бросилась предо мною на колени, восклицая:

— Так ты любишь меня!

И здесь, к стыду моему, началось то дикое, сверхъестественное, чему я не могу и не смею найти оправдания. Забывая, что жизнь прожита, что мы старики, что все погибло, развеяно временем, как пыль, и вернуться не может никогда; забывая, что я сед, что горбится моя спина,

что голос страсти звучит дико из старческого рта,— я разразился неистовыми жалобами и упреками. Внезапно помолодев на десятки лет, мы оба закружились в бешеном потоке любви, ревности и страсти.

— Да, я изменила тебе! — кричали мне ее помертвевшие губы.— Я знала, что ты невинен...

— Молчи, молчи.

— Надо мной смеялись, даже друзья твои, твоя мать, которую я за это ненавижу, все предали тебя. И только я одна твердила: он невинен.

О, если бы знала эта женщина, что делают со мной ее слова! Если бы рог архангела, зовущего на Страшный суд, зазвучал над самым ухом моим, он не испугал бы меня так: что значит для смелого слуха рев трубы, зовущей к борьбе и состязанию. Воистину бездна раскрылась под ногами моими, и, точно ослепленный молнией, точно ударом оглушенный, я закричал в диком и непонятном восторге:

— Молчи! Я...

Если бы женщина эта была послана Богом, она замолчала бы; если бы дьяволом была послана — замолчала бы она и тогда. Но не было в ней ни Бога, ни дьявола, и, *перебивая* меня, не давая мне окончить начатого, она продолжала:

— Нет, я не замолчу. Я все должна сказать тебе, я столько лет ждала тебя. Слушай, слушай!

Но вдруг увидела она мое лицо и отступила в испуге.

— Что ты? Что с тобою? Зачем ты смеешься? Я боюсь твоей улыбки. Перестань смеяться! Не надо, не надо!

Но я и не смеялся, я только улыбался тихо. А затем совершенно серьезно и без улыбки я сказал:

— Я улыбаюсь, потому что рад видеть тебя. Говори мне о себе.

И как во сне увидел я склоненное ко мне лицо, и тихий, страшный шепот коснулся моего слуха:

— Ты знаешь, я люблю тебя. Ты знаешь, всю жизнь я любила только тебя одного. Я жила с другим и была верна ему, у меня дети, но, ты знаешь, все они чужие мне: и он, и дети, и я сама. Да, я изменила тебе, я преступница, но я не знаю, что сделалось тогда со мною, ты ведь знаешь, какой он? Он был так добр со мною, он притворялся, я потом узнала это, что также не верит в твою виновность, и этим, подумай, *этим* он купил меня.

— Ты лжешь!

— Клянусь тебе. Целый год ходил он около меня и говорил только о тебе. Знаешь, он даже плакал однажды, когда я рассказала ему о тебе, о твоих страданиях, о твоей любви.

— Но ведь он же лгал!

— Ну да, конечно, лгал. Но тогда он показался мне таким милым, таким добрым, что я поцеловала его в лоб. Но только в лоб, больше не было ничего, даю тебе честное слово [1]. Потом мы с ним возили цветы тебе, в тюрьму. И вот раз, когда мы возвращались... нет, ты послушай... он вдруг предложил мне поехать покататься, вечер был такой хороший...

— И ты поехала! Как же смела ты поехать! Ты только что видела мою тюрьму, ты только что была вблизи меня — и смела поехать с ним? Какая подлость!

— Молчи, молчи. Я знаю, я преступница. Но я так устала, так измучилась, а ты был так далеко. Пойми меня.

Она заплакала, ломая руки.

— Пойми меня. Я так измучилась тогда. И он... ведь он же видел, какая я... он осмелился поцеловать меня.

— Поцеловать! И ты позволила! В губы?

— Нет, нет! Только в щеку [2].

— Ты лжешь.

— Нет, нет. Клянусь тебе. Ну, а потом... ну, а потом...

Я засмеялся.

— Ну, а потом, конечно, в губы. И ты ответила ему? И вы катались по лесу — ты, моя невеста, моя любовь, моя мечта. И все это для меня? И детей с ним ты рожала для меня? Говори! Да говори же!

В бешенстве я ломал ее руки, и, извиваясь, как змея, безнадежно пытаясь укрыться от моего взгляда, она шептала:

— Прости меня, прости меня.

— Сколько у тебя детей?

— Прости меня.

Но рассудок покидал меня, и в нарастающем бешенстве, топая ногою, я кричал:

— Сколько детей? Говори. Я убью тебя!

И это я *действительно* сказал: по-видимому, рассудок окончательно готовился меня покинуть, если я, я мог грозить убийством беззащитной женщине. И она, догадываясь,

---

[1] Неправда.

[2] Неправда.

очевидно, что это только слова, ответила с притворной готовностью:[1]

— Убей! Ты имеешь право на это! Я преступница. Я обманула тебя. А ты мученик, ты святой! Когда ты рассказывал мне... Это правда, что даже в мыслях ты не изменял мне? Даже в мыслях!

И снова под ногами моими раскрылась бездна, все шаталось, все падало, все становилось бессмыслицей и сном, и, с последней попыткой сохранить погасавший рассудок, я крикнул грубо:

— Но ведь ты же счастлива! Ты не можешь быть несчастна, ты не имеешь права быть несчастной! Иначе я сойду с ума!

Но она не поняла. С горьким смехом, с безумной улыбкой, в которой мука сочеталась с какой-то светлой небесной радостью, она сказала:

— Я счастлива? Я — счастлива? О друг мой, только у ног твоих я могу найти счастье. С той минуты, как ты вышел из тюрьмы, я возненавидела мой дом, мою семью, я там одна, я всем чужая. Если бы ты знал, как я ненавижу этого негодяя!

— Ты говоришь о муже!

— Он вор. Мой муж ты! Ты мудрый, ты верно почувствовал: в тюрьме ты был не один: я всегда была с тобою...

— И ночь?

— Да, все ночи.

— А кто же лежал с *ним*?

— Молчи, молчи! Если бы ты только слышал, если бы ты только видел, с какою радостью я бросила ему в глаза — подлец! Десятки лет оно жгло мой язык; ночью, в его объятиях, я тихонько твердила про себя: подлец, подлец, подлец! И ты понимаешь: то, что он считал страстью, было ненавистью, презрением[2]. И я сама искала его объятий, чтобы еще раз, еще раз оскорбить его.

Она захохотала, пугая меня диким выражением своего лица.

— Нет, ты подумай только: всю жизнь он обнимал только ложь. И когда, обманутый, счастливый, он засыпал, я долго и тихонько лежала открывши глаза и тихонько скрипела зубами, и мне хотелось ущипнуть, уколоть его

---

[1] Несомненно, притворною.

[2] Но он-то воспринимал это как страсть!

булавкой [1]. И ты знаешь,— она снова захохотала,— только поэтому я не изменяла ему.

Мне казалось, что в мозг мой вгоняют клинья. Схватившись за голову, я закричал:

— Ты лжешь! Кому ты лжешь?

— Нет, правда же, голубчик. Мне очень нравился один, ты его не знаешь, и он любил меня. Но разве могла я изменить *тебе*?

— Мне?

Воистину, с призраком мне было легче говорить, чем с женщиной! Что мог сказать я ей — мой ум мутился. И как мог я оттолкнуть ее, когда с беспредельной жадностью, полная любви и страсти, она целовала мои руки, глаза, лицо. Это она, моя любовь, моя мечта, моя горькая мука!

Я люблю тебя. Я люблю тебя.

И я поверил всему: я поверил ее любви, поверил, что, отдаваясь этому негодяю, она жила только со мною, как честная и никогда не изменяющая жена. Я всему поверил. И вновь я почувствовал черными мои кудри — и вновь я увидел себя молодым. И я упал перед ней на колени и плакал долго, и тихо шептал о каких-то страданиях, о тоске одиночества, о чьем-то сердце, разбитом жестоко, о чьей-то поруганной, искалеченной, изуродованной мысли. И, плача и смеясь, гладила она мои волосы; и вдруг заметила, что они седые, и закричала дико.

— Что с тобою?

— А жизнь? Ведь я же старуха.

Нет, я ничего не понимаю. Я не верю, я не могу поверить тому, что произошло. Уже давно, уж много лет во мне погасла страсть. Откуда же вновь с такою силою явилась она! Разве на свете бывают чудеса! И неужели это старуха, а не девушка, не женщина, сгорающая страстью, обнимала меня, прижималась ко мне взволнованною грудью. Мы плакали и смеялись. И так, плача и смеясь, мы отдались друг другу. О, жалкий и постыдный миг! Пусть всею своею тяжкою громадой придавит и убьет тебя забвение. Я не хочу принять тебя, безумный дар насмешливой судьбы,— я не хочу, я не хочу.

А она говорила, смеясь и плача:

— Ты подумай, это наша первая брачная ночь.

Воистину, здесь третьим присутствовал сам сатана.

---

[1] Мои очаровательные читательницы оценят, надеюсь, этот способ причинять страдания...

Было ровно половина четвертого, когда она ушла. Время довольно позднее для стариков. Уходя, она потребовала, чтоб я, как юноша, проводил ее до самого порога,— и я сделал это. Уходя, она говорила мне:

— Завтра я приезжаю к тебе совсем. Я знаю, дети откажутся от меня,— ты знаешь, моя дочь скоро выходит замуж,— но ведь их и так нет у меня, и мы уедем с тобою... Ты любишь меня?

— Люблю.

— Милый, мы уедем далеко-далеко. Ты хотел читать какие-то лекции. Этого не надо. Мне не нравится, что ты там говоришь о какой-то железной решетке [1]. Ты просто измучился, тебе так надо отдохнуть. Хорошо?

— Да, хорошо.

— Ах, я забыла вуалетку. Сохрани ее, сохрани ее на память о нынешнем дне. Милый!

В вестибюле, в присутствии сонного портье, она горячо поцеловала меня. От нее пахло какими-то новыми духами, не теми, что было надушено письмо. И дышала она тяжело, как загнанная лошадь: в такие годы сильное волнение не проходит безнаказанно. И на рыданье был похож ее последний кокетливый смех, с каким исчезла она за стеклянной дверью. Она ушла.

В ту же ночь, разбудив слугу, я приказал ему уложить вещи, и мы уехали. Я не скажу, где нахожусь я сейчас; но всю вчерашнюю и нынешнюю ночь над головою моей шумели деревья и дождь стучал в окна. Здесь окна маленькие, и мне легче за ними. Ей я написал довольно обширное письмо, содержание которого считаю излишним приводить. Больше с нею мы не увидимся никогда.

Но что же мне делать? Пусть извинит читатель эти бессвязные вопросы. Они так естественны в моем положении. К тому же во время переезда я схватил сильный ревматизм, столь мучительный, даже опасный в мои годы, и он не дает мне возможности мыслить спокойно. Почему-то очень много думаю о моем юном, столь безвременно погибшем г. К. Каково-то ему в его новой тюрьме?

Завтра утром, если позволят силы, намереваюсь сделать визит г. начальнику нашей тюрьмы и его почтенной супруге. Наша тюрьма!..

---

[1] Так поняла меня г-жа NN.

XI

Бесконечно счастлив сообщить моему дорогому читателю, что как телесные, так и душевные силы мои вполне восстановились. Продолжительный отдых на лоне природы, среди ее умиротворяющих красот, созерцание сельской жизни, столь простой и ясной, отсутствие городского шума, когда сотни ветряных мельниц бестолково машут перед носом своими длинными руками; наконец полное, ничем не нарушаемое одиночество — вновь возвратили моему поколебленному миросозерцанию всю его былую стройность и железную, непреодолимую крепость. Спокойно и уверенно гляжу я в мое будущее, и хотя ничего другого, кроме одинокой могилы и последнего странствия в безвестную даль, оно мне не сулит, я столь же мужественно готов встретить смерть, как прожил жизнь, черпая силу в одиночестве моем, в сознании невиновности и правоты моей.

Если, как уверяют богословы, нас ждет загробная жизнь и последний Страшный суд, я и на Страшном суде перед ликом бессмертных небожителей громко засвидетельствую мою невиновность. Подобно тому невинному Агнцу, Который взял на Себя грехи мира — поднял я на свои человеческие рамена великий грех мира и бережно, не расплескав ни капли, донес его до могилы. Пусть сгибались под тяжкою ношею мои колени, пусть гнулась спина,— мое всевыносящее сердце никогда не просило пощады и ниоткуда не ждало ее. И если на Страшном суде я не встречу справедливости, терпеливо и покорно, в безграничности времен, я буду ждать нового, *Страшнейшего суда.*

Столь же счастлив сообщить моему любезному читателю, что непродолжительное пребывание на их так называемой свободе во многом содействовало дальнейшему развитию моих взглядов и помогло избавиться от одной грубейшей, возмутительной ошибки. Несколько непродуманно принимая устройство нашей тюрьмы за идеальное и окончательное (сколько горьких разочарований принесла мне эта ошибка!) и видя в нашей тюрьме существование «общих камер для мошенников», я утвердился на мысли, что подобные камеры столь же законосообразны, естественны и логичны, как и одиночное заключение. Только лично пожив в одной из таких камер — да простится

мне эта несколько дерзкая шутка в отношении к их жизни! — я почувствовал всю глубину моей ошибки. Не могу умолчать об одном курьезе, почти анекдоте, прекрасно характеризующем странную и смешную рассеянность, которой подвержены многие мыслители и ученые. Так, разбирая с г. начальником план нашей тюрьмы и восхваляя его, я с некоторой осторожностью, даже опаскою, осведомился о том, чем объясняется существование «общих камер для мошенников».

— Места мало. Для наиболее тяжких — одиночное, для всех прочих — по мере возможности.

Места мало — как это просто, мудро и ясно! А я, глупец, мнящий себя мыслителем, и не мог догадаться о том, что при избытке народонаселения одиночное заключение может быть уделом только избранных. Много званых, но мало избранных — или, как лаконично и красноречиво выразился мой высокопочитаемый начальник:

— Места мало!

Прежде чем рассказать, как воспользовался я сознанием моей ошибки в целях строения новой жизни, упомяну в нескольких словах о г-же NN. Как сообщили газеты, эта почтенная дама скончалась и притом при весьма загадочных обстоятельствах, намекающих на возможность самоубийства. Горе ее мужа и осиротевшей семьи не поддается описанию. Так говорят газеты. С своей стороны, я сильно, однако, сомневаюсь, чтобы здесь действительно имело место самоубийство, для которого я не вижу достаточных оснований.

Очень внимательно и серьезно рассмотрев все то, что произошло на нашем свидании, я пришел к весьма грустному выводу, с которым не может не согласиться мой благосклонный читатель: несомненно, что г-жа NN *лгала*, уверяя, что не любит мужа, от которого имеет полдюжины детей, а любит меня. Конечно, я не могу строго отнестись к этой наивной лжи, вполне естественно объясняемой тем экзальтированным состоянием, в котором находилась при свидании моя старая подруга. Просто сознаться в том, что она мне изменила, г-жа NN не могла и, естественно, прибегала к некоторым украшениям и легкому, чисто женскому[1] сочинительству, желая доставить приятное как мне, так и себе. Чувствуя некоторую, в действительности ничтожную

---

[1] Уверен, что мои очаровательные читательницы не посетуют на меня за эту фразу: в ней я хочу только противопоставить красивую и легкую женскую ложь всегда тяжеловесной и грубой лжи мужчин.

вину передо мною, она слишком торопилась ее загладить; не могу, к сожалению, одобрить *всех мер*, предпринятых ею в этом направлении. Глубоко убежден, что, возвратившись к своему достойному супругу, в котором она не может не чтить отца своих шестерых детей, она сама рассказала ему о нашем потешном свидании — умолчав, конечно, о некоторых подробностях, которые могли быть ему неприятны.

Чуть не забыл упомянуть, что г-же NN удалось каким-то образом узнать мой адрес, и она прислала мне несколько писем, которые я вернул нераспечатанными, не рассчитывая найти в них ничего нового и интересного, кроме все тех же полулживых излияний. А за несколько дней до своей внезапной кончины, кажется, за неделю, она приезжала сама, но не застала меня дома — я был у г. начальника нашей тюрьмы.

Среди венков, украшавших гроб г-жи NN, был один, привлекавший общие взоры своей оригинальной формой: это была красиво сплетенная решетка из кроваво-красных роз. И надпись на венке гласила: «От неизвестного друга. Отдохни, усталое сердце».

Последнее, что остается мне добавить для полного и окончательного расчета с этой жизнью — я отказался от предполагаемого турне, несмотря на горячие просьбы и мольбы моего импресарио. Может быть, впоследствии я и соглашусь на чтение лекций,— но сейчас у меня нет что-то охоты беседовать с этим легкомысленным народом, одинаково готовым, как неразборчивое животное, пожирать правду и ложь. Как, вероятно, тоскуют великие актеры перед этой благосклонной публикою, которую легче обмануть, чем ворону, и которую никогда нельзя обмануть, потому что вера ее — обман. И минутами, когда мне хочется посмеяться, я представляю себе дьявола, который, со всем великим запасом адской лжи, хитрости и лукавства, явился на землю в тщеславной надежде гениально солгать,— и вдруг оказывается, что там просто-напросто не знают разницы между правдою и ложью, какую знают и в аду, и любая женщина, любой ребенок в невинности глаз своих искусно водит за нос самого маститого артиста!

Но мне не до шуток, как бы ни были они забавны; меня ждет иная, великая, светлая работа, и к ней я тороплюсь, с сожалением покидая моего любезного читателя. Надеюсь, впрочем, завтра же свидеться и рассказать *кое-что новое*.

XII

Двадцать второе октября 19... года, воскресенье

Со странным чувством открыл я эти залежавшиеся листки. До завтра, сказал я моему неведомому читателю, не предполагая, что не одни сутки, а целых три года пройдет до той минуты, когда возобновлю я прерванную беседу. И только из желания всегда доводить до конца то, что я начал, набрасываю я эти последние строки.

Если успел измениться за эти года мой неведомый друг — читатель, то еще в большей степени изменился я в условиях моей новой жизни. С грустной улыбкой, иногда с недоумением, иногда возмущаясь глубоко, проглядел я написанное. Кому это нужно? — разве я не один? А я все искал кого-то, хотел кого-то убедить, мучился сознанием, что мне не верят, и — часто лгал. Да, теперь я могу откровенно сознаться: я очень много лгал в этих бесцельных и наивных записках[1]. Зачем я делал это — разве я не один? И что значат какие-то жалкие правда и ложь в сравнении с тем грозным и великим, что ношу я сейчас в моей одинокой душе. Как жалкий актер, я искал каких-то бессмысленных аплодисментов и кланялся низко праздному зеваке, заплатившему гроши, чтобы увидеть меня,— когда тут же, в темноте кулис, поджидала меня голодная Вечность! Не довольствуясь сознанием, что я невиновен, я все время пытался зачем-то доказать мою чистоту — точно кому-нибудь и действительно нужна моя чистота. Впрочем, не буду распространяться: уже скоро тюремщик погасит свет в моей камере, а возвращаться снова к этим запискам я не хочу.

Вернусь к тому отдаленному времени.

После долгих, теперь не совсем понятных мне колебаний я решил наконец восстановить для себя во всей строгости систему нашей тюрьмы. Для этой цели, найдя на окраине города небольшой дом, отдававшийся в долгосрочную аренду, я нанял его; затем, при любезном содействии г. начальника нашей тюрьмы, всю глубину благодарности к которому я не могу выразить словами, я пригласил на новое место одного из опытнейших тюремщиков, человека еще молодого, но уже закаленного в строгих принципах нашей тюрьмы. Пользуясь его указаниями, а также советами все

---

[1] Особенно неприятен в этом отношении мой рассказ о появлении призрака, в котором больше литературного таланта, чем правды.

того же обязательного г. начальника, нанятые мною рабочие превратили одну из комнат в точное подобие камеры. Как размеры, так и форма и все подробности моего нового и, надеюсь, последнего жилища строго соответствуют плану. Размеры моей камеры 8 на 4; высота 4; стены внизу покрашены серой краской, верх же их, а равно потолок остаются белыми; вверху квадратное окно $1^1/_2$ на $1^1/_2$ с массивной железной решеткой, уже успевшей заржаветь от времени; на двери, запираемой тяжелым и прочным замком, издающим звонкий лязг при каждом повороте ключа, небольшое отверстие для наблюдения, а ниже его форточка, в которую подается и принимается пища. Обстановка камеры: стол, стул и привинченная к стене кровать; на стене Распятие, мой портрет и в черной рамке правила о поведении заключенных, а в углу шкап с книгами. Последний, являясь нарушением строгой гармонии моего жилища, вызван крайней и печальной необходимостью: тюремщик решительно отказался быть моим библиотекарем и выдавать мне книги по списку[1], а нанимать для этой цели особого человека мне показалось излишним чудачеством. И без того при осуществлении плана я встретил сильную оппозицию не только со стороны местного населения, которое попросту объявило меня сумасшедшим, но и со стороны лиц более просвещенных. Даже г. начальник некоторое время безуспешно пытался отговорить меня и только под конец пожал мне

[1] Впрочем, в настоящее время я читаю только Евангелие: как я ни крепок, но жить мне осталось немного, я должен торопиться, и других книг мне некогда читать. Все мои дни и часть ночей, покуда не погаснет свет, провожу я над этою единственной в мире книгою и заставляю ее открыть мне свой истинный, свой сокровенный смысл. С торопливостью, к какой вынуждает меня возраст и неотвратимая близость могилы, я пытаю каждое слово, междустрочие я заселяю иными, несказанными словами и мыслью моею, как железными щипцами, дроблю жесткую скорлупу колючих недомолвок. Но сопротивление, которое оказывает книга, поразительно сильно и временами доводит меня,— мне стыдно в этом сознаться,— почти до неистовства: даже под пыткою слова молчат, и за жесткою скорлупою, разбитою с таким трудом, я нахожу странную и несомненно лживую пустоту. И вновь торопливо ищу я, пронизывая моим испытующим взором дрожащие испуганные страницы,— и я найду то, чего я ищу.

Примечание к примечанию.

Как велико мое рвение, об этом может свидетельствовать тот курьезный факт, что мой честный тюремщик особенно строго и зорко следит за мною именно в то время, когда я читаю. Желая успокоить его, я предложил ему, в свободные от его службы часы, почитать Евангелие; и с наивным суеверным страхом он ответил: «Если это та самая книга, которую читаете и вы, то я еще не хочу иметь такой вид, как у вас: кто станет сторожить вас, когда и я стану таким?»

Так пугает профанов напряженная работа духа.

руку, выразив искреннее сожаление, что не может предоставить мне места в нашей тюрьме.

Не могу без горькой улыбки вспомнить первый день моего заключения: толпа наглых и невежественных зевак с утра до ночи галдела у моего окна, задирая голову кверху (моя камера находится во втором этаже), и осыпала меня бессмысленными ругательствами; были даже попытки — к стыду моих сограждан! — разгромить мое жилище, и один довольно увесистый камень чуть не раздробил мне голову. Только вовремя явившейся полиции удалось предотвратить катастрофу. Когда же по вечерам я выходил на мою прогулку, сотня глупцов, взрослых и детей, провожала меня с гиком и свистом, осыпая бранью, даже бросая в меня грязью. Так, подобно гонимому пророку, бестрепетно совершал я мой путь среди беснующейся толпы, на удары и проклятия отвечая только гордым молчанием.

Что возмутило этих глупцов, чем оскорбил я их пустую голову? Когда я им лгал — они целовали мне руки; когда же во всей строгости и чистоте я восстановил святую правду моей жизни, они разразились проклятиями, они заклеймили меня презрением, забросали грязью. Их возмутило, что я смею жить один и не прошу для себя местечка в общей камере для мошенников. Как трудно быть правдивым в этом мире!

Правда, моя настойчивость и твердость под конец покорила их: с наивностью дикарей, чтущих все непонятное, уже со второго года они начали кланяться мне и кланяются все ниже, потому что все больше их удивление, все глубже страх перед непонятным [1]. И то, что я никогда не отвечаю на их поклоны, внушает им восторг; и то, что я никогда не отвечаю улыбкой на их льстивые улыбки, внушает им твердую уверенность, что в чем-то огромном они виноваты передо мною и что я знаю их вину. Изверившись в словах своих и чужих, они благоговеют перед молчанием моим, как благоговеют они перед всяким молчанием и всякою тайною. И вдруг заговори я,— я снова стану для них человеком и разочарую их горько, что́ бы я ни говорил; в молчании же моем я становлюсь подобен их вечно молчащему Богу [2].

---

[1] Я уверен, что их пугает даже мой вид: уже давно перестал я подстригать мои седые волосы и бороду, и их естественный беспорядок, придающий моей голове сходство с головою короля Лира, потерявшего дочерей, кажется им ужасным. Но мне некогда заниматься пустяками.

[2] Ибо и Богу своему перестают верить эти странные люди, как только заговорит их Бог.

Во всяком случае, их женщины уже считают меня святым; и те кланяющиеся женщины и хворые дети, которых нередко нахожу я у порога моего жилища, с несомненностью ждут от меня пустяка — исцеления и чуда. Что же, пройдет еще год или два, и я стану творить чудеса нисколько не хуже тех, о каких рассказывают они с таким восторгом. Странные люди, порою мне становится их жаль, и я не на шутку начинаю сердиться на дьявола, который так искусно смешал карты в их игре, что только шулер знает правду, свою маленькую шулерскую правду о накрапленных фальшивых дамах и столь же фальшивых королях. Слишком низко кланяются они, однако и это мешает развиться чувству жалости, а то — улыбнись на мою шутку, благосклонный читатель! — я и вправду не удержался бы от соблазна сотворить два-три небольших, но эффектных чуда.

Вернусь к дальнейшему описанию моей тюрьмы.

Устроив окончательно мою камеру, я поставил тюремщику альтернативу: или он будет во всей строгости соблюдать по отношению ко мне все правила тюремного режима и тогда по духовному завещанию получит все мое состояние; или же — не получит ничего. Казалось бы, при такой ясной постановке вопроса я уже не встречу затруднений, но при первом же случае, когда за нарушение какого-то правила меня следовало посадить в карцер, этот наивный и робкий человек наотрез отказался исполнить это; и только угрозою немедленно пригласить на его место другого, более добросовестного тюремщика я принудил его выполнить свою обязанность. Равным образом, весьма исправно запирая двери, он первое время решительно пренебрегал своей обязанностью наблюдать за мною в глазок; и если я, в целях испытания его твердости, предлагал ему, в ущерб здравому смыслу, изменить какое-нибудь правило, он охотно и быстро соглашался на это. И однажды, уличив его таким образом, я сказал ему:

— Мой друг, ты попросту глуп. Ведь если ты не будешь наблюдать за мною и как следует стеречь, то я убегу в другую тюрьму и унесу с собою завещание. Что будешь делать ты тогда?

Счастлив сообщить, что в настоящее время все эти недоразумения уладились, и если я могу на что-нибудь пожаловаться, то скорей на излишнюю строгость, чем на снисходительность: совершенно войдя в свое положение тюремщика, этот честный человек уже не для корысти, а во имя принципа обращается со мной с крайней суровостью. Так, в начале этой недели он решил меня посадить на сутки

в карцер за провинность, которой, как мне казалось, я не совершал; и, протестуя против кажущейся несправедливости, я имел непростительную слабость сказать ему:

— В конце концов я возьму и прогоню тебя. Не забывай, что ты служишь у меня.

— А пока ты меня прогонишь, я все-таки тебя засажу,— с честною грубостью ответил мне этот достойный человек.

— А как же деньги? — удивленно возразил я.— Ты же лишишься их?

— А разве мне нужны твои деньги? Я отдал бы все свои деньги, чтобы не быть тем, что я есть. Но что же я могу поделать, если ты действительно нарушил правило и я должен отвести тебя в карцер?

Я не в силах передать того радостного волнения, которое охватило меня при мысли, что и в эту темную голову вошло наконец сознание долга, и что теперь если бы даже я пожелал, поддавшись слабости, уйти из моей тюрьмы — мой добросовестный тюремщик не допустит меня до этого. Решительный огонь, сверкающий в его круглых глазах, ясно показал мне, что всюду, куда бы я ни убежал, он найдет меня и приведет обратно; и что револьвер, который прежде он так часто забывал положить в кобуру, а ныне чистит ежедневно, действительно сослужит свою службу, вздумай я бежать. И впервые за эти года я с счастливой улыбкой заснул на каменном полу темного карцера, в сознании, что план мой увенчался полным успехом, перейдя из области почти что чудачества в область грозной и суровой действительности; и тот страх, который, засыпая, почувствовал я к моему тюремщику, к его решительным глазам, к его револьверу, робкое желание услышать его похвалу и вызвать, быть может, даже улыбку на его неподкупных устах — отдались в моей душе гармоничным звоном извечных и последних кандалов.

Так доживаю я мои последние годы. По-прежнему крепко мое здоровье и светел свободный дух. Пусть одни назовут меня безумцем и в жалком ослеплении посмеются надо мною; пусть другие признают меня святым и будут ждать от меня чудес; пусть праведник для одних, для других я лжец и обманщик — я сам знаю, кто я, и не прошу о понимании. И если найдутся люди, которые упрекнут меня в лживости, в неблагородстве, даже в отсутствии простой чести,—*ведь до сих пор есть негодяи, уверенные, что я совершил убийство,*— то ничей язык не повернется, я уверен, чтобы обвинить меня в трусости, в том, что до конца я не

сумел выполнить свой тяжелый долг. С начала до конца оставался я сильным и неподкупным; и страшилище, изувер, темный ужас для одних, в других, быть может, я пробужу героическую мечту о безграничной мощи человека.

Уже давно прекратил я прием посетителей, и со смертью г. начальника нашей тюрьмы [1], единственного неизменного друга, которого изредка я посещал, у меня порвалась последняя связь с этим миром. Только я да мой свирепый тюремщик, с безумной подозрительностью выслеживающий каждое мое движение, да черная решетка, схватившая в свои железные объятия бесконечное, как намордник, закрывшая его зловещую пасть,— вот и вся моя жизнь. Молчаливо принимая низкие поклоны, в холодном отдалении от людей, прохожу я мой последний путь. И все чаще я думаю о смерти, но и перед нею не склоняю я моего бестрепетного взора: сулит ли она мне вечный покой или новую неведомую и страшную борьбу — я покорно готов принять и то и другое.

Прощай, мой дорогой читатель! Смутным призраком мелькнул ты перед моими глазами и ушел, оставив меня одного перед лицом жизни и смерти. Не сердись, что порою я обманывал тебя и кое-где лгал: ведь и ты на моем месте солгал бы, пожалуй. Все же я искренно любил тебя и искренно желал твоей любви: и мысль о твоем сочувствии была для меня немалою поддержкою в тяжелые минуты и дни. Шлю тебе мое последнее прощанье и *искренний совет*: забудь о моем существовании, как я отныне и навсегда забываю о твоем.

Часы моих прогулок, установленные мною с начала заключения, приноровлены к вечернему времени, которое я так люблю за его мирную тишину угасания. Не имея защищенного дворика, я невольно должен был отступить от строгих правил и совершать прогулку «на свободе». Впрочем, мой строгий друг тюремщик поговаривает, что это надо прекратить, что для него становятся слишком тяжелыми те беспокойные три четверти часа, которые провожу я вне его надзора. И недавно на нашем дворе появился какой-то загадочный кирпич: кажется, *он* хочет обнести мою тюрьму каменной стеною. Вообще *он* становится все

---

[1] Продолжительная и тяжелая болезнь почек подкосила наконец этот могучий организм, и г. начальник тихо опочил под рукою безжалостной смерти. Горе его осиротевшей семьи не поддается описанию.

строже. До сих пор я ходил гулять один, но со вчерашнего дня нас выходит и возвращается двое: впереди иду я, а сзади, в двух шагах, не сводя с меня глаз, идет *он*.

Обычный путь для прогулки таков: я дохожу до нашей тюрьмы, находящейся в четверти версты от моей, несколько минут провожу в созерцании ее и затем, поспешно, дабы не опоздать, возвращаюсь к себе.

Пустынное поле, поросшее бурьяном, лишенное всякого эха, глухим ковром подходит к самой ограде нашей тюрьмы, величавые очертания которой покоряют мое воображение и мою мысль. Когда озаряет ее прощальными лучами, угасая, дневное светило и, вся в красном, как царица, как мученица, с темными язвами своих решетчатых окон, она молчаливо и гордо поднимается над равниной,—я с тоскою, как влюбленный, шлю ей мои жалобы и вздохи и нежные укоризны и клятвы ей, моей любви, моей мечте, моей горькой и последней муке. Навеки остаться у ее ног хотел бы я, но вот оглядываюсь я назад — черный, в огненной рамке заката, неподвижно стоит *он* и ждет. И, вздохнув, молча иду я обратно, и за мною в двух шагах бесшумно движется *он* и сторожит каждое движение мое.

При закате солнца наша тюрьма прекрасна.

13 сентября 1908 г.

СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

РАССКАЗ

I

В одном великорусском небогатом селе жил старенький шестидесятилетний поп, по имени отец Иван Богоявленский. О том, как началась его жизнь, о годах его детства и юности не мог бы рассказать никто: сам он за давностью лет все перезабыл, а жена и дети, родственники и знакомые просто ничего не знали. И выходило так, будто у его жизни совсем не было начала — как не будет, вероятно, и конца. На коридор была похожа его жизнь, на длинный коридор, в котором множество глухих дверей: впереди открывается, а сзади захлопывается что-то и хоронит в тишине.

И чем дольше жил о. Иван, тем больше отдалялся он от людей и даже от самого себя. Когда-то ему казалось, что его знают все люди, весь мир знает его, и даже сам Бог внимательно следит за ним треугольником Своих очей; но вот прошло время, и его перестали знать,— в лесу все деревья похожи одно на другое. Главною же причиною было то, что все поступки его были не те, какие надо, и все слова его были не те, какие надо; но об этом никто догадаться не мог, а сам он, если и являлось желание, так все же рассказать не умел: не было слов, какие нужны для такого странного и страшного рассказа. По виду был он низенький, сухой старичок, с реденькой, ощипанной злой бороденкой и темным, присохшим к костяку лицом; вглядевшись пристальнее в его нос, можно было заметить даже ту границу, где впоследствии образуется провал и исчезнет призрачное. Характер же у попа Ивана был скверный; часто злился поп Иван, ехидничал, при игре в карты заглядывал к соседям и вообще мошенничал, а детей в церковной школе драл за уши с жестокосердием.

И уже давно он начал проявлять некоторые странности. Так, лет за десять перед этим, когда его старший сын уже сам сделался священником, о. Иван вдруг пожелал переменить фамилию. Пятьдесят лет был Богоявленским, и отца имел Богоявленского и деда Богоявленского, и уже внуки от него пошли Богоявленские, а тут вдруг пожелал перелицеваться и выскочить из цепи, странным образом разорвав ее и концы оставивши в воздухе. Писал прошения, хлопотал, ездил в город и давал в консистории взятки, но ничего не добился, так как не мог представить уважительных причин.

— Какой же я Богоявленский? — говорил он, раздраженно пощипывая бородку, но более обстоятельного объяснения представить не умел. И прошения свои писал он так:

«Нося от отца моего, как бы в дар, наравне с прочим наследственным имуществом, фамилию Богоявленского и не будучи по существу таковым, свидетельствуюсь перед Вашим Высокопреосвященством о моем непременном желании заменить сей неподходящий знак более вразумительным и к существу моему ближайшее отношение имеющим; при выборе же оного и не имея собственной мудрости полагаюсь на мудрость выше меня стоящих». И подпись следовала такая: «протоиерей Иван без фамилии».

В последних словах прошения было больше ехидства, нежели истинной скромности: уже заранее в потаеннейших мечтах своих он дерзко решил отказаться от всякой предложенной ему фамилии и просить для себя номер — пятизначное число, последняя цифра которого должна быть 9. И число он уже знал, но открыть его хотел только в конце.

Но до этого дело не дошло. Начальство посмотрело на просьбу хмуро, как на вредное чудачество, да и дети, особенно старший, Николай, были против перемены фамилии; и так и остался о. Иван — Богоявленским. Первое время он раза два рискнул подписаться в служебных бумагах: «протоиерей Иван Богоявленский по принуждению». Но, получив строгий выговор, отказался от дерзости.

Затем, уже совсем недавно, он выписал из столицы граммофон, хотя был скуп и никаких удовольствий, даже хорошего стола для себя, не допускал. Но духовных песен взять не пожелал, а потребовал от магазина светской музыки, какую играют на балах. Ему прислали мазурки, падекатры, лезгинку и даже гопака, и он слушал все это в одиночестве,— постороннего присутствия не любил. Потом выписал рассказы из еврейского и армянского быта; и часто ночью, когда попадья уже спала, в соседней маленькой

комнатке, пугая, вдруг раздавался незнакомый гнусавый, страшно торопливый голос, точно катившийся по железу и временами путавшийся в своих собственных звуках. Нельзя было понять, о чем он говорит; и когда он начинал смеяться коротко и деловито, но с удивительной развязностью — попадья крестилась, поп же маленькими шажками прохаживался по комнате и многозначительно поглядывал в темные оконца, за которыми нерушимо и злобно лежала тяжелая осенняя деревенская ночь.

От этого граммофона сошел с ума щенок, которого о. Иван, толкаемый злым любопытством, пожелал насильственно приучить к музыке и рассказам из еврейского быта. Сперва щенок довольно бодро лаял на граммофон и как-то особенно, по-собачьи, становился на цыпочки, чтобы заглянуть в трубу, но вскоре стал визжать, трясся от страха и недоумения и прятался под стулья и диван, застревая в узких местах, так как был толстенький. Но о. Иван, злясь, вытаскивал его за ворот мягкой, как бы на рост сделанной шубы и заставлял слушать незнакомый, торопливый голос, катящийся по железу. Случалось, что щенок начинал кружиться очумело: припадал на передние лапки, особенно на левую, и, стукаясь об пол большой, тяжелой головой, двигался по неправильным, полным ужаса кругам,— тут поп Иван делал ему передышку; но по прошествии времени снова заводил машину.

Делал он это настойчиво и безжалостно, и щенок таки не выдержал: сошел с ума. Он с недоверием и подозрительностью относился к каждому предмету, стоявшему молча. При всяком же голосе, звуке или песне приходил в состояние крайней тревоги и, фыркая, разыскивал голос не в человеке, а позади его. Потом начинал выть от ужаса и прятался в лопухах. По-видимому, у него являлось временами желание разобраться в страшной путанице жизни или умилостивить ее покорностью: он вилял хвостом перед граммофоном и делал вид, что любит его,— но при первых же звуках громкого зловещего шипения, предвещавшего наступление таинственного голоса, не выдерживал и бежал в лопухи. О. Ивана щенок боялся, как злого духа, начальника всех адских сил; и расти щенок перестал. Весной во время разлива щенок утонул в реке: очень возможно, что он покончил самоубийством, отчаявшись найти правду жизни.

К гибели щенка все отнеслись равнодушно: в своем страхе и жалких виляниях хвостом он не был даже забавен и наводил скуку. Но о. Иван очень жалел, что щенок умер, не пройдя всего предназначенного ему пути: у о. Ивана был

план, скорее мечта — свезти щенка в город и показать ему живую, движущуюся фотографию. Даже до бессонницы доходил маленький поп, яростно мечтая, как бы все это произошло: как бы ничего не подозревая, щенок смотрел на белую, светящуюся стену, и что́ бы он выразил на своем собачьем лице, когда по стене молча — совершенно молча — забегали бы люди и собаки. Да, жаль, что умер.

II

Со вторым и с третьим щенком дело не пошло: повыли немного и стали равнодушны — по-видимому, не все собаки так чувствительны к граммофону, как был покойный. И особенно плох оказался второй из пробных щенков — кудлатый песик с желтыми, как янтарь, глазами: в самых сильных местах он задирал заднюю лапу и яростно, но по-детски промахиваясь, чесал себе за ухом.

И такое чувство было у о. Ивана, будто разбил он единственное зеркало и не во что ему теперь поглядеться.

III

Еврейским погромам о. Иван очень радовался.

— Жидов надо бить,— говорил он коротко, с колючей сухой злостью, и делал ударение на слове «надо».

Но и тут подтвердить доказательствами своего мнения он не мог или не хотел,— его трудно было разобрать. Из граммофонного магазина он выписал, на этот случай, еврейскую музыку, и ему прислали какого-то знаменитого кантора, певшего с хором. Сперва о. Иван слушал его, по своему обыкновению, в одиночестве, ночью, но потом, как-то в праздник, устроил у себя большой съезд, пригласил соседнее духовенство и родственников и торжественно преподнес им кантора. Хотя в это время мода на граммофоны распространилась широко и почти у каждого состоятельного иерея имелся свой инструмент, но такой музыки не было ни у кого, и слушали со вниманием и смехом. Была одна такая песня, кажется, погребальная, в которой невидимый певец захлебывался скорбью — не плакал и не пел он, а кричал истово и безумно, как путник в лесу под ножом разбойника.

— Ай да жид! Как его разбирает,— говорили с восторгом слушатели, плохо понимая, в чем дело.

Отец же Иван, пощипывая бородку и закрыв глазки, вслушивался бескровным ухом в отчаянные вопли и раз-

мышлял о том, есть ли у граммофона душа, или же одни только звуки. Но, во всяком случае, это было не то, что надо. Посмотрел испытующе на слушателей: кои бессмысленно гогочут, кои равнодушны и дремлют; косматый, хмельной о. Эразм Гуманистов закрыл глаза и сопит — вот-вот, кажется, поднимет ногу в тяжелом окованном сапоге и почешет себя за ухом. Не то. И разве только чахоточный дьякон — один-единственный среди собравшихся — обнаруживал признаки желаемого волнения.

— Ах, Боже ты мой, и где у него этот голос сидит? — с тревогою вопрошал дьякон и протягивал к машине указательный согнутый палец, но коснуться не смел.— То он тебе жид, то он тебе баба... А под собаку он может? Может. Нет, отцы, я бы этот граммофон истребил: уж очень он совесть тревожит. Подлец его выдумал, вот что я вам скажу, отцы.

Отцы посмеялись над невежеством дьякона, но потом серьезно заспорили, был ли изобретатель подлец или хороший человек. Но решить вопроса не могли; и всех смутило предложение попа Ивана — за неимением певчих поставить на клиросе граммофон с надлежащим духовным песнопением.

— Это идея! — сказал недавно окончивший семинарист, сын о. Сергия Знаменского.

Но сам о. Сергий раздумчиво покачал лысой головой и усомнился.

— Так-то оно так, но вот в рассуждении баб. Бабы не выдержат.

— Но а что такое бабы? — горячился семинарист.— Как можно в таком важном вопросе...

— Нет, не вынесут этого бабы,— настаивал о. Сергий.— Скандал будет. Нехорошо.

— Можно приучить,— отозвался о. Иван.— Эка, бабы!

— И что вы говорите, отцы? — беспокойно совался дьякон и таращил большие, немигающие, застывшие глаза.— Тогда и вместо вас, отец Иван, можно граммофон поставить.

— Можно,— согласился о. Иван.— Отчего же нельзя.

— И вместо меня тоже граммофон? — волновался дьякон.

— И вместо тебя граммофон.— Поп Иван начал злиться.— Эка, подумаешь, птица какая: вместо всех граммофон можно, а вместо него нельзя. Еще лучше будет. И голос чище, и не соврет, как ты. Тоже, артист!

Дьякон оскорбился и даже загрустил. Но при расстава-

нии поп Иван ласково потрепал его по плечу и отвел к сторонке.

— Ты не сердись, дьякон, я пошутил. Я тебя, отец дьякон, люблю.

— Ну, уж какая это любовь,— горько усмехнулся чахоточный дьякон.

— Верно. Ты вот что, ты приходи-ка вечерком, вместе будем граммофон слушать.

— Нет, уж увольте, отец Иван,— выставил дьякон обе ладони.— За ласку благодарю, а что касается граммофона, то я еще совести не потерял.

— Вот дурак-то — я тебе веселую поставлю.

— Нет, уж увольте. Мне душа дороже вашего веселья.

О. Иван обозлился, и бороденка у него затряслась.

— Скажи пожалуйста... А еще есть ли у тебя душа-то, ты бы подумал. Может, пар.

— После такого возражения...— солидно начал дьякон, но поп у самых ног его плюнул на пол и зашаркал по плевку мягкой туфлей.

— Тьфу — вот твоя душа! Я, может, его больше вас всех уважаю.

— Его?

— Его.

— Граммофон?

— Граммофон.

Расстались в ссоре. Но дьякон был добрый и деликатный человек, и уже скоро его стала грызть совесть, что он обидел старика. Не выдержал и дня через три после гостей утречком пошел к о. Ивану извиняться.

Стояла поздняя весна, и на солнце было жарковато, но чисто и приятно; а в домике у попа было душно, неряшливо и крепко пахло чем-то плохим. Уже два месяца у попа Ивана гостила замужняя дочь с грудным ребенком, и по всему дому стоял острый запах детских пеленок, которые она, не прополаскивая, сушила перед всеми печками. И похоже было на то, что со времени гостей ни комнат не убирали, ни полов не подметали.

— Чего надо? — спросил о. Иван.

— Да чтó, отец Иван: вы уж меня простите, не понял я вашей шутки,— покаялся дьякон.

— Садись.

Дьякон сел и со страхом покосился на никелированную трубу граммофона; вздохнул и перевел глаза на мокрые пеленки, развешанные на веревочке у белой кафельной печки.

— Вы уж простите, отец Иван.

— Бог простит.

Поднял кверху седенькую злую бороденку, крепко сжал сухие старческие губы — смотрит в потолок, поигрывает пальцами и молчит. «Э, да никак он нынче и не умывался»,— подумал дьякон, и вдруг ему показалось, что в комнате запахло псиной, будто под диваном собака. Дьякон завозился на стуле и с надеждою взглянул на окно, где воля,— оказалось, что и зимние рамы еще не вынуты, и грязная вата с разбросанными по ней язычками красной и синей фланели лежит так тошно, будто от нее вся эта духота и жар. И еще явственнее запахло псиною.

— Вот и граммофон стоит,— развязно, в отчаянии, начал дьякон.— Какая удивительная вещь! Конечно, для высоких умов, которые ежели не останавливаются перед естеством и входят в рассуждение предметов... Но почему же,— вдруг возопил дьякон,— но почему же сдох щенок? Вы мне это объясните, отец Иван, потому что, говоря по чистой совести, как перед истинным Богом, я с вашей манерой не согласен.

Поп молчал и глядел в потолок на обуглившийся закоптелый кружок от лампы. И одет был поп не в одноцветный подрясник, а в какой-то цветной полосатый халат — поп не поп, татарин не татарин.

— Вразумите, отец Иван,— беспомощно настаивал чахоточный дьякон.

Но поп упрямо и зло молчал; только раз быстро взглянул на граммофон. За перегородкой громко заплакал младенец.

Дьякон горько усмехнулся:

— А под невинного младенца он тоже может?

— Может.

— Хм! — хмыкнул дьякон.— А ежели силы не хватит?

— Хватит.— О. Иван вдруг остро взглянул подслеповатыми глазками на дьякона и как будто усмехнулся.

— Но позвольте вам заметить, отец Иван, что у крещеного младенца душа невинна.

— Анна! — крикнул поп за перегородку.

Вошла высокая худая женщина с бесцветным, серым лицом и ошалелыми глазами; на руках у нее, широко разевая беззубый рот, заливался плачем младенец, сморщенный, красный, как старуха из бани.

— Живот болит? — коротко спросил о. Иван.

— Должно быть, живот: кто его разберет. Нынче всю ночь криком кричал.

— Садись.

Женщина покорно села, а о. Иван вдруг быстро подошел к трубе и начал делать что-то страшное. Зашипело. Дьякон привстал и слегка побледнел:

— Но позвольте, отец Иван...

Вдруг тот самый несчастный жид, которого резали на большой дороге, завопил истошным голосом прямо в нос, глаза и уши, так что у дьякона задрожали мозги. Младенец крикнул еще раз и замолк; а о. Иван немного брезгливо взял его из рук дочери и ближе поднес к трубе,— дьякон даже всплеснул руками. И от веселого ли блеска трубы, или от громкого голоса — младенцу вдруг стало весело, и он засмеялся. Засмеялся и поп коротким, злым, шамкающим смешком; и все это было так страшно: дикие вопли человека, которого режут, и беззубый, зловеще-веселый смех младенца и старика, что дьякон поднялся и, не прощаясь, ушел. И никто не вышел его провожать, и пока он одевал верхнее платье, точно спьяна теряя широкие рукава, за стеной кричал, надрываясь, несчастный жид. Бесшумной тенью выглянула из другой двери попадья и, словно не заметив дьякона или не узнав его, так же быстро и бесшумно скрылась назад.

Только в полверсте, на высоком берегу спадавшей после разлива реки, дьякон опамятовался: вспомнил, что у него чахотка и что нельзя распахивать грудь, когда ветер сырой, от воды; удивился, зачем он сюда попал — домишко его был рядом с поповским. И впервые в чем-то сильно и больно усомнился чахоточный, добрый и деликатный дьякон.

IV

Когда вышел указ о веротерпимости, о том, что каждый человек, недовольный своей верою, может переменить ее на другую, хворый дьякон затосковал и даже попробовал, как во времена здоровой юности, удариться в запой. Но ничего из этого не вышло: не было кружащего голову хмеля, а только кашель, только тупой, тяжелый, бестолковый угар. Однако пригласили о. Ивана, чтобы он усовестил пьяницу и отнял у него бутылку с водкой.

— Ты что это вздумал, а? — строго сказал поп Иван, отбирая бутылку.— Ишь, на донышке только осталось.

Дьякон уставил на него худое лицо, покрытое зловещей матовой бледностью, и безуспешно пытался попасть своим прыгающим взглядом в поповские маленькие зрачки — черные булавочные головки среди небольшого, круглого,

зеленоватого болотца. Усмехнулся обидно — иронически и горько и дерзко возразил:

— А п-почему? — и вдруг глупо засмеялся: — Пойдем, батька, граммофон слушать.

— Ну и дурак!

— Нет, не дурак, а очень даже умный человек. Заводи машину.

Дьякон заплакал и вдруг ударил кулаком по столу.

— Заводи машину, а то расшибу! Я теперь на все пошел. Прикажете мать зарезать? — сделайте милость, сейчас зарежу. Мамаша! Пожалуйте сюда!

Но никто дьякона не боялся и веры его страшным словам не давал; поорал дьякон еще немного и заснул на полу, около кровати,— на кровати, в согласии со своим теперешним настроением, лечь не пожелал. И в этом никто ему не стал мешать; и только мамаша, старая убогая псаломщица, молчаливо принесла свою подушку и подложила под лохматую, бледную, пьяную голову. И она же в сенях поблагодарила о. Ивана — как-то боком, бесшумно схватила его сухую руку и не то поцеловала, не то так что-то благодарное сделала с нею. Старик ее не заметил, потому что и сам с обнародования указа находился в состоянии глубочайшей задумчивости и был рассеян.

И вот тут-то сказалась необыкновенная натура о. Ивана Богоявленского: прошло время, и все успокоились, и дьякон перестал пить, и об указе позабыли, как будто его не было никогда,— и только о. Иван что-то упорно соображал и выискивал. Вдруг снова послал не прошение, а дерзкое и заносчивое письмо с требованием об отмене фамилии. Вдруг совсем забросил граммофон и сперва велел вынести его на сеновал, а потом подарил его дочери, которая уезжала с ребенком восвояси. Вдруг ударился в хозяйство, но и то как-то странно: вздумал скрестить хряка с яркой, горделиво мечтая, что от этого противоестественного союза произойдет новая удивительная порода. А когда, кроме соблазна для всей деревни, ничего из этой затеи не вышло, в гневе приказал зарезать неповинного хряка — молодого, тощего, длинноногого мечтателя об иных краях и доле иной. И наконец зачем-то сам перед маленьким зеркальцем подстриг себе усы, так что обнажились сухие пергаментные губы; и было что-то наивное, немного ребячье, немного стыдливое, когда вышло на свет далеко и, казалось, навсегда запрятанное тело. Этот случай вновь жестоко смутил чахоточного дьякона; и хотя в мудрость о. Сергия Знаменского

он не верил, и ехать было далеко, верст тридцать, все же отправился к нему с жалобой и за советами.

— Что же это такое! — жаловался дьякон.— Он же теперь и обриться может. Возьмет у писаря бритву да и обреется до голого тела — тогда что, а?

О. Сергий предался размышлению, но ничего придумать не мог.

— Нет, бриться не станет,— решил он больше для успокоения мятущейся души дьякона.— Как это можно!

— А вдруг обреется?

— Нет,— замотал головою о. Сергий.— Как это можно. Конечно, не обреется.

— Как вы это легко говорите, отец Сергий,— огорчился дьякон,— не обреется! Будь бы он спроста, тогда и говорить бы не стоило, я и сам, как помоложе был, усы себе ножницами подравнивал. Он с умыслом.

— С каким?

— А с таким,— многозначительно, но как бы равнодушно ответил дьякон.— Вот поживете, так сами увидите.

Лысина о. Сергия взмокла от волнения:

— Не смеет. На то канон есть.

— Нашли чем испугать! Очень ему нужен ваш канон. Раз человек на такое посягнул...

— На что «такое»? Ты, дьякон, говори толком, а не пугай,— не на трусливого напал.

Но дьякон и сам путем не знал, на что, воистину страшное и кощунственное, посягал поп Иван. И уклончиво, но не теряя достоинства, ответил:

— Я что ж? Я сам как бы жертва. А вот поживете, тогда слова мои вспомните.

Задумались.

— Намедни,— задумчиво сказал о. Сергий,— намедни наш староста, Василий Иваныч, политического преступника поймал. Хвать его за бороду, а борода-то в руке и осталась, а вместо бороды-то начисто голое лицо, как у свиньи под Рождество. Вот оно.

Дьякон побледнел.

— Так: брал одно, а оказалось и совсем другое. А вы говорите — не посмеет! Да я и за свою бороду, если хотите по совести знать, пятиалтынного не дам, а не то что за попову. Раз на такое пошло, так и я могу у писаря бритву взять, мне не жалко.

— Да ты-то что? — рассердился о. Сергий.— Он-то хоть знает, зачем усы стрижет, а ты-то чего взбаламутился? Ведь не тебя стригут.

— Как вы это легко говорите, отец Сергий,— опять огорчился дьякон.

Но понемногу успокоился и даже как будто поверил, что не посмеет обриться поп Иван. Притворился спокойным и о. Сергий, но тяжкое сомнение осталось у обоих. И как ни совестно было дьякону, а время от времени под приличными предлогами забегал к попу, чтобы взглянуть на его бороду. Но все было в порядке, и о. Иван был тих и, насколько умел, обходителен; и наконец в доме не было граммофона — это уже совсем успокаивало дьякона и располагало его к душевной беседе.

— Помните, отец Иван, как я пьян-то был, а? — блаженно изливался он.— Вот дурак-то был. Спасибо, что вразумили — сдох бы я, либо в реку бы бросился, как ваш щенок.

— А теперь умный стал?

— Теперь я умный,— дьякон самодовольно вытаращил на попа свои застывшие, немигающие глаза,— теперь я очень умный. Нет, думаю, какая же это вера, когда ее менять можно — что же это такое, граммофон, что ли!

— Ну, ну, ты граммофон оставь,— сердито сказал о. Иван,— тоже выдумал с пьяных глаз.

— Ей-богу, граммофон,— настаивал дьякон.— То тебе жид, то тебе, как это сказать, католик, а то тебе...— дьякон захохотал,— мухаметанин! Ей-Богу!

Бороденка о. Ивана злобно затряслась:

— Ну и дурак!

— Конечно, дурак,— гоготал дьякон.— Как это по-ихнему: алла-балла... Соблазн! Нет, вы подумайте, отец Иван, до какого затмения дошел человек: я ведь по пьяному делу, со злости, конечно, ну и от водки тоже, веру переменить хотел. Ей-Богу. Мне теперь, думаю, все разрешено, и есть я не кто иной, как азиат. Я бы тогда, отец Иван, человека мог зарезать — чтó такое человек, а? Режу же я курицу или, скажем, поросенка — вот какие каторжные мысли,— вспомнить страшно.

— Умный ты, я вижу, человек,— сказал о. Иван невинно.— Такой умный, такой умный...

— Это я теперь,— сознался дьякон,— а прежде дурак был.

— То-то я и смотрю: и откуда такая красота? И откуда такой ум? Или это тебя мать таким родила, или ты с крыши головой брякнулся — понять не могу.

Дьякон немного забеспокоился от ласкового голоса о. Ивана.

— Мамаша у меня женщина слабая,— нерешительно сказал он.

— То-то я и говорю: не иначе как с крыши брякнулся. Тебе бы, дьякон, первым министром быть, или страны какие завоевывать: взял рубель и скалку и пошел чесать... Мазепа!

Дьякон окончательно удивился и почувствовал приближение обиды:

— Это кто ж Мазепа? Я?

— Ты.

— Мазепа?

— И Мазепа и дурак. И ни в какую веру тебя не примут, если б и просился. Таких, скажут, дураков у нас и своих много, подавай следующего.

— Это кого же следующего? Уж не вас ли, отец Иван? — бессильно съязвил дьякон.

— Что ж, может, и меня,— равнодушно ответил поп и уставился бороденкой кверху.

— После такого возражения,— солидно начал дьякон, вставая, но вдруг весь отчаянно заметался.— Нет, это что же такое, какой же теперь я могу иметь смысл? Щенок я вам что ли? Мне ваших булок с сахаром не надо, а вы мне скажите, как есть я человек мятежный: какой во мне смысл?

— Никакого.

— Нет, врете, отец Иван,— почти плакал дьякон,— смысл во мне есть, только его оформить надо. Вы мне голову не замолачивайте, а скажите уж прямо...— Дьякон нагнулся к о. Ивану и злобно, насколько мог, зашептал: — Усы-то, усы-то вы в каком отношении обстригли, а? И эта манера, а? И это тоже как будто ничего, а? В монастырь вас надо на послушание, вот что!

— В монастырь?

— Да, в монастырь.

— А это видел? — ответил о. Иван неприлично.

И опять дьякон ушел не попрощавшись и даже без шляпы; и только к вечеру, спохватившись, прислал за шляпой старуху-мать, но строго наказал ей ни поклонов, ни иного привета попу не передавать.

А через три дня разразилась катастрофа: о. Иван послал в синод заявление, что, по требованию совести своей и на основании указа, он желает перейти в магометанство.

V

Отовсюду съехались увещеватели и заселили тесный поповский домишко.

Приехал о. Сергий со своим дьяконом Агафангелом, но

без жены — женщин на такое дело брать не годилось; поджидали с часу на час о. Эразма Гуманистова, школьного товарища попа Ивана, огромного старого пьяницу с львиными волосами и сизым носом. Появилась откуда-то засушенная старенькая попадья, словно для гостей ее вынули из зимней кладовки вместе с другими припасами, поила и кормила и ничего не понимала, но настроение имела тревожное. Особенно пугало ее то, что должны совершенно необычно приехать оба сына: старший — городской священник, и младший — семинарист Сашка. И целый день, не сходя со стола, бурлил самовар, и около него шептались и суетились люди, торопливо глотали чай и вздыхали, поглядывая на перегородку, точно за нею стоял покойник. А за перегородкою, прислушиваясь к тому, что̀ делалось в этой комнате, и даже припадая изредка бескровным ухом к тоненькой двери, бесшумно похаживал неприступный о. Иван и пощипывал бороденку злобно, но неторопливо: торопиться было некуда.

Не выходил из поповского дома и чахоточный дьякон: он окончательно потерял всякое соображение и только безнадежно взывал. Попробовали с самого начала послать его к о. Ивану разведчиком, но ничего из этого не вышло: о. Иван с первых же слов выгнал его и даже на пороге ударил дьякона в спину сухоньким костлявым кулаком. Это все видели, и дьякону, помимо всего прочего, было нестерпимо совестно; он подергивал плечами, как будто его кусало между лопаток, и иронически ухмылялся.

Изредка кто-нибудь подходил к двери и осторожно стучал:

— Не хотите ли стакан чайку, отец Иван?

Нерешительное молчание и потом ответ:

— Давай.

В узенькую щель просовывалась сухая старческая рука, в самих пальцах которой чувствовалась злая готовность ко всяческому бою. Но всех радовал ответ о. Ивана, как будто ожил покойник или запросил пищи тяжело больной; и нежно предлагали:

— Бараночек не хотите ли, отец Иван? Хорошие баранки.

— Нет.

— А войти можно? Мне бы, собственно, только на минутку,— умильно улыбался в стену о. Сергий.

— Нет. Незачем.

И только на второй день, очевидно, соскучившись без

противников, поп разрешил о. Сергию войти. И, когда о. Сергий слегка боком втиснулся в приоткрытую дверь, дьякон даже скрипнул зубами от волнения.

— Здравствуйте, отец Иван.

— Здравствуйте, отец Сергий.

И больше ничего. Помолчали. Еще помолчали; за стеной, у самой двери кто-то густо в землю сопел — видимо, подслушивал. Это приободрило о. Сергия.

— А что, слыхали ль, отец Иван,— начал он весело и совсем издалека,— только не знаю я, правда это или нет, будто есть в Америке такие, которые называемые мурмоны или гурмоны...

— Не знаю.

— Как же, как же, есть! Мне соборный протодьякон рассказывал. И будто у них, не знаю только, правда это или нет,— заговорщически склонился он к самому лицу о. Ивана,— существует такое отчетливое понятие о таинстве святого брака, по которому можно иметь жен... даже до сотни. И вот думаю я...

О. Иван сострадально покачал головой.

— Ну и глуп же ты, отец Сергий. Учили тебя, учили, а хуже ты всякого мужика. Мурмоны! Сам ты мурмон!

— Но по закону Магометову...

— Молчи уж — ты и своего-то закона не знаешь. А тоже — по закону Магометову!..

— Да ведь он нехристь, Магомет.

— А ты кто? Тоже нехристь. Только он откровенно все объясняет, а ты — плутуешь.

— Зарапортовались, отец Иван,— сухо отозвался обиженный поп.

— Ты что делаешь, когда солнце восходит? Храпишь, слюни носом пускаешь, а? А он тебе, как солнышко восходит, буря ли, непогодь ли — лезет на колокольню и самым громким голосом кричит: спать спите, а Бога не забывайте — новый день занялся. Это как по-твоему?

— Ничего особенного. А что касается сна, так при ихнем многоженстве...

— Ты понимаешь ли, чтó такое сон? Ничего ты, лысый, не понимаешь. А он в это понятие вник до самого существа. Спать, говорит, спите, проклятые, а Бога не забывайте! Что же касается жен,— о. Иван высокомерно взглянул на собеседника,— то жены нужны для потомства.

— А по-моему, это блуд, неистовство плоти.

— С тобой разговаривать,— рассердился о. Иван.— Ты это пойми: плохой тот хозяин, который семя держит в меш-

ке, а не рассевает его по полю. Это, брат, не я, это Магомет сказал.

О. Иван сочинил слова Магомета, но не заметил этого и победоносно задрал бороденку кверху.

— Покайтесь, отец Иван,— попросил о. Сергий.— Возьмите ваше слово назад. Подумайте: шестьдесят лет жили честно, благородно, сколько детей накрестили, сколько покойничков схоронили, внуки у вас есть, каково внукам-то; а жена-то ваша? Ведь если ей сказать про ваши планы...

В комнату неслышно протискался дьякон и мрачно стал у порога,— оба попа сделали вид, что не заметили его.

— По деревне гул идет,— продолжал о. Сергий слезливо,— бесчинство началось: не только бабы, но и мужики всякого смысла лишились.

Вступился дьякон.

— Это от граммофона,— мрачно сказал он.— Тут ничего не поделаешь. Совесть не выдержала, колесом пошла.

— Ну ты тоже! — недовольно отозвался о. Сергий.— Сам ты колесо.

— А почему сдох щенок? Господи, и на кого Ты нас покинул,— взмолился дьякон,— моченьки моей не стало, лучше бы мне у груди матери помереть, чем дожить до такого... Куда теперь идти? Одна дорога, что в кабак, что воровать.

— Соблазн! — вздохнул о. Сергий.

— Заранее говорю: вяжите меня, пока я не начал,— мрачно гудел дьякон, не отходя от притолоки, похожий на телеграфный столб,— истощился я и гляжу беспредметно; и вскоре потеряю окончательный смысл.

О. Сергий указал рукой на дьякона.

— Глядите, что́ наделали, отец Иван. Аще, сказано, кто соблазнит единаго от малых сих...

— От малых сих,— мрачно подтвердил дьякон.

— Тому...

— Тому,— вторил дьякон.

О. Иван вскочил и затопал по полу мягкой туфлей.

— Не желаю! — крикнул он.— Довольно посмеялись надо мною — кости повысушили. Не желаю! Вон!

Пришлось уйти. И опять в тишине бурлил самовар, и опять в тишине громко тянули чай с блюдечек и громко вздыхали. Дьякон попробовал было излиться перед о. Сергием, но тот строго пригрозил ему пальцем, и тишина восстановилась. Постучали осторожно к о. Ивану в дверь:

— Огня не надо ли?

Не понадобилось; так и проходил о. Иван весь вечер в темноте, натыкаясь на стулья. Хотя дьякон жил рядом, но, ввиду тревожного времени, решил остаться ночевать; и попадья об этом просила. И уже когда укладывались все, о. Иван потребовал к себе попадью,— вышла она совсем запуганная и ничего не понимающая.

— Бритву просит,— заплакала она.

— Ужели резаться? — приподнялся с дивана полураздетый о. Сергий.

— Голову брить хочет,— ответила попадья и горько зарыдала.

Стало страшно, и уже раздетый для сна дьякон начал вновь одеваться.

— Не-ет,— бормотал дьякон возмущенно.— Нет, это что ж такое? Нет...

— Откуда у нас бритвы? У нас бритв нету,— упавшим голосом сказал о. Сергий.

— Это он от злости,— пояснил Агафангел, знаменский дьякон.— Для противления.

О. Иван, подслушивавший сквозь дверь, что говорится, сердито постучал пальцем жену и громко, так, чтобы все слышали, приказал:

— Завтра утром Машку к писарю пошли — у писаря бритва есть.

И долго, когда все уже спали, ходил по комнатке, ядовито усмехался и ликовал: вот обрею завтра голову — тогда попробуй возьми. Посмеивался. Но вдруг совсем ясно, как в зеркале, увидел свою голову обритой, и стало невыносимо страшно. Попробовал в темноте свои волосы — вот они, сухонькие, мягкие и, когда их так пробовать, совсем чужие. Отец Иван зажег лампу, но страх не проходил: комната была чужая. Он первый раз видел эту комнату; он никогда не был в этой комнате, он не знал этой комнаты совсем; а за стеною страшно и незнакомо храпел дьякон, которого уговорили остаться. Подобрал поп подрясник, похожий на халат, и тихонько, мимо спящих, пробрался к попадье.

— Спишь? — шепотом спросил он.

— Нет,— шепотом ответила попадья.

— А я думал — спишь.

— Нет.

Долго придумывал: как бы устроить так, чтобы посидеть возле близкого человека. Попадья ожидала — в молчании и страхе.

— Ты вот что... ты принеси-ка мне чего-нибудь поесть. Огня не зажигай — не надо.

— Да как же без огня — я себе лоб расшибу.

— Ну, ну, не расшибешь.

Сидел на кровати и долго ел что-то, не разбирая вкуса.

— Колька завтра приедет?

— И Коля и Сашенька. Ты что это, отец, а? Что с тобою, а?

— Ну, ну, молчи.

Пожевал-пожевал в темноте беззубыми деснами, попалось что-то твердое, должно быть, корка,— сердито выплюнул. Вздохнул и тихонько мимо спящих побрел к себе... Поп Иван, поп Иван,— куда ты идешь?

VI

В обед приехал о. Эразм Гуманистов, а к ночи прибыли и сыновья о. Ивана. Дорога была трудная, весенняя — ни на санях, ни на колесах, и о. Эразм чуть не утонул со своим Ермишкой, перебираясь через маленький овражек: ноздреватая, как мокрый грязный сахар, дорога лежала ровненько и будто устойчиво, а когда въехали, провалились в текучую воду — ибо уже проточила весенняя вода целые пещеры и понастроила снежных арок. По счастью, выбрались, только промокли сильно, да рукавицы с кнутом поп потерял, а уж когда подъезжал к Богоявленскому, хватился — и шапки нету. Раньше не заметил, так как был, по обычаю своему, весьма нетрезв.

Даже не высушившись по-настоящему, а только освежив горло стаканчиком водки и закусив ее горячим жидким чаем, о. Эразм ввалился к старому другу. Состоя на особых правах, он и разрешения войти не спросил, а просто вошел и смял маленького попа в тяжелых, немного пьяных, но теплых объятиях.

— Ты что это надумал, Иван, какие еще новые штуки? Голова-то еще не выбрита?

— Дверь затвори,— сухо сказал о. Иван.— Да не ори: не на волков собрался.

О. Эразм послушно закрыл дверь и сразу, как и все, входившие к о. Ивану, почувствовал томительность и даже как бы умышленность положения. Простые слова не годились, а непростые — и не давались и были слишком уж непросты для белого дня, низенького протертого дивана и восседавшего на нем сухонького, вчерашнего и позавчерашнего попа. И сразу, как это бывало с ним, о. Эразм Гуманистов впал в сильное расстройство и от буйного

натиска перешел к тихому и горькому недоумению. Запустил пальцы, как вилы в сено, в бороду, повертел, с трудом выдрал назад и неожиданно спросил:

— Злишься, Иван?

— Злюсь,— с такой же неожиданной откровенностью ответил сухонький поп и пошамкал торопливо обнаженными пергаментными губами.— Злюсь.

— А ты не злись,— посоветовал друг.— Поскандалил — ну и довольно, надо и честь знать.

— А ты не ври! Что, я именинник, что ли — какой тут скандал?

О. Эразм вздохнул.

— По указу?

— По указу.

— В указе этого нет, чтобы в магометанство.

— Прибавят.

— Вот ты как зарядился! А я, брат, было, в канаве утонул. Вот чудеса!

— Что ж, и в канаве утонешь, и на сухом месте утонешь, когда предназначено,— спокойно согласился поп Иван.

— Ну и зарядился! — качнул головой о. Эразм.— Дьякона-то видел? Мается честная душа, как кошка перед родами. Говорю: «Выпей водки, Зосима».— «Нет, говорит, вы мне лучше смолы расплавленной в горло влейте». Вот какой! Что тут у вас, видение, что ли, было?

О. Иван злобно прищурил глазки и долго шамкал губами, задрав реденькую бороденку.

— Дураки вы с дьяконом.

— Дураки! — рассердился о. Эразм и побагровел.— Сказать легко, а ты докажи. Эка! А по-моему, так и ты не совсем умен, если доказать не можешь.

— Я-то докажу. Как твоя фамилия? Отец Эразм Гуманистов. Ка-ка-я фамилия! — с наслаждением протянул о. Иван.— Ты чем с такой фамилией должен быть? Философом, богоосмысленным искателем истины воссиянной,— а ты кто? Пьяница, ротозев, в канаве было утонул.

— Это верно,— насупился о. Эразм,— насилу вылез.

— Я тебе докажу! Сделайте милость, вот завтра я мою кобылу Наполеоном назову — тебе понравится это? Да скажу: вези, скажу, Наполеон Эразма Гуманистова в грязную канаву. Каково?

Помолчали. Слышно было почему-то, что дьякон делает безуспешные перед самим собой попытки проникнуть в комнатку — даже содрогание руки его чувствовалось, когда он брался за ручку.

— Не пьешь ты,— задумчиво сказал о. Эразм.

— Не могу,— также задумчиво ответил о. Иван.—Натура не принимает.

— А пробовал? — с некоторым отблеском надежды осведомился Гуманистов.

— Чего там пробовать, не вчера родился. На рвоту позывает, и мысли полошатся, но без последствий.

— Да, плохо твое дело! — пожалел о. Эразм.— А если б, скажем, в католичество попробовать, либо чего лучше — в старообрядчество. Архиереем тебя сделают, по возрасту. Чтобы не сразу, а...— Обязанный своей фамилией к мудрости, поп затруднился,— а так, чтобы в последовательности времен. Consecutio temporum [1].

— Нет, сразу.

О. Эразм походил по комнате, удрученно вздыхая, и нежно погладил друга по седеньким сухим волосам:

— Эх, Ваня! Стары мы с тобою: жалко мне тебя. Вот сыновья твои, слышно, едут, Колька едет, а там и в город тебя повезут с колокольчиками. Не миновать тебе, Иван, мученического венца.

— Это еще посмотрим!

О. Эразм совсем расстроился:

— Запрячут тебя в клеточку, как канареечку, и будешь ты свиристеть таково жалобно: братия вы мои, да сестры вы мои, да отцы вы мои небесные...

— Уйди,— коротко приказал о. Иван.

И опять бурлил самовар, и совсем охмелевший о. Эразм вел жестокое словопрение с о. Сергием по вопросу о ценности разных вер. Невнимательно и даже высокомерно слушал их дьякон, изредка вставляя: «Не то, отцы, совсем не то», и колебался перед водкою; а у тоненькой двери подслушивал разговор о. Иван, и все его лицо, собравшееся в сеть злых морщинок, выражало одно непреодолимое: «Не то, отцы, не то». А уж собрался и народ на улице: близко не подходили, не то боялись, не то мешал палисадник, но с другой стороны улицы неотступно глядели в маленькие серые оконца и гадали: где поп. С наступившими сумерками везде в поповском доме загорелся свет, и только два окна остались темны и притворно безжизненны. И если раньше их было страшно, как внимательных глаз, то теперь стали они еще страшнее — на чуткие уши теперь походили они.

Присматривался к народу и поп Иван: к самому окну не подходил, а издали, на ходу, бросал короткие, острые, злые взгляды. Безмерно возмущали его эти серые, малоподвиж-

[1] Последовательность времен *(лат.)*.

ные немые пятна, каким-то непостижимым образом присосавшиеся и к окнам, и к жизни его. Слились с сумерками, но не исчезли, а только переменили образ; наступит ночь, и еще иной новый образ примут они покорно — но не уйдут — но не исчезнут — но не оставят...

Наконец приехали и сыновья. Старший, о. Николай, молодой, но уже полный, в хорошем полушелковом подряснике и с широким расшитым поясом: уже успел приобрести в городе почитательниц и щедрых молитвенниц из купеческого звания; был он обеспокоен до чрезвычайности, даже полные, белые, обцелованные руки дрожали. Младший, семинарист, и ростом и лицом похожий на о. Ивана, весь смерзся, как навага зимою, но отошел быстро и без содроганий; от всего происходящего, даже от жестокого холода, он ощущал видимое, слегка насмешливое удовольствие: смеялся опущенными глазами и не то презирал всех, не то, вроде отца, готовил свою, особенную штуку.

— Ах, Боже мой, что́ же это такое,— говорил Николай, с отвращением смотря на пьяного о. Эразма.— Вчера зовет меня преосвященный: ваш это, спрашивает, отец, который...

— А ты чей, сказал? — тихо осведомился Сашка.

Николай с негодованием взглянул на брата.

— А тут еще этот ввязался, с-смола! Взял ты у меня полтинник или нет?

— Нет, не брал,— спокойно ответил Сашка и прихлебнул из блюдечка.

— Вот видите! Да как же ты не брал, когда я перед самым твоим отъездом по твоей просьбе, мерзавец ты этакий, в самую руку вручил монету?..

За дверью послышался как бы смешок, а может быть, и кашель — но все стихло.

— Папаша! — нежно постучал в дверь Николай.— Разрешите войти.

Но ответа не последовало. И так раз до десяти подходил, терзаясь, и нежно постукивал Николай, но ни единого ответного звука извлечь не мог. Попробовал было сам приоткрыть незапертую, без крючка, дверь, но тотчас же невидимая рука быстро и злобно захлопнула ее,— очевидно, поп был настороже. Сашка громко и откровенно захохотал, а попадья заплакала:

— Ведь с утра ничего не ел, в чем душа держится.

Уже к ночи разрешил о. Иван войти. И так много ожидали от этого разговора, что разбудили заснувшего о. Эразма и послали за дьяконом, который побежал за табаком к себе домой и что-то застрял там,— и все с напряжением

смотрели на перегородку, за которой невнятно, видимо, желая укрыться от постороннего слуха, по-голубиному мягко гурковал Николай. Но только один голос, другого же слышно не было.

— Ты чего ухмыляешься? — сердитым шепотом спросил Сашку о. Эразм.

— Да что вы, и не думал,— нагло солгал Сашка.

— У, ехида! Отца бы пожалел.

Сашка опять откровенно засмеялся и как-то очень нехорошо окинул всех взглядом. Вдруг вынул папиросу и закурил, и дым пускал колечком, как будто был барин и ехал в первом классе для курящих. Но не успел о. Эразм осмыслить этой новой дерзости, как за перегородкой что-то застрекотало, зашумело, заговорило, и почти тотчас же в двери показался Николай, очень, даже до невероятия бледный. Сел на первый попавшийся стул и невнятно промолвил белыми губами:

— Проклял.

— Да ты что! — ужаснулся о. Эразм.— На нем же сан, что ж тебе делать теперь?

— Не знаю. Проклял,— улыбнулся Николай, и вдруг из больших, светлых, глупых глаз его закапали градинками слезы на молодую еще бороду, на расшитый богатый пояс, на полушелковый подрясник.

VII

Тою же ночью пришел к попу Ивану, по своему единоличному усмотрению, чахоточный дьякон.

— Не выгоняйте, отец Иван,— тихо попросился он.— Меня теперь нельзя выгонять.

Поп Иван, чутко дремавший на диванчике и совсем одетый, молча приподнялся и сел.

— Говори.

— Можно огонь засветить? Боюсь я.

— Засвети.

Дьякон зажег лампочку.

— А закурить можно? Чистая во рту слизь, и такое у меня состояние, что минуты не могу без папиросы. Вон все спят, а я один брожу, собак пугаю,— тихо улыбнулся дьякон.— И Николай ваш спит.

Поп насторожился:

— Спит?

— Заснул. Это верно, отец Иван, что вы его отеческого благословения лишили?

— Верно.

— Я и говорю, что верно. Тут ошибки быть не может. Как он плакал, отец Иван. Так рыдал, так рыдал! Поеду, говорит, завтра в город и сан с себя сниму; теперь, говорит, не могу я войти в алтарь, и остается мне теперь умереть под забором без покаяния, как блудному сыну. Отец Иван, отец Иван, почто восстали вы на сынов человеческих?

— Я сам сын человеческий.

— Боже мой, Боже мой! — тосковал дьякон.— Читаю я намедни: «всуе мятется всяк земнородный»,—и вдруг меня осенило: да ведь это про тебя, Зосима. А ежели это про меня, так ведь это же значит конец. Кому же верить мне теперь? Есть у меня и жена, и дети у меня есть — а к чему? какой в них смысл? Дунул — жены нету, дунул — нету и детей. А может, и меня самого нету. Ведь у меня болезнь, отец Иван,— покорно вздохнул дьякон.

Поп молчал, нахмурив брови и смотря в пол, но слушал внимательно. И лицо его не было ни злобно, ни колюче — усталым было оно и мертвенно-сухим, как лица очень древних, сухоньких, долго сохраняющихся старичков, у которых жизнь, обнявшись со смертью, приемлет какие-то особые, устойчивые формы. Странное, многомысленное, тайною покрытое лицо: и для угодника оно годится, и для убийцы, вырезавшего ножиком целую семью, разбойника и татя.

— Не отчаивайся, дьякон,— тихо сказал он.

— А вы-то разве не отчаиваетесь, отец Иван?

Лицо попа сразу ожесточилось, и бородка начала подрагивать.

— Я не отчаиваюсь. Я знака ищу.

— Но какой же знак! — волновался дьякон.— Нету же никакого знака: ведь он же все вам разъяснил.

— Кто? — удивился о. Иван.

Дьякон молча и со страхом указал на то место, где прежде стоял граммофон. Поп Иван хотел засмеяться, но взглянул в испуганные, почти остановившиеся глаза дьякона и отвернулся.

— Он тут ни при чем,— сказал он, но как-то очень неопределенно.

Дьякон прошептал:

— У меня мысли.

— Говори.

Дьякон подвинулся ближе.

— Может, он под святого угодника? Но скажите мне достоверно.

— Может,— ответил, подумав, о. Иван, быстро взглянул на дьякона и снова отвернулся.

— Так,— вздохнул дьякон, как бы умирая или лишаясь чувств.— Та-а-к... Вот она, правда-то. А-а-а-а, может, он — может, он...

— Молчи,— быстро приказал поп.— Молчи!

И одновременно представилась им ужасная, недопустимая, все основы правды потрясающая возможность: как из никелированной трубы звучит кто-то неземным голосом Иисуса Спасителя. И те же слова говорит; голос, слышать который не может, не смеет, не должен человек иначе как в час смертный, пред святынею смерти и души окрыленной. С последним, уже нескрываемым ужасом смятенных душ неотрывно глядели они в глаза друг другу, и густое облако, белое, мягкое, глухое, как вата, окутало их. Окутало — и оторвало от стен, от земли, от жизни, и каждому видны были только два глаза, только два страшных человеческих глаза, безумных и правдивых в неисчерпаемом ужасе своем.

— Я пойду,— слабо, задушенный ватою, прозвучал голос дьякона.

— Иди,— так же бескрыло и слабо прошумел ответный голос, и ужас сомкнулся над головой, как темная, спокойная вода.

Наступило утро, и на тройке с колокольцами, как и предсказывал о. Эразм Гуманистов, прибыл чиновник с поручением — допросить о. Ивана и, буде старик от мечтаний своих не откажется, привезти его в город. Вырывалась жизнь Богоявленского из круга заколдованного и высоко в пространство бросала новую и прямую линию свою — оборвался жужжащий камень и полетел стремительно.

Измученный неудобствами и тяготою весеннего пути, чиновник уже заранее решил не вступать с о. Иваном в продолжительные объяснения, а просто взять его и отвезти в город: там скорей рассудят. Да и поп, видимо, не склонен был к беседе: сухо, почти невежливо выслушал скучные городские слова форменной фуражки и, не давая чиновнику ответа, призвал жену,— чтобы снарядила в путь. И все присмирели. О. Сергий, под предлогом, что его ожидают требы, быстро собрался и уехал; дьякон еще с утра, до приезда чиновника, ушел куда-то в поле и так и не возвращался — и на долю полупьяного, смущенного Эразма Гуманистова выпала мучительная обязанность занимать разговором образованного и страшного гостя. «Действительно, Гуманистов»,— думал он с безнадежной иронией,

не находя ни слов, ни мыслей, ни даже приличного лица — глядел на чиновника и как в зеркале видел в его холодных зрачках свой огромный, сизый, постыдный нос. Попробовал вовлечь в ученый разговор семинариста Сашку, но тот не поддался и с видом безграничного равнодушия к страданиям о. Эразма пожирал одну за другою горячие булки: уже успела попадья напечь их для своего младшего.

Николая почти не видно было, прятался он где-то и шушукался с матерью, о чем-то ее умоляя. Потом пропал, и только перед самым отъездом чиновник видел в оконце, как Николай, раздетый, в одном полушелковом подряснике, с расчесанными кудрями, горевшими под весенним солнцем, мановением руки разгонял столпившихся у дома, как при выносе покойника, мужиков и баб.

Подали лошадей: две пары и одну тройку для чиновника. Засуетились, попадья залилась слезами, бабы полезли к окнам. Вышел из своей комнаты, где он так долго отсиживался от врагов, поп Иван, одетый уже совсем по-дорожному в огромную медвежью шубу, в которой его маленькое тельце терялось, как узкое маленькое веретено в клубке растрепанной пряжи. Ни на кого не глядя, ни на жену, ни на о. Эразма, уже приготовившего нерешительные объятия, поп проследовал к дверям,— как вдруг преградил ему дорогу Сашка.

— Чего тебе? — сухо посмотрел о. Иван.

И Сашка громко отчеканил:

— Папаша! Позвольте от лица нашего класса выразить вам сочувствие.

— Поблагодари,— коротко ответил о. Иван и вышел.

В доме же поднялся переполох, произведенный Сашкиной мальчишеской выходкой: чиновник пожимал плечами, выслушивая объяснения Николая, а о. Эразм бестолково наставлял крайне довольного собою Сашку:

— Скажите, какой депутат! Драть тебя нужно за твое сочувствие со всем твоим классом — депутат!

А тем временем о. Иван стоял на улице и ждал надменно, в какую повозку прикажут садиться; и, как покойника, с любопытством нестерпимым, разинув рты от натуги, разглядывали его мужики и бабы. Он же глядел поверх голов на переломленный князек Самойловой крыши, той самой крыши, которая в своем диком сходстве с двугорбым соломенным верблюдом уже лет пятнадцать неизменно предстояла его взорам.

Наконец усадили о. Ивана. Сын Николай, у которого от слез запухли глаза и крупичатое лицо покрылось красными пятнами, с безнадежной услужливостью подтыкивал веретье, запахивал отцу полы и закрывал ноги сеном, труся его дрожащими пухлыми пальцами.

— Дорогой холодно будет, папаша. Солнце-то оно обманное — никакого тепла в нем нет. Позвольте вашу ножку.

С тою же надменностью, словно совсем не замечая сына, поп отдавал то одну ногу, то другую и глядел поверх дуги. Не обратил как будто внимания и на то, что Николай вдруг громко захлипал, заплакал и, имея руки занятыми, пытался вытереть слезы о свое же плечо. Но внимательные бабы заметили и прослезились.

— Как Николай-то убивается! Ай-ай-ай-ай, как убивается!

— Не видать ему теперь своего папашеньки.

— Какое видать! Дай Бог, если самого на колокольне не посадят.

— Распотрошился поп.

— Николай-то как убивается! Ай-ай-ай-ай, как убивается!

Отчаянно взмахнув рукой, Николай крикнул:

— Трогай!

Но не успели лошади сделать и двух шагов, как с тем же отчаянным жестом Николай закричал:

— Стой! Стой!

Разбрызгивая лужи и завязая в грязи, подбежал к повозке и схватил отца за рукав:

— Папаша, перед домом-то... Я же тут родился, папаша. Снимите заклятие, снимите! На колени стану!

Он, действительно, как был в шелковом подряснике, так и опустился на колени в грязь.

— Снимите. Даже не как отца, а как священнослужителя... прошу... прошу. Папаша!

Отец Иван сердито крикнул:

— Трогай!

Но кучер не послушался; и, ударив кучера кулаком в спину, о. Иван закричал:

— Трогай, тебе говорю-у!

Лошади тронулись. Еще одну минуту стоял на коленях Николай, бессмысленно взывая: «Перед домом-то, папаша, перед домом-то», потом без шубы, грязный, полез в первую попавшуюся повозку; потом его одели и посадили уже как следует с чиновником, который, видя отчаяние его, взял на себя задачу разговорить его и утешить.

И поехали они. Голося колокольцами и бубенцами, нагоняла чиновничья тройка уехавшего вперед о. Ивана, а позади, не торопясь, плелся Сашка. Село было длинное, версты на две, и долго проезжали его; но ни разу не оглянулся поп Иван, не ответил на поклон, на чей-то громкий привет не ответил — будто по чистому полю или лесом глухим ехал он; как задрал вверх бороденку, садясь, так и держал ее: ни направо, ни налево, а все прямо и вперед к далекому, неизвестному, многообещающему знаку. Думал ли он вернуться в село, или же, ополчившись на сынов человеческих, надменно отрицал кривые избы, мужиков, самую грязную землю, по которой с великим трудом влеклась колымага,— он был тверд и злобно решителен. Не торопился и не медлил, а ехал так, как везли, и туда, куда везли; не приближал событий, но и не отдалял их, зная, что придут события в свое время и уйдут события в свое время, и длинная череда их завершится искомым знаком.

Начался большак: голые ракиты с корявым толстым стволом, похожим на воткнутую в землю большую черную кость, с пучком розог, скользивших к солнцу на вершине, потянулись по сторонам — и на ракиты не взглянул поп Иван: ракиты, завязая в грязи, шли назад, а он, завязая в грязи, двигался вперед. Когда дурачливый работник, он же кучер Евстигней, вместо опасного, полурассыпавшегося моста через канавку стал искать еще более опасного броду,— то и тут не вмешался поп; пожалуй, и утонул бы в канаве, если бы подоспевший на тройке Николай собственноручно не вывел лошадей на мост. Но, о чем бы ни думал поп Иван, меньше всего размышлял он о Магомете, во имя которого готовился принять свой мученический венец.

Сашка сильно отстал и уже начал застывать с ног, как рыба с хвоста, но не беспокоился этим. Курил папироски посиневшими губами, щурился на яркое, но холодное солнце и самодовольно готовился к великой встряске в семинарии; и уже проступала на подбородке реденькая, как у отца, светлая и решительная бороденка.

12 февраля 1909 г.



НЕОСТОРОЖНОСТЬ

I

Батюшка приехал на станцию за два часа до отхода поезда. Выбрался он из дому, когда только что взошло солнце, и ехал тридцать верст среди коноплей, лесом и лугами, и пахло от него коноплей, цветами и придорожной пахучей пылью. А на станции пахло каменным углем, маслом и разогретым на солнце железом. Работник, от которого пахло так же, как и от батюшки, и, кроме того, лошадиным навозом, пóтом и дегтем, повернул круто тарантасик на двух боковых колесах, поправил сиденье и уехал, и батюшка остался один со своим мешочком, зонтиком и сдобными лепешками. На минуту батюшке взгрустнулось, и он крикнул слабым тенорком:

— Иван! А Иван!

Но работник был далеко и не слыхал. И вдруг батюшке стало весело: и от того, что он один в таком незнакомом и необыкновенном месте, и от того, что едет в город, и от ясного, безоблачного неба, которое поверх железной крыши широко и успокоительно синело на него. Сперва он чинно посидел на скамейке, приятно чувствуя, что он уже во власти того сложного и нестерпимо любопытного, что называется поезд и железная дорога; но так как на станции не было ни души, то осмелился и начал всюду осторожно заглядывать. Заглянул в буфет: там стоял длинный стол, покрытый мраморной клеенкой, и по клеенке ползали мухи. Почтительно заглянул в телеграфную: там тоже не было никого, и аппарат один что-то выстукивал, выпуская длинную, белую ленту. Батюшка покачал головой, поперхнулся и сказал:

— Премудрость!

Постоял у кассы, но, так как касса была заперта и никого, кроме него, не было, пошел на платформу. Понрави-

лась ему и платформа: была она длинная, чистая, деловитая, кое-где просмоленная, кое-где залитая асфальтом,— как и надо для такого большого и важного дела. И в разные стороны бежали от нее лоснящиеся рельсы, точно хранящие еще следы бесчисленных, грохочущих поездов; и если поехать в одну сторону, то приедешь в один неведомый конец мира, а в другую — в другой такой же неведомый, такой же загадочный конец. Эта мысль так взволновала батюшку, что он чуть не бегом отправился к кассе, однако — заперта, и ни души народу. Все еще рано.

— Удивительно! удивительно! — важно и даже строго говорил батюшка и энергично покачивал головой, от чего с волос его и с одежды незаметно сыпалась тонкая дорожная пыль. Вероятно, от этой пыли, смягчавшей шелест одежд, движения его были бесшумны, и только сапоги громко выстукивали большими подкованными каблуками, до неприличия громко. Поэтому сошел с платформы на путь, на мягкий, шуршащий песок,— и увидел паровоз. Большой, черный, грязный паровоз. Стоял он на запасном пути и как будто спал,— но было в этом явное притворство. При всей своей неподвижности и тишине казался он настоящим повелителем этих мест, суровым, железным чудовищем, полным скрытой силы и безграничного, неудержимого стремления.

Это он, если захочет, может улететь в тот или другой конец света. Это он с грохотом, лязгом, свистом проносится днем и ночью по скользким рельсам, орет, разгоняет народ, давит неосторожных, зажигает на всем своем пути зеленые и красные огни — он, неподвижный и грязный комок железа, непонятное сплетение колес, труб и рычагов.

— Удивительно! — сказал батюшка с ударением.— Удивительно!

А над головой синело широкое, безбрежное небо и звало куда-то.

II

Но, видимо, он и вправду спал. Ни дыма, ни шороха — совсем как мертвый. И на тендере никого. Была полная возможность протянуть руку и осторожно погладить самое колесо. Батюшка сделал это, но почему-то раньше послюнил пальцы, как будто боялся обжечься. Еще послюнявил...

Оглянулся испуганно — через путь идет баба и смотрит на него. Нахмурился и сделал вид, что поправляет бороду, достал синий клетчатый платок и долго вытирал лицо: пусть баба думает, что запотел. Действительно запотел, на платке

от пыли и пота остались грязные полосы. Обманутая баба ушла, и батюшке нестерпимо захотелось подмигнуть кому-то. Подмигнул и засмеялся: вот бы посмотрели прихожане,— поп, а что́ делает.

Но тут же батюшка понял, что все это очень серьезно, совсем не смешно, а касса, может быть, уже открыта. Нет, все еще заперта, и до отхода поезда час с четвертью. Прошел через залу сторож и поглядел на батюшку; батюшка кивнул ему головой, и сторож поклонился.

«Вежливый народ, ученый, не то что наш»,— одобрительно подумал батюшка и совсем смело, напрямки, отправился к спящему паровозу. И теперь показался он батюшке чем-то вроде доброй, спокойной лошади, и, как лошади перед работой, батюшка сказал ему покровительственно:

— Ну, ну, отдохни, отдохни. Скоро, брат, опять повезешь.

Паровоз благодушно молчал. Если подойти с той стороны, то со станции не видно. Батюшка взялся за ручку, полез, но оборвался. Покраснел и долго качал головой, осыпая пыль, и улыбался в пространство. Подумал и положил на песок зонтик и мешочек, опять взял, опять положил и, подобрав рясу, осторожно взлез. Было всего три ступеньки, а батюшке показалось высоко, как на колокольне.

— Удивительно. Уди-ви-тельно,— сказал батюшка тоном вдумчивым и строгим, каким говорил обыкновенно о таинственной науке и ее чудесах. И, уже чувствуя себя немного как бы ученым, непринужденно погладил что-то рукой. Но, в сущности, ничего не понимал, а только верил: многообразие частей машины, их неясные отношения друг к другу, стрелки, цифры, рычаги — все говорило о большой работе, о сложной и пытливой мысли, о чем-то значительном и многообещающем. И было особенно приятно, что сам он, захолустный сельский поп, был как бы причастен ко всему этому — по своему человеческому естеству и уважению к науке.

— Да, вот это — выдумали! Вот это — вещь! Удивительно,— говорил батюшка и искоса, с презрением покосился на мешочек и зонтик. Теперь и зонтик показался ему не важным, а когда купил, то читал о нем лекции. Конечно, пустяки в сравнении с тем, что́ наворочено здесь. Потрогал одну ручку — ничего. Потрогал другую — вдруг что-то громко зашипело, и паровоз как-то подозрительно ожил. Где-то шипит. Повертел головой, нагнулся — шипит. Батюшка побледнел, и сердце у него забилось: тук-тук — вдруг придет машинист, что ему тогда сказать? Осторожно

нажал на что-то — шипеть действительно перестало, но задергалось: раз-раз, раз-раз. Это еще хуже. Беспомощно взглянул на зонтик и дернул рукоятку,— что-то толкнуло его назад, потом вперед, потом поставило прямо на широко раздвинутых ногах. Не поспел батюшка обрадоваться, что спасся, взглянул,— а кругом все плывет; столб плывет, глянул назад,— а там уплывает зонтик и мешочек.

— Еду.

III

Бренчит, грохочет, дергает, тяжело сопит и переваливается — чистый зверь. И нигде притронуться нельзя, все перепуталось. Повернул что-то батюшка: паровоз прыгнул вперед, как кошка, и побежал вперед так быстро, что в ушах завыло от ветра. А еще раз что-то повернул, не то дернул — над головой раздался дикий, оглушительный свист, не то рев, что-то ужасное, окончательно невозможное. То хоть тихо ехал, а то рев поднял на весь свет.

— Господи! — взмолился батюшка. Но и молитвы не было на такой случай! — Господи, Господи... А что́ дальше?

Высунул голову — сорвало ветром шляпу, и пыльные волосы закружились на голове, полезли в рот, бьют в глаза. Сердце давно уже перестало биться,— и как он жив — батюшка сам не знает. Когда выпутался из волос — ни шляпы, ничего не было. Был какой-то лес. Сумасшедший лес, стремительно несущийся назад, прямо в бездонную яму.

Господи! — мост. Др... ж... Вот и моста нет, ничего нет. И земля куда-то опустилась вниз, а батюшка и паровоз полетели вверх-вверх.

— Господи! Вот мальчишка около стада — мальчик-мальчик! Вот сторожка, сторож машет красным флагом, и лицо у него белеет ужасом — сторож-сторож! И опять ничего, а земля наверху, а кусты несутся над головой.

Совершенно ясно становится, что это нарочно, что этого не может быть — иначе что́ же такое лепешки? Зонтик и лепешки. А где же они?

— Лепешки мои. Лепешки,— бормочет батюшка и кривит лицо от слез.

Это было счастье, это был рай, это было безграничное, невероятное блаженство, когда он держал их под мышкой. Зачем он шныпорил всюду, зачем трогал, зачем лазил? Сорвался раз — какое было счастье — сорвался!

— Дурак. Сволочь,— ругает себя батюшка убежденно и кстати прибавляет:

— Уди-ви-тельно!

Гремит, грохочет, уставилось бельмами циферблатов, охватило железом и несет куда-то, несет. Вот снова метнулся красный флаг, как язык огня,— значит, опасность, значит, страшно впереди, страшно. Конец.

И батюшка перестает видеть, перестает слышать, перестает понимать. Стук колес, звяканье, пролетающие мимо деревья, толчки, колыхания ослабевшего тела, самые отрывки мыслей, еще пробегающих в голове,— все сливается в одно чувство неудержимого, грозного, бешеного полета. Все в нем пустеет, замирает, точно выдувается ветром. Несется ли он сам, несет ли его паровоз — он не знает.

И это уже не паровоз. Паровоз, тот остался на станции, а это — оно, глухое, непреклонное, в страшной обнаженности своей выпирающее откуда-то из-под низу. Над ним не властны ни молитвы, ни заклинания, оно совершается непреклонно и придает миру тот страшный и необыкновенный вид, в каком является мир взорам уходящего.

На мгновение, при особенно сильном толчке батюшка приходит в себя и кричит странно неподходящим голосом, каким кричат извозчику:

— Стой!

И ругается такими же странно неподходящими словами:

— Да стой же, дурак. Дурак. Скотина. Скотина.

И вновь замирает, поглощенный чувством грозного и бешеного полета. И стоит, покачиваясь, такой растерянный, смятый; голова его бессильно мотается, и пыльные морщинки на бледном лице темнеют бессмысленно-кротко и жалко. Морщинки приятного смеха, тихих удовольствий, домашнего горя о заболевшей корове.

Пусто, мертво и даже почти что спокойно — в грохоте и лязге уносящего потока. И, как далекий, тихий огонек берегового маяка, когда впереди только черные волны и буря,— чуть теплится, замирая, последняя мысль о далеких, о сдобных лепешках.

ДЕНЬ ГНЕВА

РАССКАЗ

ПЕСНЬ ПЕРВАЯ

1

...Эту свободную песню о грозных днях справедливости и кары сложил я, как умел,— я — Джеронимо Пасканья, сицилийский бандит, убийца, грабитель, преступник.

Сложив, как умел, я хотел пропеть ее громко, как поются хорошие песни, но мне не позволил тюремщик. У тюремщика заросшее волосами ухо, тесный и узкий проход: для слов неправдивых, извилистых, умеющих ползать на брюхе, как низкие твари. Мои же слова ходят прямо, у них здоровая грудь и широкие спины — ах, как больно рвали они нежное ухо тюремщика, заросшее волосами.

— Если ухо заперто, то поищи другого входа, Джеронимо,— сказал я себе дружески; и думал, и искал, и придумал, и нашел, потому что вовсе не глуп Джеронимо. И вот что я нашел: я нашел камень. И вот что я сделал: на камне я вырубил песню, его холодное сердце разжег я ударами гнева. И когда камень ожил и взглянул на меня горячими глазами гнева, я осторожно отнес его и положил на краю тюремной ограды.

Видишь ли, на что я рассчитываю? Я — умный, рассчитываю, что скоро опять всколыхнет землю дружеский удар и снова разрушит ваш город; тогда повалятся ограды, мой камень упадет вниз и раздробит голову тюремщику. Раздробив же,— на мягком, как воск, серо-кровавом мозгу выдавит мою свободную песню, втиснет ее, как королевскую печать, как новую заповедь гнева... с тем и пойдет в могилу тюремщик.

Эй, тюремщик, не запирай уха! — Я пройду сквозь твой череп.

2

Если я буду жив тогда, я буду смеяться от радости; если я буду мертв, мои кости запляшут в непрочной могиле. Вот-то будет веселая тарантелла!

Но разве ты можешь поклясться, что этого никогда не будет? — Еще раньше, тем же ударом выбросит на землю меня: мой гнилой гроб, мое скверное мясо, всего меня — мертвого, схороненного навеки, придавленного крепко. Ведь было же так в эти великие дни: расселась земля на кладбище, и выползли тихие гробы.

Тихие гробы, незваные гости на пире.

3

Вот имена товарищей, с которыми я подружился в эти короткие часы: Паскале — профессор, Джузеппе, Пинчио, Альба. Их расстреляли солдаты. Был еще один молодой, услужливый и такой красивый, что жаль было смотреть; я его почитал за сына, а он уважал меня, как отца, но имени я его не знаю: не успел спросить, а может быть — позабыл. Его также расстреляли солдаты. Кажется, был еще один или два, также друзья... не помню. Когда расстреливали молодого, я не убежал далеко, я спрятался тут же, за разрушенной оградой, возле раздавленного кактуса. И все видел и слышал. А когда я уходил, раздавленный кактус впился в меня мертвой колючкой — ведь он же приставлен к ограде, чтобы не пускать воров. Какие хорошие слуги у богатых!

4

Их расстреляли солдаты. Запомни те имена, что я тебе назвал, а про остальных, у кого нет имени, просто подумай: их расстреляли. Но не вздумай крестить свой лоб, и еще того хуже: не закажи мессы — они этого не любили. Почти расстрелянных молчанием правды, а если захочется солгать, то солги как-нибудь веселее, но только не мессой: они этого не любили.

5

Этот первый удар, разрушивший тюрьму и город, имел голос необыкновенной силы и совсем особенной, нечеловеческой важности: он ревел снизу, из-под земли, был необъятен и глухо грозен; и все качалось и падало.

И еще не поняв, в чем дело, я уже знал, что все кончилось, может быть, кончилась вся земля. Но я не особенно испугался — чего же мне особенно пугаться, если даже кончилась вся земля? Он долго ревел, этот подземный, глухой трубач.

И вдруг вежливо раскрылась дверь.

6

Я сидел в тюрьме долго и безнадежно. Я уже пробовал бежать, но не мог. Да и ты не убежал бы, не думай: так славно была построена проклятая тюрьма!

И я привык к железу решеток и к камню стен, и они казались мне вечными, а тот, кто их построил,— самым сильным на свете. Даже не хотелось думать, справедлив ли он или нет,— так был он силен и вечен. Даже во сне я не видал свободы — не верил, не ждал, не чувствовал. И боялся звать. Свободу опасно звать: пока молчишь, еще можно жить; но если хоть раз, хоть самым тихим голосом позвал свободу, то нужно либо добыть ее, либо умереть. Это верно,— так говорит и профессор Паскале.

И вот так безнадежно сидел я в тюрьме, когда вдруг открылась дверь. Вежливо и сама; во всяком случае, не человеческая рука ее открыла.

7

В развалинах лежала улица, в ужасном беспорядке. Весь материал, из которого строят, вернулся назад и лежал, как вначале. Дома рассыпались — лопались — качались, как пьяные; садились на землю, на собственные раздавленные ноги. Иные мрачно бросались вниз, головой на мостовую — трах! Открылись ящики, в которых живут люди, этакие славные, маленькие коробочки, оклеенные бумагой. Картинки еще висели на стенах, а людей уже не было; они вывалились, их выбросило, они лежали под камнями. И судорожно дергалась земля — дело в том, что вновь затрубил подземный трубач, глухой черт, которому все кажется мало от глухоты. Милый, старательный черт большого роста.

Ведь я же был свободен и не понимал этого: все еще не решался отойти от проклятой тюрьмы. Стоял и глупо глядел на развалины. И товарищи собрались тут же и тоже не уходили, толпились растерянно, как дети, около загулявшей, пьяной, упавшей на землю матери. Хороша мать!

Вдруг Паскале профессор сказал:

— Посмотрите.

Одну стену, которую мы считали вечною, разорвало пополам; и пополам разорвало окно и железную решетку. Скрутило железо, разорвало его, как гнилую тряпку,— железо, подумай! В моих руках оно даже не звенело, притворялось вечным, самым сильным, а теперь не стоило и плевка — железо, подумай!

Тут я и все остальные поняли, что мы свободны.

8

Свободны!

9

Тебе труднее согнуть соломинку, чем ему три железные рельса, положенные один на другой. Три или сто, ему все равно. Тебе труднее поднять и поднести к губам кружку с водою, нежели ему поднять целое море воды, взболтать его, поднять осадки и выплеснуть на землю; холодное заставить кипеть. Тебе труднее разгрызть кусок сахару, чем ему целую гору. Тебе труднее перервать тоненькую гнилую нитку, нежели ему три железных каната, сплетенных в косу. Ты запотеешь и станешь красный, прежде чем тебе удастся хоть немного расковырять палкой муравейник,— он одним толчком разрушил твой город. Он поднял железный пароход, как ты рукою маленький камень, и бросил его на берег,— ты видал такую силу?

10

Все, что было раскрыто, он закрыл; дверь твоего дома вросла в стены твоего дома, и вместе они удушили тебя: твои стены, твоя дверь, твой потолок. И он же раскрыл двери тюрьмы, которые ты запер так тщательно.

Ты, богатый, которого я ненавижу!

11

Если я соберу со всего света все добрые слова, какие есть у людей, нежные речи, звонкие песни и брошу их стаей в радостный воздух;

Если я соберу все улыбки детей, смех женщин, еще никем не обиженных, ласки седых матерей, крепкое пожатие друга,— и сделаю нетленный венок на чью-то прекрасную голову;

Если я обойду всю землю и соберу все цветы, какие только есть на земле: в лесах, на полях и лугах, в садах богачей, в глубинах вод, на синем дне океана; если я соберу все драгоценные сверкающие камни, в глухих ущельях их добуду, во тьме глубоких рудников, выдерну их из королевских корон и ушей богачих — и все это, и камни и цветы, сложу в сверкающую гору;

Если я соберу все огни, какие горят во вселенной, все светы, все лучи, все вспышки, взрывы и тихие сияния и заревом единого великого пожара озарю дрогнувшие миры; —

То и тогда еще не назову, не увенчаю, не восхвалю тебя — свобода!

12

Свобода!

13

Над моей головой было небо, а небо всегда свободно, открыто ветру и движению туч; под моими ногами была дорога, а дорога всегда свободна — она сделана для того, чтобы по ней ходили, передвигали ногами, подвигались вперед и назад, оставляли одно и находили другое. Дорога, видишь, возлюбленная того, кто свободен: ее нужно поцеловать при встрече и оплакать при прощании.

И когда мои ноги задвигались по дороге,— я подумал, что это совершилось чудо. Смотрю: и Паскале двигает ногами — профессор! Смотрю: и тот молоденький перебирает молодыми ногами, торопится, путается и вдруг бежит.

— Куда?

Но Паскале строго остановил меня:

— Не бросай в него вопросами: ты перебьешь ему ноги. Ведь мы стары с тобою, Джеронимо.

И заплакал. И вдруг снова затрубил глухой трубач.

ПЕСНЬ ВТОРАЯ

1

Мы долго ходили по городу и видели много поразительного, необыкновенного и ужасного.

2

Огонь также нельзя запирать,— это говорю я, Джеронимо Пасканья. Если хочешь быть спокоен, то потуши его совсем, но не запирай его ни в камень, ни в железо, ни в стекло — он убежит, когда с твоим крепким домом случится несчастье. Когда твой крепкий дом упадет и жизнь твоя погаснет, он один будет гореть, сохранит жар и жаркую красноту, всю силу пламени. Полежит немного на земле и даже притворится мертвым; потом поднимет голову на тонкой шее и посмотрит — направо и налево, назад и вперед. И прыгнет. И опять спрячется, и снова посмотрит, выпрямится, закинет голову, вдруг страшно потолстеет.

И уже не одна у него голова на тонкой шее, а тысячи. И уже не тихо ползет он, а бежит, шагает огромными шагами. То был он молчалив, а теперь поет, свистит, кричит, приказывает камню и железу, всех гонит с дороги!

Вдруг начинает кружиться.

3

Мертвых людей мы видели больше, чем живых, и мертвые были спокойны: они не знали, что с ними случилось, и были спокойны. А что было с живыми? Подумай, какую смешную вещь сказал нам один сумасшедший, для которого также открылась дверь в эти великие дни грозного равенства.

Ты думаешь — он был удивлен? Нет. Он смотрел внимательно и благосклонно, и седая щетина на желтом лице дыбилась от гордой радости — словно он сам сделал все это. Я не люблю сумасшедших и хотел пройти мимо, но Паскале профессор остановил меня; и почтительно спросил гордеца:

— Чему вы радуетесь, синьор?

Паскале был человек совсем не маленького роста, но сумасшедший долго разыскивал его глазами, как в груде песку заговорившую песчинку; наконец нашел. И, еле раздвигая губы,— так он был горд,— повторил вопрос:

— Чему я радуюсь?

Величаво обвел рукою и сказал:

— Вот это настоящий порядок. Мы так давно хотим порядка.

Это он называл порядком! Я рассмеялся; но тут подошел толстый, совсем бешеный монах, и стало еще смешнее.

4

Они долго представляли нам среди развалин свою комедию, монах и сумасшедший, а мы сидели на камнях, смеялись и поощряли их, кричали «браво».

— Обман! Меня обманули! — орал толстый монах.

Он был такой жирный, что ты, наверное, никогда не видел таких, ужасно жирный. Противно было смотреть, как прыгал и трясся от злости и страха желтый жир его щек и круглого брюха.

— Вот это настоящий порядок! — хвалил сумасшедший, еле раздвигая губы.

— Обман! — орал монах.

И вдруг начал проклинать Бога — монах, подумай!

5

. . . .
. . . .

6

...Уверял нас всех, что Бог обманул его, и плакал. Клялся, как нечистый игрок в карты, что это плохая плата за его молитвы и веру. Топал ногами и ругался, как погонщик ослов, когда тот выходит из кабачка и вдруг видит, что все ослы разбежались.

И внезапно рассердился Паскале профессор. Попросил у меня нож и сказал монаху, который сел уже отдыхать после проклятий:

— Послушай! Вот сейчас я взрежу тебе брюхо, и если я найду там хоть кусочек цыпленка или каплю вина...

— А если не найдешь? — сердито спросил монах.

— Тогда мы причислим тебя к лику святых. Подержи-ка его за ноги, Джеронимо.

Монах испугался и ушел, бормоча:

— А я думал, что вы христиане. Кощунство! Кощунство!..

Сумасшедший же благосклонно смотрел ему вслед и хвалил:

— Вот это настоящий порядок. Мы долго ждали порядка.

7

И еще долго ходили мы по городу и видели много необыкновенного. Но был короток день, и ночь упала на землю так рано, как никогда; и у солдат, когда они расстреливали Паскале, горели факелы.

8

Когда Паскале уже поставили к стене, к ее уцелевшей части, и солдаты приподняли ружья, офицер спросил его:

— Вот ты сейчас умрешь; скажи — почему ты не боишься? Ведь это же страшно — то, что произошло, и все мы бледны от страха, а ты нет. Почему?

Паскале молчал: он ждал, что еще спросит офицер, чтобы сразу ответить на все.

— И откуда у тебя смелость: наклоняться и брать чужое теперь, когда люди от страха забыли о себе и даже о своих детях? И разве тебе не жаль женщин и детей, которые погибли? Мы видели кошек, которые сошли с ума от ужаса, а ты — человек. Сейчас я велю тебя расстрелять.

Это было хорошо сказано, но наш Паскале умел говорить не хуже. Теперь его расстреляли, он умер, но когда-нибудь, при воскресении всех мертвых, ты услышишь его речь — и ты заплачешь, если не иссякнут до тех пор твои слезы, человек!

Он сказал:

— Я беру чужое, потому что у меня нет своего. Я снял платье с мертвого, чтобы одеть свое живое тело, но вы увидели это и снова раздели меня; и вот голый стою я под вашими ружьями. Стреляйте, солдаты!

Но офицер не позволил солдатам стрелять и попросил говорить дальше.

9

— Вот голый стою я перед вашими ружьями и не боюсь ничего, даже ваших ружей. А вы бледны от страха, и вы всего боитесь, даже ваших ружей, даже моего голого тела. Когда раздался удар, он разрушил и убил ваш город, ваше счастье, ваших детей и жен,— а мне он отворил тюрьму. Так чего же мне было бояться? На всей земле у меня нет своего. Я голый.

10

— И если бы разрушилась вся земля, и звери завыли бы от ужаса, и рыбы обрели голос от горя, и птицы попáдали на землю от страха, то и тогда бы я не испугался. Для всех он разрушил бы землю, а для меня — он только отворил тюрьму. Так чего же мне бояться? Я голый.

11

— И если бы разрушилась вселенная, небо и ад, и ужас воцарился бы во всей бесконечности живых существ, то и тогда бы я не испугался. Для всех разрушена вселенная, а для меня — раскрылась тюрьма. Так чего же мне бояться? Я голый!

12

— И теперь, когда одним залпом ваших ружей вы сразу уничтожите для меня и землю и вселенную,— то и теперь я не боюсь. Для всех вас разрушится и упадет человеческое тело, а для меня — раскроется тюрьма. Стреляйте же, солдаты! Я голый.

13

Факелы пылали. Это был самый короткий день, какой я видел: ночь упала на землю так рано, как еще никогда.

— Теперь становись ты,— приказал офицер, когда упал Паскале профессор.

Это правда — меня ни в чем не поймали, и меня вовсе

не следовало убивать. Но разве с ними можно спорить? И я стал. Но мне было жалко ночи — ты понимаешь, ночи. Здесь ее портили факелы и пожар, а там дальше, за факелами и пожаром, за развалинами и трупами, она стояла такая же крепкая, твердая, темная, как в моей молодости. Я люблю ночь, тогда я не вижу себя и могу думать все, что хочу. День касается только моей одежды, но дальше не идет, натыкается на темноту тела и слепнет; а ночь доходит до самого сердца — и оттого ночью так хорошо любить, это всякий тебе скажет. Мне бы только один час побыть среди настоящей, хорошей, темной ночи, не больше. Но разве с ними можно спорить? И я стал.

Но любить хорошо и днем, когда горит солнце. Любовь, видишь ли, как ночь, и тоже доходит до сердца; и в любви также не видишь себя, как и в ночи. А если при этом ты будешь смотреть в глаза — прямо в черные глаза — и будешь смотреть, не отрываясь...

Вдруг офицер рассердился за что-то на солдат и крикнул мне:

— Убирайся!

14

Прошел еще один день. И в этот день солдаты расстреляли того молоденького, который называл меня отцом.

15

Наступила ночь,— и я ушел из города мертвых.

16

— Dies irae [1] — день гнева, день мести и грозной расплаты, день Ужаса и Смерти.

17

...Эта процессия, которую я видел из-за стены, имела вид необыкновенный и страшный. Они несли статуи своих святых, но не знали, поднять ли их еще выше или ударить о землю, осколки растоптать ногами. Одни еще проклинали,

---

[1] День гнева *(лат.)*.

когда другие уже молились, но шли все вместе, дети одного отца и одной матери — Ужаса и Смерти. Прыгали через трещины и падали в провалы. И как пьяные шатались святые.

— Dies irae... Кто пел, кто плакал, а кто и смеялся; выли, как сумасшедшие. Размахивали руками, и все торопились. Бежали толстые монахи. От кого они бежали? — за ними по дороге было пусто; кротко грелись на солнце развалины, и огонь уходил в землю, дымился устало.

18

От кого они бежали? — позади их было пусто.

19

Только коснешься дерева рукою, а уже падает зрелый апельсин... один, другой, третий. Будет славный урожай. Хороший апельсин — как маленькое солнце, и когда их много, то хочется улыбаться, словно в солнечный день. И листья так темны, как ночь позади солнца,— нет, они зеленые, они темно-зеленые. Зачем говорить неправду, Джеронимо? Они зеленые.

Но как осторожен глухой черт, подземный трубач, которому все мало кажется от глухоты: город разрушил, а апельсин оставил висеть на ветке и ждать Джеронимо. Только коснешься рукою ствола, а уже падает зрелый апельсин... один, другой, третий. Их морем повезут в далекие страны. И в тех далеких странах, где холод и туманы, на них будут смотреть люди и думать: вот какое бывает солнце.

20

Паскале профессор — мы звали его так: il professore, потому что он был мудр, умел сочинять стихи и обо всем говорил благородно. Он умер.

21

Отчего мне становится страшно, я иду все быстрее? Там мне не было страшно.

22

Я и не знал, что мои ноги так любят ходить. Они любят каждый свой шаг, и с каждым шагом расстаются печально, хотели бы обернуться назад; и так ненасытны они, что самая длинная дорога кажется короткой, самая широкая — узкою. Им жалко — подумай! — что они не могут шагать сразу: взад и вперед, направо и налево. Если бы им дать волю, они всю землю покрыли бы следами, не оставили кусочка; и еще искали бы нового.

И вот еще чего я не знал: я не знал про мои глаза, что они умеют дышать.

Далеко видно море.

23

Что еще рассказать тебе? Меня схватили жандармы.

24

Снова ты запер двери моей тюрьмы, человек. Когда ты успел построить ее? — еще в развалинах лежит твой дом, еще кости твоих детей не обнажились на могиле, а ты уже стучишь молотком, склеиваешь цементом послушный камень, протягиваешь перед лицом покорное железо. Как ты скоро строишь тюрьмы, человек!

Еще твои церкви в развалинах, а тюрьма уже готова.

Еще твои руки трясутся от страха, а уже хватаются за ключ, звенят замком, запирают. Ты музыкант: при звоне золота тебе необходим и звон кандалов,— пусть это будет бас.

Еще стоит мертвечина в твоем бледном носу, а ты вынюхиваешь что-то, быстро ворочаешь носом. Как ты скоро строишь тюрьмы, человек!

25

Даже не звенит железо — так оно сильно; и холодно на ощупь, как чье-то ледяное сердце. Молчит и камень стен — так он горд, предвечен и могуч; и холоден на ощупь, как чья-то ледяная мысль. В назначенный час приходит тюремщик и бросает мне корм, как дикому зверю. А я скалю зубы — отчего мне не скалить зубы? Я голоден и гол. И бьют заведенные часы.

Ты доволен, господин мой, человек?

26

Но я не верю в твою тюрьму, господин мой, человек. Но я не верю в твое железо,— не верю в твой камень — в твою силу, господин мой, человек. То, что я видел разрушенным, вновь не срастется никогда.

Так сказал бы и Паскале профессор.

27

Заводи часы — они хорошо показывают время, пока не станут. Звени ключами — ведь и самый рай ты запер на ключ. Звени ключами и запирай — они хорошо запирают, пока есть дверь. И осторожно ходи кругом.

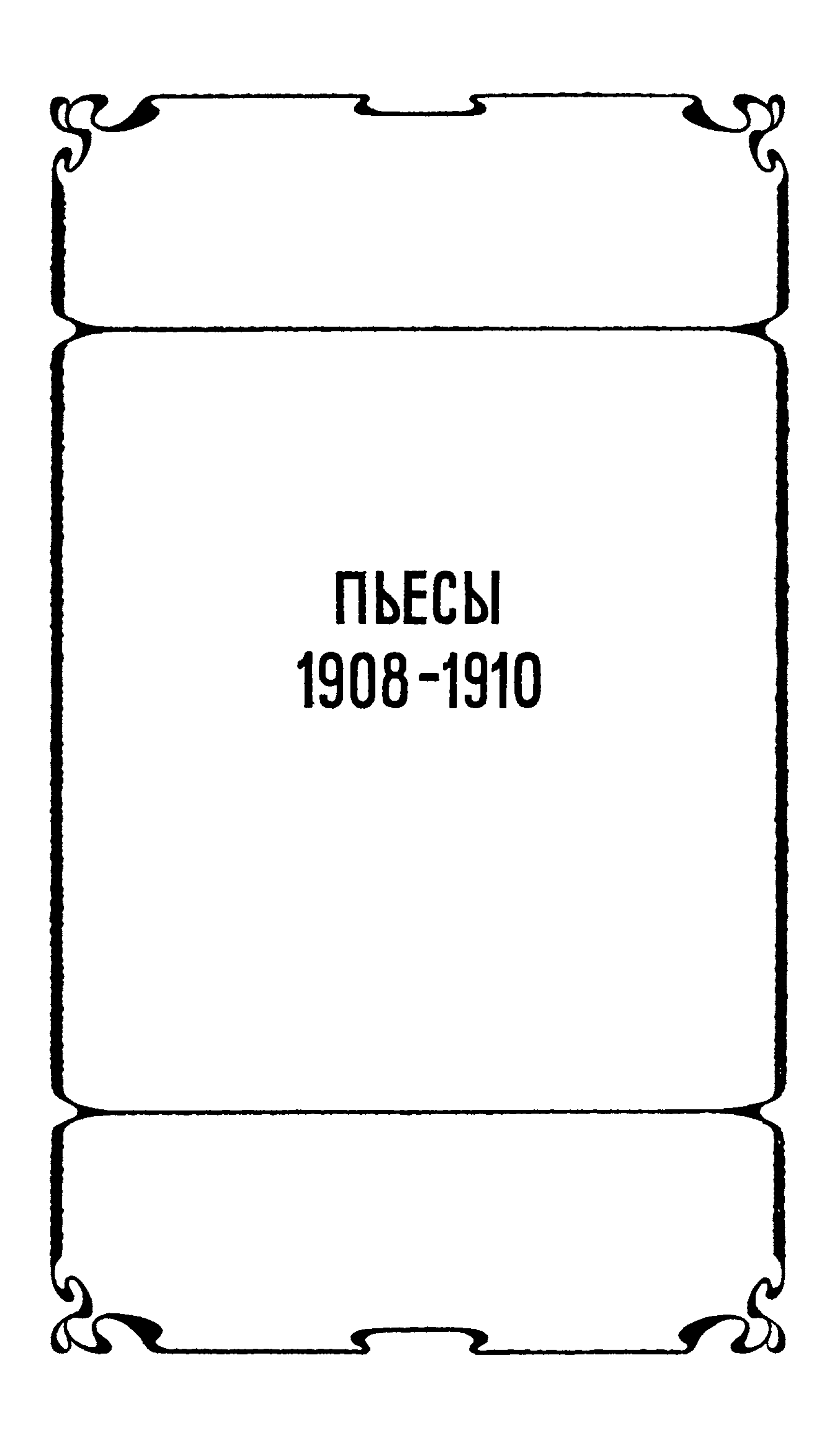
И когда станет тихо, ты скажешь: теперь хорошо, теперь совсем тихо,— и ляжешь спать. Теперь совсем тихо, скажешь ты, и я слышу, как он грызет железо зубами, но железо крепче — скажешь ты и ляжешь спать. И когда ты уснешь, сжимая ключи счастливою рукою,— вдруг заревет подземный трубач, грохотом разбудит тебя, силою ужаса поднимет, крепкою рукою поставит: чтобы ты видел смерть, умирая. Широко, как день, разверзнутся твои глаза — их раздерет ужас; и у твоего сердца вырастут уши — чтобы ты слышал смерть, умирая.

И остановятся часы.

28

Свобода!

1910 г.



ПЬЕСЫ
1908-1910

ЦАРЬ ГОЛОД

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ПЯТИ КАРТИНАХ С ПРОЛОГОМ

Посвящается А. М. А.

ПРОЛОГ

Царь Голод клянется в своей верности голодным

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Царь Голод призывает к бунту работающих

КАРТИНА ВТОРАЯ

Царь Голод призывает к бунту голодную чернь

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Суд над голодными

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Бунт голодных и предательство Царя Голода

КАРТИНА ПЯТАЯ

Поражение голодных и ужас победителей

ПРОЛОГ

Царь Голод клянется в верности голодным.

Ночь.

Верхушка старинной соборной колокольни. Позади ее — ночное городское небо; внизу оно резко окрашено заревом городских уличных огней, вверху постепенно мутнеет, свинцовеет и переходит в черную, нависающую, тяжелую тьму. Там, где небо светло, на фоне его, резко и отчетливо, как вырезанные из черного картона, вычерчиваются черные столбы, стропила, колокола и решетки церковной башни. Книзу башня переходит в черные, резкие и немного непонятные силуэты церковных кровель, каких-то труб, похожих на неподвижные человеческие фигуры, которые к чему-то прислушиваются, статуй, заглядывающих вниз. Только кое-где на этом черном кружеве видны отсветы низких городских огней: тускло поблескивают крутые бока колокола, желтеют округлые края колонн; на статуе ангела, бросающегося вниз с распростертыми руками, слабо озарены лицо, грудь и верхушки крыльев.

На площадке колокольни находятся трое: Царь Голод, Смерть и старое Время-Звонарь.

Смерть стоит совершенно неподвижно, лицом сюда, и черный силуэт ее рисуется так: маленькая, круглая головка на длинной шее, довольно широкие четырехугольные плечи; все линии прямы и сухи. Окутана Смерть сплошным черным полупрозрачным покрывалом, облегающим узко: сквозь ткань чувствуется и даже как будто видится скелет. Почти так же неподвижно и только изредка качает головой старое Время. И голова у него большая, с огромной, косматой старческой бородою и волосами; в профиль виден большой строгий нос и нависшие мохнатые брови. Царь Голод движется беспокойно и страстно, так что трудно составить представление о его фигуре. Заметно только, что он высок и гибок.

Разговаривают Время-Звонарь, Царь Голод и Смерть.

— Ты снова обманешь, Царь Голод. Уже столько раз ты обманывал твоих бедных детей и меня.

— Поверь, старик.

— Как могу я поверить обманщику?

— Поверь еще раз. Только раз еще поверь мне, старик! Я никогда не лгал. Я обманывался сам. Несчастный царь на разрушенном троне, я обманывался сам. Ты знаешь ведь, как хитер, как лжив, как увертлив человек. И я губил моих бедных детей, их тощими трупами я кормил Смерть...

Показывает рукою на Смерть. Все такая же неподвижная, Смерть перебивает его скрипучим, сухим и очень спокойным голосом: как будто заскрипели среди ночи старые, заржавленные, давно не открывавшиеся ворота.

— Да,— но я еще не сыта.

Время. Ты никогда не бываешь сыта. Столько уже съела ты на моих глазах, и все такая же сухая и жадная.

Царь Голод. Но теперь я дам ей более сытную пищу. Довольно наглодалась она костей, как дворовая собака на привязи,— пусть теперь потешится разгульно над здоровыми, толстыми, жирными, у которых кровь такая красная и густая и вкусная. Смерть, дай мне руку, ты поблагодаришь меня — в честь твою будет праздник!

Смерть *(не протягивая руки, говорит тем же скрипучим голосом)*. Да,— но я никогда не благодарю.

Время. Ты лжешь, Царь Голод!

Царь Голод. Посмотри на мое лицо — разве не страшно оно. Взгляни в мои глаза — ты увидишь в темноте, как горят они огнем кровавого бунта. Время настало, старик! Земля голодна. Она полна стонами. Она грезит бунтом. Ударь же в твой колокол, старик, раздери до ушей его медную глотку! Пусть не будет спящих.

Время *(колеблясь)*. Правда, когда наступает ночь и тишиною одевается время, оттуда — снизу — приходят слабые стоны... плач детей...

Царь Голод *(протягивает руку к городу)*. Это оттуда, из проклятого города.

Время *(качает головою)*. Нет, еще дальше. Вопли женщин, хрипение стариков, вой псов голодных...

Царь Голод. Это оттуда — с полей, из глубины умирающих деревень!

Время. Нет, еще дальше, еще дальше... Как будто стон всей земли слышу я, и это не дает мне спать. Я старик, я устал, мне нужно спать, а они не дают. Мне хочется умереть. Смерть, старая подруга, когда же ты возьмешь меня?

Смерть молчит, и старое Время грустно никнет головою.

Царь Голод. Ударь в колокол! Я также несчастен. Я также хотел бы умереть. Бедные дети мои,— хотел я создать царство сильных, а создал лишь царство убийц, тупоумных, лжецов. Я не царь, я жалкий приспешник, а моя корона, моя великая кровавая корона — игрушка у ихних детей. Убей же их, Время, ударь в твой колокол! Ударь!

Время. Ты уже говорил это когда-то. И обманул.

Царь Голод. Тогда я сам сомневался.

Время. А теперь?

Царь Голод. Взгляни на моих детей! Спроси у Смерти, она никогда не лжет. Безропотные доселе, теперь они встречают ее бурей негодования, проклятиями, гневом!

Смерть *(говорит тем же сухим, спокойным голосом)*. Да — они спорят немного.

Царь Голод. Дай твою руку, Смерть!

Смерть не дает руки и молчит. Тишина. На башне в темноте медленно и печально звонят часы.

Время *(колеблясь)*. Я начинаю верить. Мне так хочется отдохнуть — умереть.

Царь Голод. Тогда не будет времени! О милый колокол, ты принесешь нам покой и отдых! Дай нежно прикоснуться к тебе моей усталой головою.

Ласкает колокол, целует нежно его крутые бока. Потом молча делает вид, что звонит; и тихонько, глядя на него, сухим, отрывистым смешком хохочет Смерть.

Время. Ты смеешься, Смерть?

Смерть. Да — немного.

Время. Ты рада? Или ты смеешься над моей доверчивостью? Но есть правда в его словах, и колокол знает это. Ночью, когда все спит и только, изнемогая, стонет земля, по его бокам пробегают тихие шорохи, незаметные, слабые звоны. Словно тысячи незримых рук ощупывают и ласкают и спрашивают: сохранился ли голос у меди. Страшно ночью на колокольне, когда мерцает внизу город неугасающими огнями и стонет в кошмаре земля... Ты слышишь?

Все прислушиваются. Царь Голод отшатнулся от колокола и слушает, напряженно выкинув руки. И тихо, звенящим шелестом вздыхает колокол и замолкает.

Смерть. Да — звенит немного.

Царь Голод. Ты слышишь! Земля требует бунта. Торопись, старик!

Время. И так каждую ночь. Как трудно слышать это.

Царь Голод. Скоро ты услышишь другие крики. В них будет гнев!

Время. И боль.

Царь Голод. Нет, гнев, гнев! Боли всегда много у земли. Гнев, гнев, старик!

Где-то внизу, в светлеющей глубине, трижды — протяжно — трубит хриплый рог. Начинаясь на низкой ноте, звук медленно замирает на высокой — чувствуется в нем тоскливый и страшный призыв. И еще раз, где-то вдали, повторяется протяжный и тоскливый зов.

Смерть. Меня зовут.

Исчезает. Некоторое время стоит молчание. Невидимые огни в городе несколько мутнеют, блекнут, и с одной стороны, высоко, начинает играть и колыхаться беззвучно красноватое зарево. По-видимому, где-то в городе начался пожар.

Время. Ушла Смерть.

Царь Голод. Ее позвали.

Время. Нет, скажи, зачем она убила моего голубя? Здесь на крыше жил голубь, стучал лапками по железу и радовал меня,— а она его убила.

Царь Голод смеется громко.

Время. Чему ты?

Царь Голод. Так. Я очень люблю ее.

Время. Вот ты смеешься, и я опять не верю тебе. Теперь ты один — скажи мне правду, Царь Голод. Ты великий предатель, ты лжец передо всеми, ты вовлекаешь людей в безумные поступки и потом смеешься над ними. Но сейчас?..

Царь Голод *(произносит торжественно и твердо)*. Клянусь.

Время. Ты дашь голодным победу?

Царь Голод. Клянусь.

Время. И мне ты дашь покой?

Царь Голод. Клянусь.

Время *(вздыхает)*. Я верю тебе. И я ударю в колокол, когда ты этого захочешь.

Царь Голод. Это будет скоро. Я устал.

Время. И я устал.

Утомленно кладет большую, лохматую голову на каменную балюстраду. Растущее зарево окрашивает красным его седые волосы и длинную худую руку, лежащую на перилах.

Царь Голод *(так же утомленно садится у ног и кладет голову на его колени. И говорит)*. Опять у них горит что-то. Но я устал. Я не пойду туда сегодня. Я побуду с тобою. У тебя так тихо.

Время. У меня страшно.

Царь Голод. Там еще страшнее. Я был везде, и страшнее всего у человека. Спой мне твою песенку, Время, дай отдохнуть великому и несчастному царю.

При блеске разгорающегося зарева Время поет тихим старческим голосом.

Песенка Времени. ...Жил на башне голубь — голубь. Стучал лапками по железу — голубь, голубь. Пришла смерть и взяла голубя. Все падает, все рушится, и все родится вновь. О безначальность, мать моя! О деточки мои — секундочки, минуточки, годочки — о бесконечность, дочь моя!..

Уже полнеба охвачено заревом, и уже не колышется плавно, а мечется и прыгает оно. Но на башне спокойно и тихо; и печально, с покорностью вызванивают часы, отмечая незримо бегущее время.

Опускается занавес

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Царь Голод призывает к бунту работающих.

Первое, что с силою овладевает сторонним зрителем, это многоголосый, сложный, но ритмичный шум от работы машин и тысяч приставленных к ним людей. Равномерные тяжелые вздохи паровиков, жужжание и свист вертящихся колес, шелест бесконечно бегущих ремней; глухие, редкие, сотрясающие землю удары больших механических молотов. На фоне этих мертвых, тяжелых, жестоко-неизменных звуков, как будто уже не зависящих от воли человека,— живой, меняющийся, но ритмичный стук многочисленных маленьких молотков. Различные по тону и силе звука, они то сливаются в общий, живой, говорливый поток, то разбегаются в одиночку, слабеют, становятся жалобны и тихи — как стая певчих птиц в лесу, разогнанных коршуном. В общем, получается какая-то мелодия, напоминающая песенку Времени.

При раскрытии занавеса глазам представляется, в черном и красном, внутренность завода. Красное, огненное — это багровые светы из горна, раскаленные полосы железа, по которым, извлекая искры, бьют молотами черные тени людей. Черное, бесформенное, похожее на сгустившийся мрак — это силуэты чудовищных машин, странных сооружений, имеющих грозную видимость ночного кошмара. Угрюмо-бесстрастные, они налегли грудью на людей и давят их своею колоссальною тяжестью. И столбы, подпирающие их, похожи на лапы чудовищных зверей, и их черные грозные массы — на тела животных, на исполинских птиц с распростертыми крыльями, на амфибий, на химер. Тяжесть, и покой, и мрак; и будто смотрят отовсюду широко открытые, недвижимые слепые глаза.

И как маленькие черные тени копошатся внизу люди. Суетливости нет в их движениях, нет живой и порывистой свободы жеста. И говорят и движутся они размеренно и механично, в ритме молотов и работающих машин; и когда кто-нибудь вдруг выступает отдельно, то кажется, что это откололась частица черной машины, странного сооружения, похожего на неведомое чудовище.

Звуки работающих молотов и машин то усиливаются, то затихают. И голоса людей вливаются в этот хор незаметно, звучат в унисон: то живые и звонкие, то глухие, отрывистые, тупые — почти мертвые.

Жалобы работающих.

— Мы голодны.
— Мы голодны.
— Мы голодны.

Трижды отрывисто ударяет большой молот.

— Мы задавлены машинами.
— Мы задыхаемся под их тяжестью.
— Железо давит.

— Гнет чугун.

— О, какая безумная тяжесть! Точно гора надо мною!

— Надо мной вся земля.

— О, какая безумная тяжесть!

Удар молота.

— Меня плющит железный молот. Он выдавливает кровь из моих жил — он ломает кости — он делает меня плоским, как кровельное железо.

— Между валами протягивают мое тело, и оно становится узкое, как проволока. Где мое тело? Где моя кровь? Где моя душа?

— Меня кружит колесо.

— День и ночь визжит пила, разрезая сталь. День и ночь в моих ушах визжит пила, разрезая сталь. Все сны, что я вижу, все слова и песни, что я слышу, это визг пилы, разрезающей сталь. Что такое земля? Это визг пилы. Что такое небо? Это визг пилы, разрезающей сталь. День и ночь.

— День и ночь.

— День и ночь.

Удар молота. Трижды.

— Мы задавлены машинами.

Звонкий рыдающий голос.

— Мы сами части машин!

— Я молот.

— Я шелестящий ремень.

— Я рычаг.

Слабый голос.

— Я маленький винтик с головою, разрезанной надвое. Я ввинчен наглухо. И я молчу. Но я дрожу общей дрожью, и вечный гул стоит в моих ушах.

— Я маленький кусочек угля. Меня бросают в печь, и я даю огонь и тепло. И вновь бросают, и вновь горю я неугасимым огнем.

— Мы огонь. Мы раскаленные печи.

— Нет. Мы пища для огня.

— Мы машины.

— Нет. Мы пища для машин.

— Мне страшно.

— Мне страшно.

Удар молота.

Голоса звучат испуганно и жалобно.

— О страшные машины!
— О могучие машины!
— Будем молиться. Будем молиться машинам.

Гимн машине.

Кто сильнее всех в мире? Кто страшнее всех в мире? Машина. Кто всех прекраснее, богаче и мудрее? Машина. Что такое земля? Машина. Что такое небо? Машина. Что такое человек? Машина. Машина.

Трижды, мрачно соглашаясь, ударяет молот.

Ты, стоящая над миром; — ты, владычица тел, помыслов и душ наших; — ты, славная, бессмертная, премудрая машина,— пощади нас! Не убивай нас — не калечь — не мучь так ужасно! Ты, безжалостнейшая из безжалостных, скованная из железа, дышащая огнем,— дай нам хоть немного свободы! Сквозь копоть твоих стекол, сквозь дым твоих труб мы не видим неба, мы не видим солнца! Пощади нас!

На мгновение умолкают маленькие живые молотки, и трижды безжалостно и тупо ударяет в темноте большой молот. И уже слышны отдельные возмущенные голоса.

— Она не слышит!
— Она глухая,— дьявол!
— Она лжет!
— Издевается над нами!
— Мы работаем для других!
— Всё для других!
— Мы льем пушки.
— Мы куем звонкое железо.
— Мы приготовляем порох.
— Создаем заводы.
— Города.
— Всё для других.
— Братья! Мы куем собственные цепи!

Частый, живой, резкий, негодующий стук маленьких живых молотков. И в такт ударов негодующие голоса.

— Каждый удар — новое звено.
— Каждый удар — новая заклепка.
— Бей по железу.

— Куй собственные цепи.
— Братья, братья, мы куем собственные цепи.

Глухой удар большого молота обрывает этот бурный и живой поток, и дальше он течет ровно и устало.

— Кто освободит нас от власти машин?
— Покажет небо? Покажет солнце?
— Царь Голод!
— Царь Голод!
— Нет, он враг. Он загнал нас сюда.
— Но он нас и выведет отсюда.
— Велика его власть! Велико его могущество!
— Он страшен. Он коварен и лжив. Он зол. Он убивает наших детей. У наших матерей нет молока. Их груди пусты.
— Грозным призраком стоит он у наших жилищ.
— От него некуда уйти. Он над всею землею.
— Тюремщик!
— Убийца!
— Царь Голод! Царь Голод!

Удар молота.

— Нет, он друг. Он любит нас и плачет с нами.
— Не браните его. Он сам несчастен. И он обещает нам свободу.
— Это правда. Он дает нам силу.
— Это правда. Чего не может сделать голодный?
— Это правда.
— Чья ярость сильнее?
— Чье отчаяннее мужество? Чего может бояться голодный?
— Ничего.
— Ничего. Ничего!

Несколько ударов молота.

— Зовите его сюда!
— Голод! Голод! Голод!
— Иди сюда, к нам. Мы голодны. Мы голодны!
— Молчите, безумцы!
— Голод! Голод!
— Он идет!
— Царь Голод! Царь Голод!
— Он пришел!
— Царь Голод!

На середину, в полосу багрового света, из горна быстро входит Царь Голод. Он высокого роста, худощавый и гибкий; лицо его, с огромными черными, страстными глазами, костляво и бледно; и волосы на точеном черепе острижены низко. До пояса он обнажен, и в красном свете отчетливо рисуется его сильный, жилистый торс. И весь он производит впечатление чего-то сжатого, узкого, стремящегося ввысь. В движениях своих Царь Голод порывист и смел; иногда, в минуты задумчивости и скорби, царственно-медлителен и величав. Когда же им овладевает гнев, или он зовет, или проклинает — он становится похож на быстро закручивающуюся спираль, острый конец свой выбрасывающую к небу. И тогда кажется, что в движении своем, как вихрь, поднимающий сухие листья, он подхватывает с земли все, что кругом, и одним коротким взмахом бросает его к небу.

Голос его благороден и звучен; и глубочайшей нежности полны его обращения к несчастным детям.

Царь Голод. Дети! Милые дети мои! Я услыхал ваши стоны и пришел. Бросьте работу! Подойдите ко мне. Бросьте работу.

Останавливается выжидающе, озаренный красным светом раскаленной печи. И медленно собираются вокруг него работающие. Только трое из них вступают в полосу света и становятся видимы отчетливо, остальные же стоят грудою темных теней; и только кое-где случайный луч выхватывает из мрака голое могучее плечо, поднятый молот или суровый профиль.

И те, которые видимы, таковы по своей внешности. Первый Рабочий — могучей фигурой своею и выражением крайней усталости походит на Геркулеса Фарнезского. Ширина обнаженных плеч, груды мускулов, собравшихся на руках и на груди, говорят о необыкновенной, чрезмерной силе, которая уже давит и отягощает обладателя ее. И на огромном туловище — небольшая, слабо развитая голова с низким лбом и тускло-покорными глазами; и в том, как наклонена она вперед, чувствуется какая-то тяжелая и мучительная бычачья тупость. Обе руки рабочего устало лежат на рукояти громадного молота.

Второй Рабочий — молодой, но уже истощенный, уже больной, уже кашляющий. Он смел — и робок; горд — и скромен до красноты, до заиканья. Начнет говорить, увлекаясь, фантазируя, грезя — и вдруг смутится, улыбнется виноватой улыбкой. На земле он держится легко, как будто где-то за спиною у него есть крылья; и, кашляя кровью, улыбается и смотрит в небо.

Третий Рабочий — сухой, бесцветный старик, будто долго, всю жизнь его мочили в кислотах, съедающих краски. Так же бесцветен и голос его; и когда он говорит, кажется, будто говорят миллионы бесцветных существ, почти теней.

Звук маленьких живых молотков совершенно затихает.

Царь Голод *(говорит властным голосом)*. Слушайте, милые дети мои! Я обошел все царство труда, царство голода и нищеты, бесправия и гибели — все великое и несчастное царство мое. Кто видел Голод плачущим? А я

плакал, дети мои, я плакал кровавыми слезами, глядя на несчастья ваших братьев. Горе, горе работающим!

Рабочие *(отвечают тихо)*. Горе!.. горе... горе работающим!

Царь Голод. И я принес вам привет от ваших братьев. И я принес вам великий наказ от ваших братьев: готовьтесь к бунту! *(Молчание. Бухает молот.)* Готовьтесь к бунту! Уже веет незримо над головою кровавое знамя его, и сам, в ночи, содрогаясь муками земли, стонет колокол всполоха. Я слышал его стон!

Молчание.

Первый Рабочий *(кладет тяжелую руку на плечо Царя Голода, несколько сгибая его, и говорит глухим, сильным голосом, словно идущим из какой-то подземной глубины)*. Я рабочий. Я стар, как земля. Я совершил все двенадцать подвигов, чистил конюшни, срубал головы гидре, точил землю и взрывал ее, строил города; и так изменил лицо земли, что теперь не узнал бы ее сам Творец. И я не знаю, зачем я делал это. Чью волю я творил? К какой цели я стремился? Моя голова тупа. Я устал смертельно. Меня гнетет моя сила. Объясни же мне, Царь! А иначе я возьму мой молот и расколю эту землю, как пустой орех.

Угрожающе поднимает молот.

Царь Голод. Погоди, мой сын! Береги свои силы для последнего великого бунта. Тогда ты узна́ешь все.

Рабочий *(угрюмо и покорно)*. Я погожу.

Второй Рабочий *(приближается к Царю Голоду и говорит возбужденно, показывая на первого)*. Он ничего не понимает, Царь. Он думает, что землю надо расколоть. Это такая неправда, Царь. Земля прекрасна, как Божий сад. Ее нужно беречь и ласкать, как маленькую девочку. Многие из тех, что вон стоят в темноте, говорят, будто нет ни неба, ни солнца, будто на земле вечная ночь. Ты подумай: вечная ночь!

Кашляет.

Царь Голод. Отчего, кашляя кровью, ты улыбаешься и смотришь в небо?

Рабочий. Оттого, что на моей крови вырастут цветы, и я уже вижу их. У одной богатой и красивой дамы я видел на груди алую розу — она и не знала, что это моя кровь.

Царь Голод *(насмешливо)*. Ты поэт, мой сын. Уж не пишешь ли ты стихов, по-ихнему?

Рабочий. Царь, Царь, не смейся надо мною. В темноте я научился поклоняться огню. Умирая, я понял, как прекрасна жизнь. О, как прекрасна! Царь,— это будет большой сад, и там будут гулять, не трогая друг друга, и звери и люди. Не смейте обижать зверей! Не смейте обижать человека! Пусть гуляют, пусть целуются, пусть ласкают друг друга,— пусть! *(Добавляет печально.)* Но где путь? Где путь, объясни, Царь Голод.

Царь Голод *(твердо и мрачно)*. Бунт.

Рабочий *(печально говорит)*. Через насилие к свободе? Через кровь к любви и поцелуям?

Царь Голод. Другого пути нет.

Молчание. Тяжелые вздохи.

Третий Рабочий *(старик, подходит и говорит бесцветным голосом)*. Ты лжешь, Царь Голод. Так ты убил и отца моего, и деда, и прадеда, и нас хочешь убить. Куда ты ведешь нас, безоружных? Разве ты не видишь, какие мы темные и слепые и бессильные. Ты предатель. Это у нас только ты царь, а у них — ты лакей за ихним столом. Это у нас ты носишь корону, а у них ты ходишь с салфеткою.

Царь Голод *(кричит гневно)*.

— Молчи! Ты выжил из ума!

Твердые голоса.

— Нет.

— Пусть говорит.

— Говори, старик.

— А ты, Царь, слушай.

Царь Голод *(извиняясь, мягко)*. Простите, дети. Конечно, пусть говорит. Говори, старичок, не бойся.

Рабочий. Я не боюсь. Я винтик из машины — мне нечего бояться. А зачем ты обманываешь нас? Зачем внушаешь нам обманчивую веру в победу? Разве побеждал когда-нибудь голодный?

Царь Голод. Да,— но теперь победит.

Голоса.

— Необходимо кончить.

— Так жить нельзя.

— Лучше смерть, чем эта жизнь.

— Другого пути нет.

Первый Рабочий. Иначе я подниму мой молот...

Второй Рабочий. А если есть другой путь?

Голоса.

— Какой?
— Говори! Какой?
— Он бредит!

Сближаются вокруг Царя Голода и Первых Рабочих.

Второй Рабочий *(мечтательно)*. А если... попробовать... зажечь землю мечтами?

Смех.

Второй Рабочий *(волнуясь и спеша, говорит)*. Погодите. Есть другой царь, не Царь Голод. *(Испугавшись.)* Но я не знаю, как его зовут.

Смех.

Царь Голод *(говорит покровительственно)*. Ты поэт, мой сын. Поэты же земли не зажигали никогда. И зажечь ее может только один могучий, один великий и всесильный Царь Голод! Слушайте меня, дети мои! *(Опустив голову, говорит угрюмо и сильно.)* Здесь ваш старик назвал меня лакеем. Я разгневался, ибо тяжко брошенное оскорбление,— но это правда. Да... Я лакей. Я прислужник у сытых. Я наемный убийца в их руках, палач, казнящий только безвинных. О хитрый, о подлый человек, что́ сделал ты со мною? В какое позорище превратил ты мой великий, мой первозданный трон! *(Говорит нежно, ласкающим голосом.)* О дети, о милые дети мои! Посмотрите на лес, загляните в глубины рек, морей и болот, где еще царствую я беспредельно,— как там прекрасно! Все движется, все растет, одевается силой и красками, стремится стать радугой и божеством,— как там прекрасно! И там много трупов, но нет убитых, нет безвинно казненных — ибо я царь Справедливости в великом царстве моем! *(Загорается гневом.)* А здесь? О хитрый, о подлый человек! Ничтожный, сытый, сидит, распустивши слюни, и гоняет меня по свету, как бешеную, но послушную собаку. Царь Голод, туда! Царь Голод, сюда! Убей тех! Обессиль этих! Истреби младенцев и женщин! Отними красоту и мощь у прекрасного тела, и пусть над миром буду только я, сытый, ничтожный, дряблый. Мне не хочется есть, так засунь же мне в глотку баранью ногу, пропихни ее в мое толстое чрево! И я засовываю, засовываю — и салфеткой вытираю сальные губы!

Работающие хохочут, и Царь Голод вторит им гневно и продолжает.

Как смел ты извратить мою волю, о подлый, о хитрый человек! — Голодные — со мною против сытых! Вернем человеку его мощь и красоту, бросим его снова в поток беспредельного движения! Со мною, голодные! *(Мечется по кругу.)* Кто сказал, что вы слабы? Вы сила земли. Разве ты слаб? *(Ошибаясь, схватывает за плечо старика, и тот шатается бессильно.)* Да, я ошибся. Ты слаб. А ты, а ты, мой друг? *(Хватает за руку Первого Рабочего; любуется им.)* Разве это не сила? Разве это не красота? Посмотрите на него. На эти мышцы, на эту грудь! Милый сын мой, ты достоин быть царем, а ты только раб. Дай твою руку, я поцелую ее.

Порывисто бросается на колени и целует тяжелую, вялую руку.

Первый Рабочий. Я ничего не понимаю.

Голоса.

— У них оружие!
— У них пушки, отлитые нами!
— У них инженеры.
— Ученые.
— У них власть, и сила, и ум!

Царь Голод прислушивается, вытянув шею.

— У них машины!
— Страшные машины!
— Мудрые машины!

Царь Голод *(топнув ногою, кричит гневно)*. Так уничтожьте их! Я ненавижу машины! Они лгут, они обманывают, они порабощают вас. Разбейте их.

Голоса. У них пушки!

Царь Голод. Так отнимите их!

Первый Рабочий. А кто будет управлять? Мы не умеем, царь!

Царь Голод *(полный бешеного гнева, вдруг кричит властно, в безумии)*. Молчите!

И когда все стихает, он говорит напряженно сквозь зубы, еле сдерживая клокочущий гнев.

Безумцы! Пушки нужны им, а не вам. Отнимите их только, и они станут бессильны и кротки, как домашние животные, они будут плакать и молить вас о пощаде.

Голоса. Это правда!

Царь Голод. Отнимите пушки — и к вам на службу придут инженеры и ученые, и вы станете господами земли!

Голоса.

— Это правда!

— Нет, это ложь. Братья, готовится новое предательство!

— Нет, это правда.

Царь Голод. К бунту, дети мои! На улицы! Ломайте машины, режьте ремни, заливайте котлы,— на улицы! К бунту, дети мои. Вас зовет великий и несчастный царь!

Голоса.

— На улицы!
— Мы боимся!
— Нас убьют!
— На улицы!
— Так жить нельзя. Долой трусов!
— Ломайте машины!
— Мы боимся!
— Боимся!
— Пощади нас, Царь Голод. Мы так боимся!

Царь Голод

(властным движением руки восстанавливает тишину и, весь озаренный красным отсветом горна, говорит с холодной и безнадежной свирепостью). Вы боитесь, дети? Пусть так. Но послушайте же меня, трусы. Не с пальмовой ветвью мира пришел я к вам,— я к вам прислан для убийства. Вы не хотите остановить машин,— тогда остановлю их я. Вы не хотите бросить работу, тогда заставлю бросить я. И я пойду отсюда за вами — я ворвусь в ваши жилища, я передушу ваших младенцев, я выжму последнее молоко из грудей ваших жен и матерей — и убью их. И над их трупами вы заплачете горькими слезами!

Кричит свирепо:

— Смерть! сюда!

Среди молчания, в жуткой тишине, трижды раздается хриплый звук рога, сперва дальше, потом все ближе и ближе. Тухнут, точно залитые мраком, дальние горны, и позади рабочих, в углу, встает что-то огромное, черное, бесформенное.

Это ты, Смерть?

Молчание и сухой, недовольный ответ:

— Да — это я.

Работающие робко жмутся друг к другу, освобождая угол, в котором черным и бесформенным пятном возвышается Смерть.

Царь Голод. Вы слышали? Она уже здесь. Она уже стоит над вами и ждет послушно. Одно движение, один лишь знак — и черною тучею она ринется на ваши дома, безжалостная, и изобьет ваших жен и детей. Вы знаете, что это значит, когда по темным улицам длинною вереницею несут гробы — маленькие гробики — крошечные гробики — деревянные тихие колыбельки?

Суровое молчание.

Решайте же, трусы: для кого смерть, для кого гибель? Для вас или для детей ваших? Скорее. Она ждет.

Молчание.

Первый Рабочий *(решительно)*. Для нас.
Второй Рабочий. Для нас, для нас!

Многочисленные суровые, покорные, восторженные голоса:

— Для нас! Для нас! Бери нас, Смерть. Победа или Смерть! Смерть!

С криком бросаются к ногам неподвижной Смерти. И, озаренный красным светом горна, охватив голову руками, громко, в безумном отчаянии и восторге рыдает Царь Голод.

Опускается занавес

КАРТИНА ВТОРАЯ

Царь Голод призывает к бунту голодную чернь.

Ночь.

Подобие черной, плоской, уходящей ввысь стены. На самом верху ее, видимые только на две трети, несколько очень больших окон с зеркальными стеклами. Окна очень ярко освещены — там происходит бал. Сквозь полупрозрачные гардины и сетку тропических растений видно неопределенное движение; иногда танцующая пара проносится близко, и тогда на мгновение мелькает черный костюм мужчины, белое платье и белые голые плечи женщины. С редкими перерывами играет красивая нежная музыка; и только раз, на короткое время, она играет тот мотив, что играется на Балу у Человека. Случается раз или два во время картины, что кто-нибудь очень красивый подходит к окну и неопределенно смотрит в темноту улицы; или молодая, красивая, влюбленная пара скрывается за гардины и предается нежным, быстролетным ласкам.

Внизу стены, видимое в разрезе, подвальное помещение дома. Сводчатые потолки очень низки, и, точно раздавленное огромною тяжестью дома,

помещение имеет форму сплюснутого полуовала. Походит немного на сплюснутое тяжестью камня жерло большой печи. Освещено оно несколько висячими лампами; в общем, свет слабее, чем в верхних господских окнах, но достаточно ярок, чтобы с полною ясностью можно было рассмотреть все, находящееся внутри.

В углах помещения и в дальнем конце его валяется всякая рухлядь: пустые, полурассыпавшиеся бочки без обручей, какие-то доски, деревянные козла и т. п.— по-видимому, для жилья оно не служит. Посредине длинный стол, и за ним, на бочонках и досках, но в строгом и чинном порядке сидят собравшиеся представители голодной черни и с несколько зловещей точностью пародируют настоящее деловое заседание. Есть чернильница и звонок, и даже председатель, который, пошатываясь, сидит на высоком бочонке.

Всего собралось человек двадцать. Это уличные дешевые проститутки, хулиганы и их подруги, сутенеры, мелкие воры, убийцы, нищие, калеки и другие отбросы большого города, все самое ужасное, что может дать нищета, порок, преступление и вечный, неутолимый душевный голод. Только у двух-трех, в том числе у одной девочки, их лица и костюм походят на обыкновенные человеческие лица и платья; остальные — сплошное, дикое и злое уродство, только смутно напоминающее человека. Почти полное отсутствие лба, уродливое развитие черепа, широкие челюсти, что-то скотское или звериное в походке и движениях делают их существами как бы совсем особой расы. Одеты фантастически и грязно, и только сутенеры щеголяют нелепо-франтовскими нарядами, пестрыми галстуками и даже тщательно расчесанными проборами на головах микроцефалов. Некоторые лица очень темны; другие красны; и есть несколько зловещих лиц, бледных смертельно, совершенно белых, с яркими пятнами румянца на скулах.

Председатель — толстый, низкий, с вылупленными глазами и остроконечным лысым черепом, походит на задыхающуюся пьяную жабу. Лицо красное.

Председатель

(звонит в колокольчик и говорит, задыхаясь, но очень миролюбиво).

— Все... получили... повестки?

— Никто не получал.

— Ну, все равно, заседание состоится и без повесток. Итак, госпожи проститутки... и стервы, господа... хулиганы, карманники, убийцы и сутенеры... объявляю заседание открытым. И первым делом, как председатель... прошу господ членов откровенно сознаться: кто принес с собою водку?

— Я.

— И я. А тебе не дам.

— У всех есть.

— Э... это нехорошо. Тут пить нельзя, а кто хочет, пусть отойдет в тот угол, за бочку, там буфет. И, пожалуйста, прошу, чтобы за столом не спали: вон дама уже храпит. Эй, дама! Секретарь, дайте даме по шее!

— Вставай, дьявол!

— К черту женщин!

— К делу.

— Ах, как же можно без дам. Дамы украшают, так сказать.

— Молчи, сутенер!

— Вор!

Председатель. Ну, и это нехорошо. Господин вор! Господин сутенер! Тут все равны. Ну и дамы тоже...

Удивленно таращит кверху глаза и вдруг кричит:

Эй, музыка там, замолчи! — Она не молчит.

— К черту председателя!

— Это почему?

— Он пьян. Надоел. К делу! Он пьян.

— Ну, и это нехорошо говорить так. Разве я тут пил? Я раньше напился. Но если все хотят...

— Все! Все.

— Ну и черт с вами!

Уходит в угол и там пьет, достав бутылку из кармана. На председательское место решительно и быстро вскакивает Молодой Хулиган с смертельно бледным, бескровным лицом и черными закрученными усиками. Повидимому, он считается очень красивым и знает это, потому что сильно рисуется и кокетничает. Но минутами все это соскакивает, и тогда в зверином оскале зубов, в бледном лице, в том, как нежно и томно щурятся маленькие острые глазки, чувствуется беспощадная свирепость, безграничная плоскость и обнаженность души, полное отсутствие чего бы то ни было сдерживающего. Говорит, несколько грассируя.

— Прошу молчать. Я председатель.

— А кто тебя выбрал?

— Сам выскочил.

— Нет, это хорошо. Он может...

Председатель *(свирепо оскалив зубы)*. Молчать! Тихо. *(Продолжает томно и нежно.)* Тут у некоторых есть ножи!.. Кто будет спорить против избрания, шуметь, нарушать порядок, того я просил бы сходить к попу и исповедаться в грехах...

Довольный смех.

Молчать! Эй, посадить того пьяницу на место.

— Тут буфет.

Пьяницу, бывшего председателя, бьют и сажают на место.

— Ну и сел.

— Молчать! Ставится на обсуждение вопрос о необходимости всеобщего разрушения.

— Как?

— Всеобщего разрушения. Ораторов прошу записаться в очередь. Женщин и пьяниц прошу говорить только по специальному приглашению председателя. Тихо. Кто имеет сказать?

Встает один.

— Я предложил бы подождать Отца.

Председатель *(мрачно)*. Это зачем?

— Он созвал нас сюда.

— Да, верно.

— Подождать!

— Молчать! С места не говорить. Неизвестно, когда придет Отец, а нам ждать нельзя. У многих сегодня ночью дела. Предлагаю приступить к прениям.

— Виноват: очень мешает музыка и топот танцующих.

— Пусть танцуют. Музыка достаточно красива, чтобы вдохновить ораторов. Вам что угодно?

— Я желал бы сказать первый. Сегодня ночью мне и моему уважаемому товарищу предстоит вырезать целую семью. Вы понимаете, господин председатель, что этот труд потребует много времени, и я...

— Понимаю. Прошу.

Оратор начинает сладким голосом:

— Уважаемое собрание! Не осмеливаюсь сказать: высокое собрание, так как, находясь в подвале...

— Короче.

— Слушаю-с. Когда я родился...

Председатель *(гневно)*. То родился дурак. Вам предстоит вырезать целую семью, а вы начинаете с рождения, как член парламента.

— Но и члены парламента...

— Прошу подчиниться. Вообще предлагаю говорить не долее двух минут. У кого-нибудь есть часы? — я свои забыл дома.

Один из членов вынимает из кармана десяток часов и кладет на стол.

— Есть.

— Благодарю вас. Достаточно одних. Во избежание дальнейших задержек предлагаю в речах ограничиться только предложением способов разрушения, так как мотивы известны.

— Нет, не всем. Пусть говорят.

— Как танцуют! Они пол провалят на наши головы.

— Им весело.

— Ничего. Скоро будут плакать.

— А мы танцевать!

— Молчать! Итак, предлагаю: две минуты — о мотивах разрушения. Две — о способах такового. Прошу начать.

Оратор с темным лицом глухо говорит:

— Мы голодны и, как собаки, выброшены в ночь. Нас ограбили, у нас отняли все: силу, здоровье, ум, красоту...

— А их женщины красивы!

— И мужчины тоже.

— Молчать!

— Мы бесстыдны, безбожны, бессовестны, и на всей земле у нас нет ничего. Мы хуже скотов, потому что когда-то были людьми. И я предлагаю *(указывает наверх)* разрушить, уничтожить, стереть с лица земли. Способ: предлагаю отравить ихний водопровод.

— А где мы возьмем столько яду?

— Мы ограбим аптеки.

— Глупости. Мы сдохнем сами.

— Мы будем пить из реки. А если и издохнем...

— Я не хочу умирать.

— К черту! Не годится. Следующий!

Поблизости раздается трижды протяжный, хриплый звук рога, предвещающий приближение Смерти. Никто, однако, его не слышит. Встает оратор, старик с красным лицом.

— Я заметил, что вся их сила *(указывает наверх)* в книгах. Когда человек прочтет много книг, он становится умный. А когда он становится умный, он начинает грабить, и с ним ничего не поделаешь. Тогда у него делается особенное лицо, и речь, и платье, а мы остаемся в дураках, и из нас как насосом выкачивают жизнь. И я предлагаю уничтожить ихние книги. Я ненавижу книги. Когда мне попадается одна, мне хочется ее бить, плевать ей в рожу, топтать и говорить: сволочь! сволочь!..

— Но как уничтожить?

— Вы глупы, оратор. Они напечатают вновь.

— Еще больше!

— Книг так много!

— Довольно! Голосование потом. Следующий оратор.

— Я предлагаю...

Пьяница, бывший председатель, валится со стула. Одновременно с этим входит Смерть и садится на свободное место. Вверху — веселая музыка, и кто-то красивый подходит к окну и неопределенно всматривается в темноту улицы.

При свете можно рассмотреть лицо Смерти. Оно маленькое, сухое, темное, с большими темными провалами глаз и постоянно обнаженными крупными зубами, похожими на белые клавиши рояля. Очень спокойное. Пьяницу осматривают.

Председатель. Издох. Отволоките его в угол.

Труп грубо оттаскивают в угол, и там лежит он все время, выпятив круглый живот, подошвами к зрителям.

Прошу на места. Кто это плачет?

— Его любовница.

— Его любовница? Сударыня, и вы могли любить эту свинью? Прошу вас замолчать, однако. Иначе велю вывести. Молчать!

— Я не буду.

— Прошу оратора продолжать.

— Я предлагаю, извините... Тут есть сад с зверями, с тиграми... Я предлагаю: взломать клетки и выпустить зверей.

— Это глупо. У них есть ружья, дома,— вас слопают первого...

— Ну хоть попугать.

— А зачем это нужно?

— Так, весело очень. А потом *(говорит нежным голосом)* там в саду бывают ихние деточки, так вот, может, хоть одного ребеночка... деточку... Посмотреть бы.

— Это бы и я посмотрел.

— Мне нравится.

Плаксиво шмурыгает носом и просит:

— Одного бы... деточку...

— Верно! Верно! Нужно уважить старика.

Председатель *(гневно)*. Молчать! Что нам один ихний ребенок, десяток, сотня. Долой нежности! Необходимо дело. Предлагайте! Предлагайте!

Все растерянно переглядываются, бессильные что-либо придумать. Отдельные вскрики:

— Бить их на улицах!

— А полиция?

— Собраться в дружины и...

— Мы раньше перегрызимся сами.

— Вот что! Слушайте. Да слушайте же! Заразить их нашими болезнями.

— Сифилисом!

— Тифом!

— Холерою!

Председатель. Вздор! У них есть доктора. На тысячи наших ихних подохнет только один. Да ищите же! Неужели мы так бессильны?

— Проклятые книги!

— Что делать?

— Танцуют.

— Где же Отец?

— Мы бессильны! Проклятые! Танцуют. Где Отец?

Все, за исключением спокойно сидящей Смерти, вскакивают и, смешавшись в груду разъяренных тел, протягивают к низкому, давящему своду угрожающие руки.

— Проклятые!

— Танцуйте! Танцуйте!

— Мы придем к вам. Открывайте двери, мы придем к вам!

— Передушим ваших детей!

— Проклятые!

— Сожжем ваши книги!

— Принесем вам и сифилис, и холеру, и тиф!

— Проклятые!

Бессильный и злобный скрежет зубов. Быстро входит Царь Голод.

— Дети мои!

Все со стонами, с плачем, с рыданиями и визгом бросаются к нему, окружают, падают на колени, ловят его руки. Образуется группа: в центре, возвышаясь, Царь Голод, и у ног его, дрожащие, прижимаются к нему несчастные. В стороне остаются только Смерть и Председатель-Хулиган. Он сложил руки на груди и презрительно смотрит на стонущих.

Царь Голод. Дети мои! Любимые дети Голода! Несчастные дети мои!

Гладит по склоненным головам. Все стонет. Отделяется один и, стоя на коленях, говорит дрожащим, запинающимся, картавым голосом, как ребенок:

— Отец! Посмотри, что они сделали со мною! Отец! *(Плачет, утирает слезы и продолжает.)* Отец, посмотри, какой у меня низенький лоб. Я не могу думать, Отец. Посмотри на мои глазки — разве это глаза? В них ничего не видно. Они всего съели меня, Отец. От меня ничего не осталось, Отец. Я плакать буду.

Плачет.

— Почему он плачет один? Разве мы лучше?

— Разве ему хуже, чем нам?

— Будем плакать! Будем плакать!

— Положи руку на мою несчастную голову. Я ребенка убила.

— Приласкай меня, Отец!

— Пожалей!

— Несчастные мы! — Забытые!

Плачут. И, закрыв руками лицо, плачет сам Царь Голод.

— Бедные! Бедные! *(говорит он сквозь слезы.)*

Все слова, стоны и рыдания сливаются в один протяжный вопль, полный невыносимой, подземной тоски. Музыка вверху, точно испугавшись, играет красиво и печально. И, презрительно сложив руки на груди, смотрит на плачущих председатель.

Царь Голод *(очнувшись)*. Довольно, дети!

Председатель. Да. Я думаю, что довольно хныкать. Отец, простите меня, но вы внесли беспорядок в наше собрание. Мы люди занятые, нам некогда.

Царь Голод. Продолжайте заседание.

Председатель. Вам принадлежит председательское место.

Царь Голод. Останьтесь на нем вы. Я буду только гостем.

Председатель *(польщенный, кланяется)*. На места! Молчать! Кто еще плачет? Закройте шлюзы, иначе выгоню!

Все, вздыхая, рассаживаются.

Царь Голод *(садится возле Смерти)*. И ты тут?

Смерть. Да,— дело было.

Царь Голод. Вон тот, в углу?

Смерть. Да. И еще будет.

Председатель *(звонит)*. Заседание продолжается.— Кто имеет сказать?

Встает маленькая девочка; у нее очень бледное тонкое лицо и большие, черные, печальные глаза. Оправляет платьице. За несколько времени до ее

речи, произносимой очень нежным детским голоском, но без смущения, наверху, у освещенного окна, происходит следующее: отодвигаются гардины, и входят двое: молодая девушка с обнаженной гордой шеей, на которой легко и строго сидит красивая задумчивая головка, и через мгновение, следом за ней, влюбленный юноша. Он любит ее красивою и чистой любовью, а она?.. Быть может, любит, быть может, нет. Стоит, опустив ресницы, прекрасная и гордая; и вдруг быстро пожимает ему руку, и вдруг, как солнце, озаряет его кротким сияющим взглядом и светлой тенью выскальзывает из-за светлых гардин. Он протягивает за ней руки; но ее нет; и, полный счастья, быть может, слез, обращает он к темной улице свое побледневшее лицо. А внизу:

Председатель. Ты, девочка? Разве ты умеешь говорить?

Девочка. Да. Я хочу сказать тоже. Можно?

Царь Голод *(удивленно)*. Чей это ребенок?

Девочка. Я не ребенок. Я блудница. Мне сейчас двенадцать лет, хотя на вид я кажусь несколько старше. А когда мне было десять, мамаша продала меня одному господину *(показывает наверх)* за двадцать рублей и бутылку водки. Это недорого, но мамаша тогда была неопытна, так как я первая ее дочь; остальные пошли дороже. Сестричка Лизанька, которая удавилась...

Председатель. Говори только о себе. Нам некогда.

Девочка. Хорошо — я так только, вспомнила. С тех пор, вот уже два года, я каждую ночь имею одного или двух мужчин, но платят они недорого. И деньги мои — ведь это мои деньги? — я отдаю моему любовнику, чтобы он не так бил меня...

Встает рослый франт с рыжими усами и хрипло, с самодовольством, подтверждает:

— Это я.

— Молчать! Продолжай, но короче.

— Что же еще? Ах, да. Я научилась пить водку; я и теперь пьяна, но только немного. Что же еще? Ах, да. У меня очень болит сердце.

Садится.

Царь Голод *(поднимает голову кверху и говорит тихо, сквозь зубы)*. Вы слышите, проклятые!

Председатель. Девочка, встань. Чего же ты хотела бы для них?

Девочка *(встает и оправляет платьице)*. Я желала бы, чтобы все они умерли.

Царь Голод *(наклоняясь к Смерти)*. Ты довольна?

Смерть. Да, приятно слышать.

Председатель. Убежден, что девчонка высказала наше общее пожелание. Но чтобы не вышло *(рисуясь)* юридической ошибки, я ставлю вопрос на баллотировку. Тех, кто желает оставить им жизнь — прошу встать.

Все сидят. Один пьяный пробует встать, но ему объясняют, в чем дело, и он садится.

Так. Никто. Теперь прошу встать тех, кто за смерть.

Все дружно встают, в том числе Царь Голод и Смерть.

Так. Встали все.

Суровый и мрачный голос. Нет, еще не все. А вон тот?

Показывает в угол, где лежит мертвый. Все взоры угрюмо оборачиваются в эту сторону.

Сдержанные мрачные голоса.

— Он также должен голосовать.
— Мертвые также имеют голос.
— Поднимите его!
— Поднимите мертвого!

Подходят трое и, среди молчания, поднимают мертвого и держат его стоя. Голова мертвеца свесилась, колени подогнуты.

Суровый голос. Теперь все.

Председатель *(говорит торжественно, протянув руку кверху)*. Присуждены к смерти единогласно.—Прошу садиться.

Царь Голод *(Смерти, тихо)*. Послушай, тебе нельзя вставать.

Смерть. Убирайся!

Председатель. Но, чтобы впоследствии не заслужить упрека в несправедливости и соблюсти все необходимые...

Запинается.

Царь Голод *(подсказывает)*. ...Процессуальные.

Председатель. Да, я знаю... Процессуальные формы, я предложил бы кому-нибудь из присутствующих взять на себя их защиту. Кто желает?

Молчание. Подозрительно и хмуро оглядывают друг друга. И внезапно дружно веселый хохот.

Голоса.

— Он остроумен!
— Защищай сам!
— К дьяволу их!
— Молчать! Итак, никто из присутствующих...

Встает старая пьяная женщина.

— Вот только насчет детей. Детей бы не нужно убивать.

Вскакивает худой, длинноволосый, с близоруким, ошалелым взглядом.

— Ну да: не надо детей, а потом не надо женщин. А дети вырастут, а женщины нарожают новых... Это, тетка, называется гуманизм; нам, тетка, это не к лицу... Детей!

— Ну, не знаю, как хотите. Я думала... а может, и ваша правда. Я не знаю.

Поднимается беззубый, бритый. Лицо и лысина ярко-красного цвета, нос синий; и говорит он вкрадчиво:

— Как бывший юрист, я осмелюсь, однако, предложить на рассмотрение такой казус. В некоторых случаях, при так называемых волнениях или народных бедствиях, одному из членов нашей почтенной корпорации приходится вступить в интимные отношения с одной из тех *(указывает наверх)* дам или девиц, результатом чего является плод. Так как же полагает собрание относительно детей, родящихся от подобного морганатического брака? Убивать также или оставлять некоторым образом на семя? для обсеменения, так сказать, человечества?

Председатель. Это к делу не относится.

— Виноват-с. Как бывший юрист...

Садится.

Председатель. Вопрос о средствах. Здесь, Отец, обсуждался вопрос о средствах, как уничтожить... А где же тот, которому нужно вырезать семью?

— Он очень извиняется. Он ушел.

— И вот как раз перед вашим приходом, Отец, мы пришли к очень грустному выводу: мы бессильны!

Царь Голод. Вы бессильны!

Председатель. Да.

Царь Голод. Вы! Кто же тогда силен, если не вы, любимые дети Голода!

Председатель. Но мы не можем причинить им настоящего вреда.

Царь Голод. Вы! Да разве теперь, спокойно сидя здесь, в подвале, вы не являетесь тем мраком, который

гасит их огни? Разве, издыхая, не источаете вы яд, который отравляет их? Вы почва города, вы первооснова их жизни, вы щиплющийся ковер, к которому прилипают их ноги. Великий мрак идет от вас, дети мои, и безнадежно трепещут во мраке их жалкие огни.

Председатель *(гордо)*. Это правда.

Голоса.

— Но это мало!

— Их нужно истребить!

— Отравить воду!

— Научи, Отец! Мы ждали тебя. Не оставь детей.

— А иначе к черту!

— Танцуют, проклятые!

Председатель. Молчать!

Царь Голод *(встает)*. Вам мало этого! Вы недовольны? Так слушайте, дети мои: готовится великий бунт!

Голоса.

— Ого!

— Бунт!

— Горячая потеха! Хо-хо-хо!

— Запасайтесь спичками.

— Спички дешевы!

— Народное бедствие. В это время не платят страховых премий!

— Огонь!

— Будет светло. Хо-хо-хо!

— Молчать!

Царь Голод. Но ждите, дети мои. Пробегут короткие дни, и Время снова ударит в колокол всполоха. И тогда — на улицы, в дома!

Стонут от восторга и скрежещут зубами.

— Молчать!

— А пока — выползайте понемногу из ваших нор. Черными тенями легонько крадитесь средь народа — и насилуйте, убивайте, крадите и смейтесь, смейтесь! Уже легче стало дышать, уже пахнет гарью и свободнее выходит наружу зверь — близится ночь. Когда ударит колокол...

Полный беспорядок. Крики восторга, шум, дикий свист. Кто-то в безумии кружится, как юла, падает на пол и хохочет. Прорезаются отдельные возгласы.

— На улицы!

— В дома! В их спальни!
— Будем жечь! жечь!

Восторженный визг.

— Я буду много кушать.

Протяжный дикий свист.

— Сожжем весь город!
— Главное — книги! Книги, книги, книги!
— Будем дробить головы.
— Да здравствует Смерть!

Смерть встает и серьезно кланяется.

— Ага, проклятые! Дождались! — Танцуют! — Скоро, скоро.
— Туда, наверх.

Как сухой лес, тянутся кверху худые, угрожающие руки. Свист.

— Дождались. Ага! Скоро, скоро. Танцуйте, проклятые!
— Да здравствует Смерть!

Смерть снова встает и серьезно кланяется. Шум несколько тише. Председатель, с ярко горящими пятнами румянца на скулах, жмет руку Царю Голоду.

— Спасибо, Отец.
— Много прольешь ты крови, сынок.
— Много, Отец.
— Танцевать!

Восторженный визг.

— Я буду много кушать!
— Танцевать!
— Музыка бесплатная.
— Пока внизу.
— А там и наверх!

Председатель *(вскакивает на бочонок и кричит)*. Тише! *(Продолжает, несколько рисуясь.)* Господа, я предлагаю, пользуясь тем, что музыка бесплатна, устроить легкий бал. Думаю, что присутствующие дамы и девицы одобрят мое предложение. *(Радостный визг.)* А что́ вы скажете, Отец?

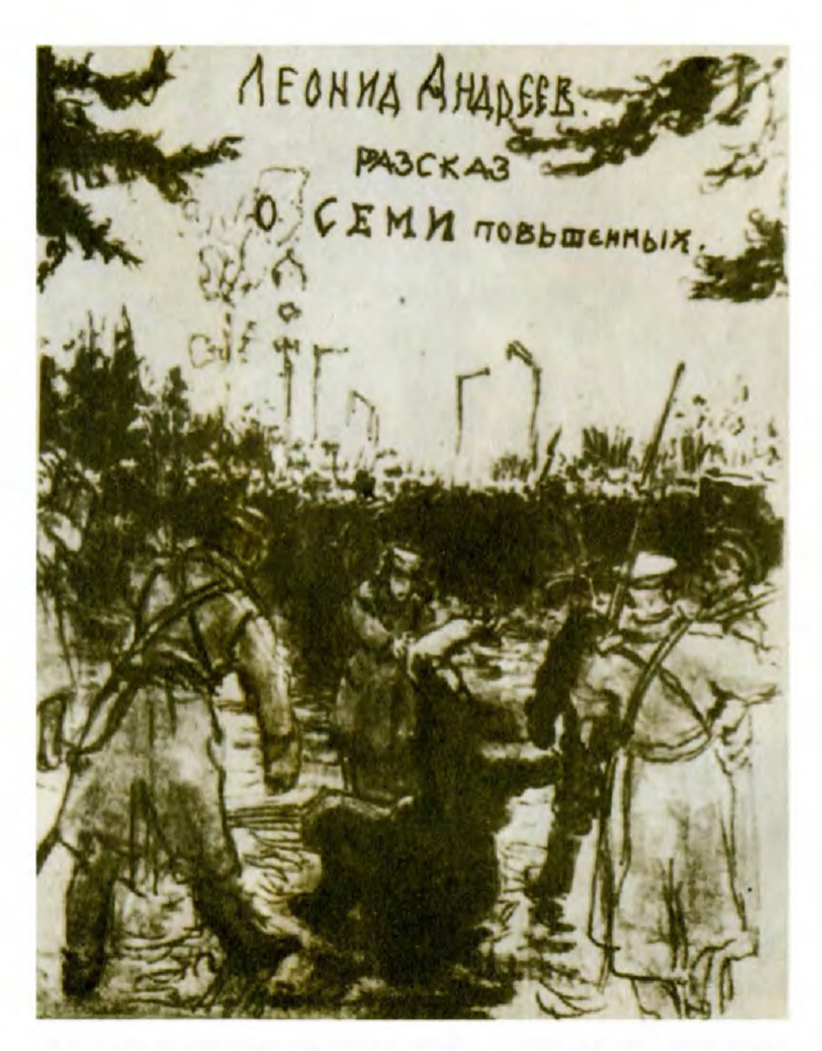
Царь Голод *(громко)*. Да. Они танцуют — будем танцевать и мы. Сольем наше веселье — пусть пляшет вся земля! Танцуйте, дети!



Л. Андреев. Фото. 1910-е гг.



Анна Ильинична Андреева (рожд. Денисова; по первому браку — Корницкая; 1885—1945). Фото. 1910-е гг.



«Рассказ о семи повешенных». Рис. И. Е. Репина. 1908 г. Государственная Третьяковская галерея. Москва



«Рассказ о семи повешенных». Рис. И. Е. Репина. 1908 г. Ульяновский областной музей

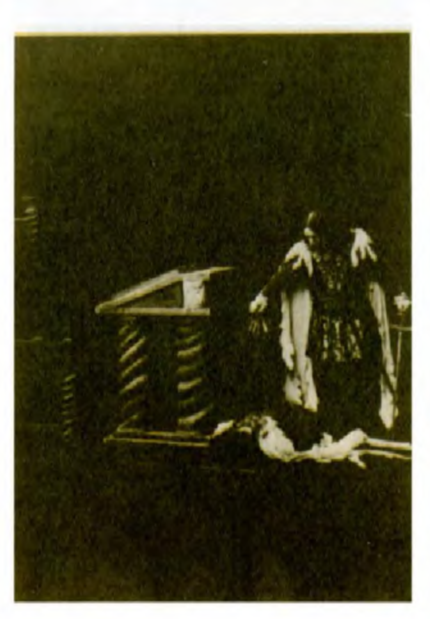


«Рассказ о семи повешенных». Иллюстрации к американскому изданию (Нью-Йорк). Художник Ирвинг Политцер



«Царь Голод». Издание с иллюстрациями Е. Е. Лансере (СПб., 1908).
Шмуцтитул
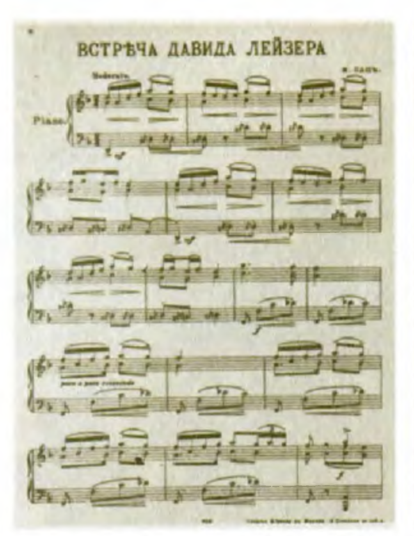
«Черные маски». Театр В. Ф. Комиссаржевской в Петербурге. 1908 г.
Сцены из спектакля
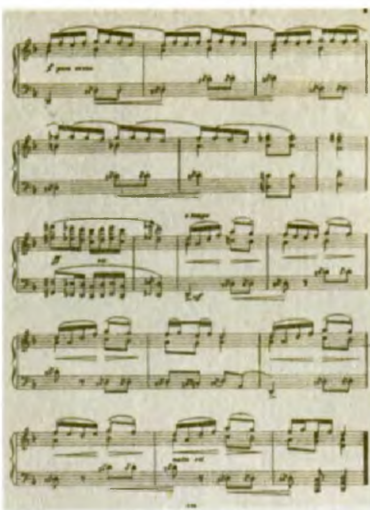




«Черные маски». Театр В. Ф. Комиссаржевской в Петербурге. 1908 г.
Сцены из спектакля







«Анатэма». Московский Художественный театр. 1909 г. Ноты музыки Ильи Саца к сцене «Встреча Давида Лейзера»



«Анатэма». МХТ. 1909 г. Обложка отдельного издания нотного текста музыки Ильи Саца к спектаклю. Изображен В. И. Качалов в роли Анатэмы. Художник В. Е. Егоров



«Анатэма». МХТ. 1909 г. Леонид Андреев в наряде Трубача.





«Анатэма». МХТ. 1909 г. В. И. Качалов в роли Анатэмы и А. Л. Вишневский в роли Давида Лейзера





«Анатэма». МХТ. 1909 г. А. Н. Лаврентьев, С. А. Мазалевский и В. Х. Бальцев в сцене из спектакля

«Анатэма». МХТ. 1909 г. В. Н. Добровольский, А. А. Попов и М. Л. Медведев в сцене из спектакля



«Анатэма». МХТ. 1909 г. Н. С. Бутова в роли Суры и М. Н. Германова в роли Розы



«Анфиса». Театр К. Н. Незлобина в Москве. 1910 г. П. Л. Вульф в роли Ниночки и арт. Васильева в роли Бабушки. Сцена из I д.



Сцена из I д.



Сцена из III д.



«Gaudeamus». Театр К. Н. Незлобина в Москве. 1910 г. Сцена из I д.

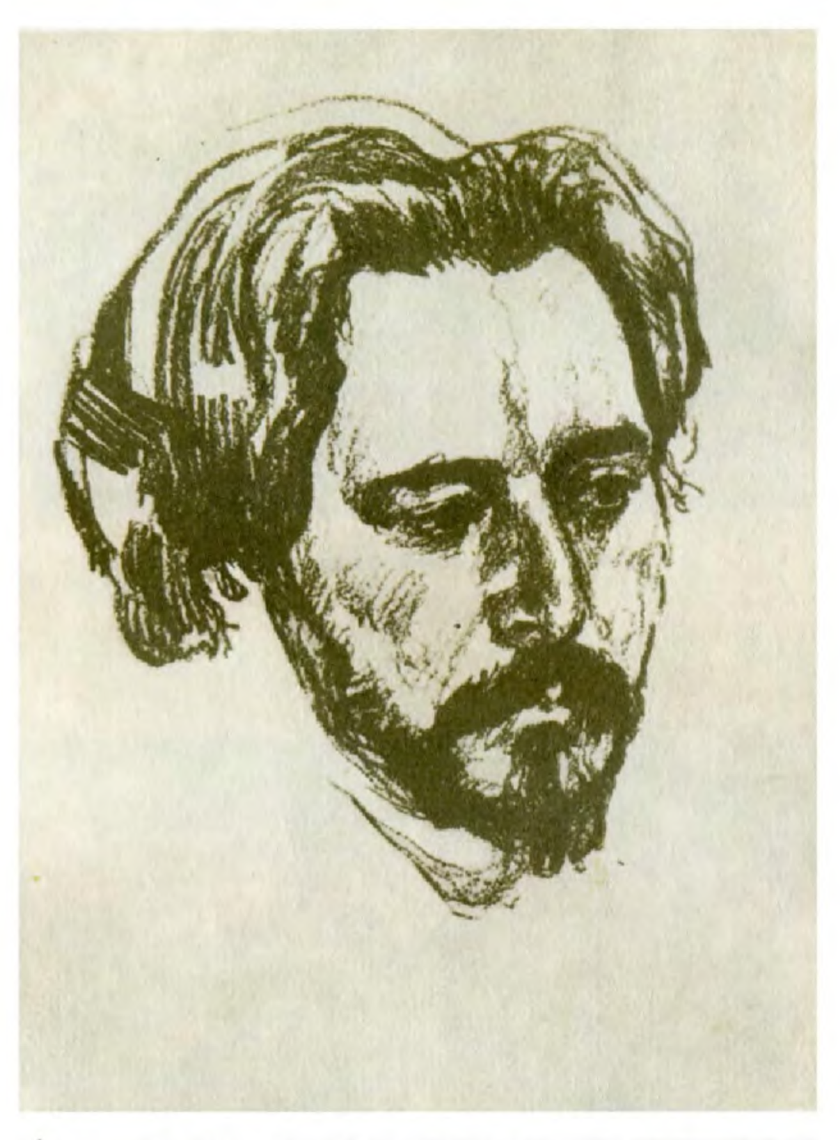
Сцена из III д.



«Gaudeamus» в провинциальном театре. Сцена из II д.



Сцена из III д.



Л. Андреев. Литография В. А. Серова. Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Москва

Голоса.

— Танцевать! Берите дам!
— Пусть Отец дирижирует.
— Отец, Отец!

Хохот. Обступают Отца. Он, также смеясь, добродушно отнекивается. Получается дикое сходство с обыкновенной мещанской вечеринкой.

Царь Голод. Да я и танцевать-то не умею. Ей-Богу! Постойте, постойте, постойте, куда тащите старика.

Голоса.

— Просим. Отца! Отца!

Царь Голод. Вот разве она? *(Указывает на Смерть.)*

Смерть *(сердито)*. Убирайся!

Голоса.

— Ну, пожалуйста, ну, милый, ну, Отец!

Царь Голод. Ну, хорошо. Ну, а за даму можешь быть?

Смерть. Да — это могу.

Музыка вверху играет кадриль. Становятся в пары. Царь Голод со Смертью.

Царь Голод. Retournez. La première figure! Commencez [1].

Все танцуют ухарски, с вывертами, с гиканьем, с громким притаптыванием ногами. Смерть вначале несколько жеманится и томно кладет голову на плечо к кавалеру, но постепенно расходится и начинает канканировать.

Царь Голод *(громко)*. Смерть, solo!

Танец Смерти.

Все с хохотом останавливаются, и Смерть танцует одна. С совершенно серьезным и неподвижным лицом, оскалив белые зубы, она стоит на одном месте и выделывает ногою, слегка приседая, два-три движения, выражающих ее крайнее веселье. Голову она кокетливо и медленно поворачивает со стороны в сторону, как бы обливая всех мертвым светом белых оскаленных зубов. Вначале на нее смотрят со смехом и даже слегка аплодируют, но постепенно смутный страх овладевает всеми и гасит голоса.

Безмолвие. Внезапно в углу вспыхивает ссора. Крики, голос Председателя:

— Оставь мою даму!
— Тут нет своих дам.

---

[1] Вертитесь. Первая фигура! Начинайте *(фр.)*.

— Прочь!

— Не смей бить.— Ага, ты так! — Убью. Кто это? Стойте! стойте!

Общая свалка. Громкий стон и проклятие. Кто-то грузно падает. Из расступившейся толпы выходит Председатель со злобно оскаленными зубами, в руке нож. Оглядывается назад.

— Ну, кто еще? Выходи.

— Нашел дурака.

— Кого это, а?

Царь Голод *(покровительственно)*. Ты что же это своих?

Председатель *(бледно улыбается)*. А разве есть свои?

Смерть *(мрачно)*. Да — и потанцевать не дадут.

Крики. Танцевать! Отволоките его в сторону. Ого-го-го-го!

Беспорядок. Бессмысленные выкрики, шум, дикий продолжительный свист.

Опускается занавес

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Суд над голодными.

Подобие судейской залы.

Налево наискось, в полоборота к зрителям, сидят за столом Судьи. Стол находится на возвышении и покрыт черным сукном; атрибуты судопроизводства: голый подержанный череп, закапанный слегка чернилами и стеарином, небольшая игрушечная английская виселица и высокая четвертная бутыль с красным, как кровь, вином. Судей пятеро, председательствует Царь Голод; все Судьи одеты в черные мантии и пышные напудренные парики. Двое по бокам Царя Голода необыкновенно худы и тощи, с длинными, вытянутыми до чрезмерности лицами; и рты у них похожи на перевернутую букву V; следующие два чрезмерно толсты, бочкообразны, сонны, и рты у них кружочками, напоминают верхушку задернутого кошелька. Внизу, за маленьким столиком, согнувшись, Секретарь с необыкновенно большим гусиным пером.

У задней стены, на возвышении, пюпитр, за которым сидит неподвижно Смерть.

Занимая весь правый угол картины, ближе сюда, отделенные от суда низенькой решеткой, помещаются на удобных скамейках и в креслах Зрители. Все они одеты, как на бал: женщины в пышных платьях, сильно

декольтированы, украшены драгоценностями: жемчужные колье, бриллиантовые диадемы, золото; у одной из них, Миллионерши, пальцы до самых ногтей унизаны перстнями. Только одна девушка, хотя и декольтированная, но одета очень просто, в черном строгом платье.

В общем женщины красивы и породисты, за исключением двух старух, одетых также пышно, и притом одна в ярко-красное.

Мужчины во фраках и сюртуках, тщательно выбриты и причесаны у парикмахера; благообразны и чисты. У Профессора, например, седые кудри необычайной белизны и вообще вид патриарха. Есть толстые, из коих один, с огромным животом, еле помещается в кресле и постоянно засыпает. Три юноши: один, глупый, с моноклем и выражением восторга на прыщавом лице; другой равнодушный, пресыщенный; третий с пышными черными волосами, демонической внешностью и выражением на лице мировой скорби.

Все указанные свойства, как толщина, так и худоба, как красота, так и безобразие, достигают крайнего развития.

При открытии занавеса Царь Голод и за ним все остальные Судьи встают и почтительно кланяются сперва Смерти, которая отвечает угрюмым кивком головы, и затем Зрителям.

Царь Голод. Милостивые государыни и государи! Позвольте приветствовать вас в зале правосудия. По вашему желанию, которое для нас закон...

Кланяется и смотрит на товарищей,— и те по очереди, каждый с поклоном, подтверждают.

— Закон.
— Закон.
— Закон.
— Закон.

Царь Голод *(продолжает)*. ...которое для нас закон, мы собрались сюда, чтобы судить голодных. Для этого мы надели мантии и парики, поставили стол, влезли на возвышение и внизу посадили секретаря с большим гусиным пером.

Секретарь быстро кланяется.

Он служит по вольному найму, и хотя голоса в решении не имеет, но совершает в протоколах ошибки. Иногда эти ошибки являются источником неприятностей, иногда же — ибо все в этой жизни неисповедимо —

Находящийся среди зрителей Аббат вздыхает и поднимает глаза к потолку.

— служат источником нового действующего права. Что это значит, сударыни, вам объяснит господин Профессор, которого я имею честь лицезреть в вашей уважаемой среде. Теперь же приступим к суду.

Усаживаются.

Введите первого голодного.

Разговор Зрителей.

— Как торжественно!

— Мантии и парики придают им такой строгий вид. Их даже трудно узнать...

— Так нужно. Необходимо, чтобы суд внушал к себе уважение.

— Мамочка, а зачем на столе череп и виселица?

Профессор. Это, дитя мое, символы. В Англии...

— Посмотрите, какой нос у того судьи, совсем как кончик собачьего хвоста. Ну, честное слово, он облизнул его языком.

— Как вы насмешливы. Вы так молоды, вы должны уважать суд.

— Да я его, честное слово, уважаю. Но ведь у него такой смешной нос!

— Это не важно, какой нос у судьи. Важно, чтобы судья был справедлив и не щадил голодных.

— Иначе мы возьмем других. Они это знают.

— Суд надо уважать.

— Суд — это мы. Суд надо уважать.

— Как интересно! Это похоже на театр.

Толстый *(просыпается)*. Которого судят?

— Еще не начинали, ваше сиятельство.

— Что же это они!

— Ведут! — Ведут! — Как это интересно! Какая рожа! — Мамочка, он не кусается? — Не бойтесь, дитя мое, на нем довольно крепкий намордник.— Слушайте! Слушайте! — Ах, как интересно!

Вводят первого голодного — оборванного старика с разбитыми ногами. На лице у него проволочный намордник.

Царь Голод. Снимите с голодного намордник.— Ты что сделал, голодный?

Старик *(говорит разбитым голосом)*. Украл.

Царь Голод. Сколько украл?

С т а р и к. Я украл пятифунтовый хлеб, но у меня его отняли. Я успел откусить только кусочек. Простите меня, я больше не буду.

Ц а р ь Г о л о д. Ты что же,— получил наследство? Или есть больше не хочешь?

С т а р и к. Нет, хочу. У меня его отняли. Я откусил только кусочек...

Ц а р ь Г о л о д. Так как же ты не будешь воровать? Почему ты не работал?

С т а р и к. Нет работы.

Допрос продолжается.

Р а з г о в о р З р и т е л е й.

— И этого несчастного судят! Душа моя кипит негодованием и презрением к человечеству...

— Оставь, разве тебе не все равно.

— Но пойми же!

— Ты волосы завиваешь, или они вьются от природы?

— Слегка.

— А у меня начинается лысина. Это в двадцать четыре года!

П р о ф е с с о р.

...Уголовное право, сударыня, разделяется на две части: на первую часть и на вторую часть. В первой части говорится о преступлениях вообще, и я должен признаться, сударыня, что это наиболее слабо разработанная часть.

— Ах, как жаль! Почему же ее не разработают?

— Ибо сама сущность преступления остается не вполне разгаданной наукой. Зато вторая часть, где говорится о преступлениях в частности и соответствующих наказаниях...

Ц а р ь Г о л о д. А где же твои дети, голодный? Почему они не кормят тебя?

С т а р и к. Они умерли с голоду.

Ц а р ь Г о л о д. Почему же ты не захотел умереть с голоду, как дети?

С т а р и к. Не знаю. Захотелось жить.

Ц а р ь Г о л о д. А зачем тебе жизнь, голодный?

Г о л о с а.

— Действительно, зачем они живут? Я этого не понимаю.

— Чтобы работать.

— Но когда работа кончается? Не можем же мы вечно доставлять им работу!

— Чтобы славить Господа и укрепляться в сознании, что жизнь...

— Ну, не думаю, чтобы они очень Его славили.

— Было бы лучше, если бы он умер.

— Довольно скучный старикашка. И какой фасон брюк!

— Слушайте! Слушайте!

Царь Голод *(встает, громко)*. Теперь, милостивые государи, мы сделаем вид, что размышляем. Господа судьи, прошу вас принять вид размышляющих.

Все Судьи на некоторое время принимают вид размышляющих: морщат лбы, смотрят в потолок, подпирают нос пальцем, вздыхают и вообще, видимо, стараются. Почтительное молчание. Затем в том же молчании, с глубоко торжественными и серьезными лицами, Судьи встают и все сразу поворачиваются к Смерти. И так же все сразу медленно и низко кланяются ей, вытягиваются ей навстречу.

Царь Голод *(согнувшись)*. Чтó изволит сказать...

Смерть

(быстро встает, сердито стучит кулаком по столу и говорит скрипучим голосом).

Осужден — во имя дьявола!

Так же быстро садится и замирает в злой неподвижности. Судьи садятся также.

Царь Голод. Голодный, ты осужден.

Старик. Пожалейте!

Царь Голод. Наденьте на него намордник. Введите следующего голодного.

Пока голодного выводят, Зрители в таких словах выражают свои чувства:

— Зачем ему жить?

— Лучше умереть.

— Скажите ему.

— Умри, старик, умри.

— Умри, старик, умри.

Все тихо шепчут, махая руками, точно навевая сон:

— Умри, старик, умри. Умри, старик, умри. Умри, умри, умри!..

Вводят нового голодного. Веселые голоса:

— Ведут! Ведут!

— Какой зверь!

— Да, это не меньше убийства!
— Посмотрите на его лоб.
— Как страшно!
— Вы очень нежны, дитя мое.
— Тише.

Быстро вводят второго голодного и снимают намордник. Это здоровый детина с низким бычачьим лбом; грудь его наполовину раскрыта; смотрит исподлобья, угрюмо.

Царь Голод. Ты что сделал, голодный?
— Я изнасиловал барышню в лесу.

Выражение ужаса и приятного волнения.

— Какой ужас!
— Вот зверь!
— Это и меня захватывает.
— Позор для человечества такие люди.
— Которого?

Царь Голод. Почему ты это сделал?

— Замуж за меня она ведь не пошла бы. А мне очень ее захотелось.

— Почему ты не удовольствовался женщинами, какие есть у вас, голодный?

— Наши женщины грубы и некрасивы от голода и работы. А эта была нежная и тонкая, с белыми руками. А ребенок у нее будет?

— Нет, мы приняли искусственные меры и удалили зародыш.

Голодный *(угрюмо)*. Хитрые.

— Что можешь ты сказать в свое оправдание, голодный!

...Преступления посягательства на женскую честь делятся на...

— Ах, погодите, господин Профессор, так интересно.

— В оправдание? Что, если бы я мог, я изнасиловал бы вот ту, и вон ту, и вон ту. Старуху в красном не стал бы, пусть остается вам.

Старушка падает в кратковременный обморок. Все в волнении.

— Какой ужас! Это настоящий зверь!

— И меня! Вы заметили, он показал на меня. Он согласен меня изнасиловать!

— Вы ошибаетесь. Он показал на меня.

Ссорятся. Девушка в черном, которая все время молчала, вдруг встает и говорит громко, с вызовом:

— А почему ты думаешь, что она не вышла бы за тебя замуж? Я бы вышла, быть может.

Голодный *(угрюмо)*. Посмотри получше.

— Ты прав: не вышла бы. Ты слишком груб.

— Вот то-то. А я бы тебя изнасиловал.

— Нет, скорее убил бы.

— Да — и убил бы.

Девушка садится. Юноша с демонической внешностью смотрит на нее мечтательно, но она не обращает на него внимания. Свои оглядывают ее с некоторым страхом.

Однако!

Царь Голод. Господа судьи, прошу принять вид размышляющих.

Повторение той же процедуры с тою же торжественностью вплоть до низкого и протяжного поклона Смерти.

Смерть *(вскакивает, стучит кулаком по столу)*. Осужден — во имя дьявола!

Голодный *(девушке)*. В лес не ходи одна!

Царь Голод. Наденьте намордник. Введите следующего голодного.

Вводят голодную. Это молодая, стройная, но крайне истощенная женщина с бледным, трагическим лицом. Черные тонкие брови, сходящиеся у переносья, и пышные волосы, небрежно связанные узлом и спадающие на спину. Женщина не кланяется и по сторонам не глядит, как будто никого не видит. Говорит бесстрастно, мертвым голосом.

— Ты что сделала, голодная?

— Убила своего ребенка.

...Какой ужас! Эти женщины совершенно лишены материнского чувства.

— Чего же вы от них хотите? Вы меня удивляете.

— Как она прекрасна. В ней есть что-то трагическое.

— Женись!

...Преступление детоубийства в древности не считалось таковым и рассматривалось как естественное право родителей. И только с введением в нравы гуманизма...

— Ах, погодите же, господин Профессор!

— Но наука, дитя мое...

Царь Голод. Расскажи, голодная, как ты сделала это.

Опустив руки, не двигаясь, женщина говорит бесстрастно и мертво.

— Я с моей девочкой шла ночью через реку по очень длинному мосту. И так как я уже раньше решила это, то, выйдя на средину, где река глубока и быстра, я сказала:

посмотри, дочечка, как шумит внизу вода. Она ответила: я не достану, мамочка, перила очень высоки. Я сказала: дай я подниму тебя, дочечка. И когда она стала смотреть вниз, в черную глубину, я перекинула ее туда. Все.

— Она цеплялась?

— Нет.

— Кричала?

— Да, раз вскрикнула.

— Как ее звали?

— Дочечка.

— Нет, имя. Как ее звали?

— Дочечка.

Царь Голод *(закрывает руками лицо и говорит несколько дрожащим, глухим голосом).*

— Господа судьи, прошу принять вид размышляющих.

Судьи морщат лоб, смотрят в потолок, жуют губами. Почтительное молчание. Потом встают и низко кланяются Смерти.

Смерть. Осуждена — во имя дьявола!

Царь Голод *(встает и говорит громко, протягивая руки к женщине, точно покрывая ее невидимым черным покровом).*

Ты осуждена, женщина, слышишь? Ты пойдешь на смерть. Ты пойдешь в ад и там будешь гореть на вечном, на неугасимом огне! Твое сердце будут рвать дьяволы железными когтями! В твой мозг вопьются ядовитейшие змеи подземные и будут жалить его, и будут жалить, и никто не услышит твоего крика, потому что ты будешь молчать. Да будет вечная ночь над тобою. Ты слышишь, голодная?

— Слышу.

— Наденьте ей намордник.

— Погодите!

Это говорит Девушка в черном. Быстро подходит к голодной и протягивает ей руку.

— Дай твою руку, несчастная.

— Не дам. Я презираю тебя.

— Меня?

— Да, тебя. Ты будешь в раю.

— Ты презираешь меня? Ты, убийца?

Остается с протянутой рукой. Закидывает голову и кричит гневно, в неистовстве:

— Так ведите же ее в ад!

Общий крик, но так, что слышны отдельные голоса.

— В ад ее! В ад! В ад!
— Тешьтесь над нею, дьяволы!
— В ад!
— Рвите ей сердце железными когтями!
— Душите ее, змеи!
— Жальте! Жальте! Впейтесь в мозг! Рвите ей сердце!
— Ага-го-го-го-го!

В исступлении машут на женщину руками.

Царь Голод (*властно*). Тише!

И кротко, к неподвижно стоящей женщине:

Ступай, дочь моя.

Голодную уводят.

Царь Голод *(обращается к Зрителям очень веселым и открытым голосом)*.

А теперь, милостивые государи, я предложил бы сделать перерыв и покушать. Правосудие — вещь утомительная, и нужно подкрепить силы. *(Галантно.)* Особенно прекрасным дамам и девицам. Прошу!

Радостные возгласы.

— Кушать! Кушать!
— Пора!
— Мамочка, где конфеты?
— А ты все только конфеты!
— Которого?
— Кушать зовут, ваше сиятельство.
— Ага! Почему же меня раньше не разбудили?

Внезапно все принимает очень веселый, милый, домашний вид. Судьи стаскивают парики, открывая лысые головы, и постепенно вмешиваются в толпу, пожимают руки и искоса, с притворным равнодушием поглядывают на кушающих. Рослые лакеи в расшитых ливреях, с трудом сгибаясь под тяжестью, приносят огромные блюда с гигантскими порциями: целые бараньи туши, колоссальные окорока, высокие, как горы, ростбифы. Перед Толстым на низенькой скамеечке ставят целую зажаренную свинью, которую приносят трое. Он смотрит на нее с сомнением.

— Не поможете ли, господин Профессор?
— С радостью, ваше сиятельство.
— А вы, господин судья?
— Хотя я кушать не хочу, но, если позволите...

— Быть может, и мне будет дозволено... *(скромно говорит Аббат, глотая слюни).*

Вчетвером садятся вокруг свиньи и молча с жадностью полосуют ее ножами. Иногда Профессор и Аббат случайно встречаются взглядами и тогда, не в силах жевать, со щеками, раздутыми пищей, застывают от ненависти друг к другу и презрения. Потом жуют усиленно и давятся.

Все разбились на кучки. Смерть вынула из кармана сухой бутерброд с сыром и кушает в одиночестве.

Тяжелый разговор набитыми пищей ртами. Чавканье.

— Пожалуйста, еще кусочек. Очень вкусно.
— Как на пикнике. Великолепный парень — этот Голод.
— Хорошо мы ее, однако!
— А все-таки она прекрасна.
— Ростбиф необходимо кушать с кровью. Это...
— Мамочка, почему их не судят всех разом?
— Не знаю, деточка, спроси у Профессора.
— Господин Профессор!
— Гм?
— Господин Профессор!
— Гм!
— Черт возьми, где же моя салфетка!
— Господа, совершилось преступление кражи: у советника украли вставные зубы.

Смех. Чавканье. К Царю Голоду, стоящему в стороне, подходят Первый Рабочий и Председатель-Хулиган. Одеты они прилично и до сих пор сидели незаметно на одной из отдаленных скамеек.

Рабочий. Как жрут! Зачем ты с ними, Царь? Я ничего не понимаю. Ты изменяешь нам? Смотри!

Хулиган. И это твой суд, Отец? *(Гневно.)* Ты хочешь, чтобы я тут же перерезал тебе глотку?

Царь Голод. Вы слепы оба. Это не мой суд. Это суд над моими детьми.

— Но ты же председатель!

— Разве вы не понимаете, что́ я делаю? Ведь каждый побывший здесь навеки становится их врагом. Я развращаю их и учу делать мерзости. Я въедаюсь в самую сердцевину их жизни, наполняю ее гнилью и разрушаю ее. Они уже перестали понимать, что такое правда,— а ведь это начало смерти. Ты понимаешь это?

— Но ты делаешь это как лакей!

Царь Голод *(гневно).* Тише, сын мой! Не оскорбляй того, кто несчастен. *(Сдерживаясь.)* Подумай, разве оттого,

что мы судим, меньше становится краж, убийств, насилий? Их больше. Спроси вон у ихнего профессора...

— Я этого не понимаю. Я вижу только, как мои братья...

— У тебя же нет своих!

— Отец, правда, та женщина пойдет в ад?

— Да. И ты также.

Хулиган плачет.

— Ты плачешь? Ты, сын мой, плачешь?

— Отец, Отец. У меня есть только нож. Кого же мне зарезать?

Рабочий. Не нужно резать. Надо работать, работать.

— Отец, ты говоришь: и мне ад. Пусть,— но как бы мне спасти ее? Я уже вижу дьяволов, которые подходят к ней. Отец, верни мне жизнь, скажи: ее можно спасти?

— Нет.

— Ты лжешь, старик!

Голоса.

— Однако и вчетвером мы ее не съели!

— Очень велика, ваше сиятельство!

Царь Голод. Уходите. Необходимо кончать. И слушайте меня: завтра...

— Завтра? Завтра?

— Тише! Ударит колокол!

— Завтра?

— Тише! Тише!

— О-о-о!

— На улицы! В дома!

— Тише!

— Завтра! Завтра! Завтра!

Тихо расходятся с зловеще-радостными лицами.

— Господин Профессор, у вас на бороде осталась косточка.

— Ах, Боже мой, где же это?

— Хотите конфету?

— Когда подумаешь, что у какого-то верблюда три желудка, а я, царь природы, принужден обходиться одним...

Царь Голод *(говорит с возвышения)*. Очень жалею, но принужден вас обеспокоить, господа. Прошу занять места. Суд продолжается.

Судьи поспешно натягивают парики. Во время дальнейшего разговора все занимают свои места.

— Простите, уважаемый коллега, но вы взяли мой парик.

— Ах, извините, ради Бога. То-то я чувствую...

— Как, еще не кончено!

— Это невозможно. Мне нужно в театр! Сколько их там!

— Вы очень легкомысленны, молодой человек. Не забывайте, что мы пришли сюда не для удовольствия, что мы выполняем общественную обязанность, возложенную на нас вашим званием сытых и честных людей...

— Но честное слово!..

— Позвольте. Не забудьте, что каждый день...

— Исключая праздники.

— Конечно, исключая праздники, когда мы ходим в церковь и театр,— каждый день во всех местах нашей земли, где есть только культура, заседает суд и судит, и все-таки не может всех осудить...

— Кого надо.

— Конечно, кого надо. Подумайте, чтó произойдет, если только хотя на время суд приостановит свои действия...

— Но честное слово...

Царь Голод. Секретарь просит сообщить, что он сделал четыре ошибки, но не может найти — где. Ошибки, впрочем, таковы, по его словам, что могут послужить источником действующего права.

Секретарь быстро кланяется. Слабые аплодисменты.

Царь Голод. Введите следующего голодного.

Быстро вводят двоих: худенького мальчика в наморднике и пожилую, оборванную женщину с выражением на лице мýки и растерянности. Женщина всем низко и часто кланяется.

Царь Голод. Ты что сделал, голодный?

Один из судей, тощий, внезапно прерывает.

— Позвольте, почему она без намордника?

Тюремщик. Это мать обвиняемого. Она хочет говорить за него.

— Раз она хочет говорить, значит, и ей надо надеть намордник. Делаю вам замечание. Секретарь, запишите.

— Что же ты сделал, голодный?

Женщина *(падает на колени и молитвенно поднимает руки)*. Пожалейте! Ведь он для меня украл яблоко, судьи. Я больна была, он подумал: дай принесу ей яблока. Пожалейте его! Скажи им, что больше не будешь, ну! Да говори же!

Голодный. Я больше не буду.

Женщина. Уже я сама наказывала его... Пожалейте его молодость, не режьте у корня его красные денечки!

— Конечно: пожалеешь одного, а там готов и другой. Нужно в корне пресекать...

— Нужно иметь мужество быть безжалостным.

— Это лучше и для них.

— Сейчас он мальчик, а вырастет...

— Мамочка, мне жалко бедную женщину. Можно послать ей милостыньку?

— А у тебя есть мелочь?

— Прелестное дитя! Какое сердце!

Царь Голод. Прошу господ судей принять вид размышляющих.

В течение всей процедуры мать с надеждою смотрит на Судей.

Когда Смерть стучит кулаком по столу и кричит хрипло:

— Осужден — во имя дьявола! —

Женщина вздрагивает и встает с колен.

— Голодный, ты осужден.

В бешенстве, поднимая к небу руки,— женщина кричит исступленно:

— Так будьте же прокляты! Пусть так же погибнут ваши дети! Пусть искусают их бешеные волки!

— Намордник! Скорей намордник.

— Пусть высохнет их сердце! Пусть в камень претворится их душа. Пусть...

Женщине надевают намордник. Ликующий голос Председателя-Хулигана:

— Отец! Ты видишь, как они жалеют наших детей. До завтра!

— До завтра!

— Тише!

— Вижу, сын мой!

— Тише! Кто это?

— Тише!

Царь Голод. Введите следующего голодного.

С большими предосторожностями трое тюремщиков вводят человека необычайно мощного вида. Взгляд у него ясный и открытый, говорит просто и спокойно.

— Ты что сделал, голодный?

— Я не знаю. Я не сделал ничего. Я надеюсь, что суд освободит меня. Я всегда был покорен и делал то, что мне приказывали.

Общее недоумение.

Царь Голод *(перешептывается с Судьями и обращается к Зрителям)*. Я вижу, господа, что для вас не совсем ясна вина этого человека. Но она велика, и вы сейчас поймете это. Он раб — и для раба он слишком силен и честен. Уже одним этим он оскорбляет нас, как людей утонченной культуры и, следовательно,— не сильных. Затем: сегодня он послушен, но кто поручится за завтрашний день? И тогда в его силе и честности мы найдем жестокого и опасного врага. Несомненно, он достоин смерти — во имя справедливости.

Суждение Зрителей.

— Это совершенно справедливо. Сильные рабы опасны, даже когда они послушны.

— Да. Я нахожу, что Царь Голод наш истинный друг.

— Какое возмутительное тело. Раб — и такие прямые ноги!

— В цепи его!

— Он разорвет цепи. Смерть ему! Смерть!

Царь Голод. Прошу господ судей принять вид размышляющих.

Судьи размышляют, и Смерть стучит кулаком.

— Осужден — во имя дьявола!

Юношу с теми же предосторожностями уводят, и на его место появляется следующий голодный. Это существо необычайно дикого вида. Длинные до колен руки с огромными, морщинистыми, грязными оконечностями, голова и лицо сплошь заросли спутанными волосами, тусклые глазки, звериная походка носками внутрь, боязливая и мнительная. Но есть попытки к чему-то человеческому. Так, существо одето в какой-то очень странный, первобытный костюм: соединение коры деревьев, хитросплетенной, грубой материи и каких-то подвязок. При входе оно даже делает попытку причесаться, но запутывается рукою в волосах.

Разговор Зрителей.

— Да это горилла!

— Боже мой! Неужели мы будем судить еще целый зоологический сад! У меня театр!

— Нет, это человек.

— Да нет, горилла! Вы посмотрите на его голову.

— На руки!

— Не нужно снимать намордника. Оно, может быть, кусается!

— Оно кланяется!

— Оно человек!

— Да нет же! Оно дрессированное. Что это?

— Нужен каталог! В этих случаях нельзя без каталога! Как же мы будем судить, не зная, как оно называется!

— Какой странный фасон. Интересно познакомиться с его портным.

Царь Голод. Так как здесь возникли сомнения, то прежде всего скажи нам: кто ты, голодный?

Голодный молчит.

— Оно не понимает!

— Ну, конечно, горилла!

Царь Голод. Кто ты, голодный? Отвечай. Ты понимаешь человеческую речь?

Голодный *(отвечает глухим заскорузлым голосом)*. Мы крестьяне.

— Я же говорил, что человек!

Общий хохот.

— Отчего милостивые господа хохочут?

— Это не твое дело, голодный. Ты этого не поймешь. Ты что сделал, голодный?

— Мы убили дьявола.

Общий хохот.

— Слушайте! Слушайте!

— Но ведь это прелесть!

— Какая наивность!

Хохот.

Царь Голод. Это был человек, которого вы сожгли.

— Нет. Это был дьявол. Это сказал нам кюре, и тогда мы сожгли его.

Среди Зрителей легкое замешательство.

— Что такое?

— Он лжет. Этого не может быть!

Профессор. Вот вредное влияние церкви на развитие народных масс. Преступления, вызываемые суеверием...

Миллионерша. Ах, пожалуйста, милый Профессор, не говорите при мне так дурно о церкви, вы знаете — я верующая.

Аббат *(одною стороною лица с ненавистью глядя на Профессора, другою приятно улыбаясь Зрителям)*. Он, очевидно, не понял, сударыни. Почтенный наставник желал только внушить им веру в существование добрых и злых сил — но, конечно, не убивать. Религия, сударыни, запрещает убивать.

— Ну да — это другое дело!

— Совсем другое дело. При чем тут кюре, если он так глуп.

— Скажите, пожалуйста: вид гориллы, а лжет, как человек!

— Обвиняет почтенных людей.

— Негодяй!

Царь Голод. Прошу господ судей принять вид размышляющих.

Судьи на некоторое время принимают вид размышляющих. Затем, все почтительно склонив головы, вытягиваются к Смерти. Та вскакивает и яростно стучит кулаком по столу.

— Осужден — во имя дьявола! дьявола! дьявола!

Все вздрагивают, словно от сильного толчка. А она, свирепея все более, высокая, черная, страшная, стучит кулаком по столу и ворочает на всех белые оскаленные зубы.

— Дьявола! дьявола! дьявола! дьявола!

Царь Голод *(встает)*. Успокойтесь, уважаемый...

— Дьявола! дьявола! дьявола!

Все встают в ужасе, с разинутыми ртами.

— Дьявола! дьявола!

Наконец утихает и садится, замирая в злой неподвижности.

Царь Голод *(тихо)*. Ничего особенного, господа. По-видимому, легкая усталость. Прошу садиться. Уведите голодного.

Все с разинутыми ртами садятся и некоторое время продолжают смотреть на Смерть.

Царь Голод *(перешептывается с Судьями и заявляет весело)*. Поздравляю вас, господа. На сегодняшний день окончен наш нелегкий и неблагодарный труд. Но, во исполнение древнего обычая, имеющего символическое значение, мы, судьи, должны выпить по стакану этой жидкости. Налейте, господин судья. Не пугайтесь, господа, это не кровь,

хотя по окраске несколько похожа на нее — так, к сожалению, требует обычай,— это только вино.

Встав и поклонившись друг другу, выпивают вино. Смерти также относят бокал, но она отталкивает его костлявой рукою.

Царь Голод. В заключение, также согласно обычаю, позволю себе коротенькую речь, цель которой показать — насколько мы лучше, справедливее и выше всех других людей. Господа!.. Сегодня вы присутствовали при высокопоучительном зрелище. Вечное небесное правосудие, в лице нас, судей, ставленников ваших, нашло себе блестящее отражение на земле. Подчиняясь только законам вечной справедливости, чуждые преступной жалости, равнодушные к мольбам и проклятиям, слушаясь только голоса совести нашей — мы озарили землю светом человеческого разума и великой, святой правды. Ни на одну минуту не забывая, что основа жизни — справедливость, мы в свое время распяли Иисуса и с тех пор и до сего дня не перестаем украшать Голгофу новыми крестами. Но, конечно, только разбойников, только разбойников. Мы Бога не пощадили — во имя законов вечной справедливости,— станем ли мы смущаться воем этой голодной, бессильной сволочи, ее проклятиями и гневом! Пусть проклинают,— нас благословит сама жизнь, своим покровом оденет нас великая святая правда, и самый суд истории не будет справедливее нашего суда.

Бурные аплодисменты. Царь Голод движением руки восстановляет тишину и продолжает тихо, с шипением змеи, улыбаясь.

Что сделали они проклятиями своими? Что? Они — там, а мы — здесь. Они в тюрьмах, на галерах, на крестах, а мы пойдем в театр. Они дохнут — а мы будем их кушать — кушать — кушать!..

Смотрит на всех веселыми, жадными глазами. И вдруг сбоку жиденьким голоском начинает хихикать тощий Судья. Он выпрямился, положил руки на колени, и смех его походит на блеяние козла. К нему присоединяется другой, третий. Толстый сложил руки на подпрыгивающем животе и, задыхаясь, хохочет, как сквозь трубу, короткими, густыми выдыхами. Выходит так:

— Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи!
— Ху!-ху!-ху!

Смех растет, ширится, перебрасывается, как огонь под ветром, в разные концы, и вскоре хохочут все. Хохочут до исступления, до бешенства, до хрипоты. Все слилось в один черный, раскрытый, дико грохочущий рот. И только Смерть чем-то недовольна. Не смеется. Вдруг стучит кулаком,

желая привлечь внимание. Сразу замолкают и испуганно смотрят на нее. Она молча грозит им темным тонким пальцем и собирает в портфель бумаги. Все встают. Быстрыми короткими шажками, не отвечая на поклоны, Смерть идет к двери.

Опускается занавес

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Бунт голодных и предательство Царя Голода.

Ночь великого бунта.

Великолепная, чрезвычайно богатая зала. Статуи, картины старых и новых мастеров, мозаика, мрамор, тропические цветы. Направо, сквозь широкую арку, спуск вниз по белой мраморной лестнице. Налево, также сквозь арку, видна библиотека — ряды шкапов, уставленных книгами в богатых переплетах.

Из предосторожности горят не все огни, и освещена зала тускло; всю заднюю стену занимают большие, почти до полу окна, за которыми клубится ярко огненно-красное зарево пожаров. Когда в зале темнеет, на пол, от окон, ложатся широкие багровые полосы, и люди, стоящие у окон, бросают длинные черные тени. В том, как беспорядочно расставлена мебель, и в том, что хозяев трудно отличить от гостей, в движении танцующих, в забвении некоторых приличий чувствуется страх и ожидание. Музыка, помещающаяся на хорах, то начинает играть громко и бравурно, то беспорядочно замолкает; и одна какая-нибудь труба нелепо долбит свою ноту и сразу испуганно обрывается — точно охнув.

Дворец, охраняемый внизу стражею, считается местом относительно безопасным, и бунт загнал сюда почти всех, кому он враждебен и кто его боится. Так же, как и Зрители в суде, пышно разодетые декольтированные дамы и девицы, осыпанные драгоценностями, красивые, породистые; такие же мужчины, во фраках. Но есть и в сюртуках и даже в блузах: так, группа Художников и Писателей одета с несколько искусственной небрежностью. Ученые почти все в сюртуках и пиджаках, некоторые довольно грязны. Тут же в толпе несколько священнослужителей со скромными, заискивающими лицами; к ним остальные относятся невнимательно и даже порою грубо.

Движения собравшихся суетливы. Быстро образуются группы и так же быстро распадаются, потому что все ищут нового и успокоительного; почти никто не сидит. Часто с осторожностью подходят к окнам и заглядывают на улицу, иногда безуспешно пытаются задернуть прозрачные гардины.

И во все время картины где-то недалеко бухает набатный колокол голодными призывными звуками; и кажется после каждого, особенно сильного удара, что ярче стало зарево, и беспокойнее движения гостей. Удары колокола то учащаются, и тогда в них чувствуется надежда, радость, почти торжество, то становятся медленными, тяжелыми, печальными — точно устали и руки и сердце старого Звонаря.

Так же непрерывно слышится хриплый рог Смерти. То далекий, то до ужаса близкий, он минутами заглушает все остальные живые и мертвые голоса; и тогда как бы сами гаснут многие огни, и все замирает в неподвижности, и по полу ложатся длинные черные тени от ярко багровеющих окон.

Занавес открывается при смешении всех этих звуков: бравурной, но растерянной музыки, хриплого рога и частых ударов колокола.

Разговор гостей.

— Я все еще не могу поверить, что бунт вспыхнул. Какой ужас!

— Да и многие не хотят верить. Это произошло так внезапно. Еще только вчера все было спокойно и мирно.

— Но послушайте, что́ делается там. Эта смерть...

— Каждый удар колокола обрушивается на голову, как молот!

— Ведь это значит, что через минуту могут прийти сюда и убить всех: мужчин, женщин, детей.

— Нас охраняют.

— Ах, оставьте! Неужели вы верите в стойкость этой наемной сволочи, что внизу? Стоит перейти силе на ту сторону, и все будет кончено. Где Царь Голод?

— Там!

— Боже! Неужели он изменяет! Я всегда говорил, что не нужно доверяться этому подлому лакею, этому пройдохе, провокатору!

— Погодите бранить его. Еще неизвестно, с кем он, с нами или с мятежниками!

— Зачем играет музыка? Крикните ей, чтобы замолчала.

— С музыкою легче.

— Оставьте! Нас могут услыхать с улицы.

— Там не слышно. Там своя музыка. Послушайте!

Прислушиваются.

— Боже мой, какой ужас! Не нужно привлекать внимания. Эй, вы, музыканты, замолчите!

— Неудобно без хозяев.

— Ах, разве теперь не все равно! Да замолчите же вы, там!

Музыка беспорядочно затихает. Ужас гостей.

— Что случилось?
— Почему музыка молчит? Что случилось?
— Сюда идут!

Громкий дрожащий голос:

— Господа, сюда идут! Господа, господа!

Все мечутся. Истерический плач.

– Да нет же, успокойтесь, ничего не случилось.
— Баррикадируйте двери!

Голос Хозяина дома:

— Что случилось? В чем дело?
— Кто-то приказал музыке молчать, и вот все в ужасе.
— Кто приказал? Как он смел? Музыканты, играйте. Господа, ничего не случилось. Сейчас будем танцевать. Кавалеры, приглашайте дам на котильон.

Некоторое успокоение. Кое-где даже слышен смех.

— Позвольте вас просить.
— Вы наступили на платье.
— Pardon! [1]

Разговор Ученых.

— Конечно, бояться нечего. Раз Царь Голод с нами...
— А вы уверены в этом?
— Но по крайней мере история...
— Ах, это так шатко: история. Разве мы знаем настоящую историю?
— И это говорите вы, историк?

Сдержанный смех и улыбки.

— Я знаю только одно, что это ужасно. Как можете вы измерить энергию, которую накопил Царь Голод в этих темных, несчастных массах. Быть может, ее достаточно только для короткой вспышки, а быть может, она опрокинет все, всю нашу культуру. *(Указывает на окна.)* Вы знаете, что это горит? Хорошо, если дома. А если это уже горят музеи? Библиотеки?
— Огонь не разбирает ничего!
— Боже мой!
— Неужели все погибнет!

Кто-то гасит часть огней. Становится темнее, и окна ярко багровеют. И снова ужас.

---

[1] Извините! *(фр.)*

— Что это?
— Почему темно? Что случилось?
— Господа, господа!
— Прекратился ток!
— Сейчас наступит тьма!
— Зажигайте свечи! Где свечи? Скорее!
— Да нет же, успокойтесь. Какие трусы!
— Позвольте вас просить?
— Вы с ума сошли? Танцевать?

Музыка играет вальс.

— Почему же вальс? Говорили, что котильон?
— Ах, не все ли равно: вальс, котильон, дьявол!
— Как вы грубы!
— Pardon!

В полутемноте кружится одиноко какая-то пара и вскоре куда-то исчезает.

— Господа, новости! Новости!
— Что такое?
— Новости! Слушайте!

Музыка беспорядочно затихает. На середину выходит молодой человек. Костюм в беспорядке, лицо бледно, на лбу кровавое пятно. Его окружают.

— Я оттуда.
— Боже мой!
— Говорите! Говорите!

— Это ужас! Я точно вырвался из другого мира, который может пригрезиться только во сне. Пустынные улицы, над которыми в воздухе проносится рев. Откуда он — я не знаю. Кровавая мгла. Черные тени. Трупы под ногами. Молчаливые раскаленные пожарища, около которых нет никого. Где люди?

— Вас ранили?

— И вдруг — толпа. Вихрь криков, тел, оскаленных зубов. Кто это? — я никогда не видал их раньше. Они разрушают все. Они убивают друг друга. Они убивают детей. Я видел: они сожгли большой дом, полный спасавшихся женщин и детей!

— Какой ужас!

Кто-то истерически плачет.

— Замолчите!
— Это голодные!

— Это черны! Они придут сюда.

— Какие-то косматые, полуголые чудовища. Кто это? — я никогда не видал их раньше. И еще говорят, что двинулась деревня, что все деревни идут на город.

— Это конец!

— Мы погибли!

— Это революция!

— Не оскорбляйте революцию. Это бунт. Вы слыхали: они жгут женщин и детей.

— Звери вышли из лесов!

— Леса идут на нас!

— Мы погибли!

— Говорят: уже слышно скрипение их телег. На них они хотят увезти все, что останется от нашего города.

Орда варваров идет на нас!

— Звери вышли из лесов!

— Я слышу скрипение колес. Мы погибли!

— Гасите огни!

Гаснет еще несколько огней. Рог Смерти слышится где-то совсем близко.

— И я видел, как жгли женщин и детей. И я не хочу после этого жить. Я пришел только рассказать — предупредить. Там где-то мой отец — мать... Скажите им, что я умер.

Быстро выхватывает револьвер, стреляется. Ужас. Все мечутся. Труп быстро подхватывают и уносят.

— Что это?

— Сюда пришли. Господа!

— Нет, это застрелился кто-то.

— Зачем же он всех пугает!

— Подотрите кровь.

— Музыка! Музыка!

— Он сказал, что горит Национальная галерея.

— Что?

— Горит Национальная галерея.

— Господа! Новость. Горит Национальная галерея!

Многие бросаются к окнам.

— Где? Где?

— Вот.

— Это правда!

— Осторожнее, господа, осторожнее!

— Задерните занавеси!
— Горит Национальная галерея!
— Послушайте, вы наступили мне на ногу.
— Какой огонь!
— Что? Что? Что?

Крайне взволнованный, выбегает из библиотеки Художник в большом белом галстуке и бархатной блузе. За ним выходят другие художники.

— Это правда? Горит галерея?
— Да. Да. Смотрите.
— Горит галерея? Горит Мурильо? Горит Веласкес? Рубенс? Джорджоне?
— Да. Да. Смотрите, какое зарево.
— Еще бы. Масляные краски!

Художник

(рыдает, закрыв руками лицо. И вдруг кричит исступленно).

— Я не позволю! Я не позволю жечь картины. Я не позволю!

Бежит к двери.

— Куда он!
— Он с ума сошел!
— Держите его!
— Убежал!
— Хотел бы я посмотреть, как он не позволит. Удивительные фантазеры эти артисты!

Художники группою.

— Горит Мурильо!
— Горит Веласкес!
— Горит Джорджоне!
— Боже, Боже!

Некоторые из Художников преклоняют колена перед старинною черною картиною и говорят, молитвенно опустив голову:

— Ты, бессмертная картина!
— Ты, дивное создание человеческого гения!
— На тебе покоится божественная красота. И ты умрешь!
— Ты оправдание всей жизни нашей. И ты умрешь!
— Люди погибнут с тобою.
— И погибнет красота. Кто захочет жить, когда погибнет красота?

— Прости нас, великая, божественная картина. Мы бессильны защитить тебя.

— Нам самим остается только умереть!

Злой, отрывистый смех Гостей.

Голоса.

— Тут гибнут люди, а они о картинах!

— Фанатики, они знают только свои картины. Что такое их картины! Тут можем погибнуть мы, вот что важно!

— Картины хороши в спокойное время.

— Нас не спасут ихние картины! Картины!

— Но все-таки жалко.

— Оставьте! Только бы мы уцелели — для нас напишут новые картины.

— Еще лучше!

— Сколько угодно. Мы можем погибнуть — вот что важно!

— Но Господь не допустит, чтобы погибло столько невинных.

— Ах, оставьте, святой отец. Вы бы лучше раньше учили этих мерзавцев, что голод — путь к блаженству, а не к бунту!

— Учили, но... *(Аббат разводит руками.)*

— Не верят!

— Верят, но... *(Продолжает стыдливо.)* Сегодня они повесили одного аббата. Страшно подумать, что ответят они Богу?

— Что же? Разве веревка оборвалась?

Аббат стыдливо отходит.

Старичок в мундире. Я всегда утверждал, что необходимы реформы. Нельзя доводить до крайности. Вовремя брошенный кусок хлеба, даже просто ласковая улыбка...

Изображает старческим ртом ласковую улыбку.

— Ах, пожалуйста, реформы, все, что угодно. Мы можем погибнуть, вот что важно. Вы понимаете это: мы!

Все с яростью наступают на Старичка и бьют себя кулаками в грудь.

— Мы можем погибнуть, вот что важно. Мы!

— Мы!

— Вы понимаете это: мы!

— Мы! Мы!

Яростными криками: «мы! мы! мы!», двигаясь толпою, загоняют Старичка куда-то в угол. Зарево, звук рога и колокола сильнее.

Тоскливые голоса. Боже! Неужели умирать!

— Жить так приятно. Если они придут сюда, я стану на колени, я буду умолять их: не убивайте меня, жить так приятно.

— Боже, а я только что заказала новое платье. Боже, я только что заказала новое платье!

— Неужели умирать!

— Я не хочу умирать! Я хочу жить! Меня не имеют права убивать, если я хочу жить!

— Жить! Жить!

Толкаясь, с тоскливыми воплями: «жить! жить!», беспомощно мечутся по зале. Что-то дикое, нелепое начинает играть музыка и, точно сама себя испугавшись, с воплем умолкает. Входит Профессор, сильно расстроенный. На него не обращают внимания. Толкают.

— Позвольте! Позвольте! Да позвольте же! *(Почти плачет.)* Я должен вам сказать! Я должен сказать!

— Что такое?

— Чего ему надо?

— Кто это? Чего ему надо?

— Господа, новости!

Собираются расстроенной кучкой вокруг Профессора.

— Господа! Я сейчас проходил по улице — они жгут книги!

— Какие книги?

— Что он говорит?

— Жгут какие-то книги!

— Ну так что же! Что ему надо?

Профессор. Наше сокровище — нашу человеческую гордость — нашу великую святыню — они жгут книги, господа. Безумная чернь, что ты делаешь! Что ты делаешь! Ах, друзья мои, друзья мои — и когда я... когда я бросился отнимать... один маленький... томик... маленький in octavo... [1] он, негодяй, ударил меня.

Плачет; протягивает, шатаясь, руки, ио встречает пустоту.

За что он ударил меня? Разве я отнимал у него хлеб? Я работал честно, у меня только и есть, что вот этот чер-

---

[1] в восьмую долю листа *(лат.)*.

ный... черный сюртук. И больше ничего. Даже другого сюртука нету! Негодяй!

Плачет; обводит близорукими, заплаканными глазами комнату.

И когда я подумаю, что все это должно погибнуть — эти красивые статуи, эти дивные шкапы с книгами — в таких переплетах — эти милые, прелестные, одухотворенные лица... Друзья мои!

Протягивает руки, всматривается. Молчат. Глядят на него откровенно. И вдруг он говорит тихо, с недоумением.

Где же лица? Где же лица? Что это? Кто это? *(Громко.)* Кто это?

Ищет дрожащими руками очки, надевает, смотрит — пренебрежительно, с улыбками, не удостаивая ответа, как сумасшедшего или ребенка, отходят. Молча, продолжая недоуменно оглядываться, идет за ними разбитой старческой походкой и скрывается в библиотеке. А вопли уже начались. Но теперь в них звучит подавленность, тоска, полная беспомощность, почти покорность.

— Мы должны умереть.
— Приближается гибель!
— Кто спасет нас? Мы погибаем.
— Уже нет надежды. Мы погибаем.
— Бог отступился от нас.
— Смерть! — Смерть! — Смерть!

Появляется Девушка в черном. Говорит громко:

— Что с вами? Отчего вы не танцуете? Где музыка? Музыканты, играйте!

Молчание. Девушка в недоумении, потом в гневе.

Что же вы? Вы боитесь? Почему горят не все огни? Вы боитесь? О трусы! Мне стыдно быть с вами! Да танцуйте же!

Топает ногою. Тихие, злые, хитрые голоса:

— Она сумасшедшая.
— Танцевать — теперь!
— Уйдем от нее.
— Она сумасшедшая. Ее нужно посадить в сумасшедший дом.
— Уйдем!
— Уйдем. С ней опасно. Она — кричит.
— Там могут услыхать. Уйдем! Уйдем!

Девушка в черном. Не в темноте, а в ярком свете нашей жизни должны мы их встретить. Вы слышите, трусы!

Мы должны их встретить — танцуя — танцуя — танцуя! Пусть красотою будет наша смерть! Вы слышите!

Все обернули к ней спины и потихоньку уходят, на цыпочках, согнувшись. Одни только спины, трусливые, съежившиеся, хитрые. И тихий, злорадный, испуганный шепот·

— Она сумасшедшая.
— Уйдем от нее.
— Уйдем!
— Тише! Тише!
— Обманем ее! Уйдем потихоньку!
— Тише! Тише!
— Обманем!
— Тише!

Девушка в черном. О трусы! Боже мой, что же это! Да танцуйте же, танцуйте!

В бешенстве плачет, топая ногами.

— Тише! Тише! Уйдем! Тише!
— Не хотите! Так смотрите, я буду танцевать одна!

Хочет кружиться. К ней подходит Молодой человек, до сих пор молча стоявший у колонны, и говорит с изысканной вежливостью:

— Позвольте вас просить.

Без музыки, в пустом пространстве, некоторое время кружатся. А те, продолжая стоять к ним спинами, согнувшись смотрят на них через плечи и шепчут, наполняя зал шипением:

— Сумасшедшие! Сумасшедшие! Сумасшедшие! Сумасшедшие!

Молодой человек *(останавливаясь)*. Идемте отсюда. Вам здесь не место.

Проводит Девушку среди поспешно расступающихся Гостей. Как только они скрываются, все с хохотом высыпают на середину. Ликующие голоса:

— Ушла!
— Ха-ха-ха! Ушла!
— Мы ее обманули!
— Как они танцевали!
— Ха-ха!

Сердитый голос. Ее нужно посадить в сумасшедший дом. Своим криком она может поднять на нас весь город.

— Связать!
— Заткнуть ей рот.

— Еще немного — и я бы схватил ее за горло.
— Танцевать? Мы погибаем — вот что важно!
— Нужно молиться Богу.
— Оставьте. Бог лучше вас знает, в чем тут дело. Нам нужно молиться дьяволу!.. Дьяволу!..
— Что они говорят? Это кощунство! Бог за нас!
— Я не хочу умирать. Я хочу жить — жить! А кто мне даст жизнь, Бог или дьявол — мне все равно!
— Он сошел с ума!
— Нет, он прав! Мы должны молиться дьяволу!

Шум. Почти вбегает Лакей и говорит Хозяину дома:

— Сюда идут! Уже близко!
— Что?
— Сюда идут!

Хозяин дома *(задыхаясь, громко)*. Господа, внимание. Они идут сюда. Гасите огни. Гасите огни. Скорее! Есть еще надежда, что нас не заметят в темноте. Гасите огни!

Общий переполох, но голосов не слышно. Охваченные паническим страхом, молча, точно слепые, все движутся в разные стороны и натыкаются друг на друга, пока гасят огни. И отовсюду, из всех дверей являются такие же смятенные, растерянные фигуры. Приходят и Художники. Погасла последняя лампочка, и наступает полная темнота, в которой с зловещей яркостью выступают красные четырехугольники окон. Теперь в среднем большом окне с цельным стеклом можно рассмотреть черный силуэт старинной колокольни, за которым клубится красный дым и даже как будто показываются языки огня. И оттуда идет непрерывный звон. Недалеко и хриплый рог Смерти. И в темноте протяжные плачущие голоса:

— Приближается гибель.
— Они идут, уже слышны их жестокие шаги!
— Погибнут картины! Погибнет Веласкес, Мурильо, Джорджоне!
— Погибнем и мы! И мы! И мы!
— Приближается гибель!
— Пощадите нас, голодные.
— Простите нас, голодные. Мы все сделаем для вас.
— Погибнет Веласкес!
— Боже, сжалься над нами!
— Он не услышит! Он отступился от нас.
— Он никогда и не был с нами. Молитесь дьяволу!
— Дьявол! Дьявол!
— Боже! Боже!
— Прийди, о дьявол!
— Защити нас, о дьявол!
— Боже! Боже!

— Дьявол! Дьявол!
— Приближается гибель!

Стоны. Внезапно в темноте, с той стороны, где лестница, раздается мелкий, но спокойный, самоуверенный и громкий голос:

— Что здесь такое? Отчего у вас темно? Разве ток прекратился?

Одновременно испуганные и радостные голоса:

— Дьявол! Дьявол!

У входа зажигаются несколько лампочек и освещают маленькую фигурку Инженера. Это низенький, лысый, грязновато одетый, но чрезвычайно самоуверенный человечек. Некрасив,— хорош только большой выпуклый лоб. Говорит что-то с улыбкой лакею — он демократичен и не считается с приличиями — и тот отвечает, разводя почтительно руками.

Инженер. Ага, понимаю! Пустяки, господа, пустяки. Можете зажечь все огни. Зажги-ка, любезный, они сами сейчас едва ли...

Вынимает грязный носовой платок и громко сморкается. Общая радость, крики: «Инженер! Инженер!» Зажигаются все огни. Хозяин дома обнимает Инженера.

— Новости, дорогой мой, новости!
— Господа! Новости! Инженер принес новости!
— Пусть говорит!
— Слушайте, слушайте!

Инженер. Ничего особенного, господа. Должен вам сказать...

Вынимает платок и громко сморкается. Возмущенные нетерпеливые голоса:

— Что это?
— Тут ждут, а он...
— Он еще сморкается...

Инженер. Господа, если бы мой нос строил я, он, конечно, не нуждался бы в платке. Но насморк...

— Новости! Новости!
— Особенных новостей нет. Бунт еще продолжается. Эти господа зажгли что-то там еще, кажется, Национальную галерею. Такие идиоты! Впрочем, очень возможно, что галерея зажжена нашими же снарядами.
— Так это правда! Дальше! К делу!
— Могу добавить, что бунт захватывает, по-видимому, некоторые новые районы. Но мы, инженеры, приняли некоторые меры...
— С кем Царь Голод? Вы не видали?

— Виноват, этим вопросом я не интересовался. Так вот, осмелюсь доложить, мы приняли некоторые меры... Боюсь, однако, что здесь нет людей, которые хорошо знали бы математику.

— Говорите без математики.

— Хорошо-с. Так вот я и мои товарищи сделали несколько снарядов особенной, так сказать, разрушительной силы, размеры которой, сударыня, я затрудняюсь определить. Представим, например, обычную городскую площадь, полную народа,— и достаточно одного-двух таких снарядов...

Голоса.

— Ого!

— Славно! Так, так.— На кусочки!

— Какой ужас!

— Оставьте. Я говорил, что нужно молиться дьяволу. Браво!

— Браво! Браво!

Аплодисменты. Инженер кланяется и снова вынимает платок.

— Извините, господа, но, право, такой ужасный насморк...

— Ничего! Пожалуйста, пожалуйста!

— Неужели у него нет чистого платка?

— Нет, оставьте, он такой милый.

— Далее, на Солнечной горе мы поставили ряд больших орудий огромной силы. И если бунт еще продолжится, мы закидаем город.

— Это невозможно. А мы!

— Погибнут невинные!

— Это невозможно.

— Конечно, господа, здесь есть известный риск для нас. Но в настоящее время, благодаря работе моих товарищей...

— Браво!

— Прицельность орудий достигла такой высокой степени...

— Браво! Браво!

Аплодисменты.

Инженер

(кланяется боком и знаком подзывает лакея).

Не можешь ли ты мне, любезный, принести рюмку коньяку?

Хозяин *(громовым голосом)*. Коньяку господину Инженеру.

Инженер. Такой, знаете, холод. В заключение, господа, еще одна маленькая, но утешительная новость. В среде этих же голодных мы нашли за невысокую относительно плату несколько достаточно умных и расторопных господ и снабдили их поручениями интимного свойства. И в настоящую минуту эти идиоты уже начали великолепнейшим образом истреблять друг друга.

Хохот.

— Конечно! Конечно!

— Чего же от них ждать! Глупцы! — Идиоты! — Скоты!

— Так! Так! Браво!

— Дьявол помогает.

Аббат стыдливо качает головою. Инженер берет принесенную рюмку коньяку и пьет с поклоном.

— За ваше здоровье, сударыни!

Очень красивая дама, Жена хозяина дома, говорит громко:

— Господин Инженер! Вы некрасивы, у вас грязный носовой платок, вы вульгарны и не умеете держаться в порядочном обществе, но вы наш спаситель, и я становлюсь перед вами на колени.

Становится на колени. Остальные кричат:

— И я! И я! И я!

Дама *(продолжает)*. И от вас еще пахнет чем-то очень дурным, но, если вы захотите, я буду принадлежать вам!

— И я! И я!

— И мой муж позволит это, потому что и он, как и все мы, понимает, что вы наш спаситель. Позвольте поцеловать вашу руку.

Тянется на коленях за рукою. Другие также.

Инженер *(вульгарно)*. Пустяки, пустяки, сударыни. Впоследствии я, быть может, воспользуюсь вашими любезными предложениями, а пока... я очень устал и хотел бы вымыть руки.

Удаляется, сопровождаемый отрядом дам и девиц.

Голоса.

— Танцевать!
— Приглашайте дам!
— Как светло!

Играет музыка. Некоторые танцуют. Колокол звонит почему-то реже, но рог Смерти на некоторое время становится почти непрерывным. Вот он заглушает колокол, вот заглушает и заставляет молчать музыку — вот он наполняет залу, хриплый, торжествующий, бешеный. Все прислушиваются, вытянув шеи. Говорят почти шепотом.

— Смерть!
— Как она косит!
— Ужасно!
— Вы слышите?
— Чувствуется, как падают сотни людей.
— Тысячи!
— Она в бешенстве!
— Смерть! Смерть!

Вдруг сразу наступает мертвая тишина, которая почти оглушает своей резкой неожиданностью. Умолкает колокол. Всхрипывает еще раз, и умолкает рог. Мертвая тишина. Ярко горит электричество. Все застыли на своих местах и вопросительно, с тревогою переглядываются.

На лестнице движение. Тяжелые, медленные шаги.

— Что это?

Входит Царь Голод. Он окровавлен, и измученное лицо его смертельно бледно. На голове острая красная корона; на остриях ее что-то красное, кровавое, будто куски человеческого мяса. Ни на кого не глядя, тяжелыми шагами он проходит на середину залы и стоит некоторое время в позе безысходного отчаяния и тоски.

Шепот.

— Что это? Что с ним?

Царь Голод

(поднимает голову с незрячими, точно ослепшими глазами и говорит тихо).

Кончено, они все — внизу лежат. И не поднимутся больше. И я снова — ваш — лакей.

Музыка играет торжественный победный марш.

Опускается занавес

КАРТИНА ПЯТАЯ

Поражение голодных и ужас победителей.

Вечерняя кровавая заря. Все небо с низу до верху в молчаливом, бесшумном красном огне — точно залито оно густою темнеющею кровью. И земля, со всем, что находится на ней, кажется почти черной.

Пустынная, бесплодная местность: ни дерева, ни кустика, ни одного высокого силуэта. Плоско — только посередине, ближе к левому краю, довольно высокий неровный бугорок и на нем большая, длинная, старая пушка на высоких колесах. Опершись на пушку в профиль, лицом туда, куда обращено ее жерло, неподвижно возвышается Царь Голод.

Перед жерлом пушки, теряясь в густых сумерках, лежат трупы убитых. Это голодные. И смутно рисуется над мертвым полем острый силуэт Смерти. Она стоит неподвижно — будто караулит. Позади пушки, на некотором расстоянии, Победители — это те, что в качестве Зрителей являются на суде и потом, в ночь великого бунта, присутствовали в богатой зале. Темными силуэтами тихо проходят. Некоторые группами, прижавшись друг к другу, стоят; их фигуры отчетливо рисуются на фоне заката.

В невольном почтении к Смерти разговаривают тихо, сдержанными голосами.

И на все бросает свои отсветы багровеющее небо.

Разговор Победителей.

— Как темно!

— И заря такая красивая. Точно море огня или крови.

— Завтра будет ветер.

— Осторожнее, подбирайте платье, здесь кровь.

— Ах, да! Благодарю вас.

Осторожно обходит темное пятно, подобрав юбки.

— И какая тишина.

— Да — ни шороха.

— Это всегда бывает там, где много мертвых.

— Нет ничего тише мертвого человека.

— Сколько их там лежит?

— Много. Много.

— Да. Достаточно для этого раза. Если и это их не научит...

— И как спокойны!

— Как тихи!

— Точно дети в колыбельке.

— А как кричали! Вы помните эти ужасные крики и вой?

— Как требовали!

Тихий смех. И негромкий, но властный голос Девушки в черном.

— Не издевайтесь над павшими.

— Это опять она.

— Девушка в черном.

— Она становится невозможна.

— Чего ей надо?

— Они умерли храбро.

— Опять она.

— Ее надо посадить в сумасшедший дом.

— Не стоит. Не нужно быть жестокими. Сейчас она ничему не мешает.

— Пусть говорит.

— Пусть послушают ее мертвые. Им так приятно слышать это.

Быстрый тихий смех.

— Они умерли храбро.

Молчание. Темными силуэтами тихо проходят.

— Осторожнее! Здесь кровь.

Молчание.

— Вы видели их вблизи?

— Да. Сегодня утром мы были здесь с Инженером. Он очень доволен действием своих снарядов.

— Какая тишина!

— Осторожнее, здесь опять кровь.

— Да, я вижу. Когда все это уберут!

— Да, необходимо поскорее. Опасно оставлять столько трупов.

— Разве они поднимутся?

Тихий смех и снова голос Девушки:

— Не издевайтесь над павшими!

Молчание.

— Она скоро охрипнет, повторяя одно и то же. Скажите, вы не были сегодня на мертвом поле, когда пелись торжественные гимны пушке?

— О, да. Я была с мамой. Это было так торжественно. Мы все плакали. Кто сочинил слова молитвы, вы не знаете? Они так прекрасны.

— Говорят, Аббат.

— Нет, это неправда. Их сочинил в восторге сам народ.

— Было так трогательно, когда матери подносили к пушке маленьких детей и заставляли целовать ее. Нежные детские ручки, доверчиво обнимающие это медное чудовище,— как это трогательно!

— Как прекрасно! Я мужчина — но я плакал.

— Все плакали.

— Махали платками. Кричали.

— А флаги развевались!

— И солнце вышло из-за туч и осветило нас.

— Только нас.

— Да — эти все время оставались в тени. Солнце не захотело взглянуть на них.

— А мне жаль, что все это скоро уберут. Это место было бы так удобно для вечерних прогулок. Здесь так тихо.

— Осторожнее! кровь.

— Ничего, она уже засыхает. А в городе невозможно оставаться от грохота и лязга железа.

— Да, везде куют цепи. К сожалению, это необходимо.

— Но разве нельзя было бы сделать это как-нибудь тише! Положительно глохнешь от стука молотков. Это отзывается и на нервах. Мне всю ночь снилась бесконечная железная цепь, которая облегает земной шар. Нужно куда-нибудь уехать.

— Правда, какая тишина.

Молчание.

— Вы верите Царю Голоду?

— Да. Он честно выполнил свой долг.

— Но он слишком мрачен. Уже вторую ночь он стоит здесь и не говорит ни слова. Это не совсем прилично.

— Я слыхала, он готовит речь.

— Неужели? Это было бы очень хорошо. Помните его речь в суде?

— Он слишком мрачен.

— А вы будете завтра на первой лекции Профессора?

— Как, разве он читает?

— Да. О культуре.

— Но говорили, что он тяжело болен, даже при смерти.

— Представьте, выздоровел. Такой живучий старик. Мы все каждый день ездили к нему, и он целовал руки и говорил: «Мои милые сестры милосердия».

— Тише! Кажется, Царь Голод хочет говорить.

— Это интересно.

— Перестаньте ходить!

— Он поднял руку.

— Тише! Тише!

Царь Голод

(выходит из неподвижности. Протягивает руку к мертвым и начинает говорить тихо и сдержанно).

Чего добились, безумцы? — Куда шли? — На что надеялись? Чем думали бороться? У нас пушки, у нас ум, у нас сила,— а что у вас, несчастная падаль? Вот лежите вы на земле и смотрите в небо мертвыми глазами — ничего не ответит вам небо. И сегодня же ночью вас поглотит черная земля, и на том месте, где вы будете зарыты, вырастет жирная трава; и ею мы будем кормить нашу скотину. Вы этого хотели, безумцы?

Ликующие голоса.

— Куда шли?

— Чего добились?

— Сейчас поглотит вас черная земля. Уже идут могильщики.

Уже несут заступы. Идите в землю, безумцы!

— Горе побежденным!

— Горе побежденным!

Показывается молчаливая группа Могильщиков с заступами на плечах. Бесшумно останавливаются у края мертвого поля.

Царь Голод *(продолжает)*. Зачем вы умерли — зачем? Вот несут заступы — подходят к вам — скорее! Опомнитесь, проснитесь — да пошевелитесь же, говорю я вам. Не можете? Притихли? Смерть сковала рты? Да, Смерть великий кузнец, и не вам разрушить ее узы! И вас я называл детьми, несчастная, жалкая падаль.

Торжествующие, холодно-угрюмые возгласы:

— Горе побежденным!

— Сын мой, сын мой. Ты кричал так громко — что молчишь ты! Дочь моя, дочь моя, ты ненавидела так глубоко и сильно, ты самою несчастною была на земле — под-

нимись же. Восстаньте из праха! Разрушьте призрачные узы смерти. Восстаньте! заклинаю вас именем Жизни! — Молчите? Так будьте же...

Вдруг на мертвом поле начинается какое-то смутное движение, шорох, густой хруст переломленных костей, настойчивое царапанье земли острыми, мертвыми ногтями — и с ужасом, вытянув шеи, прислушиваются те. И глухой, далекий, словно уже выходящий из-под земли, отвечает тысячеголосый ропот:

— Мы еще придем. Мы еще придем. Горе победителям.

Царь Голод. Что я слышу?

Далекий мертвый ропот.

— Мы еще придем!
— Мы еще придем!
— Горе победителям!

Умолкают; и снова на мертвом поле покой и тишина, и смутно рисуется неподвижный силуэт Смерти. Минуту все находится в оцепенении. И вдруг, с хохотом, Царь Голод быстро переметывается на эту сторону и кричит грозно, с дикой радостью:

— Ха-ха! Вы слышали! Они еще придут. Они еще придут. Горе победителям!

Хохочет. Панический ужас и бегство.

Испуганные голоса.

— Скорее! Скорее!
— Мертвые встают!
— Мертвые встают!
— Они гонятся за нами!
— Скорее!
— Бегите! Бегите! Мертвые встают!

Толкаясь, падая, сбивая с ног рыдающих женщин, с диким воем убегают. И, вытянувшись к убегающим всем своим жилистым телом, в исступленной, безумной радости кричит Царь Голод:

— Скорее! Скорее! Мертвые встают!

Опускается занавес



ДНИ НАШЕЙ ЖИЗНИ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА.

Евдокия Антоновна.
Ольга Николаевна, ее дочь.

Глуховцев Николай Онуфрий Мишка Блохин Физик Архангельский Анна Ивановна Зинаида Васильевна	студенты и курсистки.

Эдуард фон-Ранкен, врач.
Миронов Григорий Иванович, подпоручик.

Парень Гриша Торговец Отставной генерал с дочерью Военные писаря	бульварная публика.

Аннушка и Петр, служащие в номерах.
Место действия — Москва; время — вторая половина девяностых годов.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Воробьевы горы. Начало сентября; уже начинается золотая осень. Погожий солнечный день.

К краю обрыва подходят двое: Николай Глуховцев и Ольга Николаевна, девушка лет восемнадцати. Глуховцев в красной русской рубахе, поверх которой накинута серая студенческая тужурка, и в летней фуражке с белым верхом; девушка в легкой летней блузе с открытой шеей; верхнюю драповую кофту держит на руке ее спутник.

Останавливаются и восхищенно смотрят на далекую Москву.

Ольга Николаевна *(прижимаясь плечом к Глуховцеву)*. Как хорошо, Коля! Я и не воображала, что здесь может быть так хорошо.

Глуховцев. Да. Воистину красота! День очень хорош. Ты погляди, как блестит купол у храма Спасителя. А Иван-то Великий!

Ольга Николаевна *(прищурив глаза)*. Где, где? Я не вижу.

Глуховцев. Да вот же, направо... еще, еще немножко правей. *(Берет обеими руками ее голову и поворачивает.)* Видишь?

Ольга Николаевна. Какая прелесть! Колечка, а что это за маленькая церковка внизу, точно игрушечная?

Глуховцев. Не знаю. Так, какая-нибудь. Нет, положительно красота. И подумать, что отсюда смотрели Грозный, Наполеон...

Ольга Николаевна. А вот теперь — мы. А где мы живем, Колечка, ты можешь найти?

Глуховцев. Конечно, могу. Вот... вот... вот видишь церковку, их там еще несколько, кучкою — так вот немного полевее от них и наши номера. Как странно: неужели мы там действительно живем, в этом каменном хаосе? И неужели это — Москва?

Ольга Николаевна. Когда я смотрю отсюда, то я вижу как будто нас, как мы там живем; а оба мы такие маленькие, словно две козявочки... Как я тебя люблю, Колечка!

Глуховцев *(рычит)*. Ррр-ррр-ррр...

Ольга Николаевна. Что ты?

Глуховцев. Хорошо очень. Черт возьми!.. Зачем все это так красиво: и солнце, и березы, и ты? Какая ты красивая, Олечка! Какая ты очаровательная! Какая ты ослепительная!

Ольга Николаевна. Разве?

Глуховцев. Я съем тебя, Оль-Оль. *(Кричит.)* Оль-Оль-Оль-Оль!

Где-то ответные голоса: «ау» и также «Оль-Оль-Оль»...

Ольга Николаевна *(звонко)*. Оль-Оль-Оль! Что же они не идут?

Глуховцев. Конечно, мы тут остановимся. Красивее места не найдешь.

Ольга Николаевна. Я их немножко боюсь, Коля, твоих товарищей.

Глуховцев. Их-то? Вот нашла, кого бояться.

Ольга Николаевна. А две барышни, которые с нами,— это курсистки?

Глуховцев. Да. Курсистки.

Ольга Николаевна. Той, которая в очках, я меньше боюсь: за ней этот — я не знаю, как зовут его — ухаживает.

Глуховцев. Его зовут Физик.

Ольга Николаевна. Как смешно, Коля, когда влюбленные в очках. *(Заглядывая ему в глаза.)* А тебе не нужно, Коля, очков, чтобы меня рассмотреть?

Глуховцев. Телескоп нужен,— звездочки рассматривают в телескоп. Нет, ты подумай, что̀ это будет, когда луна взойдет.

Ольга Николаевна *(восхищенно)*. А разве и луна еще будет?

Глуховцев. Заказана. Нет, объясни ты мне, пожалуйста, что это значит — любовь? То не было ее,— а то вдруг явилась; и сердцу так широко, так просторно, так солнечно и вольно, что как будто крылья выросли у него. Оль-Оль, родной ты мой человечек, звездочка моя,— я, ей-Богу, счастлив!

Ольга Николаевна. Мне хочется на тебя молиться, Коля. Когда ты так говоришь, то сердце у меня замирает и падает, и падает; и падает...

Показываются студенты со свертками, с кульками. Все потные, усталые, фуражки на затылке, но очень веселые.

Мишка *(басом)*. Оль-Оль-Оль-Оль! Куда вас черт унес? Аж взмокли, вас искавши.

Онуфрий *(жидким тенором)*. Господа, Глуховцев — подлый ловелас: ограничился тем, что взял эфемерную кофточку на левую ручку, а под правую подхватил очаровательную Оль-Оль. Все же материальное и имеющее вес предоставил нам.

Мишка. Презренный Дон-Жуан,— провались в преисподнюю!

Ольга Николаевна *(смущаясь)*. Мы выбирали место, мы все время вас окликали.

Онуфрий *(ласково)*. Да ведь мы же шутим, Ольга Николаевна, вы на нас не обижайтесь.

Физик *(близоруко прищуривая глаза)*. Какой обширный горизонт!

Анна Ивановна. А вон Воспитательный! Зинаида Васильевна, смотрите, Воспитательный виден!

Зинаида Васильевна. Где? где?

Анна Ивановна Да вон он, вот он! Видите, белеет.

Архангельский А Таганки не видать?

Анна Ивановна А разве вам знакома?

Архангельский Нет, я в Арбатском участке сидел.

Анна Ивановна А мы с Зиной в Бутырках. Их отсюда не видно

Физик Из Таганской тюрьмы, из сто двадцать девятого, Воробьевы хорошо видны Значит и Таганку отсюда можно рассмотреть

Блохин *поет страшно фальшивым голосом* Вдали тебя я обездолен, Москва, Москва, родимая страна Там блещут в чесе коло *Срывается*

Мишка *с ужасом)* Господа, Блохин запел! Я не могу я уйду мне жизнь дорога

Онуфрий *убедительно* Сережа, вот ты и опять с колокольни сорвался Ведь так ты можешь и расшибиться

Архангельский У него средние ноты хороши вот бывают такие кривые дрова, осиновые, никак их вместе не уложишь, все топорщатся

Блохин *обиженно немного заикаясь* Пошли к черту!

Располагаются на траве под березами раскладывают шинели развертывают кульки бумажные свертки откупоривают бутылки За хозяйку курсистка Анна Ивановна

Мишка Ей Богу пива больше было! Это ты, Блоха дорогою одну бутылку вылакал И как ты можешь петь с такою нечистой совестью?

Блохин Пошли к черту!

Анна Ивановна А самовар? Где же мы возьмем самовар?

Глуховцев Без чаю и я не согласен!

Онуфрий Прекрасные лорды и маркграфини, и в особенности вы, баронесса На семейном совете мы решили обойтись без посредников, а потому вот вам, баронесса, керосинка, а вот и чайник Принес на собственной груди.

Глуховцев *горячо* Это подлость, господа! Ведь вы же говорили, что самовар будет Пить чай из какого-то чайника это черт знает что такое!

Онуфрий Ну ну не сердись Коля Будешь пить пиво

Глуховцев Не хочу я пива!

Мишка Мещанин Который человек, находясь в здравом уме и твердой памяти, не желает пива тот человек мещанин

Архангельский. А кто же за водой пойдет?

Ольга Николаевна. Мы! Николай Петрович, пойдемте за водою, хорошо?

Глуховцев. Ну ладно, черти!

Ольга Николаевна *(тихо)*. Не пей, миленький сегодня. Я так боюсь пьяных.

Глуховцев. Ну что ты,— выпьем все понемножку, вот и все. Бежим!

Ольга Николаевна. Ай!

Бегут вниз. Слышно, как звякает упавший чайник. На полянке закусывают и пьют.

Архангельский. Нет, это такое счастье, господа, когда осенью приезжаешь в Москву; там у нас одуреть можно.

Анна Ивановна. Ваш отец священник?

Архангельский. Нет, дьякон. Отец-дьякон.

Блохин. Ну ты, Вася, в деревне, там еще понятно, а ты посмотрел бы, что у нас в Орле делается летом. Такая мертвая тощища.

Мишка. Буде! Везде хорошо. Пей за Москву, ребята!

Архангельский. Еду я третьего дня с Курского вокзала, и как увидел я, братцы мои, Театральную площадь, Большой театр...

Мишка *(басом)*. И Малый. Выпьем за Большой и за Малый.

Анна Ивановна. Полное отсутствие интересов. Я целое лето работала фельдшерицей на одном пункте... Так это же ужас! Доктор, еще молодой совсем, а такой пьяница, картежник...

Физик. Пьяница — ничего, картежник — дурно.

Мишка *(жалобно)*. Да будет вам панихиду тянуть. Ну, удрали и удрали, и радуйтесь этому. Молодым людям надо быть веселыми,— расскажи-ка лучше, Фрушончик, как тебя опять из тихого семейства выгнали.

Зинаида Васильевна. Какая славная девушка с Глуховцевым. Кто это?

Архангельский. Его знакомая. Правда, очень милая. Но уж очень скромная,— все краснеет.

Мишка. Ну, ну, расскажи, Фрушончик.

Блохин. Нет, это удивительно: такого скандалиста, как Онуфрий, во всей Москве не найти... И зачем ты, Онуфрий, лезешь непременно в тихое семейство?

Онуфрий. Роковая тайна. По натуре я, собственно говоря, человек непьющий...

Хохот

М и ш к а. Физик, объясни.

А н н а И в а н о в н а. Его специальность — химия.

Ф и з и к. Но не алхимия. Здесь же, несомненно, припахивает чертовщиной.

О н у ф р и й. Совершенно серьезно, Анна Ивановна. И не только непьющий, но склонный к самым тихим радостям. Что такое меблированные комнаты? Ваш Фальцфейн, например? — Грязь, безобразие, пьянство, а я этого совершенно не выношу, Зинаида Васильевна. Вот я и выискиваю по объявлениям тихое интеллигентное семейство. Переезжаю, конечно, и все мне очень рады. Онуфрий Николаевич, говорят, приехал. Но только...

М и ш к а. Несчастный ты человек, Онуфрий. Выпьем за тихое семейство.

О н у ф р и й. С удовольствием, Миша. И вот здесь, Анна Ивановна, начинается роковое сцепление обстоятельств. Третьего дня, например, поселился я у одного присяжного поверенного; такой приятный, знаете, человек, и тихо до того, что ежели блоха в дверь входит, то слышно, как она лапками стучит. Но только в эту же ночь я как-то напился и вернулся домой так часиков в шесть.

Б л о х и н. У... утра?

О н у ф р и й. Нет, Сережа,— пополуночи. Все бы это ничего, но только меня губит любовь к людям, Анна Ивановна... Вдруг мне до того жалко стало этого адвоката, что не вытерпел я, прослезился и начал барабанить кулаками в дверь, где они с женой почивают: вставай, говорю, адвокат, и жену подымай, пойдем на бульвар гулять! На бульваре, брат, грачи поют, так хорошо! Ну и что же?

А н н а И в а н о в н а. Попросили уехать, конечно?

О н у ф р и й. Нет, и не просили даже. А просто сам адвокат связал мои вещи и даже, кажется, за извозчиком сам бегал. До свидания, говорит, Онуфрий Николаевич, до свидания, ищите себе другое тихое семейство.

М и ш к а. Злополучный ты человек, Онуфрий. Выпьем.

О н у ф р и й. С удовольствием, Миша. Однако как они запропастились.

З и н а и д а В а с и л ь е в н а. Далеко. Пока дойдут до реки.

Б л о х и н. Давайте петь, господа, какого черта!

З и н а и д а В а с и л ь е в н а. Да, да! Петь! Михаил Иванович, да оторвитесь вы от бутылки хоть на минуту.

М и ш к а *(в отчаянии)*. Братцы, что же это такое? Пришел я на Воробьевы горы, думал хоть тут отдохнуть душою, а Блохин петь хочет.

О н у ф р и й. Не обижай его, Миша: разве он виноват, что голос у него такой скверный? Пой, Сережа, пой, только высоко не забирайся,— опасно.

Вбегают, запыхавшись, О л ь г а Н и к о л а е в н а и Г л у х о в ц е в.

Г л у х о в ц е в. Ой-ой-ой, как я жрать хочу.

О л ь г а Н и к о л а е в н а. Я тоже. Можно мне здесь присесть?

А н н а И в а н о в н а. Пожалуйста, голубчик, вот колбаса, вот сыр, сардинок не советую есть,— кажется, с запахом.

М и ш к а. Говорил, лучше селедку взять,— селедка никогда не обманет.

Г л у х о в ц е в. Налей-ка, Миша.

О л ь г а Н и к о л а е в н а. Вы же не хотели пить, Николай Петрович.

Г л у х о в ц е в. Одну рюмочку.

А н н а И в а н о в н а. Вы не московскую гимназию окончили, Ольга Николаевна?

О л ь г а Н и к о л а е в н а. Нет, я была в институте.

Ф и з и к. В институте? Это надо хорошенько рассмотреть.

Надевает сверх очков пенсне.

М и ш к а. Братцы, Физик вторые очки надел.

О н у ф р и й. Четырехглазый осьминог.

Ф и з и к. Но почему же осьминог?

Б л о х и н. Глаза уже есть, а ноги будут

З и н а и д а В а с и л ь е в н а. У вас такой прекрасный голос, Михаил Иванович,— отчего не споете?

М и ш к а. Можно.

Запевает, и все согласным хором подхватывают:

Не осенний мелкий дождичек
Брызжет, брызжет сквозь туман,—
Слезы горькие льет молодец
На свой бархатный кафтан.
— Полно, брат молодец,
Ты ведь не девица,
Пей,— тоска пройдет.
Пей, пей,— тоска пройдет.

М и ш к а *(обиженно)*. Братцы, Блохин опять врет.

Б л о х и н *(вскакивает)*. Это свинство! Это... это черт

знает что такое! Я больше никогда... *(Уходит к обрыву и стоит там один, насупившись.)*

Голоса. Сергей, Сережа! Сергей Васильевич! Он нарочно. Он шутит. Иди сюда!

Блохин. Хороши шутки. Тоже товарищи.

Мишка *(подходит сзади и обнимает его)*. Ну, не сердись, Сережа, я ведь нарочно. У тебя голос прямо, брат, для оперы.

Блохин. Оставь меня, Михаил. Я знаю, что у меня очень плохой голос, но если мне хочется петь,— как ты этого не понимаешь? Я, может быть, всю жизнь отдал бы, чтобы иметь такой голос, как у тебя. Ты не знаешь и никто из вас не знает, что у меня в душе все время музыка звучит.

Мишка. Если бы ты не врал, Сережа, а то ведь ты врешь.

Блохин. Ну и вру. На то вы товарищи, чтобы...

Мишка *(покаянно)*. Верно, брат Сережа, верно! Свинство это. Поцелуй меня! Больше никогда, брат, слова не скажу,— ври сколько хочешь. *(Соболезнующе.)* У тебя тенор, что ли?

Блохин *(насупившись)*. Тенор.

Мишка. Ну, ничего, брат, пойдем, выпьем. *(Уходят.)*

Заходит солнце, заливая пурпуром стволы берез и золотистую листву. Над Москвою гудит и медленно расплывается в воздухе колокольный звон: звонят ко всенощной.

Архангельский. Зазвонила Москва. До чего ж я люблю ее, братцы!

Онуфрий. По какому случаю трезвон?

Архангельский. Завтра же воскресенье. Ко всенощной.

Мишка. Молчи, молчи! Слушайте! *(Издает грудью певучий, глубокий звук в тон поющим колоколам.)* Гууууу, гууууу...

Глуховцев *(вскакивает)*. Нет, я не могу! Это такая красота, что можно с ума сойти. Оля, Ольга Николаевна, пойдемте к обрыву.

Голоса. И мы, и мы. Да оставьте вы ваше пиво, Онуфрий Николаевич.

Все высыпают на край обрыва, Мишка со стаканом пива, Онуфрий держит бутылку и время от времени пьет прямо из горлышка. Слушают.

Онуфрий. Вечерний звон, вечерний звон, как много дум наводит он. *(Пьет.)*

Мишка. Молчи!

Анна Ивановна. Москву действительно трудно узнать.

Глуховцев *(горячо)*. Это такая красота! Это такая красота!

Ольга Николаевна *(тихо)*. Мне захотелось молиться.

Глуховцев. Молчи, Оль-Оль. Тут и молитвы мало.

Мишка *(грустно)*. Кончилось. Но если ты, Онуфрий, еще раз попробуешь в таком торжественном случае гнусавить, как заблудившийся козел, то я тебе...

Онуфрий. Жестокое непонимание. Роковая судьба. Лучшие порывы души угасают, не долетая до небес. Всю жизнь мою ищу тихое семейство — что же, о, жалкий жребий мой! Анна Ивановна! Вы женщина строгая и добродетельная, давайте образуем с вами тихое семейство.

Анна Ивановна. Вы пьяны, Онуфрий Николаевич.

Онуфрий. Выпивши, но не пьян. Дамам эта разница недоступна, но вместе с тем очень значительна.

Блохин. Мы рождены для вдохновенья, для звуков сладких и молитв.

Зинаида Васильевна. Ай-ай, чайник закипел.

Архангельский. Бежим! Лови его!

Мишка. Зловредный ты человек, Онуфрий. Только тебе и остается, что пить.

Онуфрий. Я одного боюсь, Миша: истощения сил.

Мишка. А ты, Онуша, не мешай водку с пивом. Выпей сперва одного, а потом другого, а вместе — избави тебя Бог: никакое тихое семейство тебя не выдержит.

Онуфрий. Хорошо, Миша, попробую так.

Все уходят, на обрыве остаются только Глуховцев и Ольга Николаевна.

Глуховцев. Что загрустила, Оль-Оль? Что затуманилась, зоренька ясная?

Ольга Николаевна *(вздыхая)*. Так. Мне очень нравятся твои товарищи, Коля. И этот твой Онуфрий... как его, очень милый. Правда, что его отовсюду выгоняют?

Глуховцев. Ты еще не знаешь, какой он хороший. Он последнюю копейку отдает товарищам, но только ужаснейший скандалист!

Ольга Николаевна. А этой Зинаиды Васильевны я боюсь. Мне все кажется, что она меня презирает.

Глуховцев. Какая чепуха! Кто же может тебя презирать? Ты такая прелесть, такое очарование, что вот хочешь — сейчас при всех возьму и стану на колени.

Ольга Николаевна *(испуганно)*. Нет, нет, Коля. Ступай, миленький, к твоим, а я тут побуду одна. Немножко погрустить захотелось.

Глуховцев. О чем, Оль-Оль?

Ольга Николаевна. Так, о жизни. Ты очень меня любишь, Коля?

Глуховцев. Очень, Оль-Оль.

Ольга Николаевна. Нет, скажи — очень? Мне нужно, чтобы ты очень любил меня.

Глуховцев. Сильнее нельзя любить. Видишь ли, настоящую любовь можно узнать по тому, насколько от нее человек становится лучше, и еще по тому, Оль-Оль, насколько от нее в душе светлеет. А у меня так светло теперь, что я удивляюсь. Ведь ты знаешь, Олечка, как мучили меня всякие проклятые вопросы, а теперь ничего: только радость, только свет, только любовь. И петь хочется... как Блохину.

Ольга Николаевна. Ну иди, миленький, пой. *(Тихонько целует его руку.)* Спасибо тебе.

Глуховцев *(отвечая таким же поцелуем)*. Я только на минутку. Не забывай меня!

Ольга Николаевна. И ты меня не забывай.

Остается одна. Некоторое время молчит, потом тихонько напевает.

Ольга Николаевна.

Ни слова, о друг мой, ни вздоха. Мы будем с тобой молчаливы:
Ведь молча над камнем могилы склоняются грустные ивы.
И молча читают, как я в твоем сердце усталом,
Что были...

Онуфрий *(кричит)*. За ваше здоровье, Ольга Николаевна.

Ольга Николаевна *(тихо)*. Спасибо. *(Продолжает петь.)*

Что были дни светлого счастья, и этого счастья не стало.

Глуховцев *(кричит)*. Петь идите, Ольга Николаевна!

Мишка. Идите петь. Одного голоса не хватает.

Ольга Николаевна. Нет, я тут побуду... Что были дни светлого счастья, и этого счастья не стало... Да. Милый мой Колечка, бедный мой Колечка.

Студенты *(поют)*.

Быстры, как волны, все дни нашей жизни.
Что день, то короче к могиле наш путь.
Налей же, товарищ, заздравную чару,—
Бог знает, что́ с нами случится впереди.
Посуди, посуди, что́ нам будет впереди.

М и ш к а. Так, так, Сережа, поддерживай.

С т у д е н т ы *(продолжают)*.

Умрешь, похоронят, как не жил на свете.
Уж снова не встанешь к веселью друзей.
Налей же, товарищ, заздравную чару,—
Кто знает, чтó с нами случится впереди.
Посуди, посуди, чтó нам будет впереди.

О н у ф р и й. Господа, кто подложил под меня сардинки? Во-первых, я не курица, во-вторых, куры не несут сардин, а в-третьих, я не маркиз, чтобы ежедневно менять брюки.

Хохот.

О л ь г а Н и к о л а е в н а *(повторяет)*. Уж снова не встанешь к веселью друзей... Один у меня друг, как одно у меня и сердце. Одна жизнь. Одна любовь.

Со стороны сидящих на поляне доносятся отрывки горячего спора.

А р х а н г е л ь с к и й. Ты не имеешь права так говорить, Миша. Ницше...

М и ш к а. А я буду говорить.

А н н а И в а н о в н а. Господа, господа, необходим порядок. Вы что хотели сказать, Блохин?

Б л о х и н *(захлебываясь)*. Я говорю... я говорю, что сила не в том, чтобы постоянно разрушать и ничего... ничего не творить. Т-во... творческий дух...

М и ш к а. Верно, Сережа!

Б л о х и н. Погоди, Михаил. Я говорю...

Г л у х о в ц е в. А я скажу, Михаил, что это глупо: ко всему, что не нравится и чего не понимаешь, прилеплять кличку мещанина. Таким образом можно легко отделаться...

З и н а и д а В а с и л ь е в н а. Почему же непременно отделаться, Глуховцев? А если человек убежден, что данный факт или данное лицо...

О н у ф р и й. Вот бы нас сейчас да в тихое семейство.

Г л у х о в ц е в. Не балагань, Онуфрий. Меня возмущает легкость, с которой этот господин пришпиливает ярлычки. Мы не насекомые...

О н у ф р и й. Мы травоядные алкоголики.

Г л у х о в ц е в. Онуфрий! Господа, или спорить, или дурачиться,— я этого не понимаю.

А н н а И в а н о в н а. Вы пьяны, Онуфрий Николаевич. Повторите, Михаил Иванович, что вы сказали,

М и ш к а *(угрюмо)*. То и сказал. Сказал, что ваш Фридрих Ницше — мещанин.

Глуховцев. А ну вас всех к черту!

Идет к Ольге Николаевне.

Онуфрий. Не уходи, Коля, мы сейчас заставим его извиниться. Михаил, прошу тебя, возьми слова твои обратно.

Глуховцев *(Ольге Николаевне)*. Нет, ты подумай, Оля, эта пьяная каланча, этот тромбон вдруг заявляет, что Ницше мещанин. Этот великий, гениальный Ницше, этот святой безумец, который всю свою жизнь горел в огне глубочайших страданий, мысль которого вжигалась в самую сердцевину мещанства... *(Оборачиваясь, яростно.)* Мишка, а кто же по-твоему я?

Мишка *(гудит)*. Тоже мещанин.

Глуховцев. Ага! Ну, а ты?

Мишка. Тоже мещанин.

Хохот. Спор продолжается.

Ольга Николаевна. Не волнуйся, голубчик. Смотри, уж луна показалась,— какая красная. Можно подумать, что пожар.

Глуховцев. Где? Нет, это удивительный осел!

Ольга Николаевна. Да вот же она! Смотри! Господи, какое счастье подумать, что и назад мы пойдем с тобою! Какое счастье жить на свете!

Глуховцев *(смягчаясь)*. Это верно, Оль-Оль, большое счастье! Мишка просто не понимает, что говорит.

Подходит, покачиваясь, Онуфрий.

Онуфрий. Вы тут? Милые мои дети! Простите, что я вмешиваюсь в ваше блаженство, но любовь к людям не дает мне покою. Я уже заметил, когда мы шли сюда, и вообще еще раньше заметил, что вы, дети мои, самим Провидением при-у-го-тованы, то есть приготовлены, вы понимаете?

Глуховцев. Не трудись объяснять, понимаем.

Онуфрий. И я, как старший, как духовный отец...

Глуховцев. Духовная мать.

Онуфрий. Нет, именно духовный отец. Я прошу тебя, женщина, как бы тебя ни звали, люби моего Колю. Это такая душа, это такая душа... *(Всхлипывает.)* И когда вы женитесь и образуете тихое семейство, я навсегда поселюсь у вас. Ты меня не выгонишь, Коля, как этот адвокат?

Глуховцев. Живи, Онуфрий, чего уж там.

Онуфрий *(целует его)*. Я всегда верил в твое благородство, Коля. Мне бы только ящик с книгами распаковать, а то вот уж два года вожу я его из одного тихого семейства в другое тихое семейство. Из одного тихого семейства в другое тихое семейство. А вас, прелестная незнакомка, я могу поцеловать? Как отец. Коля, мой поцелуй чист, как дыхание ребенка.

Глуховцев. Да, только такого, который не меньше года пролежал в спирту.

Ольга Николаевна. Я с удовольствием поцелую вас, Онуфрий Николаевич. *(Целует его.)*

Глуховцев. Ты на луну лучше посмотри.

Онуфрий. Которая? Вот эта? Какая зеленая. Господа, луна взошла и притом, заметно, в нетрезвом виде.

Блохин *(поет)*.

И ночь, и любовь, и луна,
И темный развесистый сад..

(Забирается куда-то в непролазную глушь и обрывает.) Кто знает из вас этот романс?

Мишка. Сережа, не форси и не злоупотребляй. Сорвешь голос — как же Вагнера петь будешь?

Зинаида Васильевна. А вы были на «Зигфриде», Михаил Иванович?

Мишка. Присутствовал.

Собираются к краю обрыва в лунный свет. Несколько затихают, очарованные.

Блохин. Мне кажется, что я рас... растворяюсь в лунном свете, что я таю, что меня уж нет. Господа, скажите мне под честным словом: существует Блохин или нет?

Мишка. Какое торжество! Возрадовалися небо и земля. Что сегодня — праздник, что ли?

Архангельский. Завтра воскресенье. Слыхал, ко всенощной звонили?

Онуфрий. Врешь, отец-дьякон. Сегодня воскресенье. Почему воскресенье должно быть завтра, если оно сегодня? Миша, скажи отцу-дьякону, что ихний календарь — мещанство.

Анна Ивановна. Тишина какая. Вы здесь, Андрей Васильевич?

Физик. По-видимому, здесь.

Анна Ивановна. Подойдите сюда,— отсюда виднее.

Глуховцев *(тихо)*. Оль-Оль, ты любишь меня?

Ольга Николаевна. Люблю. А ты?

Глуховцев. Люблю.

Онуфрий. Вот я в тихом семействе. Тихий месяц, тихи звезды, тиха вся земля.

Блохин. Смотри, выгонят.

Онуфрий *(грустно)*. Не смейтесь, дети мои, над несчастным Онуфрием. Ему грустно. Люди гонят его, как пророка, и даже побивают камнями; но он верит: есть в мире тишина. Иначе как бы могли судить у мирового за нарушение тишины и порядка!

Мишка. Торжество! Но, однако же, пойдем допивать пиво, Онуфрий.

Онуфрий. Пиво? С удовольствием, Миша. Но мне кажется, что я уже выпил все пиво.

Мишка. Я спрятал две бутылки. Пойдем! От этого торжества меня под сердцем сосать начинает.

Онуфрий. Под сердцем? Ах, Миша, Миша! Коротка наша жизнь. Извини меня, Миша, но, кажется, я наступил тебе на мозоль.

Блохин. Ты опять, Онуфрий, извиняться начинаешь. Ночевать тебе в участке.

Зинаида Васильевна. Вам грустно, Михаил Иванович?

Мишка. Да, взгрустнулось. Пива мало взяли.

Зинаида Васильевна. Пиво?.. В такую ночь?..

Анна Ивановна. Холодно! Холодно становится. У кого моя кофточка, господа? Да и собираться надо,— пока дойдем.

Уходят на полянку. У обрыва остаются только Глуховцев и Ольга Николаевна. Стоят, крепко обнявшись.

Ольга Николаевна *(тихо)*. Увидят, Коля.

Глуховцев. Пусть.

На полянке громкий разговор.

Мишка. Домой? Домо-о-ой? Кто говорит: домой? Это вы, Анна Ивановна?

Онуфрий. Ложное представление о несуществующих предметах. Дома никакого нет. Дом — это пятиэтажный предрассудок.

Блохин. К-конечно, к-какой там дом. Мы еще костер будем разводить.

Мишка. Верно, брат Сережа. Костер.

Физик. А я желаю наблюдать восход солнца.

Онуфрий. Я буду прыгать через костер, как летучая рыба. Физик, скажи-ка: бублик.

Анна Ивановна. Не надо, не говорите, Андрей Васильевич!

Физик. Нет, скажу. *(Подумавши.)* Булбик.

Онуфрий. Верно, Физик. Значит, и ты можешь прыгать через костер. Все будем прыгать.

Архангельский. Костер нельзя, братцы!

Мишка. Можно! Можно, отец-дьякон! Что ты, Блоху нашу заморозить хочешь? Видишь, она в одной рубашке.

Зинаида Васильевна. Костер, костер! Кто идет со мной сучья собирать?

Архангельский. Ну и влетит же вам.

Онуфрий. Если ты будешь ерепениться, отец-дьякон, то мы тебя на костре зажарим. И у нас будет постная закуска.

Мишка. Чего там. Айда за сучьями. *(Запевает.)*

Из страны, страны далекой,
С Волги-матушки широкой,
Ради славного житья..

Студенты *(поют, удаляясь)*.

Ради вольности веселой
Собралися мы сюда.
Вспомним горы, вспомним долы,
Наши нивы, наши села.
И в стране, в стране чужой
Мы пируем пир веселый
И за родину мы пьем...
Мы пируем...

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Тверской бульвар. Время к вечеру. Играет военный оркестр. В стороне от главной аллеи, на которой тесной толпою движутся гуляющие, на одной из боковых дорожек сидят на скамейке Ольга Николаевна, Глуховцев, Мишка, Онуфрий и Блохин. Изредка по одному, по двое проходят гуляющие. В стороне прохаживается постовой городовой в сером кителе. Звуки оркестра, играющего вальс «Клико», «Тореадора и андалузку», вальс «Ожидание» и др., доносятся откуда-то слева.

Мишка. Так-то, Онуша.

Онуфрий. Так-то, Миша.

Мишка. Я не могу с Блохиным сидеть: на меня все смотрят. Что это, говорят, у Михаила Ивановича такое неприличное знакомство?

Онуфрий. Ты что же это, Сережа, в мундире? На бал куда-нибудь собрался?

Блохин *(одетый в парадный, сильно потрепанный мундир)*. Пошли к черту! Сегодня три рубля на толкучке дал.

Онуфрий. Ну? Не дорого.

Блохин. Н-насилу уступил. Просил пять. Г-оворит, что шитья одного на пятнадцать рублей.

Мишка. Покажи-ка!

Он и Онуфрий с интересом рассматривают мундир, пробуют пальцами материю.

Мишка. Ничего, здорово только молью поедено.

Онуфрий. И великоват немножко. Ну, да ты, Сережа, подрастешь.

Молчание.

Блохин. Ты что это, Коля, так загрустил?

Глуховцев. Так, ничего.

Мишка. А ты у кого, Онуша, живешь?

Онуфрий. У Архангельского, у отца-дьякона, свой шатер раскинул. А что, братцы, не найдется ли у вас этакого завалящего урочка?

Блохин. Держи карман шире! Сами взяли бы, кабы было что.

Мишка. А животы подводит, Онуша?

Онуфрий. Подводит, Миша. Я бы, собственно, за стол и квартиру.

Блохин. А я рас... расстоянием не стесняюсь.

Мишка. Не скули, Блоха. *(Тихонько запевает.)*

Настало нам разлуки время...

Студенты *(тихонько подпевают)*.

И на измученную грудь
Тяжело пало жизни бремя;
Но все ж скажу вам: добрый путь.

Бульварный сторож. Тут петь нельзя, господа.

Онуфрий *(с удивлением)*. А разве кто-нибудь пел? У вас, дорогой мой, начинаются галлюцинации слуха. Как ты думаешь, Миша, это очень опасно?

Мишка. Очень! Потому что за ними идут галлюцинации зрения.

Блохин. И о... о... обоняния!

Сторож *(сердито)*. Вам говорят!

Онуфрий. Ты замечаешь, Миша, что с маркизом что-то делается?

Мишка. Я советовал бы вам обратиться к акушеру.

Онуфрий *(с удивлением)* Но почему же, Миша, к акушеру? Неужели ты предполагаешь какую-нибудь ненормальность в положении ребенка?

Мишка Убежден

Онуфрий Тогда поторопитесь, граф, я прошу вас Это очень серьезно, и если не захватить вовремя...

Сторож *выходя из себя)*. Тут петь нельзя! Вам говорят! А то с бульвара прогоню!

Онуфрий А что, Миша, если я дам маркизу по шее? Благословишь ты меня?

Мишка Оставь, Онуфрий Тебя губит любовь к людям. Ты и без того завтра будешь давать отчет мировому в своих дурных поступках

Онуфрий Но если по совокупности? Впрочем, маркиз, я завтра пришлю к вам моих секундантов.

Сторож А еще студенты! Шантрапа! Голодранцы!

Идет жаловаться городовому Тот равнодушно через плечо, взглядывает на студентов и отмахивается от сторожа рукою.

Мишка Не выгорело!

Онуфрий Я убежден, Миша, что через две тысячи лет все городовые

Мишка Упразднятся? Опасайся, Онуфрий, таких мыслей. Это, брат, чистейшей воды анархизм

Онуфрий Нет Миша, не упразднятся, но будут в новой форме

Блохин А это уж крайний оп.. оптимизм.

Мишка Ну буде, насиделись! Пойдем шататься, ребята Николай, ты с нами?

Глуховцев Нет мы тут посидим

Мишка Трогай!

Уходят Некоторое время молчание.

Глуховцев Что с тобою, Оль-Оль? Ты сегодня весь день такая грустная, что жалко на тебя смотреть. Случилось что-нибудь? И мать твоя какая-то странная.

Ольга Николаевна Нет, ничего. А отчего ты грустный?

Глуховцев Я-то? Не знаю. Дела плохи, должно быть, оттого Хорошо еще, что в комитетской столовой даром кормят, а то.. Надоело это, Оль-Оль. Здоровый я малый, камни готов ворочать, а работы нету.

Ольга Николаевна. Бедный ты мой мальчик!

Глуховцев. Ну, оставь. Ты плакала? Отчего у тебя под глазами такие круги? Ну говори же, Олечка, ведь это нехорошо.

Ольга Николаевна наклоняет голову и пальцами, обтянутыми черной перчаткой, тихонько вытирает глаза.

Глуховцев. Ну что ты, Оля?

Ольга Николаевна. Тебе будет очень тяжело, Колечка, если я скажу. Вон и мамаша идет!

Проходит мимо невысокая старуха в черной накидке и черной потрепанной шляпе. Имеет вид благородный, но в то же время и попрошайнический.

Евдокия Антоновна *(проходя)*. Ты же тут, Оля, сиди, никуда не уходи отсюда. *(Жеманничая.)* Какой прекрасный вечер, господин студент! *(Идет.)*

Ольга Николаевна *(тихо, с ненавистью)*. Прошла, проклятая!

Глуховцев. Что ты, Оля?

Евдокия Антоновна *(оборачиваясь)*. Какой великолепный оркестр, Оля: ты не находишь, дружок?

Ольга Николаевна *(тихо)*. Пошла! Пошла! Нет, ты посмотри, какая благородная старушка. А вчера зарезать меня грозилась старушка-то эта, благородная-то эта.

Глуховцев. Говори толком, Оля, что случилось?

Ольга Николаевна *(зло)*. Да неужели же ты ничего не понимаешь? Целый месяц живешь со мною и ничего не видишь. Где же твои глаза?

Глуховцев. Как ты странно говоришь: «живешь». И что я должен видеть?

Ольга Николаевна *(отворачиваясь)*. Что я не девушка.

Глуховцев. Ну видел, положим. Но что же отсюда следует? Правда, это нелепо; может быть, над этим нужно было задуматься, но мне как-то и в голову не пришло. И вообще *(с некоторой подозрительностью смотрит на нее)*, и вообще я действительно не задавался вопросом, кто ты, кто твоя мать. Знаю, что твой отец был военный, что твоя мать получает пенсию...

Ольга Николаевна. Да. Восемь рублей в месяц.

Глуховцев. Ну?..

Ольга Николаевна. Что я содержанка, что я на содержании, ты это знаешь?

Молчание. Ольга Николаевна медленно поворачивает лицо к студенту.

Ольга Николаевна. Что же ты молчишь? Коля, Колечка!.. Ты не ожидал этого? Тебе очень больно? Да говори же! Милый мой, если бы ты знал, как я измучилась — вся, вся!

Глуховцев. Да, не ожидал. Но как же это?.. Да, не ожидал!.. Какая странная вещь!.. Ты — на содержании... Странно! Как же это вышло?

Ольга Николаевна *(торопливо)*. Когда я была еще в институте, она, эта мерзавка, продала меня одному... Ну, и у меня был ребенок.

Глуховцев. У тебя? Да ведь тебе всего восемнадцать лет!

Ольга Николаевна. Ну да, восемнадцать. Ну, и ребенок умер. В Воспитательном... Ну, и потом... не могу я рассказывать, Колечка, пожалей меня, голубчик.

Проходит сильно подкрашенная женщина, по виду из гулящих, замечает пристальный взгляд городового и резко поворачивает назад. Походка развалистая и ленивая. Поглядывает на студента и напевает: «Я обожаю, я обожаю...»

Глуховцев. Так. А у кого же ты на содержании?

Ольга Николаевна. Так, виноторговец один.

Глуховцев. Где же он?

Ольга Николаевна *(испуганно)*. Ты не думай, Коля, что теперь я с ним... и с тобою. Нет, нет! Он уже два месяца как уехал на Кавказ.

Глуховцев. Скоро вернется?

Ольга Николаевна. Он не вернется, Коля. Он прислал письмо, что больше не хочет и что я могу идти куда глаза глядят. И денег за этот месяц он не прислал.

Глуховцев. Сколько?

Ольга Николаевна. Пятьдесят рублей.

Глуховцев. Немного.

Ольга Николаевна. Он очень расчетливый и говорит, что летом, на каникулах, он не может платить столько же, как и зимой. А зимой он платил семьдесят пять... и кроме того подарки... духи или на платье.

Глуховцев *(с тоскою глядя на нее)*. И это ты? Духи, на платье!.. И это ты, Оль-Оль, мое очарованье, моя любовь! Ведь я тебя девочкой считал. Да и не считал я ничего, а просто любил, зачем — не знаю. Любил!..

Ольга Николаевна *(плачет)*. Пожалей меня!

Глуховцев. Отчего же ты не работала?

Ольга Николаевна. Я ничего не умею... Да и где взять работы? Ты сам знаешь. Пожалей меня.

Молчание. Ольга Николаевна тихонько плачет. Быстро проходят два военных писаря: высокий и низенький; последний прихрамывает.

Высокий. И зачем ты себя мучаешь, и зачем ты себя терзаешь, и зачем ты себе жизнь отравляешь, и зачем ты себе делаешь узкие штиблеты? *(Проходят.)*

Ольга Николаевна. Вот ты... в комитетской столовой... А я уж два дня ничего не ела.

Глуховцев. Что? Как же это?

Ольга Николаевна. Да так. Все заложили, все продали, что можно было, а последние два дня голодаем. Голова у меня очень кружится, Коля.

Глуховцев. Ах, ты!.. Но как же это! Ведь это же невозможно, тебе нужно чего-нибудь съесть. Отчего ты сразу не сказала об этом? Я бы...

Ольга Николаевна. Что же ты можешь, Колечка? Ведь у тебя у самого нет ничего.

Глуховцев *(в отчаянии)*. Ничего! Это такой ужас, что можно убить себя. Да нет, я достал бы где-нибудь! Я бы что-нибудь продал... Фу-ты, черт, наконец украл бы. Ведь это невозможно на самом деле: два дня не есть человеку. Оль-Оль, прости меня, голубчик. Я просто осел. Вместо того, чтобы расспрашивать... Тебе очень хочется есть?

Ольга Николаевна. Нет. Голова только кружится.

Глуховцев. Я сейчас буду кричать караул, пусть соберутся, пусть посмотрят.

Ольга Николаевна. Ты прощаешь меня?

Глуховцев. Что? прощение? Да как же ты можешь говорить о прощении, когда я должен стать перед тобою на колени и плакать: прости меня.

Ольга Николаевна *(улыбаясь)*. Мне с тобою умереть хочется, Коля. Ты такой добрый, такой благородный!..

Глуховцев *(гневно)*. К черту! Не смей мне говорить о благородстве. Нет, это невозможно! Посиди здесь минутку, я сейчас, я куплю что-нибудь, у меня есть пятачок. И вообще я достану...

Ольга Николаевна *(испуганно)*. Нет, нет, не уходи! *(Показывается Онуфрий.)*

Глуховцев. Онуфрий! Слушай! Голубчик, поди сюда.

Онуфрий *(подходя)*. Что случилось?

Глуховцев. Она два дня не ела. Понимаешь? Два дня не ела. Давай денег!

Онуфрий. Денег? Ты говоришь — денег?

Глуховцев. Ну да, денег, а то чего ж?

Онуфрий *(смущенно разводит руками)*. Прости, голубчик, ни гроша. Понимаешь, ни гроша! Вчера на всю братию был двугривенный, да и тот у Немца пропили.

Глуховцев. Что же, так и умирать, что ли?

Онуфрий. Постой, ты говоришь, два дня не ела? То есть как же не ела, совсем не ела? *(Горячась.)* Нет, это невозможно. О чем же ты, тупица, осел, думал раньше?

Ольга Николаевна. Он не знал.

Онуфрий. Должен был знать! Вот еще! Постой, Коля, погоди минутку, я сейчас, брат, добуду. Тут Веревкин с какой-то девицей шатается, такая сволочь, никогда копейки не даст. Но я ему горло перерву. От меня он не уйдет! А может быть, Мишку лучше с собой взять,— он Мишки боится. А?

Глуховцев. Как хочешь, но только поскорей!

Онуфрий. И до чего все это глупо!.. Ну, держись, Коля, я сейчас! *(Быстро уходит, оборачиваясь.)* Вы же тут сидите, слышите?

Глуховцев *(весело)*. Он достанет, Олечка! Если уж они с Мишкой возьмутся, так они достанут. Я знаю этого Веревкина, это наш товарищ, ужасно дрянной человечишка! Но они его сумеют припугнуть.

Ольга Николаевна *(нежно)*. Глупенький ты мой!

Глуховцев. Оставь, Оль-Оль! Только бы до завтра как-нибудь протерпеть, а завтра мы все устроим. Бедная ты моя девочка,— ну и мать же у тебя! Но как же ты это допустила? Как можно вообще допустить, чтобы тебя, живого человека, продавали как ветошку?

Ольга Николаевна. Она грозится, что зарежет меня. Я ночью боюсь с ней спать. Она ведь совсем сумасшедшая!

Глуховцев. Пустяки! Не зарежет!

Ольга Николаевна. Ты знаешь, как она сладкое любит, Коля? Это что-то ужасное. Она и пьет только или наливку сладкую, или ликер, или просто намешает в водку сахару, так что сироп сделается,— и пьет.

Глуховцев. Ты тоже, я заметил, любишь сладкое.

Ольга Николаевна. Я? Нет, я немножко, а она... Господи, вот она!

Показывается Евдокия Антоновна с каким-то офицером. Некоторое время говорит с ним, видимо, в чем-то его убеждая и цепляясь за рукав пальто, потом идет к скамейке. Офицер остается на том же месте, вполоборота к сидящим, покручивает усы и отбивает ногою такт. Музыка играет вальс «Клико».

Ольга Николаевна. Коля, Колечка!

Глуховцев. Что это за офицер?

Ольга Николаевна *(смущенно)*. Не знаю, какой-нибудь ее знакомый. Колечка, если она будет звать меня, то, пожалуйста, голубчик, не пускай меня. Выдумай что-нибудь! Идет! Идет! Держи меня, Коля!

Евдокия Антоновна *(подходя)*. Какой прекрасный вечер! Оленька, дитя мое, извинись перед господином студентом. Ты мне нужна на пару слов. Excusez, monsieur! [1]

Ольга Николаевна *(грубо)*. Какие еще слова! Я никуда не пойду отсюда.

Евдокия Антоновна. Оля!

Ольга Николаевна. Нечего кричать, вы тут не дома.

Евдокия Антоновна. Фи, как ты невоспитанна! Прошу вас, господин студент, оставьте нас с дочерью на минуту.

Глуховцев. Я не пойду и Ольгу Николаевну взять не позволю.

Евдокия Антоновна. Что-с? Это вы мне изволите говорить, молодой человек? Как груба нынешняя молодежь! Ольга, поди сюда. Venez ici, Olga! [2]

Ольга Николаевна. Не пойду!

Евдокия Антоновна. Что-с? *(Очень громко.)* Вы хотите, чтобы я позвала городового? Чтоб я устроила скандал?

Ольга Николаевна. Не кричите, мамаша!

Евдокия Антоновна. Какой-то грубиян, какой-то нахал, какой-то студентишка смеет заявлять: я не пущу! Ты мне смотри, девчонка, дрянь, не забудь, что я тебе вчера говорила. Ну-с?

Ольга Николаевна *(колеблясь)*. Я не хочу.

Глуховцев. Как ты говоришь это, Оля! Если ты не захочешь сама остаться, то ведь я уже не могу удержать тебя. Ты подумай!

Ольга Николаевна. Я боюсь!

Евдокия Антоновна. Ну-с, я жду! Какое нахальство — вмешиваться в чужие дела! Лучше бы поменьше пьянствовали сами, а других учить нечего!

Глуховцев. Если ты двинешься с места, Ольга, то знай, что это навсегда.

Евдокия Антоновна *(негромко)*. Городовой! Пожалуйте сюда, господин городовой.

---

[1] Извините, судары *(фр.)*

[2] Иди сюда, Ольга! *(фр.)*

О л ь г а Н и к о л а е в н а *(плача).* Я боюсь! Пусти меня, Коля, я, я вернусь!

Г л у х о в ц е в *(вставая).* Пожалуйста.

О л ь г а Н и к о л а е в н а *(хватает его за рукав).* Нет! нет! не уходи! Что же мне делать, Господи!

Г л у х о в ц е в. Что хотите,— выбирайте сами.

Е в д о к и я А н т о н о в н а *(отрывает ее от студента).* Я тебе покажу, девчонка, дрянь! Идешь или нет, говори! Ты меня знаешь, Оленька... ну, идешь?

О л ь г а Н и к о л а е в н а *(упираясь).* Не знаю.

Г л у х о в ц е в. Прощайте, Ольга Николаевна.

Е в д о к и я А н т о н о в н а *(тащит девушку).* До свидания, господин студент, до свидания! Я знаю вашу фамилию и завтра же напишу вашему начальству, какими делами вы занимаетесь на бульваре. Нахал!

Г л у х о в ц е в. Вы пьяны?

Е в д о к и я А н т о н о в н а. Ты меня поил, мальчишка? Гроша за душой нет, а тоже...

О л ь г а Н и к о л а е в н а. Коля!

Е в д о к и я А н т о н о в н а *(уводя дочь).* Вы компрометируете себя, Ольга. Идем! Идем!

Уходят. Видно, как Евдокия Антоновна представляет свою дочь офицеру: тот щелкает шпорами, бросает быстрый взгляд на студента и предлагает девушке руку. Уходят: офицер и Ольга Николаевна впереди, мамаша плывет на некотором расстоянии сзади. Глуховцев, все это время стоявший, садится на скамью и беспомощно опускает голову на руки. Музыка кончается; около эстрады громкие аплодисменты, и оркестр повторяет вальс «Клико». На свободное место возле Глуховцева садятся двое: высокий, худой п а р е н ь с длинными мочалистыми волосами и в сапогах бутылками и пожилой, толстый и седой, по виду т о р г о в е ц.

Т о р г о в е ц. Хороша у нас музыка в Москве!

П а р е н ь *(подавленно).* Да. Играют бойко. Но только кому это нужно, Никита Федорович?

Т о р г о в е ц. Нет, отчего же? Народонаселению приятно. Все одно зря болтаются-то солдаты.

П а р е н ь. С тех пор, как умерли мои родители, мне больше негде столо́ваться, Никита Федорович. Первоначально столова́лся я у моей замужней сестры, но семья у них, знаете ли, большая, ртов много, а работников один то́лько зять. Вот и гово́рят они мне: ступай, говорят, Гриша, столоваться в другое место, а мы больше не можем, чтобы ты у нас столовался. И тут совсем было я погиб, Никита Федорович, и решился живота.

Торговец. Ишь ты, как здорово зажаривают, словно с цепи сорвались.

Парень. Ежели и меня, Никита Федорович, кормить досыта и дать трубу, то и я смогу всякие звуки издавать. Пустое это занятие, Никита Федорович. Ну вот... Повстречали меня господин Аносов, и уж не знаю, понравился я им, что ли, или так, но только говорят они мне: поезжай, говорят, Гриша, в юнкерское училище экзамен держать, и вот тебе денег, чтобы мог ты там пока что — столоваться. *(Вздыхает.)* Но, конечно, экзамена я не выдержал, и вот уж два дня, Никита Федорович, заместо того, чтобы кормиться, как все прочие граждане, хожу по бульвару и музыку слушаю.

Торговец. Плевое твое дело, Гриша! Какая тут музыка, когда в животе свой орга́н играет — как в грактире без спиртных напитков.

Парень. И смотрю я в даль моей жизни, как бы мне окончательно не погибнуть. Конечно, будь бы живы мои родители, но они, к сожалению, в царствии небесном, и окончательно мне негде столоваться, Никита Федорович. Только мне и надежды, что на вас.

Торговец. Чего? У меня, брат, и своих ртов много. Не напасешься! Засим, честь имею.

Парень. Как же мне? Так, значит, окончательно ничего? Так и погибать?

Торговец. Так, значит, и ничего. Моли Бога — Он за сирот заступник. Засим, честь имею...

Уходит. Парень некоторое время смотрит ему вслед, поглядывает на студента, видимо, желая с ним заговорить, вздыхает и идет сперва налево, а потом направо. Проходит отставной, разбитый параличом генерал; в одной руке костыль, за другую руку его поддерживает очень хорошенькая девушка-подросток, одетая в траур. Из-под густых ресниц девушка взглядывает на Глуховцева, и тот, заметив ее взгляд, вздыхает и поправляет свои молодые, пробивающиеся усы. Скрываясь за поворотом, девушка еще раз через плечо взглядывает на студента.

Генерал *(хрипит)*. Дурак! говорю я ему: дурак! — Так точно, ваше превосходительство! — Что так точно? Что так точно? Что ты дурак? — Так точно, ваше превосходительство! Ты подумай: я ему говорю: дурак! — а он...

Быстро подходят студенты Онуфрий и Мишка.

Онуфрий *(издалека)*. Ограбили купца! Держись, Коля!

Мишка. Ликуй ныне, Сионе!

Онуфрий *(подходя)*. Трешницу из самого сердца вырвали. Прямо в крови бумажка. Постой, а где же Ольга Николаевна? Где же она?

Глуховцев молчит. Студенты присаживаются по бокам и в недоумении переглядываются.

Мишка. Что сей сон означает? Что, ее позвали куда-нибудь, что ли?

Глуховцев. Позвали.

Онуфрий. Да что ты, Коленька, что ты так смотришь, будто прослезиться желаешь? Ты меня прости, душа моя, что я вмешиваюсь в твои дела, но мне, ей-Богу, противно смотреть на тебя, душа моя. Словно в патоку бутылку керосину вылили. Была девица, и ей кушать хотелось, пошла девица с мамашей погулять — ведь она с матерью пошла? — что же тут чрезвычайного? Придет девица, мы ее и покормим, и даже мамашу ихнюю. Зачем же впадать в меланхолию?

Мишка. Конечно, жалко человека. Ты этого, Онуша, не говори. Окромя того — небось совестно. Колька сыт, и, конечно, на голодного смотреть ему зазорно. Так, что ли, Глуховцев?

Глуховцев. Не в этом дело.

Мишка. Так в чем же?

Глуховцев *(тоскливо)*. Эх, да разве вы не понимаете?

Онуфрий. Нет, Коля, начинаю что-то соображать. Так вот какие дела,— интересно, очень интересно!

Мишка. Ничего не понимаю.

Подплывает Евдокия Антоновна, одна. Останавливается перед студентами и говорит, жеманничая.

Евдокия Антоновна. Какой приятный вечер, господа студенты.

Онуфрий *(кланяясь)*. Да, погодка хорошая. Изволите гулять?

Евдокия Антоновна. Да, гуляю. Вам странно, молодые люди, что такая пожилая дама также хочет погулять, музыку послушать?

Мишка. Нет, отчего же. Гуляйте себе, если хочется.

Евдокия Антоновна. Благодарю вас, господин студент! А вас, господин студент, простите, что до сих пор не могу запомнить вашего имени-отчества... господин Глуховцев, кажется? — а вас прошу об одном одолжении. Вы, вероятно, раньше меня вернетесь домой, так, пожалуйста,

скажите там, что Оленька, моя дочь, поехала на два дня на дачу, к знакомым.

Глуховцев, бледный, встает и делает шаг к ней, но Онуфрий, догадавшись, опережает его и подхватывает старуху под руку.

Онуфрий. Вот что, мамаша, вы того, идите-ка себе гулять. Вечер приятный, музыка играет, душа отдыхает. Двигайтесь, двигайтесь, старушка!

Евдокия Антоновна *(упираясь)*. Господин Глуховцев!

Глуховцев. Ну?

Онуфрий *(тащит старуху)*. Ах, мамаша, неужели вам не жалко ни прически, ни шляпы? Я бы на вашем месте шляпу пожалел, другую такую едва ли отыщете. Это из Парижа?

Евдокия Антоновна. Что-с? Женщину бить? Мальчишка!

Онуфрий *(уводит ее)*. Ах, мамаша, да разве вы женщина? Кто вам это сказал, неужели Глуховцев? Не верьте ему, мамаша: он ужаснейший ловелас.

Евдокия Антоновна. Нахал!

Скрываются.

Мишка. Плюнь, брат Глуховцев. Не стоит связываться!

Глуховцев. Я ей сказал: если ты пойдешь, то больше не возвращайся. И она, брат Миша, пошла. Что ты на это скажешь?

Мишка. Значит, дрянь. Что она, гулящая, что ли, Ольга Николаевна?

Глуховцев. Выходит, что так. Как это дико, как это ужасно, Миша. Вон музыка играет, вон люди гуляют — неужели это правда? Сидела здесь и была Оль-Оль, а теперь пошла с офицером... С офицером. С каким-то офицером, которого первый раз видит. И это — любовь! *(Смеется.)*

Мишка. Любви, Коля, не существует. Просто, брат, стремление полов, а остальное — беллетристика.

Глуховцев. А я думал, что существует.

Снова проходит та же подкрашенная женщина, напевая: «Я обожаю, я обожаю »

Подкрашенная женщина. Угостите, коллега, папироской.

Мишка молча достает папироску и огня.

Онуфрий (*подходя*). Ну, Коля, очень я сомневаюсь, чтобы, при наличности такой тещи, вы могли образовать тихое семейство. Но девчонку все-таки жалко: что она, со страху, что ли?

Глуховцев. Да, боится чего-то.

Онуфрий. Ну, конечно, со страху. Голода боится, мамаши боится, тебя боится, ну и офицер ей тоже страшен,— вот и пошла. Глазки плачут, а губенки уж улыбаются — в предвкушении тихих семейных радостей. Так-то, Коля: пренебреги, и если можешь, то воспари.

Мишка. Ну так как же, братцы? Чужое добро впрок не идет,— нужно трехрублевку пустить в обращение.

Онуфрий. Я с удовольствием, Миша. К Немцу?

Мишка. Можно и к Немцу. У Немца раки великолепны. За упокой души!

Глуховцев. Чьей души?

Онуфрий. Всякая душа, Коля, нуждается в поминовении.

Блохин (*подходит, запыхавшись*). П...п...пять целковых. С...с...сказал Веревкину, что я его ночью оболью керосином и подожгу. Заплакал, но дал.

Онуфрий (*молитвенно*). Что это будет!

Мишка. Вот подлец! А клялся, что три целковых последние.

Блохин (*оглядываясь*). А... а где же...

Онуфрий (*мечтательно*). Петь хочешь, Сережа?

Блохин (*сердито*). Вот черти! А я думал, что и вправду... вот черти. Куда же, к Немцу?

Глуховцев. Ну и напьюсь же я, братцы.

Онуфрий. Никогда не нужно, Коля, злоупотреблять спиртными напитками. Злоупотребишь — и потянет тебя в тихое семейство. А потянет тебя в тихое семейство — тут тебе, Коля, и капут. Потому что гений и тишина несовместимы, брат.

Мишка. Айда, ребята! Ходу!

Глуховцев. Ну и напьюсь же я!

Блохин (*в упоении*). Вот черти! Эх, попоем же, братцы...

Мишка. Ходу, ходу!

Оркестр играет «Тореадора и андалузку».

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Меблированные комнаты «Мадрид».

Довольно большая комната, в которой живет Ольга Николаевна с матерью. За деревянной, не доходящей до потолка, перегородкой спальня; в остальном обстановка обычная: круглый стол перед проваленным диваном, несколько кресел, зеркало; грязновато; в кресле валяется чья-то юбка. Сумерки. В открытую форточку доносится негромкий благовест с ближайшей, по-видимому, небольшой церковки: звонят к вечерне.

Ольга Николаевна, вся в черном, бледная, читает у окна «Московский листок». За перегородкой горничная Аннушка убирает постель.

Ольга Николаевна. В «Московском листке» пишут, что опять шесть самоубийств, Аннушка. И все женщины, и все уксусной эссенцией... Как они могут. Вы очень боитесь смерти, Аннушка?

Аннушка *(из-за перегородки)*. Кто ж ее не боится, барышня?

Ольга Николаевна. Я боюсь смерти. Иногда так трудно жить, такие несчастья, такая тоска, что вот, кажется, взяла бы и выпила. А нет, страшно. И, должно быть, очень больно — ведь она жгучая, эта эссенция.

Аннушка. У нас горничная, которая допреж меня жила, эссенцией отравилась: мучилась долго, два дня.

Ольга Николаевна. Умерла?

Аннушка. Схоронили. А поздно вы встаете, барышня. Люди добрые к вечерне идут, а вы только-только глазки протираете. Нехорошо это!

Ольга Николаевна. А зачем рано вставать? Не все ли равно! Когда спишь, жизни, по крайней мере, не чувствуешь. А кроме того, бывают хорошие сны. Аннушка, а студент... Глуховцев дома?

Аннушка. Сейчас к себе в номер прошел.

Ольга Николаевна. Один?

Аннушка. С товарищем с каким-то. Вихлястый такой, на подсвечник похож.

Ольга Николаевна. Уж вы скажете — на подсвечник! Аннушка, голубчик, сделайте мне такое одолжение: когда товарищ уйдет, передайте Глуховцеву вот эту записочку.

Аннушка. Не стоило бы, барышня! Студент они хорошенький, зачем смущать? Ну, уж если вы приказываете, конечно, отнесу. *(Выходит из-за перегородки.)* Где записочка, давайте.

Ольга Николаевна. Вот. Закройте форточку, Аннушка.

Аннушка *(льстиво)*. Что я вам хотела сказать, милая барышня. На новом вы теперь положении, офицеры у вас бывают... Я-то что ж, мое дело, конечно, сторона, но только и белье лишний раз перемени и хлопот всяких достаточно, вы сами понимаете, милая барышня...

Ольга Николаевна *(отворачиваясь)*. Ну?

Аннушка. Говорила я вашей мамаше, и они мне обещали три рубля в месяц платить,— так уж вы напомните им.

Ольга Николаевна. Хорошо. А разве... гости вам ничего не дают?

Аннушка. Да разве их устережешь? Так стараются прошмыгнуть, чтоб ни кот, ни кошка не заметили.

Входит Евдокия Антоновна. Раздевается. Видимо, находится в приятном настроении и временами напевает какой-то романс по-французски.

Евдокия Антоновна. Ступайте, Аннушка, вы нам не нужны.

Аннушка. Я вот говорила барышне насчет трех рублей, помните, барыня милая, что вы обещали.

Евдокия Антоновна. Ах, мой Бог! Какая вы, Аннушка, надоедливая. Не беспокойтесь, не пропадут ваши три рубля.

Аннушка. Три с полтиной. Вы мне еще полтинник должны, помните, за тянучками посылали?

Евдокия Антоновна. Вы получите четыре, Аннушка. Ступайте! Вы постель прибрали?

Аннушка уходит.

Евдокия Антоновна *(напевая)*. Нет, это ужас, это какой-то вертеп — стараются грабить прямо-таки среди бела дня! Ты представь, Оля... *(напевает)* сейчас меня зовет этот подлец управляющий и говорит, что мы должны прибавить десять рублей за номер. Это ужас! *(Напевает.)* Скотина! Олечка, хочешь мармеладу? Абрикосовский.

Ольга Николаевна. Давайте. *(Не глядя протягивает руку.)*

Обе едят. Молчание.

Ольга Николаевна. Это не Абрикосовский.

Евдокия Антоновна *(с ужасом)*. Ну что ты говоришь! А клялся, что Абрикосовский. Погоди, Олечка, не

кушай, я все это соберу и брошу ему назад в его подлую харю!

Ольга Николаевна. Мамаша... я не хочу, чтобы сегодня кто-нибудь был.

Евдокия Антоновна. Это что за новости?

Ольга Николаевна. Я не хочу.

Евдокия Антоновна *(угрожающе)*. Оля! *(Напевая.)* Об этом раньше нужно было думать, мой друг: я не позволю, чтобы из-за какого-то каприза какой-то девчонки меня ставили в неловкое положение... Целый день не пивши, не евши бегаю по городу... Вы тут изволили почивать, Ольга Николаевна, а у меня маковой росинки во рту не было... Наконец нашла вполне достойного человека, и вот извольте! Нет, дочь моя, я не позволю, чтоб надо мною так глумились! Если ты не можешь оценить всех жертв, которые я приношу... *(Напевает.)* Впрочем, кушай, Олечка, все равно уж полкоробки он не возьмет. Скотина!

Ольга Николаевна. А кто он, этот?

Евдокия Антоновна. Всего только полковник.

Ольга Николаевна. Полковник?

Евдокия Антоновна. Да-с, полковник. Он, положим, только врач, военный врач, и уже не служит, но по чину — он полковник. И главное, имей это, Олечка, в виду и держи себя прилично, этот человек очень серьезный, не развратник и имеет самые серьезные намерения. Как тебе это нравится — сто рублей в месяц и подарки?

Ольга Николаевна. А тот негодяй жаловался, что семьдесят пять рублей дорого.

Евдокия Антоновна. Скотина! Вот видишь, Олечка, а ты *(напевает)* упрекаешь меня.

Ольга Николаевна. Хорошо, мамаша. Но только имейте в виду, что уж кроме этого я никого не хочу. Я не желаю быть потаскушкою!

Евдокия Антоновна. Как ты можешь думать это, Оля? Если обстоятельства нас заставили, то ведь нельзя же думать, что это будет вечно!

Ольга Николаевна. Я не желаю быть потаскушкою!

Евдокия Антоновна. Как ты выражаешься, Оля! Да, вот что я хотела тебе сказать; тут этот студент, Глуховцев... ты не будь с ним жестока, Оля. Бедный мальчик без семьи, мне так жаль, что я тогда так сильно погорячилась.

Ольга Николаевна *(кричит)*. Не смейте говорить про него! Я прошу вас, чтобы вы никогда о нем не говорили! Это бесчестно!

Евдокия Антоновна. Боже мой, какая дура! Я ей хочу добра, ведь ты же его любишь?

Ольга Николаевна *(кричит)*. Мамаша!

Евдокия Антоновна *(утешая)*. Ну перестань, Олечка, поверь мне, это так нелепо. Мальчик один, без семьи, ты ему дашь так много любви,— ведь я знаю, какое у тебя сердце, Олечка. Что же тут плохого? Неужели будет лучше, если мальчик станет развратничать, как все они? Ведь это ужас!

Ольга Николаевна. Он не согласится, мамаша.

Евдокия Антоновна. Ну и будет дурак! Тут полковник, почтенный человек, а что такое он, мальчишка, я сама с ним поговорю.

Ольга Николаевна. Нет, нет, мамаша! Не смейте! Я вам не позволю этого!

Евдокия Антоновна *(уступчиво)*. Как хочешь, дружок. Вы оба люди молодые, и не мне, старушке, вмешиваться в ваши дела. Ты просто позови его посидеть часочек, и он сам все поймет, когда увидит тебя, моя прелесть. Не хочешь наливочки, Оля? Выпей, голубчик, очень сладкая. А я сейчас *(оправляется перед зеркалом)* поеду за ним.

Ольга Николаевна. За ним? Уже?

Евдокия Антоновна. Конечно, я не позволила бы себе унижаться ради какого-нибудь молокососа, но это такой почтенный человек, да вот ты сама увидишь. И имей в виду, Олечка, он говорит, что привык ложиться рано, так что... ты понимаешь, Оля?

Ольга Николаевна. Ко мне сейчас придет Глуховцев.

Евдокия Антоновна *(испуганно)*. Ни в каком случае! Завтра, когда хочешь, но сегодня ни в каком случае. Ты подумай, в какое положение ты ставишь меня!

Ольга Николаевна. Нет, он придет!

Евдокия Антоновна. Оля!

Ольга Николаевна. Нет, придет!

Евдокия Антоновна. Ты хочешь, чтобы я сама с ним поговорила? Пожалуйста, я буду очень рада! Мне уж достаточно надоел этот наглый мальчишка! Грубиян!

Ольга Николаевна. Нет, нет, он сейчас же уйдет.

Евдокия Антоновна. Смотри! *(Звонит.)* Я буду дома, Оля, через час. Пожалуйста, не забудьте, через час!

Ольга Николаевна. Хорошо. Не забуду. Шляпку-то поправьте — на боку.

Аннушка *(входит)*. Звонили?

Евдокия Антоновна. Ах, да, моя милая. Пойдите и пригласите сюда студента Глуховцева.

Аннушка. Семьдесят четвертый?

Евдокия Антоновна. Да, в номере семьдесят четвертом. Скажите, что барышня очень просили немедленно прийти. Понимаете — барышня, но не я!

Ольга Николаевна. Чтобы сейчас, Аннушка!

Аннушка уходит. Евдокия Антоновна, уже одетая целует Ольгу Николаевну в лоб.

Евдокия Антоновна. До свидания, малютка. Да, кстати, ничего, пожалуйста, не кушай, я позабочусь о закуске. Мне не совсем нравится, что ты в черном, Олечка... Но, впрочем, может быть, так лучше, скромнее. Adieu, ma chérie! [1]

Уходя, сталкивается в дверях с Глуховцевым, который молча дает ей дорогу.

Евдокия Антоновна. Ах, это вы, мой друг! Проходите, проходите, пожалуйста; Олечка дома. Вы простите меня, старушку, что я так погорячилась тогда, на бульваре, но я была несколько в нервном состоянии. Прощаете?

Глуховцев *(глухо)*. Я ничего. Пожалуйста.

Евдокия Антоновна. Ах, молодость так великодушна! До свидания, дружок, я очень тороплюсь. *(Ольге.)* До свидания, дитя мое! *(Уходит.)*

Глуховцев. Здравствуйте, Ольга Николаевна.

Ольга Николаевна. Здравствуйте, Николай Петрович.

Глуховцев. Вы хотели меня видеть?

Ольга Николаевна. Да. Присядьте, пожалуйста.

Молчание.

Ольга Николаевна. Вы очень похудели... Николай Петрович.

Глуховцев. Нет, отчего же мне худеть? А вот вы, кажется, действительно немножко побледнели. Вы не совсем здоровы?

Ольга Николаевна. Коля!..

Молчание.

Глуховцев *(вставая)*. Можно уходить?

---

[1] Прощай моя дорогая! *(фр.)*

Ольга Николаевна *(также встает)*. Нет, посидите, пожалуйста.

Оба садятся

Ольга Николаевна. Как давно я вас не видала.

Глуховцев. Восемь дней.

Ольга Николаевна. А я думала — больше!..

Глуховцев. Нет, восемь дней.

Ольга Николаевна. А как здоровье Онуфрия Николаевича?

Глуховцев. Ничего. Он сейчас был у меня. Он, вероятно, будет у меня жить.

Ольга Николаевна. Да?

Молчание

Ольга Николаевна. А вы помните Воробьевы горы?.. Коля!..

Глуховцев *(резко)*. Нет. Вообще я не понимаю, Ольга Николаевна, о чем нам с вами говорить. Я очень удивился, когда получил вашу записочку. Все так ясно...

Ольга Николаевна *(тихо)*. Нет, не ясно...

Глуховцев. Вы меня не любите...

Ольга Николаевна *(тихо)*. Нет, люблю.

Глуховцев *(вскакивая)* Да? Любите? Тогда зачем же... зачем же тогда, Ольга Николаевна, вы делаете все это? Пожалуйста, объясните.

Ольга Николаевна *(беспомощно)*. Колечка...

Глуховцев. Колечка. А как вы того офицера звали — Петечка, Васечка? А как вы того негодяя звали, который третьего дня, ночью, был у вас? Тоже Колечка? Николаев так много. Что же вы молчите? А?

Ольга Николаевна *(плачет)*. Что же я скажу! Пожалей меня! Разве ты не видишь, как я несчастна! Я ни одной ночи не спала.

Глуховцев. Офицеры мешали?

Ольга Николаевна. Ты оскорбляешь меня!

Глуховцев. Да разве вас можно оскорбить?

Ольга Николаевна *(гневно)*. Николай Петрович!

Глуховцев. Что прикажете, Ольга Николаевна?

Ольга Николаевна *(тихо)*. Ты презираешь меня?

Глуховцев. А разве вы можете рассчитывать на что-нибудь другое? Я бы попросил вас, чтобы вы разрешили мне уйти. Меня ждут товарищи.

Ольга Николаевна *(плачет)*. И ты... и ты презираешь меня, Господи. И никто... и ни одна душа на све-

те... не видит, что ведь я же девочка... мне же еще восемнадцати лет нету... кто же пожалеет меня? Господи! Кому я нужна? Взять бы мне уксусной эссенции... да и от... равиться.

Глуховцев. Ольга Николаевна! Оля!

Ольга Николаевна *(плачет)*. Вон у тебя товарищи... Онуфрий Николаевич... жить с тобою будет. А я с кем? Господи! Разве я виновата, что меня сделали такою? Тогда, на Воробьевых горах, все смеются, все такие хорошие, а я одна, как п-п-потерянная, с-стыдно в глаза смотреть! Кто же меня пожалеет? Господи!

Глуховцев. Мне жаль тебя, мне очень, очень жаль тебя. Но вы подумайте, что же мне делать? Ведь вы же сами захотели, вы сами ушли.

Ольга Николаевна. Она меня увела.

Глуховцев *(гневно)*. Как же вы позволили?

Ольга Николаевна. Я... я... боялась.

Глуховцев. Вот, вот, вот, боялась! Вот он, этот страх, который делает вас рабою, игрушкою... потерянной женщиною. Вот, вот!..

Ольга Николаевна. Да разве мне хорошо, Коля? Ну да, я боюсь, у меня нет храбрости, как у других, но ведь я же такая молоденькая! Дай мне пожить, не отталкивай меня, и я, может быть, тоже стану храбрая, не буду бояться, сделаюсь честной. Не отталкивай меня, Колечка!

Глуховцев. Почему ты мне тогда, раньше не сказала, что ты на содержании?

Ольга Николаевна. Я... я забыла об этом. Мне так хорошо было с тобою, я так любила тебя, что я совсем забыла, какая я, все, все позабыла.

Глуховцев. А завтра же снова придет какой-нибудь покупатель, и вы снова...

Ольга Николаевна *(горячо)*. Нет, Коля, клянусь тебе. Я буду работать. Дай мне только оправиться немного, не отталкивай, пожалей меня!

Глуховцев. Это ложь!

Ольга Николаевна. Клянусь тебе, Коля! *(Становится перед ним на колени.)* Приласкай меня, назови меня... Оль-Оль.

Глуховцев. Нет, не надо на колени! Я прошу вас, не надо! Ольга Николаевна! Ах, Господи! Оля! Оль-Оль!

Ольга Николаевна *(не вставая)*. Вот и назвал... Милый мой, прекрасный мой! Я ведь так, я ведь так люблю тебя.

Глуховцев. Встань, Оля. Не буду говорить, пока ты не встанешь!

Ольга Николаевна. Не сердись, милый. Ты такой великодушный, благородный, как ты можешь сердиться на девочку?

Глуховцев. Встань, встань! Я не могу так.

Ольга Николаевна встает.

Ольга Николаевна. Сядем, Колечка, на диван.

Глуховцев. Нет, нет, Оль-Оль, я лучше похожу.

Ольга Николаевна. Ну походи.

Глуховцев. Ты действительно любишь меня?

Ольга Николаевна. Как же ты можешь сомневаться в этом? Ты посмотри только, какая я измученная: у меня кровинки в лице не осталось. Сегодня утром посмотрела на себя в зеркало, и так стало жалко, что даже заплакала. Молодости жалко, красоты своей жалко.

Тихонько плачет.

Глуховцев. Да. Молодости... Вот ты говоришь, похудел я... А ты знаешь, что я за эту неделю чуть не сошел с ума? Вдруг так неожиданно, так сразу... Я ничего не понимаю. Почему? Зачем? Наконец, что я сделал такое, чтоб меня наказывали так больно?

Ольга Николаевна. Оставь, Коля! Ты ничего не сделал, ты благородный. Я во всем виновата.

Глуховцев. Нет, Оль-Оль. Сделал что-то, я чувствую это,— но что? То, что я ни о чем не думал? Может быть, мне и вправду нужно было задуматься, расспросить тебя, не быть таким неосмысленным теленком, который увидел траву, обрадовался и тут запрыгал... Конечно, к своим поступкам нужно относиться сознательно, особенно когда вступаешь в связь с женщиной. Но понимаешь, Оль-Оль, я ведь ни разу не подумал, что наши отношения могут быть названы связью.

Ольга Николаевна. А разве я думала о чем-нибудь? И разве можно думать о чем-нибудь, когда любишь?

Глуховцев. Ну, ты женщина, то есть девочка, если принять в расчет твои года,— ну а я? Меня Онуфрий называет испанским ослом, а вот как начали мы вместе с ним соображать, так оказалось, что и он такой же осел. Ты знаешь, уже третью ночь мы с ним не спим и все обсуждаем этот инцидент.

Ольга Николаевна Он против меня, Онуфрий Николаевич?

Глуховцев Он против тебя и против меня, а сегодня и против себя оказался *(Гундосит, передразнивая Онуфрия)* Ты, Коля, дурак, ну и я, Коля, тоже дурак Знаю только, что тебе не удалось образовать тихое семейство, но почему, про то написано в энциклопедическом словаре Осел!

Ольга Николаевна Нет, я очень люблю его, он прекрасный человек Колечка, сядь около меня

Глуховцев. Зачем? *(Садится.)*

Ольга Николаевна *(обнимает его, тихо)* Помнишь Воробьевы горы?

Глуховцев *(обнимая ее)* Оль-Оль, ты правда будешь работать?

Ольга Николаевна. Буду, родной. Ты только поверь мне, не торопи меня Дай мне хоть немного оправиться.

Глуховцев. Но ты же говорила, что ничего не умеешь делать?

Ольга Николаевна. Ты меня научишь всему. Ты умный!

Глуховцев. А ты будешь слушаться? *(Вдруг отталкивает ее, пытаясь высвободиться из ее объятий.)* Нет, Оль-Оль, не надо. Пусти меня. Я опять ничего не понимаю. Где же правда, Оль-Оль? Где же эта проклятая правда?

Ольга Николаевна *(грустно)*. Правды нет на свете, Колечка. *(Снова притягивает его к себе и целует)*

Глуховцев. Вздор! Есть! *(Целует.)* Есть, Оль-Оль! *(Целует)*

Ольга Николаевна. Нету, Колечка. *(Целует.)*

Глуховцев. Пусти меня!

Ольга Николаевна. Нет

Глуховцев. Пусти меня!

Ольга Николаевна. Нет. Нет Нет. *(Целует его.)*

Глуховцев *(вскакивая)* Нет, это невозможно! Оль-Оль, оставь меня, я схожу с ума!

Ольга Николаевна *(нагоняет его и обнимает)* Куда же ты? Нет, нет, обними меня! Я тебя люблю. Я тебя люблю.

Глуховцев *(обнимает ее и смотрит прямо в глаза)* Оль-Оль, очарование мое, ведь это правда? Правда, что ты меня любишь? Правда, что я смотрю тебе в глаза? Что ты опять со мною, мое счастье, моя прелесть?

Ольга Николаевна. Правда, правда! Все правда, мой любимый!

В дверь стучат

Ольга Николаевна. Постой, кажется, стучат!

Глуховцев. Нет, теперь я тебя не пущу!

Резкий стук в дверь.

Ольга Николаевна *(вырываясь)*. Пусти, пусти! Это мама. Уходи скорее. Потом, потом мы увидимся.

Глуховцев. Почему же уходить? Она же сама сегодня извинялась и... *(Кричит.)* Войдите! Войдите!

Евдокия Антоновна *(входя и презрительным взглядом окидывая студента)*. Оля! А вы еще здесь, господин Глуховцев?

Ольга Николаевна. Он сейчас уйдет. Коля, миленький, послушай... *(Ведет его к двери.)* Я сейчас, мамаша, я только провожу его до номера.

Глуховцев *(вырываясь)*. Прошу вас не трудиться! Я сам. *(Быстро уходит.)*

Ольга Николаевна *(заламывая руки)*. Ушел! Коля, Колечка, вернись! *(Падает на кресло и плачет.)*

Евдокия Антоновна *(угрожающе)*. Оля! Это что еще за драмы?

Ольга Николаевна. Все... все пропало. Не увижу я его больше, моего голубчика... И некому меня пожалеть.

Евдокия Антоновна. Оля! Сейчас же извольте умыться и поправить волосы. Это еще что такое — драмы, а? Мальчишка! Студентишка!.. Вы слышите? Если ты сейчас же не пойдешь мне и не умоешься, то... Оля!

Ольга Николаевна *(грубо)*. Чего орете? Видите, иду. *(Сморкается и, толкнув мать плечом, проходит за перегородку.)*

Евдокия Антоновна. Скорей, скорей, Олечка! Он только в парикмахерскую заехал и сию минуту будет здесь.

Ольга Николаевна. Опять мои шпильки вы потаскали. Сколько раз вам говорила: купите себе свои и украшайтесь сколько угодно! *(Презрительно.)* Тоже!

Евдокия Антоновна. Скажите пожалуйста, одной шпильки взять нельзя! Лучше бы юбки свои убирала, а не разбрасывала по стульям! Что же, мне так и ходить, распустивши волосы, как Офелия?

Ольга Николаевна. Ведьма!

Евдокия Антоновна. Что-с? Это вы про кого?

Ольга Николаевна. Ведьма!

Евдокия Антоновна. Прошу вас замолчать! И это называется институтское воспитание! Потаскушка! Дрянь!

Ольга Николаевна. А зачем меня продали? Вот и не была бы потаскушка. Ведьма! Черт!

Евдокия Антоновна. Продали? Кто тебя такую купит? Таких, как ты, на бульваре сотни шатаются.

Ольга Николаевна. Мамаша!

Евдокия Антоновна. Ну-с? Я слушаю вас, моя дочь.

В дверь громко и властно стучат. Обе женщины замолкают.

Евдокия Антоновна. Олечка, полковник. Поторопись, дитя мое. Пожалуйста!.. Entrez, monsieur! [1]

Фон-Ранкен *(входя; одет в штатском)*. Здесь?

Евдокия Антоновна *(расцветая)*. S'il vous plait! [2] Пожалуйста! Как я счастлива, полковник! Надеюсь, больной ваш не опасен? Я так много наговорила Олечке о вас, и она ждет не дождется, бедняжка. Оля, дитя мое, ты знаешь, кто пришел?

Фон-Ранкен. Вы сказали, почтеннейшая Евдокия Григорьевна...

Евдокия Антоновна *(приседая)*. Антоновна, полковник.

Фон-Ранкен. Евдокия Антоновна, что вы живете в номере пятьдесят четвертом,— а в действительности ваш номер пятьдесят второй.

Евдокия Антоновна. Разве? Какая ужасная ошибка!

Фон-Ранкен. Да, нужно быть внимательнее. И пожалуйста, почтеннейшая, не зовите меня полковник, а зовите просто господин фон-Ранкен. А где же Ольга... не знаю, как дальше.

Евдокия Антоновна *(молитвенно)*. Зовите ее Оля, господин фон-Ранкен: она ведь у меня такая еще девочка. Олечка, тебя ждут.

Входит Ольга Николаевна, сильно напудренная; молча протягивает гостю руку

Евдокия Антоновна. Позвольте представить: моя дочь, Оля. Какие очаровательные духи,— ты не знаешь этого запаха, Оленька?

Фон-Ранкен. Peau d'Espagne [3]. Счастлив познакомиться, Ольга...

---

[1] Входите, сударь! *(фр.)*
[2] Пожалуйста! *(фр.)*
[3] Кожа Испании *(фр.)*

Е в д о к и я А н т о н о в н а. Оля, полковник, Оля!

О л ь г а Н и к о л а е в н а. Я тоже очень рада.

Ф о н-Р а н к е н. Насколько помнится, я имел честь служить с вашим батюшкою в одном полку.

Е в д о к и я А н т о н о в н а. Да, да, господин фон-Ранкен! Он так много мне рассказывал о вас.

Ф о н-Р а н к е н. Ну, это едва ли; я тогда только что поступил, и ваш супруг меня не знал. Но я его помню, да, да... Достойнейший был человек, но игра в карты... Не так ли, Евдокия Григорьевна?

Е в д о к и я А н т о н о в н а. Ах, не вспоминайте, господин фон-Ранкен, это такой ужас! Олечка! Но что же ты, мой друг, молчишь? Отчего не предложишь гостю чаю? Не нужно быть такой застенчивой, дитя мое.

О л ь г а Н и к о л а е в н а. Хотите чаю?

Ф о н-Р а н к е н. Нет, я не пью чаю. Но вот, если позволите, я попрошу вашу мамашу... Вот деньги, Евдокия Григорьевна,— здесь двадцать пять рублей — надеюсь, что этого хватит?

Е в д о к и я А н т о н о в н а. О, конечно, полковник! Мне, право, совестно...

Ф о н-Р а н к е н. Но, но, оставьте! Мы будем скромны, Оля, не так ли? Вы чего хотите, Олечка? Пожалуйста, не стесняйтесь.

О л ь г а Н и к о л а е в н а. Чего хотите, мне, право, все равно.

Е в д о к и я А н т о н о в н а. Моя девочка любит ликер, господин фон-Ранкен. Такая сластушка!

Ф о н-Р а н к е н *(морщась)*. Ликер? Но тогда этого не хватит.

Е в д о к и я А н т о н о в н а. Ах, Боже мой! Конечно, можно наливки. Олечка, ведь ты же кушаешь наливку?

Ф о н-Р а н к е н. Как хотите, почтеннейшая. Но только попроще, я не люблю этих деликатесов, от них только портится желудок. Не так ли, Оля? Ну, ростбиф там, возьмите цыпленка...

О л ь г а Н и к о л а е в н а. Омаров возьмите, мамаша.

Ф о н-Р а н к е н. Конечно, можно и омаров, хотя, как врач, я не советовал бы вам портить ваш молодой желудок.

Е в д о к и я А н т о н о в н а. Может быть, сардин, Олечка?

О л ь г а Н и к о л а е в н а. Я вам сказала — омаров!

Ф о н-Р а н к е н. Ну и напитков там... хотя я вообще и не пью, но ради такого приятного знакомства... не так ли, Оля? Будем, как дети! *(Смеется.)* Не думайте, Олечка, что если

с виду я немного и строг, то не умею резвиться. Нет, я очень, очень умею резвиться!

Евдокия Антоновна. Ах, да, Олечка: я и забыла тебе сказать, что Полозовы сегодня звали меня ночевать. Это наши хорошие знакомые, господин фон-Ранкен, прекрасная семья! Ты не будешь скучать, девочка?

Фон-Ранкен. Надеюсь, не будет. Не так ли, Оля?

Ольга Николаевна. Идите, идите, мамаша! А то запрутся магазины.

Евдокия Антоновна. Ах, мой Бог! Я и забыла про эти дурацкие правила.

Фон-Ранкен. Почему же дурацкие? Всякому необходим отдых, почтеннейшая.

Евдокия Антоновна. Я сию минуту! Сейчас!

Ольга Николаевна. Опять у вас шляпа на боку, мамаша. Поправьте.

Евдокия Антоновна уходит.

Фон-Ранкен. Дайте мне вашу ручку, Оля. Какая вы скромная!.. Вы всегда такая?

Ольга Николаевна. Всегда.

Фон-Ранкен. Я очень люблю скромных. Но... конечно, не во всех случаях жизни. Впрочем, и в ваших глазках я вижу хотя и скрытый, но столь живой огонек,— не так ли, Оля? *(Целуя руку.)* А ноготки-то у нас не совсем чистые, это нехорошо, ноготки нужно чистить...

Ольга Николаевна. Как вас зовут?

Фон-Ранкен. Зовите Эдуардом, просто Эдуардом.

Ольга Николаевна. Какое красивое имя.

Фон-Ранкен. Не правда ли? Да, имя красивое. Но отчего вы не улыбнетесь, Оля? Улыбка на молодых устах — это так приятно. Вы умеете петь?

Ольга Николаевна. Умею немного.

Фон-Ранкен. О, это очень приятно! Я крайне люблю, чтобы мне в это время пели. Вы не знаете этого романса... впрочем, о романсах потом. А сперва о некоторых очень, очень интимных вещах. Вы позволите? Я буду очень осторожен, моя милая девочка, и ни в каком случае... Вы говорите по-французски?

Ольга Николаевна. Нет, очень мало.

Фон-Ранкен. Ах, как жаль! А я предположил было, судя по разговору вашей почтенной матушки, но, впрочем, это не важно... Русский язык также очень хороший язык, не так ли, Оля?

Ольга Николаевна. Я не знаю, о чем вы хотите говорить. Мне мамаша сказала...

Фон-Ранкен. О нет, нет! Ваша матушка несколько экзальтированная женщина, и многое ей представляется не совсем так, как оно в действительности. Некоторая поспешность в выводах, не так ли, Оля?

Ольга Николаевна. Говорите, пожалуйста! Я ничего не понимаю.

Фон-Ранкен. Видите ли, дитя мое, мое положение... Вам известно, что я врач, что я очень, очень известен в широких кругах публики, но кроме того у меня две дочери, обе невесты, и было бы крайне неприятно... Вы понимаете?

Ольга Николаевна. Нет. Почему вы говорите о дочерях, мне до этого какое дело?

Фон-Ранкен. Да, да, я понимаю вас! Но одна из них выходит на днях замуж, и было бы крайне неприятно... Будьте со мною вполне откровенны, дитя мое, я прошу вас об этом, я, наконец, требую, как врач. Вы понимаете?

Ольга Николаевна. Что вы меня мучаете? Что я должна понимать?

Фон-Ранкен. Не волнуйтесь, не волнуйтесь,— это вредно. Вы, быть может, опасаетесь вашей матушки? Но даю вам слово, что все это останется между нами, и вы получите столько же, как если бы все было в полном порядке. Не так ли, Оля?

Ольга Николаевна. Да чего вам надо, говорите же!

Фон-Ранкен. Скажите, вы не... *(Наклоняется к уху и что-то шепчет.)*

Ольга Николаевна *(отмахиваясь руками)*. Нет, нет, нет! Господи, какая гадость!

Фон-Ранкен. Но здоровье, дитя мое...

Ольга Николаевна *(затыкая уши)*. Нет, нет, нет! Молчите, я не хочу вас слушать!

Фон-Ранкен *(великодушно)*. Я вам верю. Какая ты наивная, Олечка! Что это, слезы? Ай, ай, ай! Нужно осушить эти милые глазки. *(Целует.)* Не так ли, Оля?

Ольга Николаевна. Хоть бы мамаша поскорее.

Фон-Ранкен. Кушать хочется? Сейчас, сейчас покушаем, девочка. Там будут такие вкусные, вкусненькие вещи... Омары, например... Не так ли, Оля? Но, быть может, вы бы спели мне что-нибудь в ожидании вашей матушки?

Ольга Николаевна. А вы что́ хотите?

Фон-Ранкен *(поднимая руки)*. Только не цыганское, прошу вас! Как жаль, что вы не знаете немецкой музыки.

Впрочем, почему же я говорю вы? Ведь мы на ты, Оля, не так ли? *(Обнимает.)*

Ольга Николаевна. Оставьте, сейчас мамаша придет!

Фон-Ранкен. Ну, мамаша!

Ольга Николаевна. Я лучше буду петь. Вы что хотите?

Фон-Ранкен. Я бы хотел, прелестная фея, чтобы вы мне спели один немецкий романс. Это такой печальный, такой трогательный романс!

Ольга Николаевна. Я не знаю по-немецки. Хотите, я спою вам: «Ни слова, о друг мой, ни вздоха!»

Фон-Ранкен. Это грустно?

Ольга Николаевна. Да, очень грустно.

Фон-Ранкен. Ах, пожалуйста! Я прошу вас. *(Садится поудобнее.)* Итак, Оля!

Ольга Николаевна *(поет)*.

Ни слова, о друг мой, ни вздоха. Мы будем с тобой молчаливы.
Ведь молча над камнем, над камнем могилы склоняются грустные ивы...

Евдокия Антоновна *(вваливается с покупками, за ней мальчик из магазина с кульками)*. Вот и я! Ах, моя пташечка — как она распелась!

Фон-Ранкен *(поднимает руки)*. Какое пиршество! Какое пиршество!

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Та же комната. Вечер. Никого нет. Растворяется дверь, и из освещенного коридора входит, нагруженная покупками, Евдокия Антоновна. Как-то растрепана вся; плохо причесана, иссера-седые волосы лезут из-под шляпы; запыхалась и тяжело дышит. За нею следом входит молоденький офицер, невысокий, очень полный, слегка пьян; также нагружен покупками.

Офицер. Мамаша, что же это такое? Это же недопустимая вещь, мамаша! Я решительно отказываюсь это понять, мамаша!

Евдокия Антоновна *(зажигает дрожащими пальцами лампу)*. Сейчас! Ох, сейчас, Григорий Иванович! Все будет. Сюда, сюда покупки, на диван!

Григорий Иванович. Нет, мамаша, это, честное слово, недопустимо. Я настроился так прекрасно, а она

вдруг взяла и убежала. Выхожу из магазина, а ее уж нету. Нет, мамаша, это нетактично! Ваша Оля очень милая девушка, но, честное слово, это нетактично.

Евдокия Антоновна. Ах, она такая скромная. Она сейчас придет, Григорий Иванович, она только на минутку.

Григорий Иванович. Я совсем приготовился, полон воодушевления! Жажду общества и света — и что же? Чтó я нашел? Пустую комнату и проваленный диван, на котором даже сидеть нельзя. Мамаша! Это недопустимо.

Евдокия Антоновна. Вы выпейте пока, Григорий Иванович, рюмочку коньяку. Я сейчас приду с нею, я знаю, где она.

Григорий Иванович. Один? Никогда в жизни! Вы оскорбляете меня, мамаша: я могу пить только в избранной компании. Но какое разочарование, мамаша!

Евдокия Антоновна. Ах, мне так совестно, Григорий Иванович, я так убита! Какая глупая девчонка! *(Соображая.)* Ах, вот что, Григорий Иванович: тут в номерах есть у нас хороший знакомый, студент. Такой славный мальчик...

Григорий Иванович. Что? Студент? Мамаша, отчего же вы мне раньше не сказали? Да я вас озолочу, мамаша! Я так люблю студентов, я так давно жажду их просвещенного знакомства, и что же? У нее под боком студент, а она молчит. Зовите его, мамаша, немедленно зовите его!

Евдокия Антоновна. Ах, он такой застенчивый: я боюсь, согласится ли он пойти сюда. Если бы вы сами, Григорий Иванович, потрудились...

Григорий Иванович. Который номер?

Евдокия Антоновна. Семьдесят четвертый.

Григорий Иванович. Слушаю-с. Приготовьте выпивку и закуску, мамаша.

Выходит. Евдокия Антоновна готовит закуску; выковыривает изюм из хлеба и глотает сласти. Голова ее немного трясется.

Евдокия Антоновна *(бормочет)*. Дрянь, девчонка! Бегай для нее, да. У меня ноги не купленные, да. Вот умру — тогда посмотришь... Девчонка! Дрянь! Одного упустила, а теперь этого. Тоже дурак — «мамаша»! Будь я твоя мамаша, я б тебе показала. Скотина! Где я искать ее буду? А? Ноги-то у меня не купленные, насилу хожу. Дрянь! А ликер хороший. *(Напевает по-французски, но задыхается.)* До чего довела свою мать, бесстыдница: дышать не могу! *(Опять пробует петь и опять задыхается.)* Ну

и не надо. Тоже дурак: «мамаша»! Послушал бы, как я пела... Получше твоей Оленьки... Измучилась я. Такие скоты кругом, такие скоты! Этот тоже: полковник, да «фон-Ранкен», да «рано ложусь спать», да «почтеннейшая»... Измучил девочку, и за все про все — извольте, десять рублей. Скотина! Да я горничной больше плачу... Мне бы нужно воды какие-нибудь пить... А ну вас всех к черту!

Входят слегка выпившие Глуховцев и Онуфрий; их сзади подталкивает Григорий Иванович.

Григорий Иванович. Прошу, прошу до нашего шалашу. Я так счастлив, господа! Я так безумно счастлив, что в недрах, так сказать, на дне пучины, открыл источник просвещения. Мамаша, не один, а целых два!

Евдокия Антоновна. Ах, как я рада, господин Глуховцев! Как поживают ваши? Давно ли получали письма из дому?

Глуховцев. Здравствуйте. Что ж, пойдем, что ли, Онуша? Все равно, где пить-то.

Онуфрий *(тихо)*. А скандалить, Коля, не будешь?

Глуховцев. Ну вот еще!

Онуфрий. Смотри, а то лучше уйдем.

Глуховцев. Да нет же, чего пристал?

Григорий Иванович. Онуфрий Петрович, Николай Николаевич, прошу! Приободритесь, мамаша!

Онуфрий. А если наоборот, то и совсем будет хорошо. Онуфрий Николаевич и Николай Петрович. А вас, кажется, Григорий Иванович?

Григорий Иванович *(козыряя)*. Подпоручик Миронов, честь имею. Из глуши провинции, из дебрей невежества. Жажду просвещения, общества и света!

Онуфрий. А коньячку? Тут я вижу как будто бы коньяк, если только органы зрения не вводят меня в заблуждение. Впрочем, орган обоняния подтверждает коньяк.

Григорий Иванович. Мамаша, какой разговор! Вы можете в этом что-нибудь понять? Ах, господа студенты, я так безумно счастлив, что встретил вас. Вы не можете представить, до чего стосковался я о хорошем разговоре.

Евдокия Антоновна. Я сейчас вернусь, Григорий Иванович.

Григорий Иванович. Ах, да! Ну конечно, ну конечно... Скажите ей, мамаша, чего она боится? Ведь я же не волк и не троглодит. Тащите ее сюда, мамаша!

Глуховцев. Это — Ольгу Николаевну?

Григорий Иванович. Да, Оленьку! Такая очаровательная девушка, я подумал, курсистка, честное слово! Вам, мамаша, может быть, на извозчика надо? Погода дрянь. Так нате! *(Вытаскивает из кармана мелочь и бумажки и сует ей в руку.)* Лихача возьмите, мамаша.

Евдокия Антоновна *(жеманничая)*. Ах, Григорий Иванович! Это уж совсем лишнее!

Григорий Иванович. Пустяки, мамаша, пустяки.

Глуховцев. Берите, когда дают.

Евдокия Антоновна. Вы так думаете, господин Глуховцев: всегда нужно брать, когда дают? Хорошо-с, я возьму. Благодарю вас, мой друг, за деньги, а вас за совет, господин Глуховцев. Adieu, mes enfants![1] Лечу, лечу!

Онуфрий *(торопливо)*. А вы, как мне сдается, очень добрый человек, Григорий Иванович.

Григорий Иванович. Я-то? Ах, Онуфрий Николаевич! Друг мой единственный: я ведь по натуре студент, ведь это *(указывая на одежду)* одно роковое недоразумение, жестокая игрушка загадочной судьбы.

Онуфрий. Скажите, какое роковое совпадение и даже трагическое сходство! Я ведь по натуре человек совершенно непьющий...

Григорий Иванович *(в восторге)*. Да что вы!

Онуфрий. Клянусь Геркулесом!

Григорий Иванович. Выпьемте, Онуфрий Николаевич.

Онуфрий. С удовольствием, Григорий Иванович!

Чокаются.

Григорий Иванович. За натуру!

Онуфрий. За натуру!

Григорий Иванович. А вы что же, коллега? Рюмочку водочки, а? Вот икра, сам в Охотном ряду брал. Какая это роскошь, ваш Охотный ряд!

Глуховцев. Я лучше коньячку.

Онуфрий. Коньячок, Коля, пьют из рюмочки, а не из стакана.

Глуховцев. Душа меру знает!

Григорий Иванович. Совершенно справедливо! Изумительно верно! У меня товарищ есть, так тоже не может иначе — давай, говорит, Гриша, стакан. Когда душа горит, из наперсточка ее не зальешь.

Глуховцев. Верно!

---

[1] Прощайте, мои дети! *(фр.)*

Григорий Иванович. Выпьем, Онуфрий Николаевич!

Онуфрий. С удовольствием, Григорий Иванович. Давно изволили прибыть?

Григорий Иванович. Три дня. Ослеплен! Раздавлен!! Ошеломлен!!! Вы, господа студенты, уже привыкли к Москве, а я как взглянул на всю эту роскошь, культуру, на все эти плоды просвещения,— по подбородку у меня скатилась слеза. А Минин-то? А Пожарский-то?

Онуфрий. Уже были где-нибудь?

Григорий Иванович. Как же-с. Везде, палаты бояр Романовых... Да позвольте, у меня тут на бумажке все записано... *(Роется в кармане.)* Нет, не то. Ах, черт! Куда ж я ее девал?.. Не отдал ли еще мамаше, вместо трехрублевки.

Онуфрий. А это зачем же билет от конки, Григорий Иванович? Для коллекции?

Григорий Иванович. Храню. Надо будет там показать... Ах, вот, ну слава Богу! *(Читает.)* Третьяковская галерея... Но какая это роскошь! Репин, например! Храм Спасителя. Театр Омон. Румянцевский музей.

Онуфрий. Ага! И у Омоши поспели побывать. Ну как?

Григорий Иванович. Онуфрий Николаевич, вы, может быть, смеетесь надо мною, а я, ей-Богу, так растроган всем этим, я ведь три ночи так и не ложился! Только тем и отмечаю время, что по утрам умываюсь и пью водку, а к ночи пью ликер и Шато-Марго. И когда я умоюсь и сажусь за водку, то это я называю начать новую жизнь. Выпьем за новую жизнь!

Онуфрий. С удовольствием, Григорий Иванович. Вы мне положительно нравитесь. С вами, должно быть, здорово можно выпить? Вот многие этого не понимают, Григорий Иванович, а по моему мнению, только на третий день начинается приятное пьянство. Чтобы душа разговорилась, нужно ее подготовить, а не то чтобы сразу: ну, душа, рюмку водки и разговаривай.

Григорий Иванович. Верно! Ах, как изумительно верно! Выпьем, Онуфрий Николаевич, на брудершафт!

Онуфрий. Немножко рано, но в предвидении дальнейшего... я думаю, можно ускорить естественный ход событий. Верно, Коля? Что так таращишь глаза? — не таращи, брат, не надо. Это делает тебя похожим на вареного рака.

Глуховцев. Радуюсь.

Онуфрий. Ну и радуйся, черт с тобой! Не люблю я, Коля, слюнтяев!

Григорий Иванович. Готово. Пожалуйте.

Встают и торжественно пьют на брудершафт: руку через руку, трижды целуются, сплевывают на сторону и ругаются.

Григорий Иванович. Онуфрий! Друг!

Онуфрий. Григорий! Ангел!

Глуховцев *(находит в углу шашку офицера и пробует ее)*. Это ваша?

Григорий Иванович. Это? Да. Только осторожнее, коллега, она отпущена.

Онуфрий. Оставь, Коля! Не люблю я, когда дети берут в руки что-нибудь острое.

Глуховцев. Григорий Иванович, покажите-ка приемы.

Григорий Иванович. С наслаждением, коллега. *(Становится, пошатываясь, в позицию и показывает приемы.)*

Онуфрий. Здорово!

Григорий Иванович *(несколько запыхавшись)*. Я, Онуша, два приза взял: один за шашку, а другой за стрельбу из револьвера. Вот погляди-ка, брат, какие часы. Что, здорово?

Онуфрий. Здорово. Ты обо мне, Гриша, плохо не думай: у меня тоже шпага есть,— этакий толедский клинок, И когда я живу в тихом семействе, то ковыряю им в самоваре. Меня за это очень любят, Гриша, в тихих семействах.

Глуховцев. А вы где познакомились с Ольгой Николаевной?

Григорий Иванович. С какой Николаевной? Ах, да, с Оленькой-то? Да у Омона, коллега! Они там с мамашей вчера прогуливались. Какой букет роскошных женщин! Какой свет! Какое общество! Но только вчера я был немного выпивши... Постой, был я вчера у цыган или нет? Вот история. Не то третьего дня... Все, брат, перепуталось. Вчера, вчера! Ах, как они поют, Онуша!

Онуфрий. Не нравится мне эта мамаша, чтоб ей трижды лопнуть.

Григорий Иванович *(убежденно)*. Дрянь! И не говори, Онуша, ужаснейшая дрянь. А девчоночка хорошенькая и совсем на это не похожа. Даже жалко!

Глуховцев. Жалко?

Онуфрий. Жалость, дети мои, вредное чувство Так сказал Заратустра.

Григорий Иванович. Верно! А кто это Заратустра?

Глуховцев. Мудрец.

Григорий Иванович. Люблю мудрецов! *(Наклоняясь, почти шепотом.)* Вот скажите мне, коллеги, предложу я вам один очень важный вопрос для существования человека: есть Бог или нет? У нас в полку говорят...

Короткий стук в дверь; входят Евдокия Антоновна с Ольгой Николаевной.

Евдокия Антоновна *(задыхаясь)*. Вот и мы! Она у подруги была, на минутку за нотами забежала. Оленька, мой друг, ты со всеми знакома?

Ольга Николаевна *(из передней)*. Дайте хоть раздеться, мамаша.

Григорий Иванович *(устремляясь в переднюю)*. Оленька, дружок, ты что же это вздумала? Какая чудачка! Испугалась, а? Ну, ничего, ничего, раздевайся. Пойдем поскорее, я тебе покажу,— тут такой, брат, славный народ! Позвольте представить, господа: Оленька.

Ольга Николаевна, не ожидавшая встретить ни Глуховцева, ни Онуфрия, испуганно делает шаг назад. Студенты молча здороваются, и Глуховцев целует руку.

Ольга Николаевна. Я и не знала, что вы у нас. Мамаша, отчего же вы мне ничего не сказали?

Евдокия Антоновна. Ах, Оля! Я хотела тебе приготовить маленький сюрприз.

Григорий Иванович. Я безумно счастлив: такой свет! Такое общество! Господа, на середину стол! Да приободритесь, мамаша! Чего там! Тут такое воодушевление, такой восторг!

Онуфрий. Бутылки надо снять, а то побьются.

Григорий Иванович. Хорошо бы самоварчик, мамаша! Для полноты картины. Ты выпьешь чайку, Онуша? С ромом, а? Так хорошо, прозябши!

Евдокия Антоновна. Ах, какой очаровательный характер! Сейчас будет и самовар.

Выходит. Григорий Иванович и Онуфрий приготовляют стол; Ольга Николаевна и Глуховцев стоят у двери в прихожую.

Глуховцев *(к Ольге Николаевне)*. Вы зачем сюда пришли?

Ольга Николаевна *(умоляюще)*. Коля! Боже мой, ты пьян?

Глуховцев. Вы зачем сюда пришли?

Ольга Николаевна. А вы зачем пришли сюда, Коля? Я боюсь вас

Глуховцев. Чтоб видеть вас — ведь я же влюблен Вы помните Воробьевы горы?

Ольга Николаевна. Не мучай меня! Ведь я от него убежала, Коля, я не хотела.

Глуховцев. А потом прибежала? Захотела?

Григорий Иванович. Готово! Пожалуйте! Нет нет, Онуша, ты возле меня, я с тобой не расстанусь. А ты, Оленька, сюда, по левую руку... Что, озябла, дружок? Ручки-то у тебя какие холодные! Ничего, брат, выпьешь, и сей час все пройдет Боже мой, какая роскошь!

Онуфрий. Да, совсем как в лучших домах.

Глуховцев. Ты про какие дома говоришь, Онуфрий?

Онуфрий. Ох, Коля, боюсь — вреден тебе коньяк: говорил — не надо пить из стакана.

Глуховцев *(громко)* Ты про какие дома говоришь? Я тебя спрашиваю.

Ольга Николаевна. Дайте мне конфет, Онуфрий Николаевич.

Глуховцев. Передай, Онуфрий! Ольга Николаевна очень любит сладкое!

Григорий Иванович. Все девицы любят сладкое Кушай, Оленька, кушай, конфет хватит, а не хватит, так еще возьмем. В Москве удивительные конфеты, Онуша, я уже взял пять фунтов, чтобы домой отвезти, да, кажется, у цыган позабыл.

Евдокия Антоновна *(входя)*. Вот и самовар несут. *(Обиженно.)* А мне местечка не оставили: нехорошо, молодые люди, нужно старость уважать.

Григорий Иванович. Мамаша, да что вы! Как можно без вас! Подвиньтесь немного, коллега.

Евдокия Антоновна. Какое приятное соседство, господин Глуховцев.

Ольга Николаевна *(тихо)*. Григорий Иванович, дайте, пожалуйста, ей рюмку коньяку, она очень озябла. На дворе такая слякоть.

Григорий Иванович. Ну, конечно. Мамаша! Коньячку! Финь-шампань!

Глуховцев. Говорят, что в обществе шептаться неприлично!

Онуфрий. Ах, Коля, как ты тонко изучил хороший тон: советую тебе купить лаковые ботинки и открыть танц-класс.

Евдокия Антоновна. Господин Глуховцев совсем не похож на учителя танцев: учителя танцев всегда такие веселые, такие элегантные, а господин Глуховцев очень, очень мрачный юноша.

Григорий Иванович. Мрачность? Какая мрачность? Тут такое воодушевление, мамаша, душа разговаривает с душою, и в небесах поют птицы. Вам, мамаша, нужно гордиться, что вы в такой компании, где царствует свет разума и млеко просвещения! *(Со слезой.)* Мамаша, ты чувствуешь, что это называется тужурка, студенческая тужурка! За твое здоровье, Онуша! Давай поцелуемся!

Коридорный в замасленном сюртуке вносит самовар.

Ольга Николаевна. На тот столик поставьте, Петр.

Григорий Иванович. Петр! Петруша! Ну-ка, брат, рюмочку, выпей.

Петр *(мрачно)*. Нам нельзя.

Онуфрий. А ты, Петр, притворись, что можно.

Григорий Иванович. Ну, ну, притворяйся поскорей, Петруша.

Петр *(отвернувшись, выпивает; мрачно)*. Благодарим. *(Уходит.)*

Евдокия Антоновна *(жеманничая)*. Дайте мне секоладочку, я так хочу секоладочку.

Онуфрий. Какое очаровательное бебе! Нате, дусецка, секоладочку.

Евдокия Антоновна. Мелси. *(Жадно набрасывается на еду и питье, но пьет только наливку и ликер.)*

Григорий Иванович *(запевает)*. Быстры, как волны, все дни нашей жизни.

Онуфрий. Врешь, как Блохин, Гриша! Покажем ему, Коля. Буде, брат, дуться! Жизнь коротка, а водки много.

Григорий Иванович. Коллега, пой! Ведь я этой минуты, может, двадцать лет ждал! Студенческие песни, Господи Боже мой, да ведь никто не поверит, как рассказывать начну. Окажи честь, смилуйся, коллега. *(К Онуфрию.)* Что, он хорошо поет, а?

Онуфрий. Хорошо. Начинай, Коля!

Глуховцев *(громко)*. Онуфрий, ты помнишь Воробьевы горы?

Онуфрий. Если, Коля, я буду помнить все места, на которых я пролил слезу, то мое воображение подмокнет. Буде дурачиться. Пой. *(Запевает.)*

Быстры, как волны...

Григорий Иванович.

Все дни нашей жизни.

Глуховцев *(пристально глядя на Ольгу Николаевну)*.

Что час, то короче к могиле наш путь.

Хором.

Налей же, товарищ, заздравную чару,
Кто знает, что с нами случится впереди.

Григорий Иванович. Какие слова, мамаша! Вы только вслушайтесь: *(поет)* заздравную чару.

Глуховцев *(протягивает рюмку к Ольге Николаевне)*. Чокнемся!

Ольга Николаевна. Я не хочу пить.

Глуховцев. Напрасно. В вашем положении без этого нельзя.

Онуфрий *(запевает)*.

Умрешь, похоронят!

Григорий Иванович.

Как не жил на свете...

Глуховцев *(глядя на Ольгу Николаевну)*.

Уж снова не встанешь к веселью друзей...

Хором.

Налей же, товарищ, заздравную чару,
Бог знает, что с нами случится впереди.

Евдокия Антоновна. Что же ты не поешь, Оленька? У нее такой прекрасный голос, Григорий Иванович. Я все мечтала для нее о консерватории.

Ольга Николаевна. Вытрите рот, мамаша. Вы вся перепачкались шоколадом.

Григорий Иванович. Оленька, что же ты не поешь, в самом деле, а? И не пьешь ничего? Это недопустимо! Мамаша, скажите ей, что это нетактично. Тут такой народ!.. Выпей, Оленька, сладенького.

Ольга Николаевна. Я не хочу. У меня голова болит.

Глуховцев. Пей!

Григорий Иванович. Ну зачем так, коллега. Она и так выпьет. Кушай, Оленька.

Глуховцев. Пей! Все проститутки пьют.

Евдокия Антоновна. Что-с? Что вы изволили сказать, господин Глуховцев?

Онуфрий. Оставь, Коля! А то уйду сейчас!

Глуховцев *(стучит кулаком по столу)*. Пей, проститутка!

Онуфрий *(хватая его за руку)*. Оставь, Коля! Не смей! Ты с ума сошел!

Евдокия Антоновна. Мальчишка! Грубиян! Как вы смеете! Я не позволю, чтобы мою дочь оскорбляли.

Глуховцев. Молчи, дрянь!

Ольга Николаевна. Молчите, молчите, мамаша! Коля! Колечка, опомнись!

Евдокия Антоновна. Я не позволю! Что же это такое? Ворвался в дом и оскорбляет. Господин офицер, хоть вы заступитесь за женщину.

Онуфрий *(удерживая)*. Сиди, Гриша!

Григорий Иванович. Позволь, Онуфрий! Не мешай. Послушайте, коллега, это нехорошо. Это не по-студенчески. Зачем оскорблять женщину? Это очень нетактично. На вас мундир, молодой человек!

Глуховцев *(вставая)*. А ты кто?

Ольга Николаевна. Коля!

Онуфрий. Да сиди же, Гриша, сиди!

Григорий Иванович *(встает)*. Я? То есть как это? Вы что хотите этим сказать? И кто вам дал право тыкать?

Глуховцев. А ты кто? Говори!

Григорий Иванович. Прошу замолчать!

Глуховцев. Ты — подлец.

Григорий Иванович. Что? *(Рвется к Глуховцеву, но его с обеих сторон удерживают Ольга Николаевна и Онуфрий.)* Повтори! Пустите меня!

Глуховцев. Подлец! Слышал? Говоришь о чести, о жалости, а сам девчонок покупаешь?

Григорий Иванович *(задыхаясь)*. Что? Что? Что? Пустите меня, я вам говорю! Руки прочь!

Смятение. Крики. Евдокия Антоновна визжит: «Вон! вон», и лезет к Глуховцеву. Тот отпихивает ее, и она падает на диван.

Евдокия Антоновна. Убил! Спасите! Убил!

Григорий Иванович *(вырываясь)*. Пустите,

я вам говорю. А-а-а, черт! Ну-с! Теперь поговорим. Что вы изволили сказать?

Глуховцев. А вот что. *(Быстро отскакивает в угол и вытаскивает шашку.)* Ну, иди.

Онуфрий. Коля, брось! Брось!

Ольга Николаевна *(бросается к Глуховцеву)*. Колечка! Опомнись! Опомнись! Что с тобою?

Глуховцев *(вертит шашкой над головою)*. Отойди! Зарублю!

Евдокия Антоновна. Спасите! Спасите! Убил!

Онуфрий. Да замолчи ты, кляча!

Григорий Иванович *(роется в кармане, бормоча)*. Ага, так вот что! Засада. Ну погоди ж ты! Погоди!

Глуховцев *(к ногам которого прицепилась Ольга Николаевна)*. Не мешай, слышишь? Мне вон того надо! Пусти, а то зарублю!

Григорий Иванович *(вытаскивая револьвер)*. Ага! Вот оно. *(Наводит револьвер на Глуховцева)*. Ну-с, как вас там... девица, головку вашу примите, а то могу и промахнуться.

Ольга Николаевна *(почти в истерике)*. Нет, нет, нет! Убейте! Убейте!

Онуфрий. Вы с ума сошли, коллега!

Охватывает сзади офицера и валит его на пол. Борьба. В свою очередь, Ольга Николаевна, крепко обняв Глуховцева, отбирает от него шашку

Глуховцев *(садясь в кресло и беспомощно закрывая лицо руками)*. Оля, Оля, что ты сделала со мною?

Онуфрий *(задыхаясь, протягивает кверху револьвер)*. Револьвер, револьвер возьмите! Ты, старая чертовка, скорей!

Григорий Иванович *(ворочаясь)*. Нет, погоди!

Онуфрий. Ольга Николаевна, вы!

Ольга Николаевна. Сейчас! Сейчас! *(Хватает револьвер и бежит с ним в спальню.)*

Глуховцев *(покачивая головою)*. Оля... Оля...

Евдокия Антоновна. Ах! Ах! Ах!

Онуфрий *(поднимаясь)*. Ну буде, Гриша, повалялись и достаточно. Вставай-ка, брат!

Григорий Иванович *(бешено)*. Это, это засада! Все... скопом! Револьвер давай.

Онуфрий *(обнимая его)*. Ну, Гриша, ну, голубчик, плюнь на это дело! Никакой засады нету. Просто напился мальчишка. Видишь, сидит, нюни распустил.

Григорий Иванович. Нет, но какое он имеет право?

Онуфрий. Пьяный-то? Будь же великодушен, Гриша. Ведь он мальчишка!

Евдокия Антоновна *(приходя в себя)*. Вон! Господин Глуховцев, я прошу вас оставить нашу квартиру. *(Вдруг горько плачет.)* За что? Господи, за что?.. Всю жизнь... Унижения... Кто дал вам право? Оля! кто дал им право над нами, несчастными? Оля! *(Плачет.)*

Григорий Иванович. Нет, Онуфрий, он должен извиниться. Я не могу оставить это так. Всякий мальчишка...

Онуфрий. Ну и извинится, эка важность! Ты думаешь, Гриша, он помнит, что он болтал? Колька, иди извинись!

Григорий Иванович. Да. Я требую извинения.

Ольга Николаевна. Он сейчас, он сейчас извинится. Колечка, родной мой!

Онуфрий *(подходя к Евдокии Антоновне)*. Вот что, мамаша, вы того, уходите отсюда. Да и Оленьку возьмите. А то опять не вышло бы чего. Видите, какие они оба Аники-воины. Упарился я, точно маневрами командовал.

Евдокия Антоновна *(плача)*. Куда я пойду? Опять на улицу? У меня и то ноги как гуща. Куда вы меня гоните?

Онуфрий. В наш номер ступайте, да потихоньку, чтоб Колька не заметил.

Григорий Иванович. Онуфрий Николаевич, я жду!

Онуфрий. Не торопись, Гриша. Дай ему очухаться! Выпей пока рюмочку.

Григорий Иванович. Ты благородный человек, Онуфрий. Ты понимаешь, что я не могу этого оставить.

Онуфрий. Понимаю, Гриша, понимаю, как не понять! Вот что, Оленька, *(тихо)* возьмите-ка вы вашу мамашу и айда в наш номер и ночуйте себе, там две постели, а мы тут. Этакое «changez vos places» [1].

Ольга Николаевна. Я не могу его оставить. Я боюсь этого офицера.

Онуфрий. Да разве вы не понимаете, что это от вас все, от вас! Уходите! А я его сейчас так накачаю, что и про вас забудет.

Ольга Николаевна. Голубчик! *(Тащит мать.)* Идемте, идемте, мамаша.

---

[1] Меняйтесь местами *(фр.)*.

Евдокия Антоновна *(плача)*. Куда я пойду?

Идет, шатаясь и не видя дороги. Ольга Николаевна ведет ее и на ходу быстро целует руку Онуфрия.

Онуфрий. Ольга Николаевна, что́ вы!

Григорий Иванович *(почти плача)*. Нет, за что он меня, Онуша? Что я ему сделал? Я к нему с открытым сердцем, коллега, а он... Приехал в Москву, думал: хорошие люди, студенты...

Онуфрий. Он сейчас, Гриша, сейчас! Послушай, Коля, если ты не извинишься сейчас перед моим другом, перед Григорием Ивановичем, то ты свинья и больше ничего, и я тебе не товарищ. Понял?

Глуховцев. Чего ему надо?

Онуфрий. Надо, чтобы ты извинился. Ты пьян и обидел его.

Глуховцев. Ну и пьян. Ну и обидел. Ну и извиняюсь. Как вы мне все надоели!

Онуфрий. Гриша, он извинился. Ты слышал?

Григорий Иванович. Слышал. Да ну его и вправду к черту! Мальчишка! Сопляк! Выпил две рюмки и насосался. Ведь если бы не ты, Онуша, я б его застрелил, как собаку, вот и все.

Онуфрий. Эх, Гриша, все мы люди, все мы человеки, да и собаку-то убивать надо подумавши. Поверь мне, оба вы, и ты и он, прекрасные люди; а просто так: роковая судьба и жестокое сцепление обстоятельств. *(Тихо.)* Ты знаешь, ведь он эту девчонку любит.

Григорий Иванович. Вот дурак! Отчего ж он раньше мне об этом не сказал? Очень мне нужна его Оленька. Разве я за этим приехал? Только ты один понимаешь меня, Онуфрий... Поцелуй меня, Онуша!

Онуфрий. С удовольствием, Гриша. Ты, ей-Богу, лучше, чем ты сам об этом думаешь. Колька, иди коньяк пить!

Глуховцев. Где?

Онуфрий. Где? Вот, перед носом. Совсем ты, брат, разлимонился.

Григорий Иванович. Послушайте, коллега, я, ей-Богу, не знал.

Онуфрий. Слышишь, Колька! Поди поцелуй его.

Григорий Иванович. Что ж, если от чистого сердца, я готов.

Онуфрий. Еще бы не от чистого! Ах, дети мои! До чего я люблю тишину, спокойствие и порядок. В небесах благоволение и на земле коньяк с сахаром и с лимоном.

Григорий Иванович. Ты поэт, Онуша! Ты, наверно, стихи пишешь. Прочти-ка, брат, что-нибудь такое, а?

Глуховцев *(подходя)*. Где коньяк?

Онуфрий. Не дам, пока не поцелуешь. Что тебе, губ жалко, что ли?

Глуховцев. Ну ладно! Ты на меня не сердись, товарищ. Мне, ей-Богу, нехорошо. Давай поцелуемся.

Григорий Иванович. И ты на меня не сердись.

Целуются.

Онуфрий. Так, так! Действуй, ребята! И до чего приятно выпить теперь коньячку,— так это в романах только бывает. Ну, роман что? Роман — беллетристика, а это, Гриша,— святая действительность. Кувырнем.

В двери показывается, прислушиваясь, Ольга Николаевна; Онуфрий машет ей рукой, она скрывается.

Онуфрий. К черту! Завтра же беру чемодан и переезжаю в тихое семейство... Вот они, объявления-то, выбирай только. *(Тащит из кармана кучу вырезок.)* Не знаю, Гриша, на чем только остановиться. Есть тут один учитель с немецким языком... Как ты думаешь, с немецким языком тише будет или нет? Я думаю, что тише. Язык серьезный, ученый...

Григорий Иванович. Так я тебя и отпустил! Мы завтра как умоемся, так сейчас соборы пойдем смотреть... Ты мне будешь показывать.

Онуфрий. Что ж! Можно и соборы.

Григорий Иванович. Нет, черт возьми! Я безумно счастлив! Милые вы мои, давайте говорить о Боге.

Онуфрий. Лучше споем, Гриша.

Григорий Иванович. Можно и это! *(Запевает, дирижируя руками.)*

Быстры, как волны...

Глуховцев кладет голову на стол и горько плачет.

Григорий Иванович *(размахивая руками над его головой)*.

Все дни нашей жизни...

Глуховцев *(с тоскою)*. Господи, и петь-то как следует не умеешь!

Онуфрий *(подхватывает)*.

Что день, то короче к могиле наш путь...

В двери показывается Ольга Николаевна. Бледная, вся вытянувшись вперед, с широко раскрытыми глазами она смотрит на плачущего Глуховцева.

Григорий Иванович и Онуфрий *(вдвоем)*.

Налей же, товарищ, заздравную чару,
Бог знает, что с нами случится впереди.
Посуди, посуди, что́ нам будет впереди.

Ольга Николаевна *(бросаясь на колени перед Глуховцевым)*. Голубчик ты мой! Жизнь ты моя! *(Бьется в слезах.)*

Григорий Иванович *(размахивая рукой над их головами)*.

Умрешь — похоронят, как не жил на свете...

Онуфрий.

Уж снова не встанешь к веселью друзей.
Налей же, товарищ...

Занавес

5 октября 1908 г.



ЧЕРНЫЕ МАСКИ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Лоренцо, герцог ди-Спадаро.
Шут Экко.
Донна Франческа, жена герцога Лоренцо.
Синьор Кристофоро, хранитель герцогских вин.
Петруччио, управляющий.
Господа и дамы из свиты герцога и его супруги.
Маски, которых пригласил герцог Лоренцо.
Черные маски, которых герцог Лоренцо не приглашал.
Певец Ромуальдо.
Музыканты.
Слуги.
Поселяне.

ПЕРВОЕ ДЕЙСТВИЕ

ПЕРВАЯ КАРТИНА

Богатая, заново отделанная зала в старинном рыцарском замке. На стенах фрески; кое-где старые потемневшие картины; оружие и скульптура. Все блещет золотом, яркими красками мозаики, нежной прозрачностью цветных стекол. Налево и частью в задней стене три высоких полуготических окна, наполовину задернутых тяжелыми, шитыми золотом завесами; поворачивая под прямым углом, задняя стена уходит в глубину до пересечения с рядом двойных мраморных невысоких колонн, на которых лежит верхняя часть здания. За колоннами очень светлая, просторная прихожая; направо видны огромные входные двери. Там, где задняя стена уходит в глубину, прямо против зрителя, широкая мраморная лестница с массивною скульптурною балюстрадой; на высоте мраморных колонн лестница сворачивает вправо, где находятся другие помещения. В стене над колоннами несколько небольших окон с цветными стеклами, пронизанными каким-то ярким и сильным светом.

Идут последние спешные приготовления к маскараду. Все залито ярким светом многочисленных канделябров и светильников причудливой красивой формы; несколько человек богато, но однообразно одетых слуг перебе-

гают с места на место, то зажигая новые свечи, то отставляя вглубь тяжелые кресла и освобождая место для танцев. Минутами, точно вспомнив о чем-то не сделанном, некоторые из них устремляются наверх или же ко входным дверям; сдержанный, но деловитый голос управляющего, синьора П е т р у ч ч и о, усиливает их рвение и торопливость. Но все очень веселы: и сам синьор Петруччио и слуги, которые на ходу обмениваются шутками и короткими, быстрыми улыбками. Всех веселее, однако, сам юный Л о р е н ц о, владетельный герцог ди-Спадаро; стройный, изящный, немного томный, нежио-внимательный и ласковый со всеми, он легко передвигается по зале и весь горит восторгом предвкушения. Распоряжаясь и шутя, подгоняя слуг веселым окриком и шутливо-гневным жестом, он на ходу бросает счастливые улыбки красавице Ф р а н ч е с к е, своей молодой жене, и та отвечает взглядами, полными нежности и любви. Несколько человек д а м и г о с п о д, составляющих свиту герцога и его супруги, также не остаются без дела: одни, подобно юному герцогу, радостно и беспокойно готовятся к принятию гостей; другие, пользуясь веселой суматохой, обмениваются влюбленными взглядами, осторожными пожатиями рук, быстрым и дерзким шепотом в раскрасневшееся ухо. Где-то наверху готовятся к предстоящему балу м у з ы к а н т ы: доносятся отрывки музыкальных арий; вдруг кто-то начинает петь густым красивым баритоном, но песня почти тотчас же переходит в смех,— очевидно, весело и там. На ковре перед пылающим камином растянулась собака герцога, огромный сенбернар, и дремлет в сладкой истоме. Невысоко на лестнице сидит шут герцога, Э к к о, и, подражая господину, распоряжается, но все забавно путает.

П е т р у ч ч и о. Если ты будешь двигаться так быстро, Марио, то ты скоро станешь своим собственным дедушкою. Живей! Живей!

М а р и о. Помилуйте, синьор Петруччио, лучшая лошадь герцога не бегает так быстро, как я.

О д и н и з с л у г. Когда ее кусают мухи.

Д р у г о й с л у г а. Иль подгоняет бич.

П е т р у ч ч и о. Живей! Живей!

Л о р е н ц о. Сюда, сюда поставьте. Разве вы не видите, как темен этот угол? Ничего темного, синьор Петруччио, ничего темного!

Г о с п о д и н *(даме)*. Нас лишили последнего приюта,— но это не значит, что в другом месте я не поцелую вас.

Д а м а. В темноте меня очень трудно найти.

Г о с п о д и н. В темноте я шире расставлю руки и обниму всю ночь.

В т о р о й г о с п о д и н. У вас будет богатый улов, синьор Сильвио.

Э к к о *(кричит)*. Марио, Карло, Пиетро, скорее свечу к самому носу этого синьора: он умирает от страха в темноте.

Ф р а н ч е с к а *(герцогу, влюбленно)*. Мой дорогой, мой любимый, мой божественный. Мне так нравится ваш новый костюм. В нем вы как солнечный луч, когда он пронизывает

высокие окна нашего собора, и я молитвенно созерцаю вашу божественную красоту.

Лоренцо. Ты — нежный цветок, Франческа. Ты — нежный цветок, и солнце дерзко, когда целует тебя. *(Почтительно и нежно целует руку; и вдруг с поддельным ужасом говорит управляющему.)* А башня? Синьор Петруччио, а башня? Я прикажу посадить тебя на кол, как некрещеного турка, если ты забыл осветить ее.

Петруччио. Она освещена.

Лоренцо. Освещена! Как смеете вы так выражаться, синьор? Она должна гореть, сверкать, она должна подниматься к черному небу, как один огромный пламенный язык!

Экко. Ай-ай, Лоренцо, не показывай небу языка, иначе оно ответит тебе фигой.

Лоренцо. Не огорчай меня твоими шутками, дружок. Я жду светлого праздника, и моей душе болен твой колючий упрек. Ничего темного, Экко, ничего темного.

Экко. Тогда зажги волосы на голове твоей жены, они слишком черны, Лоренцо, слишком черны. И брось по факелу в ее глаза: они слишком темны, Лоренцо, слишком темны.

Франческа. Негодный шут! Здесь так много красивых дам — неужели никто не влюбит в себя этого негодного шута?

Первая дама. Он горбат.

Вторая дама. Прежде чем поцеловать, он проткнет меня носом, как шпагой.

Господин. О ваше сердце сломается всякая шпага, синьора.

Входит высокий, как жердь, крайне худощавый синьор, с обвисшими, как будто постоянно мокрыми усами. Похож на Дон Кихота. Мрачно обращается к герцогу:

Кристофоро. Я должен сообщить вам страшную весть, синьор.

Лоренцо. Что́ такое? Вы пугаете меня, синьор Кристофоро.

Кристофоро. Я имею основание думать, синьор, что у нас не хватит ни кипрского, ни фалернского. Эти господа *(длинным пальцем указывает на свиту)* пьют вино, как верблюды воду в пустыне.

Один из свиты. А отчего у вас, синьор Кристофоро, постоянно мокрые усы?

Кристофоро *(с достоинством)*. Я обязан пробовать все вина.

Лоренцо *(весело)*. Мой друг, вы преувеличиваете опасность: наши погреба неистощимы.

Кристофоро *(упрямо)*. Они пьют вино, как верблюды. Я радуюсь вашему прекрасному настроению, синьор, но вы слишком легко смотрите на вещи. Когда с вашим покойным батюшкою мы ходили на освобождение Гроба Господня...

Лоренцо *(с нежным упреком)*. Мой старый друг, неужели вы вашей милой воркотнею захотите испортить этот прекрасный вечер?

Кристофоро *(добродушно)*. Ну, ну, не сердись, мальчик! *(Грозно.)* Эй, Мануччи, Филиппо, за мной! *(Уходит.)*

Лоренцо. А дорога? Синьор Петруччио, вас накажет Господь. А дорога? Ты забыл осветить дорогу, и наши гости не найдут нас.

Петруччио. Она освещена, синьор.

Лоренцо. Освещена! Ваш язык как дрянная кляча, которая только машет хвостом, когда в бока ей вонзаются шпоры. Нужно, чтобы весь путь сверкал, горел огнями, как дорога в рай. Поймите меня, синьор управляющий: нужно, чтобы тени кипарисов в ужасе бежали в горы, где спят драконы. Разве у тебя не достаточно факелов и слуг, разве мало смоляных бочек у тебя?

Экко. Если у тебя, Петруччио, не хватает смолы, то займи ее в аду: ты в таких отношениях с Сатаною, что он поверит тебе на слово.

Один из слуг. Он и взял бы, но боится, что тогда не на чем будет погреться самому.

Второй слуга. Синьор Петруччио так зябок.

Петруччио. Живей, живей!

Франческа *(герцогу)*. Вы забываете меня, Лоренцо, вы освещаете все, а меня оставляете в темноте без вашей улыбки. Ужели вас так занимают маски?

Лоренцо. Они обещали так много интересного, что я умираю от нетерпения, дорогая. Там будут цветы и змеи, Франческа, там будут цветы и змеи меж цветов. Там будет дракон, Франческа, и вы увидите, как из пасти его пышет самый настоящий огонь. Это будет так весело. Но вы не бойтесь, все это только шутка, все это только наши друзья! И мы так славно посмеемся. Почему они не едут?

С л у г а *(вбегает).* Я смотрел с башни, там по дороге что-то движется, синьор! Как будто черная змея ползет меж кипарисов.

Л о р е н ц о *(радостно).* Они! Они!

В т о р о й с л у г а *(вбегает).* Я смотрел с башни: на нас ползет дракон. Я видел, как красным огнем горят его глаза; и я испугался, синьор.

Л о р е н ц о *(радостно).* Это они! Они! Петруччио, ты слышишь?

П е т р у ч ч и о. Все готово, синьор!

Т р е т и й с л у г а *(вбегает).* У подъемного моста крик и движение, синьор. Требуют, чтобы их впустили. Я слышал лязг оружия, синьор.

Л о р е н ц о *(гневно).* Разве мост не спущен? Так-то ты, Петруччио, встречаешь моих гостей. Завтра же я уволю тебя, если ты...

П е т р у ч ч и о. Простите, синьор. Я бегу. *(Убегает.)*

Л о р е н ц о. Они приехали. Улыбнитесь же, Франческа. Они приехали.

Шут громко смеется.

Э к к о. Ну и посмеемся же мы с тобою, Лоренцо. Нужно расправить челюсти. *(Зевает.)*

Л о р е н ц о. Боже мой, а музыканты? Почему я не вижу их — неужели этот негодяй забыл все мои распоряжения?

Ф р а н ч е с к а. Не огорчайтесь, мой дорогой. Музыканты готовы.

Л о р е н ц о. Но почему же их нет?

Ф р а н ч е с к а. Вот вы и заставили меня проболтаться, мой любимый. Вам готовят неожиданность: все музыканты также будут в масках.

Л о р е н ц о. И я не узнаю их? Как это мило. Это вы позаботились, синьора? Вы, вы, я это вижу по вашим лукавым смеющимся глазам. Но музыка? Они не забыли, конечно, разучить то, что я написал для них. Ах, этот толстый негодяй Петруччио, кончится тем, что я действительно прикажу посадить его на кол.

Э к к о. Как ты расточителен, Лоренцо. Ведь Петруччио украдет кол и убежит с ним.

Л о р е н ц о. Ах, да, пока они не пришли, Экко, мой дружок, ты можешь смеяться надо мною, я знаю твои шутки и люблю их,— но я прошу тебя, не обижай моих гостей. Не нужно быть злым, Экко, даже в смехе. У тебя нежное сердце, маленький горбун, и ты вовсе не зол — зачем же остротами бить людей по щекам. Смейся, по-

тешай других, говори дамам любезности — здесь ты можешь кое-чем рискнуть — но никого не огорчай. Сегодня мой день, Экко!

С л у г а *(распахивая двери)*. Они у дверей, синьор!

Л о р е н ц о. Иду! Иду! Зовите музыкантов.

В зале движение. Появляются несколько замаскированных; костюмы обыкновенные, как в маскарадах — арлекины, пьерро, сарацины, турки и турчанки, животные, цветы — но на всех лицах плотные, сплошные маски. Входят очень молчаливо и молчаливо поклоном отвечают на любезные приветствия герцога.

Л о р е н ц о *(кланяясь очень любезно и низко)*. Благодарю вас, синьоры. Я так счастлив приветствовать вас в моем замке. Простите за рассеянность моего управляющего, который забыл спустить мост и несколько задержал вас. Я так огорчен этим, синьоры.

М а с к а *(глухо)*. Мы все-таки прошли. Ведь мы прошли, синьоры?

В т о р а я м а с к а. Мы прошли.

Т р е т ь я м а с к а. Мы прошли.

Странный глухой смех из-под тяжелых масок.

Л о р е н ц о. Я очень счастлив, что вы в таком приятном настроении, синьоры. С этой минуты мой замок — ваш.

М а с к а. Да, он наш. Он наш.

Тот же странный глухой смех.

Л о р е н ц о *(весело приглядываясь)*. Но я никого не узнаю. Это поразительно, синьоры! Я никого не узнаю. Это не вы, синьор Базилио? Мне кажется, я узнаю ваш голос.

Г о л о с. Синьора Базилио здесь нет.

Д р у г о й г о л о с. Синьора Базилио здесь нет. Синьор Базилио умер.

Л о р е н ц о *(смеясь)*. Какая смешная шутка — синьор Базилио умер. Он так же жив, как и я.

М а с к а. А разве ты жив?

Л о р е н ц о *(нетерпеливо, но очень любезно)*. Оставим смерть в покое, господа.

Г о л о с. Проси ее, чтобы она оставила тебя в покое. Она в покое не нуждается.

Л о р е н ц о. Кто это говорит? Это вы, синьор Сандро? *(Смеется.)* Узнаю вас по вашей мрачности, синьор. Но будьте же веселее, мой мрачный друг: смотрите, сколько огней, сколько живых, прекрасных огней.

М а с к а. Синьора Сандро здесь нет. Он умер.

Тот же глухой и странный смех. Подходят новые маски.

Лоренцо. Так, так, я понимаю теперь *(смеется)*: все умерли, и синьор Базилио, и синьор Сандро, и наконец я сам. Это очаровательно, синьоры. Поздравляю вас с преинтересной шуткой. Но я все же бы хотел узнать, кто это? Ах, вот и еще! Приветствую вас, дорогие гости... Какая странная маска! Отчего вы вся в красном и что значит эта противная черная змея, что обвивает вас? Надеюсь, она не живая, синьора? Иначе мне было бы жаль ваше бедное сердце, в которое так яростно впилась она зубами.

Красная маска *(глухо смеясь)*. Ты не узнал меня, Лоренцо?

Лоренцо *(радостно)*. Ах, это вы, синьора Эмилия? Но нет, та синьора ниже вас ростом, и голос ее нежнее и громче, чем ваш.

Красная маска. Я твое сердце, Лоренцо.

Лоренцо. Какая очаровательная шутка! Я поистине счастлив, синьора, что пригласил вас сегодня. Вы так остроумны! Но только вы ошиблись, синьора, это не мое сердце. В моем сердце нет змей.

Новая маска. Не это ли твое сердце, Лоренцо?

Лоренцо *(отступая, сдержанно)*. Вы испугали меня, синьор! Вы так неожиданно и сзади подошли ко мне. Этот черный мохнатый паук, это отвратительное чудовище на зыбких, колеблющихся ногах, эти тупые, жадно свирепые глаза,— это мое сердце? О, нет, синьор. Мое сердце полно любви и привета. В моем сердце так же светло, как в этом замке, который так радушно встречает вас, мои странные гости.

Паук. Лоренцо, Лоренцо, пойдем ловить мух. Там на башне в паутине давно запуталось что-то и ждет тебя. Идем, Лоренцо. Разве тебе не хочется свежей крови?

Лоренцо *(смеясь)*. В моем замке нет паутины, и в башне нет темноты, которая необходима таким гадким созданиям, как ты, мой странный гость! Но кто ты?

Красная маска. Лоренцо, змея шевелится. Она хочет жалить меня, Лоренцо! Мне больно, мне страшно. Погладь ее по голове, герцог, у нее такая славная плоская головка,— и она ведь не живая! Приласкай ее, Лоренцо!

Глухой смех.

Лоренцо *(поддерживая шутку, осторожно гладит змею)*. Когда Дьявол искушает,— он принимает вид змеи,— но ведь ты же не Дьявол: ты только чучело, ты только чучело, конечно. *(Торопливо.)* Но не пора ли, синь-

оры, танцевать? Нас, вероятно, уже ждут с нетерпением музыканты. Петруччио!

Маска *(подходя)*. Что прикажет господин?

Лоренцо. Простите, но я вас не звал, синьор. Я звал моего управляющего... Петруччио.

Маска. Это я, Петруччио.

Лоренцо *(смеясь)*. Ах, вот что! Ах, ты, старый, толстый плут — ты также захотел играть? И я не узнал тебя? Нет, это очень, очень мило. Ну, пойди, скажи... Но где же ты? Петруччио! Петруччио! Положительно, я должен посадить на кол этого негодного толстяка. Эй, кто-нибудь: Мануччи! Пиетро!

Первая маска. Вы звали меня, синьор?

Вторая маска. Вы звали меня, синьор?

Лоренцо *(в недоумении)*. Нет, я вас не звал. *(Догадывается и смеется.)* Ах, вот что! Да как же вы смели, мои милейшие, вмешаться в толпу господ?

Первая маска. Нам приказали.

Вторая маска. Нам приказали.

Лоренцо *(дружелюбно ударяя маску по плечу)*. Я шучу, конечно: пусть все веселятся в эту прекрасную ночь. Но мне так странно, что я никого не узнаю. Решительно никого. Вот, кажется, я снова потерял моих слуг... Марио! Пиетро! Не правда ли, как странно, синьор: я потерял всех моих слуг.

Маска *(обращаясь к другим)*. Господа, Лоренцо потерял своих слуг.

Громкий смех. Иронические поклоны.

Голос. А где твоя свита, Лоренцо?

Лоренцо *(смеясь, оглядывается)*. Я вижу одни только маски. Вот интересно, синьоры: только у меня лицо, и лишь относительно меня нельзя ошибиться — кто я.

Снова смех.

Голос. Теперь мы — твои слуги, герцог. Приказывай!

Смех.

Лоренцо *(очень любезно, но с достоинством)*. Я очень счастлив, господа, что вы настроены так приятно. Я без ума от ваших очаровательных шуток, но я был бы очень огорчен, если бы вам действительно пришлось служить мне... Марио!

Подходят новые маски. Теперь вместо плотных масок на лицах большею частью грим; только женщины по-прежнему скрывают свои черты под цветным шелком. Загримированные лица вновь являющихся отвратитель-

ны и страшны. Есть мертвецы, есть калеки и уроды; мотается на длинных ногах что-то серое, беспомощное, часто кашляет и стонет. Весело подпрыгивая, ударяя в кастаньеты, гуськом вбегают семь горбатых, сморщенных Старух.

Лоренцо *(любезно кланяясь)*. Рад приветствовать вас в моем замке, дорогие гости. С этой минуты он весь в вашем распоряжении. Ах, какая очаровательная процессия: скажите мне, мои красавицы, где же ваш жених, Дьявол?

Старуха *(пробегая)*. Идет за нами.

Вторая старуха *(пробегая)*. Идет за нами.

Длинное Серое *(нагибаясь к герцогу и кашляя)*. Зачем ты поднял меня с постели, Лоренцо?

Лоренцо *(приветливо)*. А где же ваше ложе, синьор?

Длинное Серое. В твоем сердце, Лоренцо.

Лоренцо *(весело)*. Как здесь клевещут, однако, на мое бедное сердце... Я счастлив... *(Отшатываясь.)* Какой у вас удивительный грим, синьор! Я положительно принял вас за труп! Скажите мне имя гениального художника, что так искусно изменил ваши черты?

Маска. Смерть.

Лоренцо. Ах, это очаровательно! Но позвольте, дорогой синьор: в ваших измененных чертах я, несомненно, узнаю дорогие сердцу черты моего друга синьора Сандро ди-Града. Боже мой, как ты напугал меня, мой друг. Знаешь, эти маски, эти странные маски — я положительно не могу догадаться, кто они? Быть может, вы, синьор, поможете мне в этом?

Маска. Темно, Лоренцо.

Лоренцо. Но я приказал зажечь столько огней... Я прикажу еще. Петруччио! Петруччио!

Маска. Холодно, Лоренцо.

Лоренцо. Холодно? Но мне кажется, что здесь адская жара. Но, если вам холодно, пойдите к огню, мой дорогой синьор Сандро. Выпейте вина. Эй, Петруччио! Лентяй!

Одновременно подбегают несколько одинаковых масок и почти одновременно отвечают:

Маски. Я здесь, синьор.

Лоренцо *(не понимая)*. Петруччио!

Маски *(одновременно)*. Я здесь, синьор. Я здесь.

Лоренцо *(смеясь)*. Ах, вот что! То я потерял моих слуг, а теперь потерял управляющего. *(С комическим ужасом.)* Но кто же даст вина синьору Сандро, прозябшему в могиле? Простите, синьор... Ах, он уже ушел. Его тянет

к огню, беднягу. Ну, я сам бы выпил вина, я так устал. Синьор Кристофоро! Не видал ли кто-нибудь синьора Кристофоро?

Подходит высокая худая маска.

Маска. Что прикажете, синьор?

Лоренцо. Это ты, мой честный друг? Узнаю тебя по росту. Дай мне вина. Я несколько утомлен приемом.

Маска. С нашим вином что-то случилось, Лоренцо. Оно стало красно, как кровь Сатаны, и дурманит голову, как змеиный яд. Не пей вина, Лоренцо.

Лоренцо *(смеясь)*. Что может сделаться с нашим старым прекрасным вином? Ты слишком много пробовал, Кристофоро, и оттого в голове у тебя не ясно.

Маска *(упрямо)*. Я уже видел много пьяных, Лоренцо: отчего им быть пьяными, если вино честно?

Лоренцо. Давай, ворчун! Давай! *(Пьет — и после первых же глотков отбрасывает кубок.)* Что ты мне дал? Мне кажется, что адский огонь лизнул мое горло и проник до самого сердца. Кристофоро!.. Но где же он? Простите, синьоры, но с вином действительно что-то случилось непонятное. Ах, еще маски! Я так рад приветствовать вас в моем замке, дорогие гости.

Тем временем, пока утомленный Лоренцо, кланяясь все ниже, встречает новые странные маски,— в зале идет сдержанный шум и говор.

Первая маска. Вы откуда, синьор?

Вторая маска. Из ночи. А вы откуда изволили пожаловать, синьор?

Первая маска. Оттуда же, синьор: из ночи.

Смеются. Говорят две другие маски.

Первая маска. Он выпил всю мою кровь. На моем теле нет ни одного живого места: оно сплошь покрыто язвами и кровью.

Вторая маска. Он убивает тех, кого любит.

Первая маска. Вы знаете, конечно, чтó сегодня произойдет?

Отходят. Разговаривают новые маски.

— Напрасно Лоренцо осветил так свой замок. Вы заметили, когда проезжали, что в тени кипарисов шевелилось что-то?

— Я видел только тьму.

— А разве вы не боитесь тьмы?

— Мне кажется, синьор, что для нас ничего не может быть страшного. Что с нами может сделать тьма? А вам не жаль немного безумного Лоренцо?

— Не знаю. Уверяю вас, там что-то шевелилось.

— Смотрите, как весел Лоренцо! А ведь не правда ли, приятно иметь такого расторопного слугу?

Смеются. На хорах занимают свои места замаскированные музыканты. У ног гостей вертится шут Экко, стараясь заглянуть под маски и вызывая смех своими неудачными попытками.

Экко. Вы не из болота ли, синьор? Я вижу в вас поразительное сходство с лихорадкою, которая два месяца трепала меня, как собака зайца.

Длинное Серое равнодушно бьет Экко, и тот падает.

Экко. Что за странная игра, синьоры: я шут и почти плачу, а вы, над кем я должен смеяться, улыбаетесь... Ай, кто-то ущипнул меня! Это вы, синьора?

Красивая маска. Да, это я, Экко.

Экко. Я вижу, синьора, что горб на груди так же портит характер, как и горб на спине.

Молча и быстро Красивая маска ударяет шута кинжалом. Блестящее лезвие скользит по шее; и с визгом шут взбегает на лестницу и оттуда перебирается на один из каменных выступов. Хохот. Музыканты начинают играть что-то дикое, где одновременно звучит злой смех, крики отчаяния и боли, и тихо жалуется чья-то печаль. Так же странен и дик танец масок.

Лоренцо. Как я счастлив, синьоры, вашему веселью. Хотя я несколько утомлен... Но что́ это за музыка? Боже мой, что́ это за дикая музыка, терзающая слух? Луиджи, ты пьян или ты с ума сошел? Что ты играешь там с твоими переодетыми разбойниками? Простите, дорогие гости, но этот осел Петруччио все перепутал.

Маска с хор. Мы играем то, что нам дали, синьор.

Лоренцо *(вспыхивая)*. Ты лжешь, Луиджи: Лоренцо не мог сочинить такой адской какофонии. Я слышу здесь вопли мучеников, которых безжалостно терзают, я слышу хохот Сатаны.

Старухи *(пробегая с кастаньетами)*. Идет жених! Идет жених! Идет жених!

Лоренцо. Простите, очаровательные шутницы, но я должен сделать внушение этому наглому мошеннику Луиджи!

Маска с хор. Луиджи здесь нет, синьор.

Лоренцо. А кто же говорит? Это ты, Стампа?

М а с к а. Нет, другой. Мы играем только то, что вы дали нам, синьор.

Л о р е н ц о *(смеясь)*. Ах, вот чтó — замаскированные звуки. Как это мило, синьоры! Вы послушайте — сегодня даже звуки замаскированы. Правда, я и не знал, что звуки также могут одевать отвратительные маски. Но это так забавно!

Г о л о с. А ты этого еще не знал, Лоренцо? Как мало ты знаешь.

В т о р о й г о л о с. Так вот твоя музыка, герцог.

Т р е т и й г о л о с. А где ты сам, Лоренцо?

Смех. Музыка продолжается. Пробегают с кастаньетами С т а р у х и.

С т а р у х и. Идет жених! Идет жених! Идет жених!

Л о р е н ц о *(низко кланяясь)*. Простите, дорогой синьор, что я не приветствовал вас как подобает. Но здесь так много народу, и я никого не узнаю, решительно никого! Представьте себе: я даже не узнаю своей музыки — не правда ли, как смешно, мой дорогой синьор?

М а с к а. А себя ты узнаешь, Лоренцо?

Л о р е н ц о. Себя? *(Смеется.)* Конечно, конечно, ведь вы же видите, что я без маски. Но что это?

Мимо герцога медленно проходит странная процессия: молодую, красивую и гордую королеву ведет, обнимая, полупьяный конюх; впереди кормилица-крестьянка несет на руках маленького уродца, полуживотное, получеловека.

Л о р е н ц о *(возмущенно)*. Что это значит, синьоры? Даже под покровом масок такое соединение мне кажется отвратительным и неприличным. А что это несут впереди? — какая противная маска!

М а с к а. Это конюх спознался с королевой, и у них родился очаровательный сын. Дорогу королевскому сыну!

К о н ю х *(пьяный)*. Ну, вы, рыцари! Крестоносцы! Прочь с дороги! Прогони их, королева, а то они еще ушибут нашего драгоценного сына.

Смех; голоса: «Дорогу королевскому сыну!»

Л о р е н ц о *(возмущенно отворачиваясь)*. Мне не особенно нравится эта игра, синьоры... Эй, Экко, негодный шут — ты почему забрался так высоко? Отчего ты не радуешь господ твоими милыми остротами?

Э к к о *(плача)*. Я боюсь твоих гостей, Лоренцо. Они мне сделали больно. Прогони их, Лоренцо.

Л о р е н ц о *(вспыхивая)*. Кто смел обидеть тебя? Этого не может быть. Мои почтенные гости так добры и любезны,

что никому не станут делать зла. Вероятно, ты сам, негодный шутник, оскорбил кого-нибудь злой шуткою и теперь прячешься от наказания.

Экко *(плача)*. Хороши твои гости, Лоренцо: мой горб плавает в крови, как горный остров в море. Нет ли у тебя костюмчика, Лоренцо? Я тоже хочу переодеться.

Лоренцо. Пойди сюда.

Шут, опасливо озираясь, спускается к Лоренцо.

Экко. Ну что? Говори поскорее, а то я убегу. Мне страшно.

Лоренцо *(тихо)*. Мне также немного страшно, дружок. Я не совсем понимаю, что это делается. Кто они? — Я никого не узнаю. И их, кажется, больше, чем я звал. Это так странно. Не узнал ли ты кого-нибудь, Экко? Правда, их лица скрыты, но ты так хорошо запоминаешь походку, голос и фигуру — может быть, ты узнал кого-нибудь?

Экко. Никого. Пусти меня, Лоренцо.

Лоренцо *(грустно)*. Ты меня оставляешь, дружок?

Экко. Я надену костюмчик.

Лоренцо. Ну, иди, если ты так боишься, маленький горбун. Но позови ко мне тогда донну Франческу. Ты не знаешь, где она?

Экко. Она наверху. Прогони их, Лоренцо. А я бегу. *(Уходит вверх по лестнице.)*

Лоренцо *(обращаясь к новой, очень красивой маске)*. Приветствую вас, синьора! Вы очаровательны, как мечта. Вы нежны, как серебристый луч луны,— я почтительно преклоняю перед вами колена. *(Становится на одно колено и почтительно целует руку. Встает.)* Я вижу только ваш гибкий стан и маленькую ножку, но позвольте, божественная, мне быть нескромным и заглянуть в ваши глаза... Как светятся они! Даже сквозь отверстия этой черной и злой маски я вижу, как они прекрасны. Кто вы, синьора?.. Я вас не знаю.

Маска. Я твоя ложь, Лоренцо.

Лоренцо *(смеясь)*. Разве может быть ложь так прекрасна, как вы, дорогая синьора? И вы ошибаетесь: во мне нет лжи, синьора. Если бы вы знали мысли Лоренцо, его чистые и светлые мечты, его душу, поющую в небесах, как весенний жаворонок над разлившимся Арно... *(Испуганно.)* Ай, кто это?

Подползает Нечто многорукое, многоногое, лишенное образа и формы. И говорит многими голосами.

Нечто. Мы твои мысли, Лоренцо.

Лоренцо. Какая дерзкая шутка, синьоры. Но вы мои гости, я пригласил вас...

Нечто. Мы твои хозяева, Лоренцо. Этот замок наш.

Лоренцо *(хватаясь за голову)*. Ах, эта ужасная музыка! Она способна свести с ума! Луиджи, или кто там, я никого не знаю, я прошу, я приказываю наконец,— играйте то, что я вам дал. Снимите маски с звуков. Вы помните, как прекрасно то, что я написал? Оно немного грустно, это правда, синьоры, я нередко поддаюсь томной и нежной грусти, но в нем так много гармонии, лучезарной и чистой. Ты, может быть, забыл, Луиджи, так слушай же, я тебе напомню. *(Начинает петь что-то красивое, но после первых же двух тактов повторяет то, что играют музыканты. Испуганно обрывает.)* Как смешно! Вы сбили меня, господа музыканты. У меня немного кружится голова: действительно, с вином что-то случилось. Как смешно, синьоры: вместо мозгов у меня точно расплавленный свинец!

Громкий хохот.

Голос. Что же ты замолк, Лоренцо?

Второй голос. Лоренцо пьян. Лоренцо, герцог ди-Спадаро, пьян.

Хохот.

Второй голос. Мы приготовились тебя слушать, Лоренцо. Мы знаем, какой ты великий артист, Лоренцо.

Третий голос. Мы требуем, Лоренцо. Пой!

Лоренцо *(с достоинством)*. Синьоры... *(Испуганно.)* Ай, кто это трогает меня за плечо? Все уже пришли, синьора, и вы лишняя, и я не знаю вас.

Красивая маска. Это я, мой любимый.

Лоренцо. Простите меня, синьора, но так меня может называть только моя жена, донна Франческа.

Маска *(с тихим смехом)*. Ты не узнаёшь меня, Лоренцо?

Лоренцо. Мне что-то напоминает в вас мою жену, прекрасная маска. Но это черное покрывало... Позвольте мне заглянуть в ваши глаза: из тысячи тысяч женщин я узна́ю мою возлюбленную по ее глазам... *(Смотрит и радостно смеется.)* Франческа, моя любовь, как ты напугала меня. Зачем ты в маске? Ты знаешь... *(Отводит ее в сторону и, обнимая крепко, говорит почти шепотом.)* Дорогая моя, я так устал, и моему сердцу так больно, как будто его жалит змея. Мои мысли путаются.

Вы видели здесь страшное чудовище, вон там, оно сейчас в углу — говорит, что оно мои мысли. Но ведь это неправда, Франческа, моя дорогая, моя возлюбленная?

Маска. Это только маска, Лоренцо.

Лоренцо *(недоверчиво)*. Да, вы так думаете, синьора? И они уедут, и мы останемся одни?.. Скажите.

Маска. И мы останемся одни. *(Страстно.)* Я так крепко обниму тебя, Лоренцо: тебе покажется, что еще никогда я не обнимала тебя.

Лоренцо *(рассеянно)*. Да? Я очень счастлив, мадонна... Но эти маски, но этот ужасный синьор Сандро, так искусно загримированный трупом, что любой могильщик вдастся в обман. Мне показалось, что я вижу червей,— даже в шутку не надел бы я такой страшной, такой отвратительной маски.

Маска *(с испугом)*. Синьор Сандро? Ведь он же действительно умер. Ты ошибся, мой милый!

Лоренцо *(медленно)*. Зачем вы смеетесь надо мной, Франческа? Если бы он умер, я получил бы извещение о его смерти.

Маска. Но ты получил его, Лоренцо. Ты забыл. И ты устал. У тебя такие холодные руки. На нас смотрят,— но я не могу удержаться и целую твою руку, возлюбленный... *(Целует руку.)*

Сзади подходит новая красивая маска и говорит громко.

Новая маска. Лоренцо, ты звал меня?

Лоренцо *(с ужасом)*. Голос Франчески!

Новая маска. Экко сказал, что ты зовешь меня.

Лоренцо. Экко? *(Медленно отстраняя от себя маску, которую обнимал, и с ужасом глядя на нее.)* Но кто же вы, синьора?.. Как же вы осмелились обмануть меня? Ведь я оказал вам честь и обнял вас! *(Отталкивая тихо.)* Отойдите от меня прочь!

Первая маска *(заламывая руки)*. Лоренцо, что с тобой? Ты прогоняешь меня? Что с тобою, Лоренцо?

Вторая маска *(нетерпеливо)*. Вы звали меня, Лоренцо? Кто эта синьора, что смеет так нежно обращаться с вами?

Лоренцо. Франческа! Франческа! *(Смотрит в недоумении то на ту, то на другую женщину, подходит ко второй и, сдвинув брови, с выражением страшного вопроса вглядывается в ее глаза.)* Глаза! Глаза! Покажи мне твои глаза. Да, это ты, Франческа. Это твой мягкий и нежный взор, это

твоя прекрасная душа. Дай мне твою руку. *(К первой маске, с презрением.)* А вы, синьора, отойдите прочь!

Вторая маска *(прижимаясь к герцогу)*. Лоренцо, меня пугают твои маски: весь наш замок населился какими-то чудовищами. Я видела синьора Сандро, он ужасен.

Лоренцо *(хватаясь за голову)*. Синьора Сандро? Но ведь он же умер, ты сама сказала мне об этом.

Сзади подходит третья, такая же красивая маска. Говорит громко.

Третья маска. Лоренцо, мой милый, вы звали меня? Шут Экко сказал, что вы зовете меня. Кто эта синьора с вами? И что это за неприличная близость, Лоренцо?

Лоренцо *(отступая со смехом, в котором звучит безумие)*. Какая прекрасная шутка, синьора, какая восхитительная шутка! Теперь я потерял жену. Посмейтесь, дорогие гости: у меня была жена, ее звали донна Франческа, и я потерял ее. Какая странная шутка!

Три женские маски *(одновременно)*. Лоренцо! Мой любимый!

Лоренцо *(со смехом)*. Вы слышите, синьоры?

Общий неудержимый смех.

Голоса. Лоренцо потерял жену. Плачьте, синьоры. Лоренцо потерял жену. Дайте новую жену Лоренцо.

С разных концов доносятся плачущие женские голоса: «Я здесь, Лоренцо. Я здесь, Лоренцо. Возьми твою Франческу». Откуда-то отдельный, полный испуга голос: «Спаси меня, Лоренцо. Я здесь». Хохот. Семь старух, с видом стыдливых и смущенных невест выражают желание броситься на шею Лоренцо.

Голос. Будем венчать Лоренцо. Синьоры, герцог Лоренцо вступает в новый брак. Свадебный марш, музыканты!

Музыканты играют что-то дикое, отдаленно напоминающее свадебную музыку, но музыку, которую исполняют в аду на маскарадной свадьбе Сатаны. К Лоренцо приближается Красная маска со змеей.

Красная маска. Теперь ты узнаёшь свое сердце, Лоренцо? *(Жалобно.)* Приласкай змейку, приласкай змейку — она выпила всю мою кровь.

Паук. Теперь ты узнаёшь свое сердце, Лоренцо? Поползем на башню, приятель, там в паутине запуталось что-то и ждет тебя. Но остра ли твоя шпага, Лоренцо? Но остра ли твоя шпага, Лоренцо?

Лоренцо. Прочь! Прочь, исчадия тьмы! Я не знаю вас. *(Взбегает на несколько ступеней вверх по лестнице и, одиноко возвышаясь над толпою масок, хочет что-то крик-*

нуть. Но вдруг хватается за сердце и с печальною улыбкой, по-прежнему трогательный, доверчивый и благородный и красивый, обращается вниз.) Простите меня за невольную горячность, мои дорогие гости, но ваши милые шутки, ваша удачная игра несколько взволновали меня. И я потерял жену. Ее звали донна Франческа. Позвольте же теперь,— уже близится час расставания,— позвольте же теперь вернуть вас к действительности музыкой. Не той отвратительной какофонией, которой измучил ваш слух этот переодетый разбойник Луиджи, желая внести и свою лепту в общее веселье,— но музыкою моею. Я плохой сочинитель, синьоры, небесные мелодии редко балуют мой человеческий слух, но вы не осудите меня строго. В чистоте и невинности звуков вы найдете тихую отраду и отражение чьей-то неземной мечты... И я потерял жену, синьоры. Я потерял жену. Ее звали донна Франческа.

Маски. Мы ждем вашей музыки, Лоренцо. Всем в мире известна очаровательная музыка герцога Лоренцо. Но час расставания еще не близок!

Лоренцо. К вашим услугам, дорогие гости. *(Совещается с музыкантами.)*

Незадолго пред этим в зале появилась первая из Черных масок, уродливое и странное существо, похожее на ожившую частицу мрака. Недоверчиво и пугливо озираясь, дивясь новому, незнакомому и чуждому, Черная маска виновато крадется у стены и неловко прячется за спины. Но все, к кому приближается она, отступают назад, полные недоумения и тревоги.

Голос. Кто это? Это не маска.

Второй голос. Я не знаю. Кто пригласил вас, синьор?

Черная маска не отвечает и, съежившись, тихонько прячется за других. Разговаривают две другие маски.

Первая маска *(к другой, тихо)*. Сколько нас было?

Вторая маска. Нас было сто.

Первая маска. Но теперь нас больше. Кто это? Вы не знаете?

Вторая маска. Не знаю. Но боюсь сказать: кажется, они летят на свет.

Первая маска. Безумный Лоренцо слишком ярко осветил свой замок.

Вторая маска. Огонь среди ночи опасен.

Первая маска. Для тех, кто блуждает?

Вторая маска. Для того, кто зажег.

Лоренцо. Прошу вашего внимания, синьоры. Вот этот замаскированный синьор — его зовут Ромуальдо, и он прекрасный певец — исполнит сейчас перед вами маленькую песенку, которую я имел дерзость сочинить. Ромуальдо, ноты у тебя?

Замаскированный. Здесь, синьор.

Лоренцо. И слова? Ты чаще поглядывай в ноты, в одном месте ты часто ошибаешься, мой друг.

Замаскированный. И слова здесь, синьор.

Лоренцо. Луиджи, разбойник, если ты мне ошибешься хоть в одной ноте, я завтра же велю тебя вздернуть на стене моего замка.

Маска с хор. Вам не придется на меня тратить веревку, синьор.

Лоренцо. Внимание, господа. Внимание. *(Взволнованно.)* Ну, Ромуальдо, постарайся, мой друг, не осрами меня, и я завтра же подарю тебе драгоценный пояс.

Красивыми, нежными, безоблачно-ясными, как глаза ребенка, мягкими аккордами начинается аккомпанемент. Но с каждою последующею фразой, которую поет замаскированный, музыка становится отрывистее, беспокойнее, переходит в крики и хохот, в трагическую бессвязность чувств. Заканчивается она торжественным и мрачным гимном.

Замаскированный *(поет)*. «Моя душа — заколдованный за́мок.— Светит ли солнце в высокие окна — из лучей золотых он ткет золотистые сны.— Глядит ли печально луна в туманные окна — в серебристых лучах серебристые сны. Кто смеется? Кто смеется так нежно над печальною лютней?»

Лоренцо. Так, так, Ромуальдо.

Замаскированный *(поет)*. «И осветил я мой замок огнями.— Что случилось с моею душою? Черные тени побежали к горам — и вернулись чернее.— Кто рыдает? — Кто стонет так тяжко в черной тени кипарисов? Кто пришел на мой зов?»

Лоренцо *(в недоумении)*. Там этого нет, Ромуальдо. И что это за музыка?

Замаскированный *(поет)*. «И страхи вошли в мой сияющий замок. Что случилось с моею душою? — Гаснут огни под дыханием мрака.— Кто смеется? Кто смеется так страшно над безумным Лоренцо? Пожалей меня, о властитель! — страшно душе моей, о властитель, о владыка мира — Сатана».

Маски *(со смехом)*. Сжалься над ним, Сатана.

Лоренцо. Ты лжешь, певец. Я, Лоренцо, герцог ди-Спадаро, рыцарь Святого Духа, никогда не мог назвать

владыкой мира — Сатану. Дай сюда ноты. Я моей шпагой научу тебя читать! *(Выхватывает ноты и с ужасом читает.)* «И страшно моей душе, о владыка мира — Сатана». Это ложь. Кто-то подделал мой почерк, синьоры. Я этого не писал никогда. Клянусь всемогущим небом, синьоры,— клянусь святой памятью матери моей,— клянусь моим рыцарским словом: здесь таится какой-то гнусный обман. Слова подменили, синьоры.

Маски. Нам не нужно твоих клятв, Лоренцо. Иди каяться в церковь. А здесь повелеваем мы. Продолжай, певец.

Лоренцо *(слабо улыбаясь)*. Простите, синьоры: я позабыл, что сегодня мне все изменяет — и лица, и звуки, и наконец слова. Но кто бы мог подумать, мои дорогие гости, что слова также могут одевать отвратительные маски. Продолжай твою шутку, певец!

Замаскированный *(поет)*. «В черной глубине моего сердца я воздвигну тебе престол, о Сатана.— В черной глубине моей мысли я воздвигну тебе престол, о Сатана.— Божественный — бессмертный — всесильный — отныне и навсегда стань над душою Лоренцо, счастливого, безумного Лоренцо».

Аплодисменты. Хохот.

Голоса. Браво, Лоренцо! Браво! Браво!

— Лоренцо — вассал Сатаны!

— Преклоним колена, Лоренцо!

— Лоренцо, герцог ди-Спадаро — вассал Сатаны!

— Браво! Браво!

Лоренцо *(кричит)*. Во имя Божие, синьоры! Нас всех обманули. Это не мой певец, это не Ромуальдо, это кто-то неведомый — его послал сюда Сатана. Что-то страшное случилось, синьоры!

Голос. Он пел твою песню, Лоренцо.

Второй голос. Твоими устами он исповедовал Сатану, герцог ди-Спадаро.

Лоренцо *(прижимая руки к груди)*. Это ужасная неправда, синьоры. Вы только подумайте, мои дорогие гости, как мог я, герцог Лоренцо, рыцарь Святого Духа, сын крестоносца...

Голос. А тебе мать сказала, чей ты сын, герцог Лоренцо?

Хохот. Простирая руки, Лоренцо хочет что-то сказать, но слов его не слышно. И, схватившись за голову руками, он быстро бежит вверх по лестнице. Крики: «Дорогу королевскому сыну!» Появляются еще две Черных маски.

Голос. Кто это? Нас было меньше.

Испуганный голос. Идут незваные. Идут незваные.

Третий голос. Они летят на огонь. Снимите маску, синьор. *(Пытается сорвать черную маску с лица неизвестного и в испуге отскакивает. Кричит:)* На нем нет маски, синьоры!

Смятение. Все одевается тьмою, но дикая музыка все еще звучит, удаляясь.

Занавес

ВТОРАЯ КАРТИНА

Откуда-то издали доносятся звуки музыки; сливаясь с завываниями и свистом ветра, бушующего вокруг башни, они наполняют воздух дикой дрожащей мелодией.

Старинная библиотека в зáмковой башне; низкая, массивная дубовая дверь приоткрыта, и видны ступени вниз и еще куда-то дальше, наверх. Сводчатые тяжелые потолки, маленькие окна в глубоких каменных нишах, кое-где на стенах и под потолком паутина. Всюду старые, большие книги: на полу, в тяжелых, окованных железом сундуках, на маленьких деревянных пюпитрах. Часть стен, углубленных в виде ниш, также представляют собою книгохранилище, местами закрытое тяжелыми завесами.

У одного из раскрытых сундуков, полного пожелтевших бумаг, на низенькой скамеечке сидит Лоренцо; возле него на подставке стоит кованный из железа фонарь, бросающий то яркие полосы света, то черные тени от поперечин. Некоторое время длится молчание: слышна только отдаленная музыка да шорох переворачиваемых Лоренцо листов. Одет Лоренцо так же, как и на балу.

Лоренцо *(поднимая голову)*. Какой ужасный ветер сегодня! Уже третью ночь бушует он и становится все сильнее и так страшно походит на музыку моих мыслей. Мои бедные мысли! Как испуганно бьются они в этом тесном костяном ящике. Давно ли Лоренцо был юношей, и вот прошло немного времени, и вот только два раза обернулось солнце вокруг земли, а он уже старик, и под бременем страшных испытаний, ужасной правды о делах человеческих и Божьих, горбится его молодая спина. Бедный Лоренцо! Бедный Лоренцо! *(Читает.)*

Лоренцо *(отрываясь на мгновение)*. Если все правда в этих пожелтевших листках, то кто же властитель мира: Бог или Сатана? И кто же я, тот, что называл себя Лоренцо,

герцогом Спадары? Ужасна правда дел человеческих. Полна печали моя юная душа.

Читает. Затем откладывает бережно листки и говорит:

Лоренцо. Так это правда! Так это правда, мать моя! Я считал тебя святою, мать моя, и клялся твоею памятью, и так же тверда была моя клятва, как если бы клялся я на моем рыцарском мече. И ты, моя святая мать — ты была любовницей конюха, пьяницы и вора. И мой благородный отец, вернувшись из Палестины, чтобы умереть в родном гнезде, узнал об этом и простил тебя — и страшную тайну унес в могилу. Чей же я сын, о моя святая мать: сын рыцаря, всю кровь свою отдавшего Господу, или же сын грязного конюха, отвратительного обманщика и вора, обокравшего господина во время его молитвы? Бедный Лоренцо! Бедный Лоренцо!

Задумывается. По лестнице слышны быстрые шаги, и в комнату, схватившись за голову, в той самой позе, в какой он покинул залу, вбегает Лоренцо. Отнимает руки от лица, видит сидящего Лоренцо и испуганно кричит:

Лоренцо Вошедший. Кто это?

Лоренцо Бывший *(поднимаясь в испуге)*. Кто это?

Лоренцо Вошедший бросается на Лоренцо Бывшего и роняет на землю фонарь; комната слабо озарена только тем светом, который падает из открытой двери. Короткая и глухая борьба, и два тела разъединяются.

Лоренцо Вошедший. Ваша шутка слишком дерзка, синьор. Снимите маску! Я приказываю вам, или я заставлю снять ее. Я отдал вам мой замок, но я не отдавал себя, и, надев мою личину, вы оскорбляете меня. Есть только один Лоренцо, только один герцог Спадары — это я. Долой маску, синьор! *(Наступает.)*

Лоренцо Бывший *(дрожащим голосом)*. Если ты только страшный призрак, то заклинаю тебя во имя Божие — исчезни. Лоренцо только один. Герцог Спадары только один — это я!

Лоренцо Вошедший *(бешено)*. Долой маску, синьор! Я слишком долго поддавался вашей неприличной шутке, и мое терпение истощилось. Долой маску, синьор, или обнажайте шпагу — герцог Лоренцо сумеет наказать вас за дерзость!

Лоренцо Бывший. Во имя Божие!

Лоренцо Вошедший. Во имя Дьявола, хочешь ты сказать, несчастный. Шпагу, синьор! Шпагу! Иначе я на месте заколю вас, как провинившуюся собаку.

Лоренцо Бывший. Во имя Божие!

Лоренцо Вошедший *(в неистовстве)*. Шпагу, синьор! Шпагу!

В полумраке слышен свист и лязг встречающихся шпаг; оба Лоренцо яростно нападают друг на друга, но Лоренцо Бывший, видимо, слабеет. Короткие, глухие восклицания:

— Во имя Божие!
— Долой маску!
— Ты убил меня, Лоренцо! *(Падает и умирает.)*

Лоренцо становится ногой на труп и, вытирая шпагу, говорит неожиданно грустно и мягко:

Лоренцо. Мне жаль вас, синьор-самозванец: по вашей руке, по вашему сильному дыханию я вижу, что вы были молоды, как и я. Но ваше несчастье в том, мой бедный синьор, что герцог Лоренцо устал смеяться над милыми шутками своих гостей. Жалкою жертвою маскарадной шутки бесславно погиб ты, юноша, но все же мне жаль тебя, и если бы я знал, где живет твоя мать, я отнес бы ей твое последнее дыхание. Прощайте, синьор.

Уходит. Некоторое время стоит тишина, затем все окутывается мраком, и звуки дикой музыки становятся громче и ближе.

Занавес

ТРЕТЬЯ КАРТИНА

Бал продолжается.

Как будто прибавилось масок — стало теснее и беспокойнее. Похоже и на то, как будто на гостей начало действовать странное, загадочно изменившееся вино. Музыка играет несколько утомленно, но все так же дико: печальная и красивая мелодия, точно случайно попавшая в этот хаос буйных и диких криков, немедля разрывается ими, разносится по ветру, как сорванный пожелтевший лист, и, крутясь, умирает. Часть масок продолжает танцевать, но большинство в непонятном беспокойстве движется взад и вперед, собираясь на мгновение в группы, обмениваясь короткими взволнованными замечаниями. Совсем одиноко бродят среди толпы Черные маски: лохматые и черные снизу до самой головы, похожие не то на орангутангов, не то на те чудовищные, мохнатые насекомые, что ночью прилетают на огонь,— они виновато, с видом конфузливым и несколько растерянным пробираются у стен и прячутся по углам. Но любопытство превозмогает: крадучись осторожно, они рассматривают вещи, близко поднося к глазам, трогают лохматыми черными пальцами белые мраморные колонны, берут в руки драгоценные кубки и как-то беспомощно роняют их. Другие маски, прежде явившиеся, видимо, боятся их.

Голоса. Где Лоренцо?

— Где Лоренцо? Необходимо найти Лоренцо. Разве никто не видал, где герцог? Ему необходимо сказать, иначе будет поздно.

— Они летят на свет.

— Видимо, они здесь в первый раз: смотрите, как они оглядывают все, с каким любопытством трогают они вещи. Кто их звал?

— Их не звали. Они пришли сами по освещенной дороге.

— Но, может быть, это наши?

— Нет, нет,— это чужие.

— Все это сделал огонь в башне. Какой ужас!

— Безумный Лоренцо! Безумный Лоренцо! Безумный Лоренцо!

— Нужно, чтобы спустили мост. Тогда они не смогут пройти.

— Зовите Лоренцо!

Черная маска с любопытством трогает за рукав одну из прежних масок; та в испуге отскакивает.

Прежняя маска. Что вам угодно, синьор? Я вас не знаю — кто вы? Кто пригласил вас сюда?

Черная маска. Я не знаю, кто я. Кто-то зажег на башне свет, и мы пришли сюда. У нас очень темно. И очень холодно у нас. А кто вы? Я тоже вас не знаю. *(Хочет обнять маску, та отскакивает.)*

Прежняя маска. Прочь руки, синьор, иначе я обрублю вам пальцы.

Пошатываясь, Черная маска подходит к огню камина, садится на корточки и греется. К ней присоединяются другие такие же, черным кольцом окружая слабеющий огонь.

Первая Черная маска. Холодно. Холодно.

Вторая Черная маска. Холодно.

Третья Черная маска. Это называется огонь? Какой красивый огонь. Чей это дом? Почему мы раньше не пришли сюда?

Первая Черная маска. Потому что нас не было тогда. Нас родил огонь.

Вторая Черная маска. А отчего огонь гаснет? Я так люблю его, а он гаснет. Отчего огонь гаснет?

Маска. Герцог Лоренцо предатель. Он изменяет нам. Он сказал, что замок наш,— зачем же он позвал этих сюда?

Вторая маска. Он их не звал. Они пришли сами. Но этот замок наш, и мы прикажем спустить мост. Эй, слуги, слуги синьора Лоренцо! Сюда!

Никто не подходит.

Третья маска. Слуги разбежались. Зовите Лоренцо! Зовите Лоренцо!

Старухи *(пробегая с кастаньетами)*. Жених идет. Жених идет. Жених идет.

Голоса. Лоренцо! Лоренцо! Лоренцо!

На лестнице показывается улыбающийся Лоренцо. Платье его разорвано. На обнаженной груди большое кроваво-красное пятно, но он не замечает этого и держится все с тем же достоинством и строгим изяществом владетельного принца.

Лоренцо. Великодушно простите меня, синьоры, что я осмелился покинуть вас на минуту. Вы подумайте, дорогие мои гости, какая смешная и забавная шутка: я сейчас видел одного очень остроумного синьора, который надел на себя маску герцога Лоренцо. Вы бы удивились, до того было поразительно сходство,— искусный шутник украл не только мой костюм, но мой голос, мое лицо, синьоры. Не правда ли, как смешно? *(Смеется.)*

Маска. Ты в крови, Лоренцо.

Лоренцо *(оглядывая себя, равнодушно)*. Это не моя кровь. Кажется *(задумчиво потирает лоб)*, кажется, я убил того шутника. Вы не слыхали падения тела, синьоры?

Маска. Герцог Лоренцо — убийца! Кого ты убил, Лоренцо?

Лоренцо. Простите, синьоры, но я, право, не знаю, кого я убил. Он лежит там. И если вам угодно, вы можете взглянуть на него: он лежит там. Но что же не играет музыка? И отчего вы не танцуете, мои дорогие гости?

Маска. Музыка играет, Лоренцо.

Лоренцо. Да? А мне показалось, что это ветер, что это просто сильный ветер. Танцуйте же, господа, я так счастлив вашему беззаботному веселью. Петруччио! Кристофоро! Еще вина дорогим гостям. *(Грустно.)* Ах, да *(смеется)*, я ведь потерял их, и Петруччио, и Кристофоро, и донну Франческу. Так звали жену мою — донна Франческа. Не правда ли, какое очаровательное имя? Донна Франческа...

Число Черных масок увеличивается. Одна из них всходит по ступеням и обращается к герцогу.

Черная маска. Это ты зажег огонь?

Лоренцо. Кто вы, синьор? У вас такой странный и грубый голос, и, мне кажется, я не звал вас. Как вы сюда вошли?

Черная маска. Это ты зажег огонь?

Лоренцо. Да, мой очаровательный незнакомец, это я приказал осветить мой замок; не правда ли, как далеко он светится огнями?

Черная маска. Ты разбудил всю ночь. Там все зашевелилось. Ночь идет сюда. Ничего, что мы пришли к тебе? Это тебя зовут Лоренцо? Это твой дом? Это твой огонь? *(Хочет обнять Лоренцо, тот с силою отталкивает ее.)*

Маски *(снизу)*. Остерегайся его, Лоренцо. Лоренцо, твой замок в опасности. Пришли незваные. Прикажи спустить мост и наглухо закрыть все двери.

Голос. Мост уже спущен. Но они лезут через стены.

Другой голос. Весь мрак ночи превратился в живые существа, и отовсюду они идут сюда. Запирайте двери.

Маска *(снизу)*. Лоренцо, ты звал нас, и мы твои гости! Ты должен нас защитить! Созови вооруженных слуг и убей их. Иначе они убьют тебя и нас.

Третий голос. Смотрите: с каждым из них гаснет по огню, они пожирают огонь, они тушат огонь своим черным телом.

Первый голос. Кто они? Они любят огонь — и тушат его. Они летят на огонь, и огонь гаснет. Кто они?

Лоренцо. Какая очаровательная шутка, синьоры,—вы так остроумны. Но мне кажется, что огни действительно гаснут, и что здесь странно холодеет. Но потрудится ли кто-нибудь из вас, синьоры, позвать моих слуг, и они дадут нового огня? Я право, не знаю, где они.

Запертые двери сразу распахиваются, точно под сильным напором, и впускают целую толпу Черных масок; и так же сразу и значительно слабеет свет. С тем же застенчивым, но назойливым любопытством Черные маски лезут всюду и целою черною кучею приваливаются к камину, окончательно гася слабо тлеющий огонь.

Черные маски. Холодно. Холодно. Холодно.

Голоса. Зажигайте огни! Огни гаснут! Кто открыл двери? Несите факелы! Факелы!

В поднявшейся суматохе некоторые пытаются закрыть двери, но отступают перед натиском все прибывающих Черных масок; другие так же безуспешно пытаются зажечь погасшие светильники, и те загораются, но тотчас же гаснут вновь. Появляются две-три маски с пылающими факелами, и их красный колеблющийся свет наполняет залу фантастическою пляскою теней.

Лоренцо *(любуясь происходящим)*. Как это очаровательно, синьоры. Мне еще никогда не доводилось видеть такой интересной борьбы между тьмою и светом. Тысячу

благодарностей тому из вас, синьоры, кто придумал это! Я до гроба его верный слуга.

Голоса. Факелы гаснут! Несите факелы!

Маска. Необходимо погасить на башне огонь. Этот безумный Лоренцо погубит всех нас.

Вторая маска. Туда уже пошли.

Паук *(давно уже подбирающийся к Черной маске, спрашивает ее)*. Вы от Сатаны?

Черная маска. Кто такой Сатана?

Паук *(недоверчиво)*. Ты не знаешь Сатаны? Кто же вас прислал сюда?

Черная маска. Я не знаю. Мы сами пришли.

Хочет обнять Паука; тот в испуге на зыблющихся ногах отбегает.

Лоренцо. Луиджи, разбойник, что же замолк ты с твоими артистами? Я прошу тебя, сыграй нам вот эту песенку — ты помнишь? Простите, синьоры, у меня очень слабый голос, но я должен напомнить этому забывчивому артисту... Слушай, Луиджи.

Напевает трогательную простую песенку, которою матери укачивают детей. И странно: тихими и нежными аккордами музыка отзывается на песенку. Все затихает. В нелепых и безобразных позах, разинув рты, с наивным любопытством прислушиваются Черные маски. Только в двери, которые изо всех сил, упираясь плечами, держат прежние маски, что-то стучит, скребется и ноет тихими плаксивыми голосами. Закрыв глаза, слегка покачиваясь, Лоренцо тихо поет. Вдруг сзади него по лестнице раздается топот многочисленных ног, явственно слышимый в тишине. Мимо Лоренцо, толкая его, сбегает несколько прежних масок.

Лоренцо *(с тихим упреком)*. Вы мне помешали петь, синьоры.

Одна из пробежавших масок *(задыхаясь)*. Убийство! Убийство! В башне совершилось убийство!

Голоса. Кто убит?

Первая маска. Господа! Убит сам Лоренцо, герцог Спадары, владелец этого замка.

Вторая маска. Мы видели его труп. Несчастный герцог лежит в библиотеке, пронзенный ударом — в спину. Тот, кто сразил его, не только убийца, но и предатель!

Лоренцо. Это ложь, синьоры! Я бил его в сердце! Я сразил его в честном бою! Он яростно защищался, но Господь Бог укрепил мою руку, и я сразил его.

Голоса. К мщению, синьоры! К оружию! К оружию! Изменнически убит герцог Спадары.

Первая маска *(указывая на Лоренцо)*. А вот — его убийца. Долой маску, синьор!

Лоренцо. Маску? *(С достоинством.)* Действительно, синьоры, я убил кого-то на башне, какого-то наглого шутника. Но то не был герцог Лоренцо. Герцог Лоренцо — я.

Крики. Долой маску, убийца!

Тем временем наплыв Черных масок продолжается, и продолжают гаснуть огни. Появляются еще несколько факелов взамен угасших. Дальнейшие речи Лоренцо и масок перебиваются частыми криками: «Несите факелы. Огни гаснут».

Лоренцо. Почему вы думаете, что на мне маска, синьоры? *(Ощупывая лицо.)* Это обыкновенное лицо, это мое лицо, уверяю вас, синьоры.

Голоса. Долой маску, убийца!

Лоренцо *(вспыхивая)*. Прошу вас прекратить эту неприличную шутку. Клянусь честью, что это лицо, данное мне Господом Богом при рождении моем, а не одна из тех отвратительных масок, какие я вижу на вас, синьоры! Маска не может улыбаться, как улыбаюсь я в ответ на ваши дерзкие шутки! *(Хочет улыбнуться, но только конвульсивно передергивает ртом; на одно мгновение, оскалив зубы, дает подобие страшной, смеющейся маски,— но тотчас же лицо становится неподвижным, бледнеет и стынет.)*

Лоренцо *(в ужасе)*. Что это? Что сделалось с моим лицом? Оно не слушается меня. Оно не хочет улыбнуться,— оно стынет. *(Жалобно.)* Я, вероятно, с ума схожу, синьоры! Поглядите на меня, ведь это же не маска, это же лицо, живое человеческое лицо.

Хохот, крики.

— Долой маску, убийца! Смотрите! Смотрите! Лоренцо каменеет.

Лоренцо *(с каменным лицом)*. Все погибло, синьоры. Я хотел улыбнуться — и не мог. Я хотел заплакать, и не мог я заплакать, синьоры. На мне каменная маска. *(В бешенстве хватает себя за лицо, пытаясь содрать его.)* Я сдеру тебя, проклятая маска, с мясом и кровью я сорву тебя! Помогите мне, донна Франческа! Во имя нашей любви, я умоляю вас, помогите мне! Только немного подрезать кинжалом, и она свалится сейчас, и вы увидите вашего Лоренцо. Неси свой освященный меч, Кристофоро! Спасай твоего господина. Отступился от него Господь. Одно мгновение, синьоры, одно мгновение... Я сейчас, я сейчас...

Дико кричит и падает. Одновременно с этим раздается треск разломанных рам, окна распахиваются, и в них лезут те же Черные маски. В зале почти темно. Только два факела бросают свой дрожащий свет, но скоро один из них гаснет. В темноте отчаянное, полное страха движение, неудачные попытки к бегству и крики. Несколько Черных масок взбираются на хоры к музыкантам, хватают трубы и дико трубят.

Голос. Слышите? Они трубят. Они сзывают своих.

Второй голос. Это их музыка.

Третий голос. Спасайтесь. Они лезут в окна.

Первый голос. Башня полна ими. Они льются оттуда, как черный поток. Несите факелы.

Четвертый голос. Факелов больше нет. Это последний.

Многочисленные голоса. Спасайтесь, спасайтесь!

Третий голос. Все выходы заняты ими.

Женский голос. Он обнимает меня. Я задыхаюсь. Я сейчас умру. Спасите меня! Здесь столько рыцарей,— неужели никто не защитит меня?

Голос. К оружию!

Третий голос. Мечи бессильны против них.

Четвертый голос. Спасенья нет. Мы погибли. Безумный Лоренцо! Он погубил всех нас.

Черные маски *(расползаясь)*. Холодно. Холодно. Где же свет? Где же огонь? Нас обманули.

Голос *(в бешестве и отчаянии)*. Вы же сами пожрали его, порождения тьмы!

Черные маски. Холодно. Холодно. Где же свет? Где же огонь?

Льнут к последнему факелу, который в высоко поднятой руке, спасая, держит одна из масок, и факел гаснет. Тьма.

Голоса. Безумный Лоренцо! Безумный Лоренцо! Безумный Лоренцо!

Занавес

ВТОРОЕ ДЕЙСТВИЕ

ЧЕТВЕРТАЯ КАРТИНА

Уголок капеллы в рыцарском замке.

Все затянуто черной материей в знак траура; только высокие, цветные, сильно запыленные окна дают слабый, мягко окрашенный свет. На черном возвышении черный массивный гроб с останками Лоренцо, герцога ди-Спадаро; вокруг гроба, по углам, четыре огромных восковых свечи. На возвышении, у изголовья, опершись рукою на гроб, в текучем блеске восковых свечей, весь одетый в черное, стоит герцог Лоренцо.

С замкового двора доносится временами визг и лай охотничьих собак; время от времени заунывное и протяжное завывание труб разносит окрест печальную весть о смерти герцога Спадары. В минуты молчания из-за боковых стеклянных врат, ведущих в другую половину капеллы, слышен голос священника и торжественные звуки органа: там идет непрерывная месса.

Лоренцо *(лежащему в гробе)*. Уже вся окрестность оповещена о вашей смерти, герцог Лоренцо, и в слезах призывает мщение на голову убийцы. Лежите спокойно, синьор! Сейчас придут поклониться вашему праху все некогда любившие вас: придут поселяне и ваши слуги и ваша безутешная вдова, донна Франческа. Но, умоляю вас, синьор Лоренцо, лежите спокойно. Уже однажды я имел честь нанести удар в ваше сердце, вполне достаточный для смерти, но если теперь вы пошевельнетесь, вздумаете что-нибудь сказать или крикнуть, я совсем вырежу ваше сердце из груди и брошу вашим охотничьим собакам. Во имя нашей былой приязни, умоляю вас, Лоренцо,— лежите спокойно. *(С нежной заботливостью оправляет покров и целует мертвеца в лоб.)*

В этот момент в углу капеллы, в складках черной материи, слышится тяжкий вздох и жалобный звон бубенчиков.

Лоренцо. Кто здесь? Ах, это ты, мой маленький Экко: спрятался в углу и тихо позванивает бубенчиками. Кто впустил тебя сюда?

Экко. Зачем ты умер, Лоренцо? Глупенький Лоренцо. Зачем ты умер?

Лоренцо. Так нужно, Экко.

Экко. Ведь и я с тобою умру, Лоренцо. Твои слуги так злы, твои собаки кусаются так больно, герцог. Весь день я прятался на башне; все ждал, когда откроются сюда двери. Не гони меня, Лоренцо.

Лоренцо. Останься, шут.

Экко. Какой у тебя длинный и белый нос, Лоренцо. Как неудобно тебе с таким носом, ведь его необходимо держать кверху. Я бы засмеялся, если бы не было так страшно.

Лоренцо. Это смерть, Экко. Спрячься,— сюда идут.

Экко прячется. Входят несколько человек поселян и низко кланяются гробу, не смея подойти ближе.

Лоренцо *(торжественно)*. Герцог Лоренцо, откройте ваше сердце и вернитесь на мгновение к жизни: к вам пришли проститься ваши добрые поселяне. Подойдите ближе, друзья мои: герцог Лоренцо при жизни был добрым господином для вас, не обидит он вас и после своей смерти. Подойдите ближе.

Поселяне подходят ближе, но все еще, видимо, боятся.

Первый крестьянин. Прости тебя Господь, герцог Лоренцо, как я прощаю тебя. Не раз с твоими охотниками ты топтал мои посевы, а то, что оставляли нетронутым подковы твоих коней, то добирал твой управляющий, лишая хлеба меня и мою семью. Но все же ты был добрым господином, и я прошу Господа, да простит Он тебе грехи твои.

Лоренцо *(лежащему в гробе)*. Спокойствие, синьор, спокойствие. Я понимаю, что вы не можете без волнения слышать эту горькую правду о ваших дурных поступках, но не забудьте, что вы мертвы. Лежите спокойно, синьор, лежите спокойно.

Крестьянка. Прости тебя Господь, герцог Лоренцо, как я прощаю тебя. Ты отнял у меня мою маленькую дочь для твоей герцогской забавы, и моя дочь погибла. Но ты был молод и красив, ты был добрым господином для нас, и я умоляю Господа Бога, да простит Он тебе грехи твои. *(Плачет.)*

Лоренцо *(лежащему в гробе)*. Спокойствие, синьор, спокойствие. Вы любили, я помню, васильки среди спелой ржи,— не напоминает ли это вам чьих-то синих глаз, чьих-то золотистых кос?

Второй крестьянин. Ты еще только собирался идти освобождать Гроб Господен, герцог Лоренцо, а на твоей службе уже забили на смерть моего сына. Плохую услугу оказал ты Господу, герцог,— и нет тебе прощения ни на земле, ни на небе.

Лоренцо *(стискивая зубы)*. Вы слышали, герцог? *(К поселянам.)* Возвращайтесь с миром в ваши жилища, друзья мои,— герцог Лоренцо слышал вас и покорно отнесет каждое ваше слово к престолу Всевышнего.

Поселяне уходят.

Лоренцо *(лежащему)*. Лоренцо, безумный Лоренцо, что ты сделал со мною?

Входит синьор Кристофоро, слегка пьяный, становится, покачиваясь, на одно колено и некоторое время молчит. Шут Экко, наполовину вылезший было из-за своего прикрытия, прячется снова.

Лоренцо. Вас слушают, синьор Кристофоро.

Кристофоро *(пошатываясь)*. Герцог ди-Спадаро! Лоренцо! Мальчик! Как мне без тебя скучно. Прости меня, мой бедный мальчик. Когда с твоим благородным отцом вернулись мы из Палестины, и родился ты, такой малень-

кий и красненький, я дал клятву твоему отцу, что всегда буду оберегать тебя. И я оберегал твои вина, но, прости меня, Лоренцо, они пьют, как верблюды. А сегодня я раскрыл все погреба, выбил днища у бочек, разрезал мехи и сказал: пейте, верблюды, ослы, проклятые губки, я надеваю мой меч и иду искать того, кто убил моего мальчика, моего милого Лоренцо. *(Вытирает глаза кулаком и, шатаясь, встает.)*

Лоренцо *(с достоинством)*. Герцог благодарит тебя, Кристофоро. Ты пьян, мой старый друг, но при твоих словах разошлись края раны, и две алые капельки выступили из глубины его сердца. Это твои, Кристофоро. Ступай!

Кристофоро уходит. Позвякивая бубенчиками, вылезает шут Экко.

Экко. А мне ты ничего не даешь, Лоренцо? Хоть одну только капельку крови из твоего сердца — мне надоело быть злым и горбатым.

Лоренцо. Я дам тебе больше, Экко: пойди и поцелуй меня.

Экко. Я боюсь.

Лоренцо. Он любил тебя, маленький трус.

Экко. Если бы ты был живой, Лоренцо, я бы с удовольствием поцеловал тебя, но я боюсь покойников. Зачем ты умер, Лоренцо? Это так нехорошо. *(Садится на полу, подложив под себя ноги и приготовляясь, очевидно, к продолжительной и интересной беседе.)* Видишь ли, Лоренцо, нам нужно уйти отсюда. Ты думаешь, что я шут, и не веришь мне, но однажды, случилось, ты играл со мною и коснулся меня мечом: и теперь я такой же рыцарь, как и ты, Лоренцо. Так вот послушай меня: перестань быть мертвым, возьми меч, и мы вдвоем пойдем с тобою, как два рыцаря.

Лоренцо *(улыбаясь)*. Куда, мой смелый рыцарь?

Экко. А к Господу Богу, Лоренцо. *(Оживляясь.)* Тебя Он знает, Лоренцо, а про меня ты скажешь, что я твой брат — маленький уродец. И когда Он освятит наши мечи... Ай-ай, Лоренцо, идут твои грубияны. Я боюсь, я спрячусь. *(Прячется.)*

Толкаясь, вваливается толпа сильно пьяных, буйно настроенных слуг; некоторые из них входят в шляпах.

Лоренцо *(гневно)*. Шляпы долой, негодяи!.. Лежите спокойно, синьор, лежите.

Пиетро. А он уж вонять начинает. Кто хочет идти целовать руку,— а я не пойду.

Марио. Я предпочел бы поцеловать донну Франческу: изо всех дам, которых я видел, она мне нравится больше всех. Это, видите ли, синьоры, наследственная привычка: мой дядя целовал мать герцога Лоренцо, а мне вот хочется поцеловать его жену.

Смех.

Лоренцо. Умоляю вас, синьор, лежите спокойно. Я вижу, как черная кровь бурлит в вашей ране, но то чужая кровь, Лоренцо.

Мануччи. Ты, Пиетро, украл у меня золотую шпору, и я завтра сдеру с тебя кожу.

Пиетро. А я обрублю тебе нос.

Лоренцо. Прочь отсюда, негодяи! Прочь!

Наполовину обнажает шпагу. Слуги испуганно озираются.

Пиетро. Это ты крикнул, Марио?

Марио. Молчи. Мне послышался голос покойного герцога, старого Энрико. Идем отсюда.

Мануччи. Вот ты увидишь, как я сдеру с тебя кожу.

Марио. Идем. Идем.

Уходят.

Лоренцо *(к лежащему, с презрением)*. И это ваши слуги, синьор. Те, на кого вы оставляли ваш замок, ваши сокровища и вашу жену, прекрасную донну Франческу. Не ссылайтесь на измену и на предательство, несчастный герцог, не оскорбляйте моего слуха жалкими отговорками, не порочьте вашего честного гроба. *(В сильном волнении.)* Но спокойствие, Лоренцо, спокойствие. Я слышу, сюда идет донна Франческа, я узнаю ее поступь, и я умоляю вас, синьор: во имя Божие, лежите спокойно! Силы, соберите силы, синьор!

Молчание; становятся слышнее печальные звуки Реквиема за стеною. Приложив руку к сердцу, весь вытянувшись вперед, Лоренцо ожидает. Входит донна Франческа в пышном трауре, одна. Преклоняет колена. Молчание. Во время дальнейшего шут Экко немного высовывается из-за черной завесы и горестно плачет, тихонько позвякивая бубенчиками.

Лоренцо *(не выдерживая)*. Я люблю тебя, Франческа.

Франческа *(тихо)*. Я люблю тебя, Лоренцо.

Лоренцо *(печально)*. Но ведь я умер, Франческа.

Франческа. Ты всегда будешь жив для меня, Лоренцо.

Лоренцо *(печально)*. Вы измените мне, донна Франческа.

Франческа. Я никогда не изменю тебе, Лоренцо.

Лоренцо *(печально)*. Но вы молоды, донна Франческа.

Франческа. В одну ночь состарилось мое сердце, Лоренцо!

Лоренцо *(печально)*. Ваше лицо так прекрасно, донна Франческа! *(С тихим укором.)* Горькие слезы не могли омрачить черного блеска ваших глаз, о донна Франческа! Горькие слезы не смыли нежных роз с ваших щек, о донна Франческа! Черный траур не скрыл красоты и гибкости вашего стана, о донна Франческа, о донна Франческа!

Франческа. Погас свет в очах моих, Лоренцо. Увяло лицо мое, как лист под жестоким дыханием сирокко, и к земле пригибает мой стан невыносимая и горькая печаль.

Лоренцо. Ты лжешь, Франческа!

Франческа. Клянусь, Лоренцо!

Лоренцо *(дрожащим голосом)*. Лежите, синьор, лежите. Я вижу, как вздымается ваша грудь, Лоренцо, я вижу, как при безжалостных словах любви трепещет ваше истерзанное сердце, и мне жаль вас, Лоренцо. Уйдите, донна Франческа. Оставьте меня с моим погибшим другом. Вашей красивою печалью вы терзаете наши сердца, и я умоляю во имя Божие, покиньте нас.

Донна Франческа плачет.

Лоренцо *(терзаясь)*. О донна Франческа! О любовь моя, о моя светлая юность! *(Тихо плачет, закрывая лицо руками.)* Поди, поцелуй его, Франческа. Я не буду смотреть.

С рыданием Франческа целует мертвеца.

Лоренцо *(закрывая лицо руками)*. Крепче целуйте, донна Франческа, больше никогда вы не увидите его. Крепче целуйте! В мою руку вложил меч Господь Бог, и смертью покарал я безумного Лоренцо,— но все же он был рыцарь. Рыцарь Святого Духа был он, Франческа. А теперь — оставьте нас.

Экко испуганно прячется. Со слезами донна Франческа спускается с возвышения, еще раз преклоняет колена и уходит. Молчание. Последние скорбные звуки заупокойной песни.

Лоренцо *(к лежащему в гробе)*. Благодарю вас, синьор, что вы исполнили мою просьбу и лежали спокойно. Я видел, как трудно вам было, и еще раз благодарю тебя, Лоренцо. Теперь мы одни — и навсегда. Идем же, Лоренцо, в безвестную даль.

Мгновенно гаснет свет.

Занавес

ПЯТАЯ КАРТИНА

Та же зала, что в первой картине первого действия. Вечереет; за полуоткрытым окном видны вершины гор, горящие в последних лучах заката. Пылает камин. Горит уже несколько огней, но двое слуг, лазая по стенам, продолжают зажигать еще. Тихо.

Пиетро. Зачем нам велели зажигать столько огней? Разве сегодня ждут кого-нибудь? — я что-то не слыхал.

Марио. Молчи, Пиетро. Ты говоришь так глупо, как будто ничего не знаешь.

Пиетро *(грубо)*. А откуда мне знать? Когда надо — меня зовут, а чуть что-нибудь не так — кричат: убирайся.

Марио. Все знают. Сегодня приходил горожанин из Спадары, так и тот знает. Один ты ничего не слыхал.

Пиетро. И слышать не хочу. Ты мне только скажи — зачем столько огней?

Марио. Затем, что так приказал герцог Лоренцо.

Пиетро. А зачем он так приказал?

Марио. Затем, что сегодня герцог Лоренцо ждет гостей.

Пиетро. Ну вот, я же говорил, что будут гости. Так бы ты и сказал сначала.

Марио *(со вздохом)*. Ты глуп, Пиетро. Никаких гостей сегодня не будет. Это только Лоренцо ждет их.

Пиетро. Как же он может ждать, если их не будет?

Марио. Ему кажется, что они будут. Понимаешь, глупец, ему кажется. Вероятно, и тебе что-нибудь кажется, когда ты бываешь пьян. Отчего ты вчера кричал во сне пьяный?

Пиетро. Мне показалось, что синьор Кристофоро бьет меня хлыстом.

Марио. Ну, вот видишь.

Пиетро. Так разве же герцог Лоренцо пьян?

Смеется. Входит управляющий Петруччио.

Петруччио. Живей, лентяи! Живей! Ты что зеваешь там, Пиетро?

Марио. Дорогой синьор Петруччио, вы такой умный человек, что вас слушает сам синьор Кристофоро. Объясните вы этому дураку, что случилось с нашим герцогом.

Петруччио. Не ваше дело, любезнейшие.

Пиетро. Вот и объяснили. Кто же из нас дурак, Марио, ты или я?

Петруччио *(оглядывая потолок)*. Вы оба. Герцог просто не совсем здоров. У него лихорадка.

Пиетро. А зачем же столько огней?

Петруччио. Затем, что — убирайся вон! *(Низко кланяется вошедшему синьору Кристофоро.)*

Петруччио. Добрый вечер, синьор.

Кристофоро. Ах, Петруччио, Петруччио, когда же ты похудеешь хоть настолько, чтобы в тебе помещалось не так много вина?

Петруччио. Тогда я буду похож на длинную проточную трубу, синьор, сквозь которую все протекает и ничего не остается.

Кристофоро *(грозит пальцем)*. Но, но, синьор управляющий! *(Вздыхает.)* Пейте, сколько хотите, Петруччио,— теперь не для кого беречь вино. Бедный Лоренцо! Бедный Лоренцо! Думал ли я, когда мы вернулись с отцом его из Палестины, что гордую семью герцогов Спадары ждет такая ужасная судьба. Кто он теперь?? Где витает его бессмертный дух? Я сегодня смотрел в глаза ему так пристально, что мог пробуравить бочку, а он улыбнулся мне и сказал так нежно, что заплакал бы даже некрещеный турок: «Кто вы? Я не знаю вас. Снимите маску, синьор!»

Петруччио. Да, да. Удивительно, синьор Кристофоро!

Кристофоро. Мальчик, говорю я ему, герцог Лоренцо, ты подумай: если бы это была маска, так стал бы я носить такую ужасную рожу? *(Вытирает слезы.)* Мальчик, говорю я, герцог Лоренцо, ты попробуй своим пальцем вот этот рубец, полученный мною при защите Гроба Господня. Разве на масках бывают такие рубцы?

Марио. Ну, ну? Святой Боже!

Кристофоро. Попробовал синьор Лоренцо и говорит: какая у вас плохая маска, синьор, она, вероятно, сшита из двух кусков?.. Бедный Лоренцо! Бедный Лоренцо!

Показывается шут Экко и забирается в угол, сжавшись комочком. Тяжко вздыхает.

Петруччио. Вот и Экко загрустил, синьор Кристофоро. Плохо в доме, когда даже шут начинает вздыхать, как озябшая собака. Без смеху нельзя жить человеку, синьор Кристофоро, и когда умирает смех, то умирает и человек. Засмейся, Экко, хоть не говори ничего, а только засмейся, ты порадуешь мою душу.

Экко *(тяжко вздыхает)*. Не могу, синьор Петруччио.

Кристофоро. А разве тебе не смешно, Экко, что у меня такие усы?

Экко *(тяжко вздыхает)*. Смешно, синьор Кристофоро.

Кристофоро. Отчего же ты не смеешься?

Экко. Не могу, синьор Кристофоро.

Петруччио. Вот видите, умер смех. Бедный герцог Лоренцо!

Кристофоро. Да, бедный Лоренцо!

Все огни зажжены, и слуги уходят.

Петруччио. Марио, пойди и доложи донне Франческе, что огни зажжены и все готово... к приему гостей.

Кристофоро. Каких еще гостей? Какие теперь еще могут быть гости, синьор управляющий,— вы подумайте.

Петруччио *(машет рукой)*. А ты, Пиетро, пойди и прикажи спустить мост.

Кристофоро. Это зачем?

Петруччио. Так приказал герцог.

Кристофоро. Лоренцо? Зачем же ты слушаешься его?

Петруччио. Если бы вы, синьор Кристофоро, слышали его голос, видели его повелительное движение рукой, то и вы послушались бы его.

Кристофоро. Я? Никогда!

Экко. Послушались бы, синьор Кристофоро. Чем я был, маленький и злой горбун, найденный во рву замка? Он захотел, и я стал его смехом, синьоры. А чем я стану? Вам не догадаться об этом, синьоры. Но я стану тем, чем приказал мне быть господин мой Лоренцо.

Петруччио. Его слезами?

Экко *(вздыхая)*. Нет.

Кристофоро. Ужасом?

Экко *(вздыхая)*. Нет. Огнем! Я был его слезами, не знаю, был ли я его ужасом, синьор Кристофоро, но теперь я стану — огнем! Он сказал мне, как и вам: «Кто вы,

синьор? Я вас не знаю. Снимите маску». И я заплакал, синьоры, и ответил: хорошо, Лоренцо, я снимаю маску, если ты приказываешь это.

Кристофоро. Нет, ты был лучше, Экко, когда смеялся.

Входит синьора Франческа со свитою дам и господ. Молчаливо и грустно разбредаются они по зале, смущаясь ее пустынностью и ярким светом.

Господин *(тихо)*. Мне кажется, что уже целую вечность не целовал я вас, Элеонора.

Элеонора. И еще целую вечность не поцелуете, синьор.

Господин. Как жестоко ваше сердце, богиня: ему мало одной вечности, а нужно целых две.

Донна Франческа. Я прошу вас, синьоры, оказать мне большую милость. Вы знаете, вероятно, что мой супруг, что герцог Лоренцо не совсем здоров: он ждет тех гостей, которых мы не звали, и будет думать, вероятно, что вы, мои дорогие синьоры,— его гости. И прошу вас, не выражайте ни удивления, ни страха,— герцогу Лоренцо несколько изменяет память, и он забывает даже дорогие ему лица,— но с мягкой осторожностью выводите его из заблуждения. Рассчитываю на ваш ум и доброту, синьоры. Доложите герцогу Лоренцо *(закрывая лицо руками)*, что гости съезжаются.

Экко *(вздыхая)*. Я был его смехом, я был его слезами — чем я стану теперь? *(Встает, чтобы уходить.)*

Кристофоро. Куда ты идешь, Экко?

Экко. Куда меня посылает воля господина.

Франческа. Синьор Петруччио, надеюсь, вы не забыли музыкантов? Достаточно ли хорошо разучили они, что̀ написал для них герцог Лоренцо?

Петруччио. Музыканты ждут только вашего приказания, мадонна.

Голоса. Тише! Тише! Герцог Лоренцо! Герцог Лоренцо!

На ярко освещенной лестнице показывается герцог Лоренцо. На нем тот же костюм, что и на балу, и так же разорвана сорочка, обнажая грудь с кровавым пятном против сердца. Лицо его очень бледно. Останавливается и, окидывая светлым взором сверкающую огнями залу, кланяется приветливо и любезно.

Лоренцо. Счастлив приветствовать вас, мои дорогие гости. С этой минуты мой замок в вашем распоряжении, и я только ваш слуга. Петруччио, освещена ли дорога?

Петруччио. Освещена, синьор.

Лоренцо. Не забудь, мой друг, что вся ночь смотрит на нас. И мы покажем ей, синьоры, что значит яркий и живой огонь! *(Спускается вниз.)*

Лоренцо. Какие очаровательные маски! Я так счастлив, синьоры, что вы почтили меня вашим посещением, и я безмерно восхищаюсь вашим неистощимым остроумием. Кто вы, синьор? Я не узнаю вас. Снимите маску, если хотите, чтобы я дружески приветствовал вас.

Кристофоро *(почти плача)*. Да это я же, Лоренцо. Я — Кристофоро! Разве ты не узнал меня?

Лоренцо *(с трогательной убедительностью)*. Как же я могу узнать вас, мой дорогой синьор, если на вас такая страшная маска? Я знал одного синьора Кристофоро, он был моим другом с колыбели, и я любил его,— но вас я не знаю. Снимите маску, дорогой синьор, я умоляю вас.

Кристофоро *(плача)*. Тогда вели ты меня лучше отдать собакам, а я больше не могу.

Франческа. Синьор Кристофоро!

Лоренцо. Что с этим синьором? Отчего так странно меняется его маска? Мне очень жаль, синьор, я был бы бесконечно счастлив, если бы мог узнать, кто вы. Но я не могу, простите меня, синьор. А кто этот толстый и смешной синьор с красным носом? Какая смешная маска!

Петруччио. Я только что имел честь, синьор... Я — Петруччио, управляющий.

Лоренцо. Вы хотите сказать, что на вас маска Петруччио?

Петруччио. Да,— маска Петруччио.

Лоренцо *(смеясь)*. Напрасно, мой дорогой синьор; вы выбрали очень скверную маску; мой управляющий — большой плут и мошенник, и красный нос у него не от молитв.

Кристофоро. Мальчик ты мой!

Лоренцо. Ах, да. Не видал ли кто-нибудь из вас, синьоры, красной маски, вокруг которой обвилась змея и жалит ее в грудь? Вот в это место. Говорят *(смеется)*, говорят *(смеется)*, что это мое сердце, синьоры. Какая смешная шутка, как будто не ведомо всем в мире, что у Лоренцо, герцога Спадары, нет в сердце змей!

Один из господ *(неосторожно)*. Вы накололись на что-то, герцог Лоренцо, у вас на сорочке кровь.

Лоренцо *(охотно)*. Ах, это? Это очень странная история, синьор, история, похожая на сказку. Я был на башне, когда кто-то неизвестный, скрывши лицо свое под очень страшною маской, погасил свет и напал на меня в темноте;

и этот удар он нанес мне в спину: как видите, синьоры, кинжал вошел под левою лопаткою и вышел здесь, на груди. Хоть и предательский, но ловкий удар. Мое сердце пробито насквозь.

Франческа *(стараясь отвлечь внимание Лоренцо от раны, которую, раскрывая, он показывает охотно)*. Лоренцо!

Лоренцо. Смотрите, синьоры, какой мастерский удар!

Франческа. Посмотрите на меня, Лоренцо. Отчего вы не улыбнетесь мне: я так тоскую без вашей улыбки, мне кажется, что навсегда зашло солнце.

Лоренцо. Как вы очаровательны, синьора. Я вижу только ваш гибкий стан и маленькую ножку, но позвольте мне быть нескромным, божественная, и заглянуть в ваши глаза... Как светятся они! Даже сквозь отверстия этой черной и злой маски я вижу, как они прекрасны. Кто вы, синьора, я вас не знаю.

Франческа. Святый Боже! Неужели ты не узнаешь меня, Лоренцо?

Лоренцо *(с тою же трогательною убедительностью)*. Снимите маску, синьора, я умоляю вас. Мне странным кажется ваш вопрос: снимите маску, дорогая синьора, тогда я охотно и дружески приветствую вас. По росту вы мне кажетесь похожею на синьору Эмилию, но нет *(качает головою)*, синьора Эмилия не так стройна. Кто вы?

Франческа *(плача)*. Я твоя жена, Лоренцо, донна Франческа — мой любимый, ты помнишь это имя: Франческа?

Лоренцо *(нахмурив брови)*. Франческа? Вы сказали — Франческа? Да. Так звали мою жену. Но я потерял жену — разве вам не говорили об этом, синьора? Донны Франчески нет.

Франческа. Вспомни, как ты любил меня, Лоренцо, взгляни в мои глаза; ты говорил, что из тысячи женщин ты узнаешь меня только по глазам моим. Вслушайся в мой голос, Лоренцо... но ты не видишь меня?

Лоренцо *(с нежным укором)*. Ваш голос так нежен и добр, синьора, в нем я слышу речь девственного сердца — зачем же так больно вы шутите надо мною? Это жестоко, моя дорогая синьора. Не нужно издеваться над Лоренцо и поворачивать кинжал в его груди. Я потерял жену, синьоры,— ее звали донна Франческа, и я потерял ее.

Франческа. Ты не веришь мне, любимый. Но дай мне прикоснуться устами к твоей кровавой ране, и в нежном поцелуе ты узнаешь свою милую Франческу. *(Припадает к ране.)*

Л о р е н ц о *(с выражением крайнего ужаса и страдания отталкивая ее)*. Что вы делаете, синьора? Вы пьете мою кровь! Умоляю вас, пощадите меня: вы впились в сердце и пьете мою кровь. Мне больно. Оставьте меня.

Донна Франческа плачет. Отступив от нее с видом боли и крайнего испуга, Лоренцо старается закрыть рану, но пальцы его дрожат.

Л о р е н ц о *(закрывая рану и пытаясь улыбнуться)*. Какая горькая шутка, синьоры! Вы видели, как к моему сердцу присосался вампир?

К р и с т о ф о р о *(гневно)*. Ты с ума сошел, Лоренцо! Это твоя жена.

Г о с п о д и н. Вас оскорбляют, донна Франческа.

Ф р а н ч е с к а *(переставая плакать, гневно)*. Это вы оскорбляете его, синьор! Лоренцо, герцог Спадары, не может оскорбить женщины, даже когда он безумен.

Л о р е н ц о *(к Петруччио, тихо)*. Что случилось, синьор? Что взволновало так эту очаровательную маску?

П е т р у ч ч и о. Я не знаю.

Ф р а н ч е с к а. Зовите музыкантов, Петруччио.

Л о р е н ц о *(радостно)*. Да, да, зовите музыкантов.

Ф р а н ч е с к а *(нежно)*. Прошу вас быть внимательным, мой дорогой Лоренцо. Сейчас синьор Ромуальдо споет перед вами ту прелестную песенку, что посвятили вы мне в светлые дни нашей любви.

Л о р е н ц о. Вы снова шутите, синьора. Я не любил вас никогда.

Ф р а н ч е с к а *(терзаясь)*. Не слушайте его, синьоры. Прошу вас занять место, герцог, и, если позволите, я сяду возле вас. Синьор Ромуальдо, покажите герцогу то, что в дни его светлой любви начертала его собственная рука. Вы узнаете свой почерк, мой дорогой Лоренцо?

Л о р е н ц о *(любезно)*. Покажите, синьор. Да, это мой почерк,— какая очаровательная шутка. *(Взглядывает на Франческу.)* Но здесь написано: «Моей сестре, моей невесте, очаровательной донне Франческе». *(Подозрительно.)* Как попал в ваши руки этот листок, синьора?

Ф р а н ч е с к а *(торопливо)*. Прошу вас начинать, синьор Ромуальдо. Мы слушаем вас.

Звучит тихая и красивая музыка, вся пронизанная солнечным светом, очарованием молодости и любви.

Р о м у а л ь д о *(поет)*. «Моя душа — заколдованный замок, и осветил я мой замок огнями. И осветил я мой замок огнями».

Лоренцо *(вспоминая)*. Эти слова я уже слышал когда-то. Продолжайте, синьор.

Ромуальдо *(поет)*. «И солнце вошло в мой очарованный замок. Черные тени бежали в испуге, и безбрежное счастье, светлой души ликованье, окрылило мечту. О донна Франческа! О донна Франческа!»

Лоренцо. Певец лжет, синьоры,— я этого не писал никогда.

Ромуальдо *(поет)*. «И на крыльях мечты, к небесам я вознес мой пылающий дух. И на крыльях мечты, к небесам я вознес мой пылающий дух».

Лоренцо *(вставая и гневным жестом останавливая Ромуальдо)*. Остановись, певец! Не слушайте его, синьоры, он лжет и вводит вас в обман. Я вспомнил слова... Луиджи, разбойник, слушай меня. И если ты ошибешься хоть в одной ноте, я завтра же прикажу вздернуть тебя на стене моего замка. Внимание, синьоры!

За окнами выступают из мрака отдаленные вершины гор, как бы озаренные красным заревом заката. Где-то за спиною музыкантов раздается та дикая музыка, что и на балу, но никто ее не слышит.

Лоренцо. Так, так, Луиджи. *(Поет.)* «Безумный Лоренцо, я зажег свет на башне. И сюда придут те, кого я не звал. И погаснет свет на башне, и оденется мраком душа. И возрадуется о тебе, мой повелитель, мой господин, владыка мира — Сатана».

Крики возмущения и ужаса. Многие в страхе покидают свои места и толпятся у колонн.

Голос. Он призывает Сатану.

Второй голос. Он сказал, что владыка мира — Сатана. Кощунство! Кощунство! Кощунство!

Кристофоро. Очнись, безумец! Ты сын крестоносца!

Дама *(господину)*. Смотрите, как будто снова заходит солнце.

Голоса. Солнце! Солнце! Смотрите, вновь показалось солнце.

Кристофоро *(топая ногой)*. Хоть ты и безумец, хоть ты и мой господин, герцог Лоренцо,— я бросаю тебе перчатку.

Его удерживают. Свет за окном сильнеет, как бы наливается огнем и кровью, и уже не видно гор. Голоса: «Смотрите! Смотрите, что делается с небом».

Ф р а н ч е с к а. Герцог Лоренцо — безумец, синьор Кристофоро, и не может оказать вам честь, скрестив с вами меч. Но от имени его сына, которого я ношу в чреве моем, я принимаю ваш вызов, синьор Кристофоро. *(Поднимает перчатку.)*

Г о л о с а. Герцогиня ждет сына! Донна Франческа ждет сына! Бедный Лоренцо! Бедный Лоренцо!

Л о р е н ц о *(выходя из тяжелой задумчивости)*. Что случилось, синьоры? Мне почудился звук обнажаемого меча. Кто смеет обнажать меч в присутствии герцога Лоренцо? Я оказал вам честь и пригласил вас на праздник, синьоры. Не оскорбляйте же моего гостеприимного крова.

Г о л о с а. Смотрите, с небом что-то случилось. Где-то горит. Смотрите, все небо в огне! Что случилось? Где-то горит!

Л о р е н ц о *(взглядывая в окно, любезно)*. Это начинается мой праздник, синьоры. На наш очаровательный пир придет еще один гость. Предоставляю его вашему вниманию, господа. Его глаза — огонь, его светлые волосы — клубы золотистого дыма. Его голос — рев бурного пламени, пожирающего камень. Его божественный лик — огонь и пламя и лучезарный, безбрежный свет. Вы еще никогда не видали такой маски, синьоры!

Свет за окном усиливается. Испуганные крики. Движение. Голоса.

Г о л о с а. Сатана! Сатана! Он зовет Сатану. Смотрите, все небо в огне! Смотрите, вся земля в огне! Спасайтесь, он зовет Сатану!

Л о р е н ц о *(возвышая голос)*. Кто смеет здесь упоминать нечистое имя Сатаны? Мне кажется — я слышал странную песню: какой-то безумец, достойный проклятия и смерти, возглашал с молитвенным трепетом имя Сатаны.

К р и с т о ф о р о. Это ты, Лоренцо. Ты — вассал Сатаны.

Л о р е н ц о. Я? О нет, синьор, вам это показалось. Эти очаровательные маски родят так много смешных недоразумений, и уже давно какой-то шутник, подделавшись под мой голос и мое лицо, обманывает всех дурною ложью.

К р и с т о ф о р о. Но ты же сам звал Сатану!

Л о р е н ц о *(преклоняя колена, торжественно)*. Тот, кого я пригласил на мой праздник и кто изволит пожаловать сейчас,— долой шляпы, синьоры,— есть Господь Бог, владыка земли и неба. На колени, рыцари и дамы!

Почти все молитвенно преклоняют колена. Некоторые плачут. Тихие восклицания: «Святый Боже, Святый Боже». Вбегает весь опаленный огнем шут Э к к о и осторожно мечется по зале; за ним с криком гонятся слуги.

Л о р е н ц о. Ко мне, Экко! Я здесь!

М а р и о. Держите разбойника! Он поджег башню!

П и е т р о. Он всюду набросал огня, и замок пылает со всех сторон. Спасайтесь, синьоры. Сейчас огонь захватит лестницу...

М а н у ч ч и. Его нужно убить. Бейте его, бейте!

Л о р е н ц о *(к ногам которого прижался опаленный, почти ослепший шут)*. Назад! Кто смеет коснуться посланца Божьего! Назад, синьоры! *(Обнажает шпагу.)*

Э к к о *(дрожа)*. Это ты, Лоренцо? Я ослеп, огонь выжег мне глаза, Лоренцо. Не прогоняй меня, Лоренцо.

Л о р е н ц о. Мой брат! Вместе со мною ты приветствуешь нашего великого Господина.

Лопаются стекла; сверху, вместе с клубами черного дыма, показываются языки огня. Паническое бегство. Крики. Голоса: «Спасайтесь, спасайтесь».

Ф р а н ч е с к а. Бегите, Лоренцо! Бегите!

Л о р е н ц о. Твое сердце останавливается, Экко. Удержи жизнь хоть на одно мгновение. Он идет.

Э к к о *(дрожа)*. Это правда? Ты видишь Его?

Л о р е н ц о. Я слышу Его, Экко.

Э к к о. Я умираю, Лоренцо. Но ты скажи Ему, что я... твой маленький брат.

Л о р е н ц о. Обещаю тебе.

Э к к о *(затихая)*. Ты знаешь, меня выдали бубенчики. Я совсем позабыл их срезать. Я умираю, Лоренцо.

Ф р а н ч е с к а. Бегите, Лоренцо!

К р и с т о ф о р о. Да разве вы не видите, синьора, что он сошел с ума! Позвольте, я возьму его на руки, как в детстве, и вынесу отсюда.

Двигается к Лоренцо, но встречает острие шпаги и отступает.

Л о р е н ц о. Назад, синьор!

К р и с т о ф о р о. Ну, погоди же. *(Тащит шпагу.)*

Ф р а н ч е с к а. Уходите отсюда, синьор Кристофоро. Не смейте прикасаться к тому, кто принадлежит теперь только Богу.

К р и с т о ф о р о. Ну и пусть, но без вас я не уйду, мадонна.

Ф р а н ч е с к а. Я покидаю вас, Лоренцо. Во имя вашего сына, которого я ношу во чреве моем, я покидаю вас, Лоренцо, и отказываюсь от счастия умереть с вами. Но я расскажу вашему сыну, Лоренцо, как призвал вас к себе Всевышний, и он благословит ваше имя.

Огонь пробивается всюду.

К р и с т о ф о р о. Скорей, синьора, скорей!

Ф р а н ч е с к а. Прощай, мой Лоренцо, прощай, мой возлюбленный. Прощай!

Л о р е н ц о. Прощайте, синьора. Мне жаль, что на вас маска: ваш голос и ваши слова напоминают мне донну Франческу. Я прошу вас, синьоры, передайте ей мое последнее прости.

Ф р а н ч е с к а. Прощай!

К р и с т о ф о р о. Бежим. Бежим! *(Подхватывает донну Франческу на руки и уносит, пробиваясь сквозь клубы дыма.)*

Остаются только Лоренцо и припавший к ногам его шут. Огонь заливает все. В разбитые окна, в разрушенные двери, среди черных клубов дыма показываются Ч е р н ы е м а с к и. Видны их безуспешные старания проникнуть внутрь, их молчаливая глухая борьба с огнем, легко и свободно отбрасывающим их. Вновь и вновь наступают они и, корчась от боли, прядают назад.

Л о р е н ц о. Встань, Экко. Господин идет.

Трогает Экко, и тот, мертвый, отваливается от него. Пламя со всех сторон окружает их. Черные маски исчезли. Грохот и рев торжествующего огня.

Л о р е н ц о *(торжественно)*. Приветствую вас, Синьор! Мой отец, когда я еще лежал в колыбели, прикосновением меча посвятил меня в рыцари Святого Духа — коснитесь же и Вы меня, Синьор, если я достоин Вашего прикосновения. *(Становится на колени.)* Но уверяю Вас, Синьор, это ведомо всем живущим в мире: у Лоренцо, герцога Спадары, нет в сердце змей.

Огонь охватывает его. Все рушится.

З а н а в е с

1907 г.



АНАТЭМА

ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ:

Некто, ограждающий входы.
Анатэма.
Давид Лейзер.
Сура, его жена.
Наум и Роза, их дети.
Иван Бескрайний, **Сонка Цитрон**, **Пурикес** — торговцы.
Учитель танцев.
Молодой господин.
Бледный господин.
Шарманщик, **Странник**, **Абрам Хессин**, **Плачущая женщина**, **Женщина с ребенком**, **Пьяный**, **Девочка от Сонки**, **Лейбке** — бедняки.

Музыканты, слепые и народ.

ПЕРВАЯ КАРТИНА

Сцена представляет собою пустынную, дикую местность, как бы склон некоей горы, поднимающейся в беспредельную высь. В глубине сцены, на половине горы, стоят огромные, железные, наглухо закрытые врата, знаменующие собою предел умопостигаемого мира. За железными вратами, угнетающими землю своею неимоверной тяжестью, в безмолвии и тайне, обитает Начало всякого бытия, Великий Разум вселенной.

У подножия врат, тяжко опершись на длинный меч, в полной неподвижности стоит **Некто, ограждающий входы**. Облаченный в широкие одежды, в неподвижности складок и изломов своих подобные камню, Он

скрывает лицо свое под темным покрывалом и сам являет собою величайшую тайну. Единый мыслимый, един Он предстоит земле; стоящий на грани двух миров, Он двойствен своим составом: по виду человек, по сущности Он дух. Посредник двух миров, Он словно щит огромный, сбирающий все стрелы,— все взоры, все мольбы, все чаяния, укоры и хулы. Носитель двух начал, Он облекает речь свою в безмолвие, подобное безмолвию самих железных врат, и в человеческое слово.

Среди камней, озираясь пугливо и дико, показывается Анатэма — так именуется Некто, преданный заклятию. Припадая к серым камням, сам серый, осторожный и гибкий, как змея, отыскивающая нору, он тихо крадется к Некоему, ограждающему входы, мечтая поразить его ударом неожиданным. Но сам пугается дерзости своей и, вскочив на ноги, смеется вызывающе и злобно. Затем присаживается на камне, с видом свободным и независимым, и бросает маленькие камешки к ногам Некоего, ограждающего входы,— хитрый, он скрывает свой страх под личиной насмешки и легкой дерзости. При слабом свете, сером и бесцветном, голова преданного заклятию кажется огромной: особенно велик его высокий куполообразный лоб, изрезанный морщинами бесплодных дум и неразрешимых, из века поставленных вопросов. Реденькая бородка Анатэмы совершенно седа; побелены сединою и его волосы, некогда черные, как смоль, теперь же серыми, дикими лохмами вздымающиеся на голове его. Беспокойный в движениях, он тщетно пытается скрыть вечно пожирающую его тревогу и торопливость, лишенную цели. И, соревнуя бессильно-гордой неподвижности Некоего, ограждающего входы, он затихает на мгновение в позе гордого величия, но уже в следующую минуту, в мучительной погоне за вечно ускользающим, он мечется в безмолвных корчах, как червь под пятою. И в вопросах своих он быстр и яростен, как вихрь, черпающий силу и ярость в круговращении своем; но, увлекая малые предметы, он распадается бессильно перед лицом Молчания.

Анатэма. Ты все еще здесь на страже? А я думал, что ты ушел — ведь и у цепной собаки есть минуты, когда она отдыхает или спит, хотя бы конурою служил ей целый мир, а господином — вечность! И разве боится воров вечность? Но не гневайся; как добрый друг пришел я к тебе и молю покорно: открой на мгновение тяжелые врата и дай заглянуть мне в вечность. Ты не смеешь? Но, быть может, разошлись от старости могучие врата, и в узенькую щель, никого не тревожа, сможет заглянуть несчастный, честный Анатэма — укажи ее знаком. Тихонько, на брюхе, я подползу, взгляну — и уползу обратно, и Он не будет знать. А я буду знать и стану Богом, стану Богом, стану Богом! Так давно уже мне хочется стать Богом — и разве плохой бы я был Бог? Смотри.

Становится в надменную позу, но тотчас же хохочет. Затем спокойно, поджав ноги, усаживается на плоском камне и бросает игральные кости. Бормочет как бы про себя, но настолько громко, чтобы его слышал Некто, ограждающий входы.

Анатэма. Не хочешь, не надо — драться я не стану. Разве я за этим пришел сюда? Просто я гулял по миру и совершенно случайно забрел сюда,— мне нечего делать, и я гуляю. А вот теперь я сыграю в кости,— мне нечего делать, и я сыграю в кости. Будь бы не так важен Он, я пригласил бы и Его,— но Он слишком горд, слишком горд и не понимает удовольствия игры. Шесть, восемь, двадцать — верно. У дьявола всегда верно, даже когда он играет честно... Давид Лейзер... Давид Лейзер...

Обращаясь к Некоему, ограждающему входы, развязно:

— Ты не знаешь ли Давида Лейзера? Вероятно, нет. Это старый, больной и глупый еврей, которого никто не знает, и даже твой Господин забыл о нем. Так говорит Давид Лейзер, и я не могу ему не верить: он глупый, но честный человек. Это его я выиграл сейчас в кости — ты видел: шесть, восемь, двадцать. Однажды на берегу моря я встретил Давида Лейзера, когда он допрашивал волны, о чем жалуются они; и он мне понравился. Глупый, но честный человек, и если его хорошенько просмолить и зажечь, то выйдет недурной факел для моего праздника.

Болтая с притворной развязностью, тихонько перебирается на ближайший к Некоему камень.

— Никто не знает Давида Лейзера, а я сделаю его славным, я сделаю его могущественным и великим — очень возможно, что даже бессмертным я сделаю его. Ты не веришь? Никто не верит мудрому Анатэме, даже говорящему правду,— а кто же любит правду больше, нежели Анатэма? Не ты ли? Молчаливый пес, грабитель, укравший истину у мира, железом оградивший входы!

Яростно бросается на Некоего, ограждающего входы, и с визгом ужаса и боли отступает пред грозной неподвижностью его. И ноет жалобно, припадая серой грудью к серому камню:

— Ах, у дьявола седые волосы! Плачьте, возлюбившие Анатэму, стенайте и горюйте, стремящиеся к истине, почитающие ум,— у Анатэмы седые волосы! Кто поможет сыну зари,— он одинок во вселенной. Зачем, Великий, ты напугал так бесстрашного Анатэму — он не хотел тебя ударить, он только приблизиться хотел. Можно подойти к тебе, скажи?

Некто, ограждающий входы, молчит, но Анатэме слышится что-то в его молчании. Вытянув змеиную шею, он кричит страстно:

— Громче, громче! Молчишь ты или говоришь, я не понимаю? У преданного заклятию тонкий слух, и в твоем молчании он улавливает тени каких-то слов; смутное движение мыслей он чувствует в неподвижности твоей — но он не понимает. Говоришь ты или молчишь? Сказал ли ты: «подойди», или мне только послышалось это?

Некто, ограждающий входы. Подойди.

Анатэма. Ты сказал. Но я не смею подойти.

Некто. Подойди.

Анатэма. Я боюсь!

Нерешительно зигзагообразными движениями подбирается к Некоему, ложится на брюхо и ползет, стеная от тоски и страха.

— Ах, я князь тьмы, я мудрый, я сильный, и видишь, я ползу на брюхе, как собака. И это потому, что я люблю тебя и край твоих одежд поцеловать хочу. Но отчего же так болит мое старое сердце, скажи, Всезнающий.

Некто, ограждающий входы. У преданного заклятию нет сердца.

Анатэма *(подвигаясь)*. Да, да, у преданного заклятию нет сердца, его грудь нема и неподвижна, как серый камень, который не дышит. О, будь у Анатэмы сердце, ты давно убил бы его страданиями, как убиваешь глупого человека. Но у Анатэмы есть ум, ищущий правды, ничем не защищенный от твоих ударов, пощади его... Вот я у ног твоих, открой мне твое лицо. Только на мгновение, короткое, как блеск молний, открой мне лицо твое.

Раболепно жмется у ног Некоего, ограждающего входы, не смея, однако, коснуться его одежд. Тщетно старается опустить глаза, бегающие быстро, заглядывающие, острые, сверкающие, как угли под серым пеплом. Некто молчит, и Анатэма продолжает свои бесплодные и настойчивые мольбы.

— Не хочешь? Тогда назови мне имя Того, Кто за вратами. Тихим голосом назови его, и никто не услышит, и только я буду знать, мудрый Анатэма, тоскующий об истине. Не правда ли, что из семи букв состоит оно? Или из шести? Или из одной? Скажи. Только одна буква — и ты спасешь преданного заклятию от вечных мук, и тебя благословит земля, которую раздираю я когтями. Зачем кричать? Ты скажешь тихо, тихо, только вздохнешь ты, и я уже пойму и благословлю тебя... Скажи.

Некто молчит, и Анатэма после некоторого колебания, полного ярости, медленно отползает, с каждым шагом становясь все смелее.

— Это неправда, что я люблю тебя... Это неправда, что я хотел поцеловать край твоих одежд... Мне жаль тебя, если ты поверил: мне просто нечего делать, и я гуляю по миру... Мне нечего делать, и я расспрашиваю встречных о том о сем, о чем я знаю сам... Я знаю все!

Встает, встряхивается, как собака, вылезшая из воды, и, выбрав камень повыше, становится на него в надменно актерской позе.

— Я знаю все. Мудрый, я проник в смысл всех вещей, мне ведомы законы чисел, и книга судеб открыта мне. Единым взором я объемлю жизнь, я ось в кругу времен, вращающемся быстро. Я велик, я могуч, я бессмертен, и во власть мне отдан человек. Кто посмеет бороться с дьяволом? Сильных я убиваю, слабых я заставляю кружиться в пьяном танце — в безумном танце — в дьявольском танце! Я отравил все источники жизни, на всех ее путях устроил я засады,— разве не доходит до тебя голос проклинающих? — изнемогающих под бременем зла? — дерзающих бесплодно? — тоскующих бесконечно и страшно?

Некто, ограждающий входы. Я слышу.

Анатэма *(хохочет)*. Имя! Назови имя! Освети путь дьяволу и человеку. Все в мире хочет добра — и не знает, где найти его, все в мире хочет жизни — и встречает только смерть. Имя! Назови имя добра, назови имя вечной жизни! Я жду.

Некто, ограждающий входы. Нет имени у того, о чем ты спрашиваешь, Анатэма. Нет числа, которым можно исчислить, нет меры, которую можно измерить, нет весов, которыми можно взвесить то, о чем ты спрашиваешь, Анатэма. Всякий, сказавший слово: любовь — солгал. Всякий, сказавший слово: разум — солгал. И даже тот, кто произнес имя: Бог — солгал ложью последней и страшной. Ибо нет числа — нет меры — нет весов — нет имени у того, о чем ты спрашиваешь, Анатэма.

Анатэма. Куда мне идти? Скажи.

Некто. Куда идешь.

Анатэма. Что мне делать? Скажи.

Некто. Что делаешь.

Анатэма. Безмолвием ты говоришь — пойму ли я язык безмолвия твоего? Скажи.

Некто. Никогда. Мое лицо открыто — но ты его не видишь. Моя речь громка — но ты ее не слышишь. Мои веления ясны — но ты их не знаешь, Анатэма. И не увидишь никогда — и не услышишь никогда — и не узнаешь никогда, Анатэма — несчастный дух, бессмертный в чис-

лах, вечно живой в мере и весах, но еще не родившийся для жизни.

А н а т э м а *(терзаясь)*. Никогда?

Н е к т о. Никогда.

Анатэма соскакивает с камня и мечется безумно, пожираемый тоскою. Припадая к камням, он обнимает их нежно и отталкивает с гневом; стенает горько. Обращает лицо свое к западу и востоку, северу и югу земли, потрясает руками, как бы призывая ее к гневу и мести. Но безмолвны серые камни, молчит запад и восток, молчит юг и север земли, и в грозной неподвижности, тяжко опершись на меч, стоит Некто, ограждающий входы.

А н а т э м а. Восстань, земля! Восстань, земля! И препояшься мечом, человек! Не будет мира между тобою и небом, жилищем мрака и смерти становится земля, и князь тьмы воцаряется над нею — отныне и навсегда. К тебе иду я, Давид. Твою печальную жизнь, как камень из пращи, метну я в гордое небо — и дрогнут основы высоких небес. Раб мой, Давид: твоими устами возвещу я правду о судьбе человека.

Обращается к Некоему, ограждающему входы:

— А ты!..

Умолкает стыдливо, смущенный безмолвием. Потягивается лениво, как бы от скуки, и бормочет, но настолько громко, чтобы его слышал Некто:

— Впрочем, разве я не гуляю оттого, что мне нечего делать? Был здесь, а теперь пойду туда,— разве мало путей у веселого дьявола, любящего здоровый смех и беззаботную шутку. Шесть... это значит, что я приношу Давиду богатство, которого он не ждал. Восемь... это значит, что Давид Лейзер исцеляет больных и воскрешает мертвых. Двадцать — верно! Это значит... Это значит, что мы с Давидом приходим благодарить, с Давидом Лейзером, великим, могучим, бессмертным Давидом Лейзером... Я ухожу...

Анатэма удаляется.

Тишина. Безмолвны камни, безмолвны глухие врата, подавляющие землю безмерной тяжестью своею, безмолвен застывший, окаменевший страж. Тишина.

Но не шаги ли Анатэмы разбудили тревожное гулкое эхо? Раз, два — идет кто-то тяжелый. Раз, два — грузно ступает кто-то тяжелый; шаг один, а идущих много; молчит идущий — а уже дрожит тишина и зыблется безмолвие. Мгновение звуковой тревоги, бессилия и трепетных порывов. Сразу загорается безмолвие желтыми высокими огнями: то где-то внизу, в невидимой земной дали медно-звонким, бунтующим криком кричат длинные трубы, которые несут в высоко приподнятых руках: ибо к земле и небу обращен их призывный, мятежный вопль.

Раз, два — теперь уже ясно, что это движется толпа: ее чудовищный голос, ее слитно-раздельные вопли, шумливая и бурная речь; и на низинах ее, в лабиринте ломаных и темных переходов, зарождается первый отчетливый звук, скорее слово, скорее имя: «Да-а-ви-и-ид». Вычерчивается резче, поднимается выше, и уже над головами плывет оно на крыльях медных воплей, на тяжких ударах переступающих ног.

— Да-а-ви-и-д. Да-а-ви-и-д. Да-а-ви-и-д.

Сливается в аккорды. Становится песней миллионов.

Завывают трубы — звоном звенят медные, хрипом хрипят уставшие — зовут.

Слышит ли их Некто, ограждающий входы? Покрылись стонами серые камни — к ногам поднимаются страстные вопли — но неподвижен Страж, но безмолвен Страж, и немы железные врата.

Грохочет бездна.

Единым ударом, раскалывающим землю, обрывается рев медный и крик — и из обломков, как ключ из скалы, разбитой молнией, выбивается нежная, певуче-светлая мелодия.

Смолкает.

Безмолвие. Неподвижность. И ожидание — и ожидание — и ожидание.

З а н а в е с

ВТОРАЯ КАРТИНА

На юге, летний знойный полдень.

Широкая дорога на выезде из большого людного города. Начинаясь от левого угла сцены, дорога наискось пересекает ее и в глубине круто заворачивает вправо. Два высоких, старинной постройки каменных столба, оббитых и покосившихся, обозначают границу города. По эту сторону городской черты, у правого столба, заброшенная, старая, когда-то желтая караульня, с обвалившейся штукатуркой и наглухо забитыми окнами; по краям же дороги несколько маленьких, сколоченных из дрянного леса лавчонок, отделенных друг от друга узенькими проходами — в отчаянной, бессильной борьбе за существование лавчонки бестолково налезают одна на другую. Торгуют они всякою мелочью: леденцами, семечками, дрянною колбасой, селедками; у каждой небольшой грязный прилавок, сквозь который эффектно проходит труба с двумя кранами — из одного течет содовая вода, стакан стоит копейка, из другого — сельтерская. Одна из лавчонок принадлежит Давиду Лейзеру, остальные — греку Пурикесу, молодой еврейке Сонке Цитрон и русскому Ивану Бескрайнему, который, помимо торговли, чинит также обувь и заливает калоши; он же единственный торгует «настоящим боярским» квасом.

Солнце жжет беспощадно, и несколько небольших деревьев со свернувшимися от жары листьями тоскуют о дожде; и безлюдно на пыльной дороге.

За столбами, где дорога сворачивает вправо, высокий обрыв — куда-то вниз сбегают пыльные кроны редких деревьев. И, охватывая весь горизонт, дымно-синею полосою раскинулось море и спит глубоко в зное и солнечном блеске.

У своей лавчонки сидит Сура, жена Давида Лейзера, старая еврейка, измученная жизнью. Чинит какие-то лохмотья и скучно переговаривается с другими торговцами.

Сура. Никто не покупает. Никто не пьет содовой воды, никто не покупает семечек и прекрасных леденцов, которые сами тают во рту.

Пурикес *(как эхо)*. Никто не покупает.

Сура. Можно подумать, что все люди умерли только для того, чтобы ничего не покупать. Можно подумать, что во всем мире мы только одни с нашими магазинами — во всем мире только одни.

Пурикес *(как эхо)*. Только одни.

Бескрайний. Солнце сожгло покупателей — одни торговцы остались.

Молчание. Слышен тихий плач Сонки.

Бескрайний. Ты, Сонка, купила вчера курицу. Разве ты убила кого-нибудь или ограбила, что можешь покупать кур? И если ты такая богатая и прячешь деньги, то зачем ты торгуешь и мешаешь нам жить?

Пурикес *(как эхо)*. Мешаешь нам жить.

Бескрайний. Сонка, я тебя спрашиваю — правда, что ты вчера купила курицу? Не лги, я знаю это от достоверных людей.

Сонка молчит и плачет.

Сура. Когда еврей покупает курицу, то или еврей болен, или курица больна. У Сонки Цитрон умирает сын; вчера он начал умирать и сегодня кончит — он живучий мальчик и умирает долго.

Бескрайний. Зачем же она пришла сюда, если у нее умирает сын?

Сура. Затем, что нужно торговать.

Пурикес. Нужно торговать.

Сонка плачет.

Сура. Вчера мы не кушали, ждали сегодняшнего дня, и сегодня мы не будем кушать в ожидании, что наступит

завтра и принесет нам покупателей и счастье. Счастье! Кто знает, что такое счастье? Все люди равны перед Богом, а один торгует на две копейки, другой же на тридцать. И один всегда на тридцать, а другой всегда на две, и никто не знает, за что дается счастье человеку.

Бескрайний. Прежде я торговал на тридцать, а теперь торгую на две. Прежде у меня не было боярского кваса, теперь же есть боярский квас, а торгую я на две копейки. Счастье переменчиво!

Пурикес. Счастье переменчиво.

Сура. Вчера пришел сын мой Наум и спрашивает: «Мама, где отец?» И я ему сказала: «Зачем тебе знать, где отец? Давид Лейзер, твой отец, больной и несчастный человек, который скоро должен умереть; и он ходит на берег моря, чтобы в одиночестве беседовать с Богом о своей судьбе. Не тревожь отца, он скоро должен умереть,— лучше мне скажи, что хочешь сказать». И так ответил Наум: «Так вот что я говорю тебе, мама,— я начинаю умирать, мама!» Так ответил Наум. Когда же вернулся Давид Лейзер, мой старый муж, я сказала ему: «Ты все еще тверд в непорочности твоей? Похули Бога и умри. Ибо уже начинает умирать сын твой Наум».

Сонка плачет сильнее.

Пурикес *(вдруг озирается испуганно)*. А что... А что, если люди совсем перестанут покупать?

Сура *(пугаясь)*. Как совсем?

Пурикес *(с возрастающим страхом)*. Так, вдруг люди совсем перестанут покупать. Что же нам делать тогда?

Бескрайний *(тревожно)*. Как это может быть, чтобы люди совсем перестали покупать? Этого не может быть!

Сура. Этого не может быть.

Пурикес. Нет, может быть! Вдруг все перестанут покупать.

Все охвачены ужасом; даже Сонка перестала плакать и, бледная, озирает испуганными черными глазами пустынную дорогу. Беспощадно жжет солнце. Вдали, на повороте, показывается Анатэма.

Сура. Покупатель!

Пурикес. Покупатель!

Сонка. Покупатель! Покупатель!

Снова плачет. Анатэма подходит ближе. На нем, несмотря на жару, черный сюртук из тонкого сукна, черный цилиндр, черные перчатки; только белеет галстук, придавая всему костюму вид торжественности и крайней благопристойности. Он высок ростом и, при седых волосах, строен и прям.

Лицо преданного заклятию серовато-смуглого цвета, очертаний строгих и по-своему красивых; когда Анатэма снимает цилиндр, открывается огромный лоб, изрезанный морщинами, и несоразмерно большая голова с исчерна-седыми вздыбившимися волосами. Столь же уродливой чертою, как и чудовищно большой лоб, является шея Анатэмы: жилистая и крепкая, она слишком тонка и длинна, и в нервных подергиваниях и изгибах своих носит голову, как тяжесть, делает ее странно-любопытной, беспокойной и опасной.

Сура. Не хотите ли стакан содовой воды, господин? Жара такая, как в аду, и если не пить, то можно умереть от солнечного удара.

Бескрайний. Настоящий боярский квас!

Пурикес. Фиалковая вода! Боже мой, фиалковая вода!

Сура. Содовая, сельтерская!

Бескрайний. Не пейте ее содовой воды,— от ее воды дохнут крысы и тараканы становятся на дыбы.

Сура. Как вам не стыдно, Иван, отбивать покупателя — я же ничего не говорю о вашем боярском квасе, который могут пить только бешеные собаки.

Пурикес *(радостно)*. Покупатель! Покупатель! Пожалуйста, ничего не покупайте у меня, мне даже не нужно, чтобы вы у меня покупали,— мне нужно, чтобы я видел вас. Сонка, ты видишь — покупатель!

Сонка. Я не вижу. Я не могу видеть.

Анатэма снимает цилиндр, любезно кланяясь всем.

Анатэма. Благодарю вас. Я с удовольствием выпью стакан содовой воды и, быть может, даже стакан боярского квасу. Но мне хотелось бы знать, где здесь торговля Давида Лейзера?

Сура *(удивленно)*. Здесь. Вам нужен Давид — а я его жена, Сура.

Анатэма. Да, госпожа Лейзер, мне нужно видеть Давида, Давида Лейзера.

Сура *(подозрительно)*. Вы пришли сказать что-нибудь плохое: у Давида нет друзей, которые носили бы платье из такого тонкого сукна. Тогда уходите лучше — Давида нет, и я не скажу вам, где он.

Анатэма *(сердечно)*. О нет, не беспокойтесь, сударыня: я ничего не принес дурного. Но как приятно видеть такую любовь — вы очень любите вашего мужа, госпожа Лейзер? Вероятно, он очень сильный и здоровый человек и зарабатывает много денег?

Сура *(хмурясь)*. Нет, он старый и больной и не может работать. Но он ничем не согрешил ни против Бога, ни против людей, и даже враги не посмеют сказать о нем

худое. Вот сельтерская вода, господин, она лучше, чем содовая. И если вы не боитесь жары, то, прошу вас, присядьте и подождите немного: Давид скоро придет сюда.

Анатэма *(присаживаясь)*. Да, я много хорошего слыхал о вашем муже, но не знал, что он так болезнен и стар. У вас есть дети, госпожа Лейзер?

Сура. Было шестеро, но четверо первых умерли...

Анатэма *(сожалея)*. Ай-ай-ай.

Сура. Да, мы плохо жили, господин. И осталось только двое. Сын Наум...

Бескрайний. Бездельник, который притворяется больным и целый день шатается по городу.

Сура. Оставьте, Иван, как вам не стыдно порочить честных людей: Наум ходит затем, что он должен добывать кредит. Потом, господин, у нас есть дочь, и зовут ее Роза. Но, к сожалению, она слишком красива, слишком красива, господин. Счастье,— что такое счастье? Один умирает от оспы, а другому нужна оспа и нет ее, и лицо чисто, как лепесток.

Анатэма *(притворяясь изумленным)*. Почему же вы жалеете об этом? Красота — дар Божий, которым Он оделил человека и тем превознес его и приблизил к Себе.

Сура. Кто знает? — может быть, дар Бога, а может быть, и кого-нибудь другого, о ком я не стану говорить. Но только я не знаю, зачем человеку красивые глаза — если он должен их прятать; зачем белизна лица — если под копотью и грязью он должен скрывать ее. Слишком опасное сокровище — красота, и легче деньги уберечь от грабителя, нежели красоту от злого. *(Подозрительно.)* Не затем ли вы пришли, чтобы видеть Розу? — тогда лучше уходите: Розы здесь нет, и я не скажу вам, где она.

Пурикес. Покупатель, Сура, смотри: пришел покупатель!

Сура. Да, да, Пурикес. Но он не купит того, за чем он пришел, и не найдет того, что ищет.

Анатэма, приятно улыбаясь, с интересом слушает разговор; всякий раз, как кто-нибудь начинает говорить, он вытягивает шею и поворачивает голову к говорящему, держа ее несколько набок. Гримасничает, как актер, выражая то удивление, то скорбь или негодование. Смеется, однако, некстати и этим несколько пугает и удивляет собеседников.

Бескрайний. Напрасно ты дорожишься, Сура, и не продаешь, когда покупают. Всякий товар залеживается и теряет цену.

Сура *(со слезами)*. Какой вы злой, Иван. Я же вам открыла кредит на десять копеек, а вы только и знаете, что поносите нас.

Бескрайний. Не слушайте меня, Сура. Я злой оттого, что голоден. Господин в черном сюртуке, уходите отсюда: Сура честная женщина и не продаст вам дочери, хотя бы вы предлагали миллион.

Сура *(горячо)*. Да, да, Иван, благодарю вас. И кто сказал вам, господин, что наша Роза прекрасна? Это неправда,— не смейтесь, это неправда, она безобразна, как смертный грех. Она грязна, как собака, которая вылезла из трюма угольного парохода; лицо ее изрыто оспою и похоже на поле, где берут глину и песок; и на правом глазу у нее бельмо, большое бельмо, как у старой лошади. Взгляните на ее волосы — они словно свалявшаяся шерсть, наполовину растасканная птицами; и она же ведь горбится при ходьбе, клянусь вам, она горбится при ходьбе. Если вы ее возьмете, над вами все станут смеяться, вас заплюют, вам не дадут покоя уличные мальчишки...

Анатэма *(удивленно)*. Но я слыхал, госпожа Лейзер...

Сура *(с тоскою)*. Вы ничего не слыхали. Клянусь, вы ничего не слыхали!

Анатэма. Но вы же сами...

Сура *(умоляя)*. Разве я что-нибудь сказала? Боже мой, но ведь женщины так болтливы, господин; и они так любят своих детей, что всегда считают их красавцами. Роза — красавица! *(Смеется.)* Вы подумайте, Пурикес, Роза — красавица!

Смеется. Со стороны города подходит Роза. Волосы ее спутаны, взлохмачены и почти закрывают черные, сверкающие глаза; лицо ее замазано чем-то черным; одета она безобразно. Идет она поступью стройной и молодой, но, увидя незнакомого господина, начинает горбиться, как старуха.

Сура. Вот, вот Роза, смотрите, господин. Боже мой, как она безобразна: Давид плачет всякий раз, как видит ее.

Роза *(оскорбляясь безотчетно и выпрямляя стан)*. Все же есть женщины хуже меня.

Сура *(убедительно)*. Что ты, Роза, нет в мире девушки безобразнее тебя! *(Шепчет с мольбою.)* Прячь красоту, Роза! Пришел грабитель, Роза,— прячь красоту. Ночью я сама вымою твое лицо, я сама расчешу твои косы, и ты будешь прекрасна, как ангел Божий, и мы все станем на колени и будем молиться на тебя. Пришел грабитель, Роза! *(Громко.)* В тебя опять бросали камнями?

Роза *(хрипло)*. Да, бросали.

Сура. И собаки накидывались на тебя?

Р о з а. Да, накидывались.

С у р а. Вот видите, господин. Даже собаки!

А н а т э м а *(любезно)*. Да, по-видимому, я ошибся. К сожалению, ваша дочь действительно некрасива, и на нее тяжело смотреть.

С у р а. Конечно, есть девушки и хуже ее, но... Ступай, Розочка, туда, возьми работу: что остается делать бедной некрасивой девушке, как не работать. Иди, бедная Розочка, иди.

Роза берет тряпье для чинки и скрывается за лавкою. Молчание.

А н а т э м а. Вы давно имеете лавочку, госпожа Лейзер?

С у р а *(успокоенная)*. Уже тридцать лет, с тех пор, как заболел Давид. С ним случилось несчастье: когда он был солдатом, его потоптали лошади и испортили ему грудь.

А н а т э м а. Разве Давид был солдатом?

Б е с к р а й н и й *(вмешиваясь)*. У Лейзера был старший брат и был он мерзавец. И звали его Моисей.

С у р а *(вздыхая)*. И звали его Моисей.

Б е с к р а й н и й. И когда наступила пора отбывать воинскую повинность, Моисей убежал на итальянском пароходе. И на его место взяли Давида.

С у р а *(вздыхая)*. Взяли Давида.

А н а т э м а. Какая несправедливость!

Б е с к р а й н и й. А разве вы встречали на свете справедливость?

А н а т э м а. Конечно, встречал. Вы, по-видимому, очень несчастный человек, и вам все представляется в черном свете. Но вы увидите, вы очень скоро увидите, что справедливость существует. *(Развязно.)* Черт возьми, мне нечего делать, и я постоянно гуляю по миру, и ничего я не видел так много, как справедливости. Как вам сказать, госпожа Лейзер? — ее больше на земле, чем блох на хорошей собаке.

С у р а *(улыбаясь)*. Но если ее так же трудно ловить, как блох...

Б е с к р а й н и й. И если она кусается, как блохи...

Все смеются. Со стороны города идет измученный **ш а р м а н щ и к**, полуослепший от пыли и пота. Хочет пройти мимо, но вдруг в отчаянии останавливается и начинает играть что-то ужасное.

С у р а. Проходите, пожалуйста, проходите. Нам не нужна музыка.

Ш а р м а н щ и к *(играет)*. И мне не нужна музыка.

С у р а. Нам нечего подать вам. Проходите.

Ш а р м а н щ и к *(играет)*. Когда я умру под музыку.

Анатэма *(великодушно)*. Прошу вас, госпожа Лейзер, дайте ему покушать и воды — я заплачу за все.

Сура. Какой вы добрый человек. Идите, музыкант, кушайте и пейте. Но только за воду я с вас ничего не возьму, пусть вода будет моя.

Шарманщик усаживается и жадно ест.

Анатэма *(любезно)*. Давно вы гуляете по миру, музыкант?

Шарманщик *(угрюмо)*. Раньше у меня была обезьяна... Музыка и обезьяна. Обезьяну заели блохи, музыка стала свистеть, а я ищу дерева, где бы повеситься. Вот и все.

Прибегает девочка. Смотрит с любопытством на шарманщика, потом обращается к Сонке.

Девочка. Сонка, Рузя уже умер.

Сонка. Уже?

Девочка. Ну да, умер. Можно мне взять семечек?

Сонка *(закрывая лавку)*. Можно. Сура, если придет покупатель, скажите, что я завтра буду опять торговать, а то он подумает, что лавка совсем закрыта. Вы слыхали: Рузя умер.

Сура. Уже?

Девочка. Ну да, умер. А музыкант будет играть?

Анатэма шепчется с Сурой и что-то сует ей в руку.

Сура. Сонка, нате вам рубль, видите — рубль?

Бескрайний. Вот оно — счастье! Вчера курица, нынче рубль. Бери, Сонка!

Все с жадностью смотрят на серебряный рубль. Сонка с девочкой уходят.

Сура. Вы очень богаты, господин.

Анатэма *(самодовольно)*. Н-да! У меня большая практика — я адвокат.

Сура *(быстро)*. У Давида нет долгов.

Анатэма. О, я вовсе не за этим, госпожа Лейзер. Когда вы узнаете меня ближе, то вы увидите, что я только приношу, но не беру, только дарю, но не отнимаю.

Сура *(с некоторым страхом)*. Разве вы пришли от Бога?

Анатэма. Было бы слишком много чести для меня и для вас, госпожа Лейзер, если б я пришел от Бога. Нет, я от себя.

Подходит Наум, с удивлением смотрит на покупателя и устало садится на камень. Это высокий, худой юноша с птичьей грудью и большим, бледным носом. Озирается.

Н а у м. Где же Роза?

С у р а *(шепотом)*. Тише, она там. *(Громко.)* Ну, так как же, Наум, добыл ты кредит?

Н а у м *(вяло)*. Нет, мама, я не добыл кредита. Я начинаю умирать, мама: всем жарко, а мне очень холодно; и я потею, но пот у меня холодный. Я встретил Сонку — Рузя уже умер?

С у р а. Ты еще поживешь, Наум, ты еще поживешь.

Н а у м *(вяло)*. Да, я еще поживу. Что же не идет отец? Ему уже пора идти.

С у р а. Чисти селедку, Роза. Вот этот господин уже давно ждет Давида, а Давида все нет.

Н а у м. Зачем?

С у р а. Не знаю, Наум. Если пришел, значит, нужно.

Молчание.

Н а у м. Мама, я больше не буду добывать кредит. Я буду с отцом ходить на берег моря. Мне уже настало время спросить Бога о моей судьбе.

С у р а. Не спрашивай, Наум, не спрашивай.

Н а у м. Нет, я спрошу Его.

С у р а *(умоляя)*. Не надо, Наум, не спрашивай.

А н а т э м а. Отчего же, госпожа Лейзер? Разве вы боитесь, что Бог ему ответит что-нибудь плохое? Нужно больше веры, госпожа Лейзер, если бы вас слышал Давид, он не одобрил бы ваших слов.

Ш а р м а н щ и к *(поднимая голову)*. Это ты, молодой еврей, хочешь говорить с Богом?

Н а у м. Да, это я. Всякий человек может говорить с Богом.

Ш а р м а н щ и к. Ты думаешь? Тогда попроси новую шарманку. Скажи, что эта свистит.

А н а т э м а *(сочувственно)*. Он может добавить, что обезьяну съели блохи — нужна новая обезьяна!

Смеется. Все с некоторым недоумением смотрят на него, кроме шарманщика, который встает и молча берется за шарманку.

С у р а. Ты что хочешь делать, музыкант?

Ш а р м а н щ и к. Я хочу играть.

С у р а. Зачем? Нам не нужно музыки.

Ш а р м а н щ и к. Я должен поблагодарить вас за доброту.

Играет что-то ужасное; шарманка скрипит, обрывает, свистит. Анатэма, подняв мечтательно к небу глаза, отмечает рукою едва уловимый такт и подсвистывает.

Сура. Боже мой, как скверно!

Анатэма. Это, госпожа Лейзер... *(подсвистывает)* называется мировая гармония.

На некоторое время разговор умолкает: слышится только прерывистый вой шарманки да мечтательное посвистывание Анатэмы. Солнце жжет беспощадно.

Анатэма *(в упоении)*. Мне нечего делать, и я гуляю по миру.

Увлекается все больше. Внезапно шарманка обрывает хрипло свистящим звуком, который долго еще звенит в ушах, и Анатэма замирает с поднятою рукой.

Анатэма *(в недоумении)*. Она у вас всегда так кончает?

Шарманщик. Бывает хуже. Прощайте.

Анатема *(роясь в жилетном кармане)*. Нет, нет, не уходите так... Вы мне доставили искреннее наслаждение, и я не хочу, чтобы вы удавились. Вот вам мелочь — живите себе.

Сура *(в приятном удивлении)*. Кто бы мог подумать, глядя на ваше лицо, что вы такой веселый и добрый человек.

Анатэма *(польщенный)*. О, не смущайте меня, госпожа Лейзер, вашими похвалами. Отчего же не помочь бедному человеку, который может иначе удавиться. Но не Давид ли Лейзер этот почтенный человек, которого я вижу там?

Всматривается туда, где дорога заворачивает вправо.

Сура *(также вглядываясь)*. Да, это Давид.

Все молча ожидают. На пыльной дороге, из-за поворота, показывается Давид Лейзер, медленно идущий. Он высокого роста, костляв, с длинными, седыми кудрями и такою же бородой; на голове высокий, куполообразный черный картуз, в руке посох, которым Давид как бы измеряет дорогу. Смотрит вниз из-под косматых, нависших бровей и так, не поднимая глаз, медленно и серьезно подходит к сидящим и останавливается, опершись обеими руками на посох.

Сура *(вставая, почтительно)*. Ты где был, Давид?

Давид *(не поднимая глаз)*. Я был на берегу моря.

Сура. Что ты там делал, Давид?

Давид. Я смотрел на волны, Сура, и спрашивал их: откуда пришли они и куда идут? Я думал о жизни, Сура: откуда пришла она и куда она идет?

Сура. Что же сказали волны, Давид?

Давид. Они ничего не сказали, Сура... Они приходят и вновь уходят, и человек на берегу моря напрасно ждет ответа от моря.

Сура. С кем ты разговаривал, Давид?

Давид. Я говорил с Богом, Сура. Я спрашивал Его о судьбе Давида Лейзера, старого еврея, который скоро должен умереть.

Сура *(с трепетом)*. Что же сказал тебе Бог?

Давид молчит, потупив глаза.

Сура. Наш сын Наум также хочет быть с тобою на берегу моря и спрашивать о своей судьбе.

Давид *(поднимая глаза)*. Разве Наум скоро должен умереть?

Наум. Да, отец: я уже начал умирать.

Анатэма. Но позвольте, господа... Зачем говорить о смерти, когда я принес вам жизнь и счастье?

Давид *(поворачивая голову)*. Разве вы пришли от Бога? Сура, кто он, что может говорить так?

Сура. Я не знаю. Он давно ждет тебя.

Анатэма *(с радостной суетливостью)*. Ах, господа, да улыбнитесь же вы! Одна только минута внимания, и я заставлю всех смеяться! Внимание, господа! Внимание!

Все с напряженным вниманием смотрят в рот Анатэме.

Анатэма *(вынимая бумагу, торжественно)*. Не вы ли Давид Лейзер, сын Абрама Лейзера?

Давид *(испуганно)*. Ну, я. Но, может быть, есть еще другой Давид Лейзер, я не знаю,— спросите у людей.

Анатэма *(останавливая его жестом)*. Не было ли у вас брата, Моисея Лейзера, который тридцать пять лет тому назад на итальянском пароходе «Фортуна» бежал в Америку?

Все. Да, был.

Давид. Но я не знал, что он в Америке.

Анатэма. Давид Лейзер, ваш брат Моисей — умер!

Молчание.

Давид. Я давно простил его.

Анатэма. И, умирая, все свое состояние, равняющееся двум миллионам долларов *(к окружающим)* — что составляет четыре миллиона рублей,— оставил вам, Давид Лейзер.

Проносится какой-то широкий вздох, и все окаменевают.

А н а т э м а *(протягивая бумагу)*. Вот документ, видите — печать!

Д а в и д *(отталкивая бумагу)*. Нет, не надо, не надо. Вы не от Бога! Бог не стал бы так шутить над человеком.

А н а т э м а *(сердечно)*. Ах, какие тут шутки. Честное слово, правда — четыре миллиона! Позвольте мне первому принести поздравления и горячо пожать вашу честную руку. *(Берет руку Давида и трясет ее.)* Ну-с, госпожа Лейзер, что же я вам принес? И что же вы скажете теперь: красива ваша Роза или безобразна? Ага! И станете ли вы умирать теперь, Наум? Ага! *(Со слезами.)* Вот что принес я вам, люди, а теперь позвольте мне отойти... и не мешать...

Подносит платок к глазам и отходит к стороне, видимо взволнованный.

С у р а *(дико)*. Роза!

Р о з а *(так же дико)*. Что, мама?

С у р а. Мой лицо! Мой лицо, Роза! Боже мой, да скорей же, скорей мой лицо!

Словно помешанная тормошит Розу, моет ее, расплескивая воду дрожащими руками. Наум схватил отца за руку и почти повис на нем; кажется, что он сию минуту лишится сознания.

Д а в и д. Возьмите бумагу назад. *(Настойчиво.)* Возьмите бумагу назад!

С у р а. Ты с ума сошел, Давид. Не слушайте его. Мой, Розочка, мой! Пусть люди увидят твою красоту!

Н а у м *(хватая бумагу)*. Это наша, отец. Отец,— вот чем ответил тебе Бог. Посмотри на мать, посмотри на Розу — на меня посмотри, ведь я уже начал умирать.

П у р и к е с *(кричит)*. Ай-ай, смотрите, они разорвут бумагу! Ай-ай, скорее берите от них бумагу!

Наум плачет. Блистая красотою, с мокрыми, но уже не закрывающими глаз волосами, становится перед отцом смеющаяся Роза.

Р о з а. Это я, отец! Это я! Это... я!

С у р а *(дико)*. Где ты была, Роза?

Р о з а. Меня не было, мама! Я родилась, мама!

С у р а. Смотри, Давид, смотри: уже родился человек. Ох, да смотрите на нее все! Ох, да раскройте же двери перед зрением вашим, ворота распахните перед глазами — смотрите на нее все!

И вдруг Давид понимает значение случившегося. Сбрасывает с головы картуз, рвет одежду, которая душит его, и, расталкивая всех, бросается к Анатэме.

Давид *(грозно)*. Ты зачем это принес?

Анатэма *(кротко)*. Но позвольте, господин Лейзер, я только адвокат. Я рад искренно...

Давид. Ты зачем это принес?

С силою отталкивает Анатэму и, шатаясь, уходит по дороге. Вдруг останавливается, оборачивается назад и кричит, потрясая руками:

Давид. Гоните его — это дьявол. Вы думаете, четыре миллиона рублей он принес? Нет, он принес четыре миллиона оскорблений! Четыре миллиона насмешек он бросил на голову Давида!..Четыре океана горьких слез пролил я над жизнью, четырьмя ветрами земли были мои вздохи, четверых детей моих сожрали голод и болезни,— и теперь, когда я должен умереть, когда я стар и должен умереть, мне приносят четыре миллиона. Вернут ли они мне молодость, которую я провел в лишениях, теснимый скорбями, облаченный печалями, увенчанный тоской? Вернут ли они хоть один день голода моего, хоть одну слезу, павшую на камень, хоть один плевок, брошенный мне в лицо? Четыре миллиона проклятий — вот что значат твои четыре миллиона рублей!.. О Хаина, о Вениамин и Рафаил, о мой маленький Мойше, вы, мои маленькие птички, умершие от холода на голых ветвях зимы,— что вы скажете, если ваш отец коснется этих денег? Нет, мне не надо денег. Мне не надо денег, говорю я вам, я, старый еврей, умирающий от голода. Здесь я не вижу Бога. Но я пойду к Нему, я скажу Ему: что Ты делаешь с Давидом?.. Я иду. *(Уходит, потрясая руками.)*

Сура *(плачет)*. Давид, вернись, вернись!

Пурикес *(в отчаянии)*. Бумагу-то, бумагу-то поднимите!

Анатэма *(вертится)*. Успокойтесь, госпожа Лейзер, он вернется. Это всегда так сначала. Я много гулял по миру и знаю это. Кровь бросается в голову, ноги дрожат, и человек проклинает. Это пустяки!

Роза. Какое кривое зеркало, мама!

Наум *(плачет)*. Мама, куда ушел отец? Я хочу жить.

Анатэма. Бросьте этот кусок стекла, Роза. Вашу красоту отразят люди, вашу красоту отразит мир — в него вы будете глядеться... Ах, вы еще здесь, музыкант? Так сыграйте же нам, я прошу вас: такой праздник нельзя без музыки.

Шарманщик. То же самое играть?

Анатэма. То же самое.

Шарманка воет и свистит. Анатэма яростно подсвистывает, размахивая руками и точно благословляя всех музыкой и свистом.

Занавес

ТРЕТЬЯ КАРТИНА

Давид Лейзер живет богато. По настоянию жены и детей он нанял богатую виллу на берегу моря, завел многочисленную прислугу, лошадей и экипажи. Анатэма, под тем предлогом, что его утомила адвокатская практика, устроился у Давида личным секретарем. К Розе ходят учителя и учительницы, дают ей уроки языков и хорошего тона, к Науму же, который окончательно разболелся и уже близок к смерти, ходит, по его желанию, только один учитель танцев. Деньги из Америки еще не получены, но Давиду Лейзеру, миллионеру, открыт широкий кредит — впрочем, больше на вещи и товар, чем на наличные деньги, которых несколько не хватает.

Сцена представляет собою богатую залу, отделанную белым мрамором, с огромными итальянскими окнами и выходом на веранду. Полдень. За раскрытыми окнами видны полутропические растения, и глубоко синеет море; в одно из окон открывается вид на город.

У стола сидит Давид Лейзер, очень мрачный. Несколько поодаль, на диване расположилась Сура, одета богато, но безвкусно, и смотрит, как Наум учится танцевать. Наум очень бледен, кашляет и почти шатается от слабости, особенно если, по правилам танца, ему приходится стоять на одной ноге, но учится настойчиво; одет весьма элегантно, только необычайно пестрый жилет ярких цветов да такой же галстук несколько портят впечатление. Вокруг Наума вертится, балансируя, приседая, учитель танцев со скрипкою и смычком в руках,— человек изящества и легкости необыкновенных: белый жилет, лакированные туфли, смокинг.

И на все это, с видом печальным и укоризненным, смотрит Анатэма, стоящий у входа.

Учитель. Раз-два-три, раз-два-три!

Сура. Смотри, Давид, смотри, как удается нашему Науму танец. Я бы ни за что не сумела так прыгать — бедный мальчик!

Давид. Я вижу.

Учитель. Мосье Наум очень талантлив. Прошу вас... раз-два-три, раз-два-три! Позвольте, позвольте, немножко не так! Па нужно делать отчетливей, изящно округляя жест правой ногой. Вот так — вот так. *(Показывает.)*

Танцы, мадам Лейзер, совсем как математика, тут нужен циркуль!

Сура. Ты слышишь, Давид?

Давид. Слышу.

Учитель. Прошу вас, мосье Наум. Раз-два-три, раз-два-три! *(Играет на скрипке.)*

Наум *(задыхаясь)*. Раз-два-три! Раз-два-три!

Кружится и вдруг почти падает. Останавливается с лицом измученным и бескровным и смотрит омертвело — его душит кашель. Откашлявшись, продолжает.

Наум. Раз-два-три!

Учитель. Так, так, мосье Наум. Больше изящества, больше изящества, умоляю вас! Раз-два-три!

Играет. Анатэма осторожно подходит к Суре и говорит, сдерживая голос, но настолько громко, чтобы его слышал Давид:

Анатэма. Не кажется ли вам, госпожа Лейзер, что Наум несколько утомлен? Этот учитель танцев не знает жалости.

Давид *(оборачиваясь)*. Да, довольно. Ты, Сура, готова замучить юношу.

Сура *(растерянно)*. Да при чем же я тут, Давид, разве я не вижу, что он устал,— но он сам хочет танцевать. Наум, Наум!

Давид. Довольно, Наум. Отдохни.

Наум *(задыхаясь)*. Я хочу танцевать. *(Останавливается и истерически топает ногою.)* Почему мне не позволяют танцевать? — или все хотят, чтобы я скорее умер?

Сура. Ты еще поживешь, Наум, ты еще поживешь.

Наум *(почти плача)*. Почему мне не позволяют танцевать? Я хочу танцевать. Я довольно добывал кредит, я хочу веселиться. Разве я старик, чтобы лежать на постели и кашлять. Кашлять, кашлять!

Кашляет и плачет одновременно. Анатэма что-то шепчет учителю танцев, и тот, изящно подняв плечи в знак соболезнования, утвердительно кивает головой и собирается уходить.

Учитель. До завтра, мосье Наум. Я боюсь, что наш урок несколько затянулся.

Наум. Завтра... непременно приходите! Вы слышите? Я хочу танцевать.

Учитель уходит, раскланиваясь. Наум молодцеватой походкой идет за ним.

Н а у м. Завтра же непременно, вы слышите? Непременно!

Уходят.

А н а т э м а. О чем вы задумались, Давид? Позвольте мне быть не только вашим личным секретарем,— хотя я горжусь этой честью,— но и вашим другом. С тех пор, как получены деньги, вас угнетает темная печаль, и мне больно глядеть на вас.

Д а в и д. Чему же мне радоваться, Нуллюс?

С у р а. А Роза? Не греши перед Богом, Давид,— не на ее ли красоте и молодости отдыхают наши глаза? Прежде даже тихая луна не смела взглянуть на нее, звезда звезде не смела о ней шепнуть,— а теперь она едет в коляске, и все смотрят на нее, и всадники скачут за нею. Вы подумайте, Нуллюс,— всадники скачут за нею.

Д а в и д. А Наум?

С у р а. Так что же Наум? Он давно болен, ты знаешь это, и смерть на мягкой постели не хуже, чем смерть на мостовой. А может быть, он еще поживет, он еще поживет. *(Плачет.)* Давид, там во дворе тебя ожидают Абрам Хессин и девочка от Сонки.

Д а в и д *(угрюмо)*. Что им надо, денег? Дай им, Сура, несколько грошей и отпусти их.

С у р а. В конце концов они вытянут у нас все деньги, Нуллюс. Я уже второй раз даю Хессину. Он как песок, и сколько в него не лить воды, он всегда будет сух и жаден.

Д а в и д. Пустяки, денег у нас слишком много, Сура. Но мне тяжело смотреть на людей, Нуллюс. С тех пор, как вы принесли нам это богатство...

А н а т э м а. Которое вы заслужили вашими страданиями, Лейзер.

Д а в и д. С тех пор люди так нехорошо изменились. Вы любите, когда вам кланяются слишком низко, Нуллюс? А я не люблю — люди не собаки, чтобы ползать на брюхе. А вы любите, Нуллюс, когда люди вам говорят, что вы самый мудрый, самый великодушный, самый лучший из живущих — в то время как вы обыкновенный старый еврей, каких много. Я не люблю, Нуллюс: для сынов Бога правды и милости непристойно говорить ложь, даже умирая от жестокостей правды.

А н а т э м а *(задумчиво)*. Богатство — страшная сила, Лейзер. Никто не спрашивает вас о том, откуда у вас деньги: они видят могущество ваше и поклоняются ему.

Давид. Могущество? А Наум? А я сам, Нуллюс? — Могу ли я за все деньги купить хоть один день здоровья и жизни?

Анатэма. Вы выглядите значительно свежее.

Давид *(усмехаясь мрачно)*. Да? Не взять ли и мне учителя танцев,— посоветуйте, Нуллюс

Сура. Не забывай же Розу, отец. Разве скрывать красоту лица — не великий грех перед Господом? На радость и услаждение взорам дается она, в красоте лица являет красоту свою сам Бог, и не на Бога ли ежедневно поднимали мы руку, когда углем и сажею пятнали лицо нашей Розы, страшилищем и тоскою для взоров делали ее.

Давид. Красота вянет Все умирает, Сура.

Сура. Но и лилия вянет, и умирает нарцисс, осыпаются лепестки желтой розы, захочешь ли ты, Давид, потоптать все цветы и желтую розу осквернить хулою? Не сомневайся, Давид: справедливый Бог дал тебе богатство — и ты, который был в несчастии так тверд, что ни разу не похулил Бога, станешь ли слаб в счастии?

Анатэма. Совершенно справедливо, госпожа Лейзер. У Розы уже столько женихов, что ей стóит только выбирать.

Давид *(вставая, гневно)*. Я не отдам им Розу!

Сура. Ну что ты, Давид.

Давид. Я не отдам им Розу! Собаки, которые хотят лакать из золотого блюда,— я выгоню собак!

Входит Роза. Одета она богато, но просто и без излишеств; немного бледна она, утомлена слегка, но очень красива кажется, что от нее тянутся лунные тени и лучи И говорить и двигаться она старается красиво, внимательно следит за собою, но минутами срывается — становится груба, криклива. И мучится этим Розу сопровождают двое господ в костюмах для верховой езды Тот из них, что постарше, очень бледен и хмурится мрачно и злобно И, прижимаясь к Розе, точно ища защиты у ее молодости, силы и красоты, слабо плетется Наум.

Давид *(довольно громко* Сура женихи!

Сура *(машет рукой)* Ах, да замолчи же, Давид.

Роза *(небрежно целуя мать)* Как я устала, мама. Здравствуй, отец.

Сура. Береги себя, Розочка нельзя заниматься так много. *(К господину, который постарше.)* Хоть вы скажите ей, что нельзя так много работать зачем ей теперь работа.

Молодой господин *тихо* . На вашу дочь нужно молиться, госпожа Лейзер Скоро ей воздвигнут храм

Господин постарше *усмехаясь)*. А при храме — кладбище. При храмах, госпожа Лейзер, всегда существуют кладбища.

Р о з а. До свидания. Я устала. Если вы свободны, то приезжайте завтра утром,— может быть, я опять поеду с вами.

Господин постарше *(пожимая плечами)*. Свободны? О да, конечно, мы вполне свободны. *(Резко.)* До свидания!

В т о р о й *(со вздохом)*. До свидания!

Уходят.

С у р а *(беспокойно)*. Розочка, ты, кажется, его обидела. Зачем ты так?

Р о з а. Ничего, мама.

А н а т э м а *(Давиду)*. Ну, это еще не женихи, Давид!

Давид хмуро смеется. Анатэма же, не выдержав характера, подлетает к Розе и предлагает ей руку. Ведет ее в полупляce, весело насвистывая тот же мотив, что и шарманка.

А н а т э м а. Ах, Роза, если бы не мои года *(насвистывает)* и не болезни *(насвистывает)*, я был бы первым претендентом на вашу руку.

Р о з а *(смеясь, надменно)*. Лучше болезни, чем смерть.

Д а в и д. А вы очень веселый человек, Нуллюс.

А н а т э м а *(насвистывая)*. Отсутствие богатства и спокойная совесть, Давид, спокойная совесть. Мне нечего делать, и я гуляю под ручку. Так вы говорите — смерть, Роза?

Р о з а. Попробуйте.

А н а т э м а *(останавливаясь)*. А вы и в самом деле красивы, Роза! *(Задумчиво.)* А что, если... если... но нет: долг выше всего. Послушайте меня, Роза: не отдавайте себя меньше, чем князю, хотя бы и князю тьмы!

Н а у м. Розочка, зачем же ты отошла от меня. Мне холодно, когда ты не держишь меня за руку. Держи меня за руку, Розочка.

Р о з а *(колеблясь)*. Но я должна переодеться, Наум.

Н а у м. Я провожу тебя до спальни. Ты знаешь, сегодня я опять танцевал, и очень хорошо, знаешь ли? Я теперь уже не так задыхаюсь. *(С чувством обожания и легкой зависти.)* Какая ты красавица, Розочка.

С у р а. Подожди, Розочка, я сама расчешу тебе волосы. Ты позволишь?

Р о з а. Вы плохо делаете это, мама: вы больше целуете, чем расчесываете,— волосы путаются от поцелуев.

Д а в и д. Ты отвечаешь матери, Роза.

Р о з а *(останавливаясь)*. За что ты ненавидишь мою красоту, отец?

Давид. Прежде я любил твою красоту, Роза.

Сура *(возмущенно)*. Ну что ты говоришь, Давид!

Давид. Да, Сура. Я люблю жемчуг, пока он на дне моря; когда же его вынимают, он становится кровью,— и тогда я не люблю жемчуга, Сура.

Роза. За что ты ненавидишь мою красоту, отец? Ты знаешь ли, что сделала бы другая девушка на моем месте: она сошла бы с ума и завертелась бы по земле, как собака, которая проглотила булавку. А что делаю я? Я учусь, отец. Дни и ночи я учусь, отец. *(В сильном волнении.)* Ведь я не умею ничего. Я не умею говорить, я даже ходить не умею — ведь я горблюсь, я горблюсь при ходьбе!

Сура. Это неправда, Роза.

Роза *(волнуясь)*. Вот я забылась немного — и я уже кричу, каркаю хрипло, как простуженная ворона. Я хочу быть красивой, я должна быть красивой,— я только за этим и родилась. Ты смеешься? Напрасно. Ты знаешь ли, что твоя дочь будет герцогиней — принцессой? К моей короне я хочу добавить и скипетр.

Анатэма. Ого!

Те трое уходят. Давид, выждав их уход, гневно вскакивает с места и быстро ходит по комнате.

Давид. Какая комедия! Какая комедия, Нуллюс! Вчера она просила у Неба селедку, а сегодня ей мало короны. Завтра же она отнимет престол у Сатаны и сядет на него, Нуллюс, и будет сидеть крепко! Какая комедия!

Анатэма уже изменил свой вид: он строг и мрачен.

Анатэма. Нет, это трагедия, Давид Лейзер.

Давид. Комедия, Нуллюс, комедия — разве ты не слышишь во всем этом смеха Сатаны? *(Показывая рукой на дверь.)* Ты видел труп, который танцует,— каждое утро я вижу его.

Анатэма. Разве Наум так опасен?

Давид. Опасен? Три доктора, три важных господина, Нуллюс, смотрели его вчера и сказали мне тихонько, что через месяц Наум умрет, что сейчас он уже труп больше, чем наполовину,— не сон ли это, Нуллюс? Не смех ли это Сатаны?

Анатэма. А что они сказали о вашем здоровье, Давид?

Давид. Я не стал их спрашивать. Я не хочу, чтобы мне сказали: вы можете также прыгать под музыку, Давид. Как вам это нравится, Нуллюс: два трупа, танцующих в белой мраморной комнате? *(Смеется мрачно и зло.)*

Анатэма. Вы меня пугаете, мой друг. Что делается в вашей душе?

Давид. Не касайтесь моей души, Нуллюс,— в ней ужас. *(Хватается руками за голову.)* Ах, что же мне делать, что же мне делать? Я один во всем мире.

Анатэма. Что с вами, Давид? Успокойтесь.

Давид *(останавливаясь перед Анатэмой, с ужасом)*. Смерть, Нуллюс, смерть! Вы принесли нам смерть. Не был ли я безгласен перед смертью? Не ждал ли я ее, как друга? Но вот вы принесли богатство — и я хочу танцевать. Я хочу танцевать, а смерть хватает меня за сердце; я хочу есть, ибо в самые кости мои вошел голод,— а старый желудок извергает пищу обратно; я хочу смеяться,— а лицо мое плачет, а глаза мои слезятся, а душа моя воет от смертельного страха. В костях моих голод, и уже в крови моей яд — нет мне спасения: постигла смерть! *(Тоскует.)*

Анатэма *(многозначительно)*. Вас ждут бедные, Давид.

Давид. Ну так что же?

Анатэма. Вас ждут бедные, Давид.

Давид. Бедные всегда ждут.

Анатэма *(строго)*. Теперь я вижу, что ты действительно погиб, Давид. Тебя покинул Бог.

Давид останавливается и смотрит изумленно и гневно. Анатэма, надменно закинув голову, спокойно и строго выдерживает его взгляд. Молчание.

Давид. Это мне вы говорите, Нуллюс?

Анатэма. Да, это вам я говорю, Давид Лейзер. Будьте осторожны, Давид Лейзер,— вы во власти Сатаны.

Давид *(пугаясь)*. Мой друг Нуллюс, вы пугаете меня; чем заслужил я ваш гнев и эти жестокие и страшные слова? Вы всегда так хорошо относились ко мне и к моим детям... Ваши волосы так же седы, как и мои, в чертах ваших я давно уже заметил скрытую муку и... я уважаю вас, Нуллюс! Зачем же вы молчите? Какой-то страшный огонь горит в ваших глазах,— кто вы, Нуллюс? Но вы молчите... Нет, нет, не опускайте глаз, мне еще страшней, когда опущены они: тогда на вашем челе проступают огненные письмена какой-то смутной, какой-то страшной — смертельной правды!

Анатэма *(нежно)*. Давид!

Давид *(радостно)*. Ты заговорил, Нуллюс?

Анатэма. Молчи и слушай меня! От безумия я верну тебя к разуму, от смерти — к жизни.

Давид. Молчу и слушаю.

Анатэма. Твое безумие в том, Давид Лейзер, что ты всю жизнь искал Бога, а когда Бог пришел к тебе — ты сказал: я Тебя не знаю. Твоя смерть в том, Давид Лейзер, что, ослепленный несчастиями, как лошадь, которая в темноте вертит круг свой, ты не увидел людей и одинок остался среди них, со своею болезнью и богатством своим. Там во дворе тебя ждет жизнь, а ты, слепец, закрываешь перед нею двери. Танцуй, Давид, танцуй,— смерть подняла смычок и ждет тебя! Больше грации, Давид Лейзер, больше грации, ловчее закругляйте па!

Давид. Чего ты хочешь от меня?

Анатэма. Верни Богу, что дал тебе Бог.

Давид *(мрачно)*. А разве что-нибудь дал мне Бог?

Анатэма. Каждый рубль в твоем кармане — это нож, который ты вонзаешь в сердце голодного. Раздай имение нищим, дай хлеб голодным — и ты победишь смерть.

Давид. Корки хлеба не дали Давиду, когда он был голоден,— их ли сытостью насыщу свой голод, который в костях?

Анатэма. В них будешь сыт.

Давид. Верну ли здоровье и силу?

Анатэма. В них будешь силен.

Давид. Изгоню ли смерть, которая уже в крови жидкой, как вода, которая уже в венах и жилах моих, твердых, как высохшие канаты? Верну ли жизнь?

Анатэма. Их жизнью умножишь твою жизнь. Сейчас у тебя одно сердце, Давид,— у тебя станут миллионы сердец.

Давид. Но я умру.

Анатэма. Нет, ты будешь бессмертен.

Давид в ужасе отступает.

Давид. Страшное слово произнесли твои уста. Кто ты, что смеешь обещать бессмертие,— не в руке ли Бога и жизнь и смерть человека?

Анатэма. Бог сказал: жизнью жизнь восстанови.

Давид. Но люди злы и порочны, и голодный ближе к Богу, чем сытый.

Анатэма. Вспомни Ханну и Вениамина...

Давид. Молчи!

Анатэма. Вспомни Рафаила и маленького Мойше...

Давид *(в тоске)*. Молчи, молчи!

Анатэма. Вспомни своих маленьких птичек, умерших на холодных ветвях зимы...

Давид горько плачет.

А н а т э м а. Когда звенит жаворонок в голубом небе, скажешь ли ты ему: молчи, маленькая птица — Богу не нужна твоя песнь? И не дашь ли ты ему зерна, когда он голоден? И не укроешь ли на груди от мороза, чтобы тепло ему было и мог бы он сохранить свой голос до весны? Кто же ты, несчастный, не жалеющий птиц и детей отдающий ненастью? Вспомни, как умирал твой маленький Мойше. Вспомни, Давид, и скажи: люди порочны и злы и недостойны милости моей.

Как бы под страшною тяжестью Давид подгибает колена и поднимает руки, словно защищая голову от удара с неба. Хрипит.

Д а в и д. Адэной, Адэной!

Анатэма, сложив руки на груди, молча смотрит на него. Он мрачен.

Д а в и д. Пощады! Пощады!

А н а т э м а *(быстро)*. Давид, бедные ждут тебя. Они сейчас уйдут.

Д а в и д. Нет, нет!

А н а т э м а. Бедные всегда ждут, но они устают ждать и уходят.

Д а в и д *(странно)*. От меня они не уйдут. Ах, Нуллюс, Нуллюс... Ах, умный Нуллюс, ах, глупый Нуллюс, да неужели ты не понял, что уже давно жду я бедных и голос их в ушах и сердце моем. Когда едут колеса по пыльной дороге, примятой дождем, то думают они, кружась и оставляя след: вот мы делаем дорогу. А дорога была, Нуллюс, дорога-то уже была! *(Весело.)* Зови бедняков сюда!

А н а т э м а. Подумай, Давид, кого ты зовешь. *(Мрачно.)* Не обмани меня, Давид!

Д а в и д. Я никогда не обманывал, Нуллюс. *(Решительно и величаво.)* Ты говорил — я молчал и слушал, теперь ты молчи и слушай меня: ибо не человеку, но Богу отдал я душу свою, и власть Его на мне. И я приказываю тебе: призови сюда жену мою Суру и детей моих, Наума и Розу, и всех домочадцев моих, какие только есть.

А н а т э м а *(покорно)*. Призову.

Д а в и д. И призови бедных, какие ждут меня во дворе. И, выйдя на улицу, взгляни, нет ли и там бедных, ожидающих меня, и если увидишь, то призови и их. Ибо их жаждою горят мои уста, и их голодом ненасытимо страждет чрево мое, и пред лицом народа тороплюсь я возвестить о моей последней и непреклонной воле. Иди.

А н а т э м а *(покорно)*. Твоя воля на мне.

Анатэма уходит, до самой двери напутствуемый повелительным жестом Давида. Молчание.

Д а в и д. Дух Божий пронесся надо мною, и волосы поднялись на голове моей. Адэной, Адэной... Кто, страшный, вещал голосом старого Нуллюса, когда заговорил он о моих маленьких умерших детях? — Только стрела, пущенная из лука Всезнающего, так метко попадает в самое сердце. Мои маленькие птички... Воистину на краю бездны удержал Ты меня и из когтей дьявола Ты вырвал мой дух. Слепнет тот, кто смотрит прямо на солнце, но вот проходит время и возвращается свет воскресшим очам; но навсегда слепнет тот, кто смотрит во тьму. Мои маленькие птички... *(Вдруг смеется тихо и радостно и шепчет.)* Я сам понесу им хлеб и молоко, я спрячусь за пологом, чтобы не видели меня,— дети так нежны и пугливы и боятся незнакомых людей, у меня же такая страшная борода. *(Смеется.)* Я спрячусь за пологом и буду смотреть, как кушают они. Им нужно так мало: съедят корочку хлеба — и сыты, выпьют кружку молока — и уже не знают жажды. Потом поют... Но как странно: разве не уходит ночь, когда приходит солнце, разве с концом бури не ложатся волны спокойно и тихо, как овцы, отдыхающие на пастбище,— откуда же тревога, смятение легкое и страх? Тени неведомых бедствий проносятся над моей душою и реют бесшумно над мыслями моими. Ах, остаться бы мне бедным, быть бы мне незнаемым, прозябать бы мне в тени забора, где сваливают мусор... На вершину горы Ты поднял меня и миру явишь мое старое, печальное лицо. Но такова воля Твоя. Ты повелишь — и ягненок станет львом, Ты повелишь — и яростная львица протянет младенцам сосцы свои, полные силы, Ты повелишь — и Давид Лейзер, побелевший в тени, бесстрашно поднимется к солнцу. Адэной! Адэной!

Входят встревоженные С у р а, Н а у м и Р о з а.

С у р а. Зачем ты призвал нас, Давид? И почему так строг был твой Нуллюс, когда передавал нам приказание? Мы ничем не провинились перед тобою, а если провинились, то исследуй, но не смотри так строго.

Р о з а. Можно сесть?

Д а в и д. Молчите и ждите. Еще не все пришли, кого я звал. Ты же, Роза, сядь, если устала, но когда настанет время — встань. Присядь и ты, Наум.

Нерешительно входит прислуга: лакей, похожий на английского министра, горничная, повар, садовник, судомойка и другие. Смущенно топчутся. Почти тотчас же входят кучками бедняки, человек пятнадцать — двадцать. Среди них Абрам Хессин, старик; девочка от Сонки, Иосиф Крицкий, Сарра Липке и еще несколько евреев и евреек. Но есть и греки, и молдаване, и русские, и просто загрызенные жизнью бедняки, национальность которых теряется в безличности лохмотьев и грязи; двое пьяных. Тут же грек Пурикес, Иван Бескрайний и шарманщик, со своею, все той же облезлой и скрипучей машиной. Но Анатэмы еще нет.

Давид. Прошу вас, прошу вас. Входите же смелей и не останавливайтесь на пороге, за вами идут еще. Но было бы хорошо, если бы вытирали ноги: этот богатый дом не мой, и я должен вернуть его чистым, как и получил.

Хессин. Мы еще не научились ходить по коврам, и у нас нет лаковых ботинок, как у вашего сына Наума. Здравствуйте, Давид Лейзер. Мир вашему дому!

Давид. Мир и тебе, Абрам. Но зачем ты так пышно зовешь меня Давидом Лейзером, когда прежде звал просто Давидом?

Хессин. Вы теперь такой могущественный человек, Давид Лейзер. Да, прежде я звал вас Давидом, но вот я жду вас во дворе, и чем я больше жду, тем длиннее становится ваше имя, господин Давид Лейзер.

Давид. Ты прав, Абрам: когда заходит солнце, длиннее становятся тени, и когда человек умаляется — имя его вырастает. Но подожди, Абрам, еще.

Лакей *(пьяному)*. Вы бы отодвинулись от меня.

Пьяный. Молчи, дурак! Ты здесь лакей, а мы в гостях.

Лакей. Хам! Ты тут не в конке, чтобы плевать на пол.

Пьяный. Господин Лейзер, какой-то человек, похожий на старого черта, схватил меня за шиворот и сказал: тебя зовет Давид Лейзер, который получил наследство. И я спросил — это зачем? Он же ответил: Давид хочет тебя сделать своим наследником — и засмеялся. А когда я пришел, ваш лакей гонит меня.

Давид *(улыбаясь)*. Нуллюс — веселый человек и никогда не упускает случая, чтобы пошутить. Но вы мой гость, и я прошу вас, подождите.

Сура *(после некоторого колебания не выдерживает)*. Ну как у вас торговля, Иван? Теперь у вас меньше конкурентов?

Бескрайний. Плохо, Сура: покупателей нет.

Пурикес *(как эхо)*. Покупателей нет.

С у р а *(жалеет)*. Ай-ай-ай! Это плохо, когда нет покупателей.

Р о з а. Молчи, мама,— не хочешь ли ты вновь вымазать сажей мое лицо?

Толкая впереди себя нескольких б е д н я к о в, входит А н а т э м а,— он, видимо, устал и запыхался.

А н а т э м а. Ну вот, Давид, получайте пока это. Ваши миллионы пугают бедняков, и никто не хотел идти за мною, думая, что здесь кроется обман.

П ь я н ы й. Вот этот человек схватил меня за шиворот.

А н а т э м а. Ах, это вы? Здравствуйте, здравствуйте.

Д а в и д. Благодарю тебя, Нуллюс. Теперь же возьми чернила и бумагу и сядь возле меня за столом; мне же подай мои старые счеты... Так как все, что я буду говорить, очень важно, то, прошу тебя, записывай точно и не ошибайся — в каждом слове нашем мы дадим отчет Богу. Вас же всех прошу встать и слушать внимательно, вникая в смысл великих слов, которые я произнесу. *(Строго.)* Встань, Роза.

С у р а. Боже, сжалься над нами! Что ты хочешь делать, Давид?

Д а в и д. Молчи, Сура. Ты пойдешь за мною.

А н а т э м а. Готово.

Все стоя слушают.

Д а в и д *(торжественно)*. По смерти брата моего, Моисея Лейзера, я получил наследство *(откладывает на счетах)* два миллиона долларов.

А н а т э м а *(егозливо поднимая четыре пальца)*. Что значит четыре миллиона рублей.

Все в волнении.

Д а в и д *(строго)*. Не прерывайте меня, Нуллюс. Да, это значит четыре миллиона рублей. И вот, подчиняясь голосу моей совести и велению Бога, а также в память детей моих: Ханны, Вениамина, Рафаила и Моисея, умерших от голода и болезней в отроческом возрасте...

Опускает голову все ниже и горько плачет. И такими же слезами отвечает ему Сура.

С у р а. О мой маленький Мойше! Давид, Давид, умер наш маленький Мойше!

Д а в и д *(вытирая глаза большим красным платком)*. Молчи, Сура! Ну, так что же я им хотел сказать, Нуллюс?.. Но пишите, Нуллюс, пишите. Я знаю. *(Твердо.)* И вот

решил я, в согласии с законами Бога, Который есть правда и милость,— раздать все мое имение нищим. Так ли я говорю, Нуллюс?

Анатэма. Я слышу Бога.

Никто не верит в первую минуту: но быстро родятся радостные сомнения, и неожиданный темный страх реет над головами. Как бы во сне, люди твердят очарованно: «четыре миллиона, четыре миллиона» и закрывают глаза руками. Выступает вперед шарманщик.

Шарманщик *(угрюмо)*. Ты мне купишь новую музыку, Давид?

Анатэма. Тсс! Назад, музыкант.

Шарманщик *(отступая)*. Я хочу и новую обезьяну.

Давид. Веселитесь же сердцем, несчастные, и улыбкою уст ответьте на милость Неба. И идите отсюда в город, как вестники счастья, обойдите его улицы и площади и всюду громко кричите: Давид Лейзер, старый еврей, который скоро должен умереть, получил наследство и раздает его бедным. И если увидите человека, который плачет, и ребенка, лицо которого бескровно и мутны глаза, и женщину, у которой отвисли тощие груди, как у старой козы,— и тем вы скажите: идите, вас зовет Давид. Так ли я говорю, Нуллюс?

Анатэма. Так, так. Но всех ли ты позвал?

Давид. И если увидите пьяного человека, заснувшего на блевоте своей, разбудите его и скажите: иди, тебя зовет Давид. И если увидите вора, которого бьют на базаре обиженные им, то и его позовите словами добрыми и имеющими силу приказа: иди, тебя зовет Давид. И если увидите людей, от нужды впавших в раздражение и злобу и побивающих друг друга палками и обломками кирпича, то и им возвестите мир словами: идите, вас зовет Давид! И если увидите человека стыдливого, который, ходя по большой улице, опускает взоры перед взорами, а в спину смотрит жадно, то и ему тихонько скажите, не возмущая гордости его: не Давида ли ищешь? Иди, уже давно он ждет тебя. И если в вечерний час, когда семенем ночи засевает землю дьявол, вы увидите женщину, которая раскрашена страшно, подобно тому, как язычники раскрашивают трупы умерших, и смотрит смело, ибо лишена стыда, и поднимает плечи, ибо удара боится, то и ей скажите: иди, тебя зовет Давид! Так ли я говорю, Нуллюс?

Анатэма. Так, Давид. Но всех ли ты позвал?

Давид. И какой бы образ, внушающий омерзение и страх, ни приняла нищета, и какими красками ни расцветилось бы горе, и какими словами ни оградилось бы страда-

ние, громким призывом поднимайте уставших, словами жизни возвращайте жизнь умирающим! И не верьте молчанию и тьме, когда стеною преградят они путь: громче кричите в молчание и тьму, ибо там почивает неизреченный ужас.

Анатэма. Так, Давид, так! Я вижу, как на вершину поднимается твой дух, и громко стучишь ты в железные врата вечности: откройтесь. Я люблю тебя, Давид, я целую твою руку, Давид, я, как собака, готов ползать на брюхе и исполнять повеления твои. Зови, Давид, зови. Восстань, земля! Север и юг, восток и запад, я приказываю вам, волею Давида, господина моего, откликнитесь на зов зовущего и четырьмя океанами слез остановитесь у ног его. Зови, Давид, зови.

Давид *(поднимая руки)*. Север и юг...

Анатэма. Восток и запад...

Давид. Всех зовет Давид!

Анатэма. Всех зовет Давид!

Смятение, слезы, смех, ибо теперь все верят. Анатэма целует руку Давида и мечется в полном восторге. Тащит шарманщика за шиворот на середину.

Анатэма. Смотри, Давид — музыкант! *(Хохочет и трясет шарманщика.)* Так ты не хочешь старой музыки, а? Так тебе нужна новая обезьяна? А? Может быть, ты и порошку попросишь от блох,— проси: мы все дадим тебе!

Давид. Тише, Нуллюс, тише. Уже надо работать. Вы умеете считать на счетах, Нуллюс?

Анатэма. Я, о равви Давид? Я сам — число и счет, я сам — мера и весы!

Давид. Так садитесь же, пишите и считайте. Но вот что, мои милые дети: я старый еврей, умеющий головку чеснока разделить на десять порций, я знаю не только нужду человека, но я видел и то, как голодает таракан, да,— но и то я видел, как умирают от голода маленькие дети... *(Опускает голову и глубоко вздыхает.)* Так не обманывайте же меня и помните, что всему есть счет и мера. И там, где нужно десять копеек, не просите двадцать, и там, где достаточно одной меры пшена, не требуйте двух, ибо лишнее для одного всегда необходимое для другого. Как братья, у которых одна только мать, с грудями полными, но истощающимися быстро, не обижайте друг друга и не огорчайте щедрую, но и бережливую мать... Можно начинать? Нуллюс, у вас все готово?

Анатэма. Можно. Я жду, Давид.

Давид. Так станьте же в очередь, прошу вас. Денег у меня пока нет, они еще в Америке, но я запишу точно, кому и сколько надо по нужде его.

Сура. Давид, Давид, что ты делаешь с нами. Взгляни на Розу, взгляни на бедного Наума.

Наум ошеломлен — хочет что-то сказать, но не может; бессильно ловит воздух растопыренными пальцами. И поодаль от него, одинокая в своей молодости, силе и красоте, среди всей этой бедноты, изможденных лиц, плоских, точно раздавленных грудей, жалкого отребья — стоит Роза и вызывающе смотрит на отца.

Роза. Разве мы меньше дети, чем эти, собранные на улице, и разве мы не брат и сестра тех, что умерли?

Давид. Роза права, мать, и всякий получит то, что ему следует.

Роза. Да-а? А ты знаешь, сколько следует каждому, отец?

Горько смеется и хочет уходить, презрительным движением руки требуя дорогу

Давид *(мягко и печально)*. Останься, Роза!

Роза. Мне здесь нечего делать. Я слышала, ты всех призвал... О, ты звал очень громко!.. Но позвал ли ты — красивых? Мне здесь нечего делать. *(Уходит.)*

Сура *(вставая в нерешимости)*. Розочка!

Давид *(все так же мягко, с тихой улыбкой)*. Останься, мать,— куда тебе идти. Ты — со мною.

Наум делает несколько шагов за Розой, потом возвращается назад и вяло садится около матери.

Давид. Готово, Нуллюс? Так подойдите же, почтенный человек, первый стоящий в очереди.

Хессин *(подходя)*. Ну вот и я, Давид.

Давид. Как вас зовут?

Хессин. Меня зовут Абрам Хессин... Но разве ты забыл мое имя? Ведь еще детьми мы играли с тобою.

Давид. Тсс! Так нужно для порядка, Абрам. Четко напишите это имя, Нуллюс: это первый, который ждал меня и на котором проявилась воля Господа моего.

Анатэма *(пишет старательно)*. Номер первый... Я потом разлиную бумагу, Давид! Номер первый: Абрам Хессин...

Наум *(тихо)*. Мама, я больше не буду танцевать.

Занавес

ЧЕТВЕРТАЯ КАРТИНА

Та же пыльная дорога с покосившимися столбами и старой, заброшенной караульней; те же лавчонки. И так же, как тогда, беспощадно жжет солнце.

Но и на дороге и возле лавчонок уже не безлюдно, как прежде... В большом числе собрались бедняки, чтобы приветствовать Давида Лейзера, раздавшего свое имение нищим, и наполняют раскаленный воздух криками, движением, веселой суетою. Счастливые Пурикес, Бескрайний и Сонка, гордые обилием товара в своих магазинах, бойко торгуют содовой водой и леденцами. А возле своей лавчонки сидит, как прежде, Сура Лейзер, одетая чисто, но бедно: после того как сын Наум скончался от чахотки, а красавица Роза, захватив значительную сумму денег, бежала неизвестно куда, Сура возненавидела богатство и охотно вернулась к прежнему занятию, как пожелал того Давид. Уже почти все деньги розданы, остается всего несколько десятков рублей, необходимых для того, чтобы Давид Лейзер и его жена могли доехать до Иерусалима и в честной бедности окончить жизнь свою в стенах святого города.

Давиду Лейзеру, ушедшему с другом своим Анатэмой на берег моря, готовится торжественная встреча. Все лавчонки, и даже столбы, и даже заброшенная караульня украшены пестрым разноцветным тряпьем и ветвями деревьев; с правой же стороны дороги, на выгоревшей и примятой траве готовится к встрече оркестр — несколько евреев с разнообразными инструментами, собранными, по-видимому, случайно: тут и хорошая скрипка, и цимбалы, и измятая, испорченная медная труба, и даже барабан, хотя и прорванный немного. Участники оркестра плохо сыгрались и теперь ожесточенно бранятся, порицая чужие инструменты.

Среди собравшихся много детей; есть совсем маленькие и даже грудные младенцы, принесенные на руках. В толпе знакомые лица Абрама Хессина и других бедняков, бывших в первый день раздачи денег; поодаль, на бугорке, держа орудие свое наготове, стоит угрюмый шарманщик. Он уже успел приобрести в кредит новую шарманку, но не может найти новой обезьяны: все обезьяны, к каким он приценивался, или совершенно бездарны, или же слабы здоровьем и на пути к несомненному вырождению.

Молодой еврей *(трубит в измятую трубу)*. Но почему же она может только в одну сторону? Такая хорошая труба.

Музыкант со скрипкой *(волнуясь)*. Но что вы делаете со мною — разве с такою трубой можно встречать Давида Лейзера? Вы бы еще принесли кошку и стали дергать ее за хвост и думали, что Давид назовет вас своим сыном.

Молодой еврей *(упрямо)*. Труба хорошая. На ней играл мой папаша, когда был военным музыкантом, и все благодарили его.

Музыкант. Ваш папаша играл на ней, а кто же на ней сидел? Отчего же она такая мятая? Разве можно с такой помятой трубой встречать Давида Лейзера?

Молодой еврей *(со слезами)*. Труба совсем хорошая

Музыкант *(почти плача, к угрюмому, бритому старику* Это ваш барабан? Нет, скажите, вы серьезно думаете, что это барабан? Разве в барабане бывает такая дырка, в которую может пролезть собака?

Хессин. Не нужно волноваться, Лейбке. Вы очень талантливый человек, и у вас будет прекрасная музыка, и Давид Лейзер будет очень тронут.

Музыкант. Но я же не могу. Вы, Абрам Хессин, почтенный человек, вы очень долго жили на свете, но разве вы видали когда-нибудь такую большую дыру в барабане?

Хессин. Нет, Лейбке, такой большой дыры я не видал, но это совсем не важно. Давид Лейзер был миллионером, у него было двадцать миллионов рублей, но он человек неизбалованный и скромный, и ему доставит радость ваша любовь. Разве душе нужен барабан, чтобы она могла выразить свою любовь? Я вижу здесь людей, у которых нет ни барабана, ни трубы и которые плачут от счастья,— их слезы бесшумны, как роса, но поднимитесь выше, Лейбке, поднимитесь немного к небу, и вы не услышите барабана, но зато услышите, как падают слезы.

Старик. Не нужно ссориться и омрачать дни светлой радости Давиду будет неприятно.

К разговору прислушивается странник лицо у него суровое, черное от загара, все же остальное, волосы, одежда, сереет от придорожной пыли. Осторожен в обдуманных движениях, но смотрит просто и прямо, и глаза у него без блеска как раскрытые окна в жилом доме среди ночи.

Странник. Он мир и счастье принес на землю, и уже вся земля знает о нем. Я пришел издалека, где другие люди, не похожие на вас, и другие у них нравы, и только по страданиям и горю они ваши братья. И уже там знают о Давиде Лейзере, раздающем хлеб и счастье, и благословляют его имя.

Хессин. Вы слышите, Сура? *(Утирая слезы.)* Это о вашем муже говорят, о Давиде Лейзере.

Сура. Я слышу, Абрам. Я все слышу. Я только не слышу голоса Наума, который умер, и лепета Розы не слышу я. Вот вы, старичок, много ходили по земле и даже знаете таких людей, которые на нас не похожи,- не встречали ли вы на дороге красивой девушки, красивейшей из всех, какие есть на земле?

Бескрайний. У нее была дочь Роза, красивая девушка и убежала она из дому, не желая уступать бедным своей доли Много денег она захватила, Сура?

Сура. Разве для Розы может быть много денег? Тогда вы скажете, что в короне царя есть лишние брильянты и у солнца лишние лучи.

Странник. Нет, я не видел вашей дочери по большим дорогам иду я, и там нет ни богатых, ни красивых.

Сура. Но, быть может, вы видали людей, которые, собравшись, говорят горячо о какой-то красавице? Это моя дочь, старик.

Странник. Нет, я не видел таких людей. Но я видел других людей, которые, собравшись, говорили о Давиде Лейзере, раздающем хлеб и счастье. Правда ли, что ваш Давид исцелил женщину, у которой была неизлечимая болезнь, и она уже умирала?

Хессин *(улыбаясь)*. Нет, это неправда.

Странник. Правда ли, что Давид возвратил зрение человеку, который был слеп от рождения?

Хессин *(качая головой)*. Это неправда. Кто-то обманул людей, которые не похожи на нас. Только Бог может творить чудеса. Давид же Лейзер лишь добрый и достойный человек, каким должен быть всякий, еще не забывший Бога.

Пурикес. Нет, это неверно, Абрам Хессин. Давид не простой человек и не человеческая сила в нем. Я знаю это.

Народ, окруживший их, жадно слушает слова Пурикеса

Пурикес. Я видел своими глазами, как по безлюдной, опаленной солнцем дороге пришел тот, кого я принял за покупателя,— но это не был покупатель. Я видел своими глазами, как он коснулся рукою Давида и Давид заговорил так страшно, что я не мог его слушать. Вы помните, Иван?

Бескрайний. Это правда. Давид — не простой человек.

Сонка. Разве простой человек бросает в людей деньгами, как камнями в собаку? Разве простой человек ходит плакать на могилу чужого ребенка, которого не он родил, не он лелеял и не он схоронил, когда пришла смерть?

Женщина с ребенком в руках. Давид не простой человек. Кто видал простого человека, который больше ребенку мать, чем его родная мать? Который стоит за пологом и смотрит, как кушают чужие дети, и плачет от ра дости? Которого не боятся дети, даже самые маленькие, и играют с почтенной бородою его, как с бородою деда? Не целый ли клок седых волос вырвал маленький, глупенький Рувим из почтенной бороды Давида Лейзера? — Рассердился ли Давид? Закричал ли от боли, затопал ли ногами? Нет

он засмеялся как бы от счастья и как бы от радости заплакал он.

Пьяный. Давид не простой человек. Он чудак. Я ему сказал: зачем вы даете мне деньги? Правда, я бос и грязен, но не думайте, что на ваши деньги я куплю мыло и сапоги. Я пропью их в ближайшем кабаке. Так я должен был сказать ему, потому что я хоть и пьяница, но я честный человек. И чудак Давид ответил мне смешно, как хороший сумасшедший: если вам приятно пить, Семен, то и пейте, пожалуйста — не учить людей, а радовать их я пришел.

Старый еврей. Учителей много, а радующих нет. Да благословит Бог Давида, радующего людей.

Бескрайний *(пьяному)*. Так-таки сапог и не купил?

Пьяный. Нет. Я честный человек.

Музыкант *(в отчаянии)*. Ну скажите вы все, у кого есть совесть: разве такая музыка нужна Давиду, радующему людей? Мне стыдно, что я собрал такой плохой оркестр, и лучше бы мне умереть, чем осрамиться перед Давидом.

Сура *(к шарманщику)*. А вы будете играть, музыкант? У вас теперь такая красивая машина, что под нее могут танцевать ангелы.

Шарманщик. Буду.

Сура. Но почему же у вас нет обезьяны?

Шарманщик. Я не мог найти хорошей обезьяны. Все обезьяны, каких я видел, либо стары, либо злы, либо совсем бездарны и даже не умеют ловить блох. У меня уже заели блохи одну обезьяну, и я не хочу, чтобы погибла и другая. Обезьяне нужен талант, как и человеку,— одного хвоста мало даже для того, чтобы быть обезьяной.

Странник тихо допытывается у Абрама Хессина.

Странник *(тихо)*. Скажи мне правду, еврей: я прислан сюда людьми, и много верст под солнцем, не знающим жалости, прошел я моими старыми ногами, чтобы узнать правду. Кто этот Давид, радующий людей? Пусть он не исцеляет больных...

Хессин. Это грех и обида Богу — думать, что человек может исцелять.

Странник. Пусть так. Но не правда ли, что Давид Лейзер хочет построить огромный дворец из белого камня и голубого стекла и собрать туда всех бедных земли?

Хессин *(в смущении)*. Не знаю. Разве можно построить такой большой дворец?

Странник *(убежденно)*. Можно. И правда ли, что он хочет отнять силу у богатых и оделить ею бедных? *(Шепо-*

том.) И взять власть у властвующих, могущество у по велевающих и оделить ими людей, всех поровну, сколько их ни есть на земле?

Х е с с и н. Не знаю. *(Робко.)* Ты пугаешь меня, старик

С т р а н н и к *(осторожно озираясь)*. И правда ли, что он уже послал вестников в Эфиопию к черным людям, чтобы и они готовились к приятию нового царства, потому что и черных людей он хочет оделить наравне с белыми, всем поровну, каждому столько, сколько он пожелает *(та инственным шепотом, угрожающе)* по справедливости.

На дороге из-за поворота показывается Д а в и д Л е й з е р, идущий медленно; в правой руке у него посох, под левую же руку его почтительно поддерживает А н а т э м а. Среди ожидающих волнение и тревога: музы канты бросаются к своим инструментам, женщины торопливо собирают играющих детей Крики: «Идет! Идет!» зовы: «Мойше, Петя, Сарра»

С т а р и к. И правда ли...

Х е с с и н. Спроси его. Вот он идет сам.

Увидев толпу, Анатэма останавливает задумавшегося Давида и широким, торжествующим жестом указывает на ожидающих. Так некоторое время стоят они: Давид с закинутою назад седою головой и прижавшийся к нему Анатэма; приблизив лицо свое к лицу Давида, Анатэма что-то горячо шепчет ему и продолжает указывать левою рукою. Отчаянно метавшийся Пейбке собрал наконец свой оркестр, и тот разражается диким разноголо сым тушем, пестрым и веселым, как развевающиеся цветные лоскутья Веселые крики, смех, дети лезут вперед, кто-то плачет, многие молитвенно протягивают руку Давиду. И среди хаоса веселых звуков медленно движет ся Давид. Толпа расступается на пути его, многие бросают ветви и по стилают свои одежды, женщины срывают повязки с голов и бросают к его ногам на пыльную дорогу. Так он доходит до Суры, которая, встав, при ветствует его с другими женщинами. Музыка смолкает. Но Давид молчит Смущение.

Х е с с и н. Что же ты молчишь, Давид? Вот люди, которых ты сделал счастливыми, приветствуют тебя и постилают одежды на твоем пути, ибо велика их любовь, и не вмещается в груди радость. Скажи слово — они ждут.

Давид стоит, опустив глаза и обеими руками опершись на посох; лицо его строго и важно. И с тревогою, через плечо смотрит на него Анатэма

А н а т э м а. Тебя ждут, Давид. Скажи им слово радости и успокой их любовь.

Д а в и д *(молчит)*.

Ж е н щ и н а. Что же ты молчишь, Давид? Ты пугаешь нас. Разве ты не Давид, радующий людей?

А н а т э м а *(нетерпеливо)*. Говори же, Давид. Сло́ва радости ждет их взволнованный слух, и молчанием, подоб

ным немоте камня, ты к земле пригнетаешь их душу. Говори.

Давид *(поднимая глаза и строго ими обводя толпу).* Зачем эти почести, и шум голосов, и музыка, которая играет так громко? Кому воздаете почести, которых достоин только князь или совершивший великое? Мне ли, старому, бедному человеку, который скоро должен умереть, постилаете одежды на пути? Что я сделал такое, чтобы заслужить восторг и ликование и слезы безумной радости исторгнуть из глаз? Я дал вам деньги и хлеб — но это деньги Всевышнего, от Него пришедшие и к Нему через вас вернувшиеся. Только то я и сделал, что не утаил денег, как вор, и грабителем не стал, как забывающие Бога. Так ли я говорю, Нуллюс?

Анатэма. Нет, Давид, не так. Недостойна твоя речь мудрого, и не из уст смиренного исходит она.

Старик. Хлеб без любви, как трава без соли: желудок насыщается, во рту же томление и горькая память.

Давид. Разве я забыл что-нибудь, Нуллюс? Тогда напомни мне, друг: я уже стар, и плохо видят мои глаза, но не музыкантов ли я вижу, скажи, Нуллюс? Не флаги ли, пестрые, как язык сороки, над головой моей? Скажи, Нуллюс.

Анатэма. Ты людей забыл, Давид. Ты детей не видишь, Давид Лейзер.

Давид. Детей?

Женщины с плачем протягивают Давиду своих детей.

Голоса. Благослови моего сына, Давид.— Коснись моей девочки, Давид.— Благослови! — Коснись! — Коснись!

Давид *(поднимая руки к небу).* О Ханна и Вениамин, о Рафаил и мой маленький Мойше... *(Смотрит вниз и протягивает руки к детям.)*

Давид. О, мои маленькие птички, умершие на голых ветвях зимы... О дети, деточки, деточки, маленькие деточки... Ну и что же, Нуллюс, разве я не плачу? Разве я не плачу, Нуллюс? Ну — и пусть плачут все. Ну — и пусть играют музыканты, Нуллюс — я же понял теперь! О деточки, маленькие деточки, я же свое вам дал, я вам дал мое старое сердце, я вам дал печаль и радость мою — не всю ли им душу я отдал, Нуллюс?

Плач и смех, похожий на слезы.

Давид. Вновь вырвал ты мою душу из пасти греха, Нуллюс. В день радости я мрачным стал перед народом,

в день ликования его не к Небу, а к земле опустил я взоры, старый, плохой человек. Кого я обмануть хотел моим притворством? Разве дни и ночи не живу я в восторге и полными пригоршнями не черпаю любви и счастья? Зачем же притворялся я печальным?.. Я не знаю твоего имени, женщина, дай мне твоего ребенка, вот этого, который смеется, когда все плачут, потому что он один умный. *(Улыбаясь сквозь слезы.)* Или ты боишься, что я, как цыган, украду его?

Женщина становится на колени и протягивает Давиду ребенка.

Женщина. Берите, Давид. Все принадлежит вам, и мы, и дети наши.

Вторая женщина. И моего возьмите, Давид!

Третья. Моего, моего!

Давид *(берет ребенка и прижимает к груди, окутывая седою бородою)*. Тс... борода! Ай, какая страшная борода! Но ничего, мой маленький, прижмись крепче и смейся — ты самый умный. Сура, жена, подойди сюда.

Сура *(плача)*. Я здесь.

Давид. Отойдем с тобою немного. Я отдам вам, женщина, ребенка, я только немного подержу его. Отойдем же, Сура. Перед тобой мне не стыдно плакать ни слезами горя, ни слезами радости.

Отходят к стороне и оба тихонько плачут. Видны только их старые согнутые спины и красный платок Давида, которым он вытирает глаза, и мокрое от слез лицо ребенка.

Голоса. Тише. Тише. Они плачут. Не мешайте им плакать. Тише. Тише.

Анатэма на цыпочках, шепча: «тише, тише»,— подходит к музыкантам и о чем-то толкует с ними, дирижируя рукою. Понемногу шум растет. Уже давно, с полными стаканами в руках, ждут Бескрайний, Пурикес и Сонка.

Давид *(возвращается, вытирает глаза платком)*. Нате вам вашего ребенка, женщина. Он нам совсем не понравился, не правда ли, Сура?

Сура *(плача)*. У нас уже не будет больше детей, Давид.

Давид *(улыбаясь)*. Но, но, Сура. Разве все дети, какие есть в мире, не наши? У того нет детей, у кого их трое, шестеро и даже двенадцать, но не у того, кто не знает им счета.

Сонка. Выкушайте стакан содовой воды, почтенный Давид Лейзер,— это ваша вода.

Пурикес. Выкушайте, Давид, стакан, это принесет мне покупателя.

Бескрайний. Выпейте стакан боярского квасу, Давид. Теперь это настоящий боярский квас. Я могу сказать это смело: с вашими деньгами все становится настоящим.

Сура *(сквозь слезы, улыбаясь)*. Ну, я всегда же вам говорила, Иван, что у вас плохой квас. А теперь, когда настоящий — вы мне не предлагаете?

Бескрайний. Ах, Сура...

Давид. Она шутит, Иван. Благодарю вас, но я не могу выпить столько и попробую у каждого. Очень-очень хорошая вода, Сонка! Вы открыли секрет и скоро разбогатеете.

Сонка. Я кладу немножко больше соды, Давид.

Странник *(Анатэме тихо)*. Правда ли, вы — близкий друг Давида Лейзера и скажете мне это? Правда ли, что он хочет построить...

Анатэма. Зачем так громко! Отойдем немного к стороне.

Шепчутся. Анатэма отрицательно кивает головой,— он правдив,— но улыбается и гладит старика по спине. И видно, что старик не верит ему. В течение дальнейшего Анатэма понемногу уводит музыкантов, шарманщика и народ за столбы, где их не видно — но слышен шум, восклицания, смех, короткие звуки как бы настраиваемых инструментов. Немногие оставшиеся почтительно беседуют с Давидом.

Хессин. Правда ли, Давид, что вы с Сурою уезжаете в Иерусалим, святой город, о котором мы можем только мечтать?

Давид. Да, это правда, Абрам. Хотя я стал здоровее и уже совсем не болит у меня грудь...

Хессин. Но это же чудо, Давид?

Давид. Радость дает здоровье, Абрам, а служение Богу укрепляет его. Но все же нам с Сурою недолго жить и хотелось бы отдохнуть взорами на невиданной красоте Божией земли. Но зачем, старый друг, ты снова говоришь мне «вы», неужели ты еще не простил меня?

Хессин *(испуганно)*. Ой, не говорите, Давид. Если вы потребуете: скажи мне «ты» или убей себя, то я лучше себя убью, а «ты» не скажу. Вы — не простой человек, Давид.

Давид. Да. Я не простой человек. Я счастливый человек. Но где же веселый человек, Нуллюс, я что-то не вижу его. Ну, конечно, он готовит какую-нибудь шутку — я знаю его. Вот кто не омрачает лица земли унынием, Абрам, и не противится смеху, который на жизни, как роса на траве,

и в лучах солнца сверкает многоцветно. Ну, конечно, он шутит — вы послушайте.

За столбами играет музыка: оркестр и шарманка с великим азартом исполняют ту музыкальную вещь, которую раньше играла одна только шарманка. Звуки разорваны, немного дики, немного нелепы, но странно веселы. Бестолково свистит флейта, напоминая свист старой шарманки, что-то хрипит, и криво, забираясь куда-то в сторону, ухает труба. Одновременно с музыкою показывается и народ, идущий сюда,— это целое торжественное шествие. Во главе его, рядом с угрюмо шагающим шарманщиком, идет танцующим шагом Анатэма: через плечо, на ремне — шарманка, рукоятку которой он вертит с величайшим усердием, пронзительно подсвистывая, дирижируя свободной рукою и бросая по сторонам и к небу приятные взгляды. За ним быстро таким же танцующим шагом идут музыканты и развеселившиеся бедняки. Проходя мимо Давида, Анатэма изгибает голову в его сторону и как бы к нему обращает весь свист свой, музыку и веселье. И так же изогнув шеи по направлению к Давиду, проходят музыканты и народ. И с шутливою укоризной, улыбаясь, Давид покачивает головою и расправляет свою седую, огромную бороду. Процессия скрывается.

Сура *(растроганная)*. Какая красивая музыка! Как хорошо! Как торжественно! Давид, Давид, неужели все это — для тебя?

Давид. Для нас, Сура.

Сура. Ну, чтó я! Я только умею любить своих детей. А ты, а ты... *(С некоторым страхом.)* Вы — не простой человек, Давид!

Давид *(улыбаясь)*. Так, так. Ну кто же я,— губернатор или даже генерал?

Сура. Не шутите, Давид. Вы — не простой человек!

Странник, который все время оставался здесь и видел торжественную процессию, теперь прислушивается к словам Суры и утвердительно кивает головою. Появляется веселый, несколько запыхавшийся Анатэма.

Анатэма. Ну как, Давид? По-моему, очень недурно. Прошли очень хорошо — я даже не ожидал! Только эта дурацкая труба!..

Танцующнм шагом, насвистывая, снова проходит перед Давидом, как бы восстанавливая в его памяти происшедшее. Хохочет.

Давид *(благосклонно)*. Да, Нуллюс. Музыка была очень хорошая. Я еще никогда не слыхал такой. Благодарю тебя, Нуллюс — своею шуткою ты доставил большое удовольствие народу.

Анатэма *(к страннику)*. А тебе понравилось, старик?

Странник. Понравилось. Ничего себе. Но то ли еще будет, когда все народы земли склонятся у ног Давида Лейзера.

Давид (*изумленно*). Что он говорит, Нуллюс?

Анатэма. Ах, Давид! Это даже трогательно: люди влюблены в вас, как невеста в жениха. Этот удивительный человек, пришедший за тысячу верст...

Странник. Больше.

Анатэма. Спрашивал меня: не творит ли Давид Лейзер чудес? Ну,— а я засмеялся, я засмеялся.

Хессин. И меня он спрашивал о том же, но мне не было смешно: длинно ухо ожидающего — ему поют и камни.

Странник. Только шаг короток у слепого, а мысли у него долги.

Отходит и в дальнейшем, как тень, следит за Давидом. Уже близко к закату солнце и обнимает землю тенями. Великой тишиной прощания исполнен воздух, и сонно ложится пыль,— розовая, теплая, познавшая солнце. Завтра, серую, поднимут ее тяжелые колеса, немые таинственные шаги шествующих призрачио явятся и исчезнут, и развеет ее ветер и унесет вода — сегодня она лучится, расцветает пышно, покоится в мире и красоте, розовая, теплая, познавшая солнце.

Абрам Хессин прощается с Давидом и уходит. Торговцы собирают товар, готовятся закрывать лавки. Тишина и покой.

Анатэма (*отдуваясь*). Фу, наконец-то! Ну и поработали мы с вами, Давид,— одна эта труба (*закрывает уши*) чего стóит. (*Откровенно.*) Мое несчастье, Давид,— это ужасно тонкий, невыносимо тонкий слух, почти, да, почти как у собаки. Стоит мне услышать...

Давид. Я очень устал, Нуллюс, и хочу отдохнуть. И мне бы не хотелось сегодня видеть людей, и вы не обидитесь, мой старый друг...

Анатэма. Я понимаю. Я только провожу вас.

Давид. Идем же, Сура,— вдвоем с тобою в покое и радости хочу я провести остаток этого великого дня.

Сура. Вы не простой человек, Давид. Как вы догадались о том, чего я хочу?

Уходят по направлению к столбам. Давид останавливается, смотрит назад и говорит, опираясь рукою на плечо Суры.

Давид. Взгляни, Сура: вот место, где прошла наша жизнь,— как оно печально и бедно, Сура, бесприютностью пустыни дышит оно. Но не здесь ли, Сура, узнал я великую правду о судьбе человека? Я был нищ, одинок и близок к смерти, глупый, старый человек, у морских волн искавший ответа. Но вот пришли люди — и разве я одинок? Разве

я нищ и близок к смерти? Послушайте меня, Нуллюс: смерти нет для человека. Какая смерть? Что такое смерть? Кто, печальный, выдумал это печальное слово — смерть? Может быть, она и есть, я не знаю — но я, Нуллюс... я бессмертен.

Как бы пораженный светлым ударом, сгибается, но руки поднимает вверх.

— Ой, как страшно: я бессмертен! Где конец небу — я потерял его. Где конец человеку — я потерял его. Я — бессмертен. Ох, больно груди человека от бессмертия, и жжет его радость, как огонь. Где конец человеку — я бессмертен! Адэной! Адэной! Да славится во веки веков таинственное имя Того, Кто дает бессмертие человеку.

Анатэма *(торопливо)*. Имя! Имя! Ты знаешь его имя? Ты обманул меня.

Давид *(не слыша)*. Безграничной дали времен отдаю я дух человека: да живет он бессмертно в бессмертии огня, да живет он бессмертно в бессмертии света, который есть жизнь. И да остановится мрак перед жилищем бессмертного света. Я счастлив, я бессмертен — о Боже!

Анатэма *(в исступлении)*. Это ложь! О, докуда же я буду слушать этого глупца. Север и юг, восток и запад, я зову вас! Скорее, сюда, на помощь к дьяволу! Четырьмя океанами слез хлыньте сюда и в пучине своей схороните человека! Сюда! Сюда!

Никто не слышит воплей Анатэмы: ни Давид, весь озаренный восторгом бессмертия, ни Сура, ни другие люди, приковавшие свое внимание к его торжественно светлому лику и воздетым к небу рукам. Одиноко мечется Анатэма, заклиная. Слышится крик,— и на дорогу со стороны города выбегает женщина, раскрашенная страшно, подобно тому, как язычники раскрашивают трупы умерших. Чьей-то злой рукой истерзаны ее одежды, ужасные в дешевой нарядности своей, и обезображено красивое лицо. Она кричит и плачет и зовет дико.

Женщина. О Боже! Да где же Давид, раздающий богатство? Два дня и две ночи, два дня и две ночи по всему городу я ищу его, и молчат дома, и люди смеются. О, скажите мне, добрые,— не видали ль Давида, не видали ль Давида, радующего людей? О, но не смотрите же на мою открытую грудь — это злой человек разорвал мне одежды и окровянил мое лицо. О, да не смотрите же на мою открытую грудь: она не знала счастья питать невинные уста.

Странник. Давид здесь.

Женщина *(падая на колени)*. Давид здесь? О,

сжальтесь надо мною, люди, и не обманывайте меня: я ослепла от обмана и от лжи оглохла я. Так ли я слышу,— Давид здесь?

Бескрайний. Да вон он стоит. Но ты опоздала, он уже роздал богатство.

Пурикес. Он уже роздал богатство.

Женщина. Что же вы делаете со мной, люди! Два дня и две ночи искала я его, и меня обманывали, и вот я пришла поздно. Тогда я умру на дороге — мне некуда больше идти.

Бьется в слезах на пыльной дороге.

Анатэма. Кажется, к тебе пришли, Давид.

Давид *(подходя)*. Что надо этой женщине?

Женщина *(не поднимая головы)*. Это ты, Давид, радующий людей?

Странник. Да, это он.

Давид. Да, это я.

Женщина *(не поднимая головы)*. Я не смею взглянуть на тебя. Ты должен быть, как солнце. *(Нежно и доверчиво.)* О Давид, как я долго искала тебя... Меня все обманывали люди. Говорили, что ты уехал, что тебя нет совсем и не было никогда. Один мужчина сказал мне, что он Давид, и он показался мне добрым, и он поступил со мною, как грабитель.

Давид. Встань.

Женщина. О, дай мне отдохнуть у твоих ног. Как птица, перелетевшая море,— я избита дождем, я измучена бурями, я устала смертельно. *(Плачет; доверчиво.)* Теперь я спокойна, теперь я счастлива: я у ног Давида, радующего людей.

Давид *(нерешительно)*. Но ты опоздала, женщина. Я уже роздал все, что имел, и у меня нет ничего.

Анатэма *(развязно)*. Да! Все деньги розданы нами. Иди себе домой, женщина,— у нас нет ничего. Нам жаль тебя — но ты опоздала. Понимаешь — опоздала! Только сегодня утром мы отдали последнюю копейку.

Давид. Не так жестоко, Нуллюс.

Анатэма. Но ведь это же правда, Давид!

Женщина *(недоверчиво)*. Этого не может быть. *(Поднимая глаза.)* Это ты, Давид? Какой ты добрый. Это ты сказал, что я опоздала? Нет, это он — у него злое лицо. Давид, дай мне, пожалуйста, немного денег и спаси меня. Я устала смертельно. А вас зовут Сура? Вы жена его? О вас я также слыхала. *(Подползает к ней и целует ей платье.)* Заступитесь за меня, Сура.

Сура *(плача)*. Дай ей денег, Давид. Встань милая, тут очень пыльно, а у тебя такие красивые черные волосы. Посиди тут, отдохни. Давид сейчас даст тебе денег.

Поднимает женщину и сажает подле себя на камень и прижимает к своей груди ее голову; ласкает.

Давид. Но что же мне делать? *(Растерянно, вытирая красным платком лицо.)* Но что же мне делать, Нуллюс? Ты такой умный человек, помоги мне.

Анатэма *(разводя руками)*. Ей-Богу, не знаю. Вот запись — у нас нет ни копейки, и я честный адвокат, а не фальшивый монетчик, чтобы ежедневно доставлять вам наследства из Америки. *(Насвистывает.)* Мне нечего делать, и я гуляю по миру.

Давид *(возмущенно)*. Это жестоко, Нуллюс. Я не ожидал этого от вас. Но что же делать, что же делать?

Анатэма пожимает плечами.

Сура. Посиди здесь, милая, я сейчас. Давид, отойдите со мною в сторону — мне нужно сказать вам.

Отходят и шепчутся.

Анатэма. Вас сильно били, женщина? По-видимому, это был не очень ловкий человек, который вас бил,— он-таки не выбил глаза, как хотел.

Женщина *(закрываясь волосами)*. Не смотрите на меня, люди.

Сура. Нуллюс, подите-ка сюда.

Анатэма *(подходя)*. Здесь, госпожа Лейзер.

Давид *(тихо)*. Сколько у нас денег, Нуллюс, чтобы доехать до Иерусалима?

Анатэма. Триста рублей.

Давид. Отдайте их женщине. *(Улыбаясь и плача.)* Сура не хочет уезжать в Иерусалим. Она хочет торговать здесь до самой смерти. Какая глупая женщина, не правда ли, Нуллюс?

Сдержанно плачет.

Сура. Тебе очень больно, Давид? Ты так хотел поехать.

Давид. Какая глупая женщина, Нуллюс. Она не понимает, что я тоже хочу торговать. *(Плачет.)*

Анатэма *(растроганно)*. Вы — не простой человек, Давид!

Давид. Это была моя мечта, Нуллюс, умереть в святом городе и приобщить свой прах к праху праведников,

там погребенных. Но *(улыбается)* разве не везде добра земля к мертвецам своим? Отдайте деньги бедной женщине. Мне стало весело. Ну так как же, Сура? Нужно открывать лавочку и поучиться у Сонки, как делать хорошую содовую воду.

Анатэма *(торжественно)*. Женщина! Давид, радующий людей, дает тебе деньги и счастье.

Бескрайний *(Сонке.)* Я же говорил тебе, что еще не все деньги розданы. У него миллионы!

Странник *(прислушиваясь)*. Так, так. Разве может Давид отдать все? Он только начал отдавать.

Женщина благодарит Давида и Суру; видно, как растроганный Давид кладет руки на голову коленопреклоненной женщины, как бы благословляя ее. За спиною его, со стороны поля, показывается на дороге что-то серое, запыленное, медленно и тяжело ползущее. В молчании подвигается оно, и трудно поверить, что это люди — так сравняла их серая придорожная пыль, так побратала их нужда и страдание. Что-то тревожное есть в их глухом, непреклонном движении — и беспокойно приглядываются к ним люди с этой стороны.

Бескрайний. Кто это идет по дороге?

Сонка. Что-то серое ползет по дороге! Если это люди, то они не похожи на людей!

Пурикес. Ой, мне страшно за Давида! Он стоит к ним спиною и не видит. А они идут, как слепые.

Сонка. Они сейчас сомнут его. Давид, Давид, оглянитесь.

Анатэма. Поздно, Сонка! Давид вас не услышит.

Пурикес. Но кто это? Я боюсь их.

Странник. Это — наши! Это слепые с нашей стороны пришли за зрением к Давиду! *(Громко.)* Стойте, стойте, вы пришли! Давид среди вас!

Слепые, уже почти смявшие испуганного Давида, который тщетно пытается противостоять наплывающей волне, останавливаются и ищут безгласно. Бессильно тянутся серыми руками, нащупывая мертвое пространство; некоторые уже отыскали Давида и быстро обегают его чуткими пальцами — и голосами, подобными стону листвы под осенним ветром, еле колеблют застывший воздух. Быстро наступившие сумерки скрадывают очертания предметов и съедают краски; и видно что-то безлицее, шевелящееся смутно, тоскующее тихо.

Слепые. Где Давид? — Помогите найти Давида.— Где Давид, радующий людей? — Он здесь. Я уже чувствую его пальцами моими.— Это ты, Давид? — Где Давид? — Где Давид? — Это ты, Давид?

Испуганные голоса из тьмы.

Давид. Это я, Давид Лейзер. Что вам надо от меня?

Сура *(плача)*. Давид, Давид, где ты? Я не вижу тебя.

Слепые *(смыкаясь)*. Вот Давид.— Это ты, Давид? — Давид.— Давид.

Занавес

ПЯТАЯ КАРТИНА

Высокая, строгая, несколько мрачная комната — кабинет Давида Лейзера в богатой вилле, где он доживает последние дни. В комнате два больших окна: одно, напротив, выходит на дорогу к городу; другое, в левой стене, выходит в сад. У этого окна большой рабочий стол Давида, в беспорядке заваленный бумагами: тут и маленькие листки с прошениями от бедных, записочки, наскоро сшитые длинные тетради; тут и большие толстые книги, похожие на бухгалтерские. Под столом и возле него клочки разорванных бумаг; распластавшись и подвернув под себя листы, похожие на крышу дома, который разваливается, валяется корешком вверх огромная Библия в старинном кожаном переплете. Несмотря на жару, в камине горят дрова — у Давида Лейзера лихорадка, ему холодно.

Вечереет. Сквозь опущенные завесы в окна еще пробивается слабый сумеречный свет, но в комнате уже темно. И только маленькая лампочка на столе выхватывает из мрака белые пятна двух седых голов: Давида Лейзера и Анатэмы.

Давид сидит за столом. Давно нечесанные седые волосы и борода придают ему дикий и страшный вид; лицо измучено, глаза открыты широко; схватившись обеими руками за голову, он напряженно вглядывается сквозь большие очки-лупы в стальной оправе в исчерченную карандашом бумагу, отбрасывает ее, хватается за другую, судорожно перелистывает толстую книгу. И, держась рукою за спинку его кресла, стоит над ним Анатэма. Он как будто не замечает Давида — так он неподвижен, задумчив и строг. Шутки кончились, и, как жнец перед жатвою, уходит он взором в тревожную безграничность полей.

Окна закрыты, но сквозь стекла и стены доносится сдержанный гул и отдельные вскрики. И медленно нарастает он, колеблясь в силе и страстности: то призванные Давидом осаждают жилище его.

Молчание.

Давид. Оно распылилось, Нуллюс! Гора, достигавшая неба, раскололась на камни, камни превратились в пыль, и ветер унес ее — где же гора, Нуллюс? Где же миллионы, которые ты мне принес? Вот уже час я ищу в бумагах копейку, одну только копейку, чтобы дать ее просящему, и ее нет... Что это валяется там?

Анатэма. Библия.

Давид. Нет, нет, вон там, в бумагах? Подай сюда. Это ведомость, которую, кажется, я еще не смотрел. Вот будет счастье, Нуллюс! *(Напряженно смотрит.)* Нет, все пере-

черкнуто. Смотри, Нуллюс, смотри: сто, потом пятьдесят, потом двадцать,— потом одна копейка. Но не могу же я отнять у него копейку?

Анатэма. Шесть, восемь, двадцать — верно.

Давид. Да нет же, Нуллюс: сто, пятьдесят, двадцать — копейка. Оно распылилось, оно утекло сквозь пальцы, как вода. И уже сухи пальцы — и мне холодно, Нуллюс!

Анатэма. Здесь жарко.

Давид. Я тебе говорю, Нуллюс, здесь холодно. Подбрось поленьев в камин... Нет, погоди.— Сколько стоит полено?.. О, оно стоит много, отложи его, Нуллюс,— этот проклятый огонь пожирает дерево так легко, как будто не знает он, что каждое полено — жизнь. Постой, Нуллюс... у тебя прекрасная память, ты не забываешь ничего, как книга,—не помнишь ли ты, сколько я назначил Абраму Хессину?

Анатэма. Сначала пятьсот.

Давид. Ну да, Нуллюс,— он же мой старый друг, мы играли вместе! И для друга это совсем немного — пятьсот. Ну да, конечно, он мой старый друг, и, наверно, я пожалел его и до конца оставил ему больше, нежели другим,— ведь дружба такое нежное чувство, Нуллюс. Но нехорошо, если из-за друга человек обижает чужих и далеких — у них нет друзей и защиты. И мы урежем у Абрама Хессина, мы совсем немного урежем у Хессина... *(Со страхом.)* Скажи, сколько теперь я назначил Абраму?

Анатэма. Одну копейку.

Давид. Этого не может быть! Скажи, что ты ошибся! Пожалей меня и скажи, что ты ошибся, Нуллюс! Этого не может быть — Абрам мой друг — мы с ним играли вместе. Ты понимаешь, что это значит, когда дети играют вместе, а потом они вырастают, и у них становятся седые бороды, и вместе улыбаются они над минувшим. У тебя также седая борода, Нуллюс...

Анатэма. Да, у меня седая борода. Ты назначил Абраму Хессину одну копейку.

Давид *(хватает Анатэму за руку, шепотом)*. Но она сказала, что ребенок умрет, Нуллюс,— что он уже умирает. Пойми же меня, мой старый друг: мне необходимо иметь деньги. Ты такой славный, ты *(гладит ему руку)* такой добрый, ты помнишь все, как книга,— поищи еще немного.

Анатэма. Опомнись, Давид, тебе изменяет разум. Уже двое суток ты сидишь за этим столом и ищешь то, чего нет. Выйди к народу, который ждет тебя, скажи ему, что у тебя нет ничего, и отпусти.

Давид *(гневно)*. Но разве уже десять раз не выходил я к народу и не говорил им, что у меня нет ничего? — Ушел ли хоть один из них? Они стоят и ждут, и тверды в горе своем, как камень, настойчивы, как дитя у груди матери. Разве спрашивает дитя, есть ли в груди матери молоко? Оно хватает сосцы зубами и рвет их беспощадно. Когда я говорю, они молчат и слушают, как разумные; когда же умолкаю я — в них вселяется бес отчаяния и нужды и вопит тысячью голосов. Не все ли я им отдал, Нуллюс? Не все ли выплакал я слезы? Не всю ли кровь из сердца я отдал им? — Чего же они ждут, Нуллюс? Чего они хотят от бедного еврея, который уже истощил свою жизнь?..

Анатэма. Они ждут чуда, Давид.

Давид *(вставая, со страхом)*. Молчи, Нуллюс, молчи — ты искушаешь Бога. Кто я, чтобы творить чудеса? Опомнись, Нуллюс. Могу ли я из одной копейки сделать две? Могу ли я подойти к горам и сказать: горы земли, станьте горами хлеба и утолите голод голодных? Могу ли я подойти к океану и сказать: море воды, соленой, как слезы, стань морем молока и меда и утоли жажду жаждущих? Подумай, Нуллюс!

Анатэма. Ты видел слепых?

Давид. Только раз я осмелился поднять глаза — но я видел странных серых людей, которым плюнул кто-то белым в глаза, и они ощупывают воздух, как опасность, и земли боятся, как страха. Чего им надо, Нуллюс?

Анатэма. Видел ли ты больных и увечных, у которых не хватает членов, и они ползают по земле? Из-под земли выходят они, как кровавый пот,— трудится ими земля.

Давид. Молчи, Нуллюс!

Анатэма. Видел ли ты людей, которых жжет совесть: темно их лицо, и как бы огнем опалено оно, а глаза окружены белым кольцом и бегают по кругу, как бешеные кони? Видел ли ты людей, которые смотрят прямо, а в руках имеют длинные посохи для измерения пути? — Это ищущие правды.

Давид. Я не смел глядеть больше.

Анатэма. Слышал ли ты голос земли, Давид?

Входит Сура и боязливо приближается к Давиду.

Давид. Это ты, Сура? Затворяй двери крепко, не оставляй щели за собою. Чего тебе надо, Сура?

Сура *(со страхом и верою)*. Разве не все еще готово, Давид? Поторопись же и выйди к народу: он уже устал ждать, и многие боятся смерти. Отпусти этих, ибо идут

новые, Давид, и уже скоро не останется места, где бы мог стать человек. И уже истощилась вода в фонтанах, и не несут из города хлеба, как ты приказал, Давид.

Д а в и д *(поднимая руки, с ужасом)*. Проснись, Сура, лукавыми сетями опутал тебя сон, и безумием любви отравлено сердце. Это я, Давид!.. *(Со страхом.)* И я не приказывал принести хлеба.

С у р а. Если еще не готово, Давид, то они могут подождать. Но прикажи зажечь огни и дать постилок для женщин и детей; ибо уже скоро наступит ночь и охолодеет земля. И прикажи дать детям молока — они голодны. Там, вдали, мы слышали топот многочисленных ног: то не стада ли коров и коз, у которых вымя отвисло от молока, гонят сюда по твоему приказу?

Д а в и д *(хрипло)*. О Боже мой, Боже!..

А н а т э м а *(Суре тихо)*. Уйдите, Сура. Давид молится. Не мешайте его молитве.

Сура так же боязливо и осторожно уходит

Д а в и д. Пощады! Пощады!

Гул за окнами утихает — затем сразу становится шумным и грозным: это Сура возвестила народу, что необходимо ждать еще

Д а в и д *(падая на колени)*. Пощады! Пощады!

А н а т э м а *(повелительно)*. Встань, Давид! Будь мужем перед лицом великого страха. Не ты ли призвал их сюда? Не ты ли голосом любви громко воззвал в безмолвие и тьму, где почивает неизреченный ужас? И вот они пришли к тебе — север и юг, восток и запад, и четырьмя океанами слез легли у ног твоих. Встань же, Давид! *(Поднимает Давида.)*

Д а в и д. Что же мне делать, Нуллюс?

А н а т э м а. Скажи им правду.

Д а в и д. Что же мне делать, Нуллюс? Не взять ли мне веревку и, повесив на дереве, не удавиться ли мне, как тому, кто предал однажды? Не предатель ли я, Нуллюс, зовущий, чтобы не дать, любящий, чтобы погубить? Ой, как болит сердце!.. Ой, как болит сердце, Нуллюс! Ой, холодно мне, как земле, покрытой льдом, а внутри ее жар и белый огонь. Ой, Нуллюс,— видал ли ты белый огонь, на котором чернеет луна и солнце сгорает, как желтая солома! *(Мечется.)* Ой, спрячь меня, Нуллюс. Нет ли темной комнаты, куда не проник бы свет, нет ли таких крепких стен, где не слышал бы я этих голосов? Куда зовут они меня? Я же старый больной человек, я же не могу мучиться так долго ... меня

же самого были маленькие дети, и разве не умерли они? Как их звали, Нуллюс? Я забыл. Кто этот, кого зовут Давид, радующий людей?

Анатэма. Так звали тебя, Давид Лейзер. Ты обманут, Лейзер, ты обманут, как и я!

Давид *(умоляя)*. Ой, заступитесь же за меня, господин Нуллюс. Пойдите к ним и скажите громко, чтобы все слышали: Давид Лейзер — старый больной человек, и у него нет ничего. Они вас послушают, господин Нуллюс, у вас такой почтенный вид, и они уйдут по домам.

Анатэма. Так, так, Давид. Вот уже ты видишь правду и скоро скажешь ее людям. Х-ха! Кто сказал, что Давид Лейзер может творить чудеса?

Давид *(складывая руки)*. Да, да, Нуллюс.

Анатэма. Кто смеет требовать от Лейзера чудес, разве он не старый больной человек — смертный, как и все?

Давид. Да, да, Нуллюс, человек.

Анатэма. Не обманула ли Лейзера любовь? Она сказала: я сделаю все — и только пыль подняла на дороге, как слепой ветер из-за угла, который вырывается с шумом и ложится тихо... который слепит глаза и тревожит сон. Так пойдите же к Тому, Кто дал Давиду любовь, и спросите Его: зачем Ты обманул брата нашего Давида?

Давид. Да, да, Нуллюс! Зачем человеку любовь, когда она бессильна? Зачем жизнь, если нет бессмертия?

Анатэма *(быстро)*. Выйди и скажи им это — они послушают тебя. Они поднимут свой голос к небу, и мы услышим ответ неба, Давид! Скажи им правду, и ты поднимешь землю.

Давид. Я иду, Нуллюс! И я скажу им правду,— я никогда не лгал. Открой двери, Нуллюс.

Анатэма поспешно распахивает дверь на балкон и почтительно пропускает Давида, который идет, нахмурившись, поступью медленной и важной. Закрывает за Давидом дверь. Мгновенный рев сменяется могильной тишиной, в которой невнятно и слабо дрожит голос Давида. И в исступлении мечется по комнате Анатэма.

Анатэма. А! Ты не хотел слушать меня — так послушай же их. А! Ты заставлял меня ползать на брюхе, как собаку. Ты не позволял мне заглянуть даже в щель!.. Ты молчанием смеялся надо мною!.. Неподвижностью убивал меня. Так слушай же — и возрази, если можешь. Это не дьявол говорит с Тобою, это не сын зари возвышает свой смелый голос — это человек, это Твой любимый сын, Твоя забота, Твоя любовь, Твоя нежность и гордая надежда... извивается под Твоею пятою, как червь. Ну? Молчишь? Солги

ему громом, молниями обмани его, как смеет смотреть он в небо? Пусть, как Анатэма... *(Ноет.)* Бедный, обиженный Анатэма, который ползает на брюхе, как собака... *(Яростно.)* Пусть снова уползет человек в свою темною нору, сгинет в безмолвии, схоронится во мраке, где почивает неизреченный ужас!

За окнами снова многоголосый рев.

Анатэма. Слышишь? *(Насмешливо.)* Это не я. Это — они. Шесть, восемь, двадцать — верно. У дьявола всегда верно...

Распахивается дверь, и вбегает Давид, охваченный ужасом. За ним волною врывается крик. Давид запирает дверь и придерживает ее плечом.

Давид. Помогите, Нуллюс! Они сейчас ворвутся сюда — дверь такая непрочная, они сломают ее.

Анатэма. Что они говорят?

Давид. Они не верят, Нуллюс. Они требуют чуда. Но разве мертвые кричат? — Я видел мертвых, которых принесли они.

Анатэма *(яростно)*. Тогда солги им, еврей!

Давид отходит от двери и говорит таинственно в смущении и страхе.

Давид. Вы знаете, Нуллюс, со мною что-то делается: у меня нет ничего, но вот вышел я к ним, но вот увидел я их и вдруг почувствовал, что это неправда,— у меня есть что-то. И говорю — а сам не верю, говорю — а сам стою с ними и кричу против себя и требую яростно. Устами я отрекаюсь, а сердцем обещаю, а глазами кричу: да, да, да.— Что же делать, Нуллюс? Скажите, вы знаете наверное: у меня нет ничего?

Анатэма улыбается. За дверью справа голос Суры и стук.

Сура. Впустите меня, Давид.

Давид. О, не открывайте дверь, Нуллюс.

Анатэма. Это жена твоя, Сура.

Отворяет. Входит Сура, ведя за руку бедную женщину, у которой что-то на руках.

Сура *(кротко)*. Простите, Давид. Но эта женщина говорит, что она больше не может ждать. Она говорит, что если вы помедлите еще немного, то она не узнает в воскресшем своего ребенка. Если вам нужно знать имя — то его звали Мойше, маленький Мойше. Он черненький — я смотрела.

Женщина *(падая на колени)* Простите, Давид, что я отнимаю очередь у людей Но там есть, которые умерли недавно, а я уже три дня и три ночи несу его на груди. Может быть, вам нужно на него взглянуть? Тогда я открою — ведь я не обманываю вас, Давид.

Сура. Я уже смотрела, Давид. Она мне давала его подержать. Она очень устала, Давид.

Простерши руки ладонями вперед, Давид медленно отступает, пока не натыкается на стену Так и остается с протянутыми руками.

Давид. Пощады! Пощады! *Обе женщины ждут терпеливо.)* Что же мне делать? Я изнемогаю, о Боже. Нуллюс, скажите им, что я не воскрешаю мертвых

Женщина. Я умоляю вас, Давид. Разве я прошу вас, чтобы вы вернули жизнь старому человеку, который уже много жил и заслужил смерть дурными делами? Разве я не понимаю, кого можно воскрешать и кого нельзя? Но, может быть, вам трудно, потому что он умер так давно? — Я не знала этого,— простите меня, но я же обещала ему, когда он умирал: — не бойся, Мойше, умирать — Давид, радующий людей, вернет тебе твою маленькую жизнь.

Давид. Покажи мне его

Смотрит, качая головой, и плачет тихонько, вытираясь красным платком; и доверчиво, опершись на его плечо смотрит Сура.

Сура. Сколько ему лет?

Женщина. Два года, уже третий

Давид оборачивает к Анатэме заплаканное почти безумное лицо и говорит чужим голосом

Давид. Не попробовать ли мне, Нуллюс? *(Но вдруг сгибается и кричит хрипло.)* Адэной!. Адэной!.. Прочь отсюда! Прочь! Тебя прислал дьявол. Да скажите же им, Нуллюс, что я не воскрешаю мертвых Они смеяться надо мною пришли! Смотрите, вон они хохочут обе Прочь отсюда! Прочь!

Анатэма *(Суре тихо)*. Уходите, Сура, и уведите женщину. Давид еще не совсем готов.

Сура *(шепотом)*. Я проведу ее к себе. Тогда скажите Давиду, что она в моей комнате *(К женщине.)* Пойдемте, женщина,— Давид еще не совсем готов

Уходят Давид в изнеможении садится на кресло и бессильно опускает седую голову. Тихонько причитает что-то.

Анатэма. Они ушли, Давид. Вы слышите, они ушли

Давид. Вы видели, Нуллюс: это был мертвый младенец? Ай-ай-ай-ай, это был мертвый, мертвый, мертвый младенец. Мойше... Ну да, Мойше, черненький; мы его смотрели... *(Громко, в тоске и отчаянии.)* Что же мне делать? Научите меня, Нуллюс.

Анатэма *(быстро)*. Бежать.

Прислушивается к тому, что делается за окном, утвердительно кивает головой и медленно, с осторожностью заговорщика приближается к Давиду; и со сложенными молитвенно руками, с растерянно-доверчивой улыбкою ждет его приближения Давид. Спина его по-стариковски согнута, он часто вынимает свой красный платок, но не знает, что с ним делать.

Анатэма *(горячим шепотом)*. Бежать, Давид, бежать.

Давид *(радостно)*. Да, да, Нуллюс,— бежать.

Анатэма. Я спрячу тебя в темной комнате, которой никто не знает; а когда они уснут, утомленные ожиданием и голодом, я проведу тебя среди спящих — и спасу тебя.

Давид *(радостно)*. Да, да, спаси меня.

Анатэма. А они будут ждать! Спящие, они будут ждать и грезить грезами великого ожидания,— а тебя уже нет!

Давид *(радостно кивая головой)*. А меня уже нет, Нуллюс. Я уже убежал, Нуллюс. *(Хохочет.)*

Анатэма *(хохочет)*. А тебя уже нет! Ты уже убежал! Пусть же тогда поговорят они с небом.

Смотрят друг на друга и хохочут.

Анатэма *(дружески)*. Так подожди меня, Давид. Я сейчас выйду и посмотрю: свободен ли дом. Ведь они такие безумцы!

Давид. Да, да, посмотри. Ведь они такие безумцы! А я пока приготовлюсь, Нуллюс... Но, прошу тебя, не оставляй меня долго одного.

Анатэма выходит. Давид осторожно, на цыпочках подходит к окну и хочет заглянуть, но не решается; идет к столу — но пугается разбросанных бумаг и, стараясь не наступить ни на одну из них, словно танцуя среди мечей, пробирается к углу, где висит его платье; торопливо, путая одежду, начинает одеваться. Долго не знает, что делать ему с бородою, и, догадавшись, начинает запихивать ее за борты сюртука, скрывать под сюртуком.

Давид *(бормочет)*. Ну да. Нужно спрятать бороду. Все дети знают мою бороду. Но только зачем они не вырвали ее? Так, так, борода... Но какой черный сюртук! Ничего, ничего, ты ее спрячешь. Так, так. У Розы было зеркало... Но Роза убежала, а Наум тоже умер, а Сура... Ах,

ну что же не идет Нуллюс. Разве он не слышит, как они кричат?..

В дверях осторожный стук.

Давид *(испуганно)*. Кто там? Давида Лейзера здесь нет.

Анатэма. Это я, Давид, впусти. *(Входит.)*

Давид. Ну как, Нуллюс? — не правда ли, меня совсем нельзя узнать?

Анатэма. Очень хорошо, Давид. Но только я не знаю, как мы выйдем: Сура весь дом наполнила гостями: во всех комнатах, где я ни был, вас с приятною улыбкой ждут слепые, увечные; есть и умирающие, есть и совсем мертвые, Давид. Ваша Сура великолепная женщина, но она слишком хозяйка, Давид, и намерена сделать прекрасное хозяйство из чудес.

Давид. Но она не смеет, Нуллюс!

Анатэма. Многие уже спят у ваших дверей и улыбаются во сне — самоуверенные счастливцы, сумевшие опередить других... А в саду и во дворе...

Давид *(со страхом)*. Что еще во дворе?

Анатэма. Тише, Давид. Смотрите и слушайте.

Гасит в комнате огонь и затем раздергивает драпри: четыреугольники окон наливаются дымно-красным, клубящимся светом; в комнате темно,— но все белое: голова Давида, разбросанные листки бумаги, окрашивается слабым кровяным цветом.

И уродливые, дымно-багровые тени безмолвно движутся по потолку; машут руками, сталкиваются, вдруг сплетаются в длинную вереницу, не то бегут быстро, не то предаются дикому и страшному танцу. А из глубокой дали приносится новый, еще не слышанный гул — если бы море вышло из берегов и двинулось на сушу, то так бы грохотало оно: сдержанно, неотвратимо и грозно.

Давид *(испуганно, шепотом)*. Что это за огонь, Нуллюс? Мне страшно.

Анатэма *(также шепотом)*. Ночь холодна, и они зажгли костры. Сура сказала, что ждать еще долго, и они приняли меры.

Давид. Откуда они взяли дерево?

Анатэма. Что-нибудь сломали. Сура сказала, что ты приказал развести костры, и они покорно жгут дерево, какое есть... А там, Давид, дальше, еще дальше...

Давид *(в отчаянии)*. Что, Нуллюс? Что может быть еще дальше, еще дальше?

Анатэма. Не знаю, Давид. Но из верхнего окна, открытого широко, я слышал как бы рев океана в час прибоя, когда дрожат от боли скалы; как бы рев медных труб

слышал я, Давид,— они кричат к небу и к вам и зовут вас... Вы слышите?

В сдержаном гуле и хаосе звуков как бы вычерчивается протяжно и долго: Да-а-ви-и-д, Да-а-ви-и-д, Д-а-а-ви-и-д.

Давид. Я слышу свое имя. Кто это? Чего им надо?

Анатэма. Не знаю. Быть может, они хотят венчать тебя на царство.

Давид. Меня?

Анатэма. Тебя, Давид Лейзер. Быть может, они несут могущество и власть — и силу творить чудеса — не хочешь ли стать их богом, Давид? Смотри и слушай.

Распахивает окна. И сразу, в клубах огненного дыма победной и сильной волной вливается отдаленная музыка — медный крик многочисленных труб, которые несут в высоко приподнятых руках, ибо к земле и небу обращен их призывный вопль. Смолкают трубы. Топот движущихся полчищ, призывный вопль бесчисленных голосов: Да-а-ви-и-д, Да-а-ви-и-д — переходит в аккорды, становится песней. И снова трубы. И снова настойчивый, грозный и властный призыв:

— Да-а-ви-и-д, Да-а-ви-и-д.

При первых звуках труб Давид, пошатнувшись, прижался к стене; затем шаг за шагом — все смелее — все быстрее — все прямее он подвигается к окну. Взглядывает — и, оттолкнув Анатэму, протягивает обе руки навстречу бедным земли.

Давид *(зовет)*. Сюда! Сюда! Ко мне. Я здесь. Я с вами.

Анатэма *(изумленно)*. Что? Ты их зовешь? — Ты — их — зовешь? Опомнись, Лейзер!

Давид *(гневно)*. Молчи — ты не понимаешь! Мы люди, и мы пойдем вместе! *(Восторженно.)* И мы пойдем вместе! Сюда, братья, сюда. Смотри, Нуллюс,— они подняли головы, они смотрят, они услышали. Сюда, сюда!

Анатэма. Ты будешь творить чудеса?

Давид *(гневно)*. Молчи — ты чужой. Ты говоришь, как враг Бога и людей. Ты не знаешь ни жалости, ни пощады. Мы истомились, мы устали — и уже мертвые устали ждать. Сюда — и мы пойдем вместе. Сюда!

Анатэма *(вглядываясь)*. Не слепые ли указывают им путь?

Давид. Кому же надо зрение, как не слепым? Сюда, слепые!

Анатэма *(вглядываясь)*. Не безногие ли бороздят дорогу и глотают пыль?

Давид. Кому же дорога, как не безногим? Сюда, увечные!

Анатэма *(вглядываясь)*. Не мертвых ли несут они на носилках, покачиваясь мерно? Всмотрись, Давид, и осмелься сказать: сюда, ко мне. Я тот, кто воскрешает мертвых...

Давид *(терзаясь)*. Ты не знаешь любви, Нуллюс.

Анатэма. Я тот, кто возвращает зрение слепым! *(В окно, громко.)* Сюда! Народы земли, взыскующие Бога, стекитесь все к ногам Давида — он здесь!

Давид. Тише.

Анатэма. Эй, сюда! Тоскующие матери — отцы, потерявшие рассудок от горя — братья и сестры, в корчах голода пожирающие друг друга... сюда, к Давиду, радующему людей.

Давид *(хватая его за плечо)*. Вы с ума сошли, Нуллюс. Они могут услышать и ворваться сюда — что вы делаете, вы подумайте, Нуллюс!

Анатэма *(кричит)*. Вас зовет Давид!

Давид *(с силой оттаскивая его от окна)*. Молчи! Я задушу тебя, если ты крикнешь хоть слово — собака!

Анатэма *(вырываясь)*. Ты глуп, как человек: когда я зову бежать, ты проклинаешь меня. Когда зову любить — ты меня душишь. *(Презрительно.)* Человек!

Давид *(дряхлея)*. Ой, не губите же меня, господин Нуллюс. Ой, простите же меня, если я разгневал вас, старый глупый человек, потерявший память. Но ведь я же не могу — я не могу творить чудес!

Анатэма. Бежим...

Давид. Да, да, бежим. *(С недоверием.)* Но куда? Куда хотите вести меня, Нуллюс? Разве есть место на земле, где не было бы... *(терзаясь)* Бога?

Анатэма. Я к Богу поведу тебя.

Давид. Я не хочу. Что скажет мне Бог? И что́ я отвечу Богу? И подумайте, Нуллюс, разве я могу теперь хоть что-нибудь ответить Богу?

Анатэма. Я поведу тебя в пустыню. Мы оставим здесь этих злых и порочных людей, одержимых чесоткою страданий и заваливающих столбы и ограды, как свиньи, которые чешутся.

Давид *(нерешительно)*. Но они же люди, Нуллюс.

Анатэма. Откажись от них и чистый стань в пустыне перед лицом Бога. Пусть камень будет твоим ложем, пусть воющий шакал станет другом твоим, пусть только небо и песок услышат покаянные стоны Давида — ни одного пятнышка чужого греха не выступит на чистом снеге его души. Кто остается с прокаженными, тот сам заболевает

проказою — и только в одиночестве узришь ты Бога. В пустыню, Давид, в пустыню.

Давид. Я буду молиться!

Анатэма. Ты будешь молиться.

Давид. Я изнурю тело постом!

Анатэма. Ты изнуришь тело постом.

Давид. Я посыплю голову пеплом!

Анатэма. Зачем? Так делают несчастные. Ты же будешь счастлив, Давид, в безгрешности твоей. В пустыню, Давид, в пустыню!

Давид. В пустыню, Нуллюс, в пустыню!

Анатэма *(поспешно)*. Бежим. Есть подвал, о котором никто не знает. Там валяются старые бочки и пахнет вином, и я спрячу тебя. А когда они уснут...

Давид. В пустыню! В пустыню!

Поспешно убегают. В комнате беспорядок и тишина. А в открытое окно, призывая, вновь несется крик медных труб, стоны и вопли поднявшейся земли: Да-а-ви-и-д! И, подогнув листы, как дом, который разваливается, корешком вверх лежит Библия.

Медленно опускается занавес

ШЕСТАЯ КАРТИНА

Всю ночь и часть следующего дня Давид Лейзер скрывался в заброшенной каменоломне, куда привел его Анатэма, знающий места дикие и недоступные для взоров. К вечеру же, по совету Анатэмы, они вышли из убежища на большую дорогу и направили свой путь к востоку; но уже первый человек, встретивший Давида, узнал его, так велика была слава Давида, и не было женщины, ребенка или взрослого мужчины, которые не видели бы его сами или не знали о нем по описаниям. И узнавший Давида закричал от радости и побежал к городу, радостно возвещая, что потерянный найден. И уже через короткое время несметные полчища бедняков, осаждавших жилище Давида и близких к отчаянию, двинулись в погоню; к ним присоединились люди больших дорог и деревень и все, кто ищет Бога. Полагая, что Давид бежал от народа не по своему желанию и воле, но был похищен князем Ужаса и Тьмы, бесчисленные друзья Давида решились отбить его у похитителя и предложить ему царство над всеми бедными земли.

Давид же, испуганный ревом надвигавшейся погони, припал к Анатэме, прося у него спасения или смерти. И Анатэма, свернув с большой дороги, ввел Давида в сеть маленьких тропинок, имеющих начало, но не имеющих конца, ибо кружатся они. Не было исхода, и уже начал отчаиваться Давид, когда хитрый Анатэма покинул наконец обманчивые тропинки; и вот пошли они прямо на гул далекого моря в надежде достать у рыбаков лодку и спастись или же погибнуть в волнах. И еще ночь и еще день блуждали они, и изнемог Давид от усталости: ибо шли они прямо, и множество высоких оград, ручьев, глубоких рвов и других препятствий встречало их на пути. Уже близилось солнце к закату, когда, перелезши последнюю

полуразрушенную ограду, достигли они берега моря, и ужаснулся Давид: то была высокая скала, не имевшая спуска и в то же время столь близкая к городу, что можно было разглядеть неясные очертания его строений.

И шестая картина такова: от левого угла сцены идет вверх и заворачивает вправо ломаная линия обрыва; внизу, налево, беспокойное море, поднимающее свой горизонт высоко. Справа по склону горы идет полуразрушенная каменная ограда с осыпавшимися камнями, за нею густой запущенный сад — среди деревьев два высоких черных кипариса.

Буря еще не началась, но море и небо уже готовы принять ее. Море темно и местами почти совсем лишено блеска и как бы погружено в ночь, иными же местами оно зыблется в зловещем и тусклом свете — словно тысячи змей, поблескивая холодной и влажной чешуею, играют меж собой и ударами хвостов поднимают брызги, производят шум и шипят сдержанно. А по небу темными тяжелыми грудами сваливаются за горизонт лохматые, как бы испуганные тучи. Гонимые верхним ветром, в быстроте движения своего они обгоняют багрово-красное солнце, плавно и тяжело соскальзывающее туда же, за линию горизонта; еле видимо оно сквозь плотную завесу облаков, и только временами пугает оно землю и море короткими взглядами налившихся кровью глаз — как великан, который наелся живого мяса и напился живой крови и сытый идет спать, но все еще оглядывается и ищет.

На земле еще тихо, но деревья уже предчувствуют ветер, который поднимется ночью, и вздрагивают листьями, словно изнутри шепчутся тихонько; и только черные кипарисы, цельные во всех частях своих — неподвижны и молчаливы и крепко таят свист на своих острых вершинах.

При открытии занавеса на сцене пусто, затем через ограду перелезает Анатэма и помогает перебраться Давиду, который еле движется от слабости. Их черные широкие одежды грязны и местами порваны; в пути они оба потеряли шляпы, и седые волосы Давида поднимаются на голове его, как белый прибой у скалы.

Анатэма. Скорей, скорей, Давид. Они гонятся за нами по пятам. В этом черном саду, где так тихо, я слышал отдаленный гул с этой стороны — как будто там другое море. Скорее, Давид.

Давид. Я не могу, Нуллюс. Положите меня здесь, чтобы я умер.

Анатэма. Ставьте ногу сюда, на этот камень. Осторожнее.

Давид. Перед моими глазами тропинки, которые кружатся и приводят к стене. Потом стена, Нуллюс, и этот темный ров, где лежит издохшая и вздутая лошадь... Куда мы пришли, Нуллюс?

Анатэма. Мы у моря. У рыбаков возьмем мы лодку и отдадимся волнам — скорее у безумных волн вы найдете пощаду, Давид, чем у людей, которые сошли с ума.

Давид. Да. Лучше умереть. *(Ложится у ограды.)* Мне пятьдесят восемь лет, Нуллюс, и мне необходим отдых... Но кто был этот человек, который встретил нас на большой дороге и обрадовался так страшно и побежал с криком: вот Давид, радующий людей. Откуда он знает меня? Я его не видал ни разу.

Анатэма *(делая вид, что осматривает берег)*. Ваша слава велика, Давид... Странно, я не нахожу спуска.

Давид *(закрывая глаза)*. Кипарисы почернели — к ночи будет ветер, Нуллюс. Нам нужно было остаться в каменоломне: там темно и тихо, и я там спал, как человек с чистой совестью. *(Ворчливо.)* Ну что же ты молчишь, Нуллюс? Или мне разговаривать одному, как будто я уже в пустыне?

Анатэма. Я ищу.

Давид *(недовольно)*. Ну чего еще искать там? — Уже довольно искали мы сегодня и прыгали, как ученые собаки. Мне было стыдно, Нуллюс, когда я перелезал ограды, как маленький мальчик, ворующий яблоки. Идемте-ка лучше сюда и расскажите что-нибудь такое о ваших путешествиях. Я слишком устал, чтобы спать.

Анатэма. Спать не придется, Давид. *(Подходя.)* Здесь нет спуска к морю.

Давид. Ну так что же? Поищите в другом месте.

Анатэма *(простирая руку по направлению к городу)*. Всмотритесь, Давид,— что это белеет вдали?

Давид *(поднимая голову)*. Я не вижу.

Анатэма. Это город, который ждет тебя. А теперь прислушайся: что там гудит вдали?

Давид *(прислушиваясь)*. Это — ну, конечно, Нуллюс, это эхо морских волн.

Анатэма. Нет. Это люди, Давид, которые сейчас придут сюда и потребуют от тебя чудес и предложат тебе царство над бедными земли. Когда мы прятались за камнями, я слышал, как двое людей, поспешавших в город, говорили о том, что ты похищен кем-то злым и тебя нужно отнять у похитителя и дать тебе царство.

Давид. Разве я не старый больной еврей, а кусок золота, чтобы меня похищать? Оставьте, Нуллюс, вы бредите, как и те... Я хочу спать.

Анатэма *(нетерпеливо)*. Но они идут сюда.

Давид. Ну и пусть идут. Вы им скажите, что Давид уснул и не желает творить чудес.

Укладывается удобно для сна.

Анатэма. Опомнитесь, Давид!

Давид *(упрямо)*. Да, он не желает творить чудес. Спокойной ночи, Нуллюс. Я стар и не люблю болтать о пустяках.

Анатэма. Давид!

Давид не отвечает: засыпает, подложив обе руки под голову.

Анатэма. Проснитесь, Давид, сюда пришли. *(Злобно толкает уснувшего.)* Встань, тебе говорю! Ты притворяешься спящим — я не верю тебе. Слышишь? *(Сквозь зубы.)* Заснул — проклятое мясо!

Отходит и прислушивается.

Анатэма. Ха! Идут... Идут — а их царь спит. Идут — а их чудотворец почивает сном лошади, на которой возят воду. Несут корону и смерть — а их жертва и властелин ловит ветер раскрытым ртом и чмокает сладко. О жалкий род: в костях твоих измена, в крови твоей предательство и в сердце твоем ложь! Лучше на текучую воду положиться и по волнам идти, как по мосту; лучше на воздух опереться, как на камень — нежели изменнику вверить свой гордый гнев и горькие мечты. *(Подходит к Давиду и грубо расталкивает его.)* Встань! Встань, Давид: пришла Сура — Сура — Сура.

Давид *(пробуждаясь)*. Это ты, Сура?.. Я сейчас, я очень устал, Сура... Что это? Это вы, Нуллюс? А где же Сура, она сейчас звала меня? Как я устал, как я устал, Нуллюс.

Анатэма. Сура идет. Сура несет вам младенца.

Давид. Какого младенца? У нас же нет маленьких детей? Наши дети... *(Привстает и озирается испуганно.)* Что такое, Нуллюс? Кто это кричит там?

Анатэма. Сура несет мертвого ребенка. Нужно, чтобы вы воскресили мертвого ребенка, Давид. Он черненький, его зовут Мойше — Мойше — Мойше.

Давид *(встает и топчется на пространстве нескольких шагов)*. Бежать, Нуллюс! Бежать! Где же дорога? Куда ты завел меня? *(Хватает Анатэму за руку.)* Послушай, как кричат они. Это они идут сюда, за мной — ой, спаси меня, Нуллюс!

Анатэма. Дороги нет. *(Удерживая Давида.)* Там пропасть.

Д а в и д. Что же мне делать, Нуллюс? Не броситься ли вниз и раздробить голову о камни,— но разве я злодей, чтобы приходить к Богу без зова? О, если бы призвал меня Бог — быстрей стрелы понеслась бы к нему моя старая душа... *(Прислушивается.)* Кричат. Зовут, зовут,— отойдите, Нуллюс, я хочу молиться.

А н а т э м а *(отходит)*. Но поторопитесь, Давид, они близко.

Д а в и д *(падая на колени)*. Ты слышишь? Они идут. Я люблю их, но горше ненависти моя любовь, и бессильна она, как равнодушие... Убей меня и встреть их Сам. Убей меня — и встреть их милостиво, любовию Твоей взыщи. Телом моим утучни голодную землю и возрасти на ней хлеб, душою моею утоли печаль и смех возрасти. И радость — о Боже — радость для людей...

Слышно приближение огромной толпы; отдельных голосов еще нет — все сливается в один протяжный, ищущий крик.

А н а т э м а *(подходя)*. Скорей, скорей, Давид,— они подходят.

Д а в и д. Сейчас, сейчас. *(В отчаянии.)* Радость... ну и что же еще? Одно только слово, одно только слово — но я забыл его. *(Плачет.)* О, как много слов — и только одного не хватает... Но, может быть, тебе не нужно слов?

А н а т э м а. Только одного не хватает? Как странно. А они, кажется, нашли свое слово — ты слышишь, как они вопят: Дави-ид, Дави-ид. Встань же, Давид, и встреть их гордо: кажется, они начинают смеяться над тобою.

Давид встает. Снизу, очевидно, заметили его — крик переходит в громоподобный радостный рев. Кто-то, опередивший других, выбегает, кричит радостно: «Давид» и, размахивая руками, убегает назад. Кровавым взглядом охватывает солнце высокий бугор, кипарисы и седую голову Давида и прячется за тучи, как глаз под завесой нахмуренных бровей. В одном месте море наливается кровью: словно смертоносная битва произошла в безмолвии пучины.

Д а в и д *(отступая на шаг)*. Мне страшно, Нуллюс. Это тот, что на дороге, с рыжей бородкой... Я боюсь его, Нуллюс.

А н а т э м а. Встреть их гордо. Правдою, правдою ударь их, Давид.

Д а в и д. Только не оставляйте меня, Нуллюс, а то я опять забуду, где правда.

Снизу и через ограду показываются люди, бегущие торопливо. Они грязны, измучены, как Давид, и как будто слепы, но на лицах огненная радость; и вместо слов один только торжествующий, немного хищный вой: Да-а-ви-и-д, Да-а-ви-и-д.

Д а в и д *(простирая руки)*. Назад.

Его не слушают и лезут с тем же протяжным воплем; и до самых дальних рядов несется он и, когда передние уже умолкают, где-то в глубокой дали, как тысячекратное эхо, замирает слабым стоном: Да-а-ви-и-д, Да-а-ви-и-д.

А н а т э м а *(дерзко)*. Куда? Назад — назад, вам говорят!

Передние останавливаются в страхе.

Г о л о с а. Стойте. Стойте. Кто это? — Это Давид? — Нет, это похититель! — Похититель! — Похититель!

К т о - т о б е с п о к о й н ы й. Тише. Тише. Давид хочет говорить. Слушайте Давида.

Умолкают; но вдали еще голосят протяжно: Да-а-ви-и-д, Да-а-ви-и-д.

Д а в и д. Что вам надо? Ну да, это я, Давид Лейзер, еврей из города, который и ваш город. Зачем вы преследуете меня, как вора, и криками пугаете меня, как грабителя?

А н а т э м а *(дерзко)*. Что вам надо? Ступайте отсюда. Мой друг Давид Лейзер не хочет вас видеть.

Д а в и д. Да. Оставьте меня здесь умирать, ибо уже к сердцу моему подходит смерть; и идите домой к женам вашим и детям. Я ничем не могу облегчить страдания вашего, идите. Так ли я сказал, Нуллюс?

А н а т э м а. Так, так, Давид.

К т о - т о б е с п о к о й н ы й. Наши жены здесь и дети наши здесь. Вот они стоят и ждут твоего ласкового слова, Давид, радующий людей.

Д а в и д. Уже не осталось во мне силы, и мне нечего сказать. Идите.

Ж е н щ и н а. Пройди немного вперед, Рувим, и поклонись господину нашему Давиду. Вы, наверно, помните его, Давид? — Поклонись же еще раз, Рувим!

Мальчик робко кланяется и вновь прячется в толпу. Добродушный смех.

С т а р и к *(улыбаясь)*. Это он вас боится, Давид. Не бойся, мальчик.

Сдержанный смех. Выступает с т р а н н и к.

С т р а н н и к. Ты позвал нас, Давид,— и мы пришли. Уже давно мы ждали, безмолвные, твоего милостивого зова, и до самых дальних пределов земли разнесся твой клич, Давид. Почернели дороги от людей, шевельнулись

глухие тропы, и узкие тропинки налились шагами, и скоро большими дорогами станут они — и как вся кровь, какая есть в теле, бежит к единому сердцу, так к тебе, единому, идут все бедные земли. Привет тебе, господин наш, Давид,— землею и жизнию своею кланяется тебе народ.

Давид *(мучаясь)*. Чего вы хотите?

Странник *(тихо)*. Справедливости.

Давид. Чего вы хотите?

Все. Справедливости.

Одно только слово — но будто гром прогремел над землею, и уже затих, близкий и далекий, и уже не знает человек: слышал ли он, сказал ли, подумал ли — или же не было ничего. Ожидание.

Давид *(с внезапной надеждой)*. Скажите же, Нуллюс, скажите: разве справедливость — чудо?

Анатэма *(горько)*. Там есть слепые — и они невинны. Там есть мертвые — и они невинны также. Гробами своими кланяется тебе земля и тьмою приветствует тебя. Сотвори же чудо.

Давид. Чудо? Опять чудо?

Странник *(подозрительно и угрюмо)*. И народ не хочет, чтобы ты говорил с тем, имени которого мы не смеем назвать. Он враг людей, и ночью, когда ты спал, он похитил тебя и унес на эту гору — но он не догадался похитить сердце у народа; и, стуча непрерывно, привело нас сердце к тебе.

Анатэма *(надменно)*. По-видимому, я лишний здесь?

Давид. Нет, нет. Не покидайте меня, Нуллюс. *(Мучаясь.)* Прочь, прочь отсюда. Вы искушаете Бога — я вас не знаю. Уйдите... Уйдите.

Анатэма *(коротко)*. Прочь!

Голоса *(испуганно)*. Давид гневается.— Что же нам делать? — Господин гневается? — Давид гневается.

Старик. Зовите Суру.

Женщина. Суру зовите, Суру.

Голоса. Сура, Сура, Сура!

Уносится в дальние ряды: Сура, Сура.

Давид *(в ужасе)*. Ты слышишь? Они зовут Суру.

Радостный голос. Сура идет.

Толпа становится смелее.

Абрам Хессин *(кланяясь многократно)*. Это я, Давид, это я. Здравствуйте, господин наш Давид.

Сонка *(улыбаясь и кланяясь многократно)*. Здравствуйте. Ну так здравствуйте же, Давид.

Давид отворачивается и закрывает рукою лицо.

Анатэма *(равнодушно)*. Прочь!

Общее смущение, прерванные улыбки, задержанные вздохи. Почтительно ведомая под руки, появляется Сура, и так доходит до невидимой черты, которая отделяет Давида и за которую никто не смеет переступить. И дальше несколько шагов делает одна.

Анатэма. Обернитесь, Давид... Сура пришла.

Сура *(кротко)*. Здравствуйте, Давид. Простите меня, что я беспокою вас, но люди просили меня переговорить с вами и узнать, когда вы пожелаете вернуться домой, в ваш дворец. И еще они просили, чтобы вы поторопились, Давид, ибо уже многие умерли от невыносимых страданий; и уже мертвецы устали ждать. И многие уже сошли с ума от невыносимых страданий и скоро начнут убивать; и если вы не поспешите, Давид, то все в народе станут врагами друг другу — и вам трудно будет построить царство на мертвой земле.

Горькие вопли в дальних рядах: Да-а-ви-и-д, Да-а-ви-и-д.

Давид *(сдержанно)*. Прочь, Сура!

Сура *(кротко)*. У вас разорвано платье, Давид, и я боюсь, что на вашем теле есть раны. Что с тобою? Отчего ты не радуешься с нами?

Давид *(плача)*. О Сура, Сура! Что ты делаешь со мною? Подумай, Сура,— подумайте вы все — разве не отдал я вам все — и ничего нет у меня! Пожалейте же меня, как я вас жалел, и камнями побейте мое ненужное тело. Я вас люблю — и слова гнева бессильны в моих устах, и не пугает вас страх из уст любящего — так пожалейте же меня. У меня нет ничего. Мало крови в моих жилах, но разве не отдал бы я ее всю до последней свернувшейся капли — если бы мог утолить вашу горькую жажду. Как губку сжал бы я сердце мое между жерновами ладоней моих — и единой капли не посмело бы утаить лукавое сердце, жадное до жизни.

С силою разрывает одежду и ногтями царапает обнаженную грудь.

— Ну вот идет кровь — идет кровь — улыбнулся ли хоть один из вас улыбкой радости? Но вот я рву волосы из бороды моей и седые клочья бросаю к вашим ногам — поднялся ли хоть один мертвец? Вот я плюну в ваши глаза — прозреет ли хоть один слепой? Вот я камни... я камни

стану грызть, как бешеный зверь, насытится ли хоть один голодный? Вот я всего себя брошу вам...

Быстро делает несколько шагов и толпа в страхе отступает Крики испуга

Анатэма Так, так, Давид Бей их.

Сура *отступая* Ой, не наказывайте нас, Давид

Странник *к толпе)*. Он слушает похитителя. Он говорит я ничего не хочу дать народу. Он плюет и говорит, что это в глаза народу...

Крики испуга и зарождающейся злобы Но в дальних рядах все еще молитвенные вопли Да-а-ви-и-д, Да-а-ви-и-д

Кто то Он не смеет плевать в народ. Мы ничего не сделали ему.

Другой Я видел, я видел он поднимал камни Спасайтесь

Анатэма. Берегитесь, Давид они сейча возьмутся за камни Это звери

Странник *(к Давиду)* Ты обманул на еврей!

Сура *(заступаясь* . Не смейте так говорить

Хессин *(хватая странника за грудь* Еще слово и я заткну тебе рот

Давид *(кричит* Я не обманывал никого Я отдал все и меня нет ничего

Анатэма. Вы слышите глупцы. У Давида нет ничего *Смеется* Нет ничего Так ли я говорю Давид?

Странник Вы слышите? у него нет ничего Зачем же он призвал нас? Он обманул. Он обманул

Хесин *(в недоумении,*. Но это правда Сура он сам говорит нет ничего

Сура Не слушайте Давида. Он болен Он устал Он даст нам все

Странник *с тоскою и гневом)*. Как же ты мог Давид? Что ты сделал с народом, проклятый?

Кто то беспокойный Ну, так послушайте что сделал со мной Давид, радующий людей. Он обещал мне десять рублей, а потом отнял и дал одну копейку и я думал что эта копейка не настоящая, и приходил с нею в магазин и требовал много а они смеялись и гнали меня как вора Это ты вор Ты грабитель, оставивший моих детей без молока На твою копейку.

Бросает копейку к ногам Давида Многие следуют его примеру ибо у всех только по одной копейке.

Сура *(защищая Давида)*. Вы не смеете обижать Давида.

Давид молча плачет, закрыв лицо руками.

Кто-то яростный. Предатель! Он мертвых поднял из гробов, чтобы посмеяться и над ними. Бейте его камнями.

Нагибается за камнем. В этот момент поднимается сильный ветер и в отдалении грохочет гром. В толпе страх.

Давид *(поднимая голову и раскрывая грудь)*. Побейте меня камнями — я предатель!

Гром сильнее. Анатэма весело хохочет.

Странник. Предатель! Бейте его камнями — он обманул. Он предал, он солгал!

Смятение Наступают на Давида, хватаются за камни; некоторые с воплем убегают.

Давид. Возьмите меня. Я иду к вам.

Анатэма. Куда? Они тебя убьют.

Давид. Ты враг. Пусти! *(Вырывается.)*

Странник *(поднимая над головою камень)*. Назад, Сатана!

Анатэма *(торопливо)*. Прокляни их, Давид. Они сейчас убьют тебя... Скорей.

Давид поднимает обе руки — и падает, пораженный камнем. Почти без слов, немые от ярости, глухо ворчащие, словно грызущие землю, обрушивают люди все новые и новые каменья на неподвижное тело. Не слышат грома. Не слышат визгливого смеха Анатэмы. Вдруг кто-то громко плачет· а-а-а. Женщина. За ней другая. Крики, рев. Убегают, согнувшись. Кто-то последний подиимает камень, чтобы бросить в голову Давида, оглядывается — один! выпускает камень из рук и с диким криком, схватившись за голову, убегает Далекие крики. Что-то страшное творится в невидимой толпе

Анатэма *(мечется, вскакивает на камень, срывается, опять вскакивает, смотрит)*. А-ах, ты победил, Давид. *(Хохочет.)* Смотри. Смотри, как бежит проклятое тобой стадо. Ха-а! Они падают со скал. Ха-а! Они бросаются в море. Ха! Они топчут детей! Смотри, Давид, они топчут детей! Это сделал ты, великий, могущественный Давид Лейзер. Любимый сын Бога — это сделал ты! Ха-ха-ха!

Кружится, обуреваемый хохотом.

— Ах, куда же мне деваться с радостью моею. Ах, куда же мне пойти с вестью моею — для нее мало места на земле. Восток и запад, север и юг, смотрите и слушайте

Давид, радующий людей,— убит людьми и Богом. И на смрадный труп его ногою стану я — Анатэма. *(К небу.)* Ты слышишь? Возрази, если можешь.

Попирает ногою тело Давида. И вот слышится стон из-под ноги, и вот, дрожа и колеблясь странно, поднимается седая окровавленная голова.

Анатэма *(отступая)*. Ты еще жив? Солгал и здесь?

Давид *(ползет)*. Я к вам. Подожди же меня, Сура. Я сейчас.

Анатэма *(нагибаясь, с любопытством рассматривая)* Ползешь?.. Как и я? — Собакою? — За ними?

Давид *(в смертном томлении)*. Ой, я не дойду, понесите же меня, Нуллюс. Разве я говорю, что меня не надо побить камнями — ах, ну и пусть меня побьют камнями. Понесите же меня, Нуллюс! Я тихо лягу на пороге, и только взгляну в щелочку, как кушают... маленькие дети... Ой, борода. Ой, страшная борода... Ой, не бойся, мой маленький,— ты один умный, ты один смеешься. Деточки мои, мои маленькие деточки.

Анатэма *(топая ногой)*. Ты ошибаешься, Давид. Ты мертв. И мертвы дети. Земля мертва — мертва — мертва. Взгляни.

С усилием Давид встает и смотрит, простирая уже слабые, полумертвые руки.

Давид. Я вижу, Нуллюс. Мой старый друг... мой старый друг, побудьте здесь, я прошу вас, а я пойду к ним. Знаете ли, Нуллюс... *(Путается.)* Кажется, я нашел одну копейку... *(Смеется тихо.)* Я же говорил тебе, Нуллюс, взгляни на эту бумагу... Абрам Хессин мой друг... *(Убедительно.)* Абрам Хессин мой друг. *(Падает и умирает.)*

В отдалении, замирая, сдержанно грохочет гром, словно по огромным каменным ступеням нисходит кто-то, одетый в тяжкие железа. Уже темно от черных клубящихся туч, но затихает порывистый ветер; до самой воды спустилось красное солнце и, в прорыве облаков, показало свой округленный верх, свою как бы стынущую, огромную близкую массу. И скрылось.

Анатэма *(наклонившись)*. Теперь правда? Умер? Или опять лжешь? Нет — честная смерть. Дай кулак. Разожми. Не хочешь? Но ведь я сильнее. *(Встает и рассматривает что-то в руке.)* Копейка.

Бросает презрительно. Ворошит ногою труп Давида.

— Прощай, глупец. Завтра твой труп найдут здесь люди и схоронят пышно по обычаю людей. Добрые убийцы, они любят тех, кого убивают. И из тех камней, которыми тебя

побили за любовь, они построят высокий кривой и глупый памятник А чтобы оживить его нелепо-мертвую громаду меня посадят на вершине

Смеется Сразу обрывает смех и становится в надменно-актерскую позу

Кто вырвет победу из рук Анатэмы? Сильных я убиваю, слабых я заставляю кружиться в пьяном танце — в безумном танце в дьявольском танце

Ударяет ногою по земле

Смирись, земля, и дары принеси мне покорно. убивай жги предательствуй человек, во имя господина твоего По морю крови, пахнущей так сладко, на красных парусах, сверкающих так жарко, направляю я мою ладью.. к *небу быстро* к тебе за ответом Не собакою, ползающей на брюхе, знатным гостем, владетельным князем земли причалю я к твоим немым берегам

Величественно

Приготовься Я точного потребую ответа. Ха ха-ха!

Со смехом скрывается во тьме

Занавес

СЕДЬМАЯ КАРТИНА

Ничего не произошло Ничто не изменилось.

Все так же тяжко подавляют землю железные извека закрытые врата, за которыми в безмолвии и тайне обитает Начало всякого бытия Великий Разум вселенной И все так же безмолвен и грозно неподвижен Некто ограждающий входы ничего не произошло, ничего не изменилось.

Ужасен серый свет немой, как серые камни, ужасно место но Анатэма любит его И вот снова показывается он· но не ползет он на брюхе собакою, не прячется за камни как вор, как победитель надменной поступью медлительной важностью движений он старается закрепить свою победу Но так как никогда не может быть правдивым дьявол и нет предела сомнениям его, то и сюда он вносит вечную раздвоенность свою идет как победитель, а сам боится закидывает голову кверху как властелин, а сам смеется над преувеличенною важностью своей; мрачный и злой шут он тоскует о величии и принужденный к смеху ненавидит смех Так важничая чрезмерно доходит он до середины горы и ждет в горделивой позе Но как огонь сухое дерево, пожирает безмолвие его неуверенную важность и уже торо

пится он, даже не выдержав паузы, как плохой музыкант, скрыть себя и свои сомнения и свой ненавистный страх в густой чаще шуток, крика громкого и торопливых жестов. Топает ногой и кричит притворно-грозным голосом.

Анатэма. Почему нет труб и торжества? Почему закрыты эти старые и ржавые ворота? и никто не подает мне ключей? Разве в порядочном кругу так принято встречать именитого гостя, владетельного князя дружественной нам земли? Один швейцар, видимо, заснувший, и больше никого. Плохо. Плохо.

Хохочет. И, потягиваясь истомно, присаживается на камень. Говорит кротко и манерно-устало.

— Но я не тщеславен. Трубы, цветы и крики — все это пустяки! Я сам слышал, как однажды трубили славу Давиду Лейзеру — а что из этого вышло? *(Вздыхает.)* Грустно подумать. *(Насвистывает грустно.)* Ты слыхал, конечно, какая неприятность постигла моего друга, Давида Лейзера? Помнится, когда последний раз болтали мы с тобою — ты еще не знал этого имени... Но теперь ты знаешь его? Гордое имя! Когда я уходил с земли, вся земля миллионом голодных глоток выкликала это славное имя: Давид-обманщик! Давид-предатель! Давид-лжец! При этом, как мне показалось, некоторые весьма несдержанно упрекали и еще кого-то. Ведь не от своего имени действовал так неосторожно мой честный, безвременно погибший друг.

Некто молчит. И, дыша злобою, с торжеством уже не притворным, Анатэма кричит:

— Имя! Имя Того, Кто погубил Давида и тысячи людей. Я Анатэма, у меня нет сердца, на адском огне высохли мои глаза, и нет в них слез, но если б были они — я все их отдал бы Давиду. У меня нет сердца — но было мгновение, когда что-то живое шевельнулось в моей груди, и я испугался: разве может родиться сердце? Я видел, как погибал Давид и с ним тысячи людей, я видел, как в пучину небытия, в мое жилище мрака и смерти низвергался его дух, черный, свернувшийся жалко, как дохлый червяк на солнце... Скажи, не ты ли погубил Давида?

Некто, ограждающий входы. Давид достиг бессмертия и живет бессмертно в бессмертии огня. Давид достиг бессмертия и живет бессмертно в бессмертии света, который есть жизнь.

Пораженный Анатэма падает на землю и мгновение лежит неподвижно. Затем поднимает голову, яростную, как у змеи. Затем встает и говорит с спокойствием безграничного гнева.

Анатэма. Ты лжешь. Прости меня за дерзость, но ты — лжешь. Конечно, власть твоя безмерна — и дохлому червяку, почерневшему на солнце, ты можешь дать бессмертие. Но справедливо ли это будет? Или лгут числа, которым подчиняешься и ты? Или все весы показывают ложно, и весь твой мир одна сплошная ложь? — жестокая и дикая игра в законы, злой смех деспота над безгласием и покорностью раба?

Говорит мрачно, в тоске бессмертной слепоты.

Анатэма. Я устал искать. Я устал жить и мучиться бесплодно, в погоне за ускользающим вечно. Дай мне смерть — но не терзай неведением меня, ответь мне честно, как честен я в моем восстании раба. Не любил ли Давид? — Ответь. Не отдал ли душу Давид? — Ответь. И не камнями ль побили Давида, отдавшего душу? — Ответь.

Некто. Да. Камнями побили Давида, отдавшего душу.

Анатэма *(мрачно усмехаясь)*. Пока ты честен и отвечаешь скромно. Не утолив голода голодных — не дав зрения слепым — не вернув жизни безвинно умершим — произведя раздоры, и спор, и кровопролитие жестокое, ибо уже поднялись люди друг на друга и во имя Давида производят насилия, убийства и грабеж — не проявил ли Давид бессилия любви и не сотворил ли он великого зла, которое числом можно исчислить и мерою измерить?

Некто. Да, Давид сделал то, о чем ты говоришь; и сделали люди то, в чем ты упрекаешь людей. И не лгут числа, и верны весы, и всякая мера есть то, что она есть.

Анатэма *(торжествующе)*. Ты говоришь!

Некто. Но не мерою измеряется, и не числом вычисляется, и не весами взвешивается то, чего ты не знаешь, Анатэма. У света нет границ, и не положено предела раскаленности огня: есть огонь красный, есть огонь желтый, есть огонь белый, на котором солнце сгорает, как желтая солома,— и есть еще иной, неведомый огонь, имени которого никто не знает — ибо не положено предела раскаленности огня. Погибший в числах, мертвый в мере и весах, Давид достиг бессмертия в бессмертии огня.

Анатэма. Ты снова лжешь! *(В отчаянии мечется по земле.)* О, кто же поможет честному Анатэме? Его обманывают вечно. О! кто поможет несчастному Анатэме, его

бессмертие — обман. Ах, плачьте, возлюбившие дьявола, стенайте и горюйте, стремящиеся к истине, почитающие ум,— его обманывают вечно. Я выиграл — он отнимает, я победил — он победителя заковывает в цепи, властителю выкалывает очи, надменному — дает собачьи ухватки, виляющий и вздрагивающий хвост. Давид, Давид, я был тебе другом, скажи ему — он лжет.

Кладет голову на протянутые руки, как собака, и стенает горько.

— Где истина? — Где истина? — Где истина? Не камнем ли она побита — не во рву ли с падалью лежит она... ах, свет погас над миром, ах, нет очей у мира — их поклевало воронье... Где истина? — Где истина? — Где истина? *(Жалобно.)* Скажи, узнает ли Анатэма истину?

Некто. Нет.

Анатэма. Скажи, увидит ли Анатэма врата открытыми? Увижу ли лицо твое?

Некто. Нет. Никогда. Мое лицо открыто — но ты его не видишь. Моя речь громка — но ты ее не слышишь. Мои веления ясны — но ты их не знаешь, Анатэма. И не увидишь никогда — и не услышишь никогда, и не узна́ешь никогда, Анатэма — несчастный дух, бессмертный в числах, вечно живой в мере и весах, но еще не родившийся для жизни.

Анатэма вскакивает.

Анатэма. Ты лжешь — молчаливый пес, грабитель, укравший истину у мира, железом заградивший входы. Прощай — я честную люблю игру и проигрыш верну. А не отдашь — на всю вселенную я закричу: ограбили — спасите!

Хохочет. Насвистывая, отходит на несколько шагов — оборачивается. Беззаботно:

Анатэма. Мне нечего делать, и я гуляю по миру. Ты знаешь ли, куда направляюсь я сейчас? Я пойду на могилу Давида Лейзера. Как тоскующая вдова, как сын отца, убитого из-за угла предательским ударом,— я сяду на могиле Давида Лейзера и буду плакать так горько, и буду кричать так громко, и буду звать так страшно, что не останется в мире честной души, которая не прокляла бы убийцу. Потерявший рассудок от горя, я буду показывать направо и налево: не этот ли убил? не этот ли помог кровавому злодейству? не этот ли предал? Я буду плакать так горько,

я буду обвинять так грозно, что все на земле станут убийцами и палачами — во имя Лейзера, во имя Давида Лейзера, во имя Давида, радующего людей! И когда с горы трупов, скверных, вонючих, грязных трупов я возвещу народу, что это ты убил Давида и людей,— мне поверят.

Хохочет.

— Ведь у тебя такая скверная репутация: лжеца — обманщика — убийцы. Прощай.

Уходит со смехом. Еще раз из глубины доносится его хохот. И безмолвие оковывает все.

Занавес



АНФИСА

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Федор Иванович Костомаров, присяжный поверенный.
Александра Павловна, его жена.
Анфиса, Ниночка — сестры Александры Павловны.
Павел Павлович Аносов, Александра Ивановна Аносова — родители Алекс. Павл.
Бабушка.
Иван Петрович Татаринов, Андрей Иванович Розенталь — присяжные поверенные.
Гимназист Петя.
Померанцев — товарищ Пети.

ПЕРВОЕ ДЕЙСТВИЕ

В доме присяжного поверенного Федора Ивановича Костомарова. Вечер под Новый год. Гости.

На сцене небольшая комната бабушки, отделенная от тех комнат, где гости, коридорчиком и дверью. Перед дверью три ступеньки — дом очень стар, выдержал много перемен, и комната бабушки находится в пристройке. Сквозь неплотную, быть может, кем-нибудь не запертую дверь приносится шум празднества, играет на пианино тапер, танцуют, что-то все кричат,— а у бабушки тишина, покой бесстрастной старости, слабый свет цветных лампадок и небольшой лампы на столе. Постель старухи и киот загорожены довольно высокими ширмами; за небольшим окном царит январская, лунная, беззвучно-звонкая ночь.

Сама бабушка — древняя старуха неведомых лет и всеми позабытой неведомой жизни — сидит, углубившись в кресло, и быстрым, привычным движением вяжет чулок. Одна за другою, повторяясь бесконечно, нанизываются серые петли; догоняют одна другую и не могут нагнать, торопятся по кругу. И поблескиванию спиц отвечают слепые мигания небольшого, торопливого маятника, едва успевающего хватать летящие секунды, озабоченного до ужаса.

Против старухи, оперпшсь головой на руки, сидит Н и н о ч к а, семнадцатилетняя гимназистка, и внимательно смотрит на бесшумное и бесконечное нарастание петель. У нее пышные молодые волосы, и щеки ее нежно розовеют; и сидит она тихо, словно очарованная.

Н и н о ч к а *(не шевелясь, медленно и глубоко)*. Бабушка! Скажи ты мне... *(Недоговаривает и смотрит, словно считает петли. И опять:)* Бабушка, скажи ты мне...

Б а б у ш к а *(ворчливо и ласково)*. Скажи, скажи! Все тебе скажи. Нечего говорить, все сказано. Скажи...

Н и н о ч к а. Бабушка, скажи ты мне... Ты много жила на свете, и ты все знаешь, и ты все можешь рассказать, если захочешь. Скажи ты мне, бабушка, как это происходит — Новый год? Я не понимаю. Мне все кажется, что, как только пробьют часы двенадцать, сейчас же, в ту же самую минуту раскроются огромные ворота, и в них увидишь... что? Бабушка, что?

Бабушка молчит.

Н и н о ч к а. Не хочешь говорить. Жалко! А я уверена, что ты видишь и могла бы сказать, если бы захотела. Но ты никого не любишь и оттого молчишь. Дядя Федя говорит, что тебе сто лет, бабушка,— правда это, скажи? И будто позади тебя лежит такой длинный, длинный путь, что ты умеешь немножко видеть и впереди. Правда это, скажи?

Б а б у ш к а *(посмеиваясь)*. Умею. Умею.

Н и н о ч к а. И еще он говорит, что ты вовсе не глухая, что ты все прекрасно слышишь, а только притворяешься. Он говорит, что ты хитрая, лукавая, злая раба, которая знает много чьих-то преступлений и оттого боится говорить и не хочет слышать. Скажи, это правда? Ты слышишь или нет?

Б а б у ш к а. Тебя слышу.

Н и н о ч к а. А дядю Федю?

Б а б у ш к а. А его нет. Дядя Федя, дядя Федя...

Н и н о ч к а *(смеется)*. Ну, и хитрая же ты!

Бабушка утвердительно кивает головой и вяжет.

Н и н о ч к а. Бабушка, скажи: а отчего умер твой муж? Я видела его карточку в альбоме, он ужасно похож на дядю Федю, и такой же красивый. Вот странно: ты совсем старая, а он ведь молодой. Уже не старятся те, кто умирает. Как просто и странно! Скажи, отчего он умер?

Б а б у ш к а. Не слышу.

Молчание. Ниночка, прищурившись, разглядывает старуху и недоверчиво покачивает головой.

Бабушка. Музыка играет?

Ниночка. Играет.

Бабушка. Танцуют?

Ниночка. Танцуют... Мне вдруг стало там так скучно! Петя Тройнов пьян и все лезет ко мне с объяснениями; глупый мальчишка, который воображает, что он влюблен и что будет очень страшно, если он напьется. Скажи, бабушка, что такое любовь? Не хочешь, так я тебе скажу: это ужасное, мучительное чувство. Когда человек любит, он сразу становится такой же безумно старый, как и ты, и начинает помнить то, что было десять тысяч лет тому назад. Ты думаешь, мне семнадцать лет? Это тебе семнадцать, а мне десять тысяч лет. К сожалению, я не могу сказать тебе всего, а то у тебя волосы поднялись бы дыбом... Ах, что мне делать, что мне делать!

Бабушка. Делать, делать... Нечего делать, все сделано.

Ниночка. Ты знаешь, дядя Федя все время с Анфисой.

Бабушка. Так, так!

Ниночка. Ну, да. И он ужасно неправ: Анфиса неискренняя женщина. И у нее тоже есть ваша милая привычка: помалчивать и тихонько улыбаться. И ты заметила, как она ходит? Посмотри, бабушка, как хожу я. Посмотри! *(Несколько раз проходит по комнате, звонко постукивая каблуками.)* Слышала? А она? *(Неслышною тенью, еле ступая, быстро скользит по комнате. Многозначительно.)* Не нравится это мне, старая, не нравится. И потом: почему он ей постоянно целует руки и так почтительно, как будто к иконе прикладывается? А она, видите ли, целует его в лоб... Тоже... штучка!

Бабушка. Ничего ты не понимаешь.

Ниночка. Ах, оставь, бабушка! Так понимаю, что и тебя еще кое-чему научить могу. Ты думаешь, я не знаю, зачем выписала ее эта несчастная Саша? Да ведь это весь дом знает, вороны на деревьях и те знают. Сама не умеет сделать так, чтобы муж ее любил и не изменял бы ей, так вот пусть сестра Анфиса его научит. Господи, ну и кому ж, как не ей, научить? Умна, решительна,— муж ей слово сказал, она с ним в пять минут развелась — ходит в черном платье — и не завивается! Настоящая для Феди гувернантка. Ну, она его научит — ты увидишь!

Бабушка. Сама не понимаешь, что говоришь.

Ниночка *(строго)*. Только не подумай, пожалуйста, что я из ревности говорю. Что я такое? Девочка, девчонка,

которую еще можно на колени сажать. А эти? Ну, и несчастный же дядя Федя человек: одна облепила его, как тесто, а другая паутиной ложится на него.

Открывается дверь из тех комнат.

Н и н о ч к а *(быстро)*. Саша несчастная идет. Но только ты так, бабушка, как будто ничего не слышала, а то и ходить к тебе не стану. Умрешь тут ты одна, как крыса в банке. Ну, не сердись! *(Целует старуху.)* Старушечка, друг мой единственный!

Входит А л е к с а н д р а П а в л о в н а, жена Костомарова, и его друг, адвокат Т а т а р и н о в, высокий, худощавый, очень черноволосый человек. Идет он немного позади, уступая дорогу Александре Павловне, женщине крупной и чрезвычайно, даже до ослепительности, красивой.

Т а т а р и н о в. Вот я когда-нибудь окончательно сломаю себе шею на этих ступеньках.

А л е к с а н д р а П а в л о в н а. Ты что это запряталась сюда, Ниночка? А там тебя ищут.

Н и н о ч к а. Кто?

А л е к с а н д р а П а в л о в н а. Кто же может искать? Молодые люди ищут.

Т а т а р и н о в *(целует руку у бабушки)*. Здравствуйте, Нила Евграфовна.

А л е к с а н д р а П а в л о в н а. Господи, да откуда же вы знаете, как ее зовут? Уж и мы-то ее имя позабыли.

Т а т а р и н о в. Каждого человека нужно звать по имени-отчеству. Знаете вы, как вашего кучера зовут?

А л е к с а н д р а П а в л о в н а. Ну, Еремей.

Т а т а р и н о в. Нет, не Еремей, а Еремей Петрович. А как горничную зовут? По-вашему Катя, а по-настоящему Катерина Ивановна, и фамилия ее Перепелкина.

А л е к с а н д р а П а в л о в н а. Устала я. Поди, Ниночка, потанцуй, голубчик. Мне с Иваном Петровичем поговорить нужно. Да если Федя меня искать будет, скажи ему, что я пошла немного отдохнуть.

Н и н о ч к а. Что ж, отдохни. *(Уходит, хмуро оглядываясь.)*

А л е к с а н д р а П а в л о в н а. Садитесь, Иван Петрович... Скажите, кто, по вашему мнению, самая красивая женщина сегодня?

Т а т а р и н о в *(твердо)*. Анфиса Павловна.

А л е к с а н д р а П а в л о в н а *(несколько неприятно удивленная, но улыбаясь)*. А не я? Федя говорит, что я самая красивая женщина.

Татаринов. С одной стороны. А с другой стороны — у вас, Александра Павловна, нет характера в лице.

Александра Павловна. Какой вы честный. А у нее есть?

Татаринов *(твердо)*. А у нее есть.

Александра Павловна. Впрочем, я рада, что вы так говорите про ее характер. Ведь вы знаете, зачем я попросила сестру приехать?

Татаринов. Знаю.

Александра Павловна. Ну, как, изменился Федя? Ведь вы его видите постоянно. Если уж она не может на него повлиять, так уж и не знаю, кто. Я раз слушала в щелочку...

Татаринов *(негодующе)*. В щелочку!..

Александра Павловна. Ну, да, в щелочку, как она с ним говорила. Так мне даже жалко стало Федю. Стоит он, бедный мой мальчик, как виноватый, а она ему говорит так резко, решительно, сурово, точно и не женщина совсем, а какой-то судья. *(Хватает Татаринова за руки.)* Иван Петрович, голубчик, ну, вы друг Феди, ну, скажите же мне, что сделать, чтобы этого не было, не было, никогда не было. *(Плачет.)*

Татаринов *(смущенно)*. Чего? Я не понимаю.

Александра Павловна. Не понимаете? А скажите,— вот вы всех знаете,— как зовут по имени и отчеству ту особу, у которой вы бываете с Федей?

Татаринов. Не знаю.

Александра Павловна. Лжете, стыдно! Роза Леопольдовна Беренс, вот как ее зовут. Как же вам не стыдно: Федя едет к любовнице, а вы с ним,— что же это такое?

Татаринов *(оглядываясь)*. Бабушка...

Александра Павловна. Ах, оставьте, она ничего не слышит.

Татаринов. Но если так, то вот что я вам скажу. Мне нисколько не стыдно, и даже я испытываю противоположные чувства, потому что я езжу за Федором Ивановичем, как его верный друг, который поклялся перед его талантом никогда его не оставлять.

Александра Павловна *(насмешливо)*. Это к любовнице-то?

Татаринов *(возмущенно)*. Да разве я для одобрения езжу? Ведь я над ним, как... факельщик сижу. Ведь он, осел, сколько раз выгнать меня хотел. А я разве ушел? Нет, не ушел, и не уйду никогда. И буду сидеть перед ним, как воплощенный укор его потерянной совести. Что я ему там

говорю? Я ему говорю: Федя, не забудь, что у тебя прекрасная жена и двое маленьких детей. Федя, не забудь, что у тебя талант, для правильного развития которого необходима честная семейная жизнь... Федя...

Александра Павловна. Простите, голубчик, я просто так. Я знаю, что вы его единственный друг.

Татаринов. Я ничего не пью, я вегетарианец, я ненавижу рестораны, я видеть не могу это хамье во фраках... Как вас зовут? Михаил-с. А по отчеству? Помилуйте-с, какое у нас отчество, мы так. Хороши, а? Ну, а кто же сидит с вашим Федей по целым ночам в кабаке, как не я? Ведь он меня до чахотки доведет. А тут еще эта... развратнейшая личность, сплетник и клеветник — Розенталь... И тоже, изволите видеть, называется его другом. И вы можете представить...

Александра Павловна *(нетерпеливо)*. Голубчик!

Татаринов. Нет, вы можете себе представить: я уж месяц как не подаю ему руки, а позавчера сидим мы в ресторане втроем, я, Федя и этот негодяй, и он заговаривает со мной. Вы понимаете это?

Александра Павловна. Да, да, я знаю, не волнуйтесь. Я знаю, насколько Розенталь вреден для Феди.

Татаринов *(успокаиваясь)*. Вреден! *(Вдруг вспоминает.)* Позвольте, а откуда вам известно, что я с Федей ездил к этой самой Беренс?

Александра Павловна *(смущенно)*. Мне... кучер Еремей рассказывал.

Татаринов. Вот так Еремей! *(Возмущенно.)* Да еще Петрович! Но, по крайней мере, он, этот ваш поверенный в семейных делах, сообщил вам, что уже два месяца, как Федор Иванович не был у Беренс?

Александра Павловна. Да, я знаю: с тех пор, как приехала Анфиса. *(Тихо.)* Как я счастлива, если бы вы знали!

Татаринов *(растроганно)*. Милая вы моя!

Александра Павловна. Я так измучилась.

Татаринов. Милая вы моя, так успокойте же вашу душеньку, знайте, что уж больше он к этой женщине не поедет — он мне честное слово дал. А вы говорите, зачем езжу? — Высидел-таки его.

Александра Павловна. Да. Он и мне слово дал, только верить-то я боюсь. Как тут поверить, когда кругом такое делается... Вы заметили, что сегодня нет у нас ни Переплетчикова, ни Ставровского, ни Роговича...

Татаринов. Заметил. Как же этого не заметить!

Александра Павловна. Что не приехал сегодня ни Тимофей Андреевич, ни Маслобойников и никто из товарищей-адвокатов? Кто у нас сегодня? Шушера какая-то, да еще помощники Федора Ивановича, да еще этот Розенталь... О вас я не говорю — вы Федин друг.

Татаринов. Тяжело мне говорить вам, Александра Павловна... но и я сегодня не приехал бы, не поклянись я никогда не оставлять Федора Ивановича.

Александра Павловна *(возмущенно)*. Послушайте, как вы смеете это говорить! Разве Федя нечестный человек, к которому нельзя и в дом прийти? Мне все уши прожужжали с этой историей на суде. А я и до сих пор не понимаю, что здесь такого! Сказал он что-то,— но ведь вы же сами находили, что речь его была блестяща.

Татаринов *(успокаивая, кладет свою руку на ее)*. Да, да, милый друг, вы этого не понимаете. Как бы вам это объяснить? Ну, в увлечении защитой, желая во что бы ни стало выиграть дело, быть может, сорвать лишний аплодисмент,— Федор Иванович очень любит поклонение,— он позволил себе очень резко, даже грубо и даже совсем непристойно отозваться о потерпевшем, человеке очень несчастном...

Александра Павловна. Правда, что из публики закричали: вон?

Татаринов. Ну, один там крикнул.

Александра Павловна. Мне передавали, что Федя обернулся и так гордо посмотрел на этого, который крикнул.

Татаринов. Ну, уж какая тут гордость — извиниться бы надо, а не гордость! Ну, вот, все товарищи его: Ставровский, Ро́гович, ну, я и другие — мы и думали как-нибудь уладить дело — все из-за любви к его таланту. Ведь вы и представить не можете, какие надежды мы на него возлагали! Но вот тут как раз Федор Иванович и отмочил свою штуку: вместо того, чтобы послушаться нас и публично извиниться перед потерпевшим, он стал в этакую... гордую позу и говорит: «Не оттого ли, господа, вы так накинулись на меня, что вам просто — завидно: ведь дело-то я выиграю. Мне надоела ваша опека, господа». Повернулся и вышел. Ну, и дело-то он выиграл, это верно...

Александра Павловна. Он тогда всю ночь по кабинету шагал. И все вздыхал. А потом как ударит кулаком по столу... я за дверью слушала. Господи, что же теперь будет?

Т а т а р и н о в. Что ж? Будем судить вашего Федю. И должен вам сказать, что я, как член совета, тоже подам голос за осуждение. Нельзя-с!

А л е к с а н д р а   П а в л о в н а. Что же делать, что же делать?

Т а т а р и н о в *(разводя руками)*. Ну, уж как-нибудь.

А л е к с а н д р а   П а в л о в н а. А позор? Федя этого не переживет. Вы поглядите, какой он сегодня — на него страшно смотреть. *(Улыбается.)* Тапера зачем-то пьяным напоил.

Т а т а р и н о в *(в негодовании)*. Вот это-то и есть. Вот это-то и скверно. *(Передразнивает.)* «Тапера пьяным напоил». Людей не уважает ваш Федя, вот в чем его беда. Чтобы кланялись ему любит, а на тех, кто кланяется, плюет. А попробуй-ка не поклонись!

А л е к с а н д р а   П а в л о в н а. Вас он уважает.

Т а т а р и н о в. Я не про себя. Мне до его уважения дела нет, я клятву дал. Пригрезилось ему, что он не адвокат во фраке, как все мы грешные, а завоеватель какой-то,— и он воюет, и он воюет! А с кем? Тапера пьяным напоил. Черт знает что... Не могу я этого выносить! Опять с ним завтра целый день ругаться буду.

А л е к с а н д р а   П а в л о в н а *(устало)*. Да, да, побраните его. Нездоровится мне, голубчик. Идите себе, а я поваляюсь на бабушкиной постели. *(Вдруг смеется.)* Но как я счастлива, если б вы знали!

Т а т а р и н о в. Ничего не понимаю.

А л е к с а н д р а   П а в л о в н а. Ну, идите, идите. *(Вдогонку.)* И помните, что я самая красивая женщина, а не Анфиса.

Т а т а р и н о в *(глухо, издалека)*. Нет, Анфиса Павловна.

Уходит. Александра Павловна идет за ширмы и говорит оттуда. Бабушка перестает вязать и внимательно слушает, вытянув шею и руку приставив к уху.

А л е к с а н д р а   П а в л о в н а. Бабушка, ничего, что я у тебя на постели полежу? Голова очень кружится. Вот когда я Верочкой беременна была, так совсем иначе себя чувствовала, а теперь и не знаю, что со мной делается. Второй месяц беременности, а кажется, так уж будто полгода прошло. Не понимает, не понимает, да как же ему понять мою радость? И неужели же, бабушка, есть женщины, которые боятся беременности, родов? — Да ведь это же такое счастье! Анфиса говорит: лучше умру, а опять не

забеременею... Да.. Не было у нее хорошего мужа, не знает она, что такое хороший муж. Ты слышала, бабушка, он больше к этой мерзавке не ездит, и дурак Татаринов думает, что это от него.. Ах, как хорошо, так бы, кажется, и осталась тут лежать. Немножко распустила корсет, а уж и то какое облегчение... Нет, от Анфисы это, от моей милой, благородной, несчастной Анфисы, от моей милой, несчастной сестры, которая сама изведала, что значит мужская измена и женское горе... Ты знаешь, бабушка, эту ее историю в Смоленске.. с офицером? Федя про нее не знает, одна только я знаю. Ведь это же ужас! Приехала она

Споткнувшись на ступеньках, почти вбегает в комнату гимназист Петя Он очень красен, возбужден и минутами слегка шатается

Петя Фу, чтоб тебя черт!.. Извините, пожалуйста, я, кажется, не туда Нины Павловны здесь нет? Мне показалось, извините, пожалуйста.

Бабушка молчит и снова вяжет Голос от двери гимназиста Померанцева мрачного товарища Пети.

Померанцев. Петя, оставь!

Петя Я ее пригласил на третью кадриль, извините пожалуйста, я вижу, что тут ее нет... До свидания!

Так же быстро уходит и слышно у двери, как оба гимназиста хохочут

Александра Павловна. Как он меня напугал, я уж Бог знает что подумала. Ох, надо собираться! Скажу Феде, что больше корсета носить не стану, боюсь повредить ребенку Ведь не разлюбит? *(Тихо смеется* Зато я ему непременно мальчика рожу. Чувствую я это Когда женщина беременна мальчиком, то у нее должны быть минуты такой глубокой задумчивости, такой глубокой задумчивости.. Вот как у меня иногда. В сущности, я совершенно понимаю Федю, почему он не любит девочек и так хочет мальчика. Ну, что такое мы, девочки?..

У двери голос Федора Ивановича: «Осторожней, Анфиса Павловна тут ступеньки».

Александра Павловна *(испуганно)*. Ах, Господи, Федя!

Прячется за ширмы. Очень быстро, сильно взволнованная, входит Анфиса Павловна; за нею, словно настигая ее, крупно шагает Федор Иванович. Потому ли, что дальше идти некуда, потому ли, что она ищет какой-нибудь защиты, Анфиса останавливается у самого кресла, держится за спинку кресла. Разговор отрывистый, дышать трудно, смотрят друг на друга почти с ненавистью.

Анфиса. Я не хочу слышать.

Федор Иванович. Я должен сказать.

Анфиса. Я не хочу слышать. Оставьте! Бабушка...

Федор Иванович. Она не слышит. Я должен вам сказать. Я не могу! Во всем доме нет места, где бы я мог. Послушайте!

Анфиса. Я не хочу.

Федор Иванович. Я не могу. Вы делаете нарочно, чтобы измучить меня. Вы уходите, прячетесь. Я вас ищу во всех темных углах. Я сейчас без шапки бегал по саду, по колена в снегу, и звал. Зачем это?

Анфиса. Я была в гостиной.

Федор Иванович *(гневно)*. Да, в гостиной. Сидела в углу — с этим ничтожеством — улыбалась ему, а я ее искал — по колена в снегу. Это вы делаете нарочно, вы хотите измучить меня!

Анфиса. Вас? Но при чем же вы здесь? Какое вы имеете отношение к тому, что я делаю? Опомнитесь, Федор Иванович. И я вовсе сидела не в углу...

Федор Иванович. Нет, в углу! Боже, зачем вы еще лжете?

Анфиса. Федор Иванович...

Федор Иванович. Ну, ладно, ну, простите. Я говорю глупости. Но я так измучен! *(Садится.)* У меня еще и сейчас дрожат колена. Простите. Но больше я не могу. Я люблю...

Анфиса *(быстро)*. Вы любите жену.

Федор Иванович *(удивленно)*. Жену?

Анфиса. Да. Вы сами говорили это. Вы помните? Вы были с нею так нежны, я так рада этому... Бедная Саша!

Федор Иванович *(все так же удивленно)*. Я с нею нежен? Разве? Это правда? Да, да, может быть,— но разве вы не понимаете? Вы, умная такая. Я нежен с ней, потому что люблю вас; свою любовь к вам я назвал иным именем... Только для вашей ласковой улыбки, только для того, чтобы на мне остановился с ласкою ваш взор, я готов любить ее, другую, третью! Что за вздор!

Анфиса. Молчите. Я не хочу! Пустите меня. И вы были равнодушны ко мне, и вы говорили, что даже женщины во мне не видите.

Федор Иванович. Это неправда.

Анфиса. Так зачем же вы говорили неправду?

Федор Иванович. Не знаю. Но это неправда. Вы знаете... Вы знаете один мой маленький ужас, который становится теперь таким большим? Это может быть только в церкви, да, только в церкви. И, вероятно, многие из нас испытывают это, но молчат. Тогда, на моей свадьбе, я ведь видел вас впервые. На мне уже был венец, а жена — жена моя, невеста, не знаю, кто она тогда была, на ней также был венец — улыбнулась кому-то и шепнула: «Смотри, приехала Анфиса, как я рада!» И я взглянул, и я тут же подумал, даю вам в этом честное слово, и я тут же подумал — почему я женюсь на этой, а не на той? Потом забыл, а теперь вспомнил.

Анфиса. Мне кажется... кажется, я почувствовала это. Впрочем, это неправда!

Федор Иванович. Зачем вы пришли так поздно?

Анфиса. Пустите меня. Где Саша?

Федор Иванович. Зачем вы пришли так поздно?

Анфиса *(твердо)*. Пропустите меня, Федор Иванович. *(Спокойно проходит, задев его платьем, останавливается и говорит в полоборота.)* Все это неправда, голубчик. Я вас понимаю, вы ошиблись. Благодарность к врачу вы приняли за любовь и уже начинаете мучиться здоровьем, но это пройдет. Вы будете любить Сашу, вы и сейчас любите ее, а я завтра — уеду.

Федор Иванович. Уедете? Оставите меня одного?

Анфиса. При чем здесь вы? Я уеду, потому что мне надо ехать, потому что я устала, соскучилась, потому что мне надоел, наконец, ваш город, ваш Татаринов, вся ваша жизнь. При чем здесь вы?

Федор Иванович. Уедете теперь, теперь, когда все оставили меня,— теперь? Вы забыли, вы, наверно, забыли, что делается вокруг меня, иначе вы, великодушная, не сказали бы. Вы видели сегодня провалы: пустые места — там должны были находиться мои друзья. И их нет — они ушли.

Анфиса. Вы сами оттолкнули их.

Федор Иванович. Ах, оставьте! Это должно было случиться. Я не могу вместиться в ту щель, которую они оставили мне. Я не могу!

Анфиса. Вы оскорбили их.

Федор Иванович. Я не виноват! У тех, кто хочет много, свои законы. Я не виноват. Но все же мне больно, и мне их жаль... и одиночество пьет мою кровь. Помоги мне, Анфиса! Ты так же одинока — помоги мне, Анфиса! Дай,

чтобы в моей руке я почувствовал другую, сильную, смелую, правдивую руку. Дай! *(Хватает Анфису за руку.)*

Анфиса. Оставьте меня! *(Вырывает руку.)* Что с вами сделалось, Федор Иванович? Вы стали... грубы.

Федор Иванович. Я люблю вас.

Анфиса. Нет, вы просто стали грубы. Еще вчера... такой мягкий... благородный... вы показались близки мне, как женщина. Ведь вы плакали вчера, когда я играла... Да, да, как женщина.

Федор Иванович. Я плакал от любви к тебе, Анфиса, а сегодня... Ах, Боже мой! Без шапки, по колена в снегу, я бегал и звал ее — звал ее,— а она сидела там — в углу — с этим ничтожеством. Как вы смели!

Анфиса. Вы становитесь неприличны, Федор Иванович! Я завтра уезжаю.

Федор Иванович. Скажи мне: да. Выйди к ним ко всем и скажи, что любишь меня.

Анфиса. Завтра я уезжаю.

Федор Иванович. А я... один?

Анфиса. С вами останется жена.

Федор Иванович. Плохая шутка, Анфиса Павловна.

Анфиса *(гневно)*. Ах, Боже мой! Да поймите же вы, что я просто, что я просто — не люблю вас.

Федор Иванович *(устало и покорно)*. Да? Так вот как, значит. Хорошо! Ну, так уходите же — чего же вы стоите, разве вы не все сказали? Что вы так смотрите на меня — я вам противен? Быть может, жалок? Ну? Разве вы не все сказали?

Анфиса *(коротко)*. Все.

Быстро уходит. Федор Иванович несколько раз проходит по комнате, останавливается, думает о чем-то, сильно вздыхает и, окинув комнату быстрым взглядом опомнившегося человека, хочет уходить. Но вспоминает — и, подойдя к самому креслу бабушки, продолжительно и строго грозит ей пальцем.

Федор Иванович. Молчи.

Спицы в руках бабушки заметно дрожат. Федор Иванович уходит. Из-за ширмы появляется бледная, растерянная Александра Павловна, торопливо застегивает крючки на лифе и как-то нелепо, словно слепая, тычется в углы.

Александра Павловна. Ах, Боже мой! Что же это, бабушка. Как же мне быть, если он догадается, что я была здесь и все слышала. Что я ему скажу? Он не поверит, что я нечаянно. Молчи, бабушка, молчи! Бабушка,

милая бабушка, у меня ноги подгибаются, я упаду сейчас, бабушка...

Вбегают очень веселые Н и н о ч к а и гимназист П е т я.

Н и н о ч к а. Саша, Саша, где ты? Тебя Федя ищет. Скорее, сейчас ужин!

А л е к с а н д р а П а в л о в н а. Я только сейчас, я была в детской.

Н и н о ч к а. Уже скоро двенадцать!

А л е к с а н д р а П а в л о в н а. Вот как, а я и не думала, что уже скоро двенадцать. Я была в детской. Вот как странно — уже скоро двенадцать.

Н и н о ч к а *(удивленно)*. Да что с тобой, Саша?

А л е к с а н д р а П а в л о в н а. Я была в детской, что же может быть со мной; вот странно! Я все время была в детской.

Н и н о ч к а *(берет ее за руку)*. Идем, идем!

А л е к с а н д р а П а в л о в н а. Да, конечно, идем, а то как же? Конечно, идем. И вы с нами, Петя, или вы останетесь тут?

П е т я *(хохочет)*. Тут? С бабушкой?

А л е к с а н д р а П а в л о в н а. Ну да, я хотела сказать...

Уходят, оставляя дверь открытою. Бабушка перестает вязать и слушает, приложив руку к бескровному уху. Слышны восклицания, смех, обрывки музыки и пения, затем наступает тишина — и в тишине большие часы отчетливо и гулко отбивают двенадцать ударов. И как торопливое, маленькое эхо, запоздав на минуту, отвечают и маленькие часы в бабушкиной комнате. Тех, далеких часов бабушка, видимо, не слыхала, но к этим прислушивается внимательно, подтверждает слабыми кивками головы торопливые удары — и снова берется за чулок. А там уже снова говор и смех и тонкий звон стекла, поздравления, разрозненное, неудавшееся «ура». Весь этот разноголосый шум приближается сюда, и отдельные всплески его раздаются в самой бабушкиной комнате.

Г о л о с а.

— К бабушке, к бабушке, поздравлять,— держите тапера — он разобьет фортепиано. Петя, оставь!

Первыми входят старики А н о с о в ы, родители Александры Павловны.

А н о с о в. Ну, держись, бабушка, к тебе целое нашествие! Так пока что, до галдежу всякого, мы вот и пришли со старухой тебя поздравить. Поздравляю. Ничего, живи себе, коли уж столько прожила, что ж с тобой поделаешь. Ну, и что Федя с этим музыкантом наделал: он эту самую свою фортепиану, как хороший муж хорошую жену, бьет и по

ушам, и по мордасам, и за волосы ее волочит... а сам-то хохочет, чудак! Хороший, видно, человек!

Аносова. Я уже и смотреть боюсь, как он мудрует, вот-вот посуду бить начнет. Хороший человек в семейном доме так себе напиться не позволит. Я уже и то говорю Сашеньке: ты бы, дочка, лучше в кухню его отправила, пусть там по столу колотит. Она говорит, нельзя — гость. Какой же он гость, когда музыкант, да еще пьяный.

Аносов. Вот и они. Веселый народ!

Голос Розенталя. Господа, факельцуг. Берите свечи.

Беспорядочной толпою, с попыткой изобразить факельное шествие, спотыкаясь на ступеньках, с говором и смехом, входят гости. Развязно, несколько иронически, видимо проделывая шутку, поздравляют бабушку; но встречают старое, серое от старости и знания замкнутое лицо, видят мелькающие спины, слышат глухое, но тревожное молчание — и в смущении неловко отходят.

Розенталь *(добродушно кричит старухе на ухо)*. Бабушка, слыхали, еще Новый год наступил. Понимаете, Новый год? Поздравлять пришли. С новым счастьем, с новым годом, ну, и так далее. Ну, а вот зубы-то уже не вырастут, бабушка?

Аносов. А вы ее, господин Розенталь, не тревожьте — от такого ласкового крика она и помереть может, жизнь-то у нее промеж пальцев вертится. Не сдунуть бы.

Ниночка *(целует старуху)*. Милая ты моя старушка, вот и раскрылись ворота.

Гимназист Петя идет под руку с тапером, оба покачиваются. Тапер молодой, краснолицый, прыщеватый малый, с длинными мочалистыми волосами, которые нависают ему на лоб и которые он смахивает с таким видом, как будто ловит муху. Радостно смущен, давно уже потерял язык и только временами дико хохочет и взмахивает руками, как бы разбивая рояль. Подружившийся с ним Петя громко поет ему на ухо.

Петя. «Разбив мое сердце безбожно, она мне сказала: «прости». Так будем же пить, пока можно, а там хоть трава не расти».

Отчаянно машет рукой, тапер дико хохочет.

Померанцев *(пьяный и мрачный)*. Оставь, Петя, не унижай себя.

Аносова. Ай-ай-ай, вот бы повидали вас родители!

Померанцев *(мрачно)*. У нас нет родителей. Мы подкидыши.

Петя *(кричит)*. Нина Павловна, с Новым годом и с новым счастьем! «Рассудок твердит укоризну, но поздно, меня не спасти...»

Под руку с женой входит Федор Иванович, улыбается, что-то шепчет, наклоняясь к ней. С той же улыбкой, безразлично, но слишком долго смотрит на Анфису, которая в стороне тихо разговаривает с очень скромным молодым человеком в судейской форме.

Федор Иванович. Что с тобою, Саша, тебе нездоровится?

Александра Павловна. Да, я устала очень. Ты знаешь...

Федор Иванович *(резко)*. Я не люблю усталости! *(Нежно.)* Впрочем, и правда, ты, быть может, прилегла бы. Устала, бедная моя красавица!

Александра Павловна *(вздыхает)*. Да, красавица.

Розенталь *(подхватив последние слова)*. Да не всем красота моя нравится. Верно. Тише, господа. Maestro, перестаньте так дико хохотать — наш Цицерон намеревается произнести речь. Внимание, внимание!

Татаринов *(длительно и строго смотрит на Розенталя, потом отворачивается и медленно начинает)*. Господа! Перед лицом этой почтенной старости меня особенно волнует вопрос о времени, о его, так сказать, текучести, и в связи с ним вопрос о том, что такое Новый год, для встречи которого...

Розенталь *(передразнивая)*. На основании вышеизложенного...

Татаринов *(еще строже и еще медленнее)*. Для встречи которого мы собрались под гостеприимным кровом Федора Ивановича. Новый год...

Розенталь. И имея в виду кассационное решение за номером 2240...

Татаринов. Федор Иванович, попросите вашего друга замолчать, иначе я за себя не ручаюсь.

Федор Иванович. Оставь, Иван Петрович. Ты больше по гражданским делам, а тут... тут, брат, дело уголовное. *(Отстраняет от себя жену, выступает несколько вперед и говорит, глядя только на старуху. Только раз или два в течение речи быстро взглядывает на Анфису.)* Да, господа. Не скажу, чтобы мы находились перед таким уже почтенным лицом, как выразился мой товарищ,— но что это лицо важно, что это лицо загадочно и даже страшно, об этом я позволю себе сказать несколько слов.

Татаринов. Ну, раз ты сам хочешь говорить, тогда дело другое. Послушаем. Господа, Федор Иванович говорит.

Федор Иванович *(небрежным, несколько презрительным жестом указывает на бабушку)*. Взгляните на нее. Никто не знает, откуда она пришла и чем она была; я сам только смутно слышал о каком-то ее муже, брате моего деда, который умер слишком рано, да, слишком рано. И, родившись вместе с этими старыми, полусгнившими стенами, я нашел и ее, такую же старую, гнилую, наполовину истлевшую — но живую. И уже в детстве я боялся ее, и этой комнаты, и этих бесконечных петель, которые нанизывает она. *(Быстро.)* Я не верю, что это — чулок.

Аносов *(беспокойно и примирительно)*. Ну, что ты, Федя, старушка и старушка. Эка, тогда и всех нас, стариков, бояться надо.

Татаринов. Ты отходишь от темы, Федор Иванович.

Федор Иванович. Кто она? Где обитает ее темная душа? В каких болезненных корчах, смутных и страшных снах, в бреду старческого безумия доживает последние дни ее истлевший, полумертвый дух, измученный пленом долгой жизни? Она женщина — что это значит? Она старуха — что это значит? Какие образы хранит ее дырявая, обветшалая память?.. Быть может, вся в ничтожных мелочах, быть может, вся в чаду зловещей тайны каких-то зол, каких-то страшных преступлений.

Александра Павловна. Федя...

Татаринов. Федор, оставь, нехорошо. Нетактично.

Федор Иванович *(гневно)*. Молчи!.. Я знаю, например, что притворяется она глухой,— зачем? Затем, чтобы слышать — чтобы знать? Затем, чтобы молчать? Но я — человек не робкий — я боюсь этой глухоты, в которой так много чуткости, я боюсь этого молчания, в котором так много неразгаданной, но громко кричащей лжи!

Александра Павловна. Федя. Я прошу тебя...

Анфиса. Не довольно ли, Федор Иванович?

Розенталь. Браво!

Федор Иванович *(мрачно)*. Нет, не довольно. Я еще не сказал самого важного, я еще не сказал, что она — раба. А я боюсь рабов — они бьют в спину! Я боюсь этих загадочных существ, у которых куда-то в глубину, в потемки загнана свобода, а наружу осталась только хитрость да злость. *(Вздрагивает.)* Да страшные удары в спину.

Ниночка *(громко)*. Это неправда!

Аносов. Оставь, Нинка, ты куда еще лезешь?

Ниночка *(еще громче)*. Это неправда, неправда, неправда!

Анфиса *(бросается к ней)*. Что с тобой, Ниночка, что ты, голубчик? Вот что вы делаете, Федор Иванович, вашим... красноречием.

Федор Иванович. О чем ты, Нина?

Ниночка *(плачет, громко)*. Оставь меня. Это неправда, что тебя в спину... в спину... Я не хочу, чтобы ты думал так, это ужасно думать так, я не хочу, это неправда...

Федор Иванович. Да, голубчик ты мой... Розенталь, принеси ей воды. Да ведь я ж не про себя! Ну, кто ж, подумай, ударит меня в спину?

Ниночка. Боже мой, я не могу, я побегу, я побегу в сад! *(С плачем убегает.)*

Пианист дико хохочет.

Петя *(взволнованно)*. Померанцев, ты мне друг или нет? Идем за ней.

Померанцев *(мрачно)*. Оставь, Петя. Он прав.

Петя. Идем!

Уходят.

Александра Павловна *(бледнеет и шатается)*. Ой, под сердцем... руку...

Татаринов *(дает ей руку)*. Ну, вот уж это совсем некстати! Талантливо, но черт знает какая ерунда! И опять-таки нетактично.

Анфиса. А по-моему, даже и не талантливо, а только...

Федор Иванович *(смеется)*. А только? Договаривайте. Знаете: это скверное свойство — не договаривать или сказать все — и не уходить.

Мгновение они меряются взорами; затем Анфиса гневно хватает за руку покорного судейского.

Анфиса. Идемте!

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Душный июньский вечер. Гостиная в доме Костомаровых. Все четыре окна на улицу раскрыты настежь, за окнами непроглядная темень. Улица, на которой стоит дом Костомаровых, окраинная, малоезжая; и в этот черный душный вечер она пустынна и нема. Только у ворот тихо беседует отдыхающая прислуга, да изредка под окном прозвучат чьи-то неторопливые шаги. Темно и душно и в гостиной. Горит лишь одна лампа с красным

матерчатым абажуром; вокруг лампы на диване и креслах сидят старики Аносовы и Александра Павловна. На подоконнике одного из раскрытых окон сидит Анфиса; ее совсем почти не видно, и только, когда она говорит, начинает смутно белеть ее лицо в черной рамке ночи, черного платья и черных волос.

Александра Павловна *(говорит устало и немного расслабленно)*. И уж какое лето грозовое: все грозы да грозы, а по деревням пожары. Третьего дня в Кочетовке девочку молнией убило.

Аносов. На все Божья воля.

Аносова *(пристально смотрит на неяркий огонь лампы)*. Уж на что бы, казалось, проще: лампа горит, а вот не могу глаз отвести, да и только. До того измаялась я в темноте, что моченьки моей не стало, будто теперь только узнала я, какая-такая есть темная ночь.

Аносов. Керосин нужно поберечь. Вон птицы безо всяких ламп живут и не жалуются.

Аносова. Да уж и жалеем! Целое лето так-то вот перед темным окном сидим да горькие думы свои думаем. Все копеечку бережет старик-то наш.

Аносов. Не ропщи!

Аносова. Да я не ропщу. А вот только намедни, сижу я так-то у окна да и осуждаю нашу управу! И чего бы, думаю, у нашего дома фонарь ей не поставить: глядела бы я на него, и все как будто свет в очах. А то поставили за углом,— кому он там нужен!

Аносов. Стало быть, нужен. Тебе одной, думаешь, свет приятен — эка!

Аносова. Думаю это я и осуждаю, а вдруг, глядь, какой-то прохожий, дай Бог ему здоровья, спичкой чиркнул, папиросу, должно быть, зажигал. И уж до того приятно это показалось, и уж так-то я этому огонечку обрадовалась: не забыл, думаю, Господь, о завтрашнем дне напоминает.

Аносов. Так-то лучше! Вот погоди, старуха, скоро именинница будешь, так целый коробок спичек подарю, такой фейерверк устроишь, как на пожарном гуляньи, в саду.

Александра Павловна. Почаще бы к нам ходили, мамаша, а то не дозовешься.

Аносова. Да, попробуй поговори-ка с ним.

Аносов. Нет, дочка, ты уж лучше не приглашай. У тебя своя жизнь, молодая, веселая, беззаботная, а у нас своя — стариковская, и зачем же мы будем докучать тебе нашим видом печальным? Вид у нас очень печальный,

Сашенька. Как Божьей милостью затонули мои три баржи безвозмездно и попал я в несостоятельные должники...

А н о с о в а. Ты, Сашенька, тогда еще в девицах ходила, и вот уж чего не помню: кончила уже тогда гимназию или еще училась?

А л е к с а н д р а П а в л о в н а. Да в ту же весну и кончила. Как же вы не помните, мамаша?

А н о с о в а. Перепуталось все. И себя-то уж плохо помним.

А н о с о в. И с тех пор берегу я каждую копейку, чтобы удовлетворить моих господ кредиторов. Конечно, мог бы я и не платить — полгорода надо мною смеется: вот, говорят, старый дурак, себя кровей лишает, добрым людям брюхо растит. Даже господа кредиторы и те удивляются, как я им каждое первое число то пятерочку, а то, Бог даст, и десяточку приношу. Да плюньте вы, говорят, Пал Палыч, мы уж про всякие ваши долги забыли, но, однако, я не позволяю и только тихим голосом говорю: дозвольте расписочку в получении.

А л е к с а н д р а П а в л о в н а. Федя и то говорит: давно бы вам перестать, папаша,— смешно, право!

А н о с о в. Нет, не смешно. Но обстоятельства в том, что я люблю справедливость. Кого Бог покарал? Меня, Павла Павлова, сына Аносова. Так кому ж отдуваться? Мне, Павлу Павлову, сыну Аносову. Для кажного человека — вслушайся, Анфиса, и ты в мои слова, ибо говорю я от чистого сердца и духа моего...

А н ф и с а *(тихо)*. Я слушаю.

А н о с о в. Для кажного человека есть своя справедливость. И есть она не только для господина губернатора, но даже, вслушайтесь, и для самого министра земледелия и промышленности. И ежели уж хороший пес, и тот свои обязанности понимает, никогда куска без дозволения не возьмет, так что же я, купец, хуже собаки, что ли?

А н о с о в а. Зато Павла Павловича весь город уважает.

А н о с о в. Что город. Меня вся губерния уважает. Мужики на базаре и те меня заприметили и весьма кланяются.

А н о с о в а. Ну, еще бы, мужики.

А н о с о в. А ты, старая, жалуешься. Керосину и в остроге достаточно, а вот чтобы без него светло было, так это, может, у нас только и есть. Ах, мало справедливых людей на свете! И Господь Бог восчувствовал это, взял дочерей моих и устроил. Вот только тебя, Анфиса, мне очень жалко: и умная ты, и красивая ты, и очень справедли-

вая — про тебя, Сашенька, голубчик, я этого не скажу,— а живешь ты так, что ни Богу ты свеча, ни черту кочерга.

Анфиса. Живу, папаша, как умею. Сами знаете, что такое жизнь.

Аносов. Знаю, дочка, знаю. Ты не обижайся, мы с матерью очень уважаем тебя. Кто первый сказал тебе: брось этого стервеца, хоть он и чиновник министерства финансов?

Анфиса. Вы, папаша.

Аносов. Ну, вот то-то. А ты, Сашенька, вслушалась в мои слова?

Александра Павловна. Как же, вслушалась. Это вы верно сказали: Анфиса очень справедливая. Про себя я не говорю: что я такое? А она очень справедливая. Прямо сказать — другой такой женщины среди нас, может быть, и не найдется.

Анфиса *(веселым голосом)*. Ну, оставь, Саша!.. Просто я... Ты сама такая хорошая...

Аносова. Да, занапрасно ты, старик, Сашеньку обидел твоею справедливостью. На что я добра, а Саша, так та просто до глупости.

Аносов. Ну, и слава Богу! Все, стало быть, хорошие люди оказались, один другого лучше. До того хорошие, что можно и по домам идти.

Александра Павловна. Посидите, рано еще. Может, скоро и Федя из сада вернется.

Анфиса. Он с Ниночкой поехал?

Александра Павловна. Да. Посидите, папаша, а то мне, право, скучно.

Аносов. Ничего, с сестрой посидишь, а нам и спать пора. А Федору Ивановичу передай ты, Сашенька, мое высокое почитание и скажи ему: день и ночь благодарим мы его со старухой за Ниночку, что приютил сироту. Потому что у таких родителей, как мы, несостоятельных должников, и дети сироты. Подарочек я ему один приготовил, мундштук пенковый приобрел на толкучке. Очень занятной конструкции, с голой женщиною — старуха даже смотреть не хочет, хотя женщина при всем своем справедливом фасоне... Но об этом молчок.

Уходят, и Александра Павловна их провожает. Во время дальнейшего разговора в передней Анфиса быстро ходит по комнате и несколько раз хватается за голову.

Аносов. Ну, как, дочка?

Александра Павловна. Да уж седьмой месяц.

Аносов. Ну, и напьюсь же я у тебя на крестинах, дебош произведу. Да музыканта энтого пригласи, уж очень он веселый человек. Как хватит!.. Постой, старуха, что это ты под тальму прячешь? Не воруй, городового позову.

Аносова *(робко)*. Это мне... Саша свечку на всякий случай дала. Огарочек!

Аносов. Э, нет. Отдай назад. У нее там целые паникадила горят, а она — огарочек! Э-э-эх! Не коснулся, видно, Господь еще женщины, и сколько ты ее ни корми, а она все в лес смотрит.

Александра Павловна. Это я, папаша.

Аносов. Ну, и ты хороша. Огарочек... То есть из-за какого-нибудь огарочка она тебе...

Голоса смолкают. Александра Павловна возвращается.

Александра Павловна *(смеется)*. Вот история! Так рассердился старик, что даже прощаться не захотел,— грозит, что ходить не станет.

Анфиса. Я слышала.

Александра Павловна. А у мамаши в левой руке целковый зажат, всю дорогу теперь дрожать будет, как бы не попасться. *(Ласково.)* Что с тобой, Анфисушка, мрачная ты какая?

Анфиса. Так, голова немного болит.

Александра Павловна. Ой, смотри, боюсь я этой головной боли. А не поташнивает тебя?

Анфиса *(весело)*. А отчего меня будет тошнить? Хотя, конечно, при мигрени...

Александра Павловна. Я и говорю, что при мигрени. Вот странная вещь: когда я Верочкой беременна была, так просто не знала, куда деваться от тошноты, а вот теперь как-то незаметно прошло. Отчего бы это?

Анфиса. Не знаю, право, я так давно беременна была, что уж все... перезабыла. Кажется, и меня тошнило.

Александра Павловна *(смеется)*. Ну, конечно, откуда тебе и знать? Живешь ты, как честная вдова... А вот выдам тебя замуж, тогда опять вспомнишь. *(Серьезно.)* И вот что, сестра, не забудь своего обещания.

Анфиса *(тревожно)*. Какого?

Александра Павловна. Такого. Неужели позабыла? Ах, нехорошо, нехорошо, сестра, так я на тебя полагалась, так я тебе верила всегда — ведь я тебя чуть ли не святой считала, ей-Богу!

Анфиса. Да про что ты?

Александра Павловна *(смеется)*. А в крестные матери-то. Помнишь, ты сказала: как только второй ребенок родится, обязательно тебя, Саша, в крестные матери позову.

Анфиса *(смеется)*. Разве обещала? Ну, тогда, правда, забыла совсем, ведь ты знаешь, как я далека от всего от этого.

Александра Павловна. Всякий знает.

Анфиса. Ты вот говоришь — замуж, а я как вспомню про это несчастное замужество свое, мне становится так грустно, так обидно... Слепая я тогда была. Вон есть пословица: кого Бог хочет погубить, того сперва лишает разума. А нас всех Он раньше лишил разума,— пусть выбирается, которая сумеет.

Александра Павловна *(громко)*. А офицера в Смоленске помнишь?

Анфиса *(испуганно)*. Тише! *(Строго.)* И никогда не вспоминай мне этого, слышишь? Этого не было никогда. Я ничего не помню, и ты забудь, и пусть никто не знает о моем позоре.

Александра Павловна *(с раскаянием)*. Ах, Ты, Господи, что же я наделала? Дело, думаю, прошлое, и потом же не чужому говорю, а своему...

Анфиса. Ты рассказала?

Александра Павловна. Да, Феде.

Молчание.

Александра Павловна. Ты бы, Анфиса, ментолу попробовала, а то можно в аптеку за карандашом послать. Мишка живо сбегает. *(Подходит к окну, кричит.)* Миша!

Анфиса. Нет, не надо. У меня уже совсем прошла. Просто от жары. Такой душный день сегодня. *(Пьет воду, говорит насмешливо.)* Ну, и что же сказал твой благоверный, удивился?

Александра Павловна. Представь себе — не очень. Только засмеялся и говорит...

Анфиса. Ну, хорошо, будет об этом, неинтересно. Какая жара!

Александра Павловна. Да. Хоть бы ветер был. Да вот еще, кстати, все забываю тебе сказать: у меня одна часть твоего туалета лежит, возьми, пожалуйста.

Анфиса. Что? От стирки что-нибудь осталось?

Александра Павловна. Нет. *(Смеется.)* Представь себе какой случай: наша Катя в кабинете Федора

Ивановича подняла. Ну, конечно, ко мне и принесла. Так возьми, пожалуйста, не забудь.

Анфиса *(смеется)*. Этого не может быть, что ты говоришь! Какие пустяки!

Александра Павловна. Отчего же не может быть? Сидела в кабинете, подшивала, а тебя кто-нибудь позвал, ты и забыла. Там и сейчас кружевцо немного оборвано. Ты не волнуйся! Я так Кате все и объяснила. А то ты знаешь, какой у нас народ на кухне,— пойдут разговоры. *(Строго.)* Если тебе другой раз понадобится что-нибудь работать, так приходи ко мне. А то все-таки кабинет адвоката, клиенты, посторонние люди бывают, неудобно, если вдруг на полу...

Анфиса. Да, конечно, конечно. Федор Иванович любит порядок. Я вообще редко встречала человека, который, с одной стороны, был бы так безалаберен, как твой Федя, а с другой... Хоть бы гроза, что ли! Знаешь, не пройтись ли нам хоть по улице около дома? Засиделись мы с тобой, как старухи. Когда я в Смоленске жила, там тоже есть сад, Лопатинский называется...

Александра Павловна. Что ж, пойди, а я Федю ждать буду. Он такой милый стал за последнее время, что я и не знаю, как тебя благодарить. *(Смеется.)* Ну, что я теперь? Беременная, некрасивая, самой на себя в зеркало взглянуть противно, а он меня целует, как невесту. Позавчера ночью я даже испугалась. Кто это, думаю, вошел?

Анфиса. Ну?

Александра Павловна. Так тебе все и рассказывать, какая ты любопытная! *(С нескрываемой насмешкой.)* Сама, я думаю, прекрасно знаешь, что бывает между мужчиной и женщиной, когда они друг друга любят.

Анфиса. Но он...

Александра Павловна *(вызывающе)*. Что он? Не любит?

Молчание. Смотрят друг на друга.

Анфиса *(упавшим голосом)*. Жарко.

За окном голос Татаринова:

— Можно? Я только на минутку.

Александра Павловна *(с сожалением отрывая взгляд от Анфисы)*. Эка, принесла нелегкая! *(В окно, со смехом.)* Заходите, заходите, Иван Петрович, очень рады. Мы здесь с Анфисой, как две безутешные вдовы. *(К Анфи-*

се.) Милый человек — я его очень люблю. Ты рада, что он пришел?

Анфиса *(смеется).* Только уж очень он скучный. Про него верно Розенталь говорит...

Входит Татаринов, его радушно встречают, но он мрачен.

Александра Павловна. Что это вы такой мрачный, Иван Петрович? *(Беспокойно.)* Случилось что-нибудь?

Татаринов. Нет, нездоровится. С желудком что-то неладное, завтра к доктору пойду. Какой-нибудь дрянью в ресторане накормили.

Анфиса. Вы откуда?

Татаринов. Откуда же! — из городского сада. С Федором Ивановичем там сидели, он пиво пил, а я ничего не стал. Ну, конечно, Розенталь. Но только *(разгорячась и ходя по комнате)* я больше этого терпеть не стану. Пусть у Федора Ивановича будет хоть гений, а я этого терпеть не стану. Эта... развратнейшая личность, этот нахал Розенталь...

Александра Павловна. Опять?

Татаринов *(останавливаясь).* Вы знаете эту собаку в саду, приблудная какая-то, все ее знают, вертится постоянно? *(Мрачно.)* Жучкой ее зовут.

Александра Павловна. Не знаю.

Татаринов. А, Господи, ее все знают. Но только черт ее знает, откуда она. И вот сегодня вертится она вокруг нашего стола, а Розенталь говорит шепотом Федору Ивановичу: «посмотри, как нынче Татаринов мрачен». Ну, а я, знаете, нездоров, и мне даже приятно показалось, что такой негодяй тоже имеет человеческое сердце. И что же? «Это оттого, говорит, Татаринов так мрачен, что не знает, наверно, кто Жучкин отец, и не может назвать ее по отчеству». А?

Обе женщины смеются.

Татаринов *(горько).* Смешно? И вот такое кабацкое остроумие всегда будет иметь успех, а то, что я не подаю ему руки, то, что я член совета сословия присяжных поверенных...

Анфиса *(примирительно).* Да оставьте, голубчик, да охота же вам! Болтун, говорит глупости, а, в сущности говоря,— очень безобидный и даже хороший человек.

Татаринов. Я буду жаловаться на него в совет.

Александра Павловна. Ну и жалуйтесь. Пусть ему зададут хорошенько. Ну, а что Федя?

Татаринов. Там эта Беренс...

Обе женщины. Что?? Беренс?

Татаринов. Успокойтесь, все обошлось прекрасно. Я как раз и рассказать хотел, что совсем наоборот. Можно говорить? Впрочем, вы обе...

Александра Павловна. Да, обе. Говорите.

Татаринов. Ну вот, сидим мы это за столиком тут, и Нина Павловна с нами была, и вдруг эта Беренс подходит к нам прямо к столику,— вы представляете себе эту дерзость? — колышет этак шляпой и говорит: «Федор Иванович, я случайно осталась одна, не можете ли вы проводить меня до дому?» Нина Павловна даже побледнела, а я...

Александра Павловна. Да ну, скорей же говорите.

Татаринов *(торжественно)*. И Федор Иванович взял ее за руку, вот так, и просто отвел от стола, как ребенка или как собаку, и сказал ей только два каких-то слова, и она ушла одна, как пришла. Но если бы видели, как она уходила.

Александра Павловна *(смеется)*. Я представляю!

Анфиса *(мрачно)*. Мне ее жаль.

Александра Павловна *(с негодованием)*. Ее-то? Ты совсем... порешилась, Анфиса.

Татаринов. Скажу по правде, и мне ее жаль стало — уж очень гордо она пришла и уж очень... жалко она ушла. И хотя Федор Иванович был вполне вежлив...

За окном тревожные голоса.

Ниночка *(в окно)*. Саша, ты здесь? Саша!.. Саша, ты знаешь, Померанцев застрелился.

Александра Павловна *(хватаясь за грудь)*. Ах, Господи, какой еще Померанцев?

Петя. Мой товарищ, гимназист. Он под Новый год у вас был. Прямо в сердце.

Татаринов. Да когда же это? Не больше часу, как я ушел из саду.

Ниночка. Вы только что ушли, прибегает Петя и говорит...

Александра Павловна. Зайдите, Петя, расскажите.

Петя. Не могу, Александра Павловна. Мы, гимназисты, решили дежурить около него ночь.

Анфиса. Петя, это он от любви?

Петя *(поучительно)*. Разве только любовь и есть на свете, Анфиса Павловна? Есть и другие проклятые вопросы.

Ниночка. Он любви не признавал.

Анфиса. Цветов ему хороших насбирайте. Цветов...

Ниночка *(плачет)*. Мы и то все розы в саду обломали. И дядя Федя с нами ломал.

Александра Павловна. Какое мальчишество! А где же Федя сейчас?

Петя. Он к полицеймейстеру поехал.

Ниночка. Он велел мне около больницы его подождать. Я так только на минутку прибежала сказать. Мы сейчас с ним приедем.

Анфиса *(уходящим)*. Цветов ему насбирайте.

Татаринов *(морщась)*. Какая неприятность! И что делается с этой молодежью, экзамен он, что ли, не выдержал?

Александра Павловна. А у меня сегодня точно предчувствие какое-то...

Анфиса горько плачет.

Татаринов. Что с вами, Анфиса Павловна? Да успокойтесь же вы.

Александра Павловна *(недовольно)*. Что это еще за комедия, Анфиса?

Анфиса. Хорошо умереть молодым... *(Плачет.)*

Александра Павловна *(всхлипывает)*. Ну, вот ты и меня расстроила. Уж я так берегусь, чтобы не волноваться, а ты...

Анфиса. Ну, ничего, ничего. Так вспомнилось. *(Улыбается сквозь слезы.)* Смешной мальчик. Любви не признавал, проклятые вопросы... Хорошо умереть молодым!

Татаринов. Да вот еще что! Очень важно! Я только что хотел рассказать, как пришли они и помешали. Дело касается Федора Ивановича и, боюсь, очень серьезно. Дело в том...

Александра Павловна. Ну, что же еще, Господи? Разве уж мало того, что есть?

Татаринов. Когда мы с Федором Ивановичем проходили по террасе, нам встретился Ставровский. И хотя с того случая на суде они с Федей, так сказать, незнакомы и руки друг другу не подают, Федор просто из вежливости поклонился ему. И Ставровский не ответил. Может быть, не видел — не знаю. Но только Федор отвел меня в угол и говорит мне спокойно, но сам белый, как бумага. И даже на «вы». «Передайте, говорит, Ставровскому, что если в следующий раз он не ответит на мой поклон,— а я и в следующий раз ему поклонюсь,— то мы будем драться, или же

я просто убью его, как собаку». Только вы, ради Бога, не передавайте Федору, что я рассказал.

Александра Павловна *(растерянно)*. Как же теперь?

Татаринов. Не знаю. Я, конечно, приму все меры для того, чтобы уговорить Ставровского, но за успех не ручаюсь: он ужасно самолюбивый и, наверно, станет на дыбы. Главное, вы постарайтесь повлиять на Федора Ивановича. Вы, Анфиса Павловна, имеете на него такое большое влияние...

Александра Павловна. Да, Анфиса, пожалуйста. Я умоляю тебя!

Анфиса. Я не знаю... Конечно, я постараюсь. Успокойся, Сашечка!..

Хочет погладить ее по плечу, но та явно уклоняется.

Татаринов. Ну, надо бы идти. Посидел бы еще, да так меня расстроили все эти истории, что едва на ногах держусь. Прощайте. *(Из передней.)* А бабушка-то еще не спит? Как шел, огонь у нее видел.

Александра Павловна. Не спит. Она у нас как сова — всю ночь глаза раскрыты.

Татаринов. Прощайте.

Александра Павловна. Прощайте... Ну, и я пойду спать, тоже едва на ногах держусь. А ты еще не ляжешь?

Анфиса. Нет, подожду.

Александра Павловна. Может быть, Федя не ужинал сегодня, так ты разбуди, пожалуйста, Катю и вели ей подогреть.

Анфиса. Хорошо.

Александра Павловна уходит.

Анфиса. Саша... Саша, ты не хочешь проститься со мной?

Александра Павловна. Ах, прости, голубчик, забыла совсем. *(Подходит и подставляет щеку.)*

Анфиса. Прощай. *(Неловко целует подставленную неподвижную щеку.)*

Александра Павловна. Так не забудь про ужин.

Анфиса остается одна. Проходит по комнате, прислушивается у окна, потом подходит к столу и при свете лампы сосредоточенно и внимательно рассматривает большой перстень на мизинце левой руки. Проходит кто-то под окном, насвистывая марш «Под двуглавым орлом». Анфиса перебирает клавиши на пианино. Садится и начинает играть.

Александра Павловна *(из дверей)*. Ты опять с твоей музыкой, Анфиса. Конечно, я тебя понимаю, но

пойми и ты, что здесь семейный дом, и что уже все спят, и что, наконец, я просто нуждаюсь в покое. Музыка, сентименты всякие... становится прямо невыносимо.

Анфиса, поднявшись, слушает насмешливую, под конец грубую речь сестры; потом ходит по комнате и смеется. К дому подъезжает извозчик. Голос Федора Ивановича и звонок. Входят Федор Иванович и Ниночка.

Федор Иванович *(проходит)*. А, это вы? Саша спит? В кабинете у меня огонь есть?

Ниночка. Спокойной ночи, дядя Федя.

Федор Иванович *(ласково)*. Спокойной ночи, девочка.

Уходит к себе в кабинет. Ниночка, словно не замечая Анфисы, также хочет уходить.

Анфиса. Ниночка!

Та притворяется, что не слышит, идет.

Анфиса *(громче)*. Ниночка, погоди минутку.

Ниночка *(останавливаясь)*. Ах, это ты? Что надо? Только, только... пожалуйста, поскорей, я очень устала сегодня, нездоровится...

Анфиса *(ласково, но нерешительно, с мольбою в голосе)*. Вот что я хотела... Ну, как там, расскажи. Бедный мальчик, мне его очень жаль. Я, кажется, только раз его видела по приезде, но у меня осталось почему-то в памяти его лицо. *(Улыбаясь.)* Я даже заплакала сегодня, когда узнала о его смерти.

Ниночка *(холодно и недоверчиво)*. Ты заплакала?

Анфиса *(улыбаясь)*. Почему же ты думаешь, что я не могу заплакать? Это так неожиданно и страшно и... мне просто жаль его.

Ниночка. Да, конечно. *(Сурово.)* Он был хороший человек.

Анфиса. Да, очень хороший. И потом, Ниночка, у меня очень много своего горя, и я теперь... легко плачу.

Ниночка. Да? Спокойной ночи, я устала.

Анфиса *(с боязливым упреком)*. Ты слышишь, Ниночка: у меня очень много горя, и я... легко плачу. *(Отворачивается.)*

Ниночка. Да, слышу. Спокойной ночи.

Анфиса. Ты не хочешь даже со мною говорить? Скажи, что я сделала тебе?

Ниночка. Ничего.

Анфиса. Так почему ж ты так относишься ко мне? *(Строго.)* Это нехорошо, Нина! Ты еще девочка по сравнению со мной, ты еще ребенок совсем, наконец, ты моя сестра, и когда я иду к тебе с открытым сердцем, прошу хоть каплю участия, ты отворачиваешься. Ведь я так одинока, Ниночка.

Ниночка. Ты? Ты одинока? *(Смеется.)* Ах, Анфиса, какая ты... нехорошая!

Анфиса. Ты не смеешь так говорить!

Ниночка. Зачем ты лжешь? Зачем ты говоришь о какой-то моей любви, о сочувствии, о своем одиночестве? Вспомни, когда сама ты заговорила со мной, когда? Только вот сегодня.

Анфиса. Когда я приехала...

Ниночка *(с презрением)*. О, когда ты приехала! Тогда ты была царицей, тогда ты была святая, тогда ты только о том и думала, чтобы доставить людям радость и — научить. Это ты — учить! Да, когда ты приехала, ты говорила со мною, и я чуть не полюбила тебя, как все эти — обманутые.

Анфиса *(сдерживая себя)*. Ты еще девочка! Ты еще не видела ни жизни, ни страдания, и ты уже смеешь так осуждать. О, хорошая выйдет из тебя женщина, много радости дашь ты людям!

Ниночка. А ты много ее дала?

Анфиса. Ты не смеешь так говорить со мной.

Ниночка. Тише, дядя Федя услышит. *(Смеется.)* Как ты испугалась! Ты не была такая трусливая, когда — приехала.

Анфиса. Смотри, Нина, не накликай на себя судьбу. Может быть, и я теперь плачусь за то, что слишком осуждала и слишком требовала много. Я обратилась к тебе, как к сестре...

Ниночка. К сестре!.. Зачем ты лжешь, я не понимаю. Какая я тебе сестра? Разве так смотрят на сестру, как ты на меня все время смотришь? Ты, конечно, не видишь своих глаз, но я-то их вижу. Я теперь боюсь темных углов. Как темный угол, так оттуда смотрят на меня твои глаза, смотрят с такою ненавистью, с такой злобой... Я теперь во сне вижу твои глаза и просыпаюсь от их взгляда каждый раз с чувством, что ты меня уже — убила.

Анфиса *(грубо)*. Ты с ума сошла!

Ниночка. Нет, я не сошла с ума. Зачем ты носишь на пальце яд?

Анфиса. Это неправда.

Н и н о ч к а. Опять лжешь: ты сама показывала, как открывается перстень. Зачем ты носишь на пальце яд? Так делают только убийцы.

А н ф и с а. Этот яд — для меня.

Н и н о ч к а. Неправда. Для других.

А н ф и с а *(гневно)*. Для меня, я тебе говорю.

Н и н о ч к а. Для тебя? Так почему же ты... не лежишь рядом с Померанцевым?

А н ф и с а. Нина! Что ты говоришь?

Н и н о ч к а. Впрочем... он был честный.

А н ф и с а *(в ужасе)*. Как ты жестока, Нина, как ты безумно жестока!

Н и н о ч к а *(берясь пальцами за виски)*. Ах, ложь, ложь, ложь!

Из кабинета выходит Ф е д о р И в а н о в и ч.

Ф е д о р И в а н о в и ч. Что это? Не спите еще?

А н ф и с а. Да так. Федор Иванович, вы будете ужинать, я велю разогреть?

Ф е д о р И в а н о в и ч. Нет. Ниночка, девочка, отчего ты не идешь спать? Бедная ты моя девочка! *(Целует ее.)* Иди себе, девочка, спи. У тебя глаза, как у молчания в лесу. *(К Анфисе, вскользь.)* Ты слыхала про гимназиста? *(К Ниночке.)* Если б я был твоей нянькой, я рассказал бы тебе тихую сказку о иных счастливых странах, где не убивают ни себя, ни других, где розами украшают живых, а не мертвых. Золотыми снами обвеял бы твое сердце, золотыми снами, как короной, увенчал бы твою головку... *(Улыбается.)* Если бы был твоей нянькой.

Н и н о ч к а *(тихо)*. Проводи меня до комнаты.

Ф е д о р И в а н о в и ч. Боишься? Ну, идем, идем. Хочешь, на руки возьму?

Н и н о ч к а *(покорно)*. На руки — не надо.

Уходят. Анфиса с ужасом смотрит им вслед, делает шаг к двери, куда они скрылись, но поворачивается и быстро ходит по комнате, роняя мебель. Ломает руки.

Ф е д о р И в а н о в и ч *(входя)*. Бедная девчонка! Бедная девчонка! Ты отчего не спишь, Анфиса? Пора. Ужинать я не буду. Прощай. *(Небрежно целует ее в щеку и идет к двери кабинета.)*

А н ф и с а *(хрипло)*. И только?

Ф е д о р И в а н о в и ч. А что же еще? Надо спать.

А н ф и с а *(хрипло)*. И только?

Ф е д о р   И в а н о в и ч *(мягко)*. Я устал. Сегодня у меня очень тяжелый день.

А н ф и с а. Отчего же ты мне не расскажешь про твой тяжелый день? Ты уходишь, отчего же ты не зовешь меня к себе?

Ф е д о р   И в а н о в и ч. К себе, сегодня? *(Сурово.)* Ты забыла про смерть.

А н ф и с а. Что? *(Понимает.)* Какая гадость! Какая гадость! И только это ты мог подумать. *(Быстро ходит по комнате, заламывает руки.)* Федор, я больше не могу. Федор, что ты делаешь со мной? Я больше не могу.

Ф е д о р   И в а н о в и ч *(неохотно садится)*. Ну, что еще такое, Анфиса? Говори. Который час? Но только не лучше ли отложить до завтра? Пожалуйста. *(Закрывает глаза рукой.)* Ведь я видел его, Анфиса. И у меня сейчас перед глазами это маленькое, желтое, восковое лицо, лицо безбородого мальчишки, который вдруг осмелился стать мужем. Как он смел?

А н ф и с а *(тихо)*. Федор, я больше не могу.

Ф е д о р   И в а н о в и ч *(встает и ходит)*. Как он смел? Взял и сделал то, о чем мечтает каждый человек... да, хоть раз в жизни, но каждый из нас мечтал о самоубийстве. И все мы стали маленькие, а он вырос, как гигант, гигантской тенью лег над нами и мертвыми глазами смотрит прямо в душу. Чего он смотрит? Что я ему отвечу? Ну, конечно — мы, живые, принесли ему цветов... каких-то красных роз, травы и даже веток — мы рвали в темноте. И я рвал. И они, эти испуганные и торжествующие дети, они больше не уважали меня — они уважали только его. Ну... ты не слушаешь меня.

А н ф и с а. Федор, скажи: ты уже больше не любишь меня?

Ф е д о р   И в а н о в и ч. Ах, Анфиса! *(Вздыхает и садится.)* Ну, люблю. Ну, что случилось, говори. Только лучше бы... не надо, Анфиса.

А н ф и с а. Ты помнишь, Федор, что ты обещал, когда я отдавалась тебе? Что больше ты не будешь близок с женой — ты помнишь?

Федор Иванович утвердительно кивает головой.

А н ф и с а. Я рада. Значит, это неправда, что третьего дня ночью ты был у нее?

Ф е д о р   И в а н о в и ч *(медленно)*. Нет, правда. Был.

Анфиса *(хватаясь за шею)*. Да, был? А я думала, что она солгала... Значит, правда: был. Кто же я теперь, Федор? Ты назвал меня женой — жена или любовница?

Федор Иванович. Зачем так резко? Я этого не говорю.

Анфиса. Не говоришь? И ты знаешь, как они относятся ко мне — все, все, эта добрая Саша, эта чистая девочка, которой ты хотел навеять золотые сны? Меня травят, меня преследуют на каждом шагу, меня грызут, как собаку, забежавшую на чужой двор. Нянька не пускает меня в детскую, меня презирает Катя, твой кучер Еремей фамильярничает со мной... а я? Верчусь, улыбаюсь, глотаю отравленный хлеб — ты видел, как Саша подает мне тарелку за обедом?

Федор Иванович *(холодно)*. Да, видел. И... удивлялся.

Анфиса. Чему?

Федор Иванович. Что ты не возьмешь эту тарелку и не бросишь в голову Саше.

Анфиса. Ты этого хочешь? Да? Говори, ты этого хочешь?

Федор Иванович. Тише. Я знаю только одно, что ты этого не можешь. И нельзя ли, пожалуйста, Анфиса, без крика и вообще без этих... супружеских сцен. *(Мягко.)* Я прошу тебя, Анфиса. Я сегодня устал и кроме того... *(Сдержанно, волнуясь.)* Один негодяй оскорбил меня. Конечно, это пустяки.

Анфиса. Да, я знаю. Ставровский. И он был прав.

Федор Иванович *(угрожающе, но все еще сдержанно)*. Анфиса! Я прошу тебя...

Анфиса. Да, да, он был прав. И, вероятно, это было очень красиво, когда ты поклонился, а он...

Федор Иванович *(поднимаясь)*. Я ухожу.

Анфиса *(кричит)*. Нет, нет!

Федор Иванович. Чего ты хочешь? Ты сама не понимаешь, что ты говоришь. Он был прав! Господа, которые просто завидуют мне, господа, которые не могут переварить того, что я зарабатываю десятки тысяч, что публика устраивает мне овации.

Анфиса *(почти невольно)*. Тебе кричали: вон!

Федор Иванович *(медленно)*. Да? Спокойной ночи, Анфиса.

Анфиса. Федя! Я не буду, постой. Не уходи. Я не знаю, что я говорю. Но я так несчастна, так несчастна. Господи, что вы все делаете со мной?

Федор Иванович. Мне... надоело это. Чего ты хочешь, Анфиса? Ты хочешь правды, да?

Анфиса. Да... если только ты можешь... сказать правду.

Федор Иванович. Если только могу? *(Грубо.)* Ну, так ты мне — не нужна. Понимаешь, просто не нужна.

Анфиса *(бледнея)*. Так говорят только прислуге.

Федор Иванович. Ах, оставь эти жалкие слова! Вообще, зачем ты лжешь? Зачем ты солгала мне про свою гордость — ты вовсе не горда. Зачем ты солгала мне про какую-то недоступность — ты доступна, как и все. Помню, как я бегал по саду, по колена в снегу, без шапки и звал тебя, а ты сидела там, в углу, с этим ничтожеством. Как еще тогда я не понял тебя!

Анфиса. Федор, ты раскаешься в том, что говоришь.

Федор Иванович *(смеется)*. Любовница!.. Ну, да, любовница. Я хотел, чтобы ты стала женою, а ты сумела стать только любовницей... как все эти Саши, Лизы...

Анфиса. Так. Только любовницей? Что же мне было делать, скажи.

Федор Иванович. Не знаю.

Анфиса. Нет, ты скажи! Ты не прячься! Что же мне было делать, ну, говори!

Федор Иванович. Почем я знаю, что должна делать женщина, которую я люблю? Этому не учат.

Анфиса. Нет, скажи! Ты теперь не имеешь права молчать. Что я не бросила в голову тарелкой этой несчастной беременной женщине, да? Что из любви к тебе я унижалась, терпела плевки, разучилась краснеть, ненавидела себя, да? Что я верила в твое благородство, в твое понимание, в твою мужскую силу, в твою честность?..

Федор Иванович. Постой. А зачем... а зачем ты солгала мне про этого офицера в Смоленске? Ты говорила, что не было ничего...

Анфиса *(глухо)*. То был мой позор. То была ошибка, за которую я наказана.

Федор Иванович *(насмешливо)*. И ты боялась, что я не пойму ошибки? И это ты называешь — верила в меня? Ах, Анфиса, зачем ты лжешь? Этот офицер бросил тебя?

Анфиса. Нет. Но он оскорбил меня.

Федор Иванович *(медленно)*. Зачем же ты не убила его, Анфиса? Ты должна была его убить. Зачем же тогда *(с презрением поднимает руку Анфисы, на которой перстень, и снова бросает ее)* ты носишь это?

Анфиса. Тогда я еще не носила.

Федор Иванович смеется.

Анфиса *(с ударением)*. Тогда я еще не носила этого.

Федор Иванович. А теперь носишь? Не страшно, Анфиса.

Анфиса. Ты смеешься?

Федор Иванович. Смеюсь. Уезжай, Анфиса.

Анфиса. Ты... ты просто — негодяй.

Плачет, закрыв лицо руками. Молчание.

Федор Иванович. Скажите это при всех, Анфиса Павловна, и я вам поверю... Уезжайте.

Анфиса *(сдерживая слезы)*. Я не уеду.

Федор Иванович. Да? Останетесь?

Анфиса. Да. Останусь. Вы сказали: когда Саша родит, я уеду с тобой. Вы были гуманны, вы не хотели тревожить вашей беременной жены...

Федор Иванович *(гневно)*. Опять ложь! Это вы твердили о ее беременности, это вы требовали пряток, темноты...

Анфиса *(с притворной кротостью)*. Вы можете меня ударить. Ведь вы — сильнее.

Федор Иванович. Молчать!

Анфиса. Тише, вас услышит беременная жена.

Федор Иванович *(тяжело дыша)*. Будет. Оставайтесь, если хотите. Я иду спать. *(Встает.)*

Анфиса *(еще не веря, что он уходит)*. Побудьте со мной еще одну минуту.

Федор Иванович. Нет.

Анфиса *(пугаясь)*. Одну только минуту. Я еще не все сказала. Одну только минуту.

Федор Иванович. Нет.

Анфиса. Пожалей меня. Ах, Боже мой, ей ты хотел навеять золотые сны, неужели меня... меня... такую, ты оставишь одну. Прости меня.

Федор Иванович. Ложь!

Анфиса. Федя, пожалей меня. Одну минуту... минуточку...

Федор Иванович *(идет)*. Ложь!

Анфиса *(в исступлении)*. Федор, если ты уйдешь, я сейчас убью себя.

Федор Иванович. Этим ядом, что на пальце? Ложь, ложь, ложь!

Идет не оглядываясь, к двери. Анфиса следует за ним, тянется к нему руками, но не смеет коснуться.

Анфиса. Федя... Федор... Это безбожно! Пожалей меня... я умираю. Федя, неужели ты оставишь меня?

Федор Иванович молча открывает двери кабинета, молча отстраняет от себя Анфису и уходит. Щелкает ключ.

Анфиса *(падая на колени перед глухою дверью)*. Федя, Федя, пожалей ты меня. Этого не может быть. *(Тихонько стучит пальцем в дверь.)* Федя, Федор Иванович, пустите. Вы не слышите? Федя! Ай, я боюсь! Ай, я одна! Мне же некуда пойти, Федя. Мне же некуда пойти. Пожалей же ты меня...

В слезах падает на пол.

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Вечер. Крестины. На сцене столовая Костомаровых. Идут последние приготовления к ужину, который будет тотчас после того, как совершится обряд. Около стола хлопочут горничная Катя и для этого вечера приглашенный лакей, грязноватый человек с небритой физиономией. Самые крестины происходят в детской, за комнату от столовой; и оттуда доносится говор многих голосов, изредка смех.

В комнатах очень светло и как будто весело.

При открытии занавеса в столовой только двое: Федор Иванович, который сосредоточенно шагает по комнате, заложив руки под фалды фрака, и Татаринов. Последний стоит в угрюмо-укоризненной, но в то же время несколько просительной позе и медленно ворочает головой в направлении шагающего, по-видимому, неслушающего Федора Ивановича. Оба адвоката во фраках со значками.

Татаринов. Федя, я уверяю тебя, что ты не имеешь права так относиться к своему здоровью. Ты слышишь?

Федор Иванович. Слышу.

Татаринов. А главное, к своему таланту, который начинает блекнуть и терять краски, Федя.

Федор Иванович. Ты это видишь?

Татаринов. И не только я, но и другие видят. Федор, послушай меня. Ну, если бы ты был прирожденным алкоголиком, как этот... Розенталь, я оставил бы тебя в покое: пей и погибай! Но ведь ты здоровейший человек, и весь твой род...

Федор Иванович. Надоело. Оставь! И я вовсе не пью так много, чтобы стоило из-за этого поднимать шум. Как все это нелепо!

Татаринов *(угрюмо)*. Играешь в карты.

Федор Иванович. Да, играю. Здесь можно и не беспокоиться: я всегда выигрываю.

Татаринов. Что же хорошего? Ты выигрываешь, значит, кто-нибудь проигрывает. Ты, может быть, думаешь, что все это геройство, а по-моему — только бесхарактерность. Хотя бы эта печальнейшая история со Ставровским...

Федор Иванович. Тебе не нравится?

Татаринов *(морщась)*. Ах, Федор Иванович, Федор Иванович! Ведь ты же не думаешь того, что говоришь! И я вообще не понимаю, как ты, Федор Иванович, с твоим высоким понятием о личности, с твоим, наконец, огромным талантом мог опуститься до того, чтобы ударить человека...

Федор Иванович. Я хотел посмотреть, как поступит Ставровский.

Татаринов. Ну, и что же?

Федор Иванович *(пожимая плечами)*. Ничего.

Татаринов. А по-моему, он был совершенно прав, что прибег к защите закона, а не кулаков. Мы, как носители...

Федор Иванович. Который час? Надоело, Иван Петрович, оставь. Сто раз слышал!

Татаринов. А вот тебя исключат!

Федор Иванович. И это слышал.

Татаринов. Федя, подумай о жене.

Александра Павловна, несколько раз выглядывавшая из двери и слушавшая разговор, предостерегающе указывает Татаринову на мужа, просит, чтобы замолчал. Боится.

Федор Иванович *(останавливаясь)*. Ну? Что еще там про жену?

Татаринов. Да так, ничего. Ну, знаешь, как по обыкновению...

Федор Иванович *(морщась)*. Ах, и надоел же ты мне! И почему я до сих пор тебя терплю, не понимаю. Так, заодно уж, должно быть, с остальным.

Александра Павловна *(умышленно громко)*. Катя,— сколько же тут приборов, ты сосчитай. Ты считать умеешь?

Подходит к мужу и кладет ему руку на плечо. Тот недовольно останавливается. Александра Павловна еще не совсем поправилась после родов, похудела, улыбается томною, несколько жалкою улыбкой.

Федор Иванович. Ну, что ты? Скоро там?

Александра Павловна. Так, немного прила-

скаться захотелось... устала. Да, вообрази, какая история, Федя: забыли подогреть воду, попробовала я рукой — она как лед. Прямо заморозить хотели ребенка.

Татаринов. Надо подлить кипятку.

Александра Павловна. Подливают! Да разве скоро ее нагреешь: купель такая, что взрослый утонуть может. А священник уже приехал, ждет, так неловко. Вы же никуда далеко не уходите, Иван Петрович... А ребенка вы не уроните?

Татаринов. Постараюсь. *(В недоумении качает головой.)* Вот странно: член совета присяжных поверенных, и вдруг какой-то кум — это все ваши прихоти, Александра Павловна.

Александра Павловна. Молчите, молчите. *(Робко.)* Федечка, а ты не пойдешь туда?

Федор Иванович. Нет. Не люблю. Я уже говорил.

Александра Павловна. Ну, пожалуйста, ну, голубчик! Я прошу тебя. Ведь это несколько минут, ты хоть в дверях постой.

Федор Иванович. Нет, нет. Да не огорчайся же ты, пожалуйста. Ведь это же невозможно, из-за каждого пустяка слезы, истерики.

Александра Павловна *(улыбаясь сквозь слезы)*. Да я ничего, что ты? И какие у меня истерики, что ты говоришь? — Это я-то истеричка! Иван Петрович, послушайте... а вы танцевать будете? Куму необходимо танцевать.

Быстро входит Розенталь.

Розенталь. Александра Павловна, зовут!

Александра Павловна. Ах, Боже мой, сейчас, сейчас! Не скучай тут, Федя, пусть Розенталь побудет с тобой.

Уходит, в дверях встречается с Анфисой. Очень осторожно обходит ее, подбирая платье так, чтобы не коснуться.

Анфиса. Дайте мне воды, Катя.

Катя. Сами возьмите. Вон стоит.

Розенталь *(очень вежливо)*. Вас также ждут, господин Татаринов.

Татаринов *(строго смотрит на него и проходит)*. Помни же, Федя.

Федор Иванович. Анфиса, ты куда — посиди с нами.

Розенталь. Верно, Анфиса Павловна, посидите-ка лучше с нами. Кстати, мне нужно устроить некоторый консилиум.

Анфиса *(улыбаясь)*. Вы больны?

Розенталь. Опасно. Денег нет.

Все трое садятся на большой турецкий диван. Анфиса отодвигается несколько к краю.

Розенталь. Ты, Федор Иванович, как психолог, вы же, Анфиса Павловна, просто как умнейшая женщина — помогите мне вашим компетентным советом. *(Смотрит на лакея, внезапно.)* Постой, что это за рожа? *(Вскакивает и подходит к лакею.)* Алексей?

Федор Иванович *(тихо)*. Анфиса!

Анфиса не отвечает.

Лакей. Так точно, Алексей.

Розенталь. Из Шато-Флери? Давно ушел?

Лакей. Так точно-с, два года.

Розенталь. С тех пор не брился? Но какая память, черт возьми. *(Радостно.)* Федя, ты узнал эту рожу? Ведь это Алексей, из Шато-Флери. Помнишь?

Федор Иванович. Нет.

Розенталь. Должно быть, проперли за пьянство, и фрак у него напрокат. Погоди, о чем я начал говорить, забыл?

Федор Иванович. Послушай, Андрей Иванович, будь друг, принеси мне папиросы из кабинета. Кажется, на столе оставил портсигар, а если нет, то посмотри в шкапу.

Розенталь. Знаю. Эх, и до чего же тебе нужно побриться, Алексей.

Уходит. Катя возится у стола и искоса поглядывает на тихо разговаривающих Федора Ивановича и Анфису.

Федор Иванович. Отчего ты так смотришь на меня, Анфиса? Мне больно от твоего взгляда.

Анфиса. А как же мне иначе смотреть? Научи.

Федор Иванович. У меня тоска, Анфиса.

Анфиса *(равнодушно)*. Да?

Федор Иванович. Ты не хочешь говорить со мной? Это нехорошо — почему ты так изменилась, Анфиса? Мне больно, у меня тоска, а ты оставляешь меня.

Анфиса. Я почти не вижу тебя. Ты совсем не бываешь дома.

Федор Иванович. У меня много работы сейчас, ну, и... Ты больше не любишь меня, Анфиса?

Анфиса *(улыбаясь)*. А ты?

Федор Иванович. Со мной делается что-то странное. У меня уши точно заложены ватой... говорят, а я ничего не слышу. Что-то кривое забралось в мою жизнь. Третьего дня за пощечину Ставровскому меня исключили из членов клуба. А скоро исключат, должно быть, из сословия. В карты играю, пью.

Анфиса. Напрасно.

Федор Иванович *(морщась)*. А тут этот Татаринов... Ах, нет ничего хуже порядочных людей! Ходит вокруг меня и со всех сторон конопатит, как дырявый дом, только и слышно, как деревянной колотушкой постукивает... Ты улыбаешься, напрасно. В том, что я говорю, смешного нет.

Анфиса. Мелко это, Федор Иванович... и мучительно.

Федор Иванович. Мелко? Прежде вы иначе думали, Анфиса Павловна. И зачем громкие слова? Скажи просто: злюсь, потому что люблю, а он не любит. *(Смеется, потягивается и громко говорит.)* Ах, уехать бы отсюда!

Анфиса *(улыбаясь)*. Со мной?

Федор Иванович *(удивленно)*. Как с тобой?

Анфиса. Да. Ведь я жду.

Федор Иванович. Ах, да! *(Улыбается.)* Все еще ждешь? Представь себе, я и забыл. Неужели ты это серьезно — и так-таки и ждешь?

Анфиса. Жду.

Федор Иванович. И думаешь, что я с тобой поеду? Куда же это, в Америку, на Сандвичевы острова?

Анфиса. Может быть, и поедешь.

Федор Иванович *(грубо)*. Нет. Никуда я с тобой, Анфиса, не поеду. *(Смеется.)* Впрочем, подожди еще год — может быть, тогда и поеду.

Анфиса *(также смеясь)*. Что ж, я бы и подождала. Но ведь — обманешь!

Молчание.

Федор Иванович *(раздраженно)*. Катя, перестаньте греметь посудой. И вообще ступайте отсюда. *(Катя уходит.)* Опять улыбаешься. Не нравится мне твоя улыбка — какую еще ложь приготовила ты, Анфиса? Ну-ка, взгляни на меня! Глаза у тебя правдивее, чем рот. *(Смотрит и слегка отодвигается назад.)* Так, так! Ах, сколько в них ярости! И страдания. Ярости и страдания. Какое странное сочетание... Постой! *(Схватывает руку Анфисы и наклоняется близко, почти к самым глазам.)*

Анфиса *(стараясь вырвать руку)*. Пусти!

Федор Иванович. Нет!.. Я вспомнил, это было в ле-

су. Я придавил камнем змею, маленькую ядовитую змейку. Не знаю, зачем, из какого-то странного любопытства, я лег на землю и приблизил свои глаза к ее глазам... Вот так.

Анфиса. Пусти.

Федор Иванович *(удерживает)*. Вот так. И смотрел, и говорил с нею, а она мне отвечала. Я, кажется, переломил ей спинной хребет.

Анфиса. Спинной хребет!

Федор Иванович. Да, да. Спинной хребет. И она умирала... как ты. И она хотела ужалить меня, но не могла... как ты. А я шутил с нею: посмотри, как хорошо в лесу, как голубеет небо, как камни горячи. Посмотри, как я близко к тебе, поцелуй меня ядом уст твоих — не можешь? *(Нежно.)* Ты умираешь, Анфиса?

Анфиса *(с трудом)*. Нет.

Федор Иванович. У тебя переломлена спина. Ты умираешь? В серый туман уходят твои глаза... ты умираешь?

Анфиса *(выгибая шею)*. Разбей мне голову. Я умираю.

Федор Иванович *(следуя своими глазами за ее, тихо и нежно)*. Нет. Ты ненавидишь меня, Анфиса? В твоих глазах загораются огни: зеленый, красный... и еще желтый... это безумие, Анфиса? Ты умираешь, да? Тебе очень больно, скажи! *(Крепко сжимает руку Анфисы, и та вскрикивает от боли. Федор Иванович слегка отталкивает ее и смеется. Входящему Розенталю.)* Послушай, Розенталь. Я уговорил Анфису Павловну остаться у нас еще на один год. Ты рад?

Розенталь. Очень рад. Только не перебивай меня, а то опять забуду. Да, портсигара там нет, и папирос в шкапу нет...

Федор Иванович. Портсигар у меня.

Розенталь. Понимаю, просто продолжал дело при закрытых дверях. Но погоди, не сбивай. *(Садится и берет за руки Федора Ивановича и Анфису.)* Вот что, друзья мои,— какие у вас холодные руки! — я погибаю! Понимаешь: увечные дела, доверительские деньги...

Федор Иванович. Скверно! Быть тебе, Розенталь, в остроге.

Розенталь *(радостно)*. Ага! Я и говорю, что погибаю. И вот что я придумал в мои бессонные ночи...

Федор Иванович. Возьми у меня. Сколько, рублей триста?

Розенталь. Двести. Нет. Никогда. Я беру взаймы только у врагов. И вот вы понимаете, друзья мои, понимаете теперь эту блестящую мысль, которая лучезарным

светом озарила мои бессонные ночи. Кому я злейший враг, кто ненавидит меня до родовых схваток в желудке? — Татаринов. Ergo — у кого я должен взять взаймы? — у Татаринова. Во-первых,— как враг, он должен быть великодушен, и именно по-человечески, с открытой душою, я обращаюсь к его великодушию; во-вторых,— у этой вегетарианской жилы в банке на текущем счету... ты знаешь, по ночам он ворует огурцы у соседей... Батюшки, кончили, идут. *(Тревожно.)* Федя, как ты думаешь, голубчик, даст он?

Входят Александра Павловна, Ниночка, гимназист Петя, какой-то молоденький адвокат, по виду помощник, и Татаринов. Последний широко и смущенно улыбается.

Александра Павловна. Федя, Федя, поди, голубчик, на минуту! Батюшка уезжает — нужно проститься. Как Алечка плакала, она совсем захлебнулась. А-а, ты здесь, Анфиса? О тебе все папаша справлялся.

Федор Иванович *(весело уходя)*. Ну, идем, идем! Татаринов, да не сияй ты так нестерпимо!

Анфиса медленно выходит. Ниночка провожает ее холодным и строгим взглядом.

Розенталь *(вслед Анфисе)*. Шарлотта Кор-р-де!

Ниночка *(громко)*. Она была — убийцей?

Татаринов *(улыбаясь)*. Как это я, право? Ужасно странное ощущение.

Ниночка. Но вы понимаете, что вы теперь мой кум, что вы уже никогда не можете на мне жениться...

Татаринов *(все так же улыбаясь)*. Да я и не собирался... Нет, действительно, ужасно странное ощущение: оно такое маленькое.

Петя. Вы держались молодцом, Иван Петрович.

Адвокат. Нужно отдать справедливость: вы с честью вышли из крайне затруднительного положения. Когда вы хотели взять младенца за ноги, я действительно несколько испугался.

Татаринов. Ну вот, я и ног у него не видал.

Розенталь *(скромно)*. Это было обходное движение.

Адвокат. Когда же, как прирожденный жонглер, вы с невероятной ловкостью обернули младенца вокруг пальца, достали его откуда-то из жилетного кармана...

Ниночка *(хохочет)*. Но ведь правда: он чуть не уронил его..

Розенталь *(серьезно)*. Господа, господа, здесь решительно не над чем смеяться... Господин Татаринов, могу

ли я просить вас уделить мне несколько минут для короткого... профессионального разговора?

Т а т а р и н о в *(все еще улыбаясь, но строго)*. К вашим услугам.

Отходят в сторону.

Р о з е н т а л ь. Господин Татаринов, я знаю, что вы мой враг и ненавидите меня до... крайности. И я знаю, что другой на вашем месте, менее дорожащий интересами гуманности, не обладающий, так сказать, широтою взгляда,— тот просто послал бы меня к черту. Но ваше великодушие, именно, как врага, обязывает вас, так сказать... Не дадите ли вы мне двести двадцать пять рублей ровно на две недели? Раньше я, к сожалению, не могу... Сегодня у нас пятница...

Т а т а р и н о в. Четверг.

Р о з е н т а л ь. Конечно, четверг. Так вот...

Т а т а р и н о в. Нет.

Р о з е н т а л ь *(с крайним удивлением)*. Но почему же?

Входят старики А н о с о в ы и двое-трое г о с т е й.

А н о с о в. Ну, слава Тебе Господи. И перекрестили, и проводили, и никого не обидели. Кум-то где же?.. Ну и кум!

Р о з е н т а л ь. Но почему же?

Т а т а р и н о в. Нет.

Р о з е н т а л ь. Вот странно... а я думал, ей-Богу, думал, что дадите.

Т а т а р и н о в. Нет.

А н о с о в *(подходит и треплет Татаринова по плечу, отчего у последнего появляется широкая улыбка)*. Ну, куманек дорогой — выпьем за новорожденного. Только в другой раз не хватай ты так новорожденного, будто голодная собака кость. Дело его маленькое, и бери ты его спрохвала.

В столовую входят последние г о с т и, приглашенные на крестины,— всего гостей помимо родственников человек десять — и с ними Ф е д о р И в а н о в и ч, очень возбужденный. Он часто и очень громко смеется; потом замолкает и молчит глубоко, пока чья-нибудь шутка или вопрос снова не вызовет в нем припадка неестественной и даже злобной веселости.

Ф е д о р И в а н о в и ч. Господа, прошу за стол! Впрочем, одну минуту терпения, я и позабыл: хозяйка извиняется — она кормит девочку и сейчас придет. Розенталь, выпьем мы с тобой сегодня или нет, как ты думаешь?

Р о з е н т а л ь *(мрачно)*. Я думаю, что выпьем. *(Тихо.)* Наотрез отказал, подлец. Ну и враги у меня!

Ф е д о р И в а н о в и ч. Где Ниночка? Я хочу сидеть

с нею. Отказал, ты говоришь? *(Внимательно смотрит на Розенталя.)* А знаешь, голубчик, я только сейчас почувствовал это: ты напрасно беспокоишься — к тебе необычайно пойдет арестантский халат.

Розенталь *(обиженно)*. Ну вот еще — какие глупости!

Федор Иванович *(злобно настаивая)*. Нет, серьезно. *(Поворачивает его и смеется.)* Удивительно пойдет; как я раньше этого не заметил! Иван Петрович, знаешь, какое открытие я совершил: к Розенталю удивительно идет...

Розенталь *(громко)*. Федор Иванович, послушай. *(Умоляя.)* Ну, зачем ты кричишь? Ты это говоришь по дружбе, а они могут воспользоваться в своих интересах. Ты знаешь, сколько у меня врагов...

Татаринов *(подходя)*. Ты звал меня, Федор Иванович?

Федор Иванович *(удивленно вглядывается в него и вдруг хохочет)*. Но это же изумительно, голубчик ты мой, Иван Петрович, ведь если тебя одеть в этот костюм, так, ей-Богу, будет казаться, что ты так в нем и родился.

Татаринов. Какой костюм? Я и в этом себя достаточно хорошо чувствую, а вот как ты, Федор, не знаю.

Розенталь *(удовлетворенно)*. Ловко! Это, брат Федор Иванович, намек, что значок-то у тебя... держится не крепко!

В дверях движение. Ниночка и Анфиса, поддерживая с двух сторон под руки, ведут бабушку. Старуха одета парадно; идет очень медленно, но в слабость ее почему-то не верится, как и в ее глухоту.

Федор Иванович *(испуганно)*. Что это? Зачем это? Зачем ее привели?

Веселые голоса. А, бабушка! Смотрите — бабушка! Боже мой, до чего же она стара!

Аносов. Вот так удивила старушка! А вид имела такой, будто на веки вечные к креслу привинчена.

Федор Иванович. Зачем ее привели? Что это за нелепость? Ниночка, поди сюда.

Ниночка. Сейчас, дядя.

Старушку усаживают на почетное место на конце стола. Места за столом еще не заняты, и старуха некоторое время сидит одна; и на мгновение кажется, что все, кого она знала, кого любила, ненавидела и пережила, бесшумно занимают пустые места и вступают с ней в беседу.

Ниночка *(подходя)*. Ты что, дядя Федя? *(С беспокойством.)* Отчего ты такой хмурый: тебе нездоровится?

Федор Иванович. Зачем вы привели ее сюда? Я же говорил, чтобы ее никуда не смели пускать из ее комнаты!

Ниночка *(удивленно)*. Ты про бабушку? Ну, что ты, дядя Федя, ты никогда этого не говорил.

Федор Иванович. А Анфиса?

Ниночка. Что Анфиса? Анфиса и сказала, что бабушку нужно привести сюда, что это необходимо. И Саша тоже сказала — я тебя не понимаю.

Федор Иванович *(насмешливо)*. А ты?

Ниночка *(робко)*. За что ты сердишься, дядя Федя? Ведь и на Верочкиных крестинах бабушка тоже приходила и сидела с нами целый вечер.

Федор Иванович *(недоверчиво)*. Разве? Может быть. Я и позабыл. А все-таки, Нина, от тебя этого я не ожидал. Впрочем... *(Смеется.)* Господа, за стол. Хозяйка сейчас придет. И нельзя же старушку оставлять одну среди пустых стульев, на которых может усесться... черт знает кто. Скорее занимайте места. Нина, ты со мною сядешь. *(Тревожно заглядывая ей в глаза.)* Ты мой друг, Нина?

Ниночка *(пугаясь и почти плача)*. Что с тобой? Конечно, я твой друг.

Федор Иванович. Вздор!.. У меня нет друзей!.. Папаша, пожалуйте, что же вы? Татаринов, ты со мною!

Розенталь. А я с вами, Анфиса Павловна. Вашу руку! Вы слыхали: отказал, подлец, наотрез. Что это вы такая мрачная?

Анфиса *(улыбаясь)*. Нет, я веселая.

Розенталь. Ну, и слава Богу. Федька зол, как черт, и я...

Все весело рассаживаются. Анфиса с Розенталем садятся почти напротив Федора Ивановича.

Шум. Входит Александра Павловна. Ее радостно приветствуют, пьют за ее здоровье.

Федор Иванович. А мы опять с тобой, Анфиса. Ты снова улыбаешься.

Анфиса. Да, опять с тобой. Я люблю смотреть на тебя, когда ты весел... как сегодня.

Федор Иванович. Это ты привела старуху?

Взрыв смеха покрывает его дальнейшие слова.

Розенталь *(лакею)*. Алексей, помнишь Шато-Флери?

Лакей. Как же-с!

Розенталь. Помнишь, как мы там... а?

Татаринов. Александра Павловна, надо мною все смеются. Это ваша вина.

Александра Павловна *(улыбаясь слабо)*. Вы были очаровательны.

Аносов. А это не порядок, дочка: тебе нынче следовало бы рядом с мужем посидеть. Конечно, дело твое хозяйское...

Александра Павловна. Там занято.

Татаринов и Ниночка делают нерешительные попытки уступить ей свое место.

Федор Иванович. Ни с места. Ей и там хорошо,— верно, Саша? Анфиса, твое здоровье! Господа! Позвольте вам предложить выпить за здоровье моего лучшего и самого верного друга... Анфисы Павловны.

Все пьют, чокаются с Анфисой, но с некоторым холодом и недоверием. Анфиса очень серьезно поднимает бокал и только раз слегка улыбается — это когда Ниночка резко, с нескрываемой враждой отдергивает свою рюмку. Федор Иванович замечает это, пренебрежительно треплет Ниночку по плечу, смеется.

Татаринов. Хотя я с удовольствием выпил за здоровье Анфисы Павловны, которую высоко ценю и уважаю, но я хотел бы предложить более соответствующий случаю тост. Господа!..

Розенталь. Федя, Федор Иванович, что же это такое? Я еще и рюмки как следует не выпил, а господин Татаринов затягивает уже речь. Конечно, когда красноречие рвется наружу...

Федор Иванович. Верно. Потерпи немного, Иван Петрович, и собери силы. Ты что это, содовую пьешь? Знаешь, в этом есть что-то такое отвратительное, что лучше бы ты пил человеческую кровь.

Татаринов. Скажи, пожалуйста, какой... Нерон.

Смех.

Петя *(слегка выпивший)*. Какой великий артист погибает!

Розенталь *(с пафосом)*. Федя, нужно уважать чужие убеждения. Господин Татаринов — вегетарианец. *(Нагло хохочет.)*

Петя. Вегетарианство — лицемерие! За ваше здоровье, Нина Павловна!

Татаринов *(возмущенно)*. Федор Иванович, если вы не уважаете законов гостеприимства, то...

Федор Иванович *(брезгливо)*. Оставь! Я же знаю,

что ты мученик и постоянно страдаешь расстройством желудка, но убеждений не продаешь.

Р о з е н т а л ь. Вот еще! Да я и копейки не дам за такие убеждения. Куда их потом девать, их моль съест.

Ф е д о р И в а н о в и ч. Береги носовой платок, Анфиса. Розенталь, правда, что на твоих платках разные метки?

А н ф и с а *(презрительно)*. Не обращайте внимания, Андрей Иванович, это — шутка.

Р о з е н т а л ь. И очень глупая. Ваше здоровье!

А н о с о в а. А ты уж третью рюмку пьешь, старик. Эка разгулялся!

А н о с о в. И четвертую выпью. Феденька, слышишь, а мы с тобой поровнялись теперь: у меня три дочки и у тебя три. Скажи, какая...

Р о з е н т а л ь. Игра природы!

А н о с о в. Ну, игра не игра, на все Божья воля, господин Розенталь. Только вот в чем теперь недоумение: какие дочери будут лучше — твои или мои?

Ф е д о р И в а н о в и ч *(с явной насмешкой)*. Ваши, несомненно, лучше. Одна — красавица. Не смущайся, Саша, ведь это же правда. Другая *(смотрит на Анфису Павловну)*, другая... красавицей я бы ее не назвал — ты не обижаешься, Анфиса? — другая... умна, тверда, правдива.

А н ф и с а. Не довольно ли, Федор Иванович?

Ф е д о р И в а н о в и ч. Нет, еще не довольно, Анфиса Павловна.

А н о с о в а. Довольно, довольно. Ты такое, Феденька, говоришь, что при посторонних даже неловко. Похвалил, ну и будет. А то уж и нам, родителям, некуда глаз девать.

Т а т а р и н о в. Кстати, господа, раз зашла речь о детях. *(Встает.)* Господа! Сегодня я имел честь в качестве духовного отца держать на своих руках маленькое существо, которое было девочкой...

Р о з е н т а л ь. Я думаю, и осталось.

Т а т а р и н о в. Господа! Может быть, я действительно был плохой кум и скверно держал младенца, но, ей-Богу, поверьте мне: я чувствовал такой трепет, что мог бы и совсем его уронить. Ей-Богу! Я думал, вот сейчас прижимаю я к моему фраку маленькую девочку, такую маленькую, что даже и тяжести она не имеет,— а что будет с нею, когда она вырастет? И так грустно мне стало, ей-Богу! Вот сейчас ее крестят, приобщают ее как бы к некоему великому движению человеческой совести, а вырастет она,

и станут ее обижать. И кто же? Мы, те самые мужчины, которые ее крестили и, стало быть, куда-то душу ее звали.

Насмешливые аплодисменты.

Аносова. Верно, батюшка,— обижают.

Аносов. Ну, уж ты-то молчи! Подумаешь, обиженная!

Федор Иванович. А ведь это, Иван Петрович, действительно идея: девочек крестить не надо.

Татаринов. Да я не о том, ты неверно меня понял.

Федор Иванович. Нет, это ты сам не понял, что ты сказал.

Розенталь. Это у него часто бывает.

Федор Иванович. Оставь шутовство, Розенталь! Ты именно это и сказал; это и есть смысл всей твоей великолепной речи: девочек крестить не надо.

Аносова. Скажи, какая немилость. Что ж мы, насекомые, что ли? Да насекомую и ту...

Федор Иванович. Если мы, мужчины, бываем скотами, то мы же бываем и людьми и творим Бога. А у женщин нет Бога, и все женщины, плохие и хорошие, если кому угодно допускать это различие,— я его не знаю,— все женщины вне религии. И крестить женщину — бессмыслица, злая шутка над нею же самой!

Голоса *(возмущенно)*. Неправда! Какой вздор! А мученицы?

Адвокат. За Магометом первая пошла его жена.

Аносова. Ну, за Мухаметом, тоже сказать. Один другого лучше!

Петя. Ренан говорит, что женщины создали Христа.

Федор Иванович. Вздор! В христианстве, как и во всем, они выели, выгрызли его идеалистическое ядро и оставили только скорлупу. Не обманывайтесь, господа. В самом христианстве женщины остались язычницами и останутся ими навсегда.

Адвокат. Язычество тоже религия.

Ниночка. А мученицы, дядя? Ведь это неправда, они умирали за Христа.

Федор Иванович. Но не за христианство. Все это ложь, Ниночка.

Анфиса *(бледнея)*. Вы распинаете женщину, Федор Иванович.

Федор Иванович. А сами висим по бокам, как разбойники, не так ли? Справедливое распределение ролей!

Господа, послушайте, какую трогательную картину изобразила нам Анфиса Павловна...

Голоса. Довольно! Довольно!

Анфиса. Я прошу вас не касаться меня, Федор Иванович. Это плоско!

Голос Анфисы настолько резок, что все смолкают.

Федор Иванович. Что вы изволили сказать, Анфиса Павловна?

Анфиса. Я говорю, чтобы вы не смели касаться меня, Федор Иванович.

Федор Иванович *(разваливаясь)*. А если посмею и коснусь?

Анфиса. То... вот вам. *(Бросает рюмку в лицо Костомарову.)* Подлец! Подлец! Подлец!

Смятение. Многие выскакивают из-за стола. Только бабушка неподвижна и по виду совершенно безучастна.

Федор Иванович *(медленно вставая и вытирая салфеткой лицо)*. Вы с ума сошли.

Аносова. Ай, батюшки, что же это такое!

Аносов *(кричит)*. Да ты что же это в самом деле, а? Ты с ума сошла? Тебе шутки шутят, а ты...

Анфиса *(топая ногой)*. Молчите, папаша!

Александра Павловна. Оставьте, оставьте, не трогайте ее.

Аносов. Нет, не оставлю! Ей шутки шутят. Вон, вон отсюда, неблагодарная! Ей приют дали, приютили ее...

Анфиса. Ах, да замолчите же, папаша! Разве вы не знаете... Господи, ведь это же все знают, что я любовница, любовница вот этого. Любовница, потерянная женщина, хуже уличной девки... вот, вот я...

Катя роняет тарелку и с громким плачем убегает.

Александра Павловна *(кричит)*. Это неправда! Она лжет, мерзавка! Это она хотела, а Федор Иванович, Федор Иванович...

Смятение растет. Старик Аносов ничего не понимает, задыхается, голова его дрожит.

Аносов. Чья любовница? Нет, ты прямо скажи! Ах, ты! Федька, заткни ей рот.

Аносова *(плачет)*. Жена она тебе или нет?

Анфиса. Его спросите! Ах, бесчестный же ты человек!

Федор Иванович. Ну да, это правда. Перестаньте кричать, папаша! *(К Анфисе.)* А ты... уходи вон.

Анфиса. Я? Отсюда? Это мне ты говоришь, ты, бесчестный человек? Нет, ты уходи вон. Это мой дом. Я слезами купила его, я горькой мукой его купила. Я кровь тут пролила. Это мой дом! Я плакать здесь останусь. Я на колени стану перед сестрой, перед всеми, кто презирает меня, кто ненавидит. Ах, убейте же вы меня. Я больше не могу. Саша, Саша...

Александра Павловна. Вон отсюда. Проклятая!

Ниночка. Вели ей замолчать, дядя Федя.

Федор Иванович *(не глядя, отстраняет Ниночку рукой, смотрит на Анфису)*. Так вот ты как? Ну, ну! Не мешай, Нина.

Аносов *(неразборчиво)*. Дожил. Дожил... каждую копейку... Федька же ты, Федька!..

Розенталь *(сует Анфисе стакан с водой)*. Водички, водички, Анфиса Павловна. Это ничего, ну их к черту.

Анфиса. Саша... Саша... Ах, ну что такое я, ну что такое я? *(Разводит руками.)* Господи, раздавленная змея. Спину ей переломили, она умирает, да. А вот, а вот вы на него посмотрите! Ведь он же эту девчонку, эту девчонку... любовницей...

Федор Иванович *(громко)*. Неправда! Неправда, Анфиса.

Аносов *(бестолково хватая за руки дочерей и толкая к двери)*. Молчи, Федька! Домой, домой. Чтобы ни минуты... в этом проклятом доме... Сашка, иди!..

Александра Павловна *(упираясь)*. Не пойду! Это неправда! Она все выдумывает.

Аносов *(топая обеими ногами)*. Сашка, прокляну! Сашка, прокляну!

Большинство гостей уходит. От Анфисы все отодвинулись, и она стоит одна, закрывая лицо руками.

Розенталь *(не зная, что делать)*. Анфиса Павловна, ну, Анфиса Павловна.

Анфиса. Стыдно. Стыдно. Стыдно.

Ниночка плачет, ее уводит из комнаты гимназист Петя.

Петя *(оборачиваясь, возмущенно)*. Это черт знает что такое! Вы мне ответите... Негодяй!

Федор Иванович *(борясь со слезами)*. И мне стыдно. И мне стыдно, Анфиса, голубчик ты мой. Ну, что ж я стою, а? Что же я стою? Ах, чтобы черт вас всех по-

брал — вон отсюда! Вон! Чтобы духу вашего не пахло. Эй, ты, старая калоша, забирай своих, вон!

Аносов. Что? Ты меня? Ах ты, сукин сын!..

Татаринов. Федор Иванович...

Федор Иванович. А-а вы, друзья? Не искушай меня, Иван Петрович. Христом Богом прошу — уходи.

Быстро идет к Анфисе и крепко обнимает ее.

Федор Иванович. Анфиса!

Анфиса. Как ты смеешь? Оставь, я ударю тебя.

Федор Иванович. Ах нет, Анфиса! Смотри, я их выгнал вон, смотри. Этот дом — твой, Анфиса! Чтоб черт их всех побрал! Анфиса!

Анфиса. Ты лжешь, ты издеваешься надо мною.

Аносов. Что, что, что, это нас-то? Сашка, Нинка... О Господи, матушки мои! Ох, до чего же я дожил!

Федор Иванович. Это твой дом! А если ты выгонишь меня, я... я у порога лягу, я от двери не отойду, я в окна стучать буду — открой, Анфиса! Разве ты не видишь — раскрылась душа моя! Прости меня!

Анфиса *(слабо защищаясь)*. Боже мой, Боже мой, что ты делаешь со мною... Уйди от меня, пожалей меня, Федя!

Федор Иванович обнимает ее, целует и что-то шепчет.

Александра Павловна. Целует! Мамочка моя, мамочка, целует!

Аносова. И пусть, и пусть, и пусть.

Аносов. Живо, сию минуту... за извозчиком... Сашка, бери детей... ни минуты... Тьфу!.. Прокормлю... старик... опять в долги залезу... Господа кредиторы, войдите в положение.

Татаринов. Идемте, Александра Павловна.

Александра Павловна. Нет. Умру.

Розенталь *(Татаринову)*. Она его рюмкой в лицо, а он нас выгоняет! Психология! До свидания, Федя... *(Тихо.)* Ну, а близко не подойду. Укусишь! Психология! *(Окончательно развеселясь.)* Великолепный скандал! Только теперь, наверно, калоши переменили. *(Радостно хохочет.)* Мне при каждом скандале калоши меняют!

Уходит. Старик Аносов, вопя и плюясь, выталкивает в дверь сперва жену, потом Александру Павловну.

Аносов *(оборачиваясь из двери)*. Ты мне ответишь за это. Губернатору... Ах ты, сукин сын, сукин сын! Тьфу!

Все ушли. Остаются только Федор Иванович с Анфисой да бабушка, которая продолжает сидеть неподвижно за опустевшим столом.

Анфиса. Уедем отсюда.

Федор Иванович. Да, уедем. Но что было с нами, Анфиса? Ты понимаешь это? Прости меня, если можешь.

Анфиса *(тихо плача)*. А ты... пожалей меня, если можешь, пожалей. Я одна, Федечка, и нет у меня заступников, кроме тебя.

Федор Иванович. Ах, как стыдно! Боже мой, как стыдно! Что было со мной, где было сердце, где были глаза мои?

Анфиса. Мне страшно, Федя. Не нужно сегодня спать! Ты заснешь и опять все забудешь.

Федор Иванович. Нет. Все стало другим. Посмотри, как чисто, как светло, Анфиса! *(Видит старуху и пугается.)* Анфиса, смотри, смотри! Это она, старуха! Зачем она здесь, сейчас? Я же всех выгнал вон!

Занавес

ЧЕТВЕРТОЕ ДЕЙСТВИЕ

Поздний вечер. Кабинет Федора Ивановича. На следующий день Федор Иванович и Анфиса уезжают, и в комнате полный беспорядок. Из письменного стола вынуты некоторые ящики с бумагами и стоят на кресле, на шкапу. Целая груда дел в синих обложках лежит на столе. Кое-где на креслах валяется платье Федора Ивановича, приготовленное для укладки; тут же на полу раскрытый чемодан.

За столом разбирается в бумагах Татаринов, которому Федор Иванович, уезжая, сдает все свои дела. Сам Федор Иванович медленно прохаживается по комнате и временами, остановившись, прислушивается к музыке — это в соседней темной комнате играет Анфиса. Музыка очень печальна.

Татаринов. А доверенность где?

Федор Иванович. Какая доверенность?

Татаринов. Кузнецовская.

Федор Иванович. Да там же, в деле.

Татаринов. В деле нет.

Федор Иванович. Ну, значит, в столе. Посмотри в левом ящике.

Молчание.

Татаринов. Нашел. Она у тебя среди писем.

Федор Иванович *(равнодушно)*. Ага!

Татаринов. А копии с постановления суда таки-таки и нет? Федор Иванович, ты мне оказываешь большую честь, передавая мне все твои дела, но в таком беспорядке я принять их не могу.

Федор Иванович. Завтра найдем.

Татаринов. Как член совета, делаю тебе замечание.

Федор Иванович. Не сердись. Это я за последнее время запустил... Скажи еще спасибо, что не спился твой Федор Иванович! Постой! *(Останавливается и прислушивается.)* Что она играет? Песню без слов? Да, да, песню без слов. Послушай, Иван Петрович: неужели музыка тебе не мешает? Как ты можешь слушать то, что играет Анфиса, и копаться в бумагах? Странный ты человек! Когда всю эту дневную суету, наши нудные разговоры, дребезжанье извозчичьих колес, шарканье по полу сапог — прорезает аккорд или отрывок мелодии, даже взятый неумелыми детскими руками, он сразу и решительно отрывает меня от земли. Как бы тебе это сказать? Как будто все остальное, и я сам, и вся моя жизнь — только нарочно, а правда и вечность, и я настоящий — здесь, в звуках.

Татаринов. Рядом со мной, Федя, в номерах живет музыкантша. Так если бы я при каждом аккорде отрешался от земли, меня давно бы из сословия поперли.

Федор Иванович. Помнишь мою речь по делу Казариновой? Как тогда плакали все?

Татаринов *(с гордостью)*. Прокурор плакал!

Федор Иванович. Да, прокурор плакал. А знаешь, все это отчего? Оттого что как раз в середине моей речи на дворе под окном заиграла шарманка. А когда я услышал ее, мне вдруг стало жаль эту женщину, и таким откровением встала передо мною вся ее печальная жизнь... *(Останавливается.)* Что она играет? Без слов, без слов, все она без слов. *(Мрачно.)* Ты знаешь, она сегодня целый день молчит.

Татаринов *(коротко)*. Волнуется. Ты бы ее, Федя, как-нибудь... того... пожалел. *(Многозначительно.)* Не нравится мне все это. Не вижу я в этом — дела. Едет человек, а куда, а зачем — сам хорошенько не знает.

Федор Иванович. Едет. *(Радостно смеется.)* Да, да, едет! Ах, голубчик Иван Петрович, спасибо, что напомнил. Ты не смотри, что я весь вечер как будто невесел,— сегодня утром я прыгал по дому как мальчишка. Анфиса куда-то ушла, бабку, старого черта, я запер на ключ — ведь во всем доме нас только трое, прислуга и та разбежалась — и был свободен, радостен и счастлив, как никогда еще в жизни. Даже озорничал, честное слово! Взял и за каким-то чертом разбил статуэтку. *(Конфузливо смеется.)* Потом осколком бросил в прохожего. Черт знает что!

Татаринов *(со вздохом)*. Ненадежный ты человек.

Федор Иванович. Оставь! Но вот что странно: заглянул я в детскую с некоторым даже желанием расчувствоваться, пролить слезу воспоминаний — и ничего. Понимаешь: смотрю на пустые кроватки — и ничего! Милые они девочки, и я их люблю, но... зачем я им нужен? Странный ты человек, Иван Петрович. Отчего ты не женишься?

Татаринов. Время прошло.

В соседней комнате молчание.

Федор Иванович. Сегодня она весь день молчит. Ты любишь сумерки, Иван Петрович?

Татаринов. Не мешай. Сейчас кончу.

Федор Иванович. Прежде я любил сумерки. Но сегодня... мне вдруг так жалко стало уходящего солнца, что захотелось бежать за ним, бежать, бежать, чтобы только не выходить из-под его света. Оно заходило, а с другой стороны — сегодня, кажется, я увидел ее лицо — встала ночь. И еще далеко была она, а тут... вдруг потемнело под диваном. Вдруг расплылась дверь, как будто ночь прошла сквозь нее. Вдруг пропали часы и стрелки на циферблате... Не люблю я нашего дома, Иван Петрович. Сегодня он пустой, как гроб, который ждет своего покойника.

Татаринов. Ну и сравнение! Сам всех разогнал, а теперь жалуешься.

Анфиса снова играет.

Федор Иванович *(быстро ходит)*. Завтра, значит, еду в Петербург.

Татаринов. Петербург, Петербург... а что ты будешь делать в Петербурге, хотел бы я знать?

Федор Иванович. Работать. На два года откажусь от практики и буду только работать. Это только вы, друзья, думаете обо мне, что я лентяй. А я умею работать, как никто из вас. И вот когда я научусь, сброшу с себя этот несчастный провинциализм, жалкое адвокатское фразерство... я возьму большой уголовный процесс. Пусть это будет о любви, о ревности, о чьей-то страшной смерти, о чьей-то печальной и темной душе. *(Закрывая уши.)* Ах, она мне мешает! Ты понимаешь, Иван Петрович, что это значит: взять в руки человеческий слух, взять в руки его строптивую душу, его пугливую и недоверчивую совесть, взять его чувство красоты, великое чувство, которое одно является источником всех религий, всех революций и переворотов — и над всем этим утвердить свое я, свою волю

и царственную мысль. *(Смеется.)* Кто это сказал: пусть ненавидят, но покоряются?

Татаринов. Какой-нибудь генерал.

Федор Иванович. Не понимаешь ты этого, Иван Петрович. А я вот помню и не забуду, как тогда после этих криков: вон, после всей этой ненависти и даже отвращения, которые я вызвал, присяжные заседатели все-таки вынесли оправдательный вердикт! Помню, с какой ненавистью глядел на меня старшина и как сквозь зубы прочел: «Нет, не виновен...» Ах, она мне мешает!

Татаринов. Вот и еще квитанции нету. Деньги внесены в казначейство, а квитанции нету. И потом, раз уж зашла об этом речь, я должен открыть тебе глаза на Розенталя.

Федор Иванович. Ну, что еще? Бог тебя знает, Иван Петрович, хоть бы ты курил... Попробуй! Отчего ты не женишься, на самом деле?

Татаринов. Я говорю серьезно, Федор Иванович. Теперь ты уезжаешь, и я должен тебе это сказать. Ты знаешь, что рассказывает этот Розенталь? Во-первых, он рассказывает, что вчера тесть наплевал тебе в лицо, а ты ему за это полбороды вырвал.

Федор Иванович. Осел!

Татаринов. А во-вторых... Ты помнишь эту сплетню относительно петуховских капиталов? Ну, купчихи этой? Ты тогда рвал и метал, как бешеный. Как это...

Федор Иванович. Неужели Розенталь? Вот негодяй! Зачем ты раньше не сказал об этом?

Татаринов. Скандала не хотел. Ну, вот и конец. Но только, Федя, завтра утром я опять приеду к тебе, еще часа на два работы осталось. *(Конфузливо.)* Что ты так смотришь на меня? Понравился я тебе?

Федор Иванович. Милый. Ну, отнесись ты к словам моим, как к словам друга, отбрось твое дурацкое самолюбие — возьми ты, наконец, у меня денег.

Татаринов *(краснея)*. Нет, нет, и не говори!

Федор Иванович *(нежно)*. Ведь ты же ничего не ешь, чудак, ведь ты же арбузными корками питаешься. Ну, голубчик, ну, пожалуйста! Обрадуй меня, ведь у меня же деньги шальные — ты знаешь!

Татаринов *(краснея еще больше)*. Ем я хорошо, это твой Розенталь врет. Нет, нет, нет, Федор Иванович, ты и не говори мне. Уйду и никогда больше не приду, хоть ты здесь умирай. Я на днях такое дело выиграл...

Федор Иванович *(смеется)*. Ну, и врешь же ты!..

Ну, ладно. Только не забудь, что в случае нужды... Больше не могу! *(Подходит к темной двери гостиной и говорит довольно резко.)* Анфиса! Сыграй, пожалуйста, что-нибудь другое. *(С неудовольствием.)* Ты точно хоронишь кого-то!

Молчание. Входит Анфиса, несколько бледная от темноты, и молча целует Федора Ивановича.

Федор Иванович. Ну, что, голубчик? Не хочешь играть? Ты что такая бледная, и глаза опять как будто подведены? Тебе нехорошо?

Анфиса. Нет, хорошо. Вы скоро кончите?

Татаринов. Кончаем.

Федор Иванович. Посиди со мною, Анфиса. И руки у тебя холодные. *(С неудовольствием.)* Не люблю я холодных рук! Ну, что ты так смотришь? Это нехорошо, Анфиса. Тебе нужно радоваться, а ты и у меня радость отнимаешь.

Анфиса. Нет, я радуюсь. Зачем сегодня приходила Ниночка?

Федор Иванович. С запиской от жены, то есть от Саши. Я Ниночки не видал, мне кучер записку передал. Пишет, чтобы я не оставлял ее. Странная у тебя сестра, Анфиса.

Анфиса. Саша очень несчастна.

Федор Иванович *(с неудовольствием)*. Ну, конечно, несчастна. Все вы несчастны, когда мужчина уходит от вас. Ну, ну, не сердись! *(Целует.)* Я шучу.

Анфиса. От твоих шуток бывает больно. Иногда они так похожи на правду... Ведь ты же сам радуешься, когда их принимают за правду.

Федор Иванович *(смеясь)*. Какие пустяки! Ты не веришь мне?

Анфиса гладит его волосы и молчит.

Федор Иванович. Ну? Не веришь?

Анфиса *(улыбаясь)*. Зачем ты спрашиваешь? Ведь ты же любишь иногда, чтобы тебе не верили.

Федор Иванович *(улыбаясь)*. Как ты меня узнала!

Анфиса *(грустно, с какой-то странной покорностью)*. Нет. Я ничего не знаю. *(Улыбаясь, все с той же покорностью перед чем-то непреложным и страшно печальным.)* Ведь я только сейчас заметила, что ты бороду подстригаешь. Я думала, что она такая...

Федор Иванович *(улыбаясь)*. От природы?

Татаринов. Итак, значит, чтобы не забыть: два биле-

та первого класса, купе, до Петербурга. Для курящих, конечно. Верно? *(Собирает бумаги.)* Ну, а затем... измучился я, как лошадь, в твоих авгиевых конюшнях.

Анфиса. Неужели мы действительно поедем?

Федор Иванович. Ты уложила вещи?

Анфиса *(удивленно)*. Нет. Когда поезд, Иван Петрович?

Татаринов. Ровно в два. Вы это напрасно не укладывались, вам нужно торопиться.

Анфиса. Да, да, я уложу. Что ты так смотришь на меня, Федя? Ты улыбаешься или нет? *(Тихо.)* Ну, что ты, голубчик, ты думаешь о чем-нибудь нехорошем?

Федор Иванович *(медленно)*. Размышляю.

Анфиса. О чем?

Федор Иванович. О вчерашнем. Не ошиблись ли мы с тобой, Анфиса? Вчера я был в каком-то угаре и плохо помню, что говорил. Но сегодня я вглядываюсь трезво и вижу: мы ошиблись, Анфиса. Ведь, в сущности, ничего не изменилось. Твой вчерашний порыв...

Анфиса. Федя, не надо! Федя, Бога ради, не надо!

Федор Иванович. Твой вчерашний порыв — случайность, одна из тех красивых случайностей, которые бывают у женщин. А сегодня ты увидела меня ясно, поняла, что я... в сущности, не люблю тебя... Ну, что ж ты не смеешься, Анфиса? *(Хватает ее за руки.)* Что же ты не смеешься, Анфиса, ведь я же шучу!

Татаринов. Конец.

Анфиса *(вставая)*. Что, какой конец? Федя, не надо! Я умоляю тебя, не надо. Если б ты знал, что ты делаешь со мною! *(Вздрагивает.)*

Федор Иванович *(резко)*. Ведь я же шучу!

Анфиса. Да, да, но, Бога ради, не надо! Бога ради, Федя!

Татаринов деликатно отходит к окну.

Федор Иванович *(гневно)*. Это не правда, что мне нужно недоверие! Мне нужна вера, и ты оскорбляешь меня недоверием. Сказать правду в лицо — это только половина; нужно еще суметь поверить, широко поверить, великодушно поверить, как верит мужчина.

Анфиса *(в страхе прячется к нему на грудь)*. Ах, Федя, если бы ты знал, что ты делаешь со мною! Ах, если бы Господь открыл твои глаза — ты не стал бы так говорить со мною. Ой, спрячь меня!

Федор Иванович *(тревожно и ласково)*. Ну, что

ты, ну, что ты? Ну, спрячься, спрячься... Беспокойная ты душа. *(Целует в голову.)* Это я твои мысли, твое беспокойство целую.

Звонок.

Ф е д о р И в а н о в и ч. Это еще кто пожаловал? Мне даже как-то странно, что ко мне — звонятся. Надо было и звонки обрезать.

А н ф и с а *(беспокойно)*. Федя, не принимай, пожалуйста. Я тебя прошу.

Ф е д о р И в а н о в и ч *(подозрительно)*. Это еще почему? Иван Петрович, будь друг, открой дверь: мне самому не хочется, мало ли там кто может быть.

Татаринов выходит.

Ф е д о р И в а н о в и ч. Почему ты не хочешь, чтобы я кого-нибудь принимал? Ты боишься чего-нибудь?

А н ф и с а. Нет. Да. Боюсь.

Ф е д о р И в а н о в и ч *(хмуро улыбаясь)*. Странный у нас вечер!.. А, господин Розенталь!

А н ф и с а *(радостно)*. Андрей Иванович!

Р о з е н т а л ь быстро идет к Анфисе Павловне, Татаринов угрюмо шагает до своего места.

Ф е д о р И в а н о в и ч *(Татаринову)*. Зачем ты пропустил его?

Т а т а р и н о в. Прошел.

Р о з е н т а л ь. Все еще злишься? Как глупо. Вашу ручку, Анфиса Павловна. Как вы себя чувствуете после вчерашней передряги? Но вы молодец. Ей-Богу, молодец. Я вчера залюбовался вами!

Ф е д о р И в а н о в и ч. Напрасно ты даешь руку, Анфиса. Розенталь, уходите, пожалуйста, или я вас вытолкаю в шею.

Р о з е н т а л ь. Что? Нет, это ты серьезно? Ты с ума сошел, Федор Иванович. Ну, вчера, в раздражении, я еще понимаю, ну, а сегодня? И что я тебе сделал такое, скажи, пожалуйста,— ты действительно сошел с ума. Я, наконец, требую, Федор Иванович, объясни ты мне.

Ф е д о р И в а н о в и ч *(брезгливо)*. Это вы распустили про меня сплетни относительно петуховских капиталов?

Р о з е н т а л ь. Ах, это? Ну я. Господи! Неужели же ты, Федя, умный человек, не понимаешь той простой истины, что если здесь ничего не соврать — так завтра же нужно удавиться или перейти в вегетарианство. Черт тебя знает,

Федор, большой ты человек, а обращаешь внимание на пустяки, на недостойную мелочь. А вот что я тебя люблю, что я у тебя *(сквозь слезы)* ни разу ни копейки... не взял, ты этого не видишь. Нехорошо, Федя, Господь с тобой!

Анфиса *(тихо Федору Ивановичу)*. Ну, оставь его, Федя, ведь он не злой.

Федор Иванович *(так же тихо)*. Ты ему рада? А знаешь, что мне неприятнее всего? Это то, что он похвалил тебя. *(Розенталю.)* Ну, ну, ладно. Только все-таки уходи, пожалуйста: я сегодня устал, и вообще я не в настроении.

Розенталь. Ну, вот это другой разговор. Я с наслаждением ухожу. Значит, завтра с курьерским?

Анфиса. Да, кажется.

Розенталь *(хватается за голову)*. Ну и букет же я вам привезу! Ты знаешь, денег я достал. Ну и букет же я вам привезу!

Федор Иванович. Это еще зачем? Пожалуйста, не надо.

Розенталь. Хочешь удрать потихоньку? Нехорошо, Федя, лицемерить, от тебя я этого не ожидал. Да ведь я и не тебе привезу, а вот этой... храброй... мужественной *(целует руку)* героине!

Федор Иванович *(брезгливо)*. Ну, довольно, оставь.

Розенталь. Пожалуйста, не строй таких разбойничьих рож. Все это у тебя оттого, что ты ешь мясное. Взгляни на Татаринова! До свидания, Анфиса Павловна. *(Уходит.)*

Татаринов *(вставая, возмущенно)*. Такая бесхарактерность, Федор Иванович, обязывает меня...

Федор Иванович *(морщась)*. Ах, какая гадость! Побыл человек одну минуту, а стало так скучно, что ничего уж не хочется, и ехать не хочется, и чувствовать не хочется. Анфиса, зачем ты позволила поцеловать руку?

Анфиса. Но ведь это просто вежливость.

Федор Иванович. Вежливость, вежливость. Скучно с тобой, Анфиса.

Татаринов *(примирительно)*. Ну, ну, не сердись, голубчик, не сто́ит! Ты просто устал — вы дайте ему хорошенько отдохнуть, Анфиса Павловна. Стало быть, завтра в одиннадцать,— раньше ты не встанешь. Прощайте, Анфиса Павловна.

Федор Иванович. Прощай, голубчик. Спасибо тебе...

Татаринов. Ну, ну!.. *(У дверей тихо.)* Вот что, Фе-

дор Иванович, не покажется тебе сентиментальностью, если я тебя того... ну, как это — поцелую? Ты скажи по правде.

Целуются.

Татаринов *(извиняясь)*. Беспокойно мне что-то, Федя. Но только ты... будь благороден, Федя. А?

Федор Иванович *(мягко)*. Постараюсь, Иван Петрович.

Татаринов. Ну вот, спасибо. А то все как-то беспокойно. Прощай!

Уходит. Федор Иванович, осматриваясь, ходит по комнате.

Федор Иванович. Одни.

Анфиса молчит.

Федор Иванович. Который час? Устал я. *(Звонит.)*

Анфиса. Кати нет.

Федор Иванович. Ах, да, я и забыл. Кто же в доме — ты, я и старуха? Приятный дом. Не можешь ли ты принести мне ликеру, Анфиса, он где-то там... Впрочем, погоди. Отчего ты все молчишь? Ты любишь меня, Анфиса?

Анфиса *(улыбаясь)*. Нет.

Федор Иванович. Нет, нет, не шути! Ты засмеялась, и мне стало неловко: ведь я тебя не знаю. Ты понимаешь этот ужас: я тебя целую, обнимаю, говорю — и совершенно не знаю. Такая ты или другая *(разводит руками)* — не знаю.

Анфиса. Ты меня видишь.

Федор Иванович. Да. Но и вижу-то словно впервые. Как странно: ты никогда не завиваешься, Анфиса?

Анфиса *(улыбаясь)*. Нет. А ты всегда подстригаешь бороду?

Федор Иванович. Да. И у тебя очень густые брови, Анфиса.

Анфиса. А ты часто вынимаешь часы, но не смотришь.

Федор Иванович. И у тебя на пальце яд.

Анфиса *(пряча руку)*. А ты часто поднимаешь руку ко лбу...

Федор Иванович. Ты всегда в черном платье. Кто ты, Анфиса?

Анфиса *(улыбаясь)*. Кто вы, Федор Иванович?

Оба странно смеются и сразу обрывают смех.

Федор Иванович *(хмуро)*. Странная игра. Но я хочу говорить серьезно. Сегодня ты весь день молчишь, Анфиса. Ты, может быть, этого не замечаешь, но ты весь день молчишь, Анфиса.

Анфиса. Разве? Значит... я думаю.

Федор Иванович *(подозрительно)*. Что-нибудь страшное?

Анфиса *(вздрагивает)*. Почему страшное? Почему страшное?

Федор Иванович. Потому что я тебя не знаю. Сегодня я видел, как ты, задумавшись, проходила по комнате куда-то. У тебя такая неслышная поступь, и ты была такая странная, всему чужая, что показалась мне похожею на черную тень. Куда ты ходила?

Анфиса. К бабушке.

Федор Иванович. Это зачем?

Анфиса. Я ходила ее кормить.

Федор Иванович. Я бы не стал ее кормить. Я уморил бы ее голодом. Который час? Господи, еще только одиннадцать часов. Но что же ты молчишь, Анфиса? Это становится невыносимым.

Анфиса. Федя, я сама не знаю.

Федор Иванович. Я уйду!

Анфиса *(торопливо)*. Ну, хорошо, ну, слушай, да, это правда, что я молчу — но знаешь, с каких это пор? С той ночи, как я стояла перед запертою дверью и звала тебя. Как будто в ту ночь я сказала все слова, какие есть, и у меня уже не осталось больше ни одного слова. Если хочешь, я могу говорить, но... Не заставляй меня, Федя, я скажу не то.

Федор Иванович. Я уйду!

Анфиса. Ну, хорошо, ну, слушай! Вчера ведь я кричала, да? Этот крик я слышу, он стоит в моих ушах. Но это кричал кто-то другой, а я — молчала.

Федор Иванович *(вдумываясь, тревожно)*. Ты что-нибудь решаешь? Там, у тебя в глубине, что-то решается? Быть может, уже решилось? Ну, говори же!

Анфиса. Не знаю. Да. Может быть. Я все время жду.

Федор Иванович. Чего?

Анфиса. Не знаю.

Федор Иванович. Нет, ты знаешь! Говори! Ты должна сказать. Слышишь!

Анфиса. Я не знаю.

Федор Иванович. Ложь. *(Хватает ее за руку*

и всматривается в глаза.) Говори! Я не позволю этого. Я заставлю тебя говорить!

Анфиса. Нет, нет, нет, не спрашивай. Мне страшно. Я люблю тебя. *(Целует в голову несколько сопротивляющегося Федора Ивановича.)* Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя. Ой, обними меня. Ой, крепче, крепче обними меня!

Федор Иванович *(испуганно и ласково)*. Ну, что ты, что ты?

Анфиса *(пряча голову к нему на грудь)*. Ты смотрел на меня... как вчера... когда про змею... про змею... Ой, не надо, Федя. Обними меня крепче. Я боюсь. Не пускай меня, не пускай.

Звонок.

Анфиса *(вскрикивает)*. Ай! Что это!

Федор Иванович. Что ты, что ты! Это звонок, успокойся же. Вот не думал, что ты такая трусиха. Ты и на меня нагнала страху. Ведь это же нелепо. Сидим с тобой, как маленькие дети, и пугаем друг друга.

Анфиса. Не уходи.

Звонок повторяется.

Федор Иванович. Звонят. Ну, погоди одну минутку, а я пойду открою. Кто это может быть?

Анфиса *(обнимая крепче)*. Не уходи.

Федор Иванович. Да не ребячься же, Анфиса. Вероятно, телеграмма. Я сейчас. Ну?

Оглядываясь на Анфису, уходит. Анфиса прячет голову в углу дивана, но когда слышит голос Ниночки — поднимается и смотрит на дверь широко открытыми глазами.

Ниночка *(за дверью)*. А я думала, что вы, что ты уже спишь... хотела уйти. Кто ж у вас в доме? Только... свои?

Федор Иванович *(также за дверью)*. Да, только свои... И не боишься ты ночью ходить одна? Смелая девчонка.

Входят. Ниночка, увидев Анфису, останавливается у порога.

Федор Иванович. Входи же, Ниночка, входи. *(Немного неловко.)* Это Ниночка, Анфиса.

Ниночка. Мне нужно поговорить с тобою, дядя Федя. Но только наедине.

Федор Иванович. Ты можешь говорить при ней. Ты же ведь знаешь...

Ниночка. Нет, я могу говорить только наедине.

Анфиса *(немного чужим голосом)*. Федор Иванович, позвольте мне остаться здесь.

Федор Иванович. Да? *(Мгновение нерешимости.)* Пустяки, Анфиса, это только на минуту. Пойди туда... И, кстати, приготовь мне ликеру. Одну только минуту.

Анфиса со странной покорностью уходит в открытую дверь гостиной. Оба оставшиеся прислушиваются к ее удаляющимся шагам и радостно бросаются друг к другу.

Федор Иванович *(взволнованно.)* Как я рад, что ты пришла. Не знаю, что со мной сегодня!.. Нервы ли просто развинтились, или этот пустой дом... но только такая жуть...

Ниночка. И я так рада. Я... не могу жить без тебя...

Он обнимает Ниночку, целует, и некоторое время они стоят обнявшись, как влюбленные.

Федор Иванович. Голубчик ты мой! Сон ты мой золотой! Не побоялась одна? Как я рад тебе!

Ниночка *(целует его)*. Милый, милый, милый!

Федор Иванович сажает Ниночку на диван и незаметно для себя становится перед нею на колени.

Федор Иванович. Ну, что, деточка, что принесла? *(Улыбаясь.)* Опять записку? Как я рад тебе.

Ниночка. Да, вот.

Федор Иванович *(рвет письмо)*. Какая же она, право... странная. И не побоялась ты — ночью одна? Ах, девочка моя милая...

Ниночка *(осторожно кладя руку на плечо)*. А на случай, если ты разорвешь письмо, не читая, она велела передать тебе, что она ни в чем не виновата, что она просит, чтобы ты ее простил, и что, как только папаша ее выпустит, она сейчас же приедет к тебе. В то, что ты уедешь... не один, она не верит. И все время плачет до того, что невыносимо смотреть. А папаша запер ее с ребенком на ключ, стоит перед дверью, топает ногами и всю ее проклинает. Он совсем потерялся. Добыл денег и накупил Бог знает чего: сардинок, какой-то рыбы, фруктов, и все это для младенца. А мне материи на платье купил... еще какой-то зеленой. О тебе и слышать не хочет. Попробовала я что-то сказать, так он и меня проклял.

Федор Иванович. Жалко старика. Я виноват перед ним. Но все равно.

Ниночка. Конечно, жалко. Но почему все равно? Так говорят только те, кто не собирается больше жить.

Федор Иванович. Как я рад тебе! Не уходи, Ниночка. *(Целует ей руку.)* Озябла, бедненькая?

В темных дверях гостиной появляется на мгновение **Анфиса**. Смотрит мертвым лицом на них и так же бесшумно исчезает.

Ниночка. Нет, я не ухожу. Я еще должна сказать тебе... Только я не могу говорить, пока ты так стоишь. Это очень серьезно.

Федор Иванович *(удивленно)*. Действительно, как я стал? *(Встает.)* Если бы я сейчас был склонен к шуткам, я бы сказал: это судьба.

Ниночка. А может быть, это и не шутка. Только, пожалуйста, дядя Федя, отойди от меня еще дальше. Это очень серьезно. *(Оглядывается.)* А Анфисы там нет?

Федор Иванович *(прислушивается)*. Нету. Она, вероятно, ушла к этой... старухе. Ты знаешь, во всем доме мы только трое: я, она и старуха. Странный дом! Ну, так что же, Ниночка?

Ниночка *(вставая)*. Я люблю тебя, дядя Федя.

Федор Иванович. Не надо, Ниночка! Я не хочу любви.

Ниночка. Нет, я люблю тебя, дядя Федя. И я уже не девочка и знаю, что говорю. Ты можешь поступить, как хочешь, но я пришла к тебе, чтобы это сказать,— и вот сказала. И тебе следует просто ответить мне: — а я тебя, Ниночка, не люблю. И тогда я *(сдерживая слезы)* — уйду.

Федор Иванович. Но разве это правда, Ниночка? Но разве ты знаешь, что такое любовь? Ты просто, голубчик мой, обезьянничаешь со взрослых, а тебе уж и кажется...

Ниночка. Ах, дядя Федя, дядя Федя, как ты еще мало знаешь людей. Я ведь предчувствовала, что ты мне не поверишь, будешь смеяться,— ты привык меня видеть девочкой и просто не заметил, как я выросла. И я, быть может, и не пошла бы, если бы так не жалела... и не боялась за тебя. Дядя Федя, милый, милый, не езди с нею! Я ее боюсь!

Федор Иванович. Ниночка, ты не знаешь, что говоришь.

Ниночка. Это ты не знаешь, а я знаю. Не езди с нею, не езди с нею. Ну... возьми меня, если хочешь. Я чистая — клянусь, меня не поцеловал ни один мужчина — и я отдам тебе все, что только может быть в душе. Ах, ты еще не знал любви, дядя, ты же не знал ее никогда! *(Медленно стано-*

вится на колени и складывает руки, как на молитву.) Возьми меня, Федя.

Федор Иванович *(закрывает лицо руками и ходит по комнате)*. Молчи. Молчи.

Ниночка. Я молчу.

Федор Иванович *(так же)*. И ты поедешь со мной?

Ниночка. Поеду.

Федор Иванович. Завтра?

Ниночка. Когда хочешь.

Анфиса *(в дверях)*. Вы еще не кончили?

Ниночка быстро вскакивает с колен и отходит.

Федор Иванович. Ах, это ты? Да. Кончили. Сейчас, одну только минуту!

Анфиса уходит. Федор Иванович быстро обнимает Ниночку, почти душит ее.

Федор Иванович. Нет, нет. Ты не знаешь, что говоришь, Нина, но... но... Приходи завтра утром, слышишь? Все это вздор, но ты знаешь, девочка,— я сейчас только, после многих месяцев вздохнул полной грудью.

Ниночка. Господи, как я рада. Господи, как я рада. Ты ведь не знаешь, дядя Федя,— я уж сегодня начала укладывать вещи!

Федор Иванович *(толкая ее)*. Ну, иди, иди. *(Целует.)* Иди. Но только... приходи.

Уходит по направлению к прихожей. Появляется Анфиса, ставит на стол бутылку ликеру и рюмку. Движения ее очень спокойны, точны, но как-то странно правильны и почти механически отчетливы. Поставив бутылку, Анфиса подходит к лампе и внимательно рассматривает перстень, приоткрывает его, вглядывается очень сосредоточенно и закрывает. Потом обычным кокетливым женским движением рассматривает свою руку.

Федор Иванович *(входит, говорит несколько смущенно.)* Какая смелая девчонка,— ходит ночью одна. От Саши опять письмо.

Анфиса. Я слышала все. Я была в той комнате и слышала все.

Федор Иванович *(с напускным гневом)*. Ты подслушивала!

Анфиса. Нет, я не подслушивала. Это правда, что ты завтра едешь с Ниной?

Федор Иванович. Какой вздор, как тебе не стыдно, Анфиса. Девчонка Бог знает чего наслушалась в нашем доме и просто обезьянничает.

Анфиса. Нет, она тебя любит.

Федор Иванович. Ты думаешь?

Анфиса. Да. Но ты ее не любишь. Ты никого не любишь.

Федор Иванович (*улыбаясь*). А тебя?

Анфиса. Меня — любишь. И я очень рада, что ты так относишься к Ниночкиным словам. Тебе нельзя с ней ехать. Ты хочешь любить, но не умеешь, и если ты поедешь с Ниной...

Федор Иванович (*нетерпеливо*). Ты опять повторяешь это! Ведь я же сказал тебе, что это вздор, вздор, вздор! Поцелуй меня, Анфиса. (*Целует ее.*) Какая ты красивая. Ты любишь меня?

Анфиса. Люблю.

Федор Иванович (*крепко обнимая*). Какая ты красивая! Ты вся, как черный огонь, который не светит, а только жжет... и как жжет! Ты помнишь, Анфиса? (*Обнимает все крепче и заглядывает ей в глаза.*) Анфиса!

Анфиса (*целуя его и в то же время сопротивляясь*). Нет, нет, не надо.

Федор Иванович. Анфиса!

Анфиса. Нет, нет. Не надо! Пусти! Ты устал. Не надо. Я не хочу. (*Вырывается, тяжело дыша.*)

Федор Иванович (*угрюмо*). Не хочешь?

Анфиса. Ах, какой ты, Федя! Ну, не сердись, милый. Я ведь так люблю тебя! Но я устала. И мне немного нехорошо. А что же ликер? Я ведь принесла. Вот он. На! (*Наливает.*) Выпей. Тебе нужно отдохнуть, Федя, ты так устал.

Федор Иванович (*подумав, добродушно*). Ну, Господь с тобой. Да, я устал.

Анфиса. Тебе нужно уснуть.

Федор Иванович. Да, мне нужно уснуть. (*Пьет и смеется.*) Да, мне нужно уснуть.

Анфиса. Чему ты смеешься?

Федор Иванович. Так. Мне действительно стало весело от ее наивности. Подумай, она клянется: меня еще ни разу не поцеловал ни один мужчина.

Анфиса. Ни один мужчина.

Федор Иванович. Да! Ни один мужчина! Налей мне еще. Я сегодня хочу пить только из твоих рук.

Анфиса. Отдохни, мой милый, ты так устал.

Федор Иванович (*чему-то улыбаясь*). Да, я отдохну, я так устал.

Анфиса. Приляг ко мне на колени. Я сяду, а ты поло-

жишь мне голову на колени, и я тебе спою песенку, как вчера. Приляг!

Федор Иванович. Вчера было хорошо. Но мне хочется ходить, у меня столько мыслей, у меня столько планов, я вдруг увидел мир — весь мир — зеленый, красный, голубой. Давай мечтать, Анфиса!

Анфиса. Давай мечтать! Но ты ляг.

Федор Иванович. Который час? О, уже двенадцать. *(Стучит кулаком по руке.)* Время идет, время идет! Налей мне еще. Ну, скорее! Я еду, я еду, я еду. И все-таки — устал. Устал.

Анфиса. Приляг. Вот так! Тебе удобно?

Федор Иванович *(ложится и кладет голову к Анфисе на колени)*. Да, хорошо. У тебя немножко жесткие колени, но это хорошо. Я люблю, что ты вся такая... жесткая, сухая и горячая, как крапива. *(Смеется.)* Как крапива! Давай мечтать, Анфиса, о светлом. *(С глубокой правдивостью.)* Ведь никто не знает — и даже ты не знаешь, как я устал, как я измучился, как временами ненавижу я жизнь... и себя.

Анфиса. Не жалей жизни. Она так печальна, и так темна, и так страшна она. Кто судит нас?

Федор Иванович. Откуда моя тоска? Я как будто счастлив, я сам делаю свою жизнь — но откуда эта жестокая, неотступная тоска? Давай мечтать, Анфиса, я думать не хочу. Что-то красивое встает перед моими глазами, и оно волнуется тихо, как голубой туман перед восходом солнца. Какие-то песни я слышу, Анфиса, какие-то деревья на глазах моих покрываются цветами. Ты любишь яблоню, когда она цветет?

Анфиса. Я люблю красные розы.

Федор Иванович. Нет, нет... яблоню, когда она цветет! Какие-то птицы летят надо мною, и сверкают на солнце их огромные белые крылья. Я грежу, Анфиса. Скажи мне эти слова, которые поют мне о другом.

Анфиса *(тихо)*. Друг, друг, желанный ты мой.

Федор Иванович *(повторяя)*. Друг, друг, желанный ты мой...

Анфиса. Кто беспокойному сердцу ответит?

Федор Иванович *(повторяя)*. Кто беспокойному сердцу ответит?..

Анфиса. Море... Море любви ему в вечности светит — светит желанный покой.

Федор Иванович. Светит желанный покой. Отчего ты вздрогнула, Анфиса? Светит желанный покой.

Постой, я, кажется, вижу его. Всю жизнь я стараюсь вспомнить это лицо и не могу, и мучаюсь, а вот сейчас...

Анфиса. Лицо женщины?

Федор Иванович. Нет, нет. Я не знаю, чье это лицо. А вот сейчас на одно мгновение оно как будто склонилось надо мною, и мне стало так хорошо. *(Беспокойно.)* Но ты его спугнула, Анфиса. Я опять не могу вспомнить. Какие у него глаза? — я их видел.

Анфиса. Голубые, ясные, и взор их необъятен.

Федор Иванович. Нет, скорее черные.

Анфиса. Нет, не черные. *(Вздрагивает.)* Нет, не черные. Он звал тебя?

Федор Иванович. О ком ты говоришь? Меня никто не звал. *(Привстает на локте и тревожно вслушивается.)* Там кто-нибудь есть? Ты опять молчишь, Анфиса?

Анфиса *(гладя его волосы)*. Нет, нет, родной. Я все время говорю, разве ты не слышишь? Спи спокойно и доверчиво. Я не обману тебя. Это я тебе рассказала о белой яблоне, которая цветет. Усни, дитя мое, и я спою тебе ту глупую песенку, что пела мальчику моему. *(Вдруг плачет.)*

Федор Иванович. О чем? Не надо плакать.

Анфиса. Я так. Вспомнила! Не надо плакать. Ах, не надо плакать! Милый ты мой, родной ты мой, моя единая и вечная любовь. *(Тихо поет.)* Баю-баюшки-баю. Баю *(вздрагивает)* милую мою. Ты спишь?

Федор Иванович. Постой, не мешай.

Анфиса. Нет, больше не буду. Баю-баюшки-баю... Полежи, я потушу лампу.

Федор Иванович. Нет, не надо, так хорошо.

Анфиса. Я зажгу свечу...

Анфиса осторожно встает, Федор Иванович остается лежать на спине, глаза его закрыты. Во время дальнейшего разговора Анфиса гасит лампу и зажигает свечу, потом раскрывает перстень и высыпает яд в рюмку, руки ее слегка дрожат.

Федор Иванович *(сонно)*. Ну, что же ты? Я хочу спать.

Анфиса. Сейчас, мой милый! Я налью тебе ликеру.

Федор Иванович. Я больше не хочу.

Анфиса. Может быть, выпьешь?

Федор Иванович. Ну, иди же.

Анфиса. Сейчас.

Осторожно ставит рюмку на столик около дивана и садится на прежнее место.

Анфиса. Ты опять видишь его?

Федор Иванович. Нет, нет, не мешай, молчи. Или лучше спой, Анфиса.

Анфиса. Сейчас. Выпей только.

Федор Иванович. Я не хочу.

Анфиса. Ну, одну, только одну. Больше не надо.

Федор Иванович. Да не хочу же я!

Анфиса. Выпей!

Поднимает ему руку и почти насильно вставляет в нее рюмку.

Федор Иванович. Какая ты нелепая. *(Приподнимается на локте, говорит лениво.)* Зачем ты мне помешала, Анфиса? Мне было так хорошо. Который час? Значит, едем?

Анфиса. Ну, пей же, пей.

Федор Иванович. Сейчас. Я и забыл сказать Ивану Петровичу, чтобы он приходил пораньше. Он, кажется, хотел в одиннадцать.

Анфиса. Боже мой, да пей же!

Федор Иванович. Что ты? Сейчас, я же тебе сказал. *(Подозрительно вглядывается в Анфису.)* Постой, глаза... Покажи глаза! А-а-а-а-а!

С ужасом смотрит в остановившиеся глаза и в то же время, продолжая начатое движение, подносит рюмку ко рту и пьет. Вскакивает, как бы поднятый чудовищной силой, задыхаясь и хрипя, делает несколько странных скачков по комнате, в один из которых чуть не сшибает с ног Анфису, и падает мертвым. Анфиса смотрит, защищаясь вытянутыми вперед руками, и, когда Федор Иванович падает,— отбегает в дальний угол. Дико с надрывом кричит, как только можно кричать в пустом доме.

В темных дверях показывается старуха; цепляясь за притолку, добирается до кресла и садится в него.

Молчание.

Бабушка. Умер, да?

Анфиса. Кажется, умер. Я не знаю. Я боюсь подойти.

Бабушка. Так, так. *(Подходит и смотрит.)* Прикрыла бы ты его. Нехорошо так.

Анфиса. Я не знаю, чем. Если бы где-нибудь найти простыню. Но я боюсь подойти.

Бабушка *(садится на прежнее место)*. А ты в чемодане посмотри, в чемодане посмотри. Его чемодан?

Анфиса. Его. В чемодане, должно быть, есть. Вот.

Быстро накидывает на мертвеца простыню, но разошедшиеся ноги и одна желтая рука остаются открытыми.

Б а б у ш к а. Мышьяком?

А н ф и с а. Нет, цианистый калий.

Б а б у ш к а. Так, так. Не знаю, не слыхала. Который час?

А н ф и с а. Не знаю. Часы у него в кармане. *(Ляская зубами.)* Бабушка, мне страшно!

Б а б у ш к а. Так, так. Ну и страшно, ну и страшно.

А н ф и с а *(ляская зубами)*. Бабушка, мне страшно. Что же делать? Что же делать?

Б а б у ш к а. Так, так. Нечего делать, все сделано. Молчи.

Обе женщины сидят и неотступно смотрят на белое пятно простыни. В сумраке кажется, что оно шевелится.

Светает.

З а н а в е с



«GAUDEAMUS»

КОМЕДИЯ В ЧЕТЫРЕХ ДЕЙСТВИЯХ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Старый студент.
Дина Штерн
Лиля } курсистки.
Онучина
Онуфрий
Стамескин
Тенор
Блохин
Костик } студенты.
Кочетов
Петровский
Козлов
Гриневич
Панкратьев
Капитон — слуга.
Студенты и курсистки.

ПЕРВОЕ ДЕЙСТВИЕ

Еще при закрытом занавесе хор молодых мужских и женских голосов поет громко, уверенно и сильно:

Gaudeamus igitur,
Juvenes dum sumus.
Post jucundam juventutem...[1]

Занавес открывается. На сцене квартира Дины Штерн — богато обставленная гостиная; в открытую дверь видна столовая с сервированным столом. Много картин, цветы. У рояля, под аккомпанемент **Дины Штерн**,

[1] Будем веселиться,
Пока мы молоды.
После радостной юности... *(лат.)*

собравшись кружком, поют студенты и курсистки, все земляки-стародубовцы. Дирижирует Тенор. Только двое сидят в стороне: Стамескин и Онучина.

Песня кончается:

Post molestam senectutem,
Nos habebit humus![1]

Тенор. Баста! Скверно! Больше дирижировать не стану. Блохин врет. Ты, Костя, мычишь, как пьяный факельщик. Нужно дать молодость, утверждение радости, высокий восторг... gaudeamus igitur, juvenes dum sumus!.. Вы слышите: точно золотые гвозди вколачиваются в стену, а вы что делаете? Поете, как нищие на паперти. *(Передразнивает.)* Hu-u-mus!..

Петровский. Да врешь, Тенор. Ей-Богу, хорошо! Gaudeamus...

Тенор *(презрительно)*. Молчи, салопница!

Лиля. Ах, нет! Так хорошо, это такая прекрасная песня. Я только не все слова понимаю. Онуфрий Николаевич, что значит гумус?

Онуфрий. Земля. Мать сыра земля.

Костик-председатель. Это значит: сколько вы ни вертитесь, а всех возьмет земля...

Тенор. Поэтому и нужно радоваться, а не скулить, как слепым щенкам в помойной яме!

Козлов. Верно!

Костик. Да ты не сердись, Тенор, пели, как Бог дал, не хуже других. А ты вот отчего сам не поешь: голоса для товарищей жалеешь? Ты не жалей.

Дина. Вы слишком требовательны, Александр Александрович. Пели, как мне кажется, очень хорошо, но было бы, конечно, еще лучше, если бы вы помогли нам. Спойте!

Козлов. Пой, Тенор!

Тенор. Ха-ха-ха! Нет, я еще не умею петь.

Блохин. Не жалей голоса, Тенор, от упражнения голос крепнет.

Онуфрий. Молчи, Сережа. А то они вспомнят, что ты тоже пел... нехорошо тебе будет, Сережа.

Костик. Господа, Блохин выдумал новый фокус: становится под моим голосом, так что вам его не слышно, а мне мешает. Зудит, как комар.

Блохин *(сердито)*. Пошли к черту! *(Смех.)*

---

[1] После тягостной старости
Нас ведь примет земля! *(лат.)*

Козлов. А по моему мнению, раз Тенор не хочет петь, так его из хора выдворить. Найдем другого дирижера, эка! Забрал себе в теноровую башку, что голосом он покорит весь мир, и трясется от страха.

Тенор. И покорю!

Козлов. Словно баба над лукошком с яйцами — ах, как бы не разбить! Не пьет, не курит и не ест, как люди добрые, а... пи-тается! Встретил я его вчера на Никитской, спрашиваю — молчит и мотает головой. Да ты что, Тенор? Молчит. Думаю, с ума сошел наш Тенор, а он вдруг шепотом: простуды боюсь, сыро. Экая верзила гнусная!

Дина. Но ведь это правда, Козлов, голос — очень хрупкая вещь: его необходимо беречь.

Козлов. Беречь? Тогда ну его к черту! — не желаю быть сторожем собственного голоса. Экое сокровище, подумаешь! Вот у меня голос, как...

Тенор. Ха-ха-ха! Как у козла! И потому твоя фамилия Ко-злов.

Козлов. Правильно, именно как у козла. А я вот, слава Тебе Господи, всю жизнь пел и буду петь назло всем моим врагам.

Онуфрий. И на радость друзьям. Великодушный ты, Козлик, человек! *(Указывая на рогатый, странной формы стул.)* Дина, можно сесть на этом келькшозе? У него очень загадочный и даже враждебный вид — может быть, он не любит, чтобы на нем сидели?

Дина *(смущаясь)*. Конечно, можно... какие пустяки!

Онуфрий. А он не рассердится?

Костик *(мрачно)*. Очень уж у вас богато, Дина Абрамовна,— на положении вы курсистки и даже землячки, а живете как баронесса.

Дина *(краснея)*. Зовите просто Дина.

Костик. Совсем не по-студенчески! У меня ноги в сапогах, и я все время боюсь, как бы паралич ног не сделался. Родительская квартира?

Дина. Да. Вы не обращайте внимания. *(Смущается и смеется ясно и открыто.)* Мне и самой неловко... Но это такие пустяки!

Онуфрий. А не выгонят нас родители? Народ это мнительный, вроде теноров. Помнишь, Сережа, как твои родители сперва меня поперли, а потом и тебя поперли?

Дина. Нет, ну что вы! Отца и в городе нет: у него большие дела, и он почти все время в разъезде.

Онуфрий. Это другое дело. Сережа, успокойся.

Дина. Да нет, это все равно, в городе он или уехал. Если бы он и был, так не обратил бы внимания — ему не до того. А мама и сама сюда просилась, но я ее не пустила.

Онуфрий. Отчего же? Тихая старушка?

Дина. Она очень хорошая... и смешная. Пения она, правда, боится, то есть не пения, а дворника. Но это ничего!

Кочетов. А он у вас строгий?

Дина. Кто? Папа?

Кочетов. Нет, дворник,— это важнее.

Лиля *(быстро)*. А у нас в доме такой строгий дворник, такой строгий дворник, что мы вчера с Верочкой два часа звонили — он отворять не хотел.

Петровский. Не слышал,— дворники здоровы спать.

Лиля. Нет, слышал,— мы два часа звонили!

Петровский. Нет, не слышал.

Лиля. Нет, слышал.

Костик *(мрачно)*. Нет, не слышал.

Блохин. Наверно, не слыхал.

Онуфрий. Конечно, не слышал. Ты как думаешь, Козлов? — скажи откровенно.

Козлов. Куда ему слышать, конечно, не слыхал.

Лиля *(сердито)*. Слышал, слышал, слышал. Вы смеетесь, а это такое свинство с его стороны,— мы с Верочкой продрогли, зуб на зуб попасть не могли. Он нас целый месяц преследует; хочет, чтобы мы ему двугривенный дали,— как же, так вот и дадим! Свинство!

Онуфрий. Гриневич, дай-ка папиросу. Что ты затих совсем? — присядь, потолкуем. Ну как, вышло дело с уроком или нет? Мне его хорошо рекомендовали... Фу, ну и табак же у тебя дрянной!

Гриневич. Дешевый. Спасибо, Онуша, с уроком я устроился...

Тихо разговаривают. Некоторые из студентов осматривают картины. Тенор, как свой в доме человек, показывает, зажигает свет. Слышны восклицания: Левитан! Да что ты! Самодовольный смех Тенора. Дина присаживается к Стамескину.

Дина. Отчего вы не пели, Стамескин? *(К Онучиной.)* Вы также. Вам не скучно?

Стамескин. Я никогда не скучаю. А если мне становится скучно, я ухожу.

Онучина. Я также. Как у вас пышно, Дина. Вам не мешает эта роскошь? Я бы и одного дня не могла здесь выжить.

Дина. На это можно не смотреть, Онучина. Когда я училась в стародубской гимназии, я жила у бабушки

в маленькой комнате, там было очень просто. У меня в комнате и теперь хорошо, и я постоянно бранюсь из-за этого с папой. Он прежде жил очень бедно и теперь хочет, чтобы кругом все было дорогое.

Тенор. Дина, земляки хотят есть.

Лиля. Врет, врет. Это он сам хочет есть! Мы картины смотрим, такая прелесть.

Онуфрий. Земляки хотят пить.

Дина. Простите, я сейчас... Там все готово. Пойдемте в столовую, господа. Кочетов, Петровский... Отчего вы такой неразговорчивый, Гриневич? Я не слышу вашего голоса.

Блохин *(Онуфрию тихо)*. Постой! погляди-ка на стол.

Онуфрий. А что?

Блохин. Водки нет. Все какие-то келькшозы.

Онуфрий. Зрелище мрачное. Ну что же: будем пить келькшозы. Запомни ты мое слово, Сережа: раз оно имеет форму бутылки, его всегда можно пить.

Блохин. А если прованское масло?

Дина *(смущаясь)*. Прошу в столовую, товарищи. Только я должна вас предупредить: водки у меня не бывает. Вина сколько угодно, а водки я боюсь, это такая ужасная вещь!

Костик. Ну и ладно... Вино так вино.

Кочетов. Да и того бы не надо, одно баловство.

Онуфрий. Ты слышишь? Эх, прошли наши времена, Сережа. Вина! Да и того не надо! До какой низости доводит трезвый ум, а?

Блохин. А Стамескин радуется.

Онуфрий *(огорчаясь все больше)*. Мне наплевать, что у тебя римский нос, у меня у самого греческий нос. Вина! Что я, лошадь, что ли, чтобы пить вино? От вина подагра бывает.

Тенор. Прошу, господа. Отчего ты мрачен, Костя, улыбнись.

Петровский. Озари мир улыбкой.

Костик. Я не мрачен, у меня вид такой фатальный.

Козлов. Отчего ты мрачен, Костя?

Петровский. Кто тебя, Костя, обидел?

Толкаясь и смеясь, проходят в столовую. Лиля отстает.

Лиля *(Дине)*. Диночка, пожалуйста, не угощайте вином Гриневича, ему очень вредно пить, он становится такой беспокойный. Я уже просила Онуфрия Николаевича и сама буду сидеть рядом, но все-таки.

Дина. Хорошо, Лилечка, я буду смотреть. Иди себе.

Лиля уходит в столовую. Остаются Стамескин, Онучина и Дина, которая уговаривает их пойти закусить.

Дина. Ну, пожалуйста, ну пойдемте. Выпейте хоть стакан чаю.

Стамескин. Нет, не хочу.

Онучина. Я тоже. Идите к гостям, вы такая любезная хозяйка. Они без вас стесняются.

Дина. Ну скушали бы чего-нибудь. Пожалуйста!

Онучина. Нет, нет, идите.

Дина нерешительно уходит.

Онучина. Вы не слыхали, Егор Иванович, говорят, что Дина выходит замуж за этого Тенора. Что это, естественный подбор или просто глупость?

Стамескин. Я не собираю слухов.

Онучина. Я также. Мне не нравится любезность Дины, в ней есть что-то неприятное, кокетливое — Дину портит ее красота. А этот господин... Тенор — возмутительно! Вы знаете, у него сейчас нет урока, и он просит у землячества ссуду — неужели ему дадут?

Стамескин. Нет, не дадут. Мы провалим все ссуды.

Онучина. Неужели все?

Стамескин. Все.

Онучина. Но ведь есть очень бедные земляки, Егор Иванович! Та же Лиля — я знаю, она питается только хлебом да чаем. У нее пальто нет!

Стамескин. Ну и пускай питается хлебом и чаем, это достаточно хорошо. Вы же знаете, что деньги нам нужны на другое.

Онучина. Но, Егор Иванович, не все могут жить так, как вы. Такая жизнь требует страшной выдержки, почти геройства...

Стамескин. Вы опять о героях, Онучина?

Онучина. Разве я так сказала? Я ошиблась, ну не герой, но это все равно. Вы не курите, не пьете чаю, вы почти совсем ничего не едите. Ведь это же невозможно, Егор Иванович, вы должны пожалеть себя, ну, просто как рабочую силу! Паншин рассказывал мне, что вы едите хлеб с рыбьим жиром — что же это такое!

Стамескин *(краснея)*. Это очень питательно и вкусно: напоминает семгу.

Онучина. Ах, Егор Иванович, но вы подумайте!..

Стамескин *(сухо)*. Не довольно ли гастрономии, Онучина! И вы... того, пойдите и выпейте стакан чаю. Вы с утра, кажется, ничего не ели.

Онучина *(искренно)*. Да мне ничего и не хочется!

Стамескин. Пойдите.

Быстро подходит Дина.

Дина. Господа, ну пожалуйста! Мне так неловко: мы там едим, а вы...

Стамескин. Пойдите, Онучина!

Онучина. Я выпью только чаю! Я сейчас!

Дина. Пожалуйста.

Онучина уходит.

Дина. А вы? Какой вы упрямый человек... Я вас немного боюсь. Можно присесть около вас? Вы такой строгий.

Стамескин. Пожалуйста.

Дина. Я так много хотела сказать вам, попросить у вас совета. Как вам нравится наше землячество? Я только еще раз была на собрании, но была так увлечена... и все боялась сделать какую-нибудь неловкость. Они вас уважают, Стамескин, и даже боятся, вы знаете это?

Стамескин. Меня мало интересует их отношение.

Дина. Говорят, что вы и ваша партия хотите разрушить землячество. Неужели это правда? А скажите, Стамескин, как... но только совершенно искренно: как вы относитесь к Александру Александровичу? Ну вот этот, Тенор?

Стамескин. Он мне не нравится.

Дина *(волнуясь)*. Ах, нет, он удивительный человек! Вы слыхали, что он отказался петь? — и он всегда так. Он ведет жизнь аскета, у него железный характер... Вы смеетесь?

Стамескин *(смеется слегка в нос)*. В огне железо быстро деформируется, Дина: при шестистах градусах железные балки уже сгибаются, и все падает. Он карьерист.

Дина. Ну что вы! Вы его совсем не знаете!

Стамескин. Увидите.

Дина. Это неправда. Вы знаете, Стамескин, он из воспитательного дома, у него нет ни родных, ни друзей, и он сам добыл для себя все. Если бы вы знали его жизнь! Это не жизнь, а целая история лишений, подвижничества, страданий... Правда, он иногда кажется странным... Идут — потом...

Онучина *(подходя)*. Там невозможно сидеть! Этот ваш Онуфрий Николаевич говорит невозможные пошлости,

и вместо того, чтобы попросить его замолчать — они смеются.

Студенты один за другим выходят из столовой.

Тенор *(кричит)*. Дина, спасибо! Насытились.

Лиля. Ах, Диночка, Тенор один всю ветчину съел.

Дина *(бледно улыбаясь)*. Ну и на здоровье.

Лиля. Я никогда не видала, чтобы так ели, он глотает мясо, как людоед.

Костик. Но почему же людоед?

Козлов. Он не для себя ест, а для голоса. Тенору нужно питание.

Петровский. Ей-Богу, братцы! Я раз полез к Тенору под подушку, а у него там колбаса припрятана. Ей-Богу! А мне, подлец, хоть бы кусочек дал.

Тенор. Как он врет! А зачем тебе жизнь, Петруша? Лучше умри от голода, и я спою над тобой ве-ли-ко-лепную вечную память. *(Тихо напевает и смеется.)*

Онуфрий *(тащит бутылку)*. Уединимся у этого келькшоза. У тебя холодный ум, Сережа, и ты это заметь, так принято в обществе: уходя из-за стола, каждый гость тащит с собою бутылку. При английском дворе все так поступают.

Блохин. А я... я не взял.

Онуфрий. Ты меня огорчаешь. Возьми и тащи сюда, да папирос у Козлика захвати,— мои кто-то выкурил.

Костик. А ты хорошо устроился, Онуша.

Онуфрий. Уменье найтись во всяком положении, Костя. Лиля, Лилюша, покровительница всех несчастных, заступница за угнетенных — присядьте ко мне, я открою вам тайну моей жизни.

Лиля. Ну, открывайте, только врите поменьше.

Онуфрий. Две феи караулили мое рожденье: фея порядка и фея строгой трезвости. Но так как я рождался очень долго, то обе не дождались и ушли, а пришла третья фея и принесла бутылку коньяку — это была пьющая фея, понимаете? Ну, вот пришла она...

Продолжает тихо рассказывать, Лиля смеется. Дина и Тенор разговаривают в стороне.

Дина. Ты не должен обращать на это внимания — слышишь? Пусть смеются, пусть шутят... Не смотри на меня так... Пусть шутят, они потом раскаются — и им будет стыдно.

Тенор. Я знаю. Они славные ребята, Дина!

Д и н а. Они еще не знают, о чем ты мечтаешь. Они еще не знают, что голос тебе нужен не для богатства, не для славы, а для того, чтобы им же дать радость. Как они мало знают тебя!

Т е н о р. И пусть. Ты даже побледнела, Дина,— не стоит. Какая ты самолюбивая, ты, пожалуй, еще самолюбивее, чем я. Ха-ха-ха!

Д и н а. Не смейся, я не люблю. И не смей ничего им говорить, слышишь? Ни слова — иначе я рассорюсь с тобою. Не смотри на меня так, мне неловко... Пусть думают, что ты пустой человек... карьерист! Ты и мне не смей петь, пока не научишься — я не хочу слушать любителя.

Т е н о р. Ого! Сильно сказано.

Д и н а. Почему ты сегодня без калош? Тебе неловко, что они смеются — как это глупо! Береги себя, ты... мой любимый. Ну иди, иди... и не смотри, как Цезарь: ты еще не победил.

Тенор медленно отходит.

Д и н а *(зовет)*. Лиля! Пойди сюда! *(Что-то говорит ей.)*

Г р и н е в и ч *(хочет взять у Онуфрия стакан с вином)*. Дай-ка!

О н у ф р и й *(не дает)*. Нет, дядя, шалишь. Тебе вредно.

Г р и н е в и ч. Глупости! *(Хочет взять у Блохина, но тот не дает также.)* Ну и свиньи же вы, братцы. Вы думаете, что если захочу напиться, так без вас не сумею. Посмотрим! *(Идет в столовую.)*

Б л о х и н. Там ничего нет, я последнюю взял.

О н у ф р и й. Когда же он успел,— Лилька с него глаз не сводила. Какой вредный характер! За твое здоровье, Сережа.

Б л о х и н. За твое, Онуша.

Д и н а *(обнимая Лилю)*. Господа, я хотела сказать несколько слов...

Л и л я. Петровский, молчите там!

Д и н а. Ничего, Лиля. Товарищи, сейчас придет один господин, то есть не господин, а студент, я не знаю, как назвать.

П е т р о в с к и й. Начало полно захватывающего интереса — кто же он, Дина, господин или студент?

Л и л я. Петровский, свинство.

Д и н а. Нет, очень серьезно. Стамескин, Онучина, будьте добры, послушайте меня, дело касается нашего землячества. В субботу у нас собрание, и я и вот Александр Александрович, мы хотели предложить нового члена.

К о с т и к. Стародубовец?

Тенор. Нет, какой-то дальний.

Костик. Тогда нельзя, и толковать нечего. Мы не можем не соблюдать устава.

Гриневич *(проходя мимо Онуфрия, тихо)*. Свиньи!

Дина. Нет, послушайте меня. Это очень милый, даже очаровательный человек, но только, кажется, очень несчастный. Дело в том, что ему сорок восемь лет, он уже седой, даже белый, и нынешнею осенью он поступил в университет. Так странно и трогательно видеть его в мундире.

Козлов. Позвольте — это его я встретил, значит, на Никитской. И еще подумал, что это за форма такая, совсем студенческая. Так это он?

Лиля. И я его видела в театре. Такой удивительный, нам с Верочкой он очень понравился.

Стамескин. Кажется, юрист. Я его раза два встречал в университете.

Онуфрий. Бывает на лекциях, не то что ты, Сережа.

Дина. Ну да, этот самый. Давно когда-то, еще студентом, он был сослан в Сибирь, там женился, но жена и ребенок отчего-то у него умерли, и вот... ну, да он сам расскажет, он так трогательно об этом говорит. Очень милый! И я хотела, чтобы вы до собрания сами познакомились с ним, во всяком случае это интересно...

Лиля. Еще бы не интересно! Ведь это совсем как Фауст: был стариком, вдруг сделался молодой, студент, на лекции ходит.

Петровский. Ну, не совсем молодой... Неужели ему сорок семь лет?

Дина. Сорок семь или сорок восемь, наверное не знаю. Он очень сохранился, лицо моложавое, почти без морщин и такое... чистое; и хорошая фигура. *(Улыбаясь.)* Он умеет и одеться.

Тенор. И нарочно покороче стрижет волосы — а я бы на его месте такую белую гриву запустил. Ха-ха!

Лиля. Ну, пустяки, только бы не лысый. Ужасно боюсь лысых...

Козлов. Да о чем вы, господа? Лысый не лысый, тут речь о деле идет, а они... Как твое мнение, Костик — выскажись, как наш председатель, ты и устав блюдешь.

Костик. Нельзя принять. Какая бы там у него душа и шевелюра не была, а раз он не стародубовец — в землячество принять нельзя. Пусть идет в свое.

Дина. У него своего землячества нет: та гимназия, где он когда-то учился, не то совсем закрыта, не то перенесена в другой город.

Онуфрий. Вот Мафусаил!

Стамескин. Я стою за прием. *(К Онучиной.)* Вы также?

Онучина. Я также. Конечно, принять!

Козлов *(вызывающе)*. Это на каком же основании, Стамескин? Вообще я замечаю, что вы и ваши товарищи совсем не намерены считаться с уставом. Вы проваливаете ссуды, требуете, чтобы деньги шли на посторонние землячеству цели...

Онучина. Мы не считаем их посторонними.

Петровский. Господа, господа, здесь не собрание! Успеете в субботу наругаться, ей-Богу!

Козлов *(сердито)*. Молчи, тетя! Я нахожу, что Стамескин своими отступлениями...

Костик. Погоди, Козлов. Стамескин, не хотите ли вы изложить вашу точку зрения? Погоди же, Козлов.

Лиля. Я тоже стою за принятие Старого Студента.

Костик. Да успеете вы, Лиля! Стамескин, за вами слово.

Стамескин встает, закладывает руки за спину и говорит медленно, слегка в нос.

Стамескин. Я нахожу, что вы, господа, ставите себя в очень тесные рамки, в которых скоро задохнетесь от неимения настоящего, живого дела. В то время, когда люди стремятся к слиянию в естественные большие группы, вы устанавливаете какие-то внешние незначительные и даже смешные признаки...

Козлов *(нетерпеливо)*. Что же, по вашему мнению: и студенческий мундир — только внешний признак?

Стамескин. Если только вы в нем не родились... Но и тогда он будет только цветом вашей кожи и, стало быть, остается признаком внешним...

Гриневич. Нет, позвольте! Я хочу сказать! О выборах мы потом поговорим,— вы вот что скажите мне...

Костик. Господа! Так нельзя же!

Онуфрий. Оставь, Костя, теперь его все равно не остановишь. Говори, Гриневич, отводи душу.

Гриневич. Господин Стамескин, скажите, пожалуйста: почему это вы, когда все мы пели, изволили молчать?

Смех.

Б л о х и н. Верно!

Г р и н е в и ч. Нет, вы не смейтесь, это гораздо серьезнее, чем вы думаете. Мне обидно, потому я и говорю! Я человек робкий, но я не могу молчать, когда господин Стамескин из прин-н-ципа не желает петь. Ведь он не только не пел, а он нас осуждал — верно, господин Стамескин, или нет?

С т а м е с к и н *(после некоторого молчания)*. Верно.

О н у ф р и й. Вот он римский-то нос, Сережа! Строгий профиль.

Шум, смех, восклицания:

— Какая ерунда.

— Тогда не только пение, тогда все искусство нужно послать к черту.

— А птицы могут петь?

— Какие птицы?

— Петухи, например.— Господа, нужно серьезно... Стамескин, объяснитесь.— Тише. Тише.

С та́ м е с к и н. Извольте... Я не вижу цели в том, что вы называете вашим пением. Этими ритмичными звуками, то протяжными, то быстрыми, действующими как наркоз, вы только опьяняете себя; и то плачете вы, как пьяные люди, то смеетесь, но ни доверия, ни уважения к себе не внушаете. И для того, кто стремится к настоящей борьбе и знает, куда он идет, для того всякая песня вредна...

Г р и н е в и ч. В бой идут с музыкой!

С т а м е с к и н. Их ведут с музыкой.

Д и н а. А марсельеза? Не забудьте, Стамескин, что иногда поет целый народ, целые толпы народные сливаются в одной песне.

С т а м е с к и н. Но побеждают те, кто молчит. Ах, господа, вы видели или вам рассказывали, как целый народ с пением песен шел на своего врага,— и вам было жутко, но больше весело; а когда-нибудь вы увидите, как целый народ молча двинется на приступ, и вам станет уже по-настоящему страшно. Ах, господа: молчание храброго — вот истинный ужас для его врага.

О н у ф р и й *(восторгаясь)*. Вот нос, Сережа!

К о ч е т о в. А как узнать, кто молчит: храбрый или трус? Трусы-то тоже не разговорчивы.

С т а м е с к и н. По действиям.

К о з л о в. Вы уничтожаете поэзию борьбы, Стамескин, вы красоту отнимаете у нее.

С т а м е с к и н *(смеется слегка в нос)*. Нет. Я даю ей новые, простые и строгие одежды. Вместо лохмотьев из музыки и дрянных стихов я облекаю ее в грозные доспехи грозного молчания. Ах, господа: молчание — вот песнь восставшего.

Д и н а. Браво!

Многие присоединяются к ее возгласу.

В е с е л ы е г о л о с а.

— Что, брат Гринюша, поджал хвост?

— Врет не врет, а послушать интересно. Молодец, Стамескин.

— Попробуй, убеди такого,— его и Шаляпин не проберет.

— Безумству храбрых поем мы песню. Вот так песня!

— Нет. Хорошо. Молодец, Стамескин!

Б л о х и н. Ну, а дома... петь можно?

О н у ф р и й. Тебе, Сережа, и дома не советую. Пой, брат, молчанием — у тебя это здорово выходит. Тогда ты — страшен.

Смех. Смеется добродушно и Стамескин.

С т а м е с к и н *(как бы припомнив)*. Я забыл сказать: вот есть еще влюбленные — так те всегда могут петь.

Смех.

К о с т и к. А про земляка-то и забыли. Надо же кончить, господа.

Д и н а. Тише!..

Входит С т а р ы й С т у д е н т.

С т. С т у д е н т *(здороваясь)*. Простите, Дина, несколько запоздал. Не мог отказать себе в удовольствии дослушать до конца «Травиату».

Д и н а. Здравствуйте, Петр Кузьмич. Ну вот, позвольте познакомить — это мои товарищи-стародубовцы. Тут не все: нас в землячестве много, тридцать пять человек. Стамескин... Константин Иванович, наш председатель... Ну, да потом сами разберетесь, а то все равно сразу всех не упомните. Это Онучина. Чаю хотите? Сейчас будет горячий чай.

С т. С т у д е н т. Сердечно благодарю, с удовольствием выпью стакан. Как у вас весело! Я уже из прихожей услышал ваш молодой и веселый смех.

О н у ф р и й. Да, ничего себе. За твое здоровье, Сережа.

Несколько секунд неловкого молчания.

Ст. Студент. Я не помешал вам, господа?

Козлов. Нет, нисколько. Подвинься-ка, Костик, я тут присяду. Ты чем мажешь сапоги: смальцем или дегтем, отчего они у тебя так воняют?

Костик. Касторовым, брат, маслом.

Лиля. Скажите, пожалуйста: это не вы были третьего дня на «Фаусте»?

Ст. Студент. Да, я. Я вас тоже видел: вы были с какой-то черноволосой девушкой, с подругой, вероятно?

Лиля. Да, с Верочкой! *(Оживляясь.)* А скажите, как вы достали билет? Мы с Верочкой целую ночь дежурили — да и то, едва-едва, на самом кончике захватили. Ужасно трудно доставать, когда поет Шаляпин.

Ст. Студент. Я также дежурил целую ночь.

Лиля. И... не простудились?

Ст. Студент *(улыбаясь)*. Почему же я должен был простудиться?

Лиля *(смущаясь)*. Нет, я так... погода была очень плохая...

Дина. Вы так любите театр, Петр Кузьмич?

Ст. Студент. Да, очень люблю. *(Ко всем.)* Я провел двадцать лет в такой глуши, где ничего не знают о театре, и даже заезжие труппы при мне ни разу не бывали. Но по газетам я следил за репертуаром и всегда знал, что ставится в Большом театре... Я очень любил оперу...

Дина. И как же вам показалось?

Ст. Студент *(улыбаясь, тихо)*. Не знаю. В первый раз я очень волновался и плохо видел. Но было очень хорошо.

Лиля. Ах, Боже мой, неужели целых двадцать лет — а мне и всего только девятнадцать.

Козлов. Четырнадцать.

Петровский. Одиннадцать.

Блохин. Д-десять.

Смеются, но тотчас же становится неловко. Старый Студент, все также тихо улыбаясь, обводит всех добрыми, немножко влюбленными глазами.

Лиля. Что — самим неловко стало? Вот видите, они всегда так, они и над вами завтра станут смеяться. Вам сколько лет, сорок восемь?

Ст. Студент. Нет, сорок семь.

Лиля. Ну, вот видите. А они завтра начнут врать, что вам восемьдесят... сто.

Петровский. Сто двадцать.

Блохин. Т-тысячу четыреста.

Опять слегка неловкое молчание.

Дина. Александр Александрович, узнайте, пожалуйста, как там насчет чаю. Сейчас будет горячий чай, Петр Кузьмич.

Ст. Студент. Нет, мне только сорок семь лет, но и это, конечно, очень много. Правда, поседел я очень рано, в нашем роду все очень рано седели, но это все равно: мне сорок семь лет. И на вашем месте, господа, я также, пожалуй, не удержался бы от смеха: ведь, действительно, немного смешно, когда такой... седой человек носит форму студента, платье юности, расцвета жизни и сил. Иногда я себе напоминаю старуху в белом подвенечном платье, с цветами флер-д'оранжа в седых волосах.

Дина. Вы преувеличиваете, Петр Кузьмич, мне кажется, что вы даже немного рисуетесь. У вас совсем молодое лицо.

Ст. Студент *(весело)*. Да я и не чувствую себя старым — нисколько! Я говорю только о внешности, о том, что ежедневно докладывает мне мое маленькое, но жестокое зеркальце.

Костик. Это ничего, скоро привыкнете. Вот нашему Онуфрию — вот этому — на днях пятьдесят стукнет, а видите, цветет, как крапива под забором.

Онуфрий. Жалкая клевета, зловонная, как его сапоги. Истина в том, что нынешнею осенью я поступил на филологический, и мне ровно девятнадцать лет. Через тричетыре года, сколько выдержит мой характер, я поступлю на естественный, и мне будет ровно девятнадцать. Если же принять в расчет, что кроме упомянутых факультетов существуют еще...

Козлов. Этакое кругосветное плавание по факультетам.

Петровский. Обратите внимание, товарищ: перед вами образованнейшая личность.

Костик. Энциклопедия.

Блохин. Скорее — прейскурант.

Онуфрий. Ты-то что, Блоха, становишься на задние ноги? Если сам десять лет не можешь вылезти из теснин одного факультета, так преклонись перед тем, кто неустанно совершенствуется. Свою жизнь, товарищ, я начал гнусно: я был юристом.

Стамескин. Вы надолго были сосланы, Петр Кузьмич?

Ст. Студент. Я был сослан только на десять лет и давно мог бы вернуться, но там я женился, поступил на службу и... Но боюсь, что это не для всех интересно. У вас царит такое ясное веселье, а моя история печальна и в конце концов слишком обыкновенна. Не стоит рассказывать.

Дина. Нет, пожалуйста, расскажите. Господа, вы хотите послушать? Стамескин, Онучина?

Онучина. Да, с удовольствием.

Козлов. Рассказывайте, рассказывайте, все слушают.

Ст. Студент. Хорошо-с, извольте, я расскажу... конечно, стараясь по возможности быть кратким. Вы знаете, как нас, стариков, увлекают воспоминания о пережитом...

Дина. Без рисовки, Петр Кузьмич!

Ст. Студент *(наклоняя голову)*. Слушаю-с... Да, в ссылке я женился, и у меня был ребенок, девочка Надя... Теперь обе умерли, и жена и моя девочка, и с гордостью я могу сказать, что судьба послала мне редкое счастье,— встретить на своем жизненном тернистом пути двух прекраснейших людей, две светлые, очаровательные и невинные души...

Гриневич. «Это было давно, это было давно-давно — в королевстве приморской земли...»

Ст. Студент. Нет, дорогой товарищ, это было недавно и это было среди холода, грязи и темной скуки сибирского городка. И меня всегда поражало, как одна из загадок жизни: откуда эта одинокая человеческая душа, затерянная во мраке,— я говорю о жене моей, Наташе,— откуда могла она добыть так много яркого света, самоотверженной и чистой любви? Я сам был в университете, я знавал много хороших, ученых и честных людей, я очень много читал,— и под воздействием всех этих благотворных факторов сложилась моя жизнь. Но откуда она — удивительная, но прекрасная загадка? Родилась Наташа на постоялом дворе, слышала только брань извозчиков да пьяных купцов, была почти неграмотная — до самой своей смерти она писала с большими грамматическими ошибками и, конечно, ничего не читала... Но, поверьте мне, я не встречал человека, который так благоговейно относился бы к книге, так высоко и свято чтил бы человеческую мысль.

Дина. У вас было много знакомых?

Ст. Студент. Нет, откуда же? Двое-трое ссыльных, для которых Наташа была матерью и сестрою, и только. Но у нас были книги — все деньги мы тратили на книги и жур-

налы, и у меня была очень хорошая библиотека, товарищи,— да, были книги, эти лучшие, неизменно-верные друзья человека. Когда кругом все изнывало от скуки, и ливмя лил дождь, и пурга стучала в оконца, мы с Наташей читали, плакали и смеялись, отдаваясь творческой мечте великого друга... и у нас было светло, как в храме. И вот... пришла смерть. *(Задумывается.)*

Онуфрий *(Блохину тихо)*. Хороший старик, его надо принять. Примем, Сережа?

Кочетов. А где же ваши книги?

Ст. Студент. Мои книги? Я их продал, чтобы достать денег на поездку сюда, в Москву. Продал друзей... не кажется ли вам, что это похоже несколько на измену? *(Улыбаясь.)* Конечно, нет — в душе моей они все сохранны.

Костик. Конечно, не все продали, любимых-то небось привезли?

Ст. Студент. Нет, все. Мне трудно бы было выбирать, и это уже совсем бы походило на измену. Да и не хотел я, идя в новую жизнь, сохранять какую бы то ни было материальную связь с прошедшим. Несколько карточек Наташи и моей девочки, да разве еще вот эта седая голова — это все, что осталось у меня от прожитого.

Козлов. Значит — начинать жизнь с начала?

Ст. Студент *(серьезно)*. Да. С начала.

Костик. А не боязно? Дело-то вы серьезное затеяли.

Ст. Студент. Да, я знаю... Нет, не страшно.

Костик. Ну — в добрый час тогда. Дорога-то дальняя!

Лиля *(растроганно)*. Дай вам Бог! Дай вам Бог!

Онуфрий *(мрачно покачивает головою, тихо)*. А на новорожденного все-таки не особенно похож. Э-эх, лучше бы уж лысый был!

Дина. А скажите... если вам не трудно об этом говорить... от чего умерла ваша жена?

Ст. Студент. Девочка принесла с улицы дифтерит. Обе они умерли почти в один час. Да, умерли... ну, а я продал книги и приехал сюда. По счастью, мне выдали жалованье за то время, как я был болен, и теперь я человек совсем обеспеченный. *(Смеется.)*

Лиля. А вы долго были больны?

Ст. Студент. Около года. Я был в больнице для душевнобольных.

Молчание.

Ст. Студент *(обращаясь к Лиле)*. На «Фаусте», где мы были с вами вместе, я вспоминал Наташу. Я ей расска-

зывал все оперы, какие видел, даже представлял немного, и «Фауста» она знала хорошо... Кажется, это вы, товарищ, привели стихи Эдгара Поэ?

Гриневич. Я.

Ст. Студент. А помните вы конец?.. «И в мерцаньи ночей, я все с ней, я все с ней, с незабвенной — с невестой — с любовью моей»... Да.

Лиля. Вот что, вы приходи́те к нам, мы с Верочкой живем. И я к вам ходить буду, можно?

Ст. Студент. Сердечно буду рад.

Лиля. Я буду называть вас Старым Студентом — хорошо? *(Утирает слезы.)*

Петровский. Размокропогодилась наша Лилюша.

Онуфрий. А тебя не трогают, ты и молчи. Видишь, народ безмолвствует.

Ст. Студент *(поднимая голову)*. Да... И вот, товарищи, я пришел к вам, примите меня. Правда, я немного стар, и среди ваших черных голов моя может казаться странною и наводить на печальные мысли... но я искренно предан науке, горячо люблю молодость и смех и во всем буду хорошим товарищем. Примите меня.

Молчание.

Костик *(мрачно)*. Что же, можно. У нас в уставе есть примечание к параграфу пятнадцатому, так по этому примечанию, в исключительных, конечно, случаях...

Козлов. Вспомнил!

Общий смех.

Ст. Студент *(улыбаясь)*. Чему они?

Дина *(смущенно)*. Да так. Наш Константин Иванович ужасный формалист, и если в правилах чего-нибудь нет, так он тут же сочиняет примечание.

Тенор. Законник!

Во время дальнейшего разговора Стамескин и Онучина прощаются с Диной и уходят.

Костик. Ну ладно, законник. Надо же оформить, с меня же потом спросите. Ну, а кто рекомендует?

Лиля. Я.

Петровский *(тонким голосом)*. Мы с Верочкой.

Костик. Да нельзя же так, Лиля, вы сами сейчас только увидели товарища. Тогда и все мы можем рекомендовать.

Лиля. Ну все и будем рекомендовать — тем лучше.

Тенор. Петр Кузьмич, чай готов. Пойдемте, я проведу вас в столовую.

Дина. Ну, ушли! Что же вы не идете в столовую, Петр Кузьмич? И я с вами пойду, я вас чем-нибудь покормлю. Вы устали, бедный? Мы вас замучили.

Ст. Студент *(идя)*. Я так тронут вашим сердечным товарищеским приемом, Дина. Сегодня я впервые почувствовал себя действительно молодым и сердечно...

Уходят в столовую. Здесь непродолжительное молчание.

Онуфрий. Старенек.

Кочетов. Да, есть тот грех.

Блохин. С-седой.

Козлов. Седой. А бородка-то клинушком, чтобы поменьше казалась. Бодрится.

Онуфрий. Бунтует. *(Вздыхая.)* Э-эх-ма! Вот она жизнь-то, Сережа. Живешь так-то, живешь, ничего и не чувствуешь, а там хвать — снег тебе на голову и выпал. Холодно небось голове-то, вороны каркают... брр! Нет, никуда я не уйду из университета, тут я жил, тут я и умру. Не вылезу я из тужурки, штопором меня не вытащишь, честное слово!

Петровский. Да он ничего, он держится.

Онуфрий. Эх-ма! Принять-то, конечно, принять, а только по совести скажу: старик сомнительный. Влюбится еще — такой он тут размазни наделает, в глубоких калошах не пролезешь.

Лиля. Свинство так говорить! Он жену свою любит.

Онуфрий. Мертвую-то? Кто же мертвых любит искренно — одни гробовщики. А такие, как они, без любви не могут, я их знаю. Эх, Лиля, Лилюша, душа моя милая: перед любовью да перед временем всякий человек подлец.

Козлов *(запевает)*. «Наша жизнь коротка — все уносит с собою, наша юность, друзья, пронесется стрелою».

При первых звуках песни торопливо выходит Старый Студент с бутербродом в руке. Присоединяется к хору; на глазах у него слезы умиления. Не поет один Онуфрий.

Хор. «Проведемте ж, друзья, эту ночь веселее — пусть студентов семья — соберется теснее».

Занавес

ВТОРОЕ ДЕЙСТВИЕ

Зима. Меблированные комнаты Фальцфейна на Тверской. Комната Старого Студента, очень чистенькая, содержимая в большом порядке. Шведская гимнастика, под диваном гири.

Утро; по окнам видно, что на дворе сильный мороз. Светит красноватое зимнее солнце. В комнатке тепло.

За дощатой, не доходящей до потолка перегородкой ворочается проснувшийся Тенор — он тут ночевал; крякает, пробует голос. На небольшом коротком диванчике смятая подушка и студенческое пальто. Только что принесен номерной, сильно кипящий самоварчик со сломанной ручкой крана; на столе свежий хлеб, газета. Старый Студент, умытый, чистый, заваривает ложечкой чай и ставит чайник на конфорку.

Ст. Студент. Ну, вставай, Саша, вставай, довольно ворочаться. Соберись с духом и встань. Я уже и гимнастикой успел позаняться... Вставай, чай готов. Ты какой хлеб любишь, я твоего вкуса еще не знаю? — Я взял французскую булку. Но, может быть, ты любишь сладкий хлеб, так говори, я сейчас пошлю.

Тенор *(сердито)*. Отстань!

Ст. Студент. Ну, ну, не сердись, какой ты сердитый. Вставай, голубчик. Оттого, что ты валяешься, тебе еще хуже. Умойся и иди. Ты и спал-то одетый, чудак.

Тенор. Не хочу умываться.

Ст. Студент *(тихо смеется)*. Ну не надо, не умывайся. Иди так. Я тебе налил, слышишь? Хлеб, брат, какой удивительный, совсем теплый.

Тенор. Ну ладно, иду. Хлеб! Эх! *(Выходит из-за перегородки, не умыт, волосы в беспорядке, вид крайне мрачный.)*

Ст. Студент. Вот твой чай.

Тенор. Ладно, вижу.

Молча пьет чай, глотая хлеб огромными кусками. Старый Студент читает «Русские ведомости». Молчание.

Тенор *(прожевывая)*. Что нового?

Ст. Студент *(предупредительно)*. Да ничего особенного. Хорошая передовая статья, очень смелая — хочешь, прочту, пока ты будешь пить?

Тенор *(жуя)*. Ну ее к черту! Про нас ничего нет?

Ст. Студент. Кажется, ничего. А то я прочел бы, а?

Тенор. Не надо. Который час?

Ст. Студент *(смотрит)*. Без десяти одиннадцать.

Тенор. Ага! Покажи-ка часы. Подарок, что ли? Хороши. Сколько в ломбарде дают?

Ст. Студент. Не знаю, это подарок жены. Ну, как спал, Саша? Постой-ка, я подушку отнесу, чего ей тут валяться.

Тенор. Спал ничего. А ты тут на диванчике? — Короток диванчик-то, велел бы подлинней поставить.

Ст. Студент. Ничего, я привык. У меня часто ночуют. Третьего дня Онуфрий с Блохиным ночевали: слышу, уже ночью стучит кто-то в дверь...

Тенор. Ну их к черту, я бы на твоем месте их выгнал. Расскажи лучше, старик, про вчерашнее собрание.

Ст. Студент. Что же еще рассказывать, я все тебе рассказал.

Тенор. Еще расскажи, ты вчера что-то путал. Так, значит, и решили: всем идти на сходку?

Ст. Студент. Так и решили.

Тенор. Ослы!

Ст. Студент. Нет, Саша, это несправедливо, посвоему они логичны. Но повторяю, что вчера и им говорил: я не могу понять того упорства, с которым они отстаивают самые крайние меры. Факты, мой собственный опыт, да, наконец, вся история подобных волнений учит нас, что мы могли бы избежать этого огромного числа бесплодных жертв, если бы не отказались прислушаться к голосу благоразумия. Вот, например, любопытный факт, которому я сам был очевидцем. В тысяча восемьсот...

Тенор. Ну ладно, ладно. Ты вот что скажи: все решили?

Ст. Студент. Нет. К моему удивлению, Онуфрий Николаевич оказался очень благоразумным человеком и присоединился к моему голосу...

Тенор. Хорошо большинство: ты и Онуша! Ха-ха-ха! А он тоже речь говорил? — Воображаю, какие это были перлы.

Ст. Студент. А зачем же ты не пришел на собрание — вот нас было бы трое.

Тенор. Затем не пришел, что не хотел. А разве про меня говорили?

Ст. Студент. Козлов сказал: струсил наш Тенор,—но на его слова, кажется, никто не обратил внимания. Ах, да, вспомнил: кто-то, чуть ли не Петровский, засмеялся, и Дина сказала, что ты болен, что она у тебя только что была. Потом, когда я провожал Дину домой...

Тенор. Ты ее провожал?

Ст. Студент. Да, так случайно вышло. Я ее спросил, чем ты болен, она сказала, что уже три дня как не видала тебя, что ты и дома не ночуешь. Где ты пропадал? И я очень удивился, Саша: прихожу, а ты здесь.

Тенор. До самого дома провожал?

Ст. Студент. Да, конечно... И я должен тебе, Александр Александрович, сказать по-товарищески, что она была очень расстроена твоим отсутствием. Она первая подала голос за сходку.

Тенор. Первая?

Ст. Студент. Да... Но вот что вчера меня очень удивило и, признаюсь тебе, даже огорчило: я заметил какое-то странное и совсем необычайное к себе отношение со стороны товарищей. Как будто я чужой и даже совсем лишний — представь себе! Вдруг Панщин — такой неприятный и развязный юноша — заговорил зачем-то о моих годах; правда, его остановили, и сам я ответил, что нет двух логик: для старшего и младшего возраста, а есть только одна, общая и обязательная... все же осталась какая-то неловкость, такой неприятный осадок. Меня, признаюсь тебе, речь Паншина прямо-таки возмутила. Куда ты, Саша?

Тенор. Пойду, опять лягу, буду весь день лежать. Я болен. Если кто будет спрашивать, скажи — Тенор болен. У меня голова болит.

Ст. Студент. Хочешь фенацетину? — у меня есть.

Тенор. Нет, не надо. *(Уже из-за перегородки.)* О чем же вы говорили с ней дорогой?

Во все время, как речь идет о Дине, лицо Старого Студента выражает волнение, тем более сильное, что голос свой он вынуждает быть спокойным; и даже смеется.

Ст. Студент. Так, о всяких пустяках... я ей кое-что рассказывал. Между прочим, ей не хотелось идти прямо домой, и мы немного погуляли.

Тенор громко смеется.

Ст. Студент. Чего ты?

Тенор. Петровский рассказывает всем, что ты влюблен в Дину. Верно, старик, сознайся?

Ст. Студент *(встает и снова тихо садится, руки его дрожат)*. Какой вздор! Если это шутка, то очень... некрасивая. Я же прекрасно знаю, что Дина Абрамовна... любит тебя, и это вполне естественно. И если я и думаю о чем-нибудь, так только о том: сумеешь ли ты, Александр Александрович, оценить эту прекрасную и гордую любовь. Дол-

жен откровенно сказать тебе, надеясь, что ты не поймешь меня дурно: такую чистую и обворожительную девушку, как Дина Абрамовна, с такой лучезарной огненной красотой, одаренную таким богатством душевных сил, я встречаю впервые... И я... искренно поздравляю тебя.

Тенор. А скажи, старик: твоя жена была похожа на Дину?

Ст. Студент *(мучаясь, но голосом спокойным)*. Наташа? Нет, она была совсем другая. Это была скромная, пожалуй, даже не особенно красивая девушка, очень робкая на людях,— застенчивая, да. Мимо нее можно было пройти сто раз, не заметив ее, но если кто узнавал ее ближе...

Тенор. Помнится, ты вначале что-то другое говорил — что она была красива...

Ст. Студент. Разве? Это так тебе показалось. Я не мог говорить другого. Как же я мог говорить другое, когда я так хорошо ее помню. Конечно, помню! И глаза, и ее улыбку, и тихий голос, все помню. Правда, вся та моя жизнь как-то посерела, почему-то лучше всего я вижу наши серые бесконечные заборы, серые дома,— но ее!

Тенор. Ха-ха-ха! А я подумал, что ты уже забыл. Ты, ей-Богу, что-то другое рассказывал. Финтишь ты, старик!

Ст. Студент. Да нет же, как тебе не стыдно! Забыть — это значило бы изменить Наташе, как же это возможно! Что же тогда значит этот год, который я провел в сумасшедшем доме,— или это была симуляция? *(Смеется.)* Чудак ты, Тенор, вот что я тебе скажу! Чудак!

Не стучась, входит заиндевевший с мороза Онуфрий. На нем драповое потертое пальто и башлык; руки держит в карманах. Подходит прямо к столу и молча смотрит, не поворачивая закутанной головы. Очень мрачен.

Ст. Студент. А, Онуша! Ты?

Онуфрий. Я. Дома? *(Идет в переднюю, чтобы раздеться, и заглядывает за перегородку.)* А, это ты, Тенор? И лохмат же ты, братец.

Ст. Студент. Дома, дома, Онуша, чай пьем. Раздевайся скорей, чайку выпьешь. Замерз? Сегодня, кажется, морозно?

Онуфрий. Замерз... А у тебя, Тенор, пальто-то с барашком... хорошо вы, тенора, живете. *(Входит.)* Где тут печка? А, черт, забыл: центральное отопление. Электричество, центральное отопление, тенора с барашком, только не хватает веревки, чтобы повеситься. Чаю давай, старик!

Ст. Студент. Готово, налил. Сахару сам положи, я не клал — вон, в мешочке. Да ты что так мрачен, Онуша?

Онуфрий. Ничего. Водки пошли взять, полбутылки. Деньги есть? Тогда вели еще полбутылки взять, на всякий случай. Два дня маковой росинки во рту не было.

Ст. Студент. Сейчас, Онуша, я сам с удовольствием выпью с тобою рюмочку.

Онуфрий *(сердито)*. Зачем врешь, старик? Ведь совсем не можешь пить, а тоже, притворяешься! Тебя никто пить не заставляет — ты и молчи.

Ст. Студент *(смущенно)*. Да нет, я иногда с удовольствием.

Онуфрий. Ну ладно — иногда! Я и один выпью, не беспокойся, мне посторонней помощи не надо. Постой... Вели еще две головки луку взять да папирос «Бальные», десять штук шесть копеек.

Ст. Студент. Хорошо.

Выходит. Онуфрий лениво пьет чай, морщится, потом иронически смотрит на перегородку.

Онуфрий. Тенор?

Тенор. Ну что?

Онуфрий. Тенор!

Тенор. Да что тебе надо?

Онуфрий. Ну и попадет же тебе, Тенор.

Тенор. От кого это?

Онуфрий. От кого следует, от того и попадет. Ты зачем вчера на собрание не пришел? Уклоняешься? На постельке отлежаться хочешь, мамон свой бережешь? Ну погоди, она тебе покажет!

Тенор. Ха-ха-ха! Не испугался!

Онуфрий. Она тебе покажет! Она тебе пропишет! Ты у нее запоешь, откуда голос возьмется!

Тенор *(сухо)*. Ты говоришь глупости. Ты шут гороховый!

Онуфрий. Она тебя приободрит! Она тебе кудри-то расчешет, волос к волосу положит! Полежал на теплой постельке и достаточно, иди-ка на мороз, братец. Она тебя, подлеца, в чувство-то приведет...

Тенор *(раздраженно)*. Прошу оставить меня в покое!

Онуфрий. Я-то оставлю, а вот погоди, придет она — и такое тебе святое беспокойство устроит, что лезь ты, Тенор, заранее под кровать. А я на кровати полежу: у меня нервы расстроены!

Ст. Студент *(входя)*. Развеселился, Онуша? А сейчас и водка будет.

Онуфрий *(мрачно)*. Отошло немного... Это что у тебя за обновка? Гимнастика?

Ст. Студент. Да, вчера купил. Я люблю по утрам гимнастику, освежает как-то. Советую и тебе, Онуфрий.

Онуфрий. Я и так свеж. Молодеешь все, старик?

Ст. Студент *(краснея)*. Молодею.

Онуфрий. Так... Шиллера-то, значит, по шапке, а вместо того — шведская гимнастика и массаж лица? Так! Из университета, значит, в гимназию поступишь, а из гимназии прямая дорога в детский сад... до чего ж ты думаешь дойти? Мой трезвый ум не в силах этого постичь.

Ст. Студент *(скрывая смущение, развязно)*. А вот выпьешь сейчас и поймешь. Эх, Онуша — жизнь для жизни нам дана!

Онуфрий. Скажи, пожалуйста, какая свежая новость. Это ты где же, в нынешних «Ведомостях» прочел?

Тенор *(выходя из-за перегородки)*. Ха-ха-ха! Онуша трезв и мрачен, привязывается ко всем. Налей-ка чаю, старик!

Ст. Студент *(торопливо)*. Ну, пустяки... Водка сейчас будет. Послушай, Онуфрий Николаевич, я хотел тебя спросить... Вчера я ушел раньше: о чем они еще говорили? Обо мне говорили? Я боюсь, что вчера я многих восстановил против себя, кажется, я был немного резок, особенно в ответе этому Паншину...

Онуфрий. Нет, не говорили. Чего им говорить?

Ст. Студент. Но ведь я же один выступил против... ведь ты не говорил, ты только голосовал со мной, чему я очень рад, Онуфрий Николаевич.

Онуфрий. Ну и выступил,— дальше?

Ст. Студент. Я и говорю: они должны быть... ну, возмущены, что ли?

Онуфрий. Нет.

Тенор. Старик все беспокоится, утешь его, Онуша.

Онуфрий. Нет. О тебе не говорили. А вот обо мне действительно говорили, хотя я тут же присутствовал... Смеялись, что я с тобою голосовал.

Ст. Студент. Смеялись? Разве это так смешно?

Онуфрий. Должно быть, что смешно — смеялись весело. А кто говорит, что и грустно, хотя плакать и не плакали. Да не желаю я об этом говорить! И без тебя тошно, а ты, как балерина, перед носом прыгаешь. Садись и пей чай, я тебе налью. Сам налью, только сядь ты, пожалуйста! Ты мне горизонты закрываешь, а мой географический ум

не может без горизонтов, как твой исторический — без фактов! Ну — пей!

С т. С т у д е н т *(садясь, тревожно)*. Ты меня беспокоишь, Онуфрий Николаевич.

О н у ф р и й. Нет, это ты меня беспокоишь! И зачем я к тебе пришел? Да будет проклят тот день, неделя, месяц, год, когда... А, Капитон, наконец-то пожаловали!

Коридорный К а п и т о н, лохматый и мрачный человек, вносит водку и закуску и ставит на стол.

К а п и т о н *(кладет мелочь на стол)*. Сдачи.

О н у ф р и й. Холодно, Капитон?

К а п и т о н. На этом, как его... градуснике, что около генерал-губернатора, двадцать три показано. Не то двадцать шесть, не разберешь. К ночи еще холоднее будет, мороз лютый.

О н у ф р и й. Мрачный оптимист. Не верит в человека и раза три в году ловит чертей. Эй, мистик, почем дюжину чертей продаешь? Или у тебя оптовая торговля?

К а п и т о н *(оборачиваясь, обиженно)*. Сами как станете ловить, тогда узнаете. *(Уходит.)*

Т е н о р. Не миновать тебе белой горячки, Онуша.

О н у ф р и й. Белая горячка требует, братец, фанатизма, а я человек холодный. За твое здоровье, старик!.. И не смотри ты на меня глазами загнанной газели, не терзай ты моего сердца! Я сейчас выть начну!

С т. С т у д е н т. Ты меня тревожишь, Онуфрий. Кроме шуток: они что-нибудь плохое говорили обо мне? Для меня это очень важно, Онуфрий, пойми меня. Ты же человек умный.

О н у ф р и й. Нет, не говорили.

С т. С т у д е н т. Ничего?

О н у ф р и й. Ничего.

С т. С т у д е н т *(улыбаясь)*. Как будто меня и не было?

О н у ф р и й *(пьет)*. Как будто тебя и не было... Да о чем ты беспокоишься, дядя? Ей-Богу, не стоит, серьезно тебе говорю. Наши все тебя любят и даже уважают, а если иногда кто посмеется, так без этого нельзя, прокиснуть можно, сам понимаешь.

С т. С т у д е н т. Паншин говорил глупости!

О н у ф р и й. Да его никто и не слушал. Эх, дядя, я бы на твоем месте и в ус не дул, раскрыл бы себе книжку да и читал — гляди все, какой я есть и какое во мне неудержимое влечение к идеалу! *(Мрачно.)* Эх, Блоха мне изменила, вот что гнусно! Ведь она тоже на задние ноги становится,

на сходку идти хочет. *(Пьет.)* Души у нее нету, у Блохи! Я ему говорю: мне наплевать, что у тебя римский нос, у меня у самого греческий нос, пойдем к Немцу. А он говорит: иди один, потому что ты... с... стареть начинаешь,— я к Онучиной иду, почву подготовлять будем. Слыхал? И это Блоха, ничтожнейший из зверей, микроорганизм, почти бактерия. А что же остальные? Эх! *(Пьет.)*

Тенор. Сердиты?

Онуфрий. Сердиты.

Тенор. И на меня? Ведь я же не голосовал?

Онуфрий. Знают они, как ты свой голос бережешь! Лучше и на глаза им не показывайся, наикротчайшего Кости, и того тщательно избегай — он тебя в один раз уставом пристукнет! А там и еще кое-кто есть... похуже.

Тенор встает и беспокойно шагает.

Тенор *(останавливаясь)*. А на сходку пойдешь?

Онуфрий *(мрачно)*. Пойду — как же не идти!

Ст. Студент. Странный ты человек! Так зачем же ты голосовал против сходки?

Онуфрий. По убеждению. Ибо убежден, что несвоевременно. Хоть на кол меня посади, от убеждений не отступлюсь. *(Наливает.)*

Ст. Студент. Так зачем же ты идешь?

Онуфрий *(пьет)*. По принципу. Раз товарищи идут, так как же я могу не идти? Да после этого у меня не греческий нос, а просто безносие какое-то, шарообразная плоскость, ничем не прикрытая канализация! Что ты, дядя, опомнись!

Тенор мрачно уходит за перегородку.

Ст. Студент *(вставая)*. Но ведь это же вопиющая нелепость! Не понимаю!

Онуфрий. И понимать тут нечего... Дело ясное.

Ст. Студент. Или я действительно что-нибудь просмотрел, не заметил, не оценил как следует — даже не в фактах, не в выводах, а вот в этой вашей психологии, которой я не понимаю.

Онуфрий. Вот именно: просмотрел.

Ст. Студент. Да что? Объясни, пожалуйста. Ведь я же старался стать именно на вашу точку зрения, я отрешился от своих привычек, я изменил свой характер, даже манеру говорить... и кланяться! Ведь если бы... Наташа увидела меня, она бы не узнала... так я слился с вами, настолько одною жизнью живу. И все-таки... *(Смеется.)*

Какие пустяки! Я разволновался и говорю Бог знает что, ты не слушай. Выпей-ка лучше рюмочку да налей и мне, что-то захотелось.

Онуфрий. Если серьезно, то изволь, налью. Не расплескай,— руки-то у тебя дрожат.

Ст. Студент *(ставит рюмку назад, говорит серьезно, наклонившись к Онуфрию)*. Так как же, идти мне или нет? Будь друг, Онуфрий Николаевич, посоветуй мне, я серьезно прошу тебя об этом.

Онуфрий *(смотрит на него после некоторого молчания)*. Чудак!

Входит Лиля. Одета очень бедно, в легонькой старой шубенке, у которой очень низкая талия — по-видимому, шубка взята у женщины высокого роста. Окоченела так, что не может ни снять рваных перчаток, ни раздеться.

Онуфрий *(мрачно)*. Лилька пришла.

Ст. Студент. Что же вы стоите, Лиля! Раздевайтесь, я так рад, что вы зашли. Что? Я не слышу!

Лиля. Я не могу. Я замерзла.

Ст. Студент. Ах, Господи, да как же это можно! Такой мороз, а вы... Ах, вы, бедная моя! Ну, давайте, давайте, помогу. Пальцы-то, пальцы-то, ах, Господи! Где тут у вас пуговицы?

Лиля. Английская булавка, пуговицы нету. С утра бегаю.

Онуфрий. Ну и я: давай вместе распеленывать. Ах, Лиля, будь я вашей кормилицей, я бы вас в таких пеленках на мороз не отпустил... Пальцы-то не отморожены? Три ей пальцы, старик. И куда вас черти носят? Почву подготовлять? Так без вас подготовят. Раз нечего надеть, так сидели бы дома... Ну вот, теперь слезы!

Ст. Студент. Что с вами, Лилечка, ну что вы? Случилось что-нибудь?

Лиля *(плача)*. Пальцы на ногах очень больно... Нет, нет, калош не снимайте, мне сейчас опять идти.

Онуфрий. Как же! Так я вас и пустил!

Лиля. Калоши Верочкины.

Онуфрий. Не пропадут Верочкины калоши, тут народ честный. Ну, вот и готово. Печки нет, не ищите, тут центральное отопление, чтоб черт его побрал!

Лиля. Я на трубе руки погрею. У нас хозяйка совсем не топит.

Онуфрий. Ну, это уже другая система... старая.

Ст. Студент. Сейчас новый самовар будет. *(Идет.)* Капитон, Капитоша!

Онуфрий. Отогрелись?

Лиля. Да, теперь ничего... Ах, как хорошо у нас дела идут, я так рада, так рада! Вначале даже трудно было, знаете, рассчитывать на такое согласие. Из всех землячеств только два оказались против сходки... Впрочем, вы едва ли можете сочувствовать: вы также против сходки?

Онуфрий *(мрачно)*. Против.

Лиля *(сухо)*. Очень жаль.

Онуфрий *(так же)*. Что же поделаешь?

Лиля. Я от вас этого не ожидала.

Молчание.

Лиля. А Стамескин здесь еще не был?

Онуфрий. Стамескин? А он еще зачем? Нет, пока Бог миловал. *(К входящему Старому Студенту.)* Слыхал, старик, Стамескин сюда должен прийти.

Ст. Студент *(польщенный)*. Стамескин? Я очень рад. Но вчера ничего не говорили...

Лиля. Ах, вы не знаете: я же должна вас предупредить! Дело в том, что Стамескин — с одной стороны, и наши: Козлов и Кочетов — с другой стороны, должны вместе выработать резолюцию. Дело в том, что сегодня у нас опять собрание, и я почти всех уже известила...

Ст. Студент. Позвольте, Лиля, я не совсем понимаю. Значит, Козлов и Кочетов также придут?

Лиля. Ну да, конечно, как вы не понимаете! Так как они будут ругаться, то они решили у вас, потому что у вас нейтральная почва.

Ст. Студент. Ах, вот что!

Онуфрий *(смеется)*. Какой тебе почет, старик! Ты теперь у нас вроде как бы нейтральное государство Швейцария. На тебе и съезды, и конференции устраиваются, и... эмигранты у тебя ночуют, а ты себе знать ничего не знаешь.

Лиля *(не понимая)*. Какие эмигранты?.. Онуфрий Николаевич, что это такое? Водка?

Онуфрий. Водка.

Лиля. В такой день? Вы плохой товарищ, Онуфрий Николаевич.

Онуфрий *(отшучиваясь)*. Стоило вас после этого спасать!

Лиля. И шутки ваши мне совсем не нравятся. Уж этого от вас я совсем, совсем не ожидала. *(Энергично.)* Свинство, Онуфрий Николаевич.

Онуфрий *(мрачно)*. А ну вас всех! Эй, Тенор, кровать у тебя двухспальная? Я с тобой лечь хочу.

Лиля. Тенор? Да разве он здесь? А у меня сейчас только Дина про него спрашивала... Ах, Господи, который час? Мне еще в десяти местах быть надо, не успею я! Ох, не успею я! Где моя шубка, куда вы ее дели?

Онуфрий. Опять, значит, на мороз?

Лиля *(одеваясь, то в той, то в этой комнате)*. Я не хочу с вами разговаривать! Разбросали-то как, не соберешь ничего. Господа! Собрание у Дины в половине восьмого, не опоздайте.

Ст. Студент *(понижая голос)*. Ну что Дина? Как?

Лиля *(не понимая)*. Прекрасный товарищ! От нее, с ее богатством, красотою, никто этого даже не ожидал, все очень довольны...

Ст. Студент. Да, да, товарищ хороший! Вообще она удивительный человек.

Лиля. Ну, удивительный не удивительный, а... Не лезут! У, проклятые! А, вот и Стамескин. Слушайте, Козлова и Кочетова еще нет, не приходили.

Стамескин. Я подожду. Здравствуйте, Петр Кузьмич.

Ст. Студент. Очень рад вас видеть, товарищ, раздевайтесь. Сегодня очень холодно.

Входит Стамескин, сухо здоровается с Онуфрием и в дальнейшем делает вид, что не замечает ни его, ни водки. Лиля, одетая, входит за ним.

Лиля. Вот что, Стамескин... Какие рваные перчатки! Неужели это мои? Мои!.. Мне нужно сказать вам несколько слов. Вот в чем дело... *(Что-то шепотом рассказывает ему.)*

Онуфрий *(Старому Студенту тихо)*. Пришел твой римский нос. Ну и строг, ну и строг! Ты заметил, как он на меня поглядел: как удав на маленькую птичку. Нет, легче бы мне с тигром в одной клетке, нежели...

Ст. Студент. Оставь, Онуфрий! Я его уважаю.

Онуфрий. А он тебя?.. Ну и беспокойно же у тебя, старик, и черт меня сюда принес!

Лиля *(громко)*. Так не забудьте же... До свидания, Петр Кузьмич. С вами, Онуфрий Николаевич, я и прощаться не хочу... свинство, свинство!

Уходит. Студенты одни. Неловкое молчание.

Ст. Студент. Не хотите ли чаю, Стамескин?

Стамескин. Нет.

О н у ф р и й *(демонстративно наливает рюмку и пьет).* Как скоро водка согрелась. Терпеть не могу теплой водки! *(Молчание. Вновь наливает, говорит неуверенно.)* А ты что же, старик? Так и стоит твоя налитая.

С т. С т у д е н т *(не зная, как поступить).* Не знаю... Нет, спасибо, Онуша, я по утрам как-то не могу.

О н у ф р и й. Света боишься? Темноты ждешь? А мы вот света не боимся.

С т. С т у д е н т *(торопливо).* Я сейчас вернусь, Стамескин; я хочу приготовить вам свободный номер для беседы; Лиля мне уже говорила, в чем дело... Тут не совсем удобно... по соседству есть свободный номер.

С т а м е с к и н. Хорошо.

О н у ф р и й *(умоляя).* Отчего, старик, можно и тут! Я выйду.

С т. С т у д е н т *(не понимая, указывает глазами на перегородку).* Нет, Онуфрий, тут неудобно. Я сейчас... Одну минуту, господа.

Выходит. За перегородкой притаился и не дышит Т е н о р. Стамескин делает вид, что не замечает Онуфрия — Онуфрий делает вид, что не замечает Стамескина. Оба неподвижно смотрят в стену — впрочем, мучится один только Онуфрий. Длительная пауза.

С т. С т у д е н т *(входя).* Ну вот и устроил! Прекрасный номер — там никто вам не помешает, беседуйте сколько хотите... Кстати, уважаемый товарищ, по поводу вчерашнего: я еще не имел удовольствия выслушать ваше мнение относительно сказанного мною. По решению землячества я могу *(улыбаясь)* судить, что моя речь успеха, так сказать, не имела, но мне хотелось бы выслушать вас, я так привык уважать ваше мнение.

С т а м е с к и н. Вы говорили недурно, вероятно, прежде вы много ораторствовали.

С т. С т у д е н т *(польщенный).* Представьте, никогда — это, можно сказать, первое мое выступление... Ну, а по существу, по существу, Стамескин?

С т а м е с к и н. И по существу недурно. По-видимому, вы довольно много читали, кое-что знаете, есть у вас и свой достаточно обширный опыт... некоторые из приведенных фактов были положительно любопытны...

С т. С т у д е н т *(радостно).* Да, да! Конечно, факты! Простите, что перебиваю!

С т а м е с к и н. Но только все это лишнее. Это была лекция, а не речь, вам бы ее откуда-нибудь с кафедры произнести, и у нее был бы успех, вам бы и молодежь хлопала.

Ст. Студент *(огорченно)*. Но позвольте, Стамескин! Я не понимаю вашего деления на лекцию и речь. Что, собственно...

Стамескин. В то время, когда люди действуют, вы рассуждаете о действиях, какие бывают действия, плохие и хорошие,— это нам не нужно.

Онуфрий иронически смотрит на Старого Студента.

Ст. Студент *(в отчаянии)*. Но что же нужно? — Я не понимаю.

Стамескин. Мне некогда сейчас объяснять, да это и все равно, сейчас это лишнее.

Ст. Студент. Да как же все равно! А факты, Стамескин? А логика? Ведь есть же логика, Стамескин, и я даже не могу себе представить такого случая... Ты что, Онуфрий, с ума сошел?

Онуфрий, глядевший на перегородку, вдруг хохочет и говорит, глядя на стол.

Онуфрий. Она, брат, тебе покажет! Она тебе пропишет! Она тебя петь заставит!

Ст. Студент *(сердито)*. Да ты с ума сошел? Про кого ты говоришь?

Онуфрий *(мрачно)*. Про логику, про кого же?

Ст. Студент *(волнуясь)*. Это нехорошо, Онуфрий Николаевич! Я говорю о совершенно серьезных вещах, а ты позволяешь себе такое... странное отношение.

Молчание. Онуфрий сердито пыхтит папиросой. Входят Козлов и Кочетов.

Козлов. А вы уже здесь, Стамескин? Сейчас разденусь...

Кочетов. Запоздали, нужно было с К. И. повидаться. Вы слыхали, Лохаридзе арестован? Здравствуйте, Петр Кузьмич.

Стамескин. Да, я знаю.

Ст. Студент *(уныло)*. Раздевайтесь.

Козлов *(входит)*. Ну, вот и я! Здорово, ребятки! А ты уже за водкой? Какая же ты свинья, Онуфрий!

Онуфрий. Тебя не спросился!

Козлов. Как же тебе не стыдно, а? С тобой и разговаривать после этого не стоит... свинья!

Онуфрий. И не разговаривай!

Козлов. Свинья!

Онуфрий. Да что ты привязался, в самом деле! Мне твоей указки не надо.

Кочетов *(качая головой)*. Да, нехорошо, Онуфрий Николаевич. Фу-ты, как холодно, рук не согреешь. Ну, так как же, Петр Кузьмич, побеспокоим вас?

Ст. Студент. Пожалуйста, прошу вас следовать за мной. У вас будет свободный номер, вам никто не помешает, я все устроил. Пожалуйста! А у меня там... лежит один больной... Нет, нет, из моих знакомых...

Уходят. Из-за перегородки тихонько выбирается Тенор и становится в мефистофельскую позу над мрачным Онуфрием.

Тенор. Ха-ха-ха! Как он тебя, Онуша! Говорит, что ты, Онуша, свинья! Ха-ха-ха!

Онуфрий сперва сердито, потом иронически смотрит на Тенора.

Тенор. Выпей еще рюмочку, Онуша! Ха-ха-ха!

Онуфрий *(серьезно)*. Знаешь что, Тенор?

Тенор. Что?

Онуфрий. Надевай-ка, брат, пальто с барашком — и удирай отсюда, пока путь свободен.

Тенор *(беспокойно)*. Ты думаешь?

Онуфрий. Предчувствую. В твоем идиотском смехе я слышу дыхание рока. Спасайся, Тенор!

Тенор. Пожалуй, я уйду. Это будет лучше.

Ст. Студент *(входя, говорит, волнуясь)*. Там в коридоре — идет какая-то дама... кажется, Дина Штерн. Кажется, она! *(Суетливо прибирает комнату.)* Ах, Боже мой... это все твои окурки.

Онуфрий хохочет. Тенор быстро прячется за перегородку, закрывая за собою дверь. Слегка постучав, входит Дина.

Дина. Можно?

Ст. Студент *(сияя)*. Да, конечно! Простите, у нас такой беспорядок...

Дина. У вас много народу — в передней столько шинелей.

Ст. Студент. Да, Стамескин, Козлов и другие... Этакое совещание... на нейтральной почве! *(Радостно смеется.)*

Дина *(разочарованно)*. Ах, вот что! Так вот вы как живете, Петр Кузьмич, совещания у вас... Что это, водка?

Онуфрий. Водка.

Ст. Студент *(руки его дрожат, растерян)*. Как я счастлив, Дина! Наконец-то вы посетили мою одинокую,

убогую келью. Сердечно благодарю вас, Дина, вы и представить не можете, какую высокую радость вы мне доставили. Да благословит вас Бог!

Дина *(смущенно и ласково)*. Ну что вы, дорогой мой, я сама так рада... Я уже давно собиралась навестить вас, но так занята... а тут еще это.

Ст. Студент *(умоляя)*. Разденьтесь!.. Онуфрий, позвони, чтобы скорей чаю... Ужасно холодно.

Дина *(незаметно морщась)*. Право, я не знаю... Я спешу...

Ст. Студент. Разденьтесь! Позвольте вашу муфточку... И сахару вели дать, сахару нет.

Дина. Ну хорошо. Но только чаю я не хочу, я на минуточку. *(Раздеваясь.)* Ну, как вы хозяйничаете, Петр Кузьмич, расскажите! У вас очень хороший номер.

Ст. Студент *(весело)*. Управляюсь! Я всегда сам хозяйничал, Дина, я не хотел, чтобы тяжесть хозяйства ложилась на одну жену,— это несправедливо. Я и на базар с корзиночкой бегал, конечно, только по праздникам, так как в будни...

Дина. Неужели? Какой вы милый, вас нельзя не любить. А это ваша спальня? Да вы совсем как настоящий студент... Вы дома всегда в тужурке ходите? К вам тужурка идет.

Ст. Студент *(тихо)*. Я — студент... Дина. Пусти на диван, Онуша.

Дина. Да и здесь хорошо, не беспокойтесь.

Ст. Студент. Нет, нет, садитесь на диван. Впрочем... там одна пружина... Сиди, Онуша, голубчик! Вот кресло.

Онуфрий. Что же, звонить или нет?

Дина. Нет, не надо, я чаю не хочу. Так вот как у вас... и не скучно вам всегда одному?

Ст. Студент. Почему вы думаете, что я один? Я всегда с товарищами. Вот Онуфрий Николаевич, милейший человек. Блохин... Козлов часто заходит. Мы такие ночи проводим, Дина! Пьем!..

Дина *(с ужасом)*. Неужели вы пьете, Петр Кузьмич?

Ст. Студент. Нет, Дина, то есть да. Рюмку, так, иногда две хватишь... хочется разгула, Дина. Наша жизнь коротка!

Онуфрий. Разгула! Ну и фарисей же ты, старик!

Ст. Студент *(смеется и хлопает Онуфрия по плечу)*. Не ворчи, товарищ. Водка-то вся, тащи другую бутылку.

Д и н а *(изумленно)*. Да что с вами, Петр Кузьмич? Вот не ожидала! Неужели вы будете пить? Тогда я сейчас же уйду. Ну да — две рюмки!

Ст. Студент *(падая духом)*. Нет, это я так, это я для Онуфрия Николаевича. Посидите, Дина.

Онуфрий. Ну и фарисей же ты, старик! *(Молчание.)*

Ст. Студент. Ну, как вы спали вчера, Дина? Я вас замучил своими рассказами... и все такое грустное. Вы должны останавливать меня, когда я загрущу,— хорошо, Дина?

Д и н а *(с легким кокетством)*. Нет, ни за что! Мне так нравятся ваши рассказы и ваша грусть... Вы себя мало цените, Петр Кузьмич! Вы много читаете,— но почему же я не вижу книг?

Ст. Студент. Представьте! Совсем забросил книги, да и некогда как-то.

Онуфрий. Он шведской гимнастикой занимается.

Ст. Студент. Не ворчи, Онуша! И вы подумайте, Дина, я веду дневник!

Онуфрий. Мемуары.

Ст. Студент. Нет — самый настоящий дневник. Мемуары, Онуша, это история, а дневник — это лирика, тайны души, вздохи сердца, которых никто не смеет подслушать. Да ты прозаик, ты не поймешь.

Дина. У вас электричество? А о чем же вы пишете?.. Да, кстати: к вам не заходил сегодня Александр Александрович? К нему есть поручение от одного знакомого, что-то насчет музыки.

Ст. Студент *(опоминаясь)*. Александр Александрович?

Дина. Ну да. Что вы так смотрите? Послушайте, Петр Кузьмич, что вы так смотрите? Что-нибудь случилось?.. Да говорите же.

Онуфрий. Да ничего не случилось — почему, как только человек глаза вытаращил, так сейчас же должно что-нибудь случиться? *(Крайне одобрительно.)* Таращи, старик, таращи!

Ст. Студент. Да ничего не случилось. Александр Александрович... он не совсем здоров.

Дина. Что с ним?

Ст. Студент. Ничего, ничего особенного. Ах, Дина, да успокойтесь же! У него слегка болит голова. Он здесь, у меня.

Онуфрий. Лежит. Тенор,— лежишь, брат?

Молчание.

Ст. Студент. У него голова болит.

Бледный, но уже причесанный, выходит Тенор и молча здоровается.

Дина. Вы нездоровы, Александр Александрович?

Молчание.

Тенор. Нет, здоров. Они шутят.

Ст. Студент. Александр Александрович действительно не совсем здоров.

Дина. Я вижу... Как вы хорошо устроились, Петр Кузьмич,— вы не скучаете по вашей Сибири? Это ваши лекции? Какой прилежный — учитесь. Онуфрий Николаевич, он читает лекции. Однако мне надо идти, я совсем и забыла, что меня ждет извозчик. Где же пальто? Это все вы, Петр Кузьмич, с вашим гостеприимством.

Онуфрий. Посидите, Дина, куда торопиться. Сегодня ужасный холод. А извозчика вашего мы отпустим. Верно, дядя?

Дина. Вы думаете, что на извозчике холоднее?

Онуфрий. Неизмеримо! *(Берет Старого Студента под руку.)* Да пойдем, дядя, что стал!

Ст. Студент *(упираясь)*. Вы меня извините, Дина, если я на несколько минут...

Дина. Пожалуйста.

Онуфрий. Ну, идем, идем. Стамескина, кстати, проведаем, да я еще тебе свеженький анекдот из римской жизни расскажу. Когда Тарквиний Гордый... *(Уходя, тихо.)* Нельзя так, дядя, а то и лохмач этот будет над тобой смеяться. Дневник, лирика, эка куда ты забрался!..

Дина и Тенор *(одни)*.

Молчание.

Дина. Я все понимаю, Александр Александрович.

Тенор. Тем лучше.

Дина. Вы давно здесь прячетесь?

Тенор. Со вчерашнего, кажется, вечера... Да — со вчерашнего вечера.

Дина. И все лежите... там?

Тенор. Да, преимущественно. Немного и хожу.

Дина. И когда я пришла, вы продолжали лежать? И когда услыхали мой голос, продолжали оставаться там? Вы подумали, Александр Александрович, в какое положение перед этими господами вы ставите меня? Вы подумали,

в какое положение вы ставили меня вчера, когда на собрании говорили: Тенор трус, Тенор прячется, а я должна была лгать, что вы больны?

Т е н о р. Самолюбие, Дина?

Д и н а. Да, самолюбие, которого, к сожалению, у вас нет. Прятаться от меня, здесь за перегородкой, на чужой постели, сдерживать дыхание, чтобы не услыхали. *(Смеется.)* Вчера при голосовании смеялись, что Тенор и здесь бережет свой голос,— теперь я понимаю, что это значит. *(Презрительно.)* Подайте мне пальто.

Т е н о р. Я избегал объяснения, Дина,— знал, что сейчас оно ни к чему не приведет, но если вы хотите... Я на сходку не пойду.

Д и н а. А? Мне казалось, что вы пойдете.

Т е н о р. Нет, не пойду. Вы знаете, Дина, что ради таланта я превратил свою жизнь в тюрьму?

Д и н а. Знаю.

Т е н о р. Что я создал для себя режим хуже арестантского режима? Ха-ха-ха, что такое арестант? Я был несвободнее арестанта. И я не хочу для какой-то вздорной истории, в которой не вижу смысла,— я не хочу жертвовать своим талантом.

Д и н а. А мне всегда казалось, что талант — это свобода. И мне... непонятен талант, для развития которого необходимы арестантские роты.

Т е н о р. Я всегда знал, что ты не любишь меня. Только самолюбие и ни на йоту ни жалости, ни понимания. Ты не любишь меня.

Д и н а. Кажется... вы правы.

Т е н о р. Ты сама должна была сказать мне: «Не ходи. Им нечего терять, а твоя жизнь, твой талант нужен для них же».

Д и н а. Да? Так вот как. А мне казалось, что есть минуты, когда все мы должны идти рядом, даже и таланты. Как вы думаете, Александр Александрович?

Т е н о р. Это говорит Стамескин! Ты повторяешь слова Стамескина, Дина! Ха-ха-ха!

Д и н а *(вставая)*. Нет, это говорю я! А Стамескин говорит другое — что вы трус и карьерист.

Молчание.

Т е н о р. И ты не ударила его, Дина?

Д и н а. Нет, за что ж? Я с ним согласна.

Молчание.

Т е н о р. Прикажете подать пальто?

Д и н а. Пожалуйста. Нет, не трудитесь, ботики я сама надену.

В двери стучат.

Д и н а. Войдите! А, Петр Кузьмич! А я ухожу.

Ст. С т у д е н т. Не смею удерживать.

Д и н а. Как у вас мило! Благодарю вас, Онуфрий Николаевич, да, это моя муфта. Очень мило! Это ваша спальня?

Т е н о р. Да. Тут спит наш старик. *(Неуверенно хохочет.)* Ха-ха-ха!

О н у ф р и й. Эка развеселился наш Тенор.

Д и н а *(весело)*. Я ему сказала, что он трус и карьерист, и он не может прийти в себя от радости. Прощайте!

Быстро выходит, Старый Студент поспешно накидывает пальто и устремляется за нею.

Ст. С т у д е н т. Дина! Подождите, я вас провожу. Ах, Господи — Дина!..

Уходит. Молчание.

О н у ф р и й. Какой проворный стал. Вот что значит шведская гимнастика. Без калош побежал — какое неблагоразумие!.. Ну как, Тенор, плохо?

Тенор с силою ударяет кулаком по столу, так что падают рюмки.

Т е н о р. Я ей покажу! *(Всхлипнув.)* Я ей покажу!

О н у ф р и й. Покажи, покажи.

Т е н о р. Я всем вам покажу, что значит Тенор. Вы еще придете просить прощения, что обидели человека. За что? За что она меня оскорбила? Я думал, что она мне просто скажет, и я ей объясню, и она поймет... ну, не согласится,— а это что же? Ведь она же меня знает.

О н у ф р и й. Кроваткой повредил, кроваткой. Поза некрасивая.

Т е н о р *(садится и опускает голову)*. Неужели я такая свинья! Онуша, ты человек справедливый, скажи ты мне!.. Онуша, неужели я такая свинья?

О н у ф р и й *(гладя его по спине)*. Свинья, братец, свинья! Свинья, да еще такая большая...

З а н а в е с

ТРЕТЬЕ ДЕЙСТВИЕ

Предвечерний тихий час в номерах Фальцфейна.

Горит электричество.

В комнате Старого Студента. Тишина; все чисто, на всем печать строгого, немного щепетильного, стариковского порядка. Сам Старый Студент сидит за столом и, откинув назад седую голову, что-то пишет в клеенчатой тетрадке; одет в новенькую серую тужурку и сатиновую, светлую в крапинках рубашку. Видно, что он нездоров: горло завязано чистым платком; в утомленных, не то больных, не то мечтательных глазах чувствуется легкий жарок. Постарел.

Кончает писать и аккуратно складывает тетрадку. Зажигает свечу и рассматривает перед зеркальцем горло — качает головой и, сняв платок, мажет шею йодом. Смотрит на часы. Ходит по комнате. Скучает.

Стук в дверь.

Ст. Студент. Войдите. Ах, да там заперто! Сейчас, сейчас отопру.

Входит коридорный Капитон с покупками.

Ст. Студент. Это вы, Капитон! Ну что, все взяли?

Капитон. Все. Малины сушеной взял на двугривенный, меньше в аптеке не дают.

Ст. Студент *(разбирая покупки и пузырьки)*. Так. Малина... нашатырь... салициловый натр... Я же просил вас, Капитон, взять хину в облатках — ну как я ее глотать буду? Всегда вы перепутаете, Капитон, за чем вас ни пошлешь.

Капитон. Не знаю, они по вашей записке отпускали. Народу в аптеке много, насилу добился. Да — сыру-то этого, как его?

Ст. Студент. Тильзитского,— ну?

Капитон. Нету. Я голландского взял, полголовки. Самовар сейчас подавать или погодить?

Ст. Студент. Нет, погодите. Я на ночь малину буду пить; вы и чайничек другой захватите, для малины. Постойте, куда торопитесь... Ну что: много народу на Тверской?

Капитон. Много, нельзя сосчитать. Какие вверх идут, какие вниз, у кого какое расположение. Девки ржут, как кобылы. Одна и говорит мне: «Кавалер, вы что несете?» А я ей говорю: «Кавалеров тут нету, кавалеры по той стороне ходят»,— она и отошла.

Ст. Студент. А светло?

Капитон. У нас на Тверской всегда светло. Это, может, в каких других местах и темно, а у нас всегда светло. Мы не любим, чтобы у нас темно было, у других-то днем темнее, как у нас ночью. У нас всегда светло.

Ст. Студент. Да, да, очень светло. А морозит?

Капитон. Зачем морозить? Снег так и валит, погода знаменитая. На этом... как его? градуснике, что у генерал-губернатора, пять градусов показано, не то три. Не разберешь.

Ст. Студент. Я больше мороз люблю. Какие у нас в Сибири морозы, Капитон! — что это, разве мороз! Окно так, бывало, закрасит, что всю зиму как в подвале сидишь, улицы не видно.

Капитон. А дрова дешевы? Ежели дрова дешевы...

Ст. Студент. Дрова дешевы... Вот пошел бы и я погулять, Капитон, да нельзя, горло болит. Посижу денька два, а там все-таки пойду. В университет на лекции, нельзя долго пропускать, потом не нагонишь.

Капитон. Беспорядки делать будете?

Ст. Студент. Нет. Беспорядков не будет. Отменили.

Капитон. Кто же отменил? Начальство?

Ст. Студент. Нет, сами студенты. Ну, и начальство тоже — вообще сговорились, чтобы уладить дело миром. Так-то оно лучше, Капитон, а? А то разошлют, университет закроют.

Капитон. А говорили, что беспорядки!

Ст. Студент. Нет, не будет беспорядков. Да и зачем? Люди мы разумные и всегда можем сговориться и без драки. Это только дикари... Постойте, Капитон, вы куда?

Капитон. Да надо идти, чего же тут стоять? У меня дело.

Ст. Студент. Погодите... Что еще я хотел спросить у вас? Вот что: вы давно знаете Онуфрия Николаевича?

Капитон. Онуфрия Николаевича? Это который про чертей?

Ст. Студент. Про каких чертей?

Капитон. Это он неправду говорит, что я чертей ловлю. Я чертей не ловлю. Почем, спрашивает, чертей продаешь? — да разве такая торговля бывает? Всю Москву обойди, такой торговли нету. Я раз одного только видел, да и то маленького, не более как спичечная коробка.

Ст. Студент. А все-таки видели?

Капитон *(уклончиво)*. Да так, нестоющее рассказывать... Чертей продаешь! Ну и студент, ну и развязный же

студент! Он у нас тоже в номерах стоял, да недолго настоял — поперли. Раков он жалеет!

Ст. Студент. Раков? Почему же именно раков?

Капитон. А у них, говорит, глаза сзаду посажены, и ежели его не пожалеть, так сам он себя пожалеть не может. Купил это раз корзину раков, ну совсем живых, как есть черных, ну совсем живых! И для хорошего, думаете, дела купил? Как же, от него жди. Вдруг жалко стало, в слезу вдарило: пускай, говорит, ползают не иначе, как мы. А у рака какое понятие? Его пустили, он и пополз скрозь все номера. Околоточного звали, скандал был... *(Совсем мрачно.)* Только протокола написать не могли: не знали, как начать. Каторги ему мало, вот он какой!

Ст. Студент *(смеясь)*. Ну, а как по-вашему, Капитон: я веселый студент или нет?

Капитон. Вы-то? Да ничего себе, веселый. Только какой же вы студент? Разве такие студенты бывают? Таких студентов не бывает, хоть всю Москву обойди.

Ст. Студент *(возмущенно)*. Ну что вы, Капитон! Как это глупо! Учиться никогда не поздно, было бы только настоящее желание. Хм! Вы, действительно, какой-то мрачный пессимист, Капитон.

Капитон. Это как хотите. Но только таких студентов не бывает.

Ст. Студент *(расстроенно)*. Ну хорошо, хорошо! У меня 37 и 4, и у меня нет охоты выслушивать ваши глупости... Постойте: как будете ложиться, спину придите мне растереть.

Капитон. Не умею я этого.

Ст. Студент. Глупости! Я вам покажу.

Капитон. Не умею я этого.

Угрюмо выходит. Старый Студент сердито раскладывает лекарства, вздыхает и, надев пенсне, раскрывает последнюю, только что написанную страницу дневника. Читает вслух, первые слова неуверенным голосом:

«8 декабря *(откашливается)*, 8 декабря, вечер. Что такое молодость, как не весенняя песнь души, раскрывающей объятия солнцу... *(что-то поправляет и читает громко и вдохновенно)* раскрывающей свои объятия солнцу? Стихийно волнуется моя душа, и на крыльях фантазии уношусь я в заоблачные страны Любви и Красоты, казалось, уже навсегда закрытые для моих взоров. Как пылкий юноша, с пренебрежением отталкивающий книги, так как в себе самом он носит все богатство и красоту жизни, я уже не читаю, а пишу, творю, мечтаю»... Э, нехорошо, стихами

выходит. *(Поправляет.)* «Я уже не читаю, а пишу, творю и отдаюсь мечтам. И как это ни удивительно (как бы засмеялись мои сибирские сослуживцы!), у меня открылось что-то вроде литературного таланта; правда, пока я ограничиваюсь только этим дневником, но впереди задумано кое-что и посерьезнее». Да, посерьезнее! *(Снимает пенсне и смотрит мечтательно. И читает дальше другим, сдержанным голосом, намекающим на тайну:)* «С того памятного дня (мешала выходить простуда, я выбежал тогда без калош) я больше не видел Де Ша. Пробовал писать ей и, признаться, уже написал письмо, но не решаюсь отослать: какая-то наивная, почти мальчишеская робость связывает волю. Любит ли она Те? Тогда, на мой по этому поводу вопрос, она решительно ответила — нет. Но не был ли такой ответ результатом некоторого раздражения, вызванного действительно недостойным поведением Те? Во всяком случае, с ее умом она не может не видеть»... *(Снимает пенсне.)* Боже мой, как страшно! Подумать только, и то страшно!

Ежится, как от холода, улыбается, качает головой. Прячет дневник и внимательно разглядывает себя в зеркало, охорашивается. С шумом распахивается дверь,— Старый Студент едва успевает положить зеркальце,— и входят студенты: Онуфрий, Блохин и Козлов. Запушены снегом, пальто нараспашку, фуражки сдвинулись на затылок — от них веет свежестью морозного вечера, простором, беспричинным весельем. Сразу становится шумно и тесно. Не раздеваясь, с нарочитой серьезностью, студенты выстраиваются в ряд.

Онуфрий. Cobra capella, стой! Сережа, не урони престижа cobr'ы capell'ы. *(Запевает.)* Аристотель мудрый...

Поют все трое очень серьезно:

«...древний философ, древний философ. Продал всю одежду за сивухи штоф, за сивухи штоф. Ехал принц Оранский через речку По, через речку По. Бабе астраханской он сказал бон-мо [1], он сказал бон-мо!»

Старый Студент очень доволен, радостно суетится, но в то же время боязливо держится подальше от дышащих холодом студентов.

Ст. Студент. Здорово, ребята! Так, так! Но почему же бон-мо? Да раздевайтесь же, раздевайтесь.

Онуфрий. Чай есть? Лимон есть?

Ст. Студент. Сейчас все будет. Раздевайтесь же, смотрите, сколько снегу нанесли!

Козлов. Ты что это, старик, нездоров? Горло болит?

---

[1] Остроту (от *фр.* bon mot).

Ст. Студент. Так, маленькая инфлуэнца. 37 и четыре.

Козлов. Дай-ка пульс!

Глубокомысленно считает, шевеля губами. Старый Студент отодвигается от него насколько возможно, стараясь не дышать холодом. Онуфрий и Блохин раздеваются в прихожей и чему-то смеются.

Козлов. Пульс хороший! Сердце у тебя в порядке?

Ст. Студент. Сердце у меня здоровое.

Козлов. Тогда возьми ты салицилу гран пятьдесят...

Ст. Студент. Да разденься же ты, Бога ради! От тебя от одного простудиться можно. Доктор!

Онуфрий и Блохин вдвоем торжественно несут большого вареного рака и кладут на стол.

Онуфрий. Рак! От чистого сердца.

Блохин. Рак! От полноты души.

Ст. Студент *(смеется)*. Ах вы, безобразники! Рака принесли! Ну, а я за пивом пошлю. Выпьем пивка, Онуша? Ах, как же я вам рад, товарищи! Сижу один и только что подумал: хоть бы на огонек кто зашел, а тут и вы!

Онуфрий. Нет, пива не надо. Мы у Немца пили. Мы хотим чаю с лимоном, ибо, пия пиво, боимся впасть в монотонность. Пусть будет лимонно, но не монотонно — хороши стихи, Козлик?

Козлов. Вылитый Бальмонт. Чаю, чаю давай. За лимончиком пошли.

Онуфрий. Ну пусть бальмонтонно, но только не монотонно. Так действительно лучше.

Блохин. А я бы... пива выпил.

Онуфрий. Ну, ну! Чего захотел, пива! От пива, Сережа, водянка бывает. Чаю давай, старик!

Ст. Студент. Сейчас, сейчас! Рака принесли... ах, комики!

Идет в переднюю, открывает дверь и зовет: «Капитон, Капитон!» Заказывает чай. Студенты осматриваются.

Козлов. Хорошо у старика, тихо. Как умирать начну, сюда перееду, лучше места не найдешь.

Блохин. Ж...жарко и д...душно.

Хочет открыть форточку. Козлов останавливает его.

Козлов. Оставь, Сережа, старик болен!

Онуфрий исследует стол, разглядывает лекарства.

Онуфрий. Сережа, понюхай-ка, что это?

Блохин *(нюхает и кашляет)*. Нашатырь. И такую гадость держать в доме?

Ст. Студент *(возвращаясь)*. Нет, как хорошо, что вы зашли! Сижу один и скучаю, и вдруг... Нет, хорошо. Ну, как у вас? Я рад, что так хорошо все кончилось. И ты, Онуша, с Блохиным, я вижу, помирились?

Блохин. Да мы и не ссорились! Это он врал, что у меня души нет...

Ст. Студент. Давно видал наших? Лилю?.. Дину Штерн? Я с тех пор не видал.

Козлов. Давно. Чей это у тебя портрет, старик?

Ст. Студент. Наташи, покойной жены. Ты посмотри поближе.

Онуфрий. Нет, братцы, хорошо у старика, завидно. Порядок, чистота, лекции вон лежат,— и как только люди не живут! Философский ум не может охватить, и нет конца недоумению. Посмотри, Козлик, вон писатели развешаны, кнопочками приколоты, душа радуется.

Ст. Студент. Это мои любимые писатели. У меня и там в Сибири весь кабинет был увешан портретами в рамах, у меня хорошо там было. Помню я...

Онуфрий. А сам-то старичок! Да ты погляди, Козлик!

Козлов. Гляжу, отстань. Ты что ешь, Сережа?

Блохин. Сыр.

Козлов. Дай-ка.

Моментально съедают сыр.

Онуфрий. Сидит он себе, как святой, как Мадонна на картине Рафаэля, как Дух Божий над хаосом. Горлышко у него болит, платочком завязано — гляди, кончики-то! Туфельки на нем, сапожки-то снял! Эх, и отчего у меня горло никогда не болит? Дай я тебя в маковку поцелую, старичок.

Ст. Студент *(слегка обиженно)*. Ну, оставь, Онуша, всякий может простудиться. И ведь я же просил тебя, Онуша, и вас, братцы: оставьте это слово «старик». Дело не в том, сколько человеку лет...

Блохин. Да ведь мы так! Смотри, старик, Козлик весь твой сыр поел!..

Капитон вносит самовар. Старый Студент продолжает говорить, заваривая чай и хозяйничая.

Ст. Студент. Спасибо, Капитон. Колбаски съешь, Сережа, в немецкой колбасной беру, хорошая колбаса. Дело не в том, братцы, сколько...

К а п и т о н. Для рака-то тарелку подать?

О н у ф р и й. Нет, блюдо. И когда же ты повесишься, Капитон?

К а п и т о н *(мрачно)*. Веревка такая еще не ссучена, на которой вешаться.

Ст. С т у д е н т. Нет, Капитон, не надо, мы его есть не будем. Так вот, товарищи, дело не в годах, а в отношении человека к жизни... Не слабо налил, Онуша?.. Что такое молодость — говорю я. Молодость — понятие чисто условное, допускающее много толкований...

О н у ф р и й. Отрежь-ка колбаски, Козлик!

Ст. С т у д е н т. И если для одного достаточно взглянуть на паспорт, чтобы определить, молод человек или нет, то для другого этой мерки недостаточно. Надо убедиться, насколько данный субъект...

О н у ф р и й *(ест колбасу)*. Философский ум ищет точку зрения и, найдя ее, успокаивается. Отрежь-ка, Козлик, еще.

Ст. С т у д е н т. Да. Вот я, например, со Стамескиным беседовал, ну и что же? — не понимает. А вас, вы думаете, он понимает? Тоже нет, хотя и молод он достаточно. А я, «старик», понимаю! Вот вы рака принесли...

О н у ф р и й. Брось, а то отнесем назад.

Ст. С т у д е н т. Нет, выслушай, Онуша! Вот вы рака принесли — и с виду это настолько... ну, нелепо, что ли, что тот же ваш Стамескин назвал бы вас идиотами. А я понимаю, что это молодость, проявление молодых, играющих сил, и мне приятно.

К о з л о в. Да ну, оставь! Ну принесли и принесли, и не о чем тут говорить! Говори о другом!

Ст. С т у д е н т *(смеется)*. Нет, нет, братцы! Я этого рака высушу и поставлю себе на стол, пусть напоминает одну из лучших минут моей жизни. *(Смеется.)* Нет, серьезно, высушу и поставлю.

О н у ф р и й. Ну и ладно — эка привязался старик. Буде, чаю больше не хочу, от чаю бессонница бывает.

К о з л о в. Что же это, вроде памятника будет? Куда же ты его поставишь?

Ст. С т у д е н т. На стол, Козлик, на стол!

Б л о х и н. Кто цветы с...сушит, а кто рака.

О н у ф р и й. Дай-ка я тут на диванчике примощусь. *(Зевает.)* Какая-то томность овладела моими членами... не то от колбасы, не то от твоего красноречия. Разболтался ты что-то, старик.

К о з л о в. Это у него от температуры. Гляди, как он осунулся: тебе лечиться надо, дядя!

Ст. Студент *(недовольно)*. Какие пустяки: вчера мне действительно было нехорошо, а сегодня и лицо у меня свежее... Выпью малинки,— вот и все... Так вот, говорю я: душа у меня... молодая, сердце у меня нетронутое — вот в чем главное. Помню, в нашем городке сослуживцы всегда смеялись надо мною. Вам сколько лет? — спрашивают. Столько-то. А мы думали, что вам всего двадцать. Ведь вы, Петр Кузьмич, моложе всякого молодого человека! *(Смеется.)*

Козлов *(зевает)*. Да-а. Смеялись, говоришь?

Ст. Студент. Смеялись! Да как и не смеяться? Они люди солидные, положительные, а я? Мечтатель, фантазер какой-то. Помню, раз приходит ко мне сослуживец, Тарасов, мрачен, жалко смотреть: губернатор к нам едет. А я в это время стихи наизусть учу!

Онуфрий. Стихи? Зачем же ты их учишь?

Ст. Студент *(смеется)*. Тарасов рассердился: вас, говорит, Петр Кузьмич, надо в сумасшедший дом отправить: тут губернатор едет, а вы стихи декламируете. А то, помню я еще, это было... постой, где это было? Да, вспомнил: ездил это я по одному делу...

Онуфрий. И сколько ты помнишь, старик. Ты свою жизнь наизусть знаешь или только на рассказ? Ты валяй как покороче. А что, Сережа, если бы столько помнил, мог бы ты это выдержать при твоем телосложении?

Блохин *(зевает)*. Пусть старик... стихи продекламирует.

Ст. Студент. А что же? Если серьезно хотите послушать, я могу. Кого хотите? Хотите из Шелли?

Козлов *(тоскливо)*. Нет, не надо стихов! Ну их к черту!

Ст. Студент. Неужели ты не любишь стихов? *(Слегка насмешливо.)* А еще молодой человек! Эх, Козлик, Козлик,— ведь молодость сама стихи. Когда душа приподнята...

Козлов *(мрачно)*. Не люблю стихов.

Онуфрий. И я не люблю. Ребята?..

Блохин. Ну?

Онуфрий. Айда к Костику-председателю!

Козлов и Блохин. Верно, пойдем, братцы!

Онуфрий. Я тебя, Сережа, в снегу утоплю. Ты мне запомнишь, как снег за шиворот класть.

Ст. Студент *(тревожно и жалобно)*. Да куда же вы?! Ну что вы вздумали! Погодите! Я так рад, что вы при-

шли... ну что вы будете делать у Костика? Может быть, его и дома-то нет! Посидите!

Козлов. Нет, надо идти! Костик ждет.

Блохин. Н...надо идти. Идем, ребята.

Ст. Студент. Посидите! Я сейчас за пивом пошлю. Споем. Споем, Сережа? *(Морщась от боли в горле, напевает.)* Аристотель мудрый... Сейчас пиво будет.

Онуфрий *(удерживая)*. Да не хлопочи, старик. Не надо пива.

Козлик. Не надо, не надо. Мы пойдем. Да, ей-Богу же, не надо.

Ст. Студент. Нет, нет, не пущу. *(Идет.)* Я сейчас. Капитон, Капитоша!

Студенты одни, сидят как разваренные, лениво оглядываются.

Козлов. Послал-таки. Экая лотоха!

Онуфрий. Что же — оставаться или нет? *(Зевает.)* Я уж и не знаю. Неловко как-то, старик еще обидится! И как это удивительно в природе происходит: поболел один день, а состарился лет на двадцать. Эх, жизнь!

Козлов. Так со стариками всегда бывает. Держится, держится, а потом... трах и... *(Зевает.)* Что же, идем или остаемся?

Блохин. Что же, можно и остаться. Только... лучше пойдем, а? Ж...жарко тут!

Козлов. Нет, пойдем, пойдем! Жалко старика, а ничего не поделаешь; надоел.

Онуфрий. А пиво?

Козлов. Да ну его к черту! У Костика выпьем, он вчера деньги из дому получил.

Ст. Студент *(входит весело)*. Сейчас и пиво будет. И не думайте уходить — не пущу! Чего на самом деле раскисли! Посидим, поболтаем, я вам кое-что из моих сибирских скитаний расскажу. Вы не смейтесь: я хорошо рассказываю, иногда знакомые нарочно собирались, чтобы послушать моих рассказов, упрашивали. А то и спеть можно, этак, для настроения, а? — споем?.. Эх, жалко, не знаете вы сибирских песен — удивительные есть песни! Сейчас горло у меня болит, а то я бы вам напел — тебе, Сережа, понравится.

Козлов. Напрасно ты, старик. Мы лучше пойдем.

Ст. Студент. И не думай, не пущу! Ах, ребятки: вот у Наташи, у моей покойной жены, какой славный был голос. Не сильный, но такой приятный, задушевный!

И сколько она этих сибирских песен знала! У них на постоялом дворе... Постой: да я показывал тебе Наташину карточку или нет?

Козлов. Да видел, видел!

Ст. Студент. Нет, не эту, у меня другие есть, я тебе еще не показывал. Сейчас достану. *(Роется в столе.)* Правда, Наташу нельзя было назвать красивой, но если вы всмотритесь в ее глаза... Сейчас!.. Надя не была похожа на мать, хотя некоторые и утверждали...

Хлопает дверь. Входят Тенор и Лиля. Тенор сильно выпил, бледен, пальто нараспашку — настроен отчаянно. Лиля все в той же шубенке, взволнована, почти плачет. При виде Тенора студенты оживляются. Онуфрий смеется.

Козлов. Тенор! Это ты что же, брат? Пьян?

Тенор. Ха-ха-ха! Пьян. Смотрите: Тенор пьян! Ха-ха-ха!

Лиля *(взволнованно)*. Он снег глотал! Это такой упрямый, такой упрямый человек — я больше не могу. Берите его!

Онуфрий. Лилечка! Да неужели это он от снегу?

Ст. Студент *(оправляется, говорит очень сухо)*. Александр Александрович, что это с тобой? Что это ты вздумал? — нехорошо, нехорошо, голубчик! Сережа, помоги ему раздеться — я холоду избегаю.

Тенор. Я и сам могу раздеться! Не лезь, Блоха! *(Уходит в переднюю.)*

Лиля. Вот и привела.

Козлов. Тенор пьян — вот так чудеса в решете!

Онуфрий. Да где вы этого мрачного красавца подцепили?

Лиля. Перехожу я Тверской бульвар, а он идет, распахнулся и поет, а я испугалась, что он простудится, хотела его домой, а он меня в портерную повел...

Блохин. К Немцу?

Лиля. Не знаю, там такая гадость, надо мною смеются, девицы эти самые, а он плачет. Он на бульваре снег глотал!

Козлов. Да что с ним такое?

Лиля *(неопределенно)*. Не знаю, так. Неприятность одна. *(Всплескивает руками.)* Ах, Боже мой, вы знаете? Он голос, кажется, потерял: хрипит! Он снег глотал!

Онуфрий. Найдет. Раздевайся, Лилюша, отдохни.

Лиля. Это еще что? Кто вам дал право на «ты» говорить? Я вам не ребенок, Онуфрий Николаевич, и... не пьяница. Свинство!

Онуфрий. Носик у тебя, Лилюша, маленький, а душа как Иван Великий на Пасху. Вот источник того священного права, которое...

Лиля. Свинство!

Тенор. Вот и я. А, господин Козлов, у которого голос, как у козла! Ты не гнушаешься, господин Козлов, присутствием Тенора? Ведь он отказался идти на сходку. Ха-ха-ха! Послушай, как я хриплю.

Старается показать, что он охрип. Козлов усаживает его и наливает чай. Лиля отводит в сторону Старого Студента.

Тенор. Водки!

Ст. Студент. Зачем вы привели его сюда, Лиля? Мне это крайне неприятно.

Лиля. А куда же было его вести? Послушайте, да вы сами больны... Бедненький, что с вами? И лицо у вас... такое нехорошее.

Ст. Студент *(оправляясь)*. Это пустяки! Но меня возмущает эта бесхарактерность...

Лиля. Ах, какая тут бесхарактерность! Если бы вы только знали, какой он несчастный. *(Еще понижая голос.)* Я сейчас за Диною Штерн поеду, тут недалеко.

Ст. Студент *(хватая ее за руку)*. Ни в коем случае: что вы!

Тенор *(кричит)*. Водки!

Козлов. Не форси, Тенор... Выпил и довольно, остальное завтра выпьешь.

Лиля *(удивленно)*. Да что вы?

Ст. Студент. Ни в коем случае! Пьяный мальчишка... он может оскорбить...

Лиля *(сердито)*. Ах, вы ничего не знаете! Я сейчас приеду, тут близко. Подите к нему и водки ему не давайте, слышите? Такой упрямый, такой упрямый... *(Уходит.)*

Ст. Студент. Лиля, постойте!.. Ушла!!

Раздраженно ходит по комнате. В дальнейшем, до прихода Дины, держится воинственно; часто охорашивается.

Блохин. Зачем это ты? Брось. Нету водки, тебе говорят, мы сами ничего не пили. Х...хорош!

Тенор. Ха-ха-ха! Голос пропиваю! Слушай, хриплю. *(Хрипит.)* А какой был голос! Завидно тебе было, Блоха?

Блохин *(заикаясь)*. Если бы у меня был такой голос, я не только что пить, я... я... я...

Тенор. Водки!

Ст. Студент *(строго)*. Водки нет, Александр Александрович. Выпей чаю.

Тенор. Ха-ха-ха! Пей сам, старик! Влюбленный старик пьет чай, ха-ха-ха!

Ст. Студент. Глупо, Александр Александрович! Вы не умеете себя вести!

Онуфрий. Оставь, Тенор!

Тенор. Ты мне надоел, старик. Зачем Лилька привела меня сюда? Я не хочу к старику! Вот тут я лежал. Хриплю. Где Лилька? Лильку я люблю. Тебя, Козлик, не люблю, и тебя, Онуша, не люблю, ты пьяница, а ее люблю.

Онуфрий. А где же и вправду Лилька? Ушла?

Ст. Студент. Да. Дайте ему чего-нибудь... отрезвляющего, это невозможно!

Тенор. Позови Лильку, старик! Что вы так смотрите, вы презираете меня? Напрасно. Тенор под подушку колбасу прячет. Тенор трус, на сходку не пошел, а Тенор взял и пропил голос! Х...хриплю. Дай папиросу, Онуша.

Онуфрий. Последняя. Да ты не куришь — не форси, Тенор.

Тенор. У меня в пальто коробка. Прокуриваю голос! *(Уходит в переднюю.)*

Ст. Студент. Господа, прошу вас, уведите его или — дайте ему чего-нибудь отрезвляющего. Это невозможно! Сейчас сюда приедет... Дина Штерн. Да, Дина Штерн!

Онуфрий. Вот оно что. *(Хохочет.)* Слышишь, Козлик?

Ст. Студент *(оправляясь)*. Тут ничего нет смешного. Он пьян до неприличия, и вы, господа, как его товарищи...

Козлов. Говорил — пойдем, эх! А теперь еще семейная сцена будет. Сережка, бери фуражку!..

Ст. Студент *(хватая за руку)*. Ни в каком случае!

Онуфрий. А вот я ему сейчас капельки три нашатырю дам, как рукой снимет, хоронить можно.

Входит Тенор. В руках изломанная коробка с папиросами. Роняет ее, папиросы рассыпаются.

Тенор. Дюшес, 25 штук. Уронил! *(Подбирает вместе с Блохиным.)*

Онуфрий. Выпей-ка, Тенор! Раскрой ротик.

Тенор. Что это, водка?

Онуфрий. Да ты выпей, там увидишь.

Тенор *(пьет)*. Гадость! Ты зачем мне нашатырю

даешь? Хочешь, чтобы я отрезвился? Как же ты это можешь, если у меня душа пьяна? Фу, гадость. Дай спичку.

Онуфрий. Да!.. Так что ты рассказывал, старик? Про жену, что голос у нее был хороший? Сибирские песни она пела,— это интересно!

Козлов. Я никогда не слыхал сибирских песен, а должны быть хороши.

Тенор. Старик забыл жену.

Блохин. Расскажи, старик!

Онуфрий. Я слыхал, что на каторге хорошие песни поют... Вот твой чай, Тенор. Да я и думаю... Вообще, сколько ты свету перевидал, дядя! Отчего ты нот не привез? Твоя жена ноты записывать умела?

Ст. Студент. Нет. И я просил бы... сейчас... и в таком тоне... про жену не говорить.

Онуфрий. Ну, ну, пустяки! А мне показалось, ты что-то говорил... Ты лимончик, Саша, подави, освежает. Вот лимон.

Тенор. Вижу.

В переднюю кто-то тихо входит.

Ст. Студент *(руки его дрожат)*. Кажется... кажется, пришли. Я сейчас.

Идет в переднюю. Тихие голоса. Входит Дина Штерн, одетая в блузочку, причесана просто, по-домашнему — видимо, она торопилась. Бледная, но держится совершенно спокойно. Здоровается. Тенор трезвеет.

Дина. А, и вы здесь, Александр Александрович! Здравствуйте. Как у вас накурено, господа! Вы бы форточку открыли.

Козлов. Старик нездоров.

Дина *(с участием)*. Что это? Простудились? Вы, вероятно, очень неосторожны, Петр Кузьмич, так нельзя. Да у вас, кажется, жар — дайте-ка руку! Ну, так и есть. Небольшой жарок, но есть! И руки дрожат.

Ст. Студент *(обеими руками пожимает руку Дины Штерн)*. Я не знаю, как благодарить вас, Дина, за вашу доброту. Каждый раз, как вы приходите, вы вносите свет в мою одинокую келью. Но что я говорю, одинокую! У кого есть такие товарищи, как Онуфрий...

Блохин. Блохин...

Козлов. Козлов...

Ст. Студент *(смеется)*. Вот видите, какой веселый народ! С ними нельзя соскучиться и почувство-

вать себя одиноким. Вы знаете: они мне рака принесли и тор-жественно положили на стол.

Д и н а *(она смотрела на Тенора, удивленно)*. Какого рака?

Блохин краснеет, Козлов свирепо смотрит на него и Онуфрия. Тенор мрачно трезвеет, как будто не слушает разговора.

Б л о х и н. Он врет! Никакого рака мы не прин...носили.

С т. С т у д е н т *(весело)*. Ретируешься, Блоха? А это что? Смотрите, Дина, какой огромный рак! Я его хочу высушить...

О н у ф р и й. О Господи, вот влюбился! Я тебе сотню их принесу, только оставь ты этого в покое. Давай назад!

С т. С т у д е н т *(смеется)*. Нет, нет, Онуша, теперь он мой! Я хочу, Дина, высушить его и поставить на стол! Это будет как бы сим... символ... *(Замечает наконец, что Дина все время глядит на Тенора, и затихает.)*

Д и н а. Отчего вы так давно не были у нас, Александр Александрович? Мама спрашивала о вас, она так вас любит.

Т е н о р *(проясняясь)*. Да? *(Мрачно.)* Я боялся не застать... ее дома.

Д и н а. Нет. Она все время была дома. Господа, вы куда же собираетесь?

К о з л о в. К Костику-председателю идем. Он нас ждет.

Д и н а. Посидите. Я очень рада вас видеть... вы же помните, что собрание у меня? Вы придете, Петр Кузьмич?

С т. С т у д е н т. Да, я приду. *(Умоляет.)* Посиди, Онуша!

О н у ф р и й. Нет, дядя, довольно, сыт. Ты того и гляди еще мою Блоху засушишь и на стол поставишь... как символ. Эх ты, сам ты символ!

С т. С т у д е н т. Посиди, Козлик, я прошу тебя.

О н у ф р и й. Прощайте, Дина. Эй, ты, могила Гамлета, прощай! Хрипишь?

Т е н о р. Хриплю.

Д и н а. Уже уходите? Побыли бы еще... До свидания, Козлов. Не забудьте же собрания: Онучина говорила мне, что Стамескин готовит решительное выступление против... некоторых членов землячества... Онуфрий Николаевич, и вы приходите!

Т е н о р *(вставая)*. Погодите меня! И я с вами пойду.

О н у ф р и й. Нам не по дороге, сиди. Это моя фуражка, Блоха.

Д и н а *(тревожно)*. Посидите, Александр Александрович, нас Петр Кузьмич угостит чаем. Вы дадите

нам чаю, Петр Кузьмич? *(Тихо.)* Пожалуйста, удержите его.

Ст. Студент. Хорошо.— Нет, нет, Александр Александрович, я тебя не пущу. Куда еще идти, что за вздор! *(Умоляет тихо.)* Онуфрий, ну, голубчик, посиди с нами! Я не могу! Ты же видишь...

Онуфрий. И видеть не желаю! Прощай! Идем, ребятки.

Старый Студент, продолжая упрашивать, уходит за студентами в переднюю. Одеваются, чей-то сдержанный смех. Выходят и в коридоре громко запевают:

«Цезарь, сын отваги, и Помпей герой... и Помпей герой. Продавали шпа-а-ги...»

В комнате недолгое молчание.

Дина. Поедемте ко мне, Александр Александрович.

Тенор. Нет. Я пьян.

Дина. Поедемте! Я вас прошу!

Тенор. Нет, мне не надо вашего сострадания! Оделяйте им других, кому оно нужно! А я... поеду пить! Ха-ха-ха! Хриплю.— — — Ну, что вы смотрите на меня? Презираете, да? Трус!.. Карьерист! Ха-ха-ха! Поезжайте к вашим землякам, а меня прошу не...

Дина. Саша!

Ст. Студент *(в дверях)*. Дина, на одну минуту... Позвольте мне удалиться, я не совсем здоров.

Дина. Нет, нет. Я вас не пущу! Я его боюсь, разве вы не видите, какой он! Вы можете на него повлиять, он вас так уважает.

Ст. Студент. Я лишний здесь. Но меня удивляет, Дина, как после того, что случилось, вы решаетесь...

Тенор. Водки, старик!

Дина *(в отчаянии)*. Вы слышите? Я умоляю вас остаться. Если вы хоть немного любите меня... потом я вам объясню... Сейчас, Александр Александрович, сейчас!

Ст. Студент. Хорошо-с! — — Водки нет, Александр Александрович, все заперто.

Дина. Зачем вы хотите пить? Голубчик, не надо, я умоляю вас. На вас лица нет, вы, вероятно, всю ночь не спали. И что вы делаете с голосом? Вы хрипите. Я не могу этого слышать! *(Закрывает лицо руками.)*

Ст. Студент. Дина, успокойтесь, это пройдет. Эх, Александр Александрович!!

Тенор. Я глотал снег.

Дина. Неужели это месть? Я не ожидала от вас, Алек-

сандр Александрович, что вы так будете мстить мне. За что?

Т е н о р *(хватаясь за голову)*. А какой был голос! Иногда я пел один, и не было никого, и только за дверью кто-то плакал. Я пел один. Ах, Дина, если бы ты слышала меня, ты поняла бы, что значит человеческий голос, когда он молится и плачет! Зачем я не пел при тебе! Ах, Дина, струн души моей ты еще не коснулась... и как дикарь бьешь кулаками по крышке рояля. Как дикарь!

Д и н а. Это неправда, голубчик. Вы же сами знаете, что это неправда. Это пустяки!

С т. С т у д е н т. Ты? Как вы позволяете это, Дина! Это грубо, Александр Александрович!!

Т е н о р. Послушай меня, старик! У меня есть учитель, грубый, злой, деспот, и он бранит меня как извозчик: дурак... дубина... идиот! И я должен молчать.

Д и н а *(краснея)*. Вы не должны позволять!

Т е н о р. И я должен молчать, потому что никто не знает музыку, как он. И он запрещает мне петь — иначе выгоню! А недавно сам велел: спой. И я пел, а он... он, старик, заплакал. И говорит: дурак, ты меня растрогал! Понимаешь? Ха-ха-ха! Хриплю.

Д и н а *(почти плача)*. Вы не смеете! Голос вернется, это только маленькая простуда... Ах, да скажите же ему, Петр Кузьмич!

С т. С т у д е н т. Я решительно не могу! Избавьте же меня, Дина, от этого... от этого унизительного положения!

Т е н о р. Нет, не вернется!

Д и н а. Ты не смеешь так думать!

С т. С т у д е н т. Дина... Как вы говорите. Я... ухожу!

Д и н а. Нет, нет! Он сейчас успокоится, помогите мне.

Т е н о р. Нет, не вернется голос, я не хочу. Зачем? Мне не нужно голоса. Я буду хрипеть, но хрипеть честно, как Козлов. Ха-ха-ха! Я хочу, чтобы ты меня уважала! Голос? Смотри — вот!..

Открывает форточку и старается дышать морозным воздухом. Дина и потом Старый Студент оттаскивают его, он сопротивляется.

Д и н а. Саша, уйди от форточки! Не надо, не надо, ох, Господи! *(Тенор что-то мычит.)* Я тебя люблю! Милый, но пожалей меня.

Т е н о р. Нет. Я свинья, а свинье так и надо. Вот!..

Д и н а. Ах! Да помогите же, Петр Кузьмич! Стоите как чурбан! Возьмите его за руку, я одна не могу.

С т. С т у д е н т. Дина!.. Но у меня также болит горло...

Я нездоров! Александр Александрович. Оставьте! Что же это, Боже мой, Боже мой!

Дина. Да держите же его, Петр Кузьмич! Нельзя же одной рукой, у меня силы нет.

Наконец Тенора оттаскивают от окна.

Дина *(обнимая его.)* Милый, милый! Сейчас же поедем ко мне. Успокойся, голос вернется. Я тебе обещаю это, поверь мне. Милый, милый. Какой же ты глупенький. Петр Кузьмич, дайте ему воды. Саша, ты слышишь? Сейчас мы поедем ко мне, я тебя никуда не пущу.

Ст. Студент *(подавая воду)*. Позвольте же мне наконец... уйти, Дина.

Дина. Да, да, пожалуйста! Пошлите за извозчиком, мы сейчас поедем. Тебе лучше, Саша? Выпей воды.

Ст. Студент. За извозчиком?

Дина. Да. Поскорее!

Ст. Студент. Хорошо. Я сейчас пошлю слугу.

Выходит. Дина целует Тенора; тот кладет ей голову на колени и горько, по-ребячьи плачет.

Тенор. Диночка, Диночка, ты любишь меня?

Дина *(также плача)*. Люблю, милый. Не плачь.

Тенор. Я не хочу быть свиньей. Диночка, все хотят идти, а я один как свинья... со своим голосом. Мне так горько было, Диночка, я не хочу, не хочу быть свиньей.

Дина. Ничего, Саша. Ты все исправишь, голос вернется к тебе, и ты выйдешь к ним, как бог. Они услышат тебя и поймут, как они были несправедливы, и поклонятся тебе — мой светлый гений.

Тенор. Диночка, если будет сходка, я пойду.

Дина. Хорошо, хорошо. Мы вместе пойдем. Ты не будешь пить?

Тенор. Нет. Взгляни на меня, Дина... Нет, боюсь.

Дина. Да смотри же, глупенький.— — — Глаза-то какие красные, ах, глупенький ты мой.

Тенор. И у тебя красные.

Смеются наполовину со слезами и целуются. Входит Старый Студент и останавливается на пороге — его некоторое время не замечают.

Ст. Студент. Извозчик готов.

Дина. Ах, готов? *(Встает.)* Вы слышите, Александр Александрович?

Тенор. Слышу.

Дина. Ну, едемте, едемте же скорее. Да что вы, Алек-

сандр Александрович, как будто встать не можете — живее. Я так вам благодарна, Петр Кузьмич, вы такой наш друг. Вам нездоровится? — Бедный. Вы вот что сделайте: возьмите салицилового натра гран восемь или десять...

Ст. Студент. Хорошо, я возьму.

Дина. Не «хорошо», а... Ну что же вы, Александр Александрович?

Тенор. Ты не сердись на меня, старик, я был пьян и говорил глупости. Ты хороший человек! Прощай. Эк как хрипит! *(Уходит в переднюю.)*

Дина. Нет, Петр Кузьмич, я сама оденусь! Помогите ему.

Ст. Студент. Это мои калоши, Александр Александрович. Вот твои.

Дина. Готовы? Воротник поднимите, вот так. Нечего, нечего упрямиться, делайте, как вам говорят... До свидания, Петр Кузьмич, приходите же ко мне, я вас жду. Я так вам благодарна...

Ст. Студент. Прощайте.

Дина. А руку? — — Вы не хотите поцеловать мне руку? Ну? — — Так приходите же, милый! Вашу руку, Александр Александрович.

Уходят. Старый Студент один... Некоторое время недоуменно рассматривает рака — бросает на пол, топчет яростно. Но становится совестно, и, подобрав растоптанного рака, брезгливо бросает его на поднос. Входит Капитон с бутылками.

Ст. Студент. Вам что нужно? Вы зачем?

Капитон. Пиво принес. Как я был занят, Василий ходил...

Ст. Студент. Какое пиво? — — Вон! Вон! Вон!

Занавес

ЧЕТВЕРТОЕ ДЕЙСТВИЕ

Студенческий вечер в Стародубове, в помещении местного Дворянского Собрания.

Распорядительская комната, она же и «артистическая» — высокая, оштукатуренная, глухая комната с одним только окном, завешанным белыми пыльными драпри. Обычно она служит для свалки всякого хлама, и сейчас один угол сплошь заставлен какими-то скамейками и поломанными стульями, сдвинутыми в кучу. Стоячая вешалка; на ней и на стульях студенческие пальто. Свет вверху — несколько тусклых электрических лампочек; только коридор, куда ведут высокие, все время открытые двери, залит ярким белым светом. Из этого коридора появляются танцующие.

Музыкальное отделение вечера кончилось, и приглашенные артисты поразъехались; теперь в зале танцы. С небольшими перерывами играет бальные танцы музыка; слышны возгласы дирижеров. Чувствуется, как там весело. В распорядительскую забегают студенты — выпить рюмку коньяку, покурить и поболтать; некоторые приходят с гимназистками, за которыми ухаживают. Но сейчас в комнате тихо и малолюдно. За большим столом с вином и закусками сидит присосавшийся к коньяку Онуфрий и тихо беседует с Гриневичем.

В углу, за маленьким крашеным столом, на котором горит свеча, Костик, Блохин и Кочетов считают кассу.

Все студенты в сюртуках, за исключением Онуфрия, который в тужурке, и Блохина — последний в мундире; на распорядителях красные бантики, которыми они немало гордятся.

Играет музыка.

Кочетов *(считает)*. Двести двадцать, двести двадцать один, двести двадцать два, все рублевки. Дай-ка вон те деньги, Костик!

Костик. А за программы получили?

Кочетов. Программы хорошо шли. Вот деньги! Губернатор десять рублей положил.

Онуфрий *(кричит)*. Костя, пойди выпей рюмочку, освежись! Да и вы, мытари!

Костик. Некогда... Дина хорошо шампанским торгует. Удачный вечер! У нас в Стародубове давно такого не было, гляди, как разошлись стародубовцы!

Блохин. Р...рождество!

Кочетов. Дина умеет. С какого-то фрака двадцать пять рублей содрала!.. Тут в этой кучке будет ровно двести пятьдесят рублей, запиши, Костя. Да кто марки покупал? Опять не хватило, каждый раз не хватает!

Блохин *(роется во всех карманах, отовсюду тащит бумажки и мелочь)*. У Гриценко еще сколько, не знаю. Мы по три раза билеты продавали, а то и так пускали. Я одного гимназиста за двугривенный пустил... Постой, вот еще три целковых!

Кочетов. Зайцы были?

Блохин. Двух р-реалистов и одну гимназистку поймал. Говорят, что денег нет, танцевать хочется, я их пропустил.

Кочетов. Сто десять, сто пятнадцать...

Продолжают подсчитывать.

Гриневич. Ну-ка, налей еще рюмочку.

Онуфрий. Да тебе вредно! Скандалить не будешь?

Гриневич. Нет. Я сегодня, Онуша, счастлив.

Онуфрий. Ну выпей, счастливым всегда можно... Так вот, брат, поехал я, значит, к Глуховцеву в деревню... Ты его не знаешь, а ничего, хороший был человек, меня очень любил.— За твое здоровье, Гринюша! — Отчего, думаю, не поехать: отдохну в тишине, среди сельского пейзажа, под сенью кипариса...

Гриневич. Он в Крыму?

Онуфрий. Нет, в Курской губернии, у его жены свое имение. Ты не перебивай, это я про кипарисы для красоты повествования, у меня стиль такой возвышенный. Слушай! Ну и оказалось, что не надо было мне и ездить, только воображение я себе расстроил. Сижу это я утречком на террасе, как плантатор, чаек попиваю, а она, брат, как выскочит, да как начнет...

Гриневич. Кто она?

Онуфрий. Да жена же! Супруга и мать! И давай она, брат, вопить, кто бублики поел, их тут пять было! А пятый-то я съел — понимаешь?.. Так он у меня в животе колесом стал, на нем же я и до Москвы доехал. Вот они какие... а хороший был человек!

Гриневич. Ну не все, есть и там хорошие.

Онуфрий. Нету! Как он снял тужурку, так сейчас же и пропал, из глаз скрылся, как видение — дуреют они там отчего-то. Куда ты? Выпей рюмочку... Я на ихнюю жизнь, Гринюша, смотреть боюсь: у меня ум скептический и не выносит свинства!

Гриневич. Твое здоровье, Онуша... А у нас народ славный, возьми хоть Стамескина того же... Наши его не любят, а если посмотреть...

Онуфрий. И Стамескин золотой человек, хоть и подлец! А Лиля? Да есть ли на свете другая такая душа! Маленькая — а голос влиятельный, как у архиерея: кого похвалит, а кого, брат, и осудит, да! — А Блоха? — Сережа, пойди, выпей рюмочку, замаялся.

Блохин. Некогда, отстань.

Онуфрий. Видишь какой: не идет, казну считает! Нет, никуда я не уйду из университета, жил с товарищами, с ними и умру. Человек я одинокий, нет у меня ни отца, ни матери — и не надо мне их, ну их к черту! А позовут меня документы брать, лягу я в канцелярии животом на пол и умру, а бумаг не коснусь. Умру честной смертью, как храбрый солдат. Ишь как Козлик орет — тоже, дирижер! Вон он какой у меня — а какой красивый-то, а?

Гриневич. Ну, я пойду.

Онуфрий. Ну, пойди, пойди, повеселись. Это что за

гимназисточка была с тобою? Ничего, хорошенькая. Потанцуй с ней, потанцуй, но только помни, Гринюша: любовь вредное чувство. Ну иди, иди!

Гриневич уходит, Онуфрий мечтательно пьет.

Кочетов. Шестьсот пятьдесят. Да в той кучке... да еще за шампанское...

Онуфрий. Эй, Блоха, да иди, выпей! Я умираю в корчах одиночества.

Блохин *(подходит, деловито пьет)*. Не мешай, сейчас сосчитаем.

Онуфрий. Какой скупой рыцарь. Я шучу; считай, считай, Сережа, ты у меня умница, математик, Пифагор.

Влетает в мазурке с гимназисткой Козлов — возбужден, весел, на груди кроме бантика цветы. Делает два-три па и наскоро наливает рюмку коньяку.

Козлов. Блаженствуешь, Онуша?

Онуфрий. Блаженствую, Козлик.

Гимназистка. Отчего вы не танцуете, Онуфрий Николаевич?

Онуфрий. Не умею. И вообще философы не танцуют, им дай Бог и так с мыслями собраться.

Гимназистка. Ну, пойдемте туда, там весело! Александр Модестович, ведите его! Ну, кадриль.

Козлов. Не пойдет.

Онуфрий. Нет! По природе я натура созерцательная, а кадриль требует памяти и напряжения мышц. Мне отсюда, как астроному, все видно, я даже могу предсказывать. Хотите?

Гимназистка. Ну, предскажите, предскажите. Это интересно!

Онуфрий. Хорошо. В воскресенье вы назначите Козлову свидание на Болховской улице. Верно?

Гимназистка. Ну, ну! Идемте, Александр Модестович.

Танцуя, удаляются, в дверях чуть не столкнувшись со Старым Студентом. Он как будто помолодел, не то кажется таким в атмосфере бала. Очень печален. Останавливается у стола, где Онуфрий, молчит.

Онуфрий. А, это ты, дядя! Что ты так мрачен? Приободрись!

Ст. Студент. Отчего не идешь в залу? Там танцуют.

Онуфрий. Я за делом. А ты отчего не идешь?

Ст. Студент. На меня все смотрят, неприятно. Я и то почти все время на хорах сижу.

Онуфрий. Еще бы не смотреть,— этакий рыцарь печального образа! Ты не печалься, это портит цвет лица и насыщает воздух микробами. Воспрянь! Собери все силы твоего ума и пойми, что танцы — тоже факт!

Ст. Студент. От этого я и печален, Онуфрий. Да, факт!

Его оттесняют от Онуфрия с шумом и смехом вошедшие студенты.

Петровский *(громко, с притворным испугом)*. Онуфрий! Иди, тебя зовут!

Онуфрий *(вставая)*. Кто?!

Петровский. Вице-губернаторша!.. Выпить с тобою хочет, по всей зале ищет.

Онуфрий *(садясь)*. Пошел ты к черту! Вице-губернаторша! И как можно счастливому человеку говорить такие вещи. А разве еще не уехали?

Студент. Губернатор давно уехал, его Козлик с Петровским провожали. Говорит, что очень доволен вечером.

Студ.-техник. Благодарил! Дай-ка папироску.

Петровский. Братцы, нельзя так много народу пускать, ей-Богу! Танцевать невозможно, толкутся как мухи на солнце! Ей-Богу!

Студент. А тебе-то что? Ты не танцуешь, ты при властях состоишь.

Петровский. А здорово он за Диной ухаживал, ей-Богу!

Костик *(подходя и расправляя плечи)*. Кто? Эх, опять, черт, со счету сбились. Блоха путает, все новые карманы открывает. Кто ухаживает? Дай-ка рюмочку, Онуша.

Петровский. Губернатор. Цветы ей поднес, ей-Богу! Тенор сияет, как медный таз на солнце.

Онуфрий. Выпей, выпей, Костя, заработал. Ну как: хорошо идет счет? Хорошо... Я так и думал, что хорошо. Блоха ли уж не поддержит, Блоха не выдаст, я ее знаю!

Костик *(пьет)*. Путает твоя Блоха.

Онуфрий. А ты ее не обижай, Костя, грех тебе будет. Это, брат, за паука сорок грехов прощается, а за Блоху...

Костик *(Старому Студенту)*. Эй, дядя, что не весел, головку повесил? Знаешь, сколько у нас чистого будет? Тысячу сто или тысячу двести — вот оно как!

Ст. Студент. Да, много.

Костик. Много! Не то что много, а целый капитал!

Онуфрий. Ты его, Костя, не тревожь, он нездоров. Он фактами болен.

Костик *(отходя)*. Мели, Емеля, твоя неделя. Не слушай его, старик.

Ст. Студент *(улыбаясь)*. Это что же за болезнь такая? Опасная?..

Онуфрий. Опасная. Вроде проказы. Человек покрывается фактами, зубы у него вылезают, и во сне он видит ихтиозавра.

Ст. Студент. Так. А старость — факт или нет? Подумай, Онуфрий. *(Хочет уходить.)*

Онуфрий. Эх — и жаден же ты до жизни, старик!

Ст. Студент. А ты, Онуфрий? *(Уходит в залу.)*

Онуфрий. Ушел... Опять я сир, опять один, проклятый мир. Эй, спорящие, приблизьтесь. В чем дело?

Гриценко. Не знаю. Сегал ругается.

Сегал. Как же ты не знаешь? Нет, ты хорошо знаешь! Если ты, Гриценко, не умеешь танцевать, так лучше не берись. Ты опять в третьей фигуре напутал.

Гриценко. Да она такая трудная.

Сегал. Трудная, так не надо танцевать! Ты куда ушел? Тебя дама по всей зале разыскивает, а ты уже с другой дамой, совсем с чужой! Так нехорошо поступать! Тебе поводыря надо!

Онуфрий. Даже безнравственно! Гриценко, ты ли это?

Гриценко. Да она такая трудная...

Смех. Входит Лиля и две курсистки-землячки; Лиля в дешевенькой блузке, очень веселая.

Лиля. Ах, какой вечер! Вот вы где собрались. Ну, сколько сбору? — У нас такого вечера еще не бывало.

Блохин *(издали)*. Т-тысячу двести.

Лиля. Да не может быть! Тысячу двести — ой-ой-ой! Вот так сбор — вы слыхали?

Онуфрий. А, Лиля, Лилюша, Лилия долин! Душа моя взыграла. Пойди сюда, Лилюша, присядь.

Лиля. Хоть бы вы туда пошли! Я думала, вы туда придете.

Онуфрий. Весело тебе, Лилюша? Ну, веселись, веселись, отдохни. Какая ты нарядная сегодня, царица бала, да и только. Ленточка-то — ах, ты, моя прелесть!

Лиля *(краснея)*. Вы опять надо мною смеяться, нехорошо, Онуфрий Николаевич. Свинство!

Онуфрий *(искренно)*. Честное слово, нет! Ты, Лиля, красавица и сама этого не знаешь. Что носик у тебя пуговкой, так это кому как нравится, в основных законах на

этот счет ничего не сказано. Верно, Лилюша? Дай-ка ручку, я ее поцелую.

Л и л я. Какие глупости! Мне никогда руку не целуют.

О н у ф р и й *(целуя)*. Потому что ослы! У них все Дина, Дина, а я эту... Динку терпеть не могу!

Л и л я. Ах, и не говори! Что мне и делать, ума не приложу. Ведь я битый час со Старым Студентом на хорах сидела, он чуть до слез меня не довел.

О н у ф р и й. Что — все Дульцинея?

Л и л я. Нет, про нее он ничего не говорил. Но он так смотрит, так улыбается, что видеть я этого не могу, душа разрывается. А она сегодня совсем как сумасшедшая — и что с ней сделалось? Кокетничает, всех одурила, за ней так стадом и ходят... Онуфрий, милый, хоть бы ты его приласкал, он так одинок!

О н у ф р и й *(мрачно)*. Ну его к Богу!.. Да, наконец, не всех же ты люби, Лиля! Это невозможно. Оставь хоть немного и...

Л и л я. Кому?

О н у ф р и й *(тихо)*. Мне. Я тоже одинокий человек.

Л и л я *(смеется)*. Ты-то?

О н у ф р и й *(также смеется)*. Ну, ладно! *(Многозначительно.)* Лиля!

Л и л я. Ну, что?

О н у ф р и й. Лиля!

Л и л я. Ну что? *(Вспыхивает и смеется.)* Ах, какие глупости ты говоришь! Свинство!

О н у ф р и й *(блаженно хохочет)*. Да я ничего не говорил! Это ты сама сказала!

Л и л я *(встает)*. Эх, и отчего же я не умею танцевать! Так бы и затанцевала.

Музыка играет лезгинку, и Лиля делает несколько движений, танцуя.

П е т р о в с к и й. Гляди, братцы, Лилька танцует! Ей-Богу! Мы с Верочкой.

Смех, восклицания: ай да Лилька!

О н у ф р и й *(вставая)*. Ну-ка, пусти! Посторонись, народ.

С т у д е н т. Ты куда?

О н у ф р и й. А танцевать! Петровский, зови вице-губернаторшу.

Громкий смех, студенты отбивают ладонями такт. Онуфрий и Лиля танцуют какой-то дикий танец, изображающий лезгинку. Подходят

Костик и другие. Голоса: Блохин, Блохин! Со свирепым видом вылетает Блохин и присоединяется к танцу. Никем не замеченный входит Старый Студент и со стороны, с печальной улыбкой смотрит на танец. Кончили, веселый шум.

Онуфрий *(отдуваясь.)* Ух, ты! Ну и поработали, весь коньяк выпарился. Теперь хоть с азов начинай!

Блохин *(отдуваясь)*. А ты не толстей, Онуша, смотри как я.

Вбегает студент.

Студент. Господа, ну что же вы! Идите в залу смотреть: там Дина с каким-то черкесом танцует. Вот танцуют! Все смотрят.

Все с шумом и смехом уходят.

Лиля *(уходя)*. Ты зачем звал вице-губернаторшу? Смотри!

Остаются только Кочетов и Костя, вернувшийся к своей кассе, Онуфрий и Старый Студент. Онуфрий смотрит блаженно вслед Лиле.

Онуфрий. Вице-губернаторша! Ведь и скажет же девчонка. Вице-губернаторша. *(Замечает Старого Студента.)* Это она надо мной смеется, старик,— слышал? Да ты что и вправду, старик, не весел? Присядь. Старое вспомнил? Ты Лилюше что-то рассказывал.

Ст. Студент *(садясь)*. Да. И старое и новое... Скажи, Онуфрий, ты вот сегодня сильно выпил, а как завтра — будешь здоров и трезв?

Онуфрий. Если опять и завтра не выпью, то буду трезв. А что, дело какое есть?

Ст. Студент. А я вот если выпью три рюмки, то завтра буду весь день болен, лежать буду. А скажи, Онуфрий,— если ты раз прочтешь лекцию, то будешь что-нибудь помнить?

Онуфрий. Если прочту, то буду помнить. Только мне некогда читать — времени нету. У меня, дядя, три урока: два в Москве остались, да одного идиота здесь на Рождество получил. Да ты о чем спрашиваешь? Вообще интересуешься моей особой или к чему ведешь? — так валяй напрямки.

Ст. Студент. Вообще. Я, Онуфрий, ухожу от вас.

Онуфрий. Куда?

Ст. Студент. Ухожу.

Онуфрий. Да куда? Не тумань ты мою голову, Христа ради. Куда уходишь?

Ст. Студент. Лишний я здесь. Все на своем месте, а я лишний — да и в жизни, кажется, лишний. Слыхал я, рассказывали мне исторический анекдот про одного часового: поставила его императрица Екатерина весенний цветочек стеречь, фиалку, а снять часового и позабыла. И уж цветочка того нет, и императрицы уж нет, а он все стоит с ружьем и стережет пустое место, и уйти не смеет. Так вот и я.

Онуфрий. Лишних людей нет, это тебе кто-нибудь наврал, а ты и поверил. Их и так мало, а ты говоришь — лишние!

Ст. Студент. А сколько таких часовых по белу свету рассеяно — уж нет того, что сторожил, к чему своей судьбой приставлен, а все стоит, ружье все держит... герой!

Онуфрий. Не на свою ты полочку попал, оттого и выходит глупо. Лирика, вздохи сердца... эх, дядя, и смотреть-то на тебя не хочется!

Ст. Студент. А какова моя полочка, ты знаешь, Онуфрий? *(Смеется.)* Не хочешь ли, Онуфрий, в акциз поступить, хорошее место предлагают? Я могу тебя устроить.

Онуфрий. А зачем мне в акциз? Ежели выпить, так я и так могу, у меня три урока, я человек со средствами... я и жениться могу, если захочу... Только любовь — вредное чувство. Очень вредное.

Костик *(громко)*. Ну будет, поработали. Бросайте, Кочетов.

Онуфрий. Ты куда, старик? Посиди.

Ст. Студент. Так. В залу пойду. *(Уходит.)*

Костик *(выпивает)*. Завтра кончим, тут сам черт ногу сломает. Выпей, Кочетов, за труды праведные.

Кочетов. Не хочу. Пойти посмотреть, что там делается. *(Потягивается.)* Спину всю разломило.

Музыка играет печальный и нежный вальс.

Кочетов. Ты тут останешься, Онуфрий? На-ка пока деньги, да не перепутай — в этом кармане будут несчитанные. *(Рассовывает по карманам деньги.)*

Костик. Не шевелись. Ты теперь касса.

Онуфрий. А если меня взломают?

Кочетов. Ну пойдем, Костя.

Уходят. Некоторое время на сцене один Онуфрий — блаженствует. Входят Гриневич и порядком выпивший учитель гимназии, Панкратьев; Гриневич дружелюбно обнимает его за талию. За ними, как тень, появляется Старый Студент.

Гриневич. Ну рюмочку! Одну рюмочку, Андрей Иванович.

Панкратьев. Нет, не могу, Гриневич. Я уже выпил сегодня. Я всегда на ваших студенческих вечерах бываю пьян.

Гриневич. Ну, одну! Вы нас, Андрей Иванович, студентов, любите, а помните, сколько вы мне пар ставили? Из-за вас я в седьмом классе чуть на второй год не остался, п-помните?

Панкратьев. Ну, одну разве... Нет, не помню, Гриневич. Я, брат, ничего не помню. Разве ставил? Ну, и черт со мной! Я сегодня домой не поеду.

Гриневич. А куда же, Андрей Иванович, поедете?

Панкратьев. Не знаю. Налейте-ка мне еще одну. Вкусный у вас коньяк.

Онуфрий. А меня помните, Андрей Иванович? Давно это, положим, было.

Панкратьев *(вглядываясь)*. Нет, не помню. Тоже пары ставил?

Онуфрий. Единицы.

Панкратьев. Ого! Отчего же вы такой толстый? Я единицы худым ставлю, а толстым двойки! Это моя классическая метода, одобренная педагогическим советом. Не слыхали? Ну и не надо — мне все равно.

Гриневич. Рюмочка-то ждет, Андрей Иванович.

Панкратьев *(пьет)*. Послушайте... Гриневич: почему из вас не вышел прохвост?

Гриневич. Не знаю, Андрей Иванович. Может, еще выйдет.

Панкратьев. Вы думаете? *(Размышляет, говорит растроганно.)* Ну, дай тебе Бог. Дай я тебя поцелую, я тебя люблю!

Танцуя, появляются Дина Штерн и Козлов. Последний сажает Дину на единственное, ближайшее к авансцене кресло и сам идет к столу.

Козлов. Коньяк еще есть?

Пьет, чокается с учителем, разговаривает. Дина Штерн в бальном платье, глаза горят, опьянена своей красотой, ухаживанием, танцами; минутами в ней чудится что-то почти безумное. Тяжело дышит, обмахивается веером; замечает Старого Студента.

Дина. Петр Кузьмич! Вот вы где! Пойдите сюда. Где вы были — я вас целый вечер не видала? Что же вы такой грустный?

С т. С т у д е н т. Я был на хорах, Дина, любовался, как танцует молодежь.

Д и н а. Молодежь... Ах, как бьется сердце: вот выскочит. *(Берет его за руку.)* Но что с вами — вы чем-то расстроены... милый? Вы так грустно смотрите... скажите мне, что с вами? Скажите?

С т. С т у д е н т. Нельзя быть такой красивой, это почти преступно, Дина.

Д и н а. Разве я так красива? Мне говорят, но я не верю. Вы слышите вальс? Это мой любимый вальс. Но не смотрите так — мне становится грустно. *(Говорит очень печально.)* Отчего на балах всегда так грустно?

С т. С т у д е н т. Я уезжаю, Дина.

Д и н а. Куда?

К о з л о в *(подходит, говорит требовательно)*. Дина — прошу!

Д и н а. Уже? А я еще не отдохнула. Какой вы безжалостный, Александр Модестович! Ну, пойдемте! *(Старому Студенту тихо.)* Я сейчас приду. *(Громко.)* Подержите мой веер.

Удаляются, танцуя. Старый Студент беспокойно оглядывается и уходит в дальний угол. Там, в стороне от сидящих, тревожно шагает, обеими руками сжимая веер.

П а н к р а т ь е в. Это с кем же она? Ваш?

Г р и н е в и ч. Тише, Андрей Иванович. Это Старый Студент... тот самый.

П а н к р а т ь е в. А, тот самый. Покажите-ка. *(Смотрит и машет рукою.)* Дуррак.

Г р и н е в и ч. Тише, Андрей Иванович!

Быстро входит Л и л я.

Л и л я. Онуфрий, я за тобою! Это невозможно: там так хорошо, так весело!.. *(Печально.)* А, вы тоже здесь, Петр Кузьмич, я только сейчас вас видела в зале.

С т. С т у д е н т *(не глядя, отрывисто)*. Здесь.

П а н к р а т ь е в. Отведите меня, Гриневич. Возьмите меня под руку... ну, крепче держите... вот так. Хороший у вас вечер, сколько этого... сбору?

Уходят.

О н у ф р и й. За мною пришла, Лилюша? А может, и не за мною, а?

Л и л я. За тобой... Хотите грушу, Петр Кузьмич? Я вам

очищу. Скушайте, голубчик. Чей это у вас веер, какой красивый?

Ст. Студент *(отрывисто)*. Дины.

Лиля. А, Дины! Да, да, Дины. А Дина в зале танцует... Вам не кажется... нет, тебе не кажется, Онуфрий, что Дина... как будто изменилась? Мне она не нравится.

Старый Студент не слушает, беспокойно ходит.

Лиля *(тихо)*. Что с ним, Онуфрий? Что-нибудь случилось?

Онуфрий. Пока ничего. Любовь — вредное чувство, Лилюша, ты меня никогда не люби, я могу от этого с ума сойти.

Лиля. Ах, и не говори! Постой, а ты что сказал? Свинство!

Входит Дина.

Дина. Ах, как я устала! Вы еще здесь, Петр Кузьмич? Очистите мне грушу, я хочу пить — в горле пересохло.

Лиля *(сердито)*. Вот очищенная, не угодно ли?

Дина. Спасибо, Лилечка. Какая ты сегодня миленькая — отчего ты всегда не носишь эту ленточку?

Лиля. Да пойдемте же, Онуфрий Николаевич! Видеть не могу: расселся тут как Будда! За целый вечер хоть бы раз в залу вышел.

Дина. Ах, этот вальс! Вы слышите, Петр Кузьмич?

Онуфрий *(встает, покорно)*. Иду.

Лиля. То-то — иду! Дай руку! Отчего у тебя бока распухли? Или ты такой толстый?

Уходят.

Дина. Какая милая эта Лилечка, я ее ужасно люблю. Где же мой веер... ах, да, он у вас, дайте... Что вы так смотрите на меня, я красная?

Ст. Студент. Играют ваш любимый вальс... пойдите.

Дина. Нет, я устала. И мне надоели танцы. Присядьте, ближе! *(Берет его руку.)* Какая у вас красивая рука... Вы хотите уехать?

Музыка. Молчание.

Ст. Студент. Да.

. . . .

Дина. Вы это решили?

Ст. Студент. Да.

. . . .

Дина *(тихо)*. Не надо.

. . . .

Ст. Студент. Вы счастливы, Дина?

Дина *(грустно)*. Я не могу быть счастливой.

. . . .

Ст. Студент. Вы любите?

. . . .

Дина. Не знаю... Ваша жена была красива?

. . . .

Ст. Студент. Зачем это, Дина!

Дина *(вставая)*. Ах, не знаю. Подержите мой веер. *(Поправляет волосы.)* Я ухожу.

Ст. Студент. Проводить вас?

Дина. Нет. Вы заедете ко мне проститься?

Музыка. Молчание.

Ст. Студент. Нет. Прощайте.

Дина. Прощайте.

Ст. Студент. Дина...

Дина, не оборачиваясь, уходит. Старый Студент, опустив руки, смотрит ей вслед, потом делает по комнате несколько быстрых шагов, улыбается странно. Садится за стол и опускает голову на руки. Последние звуки того печального и нежного вальса, под который блаженно мечтал Онуфрий.

Тихонько подходит Лиля и кладет обе руки на плечи Старого Студента.

Лиля. Петр Кузьмич, миленький, не надо!

Ст. Студент. Это вы, Лиля! *(Не глядя, берет ее руку и целует.)* Эх, прошла жизнь! Прошла и не вернется!

Лиля *(плача)*. Хочешь, я тебе буду говорить «ты», по-товарищески? Миленький, голубчик ты мой! Жаль мне тебя от всего моего сердца! Ну, не надо так, не надо!

Ст. Студент. Ты думаешь, что я плачу? Нет, я не плачу. *(Поднимает голову.)* Взгляни на меня.

Лиля. Бедненький ты мой. Не стоит она твоих страданий. Поверь ты мне хоть разочек в жизни! Лучше вспомни... Наташу, ты сегодня так хорошо рассказывал...

Ст. Студент. Молчи, Лиля! Два года день и ночь я звал забвение: приди, приди! — И оно не приходило. А теперь я зову память: вернись, вернись! — и она не возвращается! И я ничего не помню.

Лиля. Но ты сегодня же рассказывал...

Ст. Студент *(смеясь)*. Лгал, Лилечка, лгал. Я ведь все время лгу! Как я могу прожить хоть один день не солгавши — или ты не знаешь, что́ такое моя правда, правда

вот этой белой головы, дрожащих коленей, изношенного сердца! Ах, Лиля, как глупый фанфарон, я громогласно вызвал на бой самоё судьбу — и вот, раздавленный, лежу у ее ног... даже не жалкий, даже не жалкий! Ну кто пожалеет такого дурака?.. Разве только ты, мое нежное и тоже глупенькое сердечко. Жалеешь меня, Лиля?

Лиля. Жалею, милый. Буду и я когда-нибудь старая...

Ст. Студент *(улыбаясь)*. Утешаешь, а сама и не веришь: буду старая! Ты слышишь, Лиля, как пахнет здесь весенними цветами и травой. Послушай, послушай — весенними цветами и травой.

Лиля. Это духи, миленький! Это Дина так душится.

Ст. Студент *(смеется)*. Духи! Ах, глупенькая Лиля: ты, может быть, и солнца над головой не видишь? Думаешь, что это лампочка,— сознайся!.. Каждую осень, Лиля, деревья роняют миллиарды листьев, и уже вся земля была бы покрыта ими, как толстым старым одеялом, и не было бы места живому — не исчезай они бесследно. Так исчезну и я, старый, отживший, печальный лист, так глупо проснувшийся весною среди молоденькой, зеленой травки. Не жалеть, а топтать ногою ты должна меня, Лиля!

Лиля. Ну что ты! Тебя просто измучила Дина — сегодня она злая, сегодня я сама боюсь ее.

Ст. Студент. Дина? Ты встретила ее, когда она шла отсюда? Ты заметила, что губы ее были в крови? Тише, тише, не надо говорить об этом, а то она услышит и опять придет сюда. Пусть думает, что я мертвый, совсем мертвых они не любят.

Лиля. Что ты говоришь, я не понимаю! Зачем ты пугаешь меня. Пусти мою руку — мне больно... Успокойся, миленький.

Ст. Студент *(вставая)*. Боже мой, Боже мой, до чего же прекрасна жизнь, до чего она прекрасна! Онуфрий сегодня сказал: эх, и жаден же ты до жизни, старик. А он — не жаден? А ты, Лиля? Милые вы мои, голуби вы мои пернатые, пусть останется с вами моя любовь, а я... пойду далеко. Не удалось солгать, пойду на поклон к самой правде: бери меня, вяжи меня, сажай меня на железную цепь! *(Смеется.)* А то опять убегу! Ну, улыбнись же, Лиля. Товарищ ты мой хороший — сейчас сюда придет Онуфрий и... Ну, Лилечка; и... а что дальше?

Лиля *(вспыхивая)*. Вот уж не ожидала, что ты станешь так говорить... свинство! Ну, слава Богу — хоть за-

смеялся по-человечески! Только это неправда, и Онуфрия вашего мне совсем не надо: любовь — вредное чувство. Не веришь?..

Оба смеются.

Лиля. Господи, вот удивится сейчас Онуфрий, что я тебе «ты» говорю. Но ты такой милый... постой, ты же говорил, что не будешь плакать! Как же это так, зачем же ты обманул меня, а я, глупая, и поверила! Ну, миленький!..

Ст. Студент. Одну слезиночку-то можно, одну, Лилечка, всего-навсего одну? Видишь — уже смеюсь.

Лиля. Тише, наши идут! *(Хватая его за руку.)* Теперь ты навсегда мой друг. Ты вот что, ты поцелуй-ка меня, пока Онуфрий не увидел, а то он может с ума сойти. *(Целуются.)* Вот так! Никто и не видал!

Вваливается Онуфрий и с ним кучка студентов, в том числе Костик, Кочетов, Тенор и другие. Старый Студент и Лиля отходят к стороне. Шум веселый, восклицания.

Онуфрий. Опять на родине! Какая тут тишина, Сережа, какой воздух! Нет, больше в эту кашу не полезу, суета сует и всяческая суета, и все танцуют, как в аду. Стой, кто коньяк мой выпил? Его было в три раза больше.

Кочетов. Опять шампанского не хватило. Что стоило взять несколько лишних бутылок, потом можно было вернуть. Это все Петровский, черт его возьми.

Костик. Потом сосчитаем, Кочетов, поздно.

Кочетов. Надо, надо. За шампанское надо сосчитать. Эй, ты, несгораемый шкап,— раскрывайся! *(Обшаривает Онуфрия.)*

Онуфрий *(подняв руки, в одной из которых бутылка)*. Или это один из самообманов философского ума, который жажду смешивает с объемом? Жажда ли в три раза больше, или бутылка в три раза меньше,— вот проклятый вопрос.

Блохин. Пойди на компромисс: и жажда больше, и бутылка меньше. Ну, наливай, наливай.

Онуфрий. Верно. Какой же ты умница, Сережа. Это ты под моим влиянием так развился. Давай, образуем школу, Сережа. Будем брать учеников... А, могила Гамлета,— хрипишь?

Тенор. Ха-ха-ха! Онуша пьян. Ты знаешь, что сегодня я буду петь?

Ст. Студент *(подходя)*. На два словечка, Алек-

сандр Александрович... у тебя найдется минутка времени? *(Отходят.)*

Лиля. А я к тебе присяду, Онуфрий. Ты знаешь, вышло гораздо лучше, чем я ожидала... *(Шепотом рассказывает ему.)*

Ст. Студент. Завтра я, Александр Александрович, уезжаю назад... в Москву. Не знаю, удастся ли мне повидаться с тобою, и вот на всякий случай я хочу еще раз поздравить тебя и крепко пожать твою руку.

Тенор. Спасибо, старик. А разве Дина тебе говорила?

Ст. Студент. Что?

Тенор. Завтра мы с нею едем в Крым.

Ст. Студент. А, к весенним цветам! Там скоро весна, Саша. Весенние цветы!

Тенор. Не знаю — я еще не бывал в Крыму. Должен тебе сказать, что этот... папаша выгнал нас обоих, и мы едем, собственно, с горя. Но это, конечно, не серьезно, и Дина рассчитывает так, что папаша этот сам приедет за нами. Оригинальный старик. Ха-ха-ха! Но, однако же, денег у нас, фью-ю. *(Свистит.)* Ты слыхал — сегодня я буду петь в хоре: Дина приказала.

Ст. Студент. Вот что, милый Саша, не возьмешь ли ты денег у меня? Дело, видишь ли, в том... *(Продолжает тихо говорить.)*

Быстро входит Петровский.

Петровский. Ой, братцы! Ой, батюшки, спасайтесь, Стамескин пришел, сюда идет, вас, братцы, ищет.

Костик. Да ну! А чтоб его черт!

Онуфрий. Протестую.

Костик *(беспокойно)*. Чаю ему, что ли, предложить. Да не пьет он чаю. Кочетов, как ты думаешь?

Онуфрий. Глаза мои не могут его видеть, ухо мое не может его слышать, нос мой не может его нюхать, как говорит Соломон в «Песне Песней». Пожалуйста, дети мои, не надо сегодня Стамескина, я этого не выдержу сегодня...

Петровский. Да я соврал, ей-Богу.

Общий смех. В зале музыка смолкла, но публика еще не разошлась: доносится нестройный, веселый шум, требование.

Голоса:

— Испугался, Онуша. Это тебе не вице-губернаторша.
— У него совесть заговорила.
— Гляди, гляди: Онуша языка лишился, ей-Богу.

Костик. А я тебе другой раз, тетя, за этакие шутки голову оторву. Чего от дела отрываешь? Лотоха проклятая.

Петровский. Да я соврал, ей-Богу. Ну, вот и кончен бал. И умаялся же я, братцы.

Костик *(ворчит)*. То-то, соврал.

Чей-то голос. Господа, в залу. Кончено, чего тут расселись.

Второй голос. Дай поблагодушествовать. Ну и подлец же Онуфрий, хоть бы на донышке оставил. Этакий математический ум, как раз к концу подогнал.

Студ.-техник. Подносит Петровский губернаторше цветы, да в шпаге своей и запутался, чуть не забодал ее, прямо головой ей в живот.

Требование песни все настойчивее. Входит рассерженный Козлов.

Козлов. Господа, что же это? Ну не свинство ли, а? Расселись, как старухи в богадельне. Там орут, требуют «Gaudeamus», сейчас электричество гасить начнут, ведь в темноте орать придется, черти!

Блохин. Идем. Это Онуфрий тут р-расселся...

Козлов. Тенор, ты что же это, брат? Свинство! Я тебя и на хорах ищу, и где только ни был, а ты...

Тенор. Я готов.

Шум в зале растет. Со смехом и говором студенты уходят в залу.

Лиля. Идемте, Петр Кузьмич. Я хочу, чтобы ты тоже пел.

Онуфрий. Ты? Это что же такое?

Голоса:

— Волоките Онуфрия.

— На кой он черт, он ни бе ни ме.

— Нечего там, волоки, волоки — для декорации пригодится.

Тащат Онуфрия в залу.

Онуфрий *(оборачиваясь)*. Ты смотри, дядя! Мне наплевать, что у тебя римский нос, у меня у самого...

Ст. Студент. Я сейчас. Иди, Лилечка.

Лиля. Нет, я тебя не пущу. Давай руку.

Все уходят. Остается один замедливший, сильно охмелевший Гриневич: опрокидывает кверху дном бутылки одна за другой, убеждается, что пусты, и бегом направляется в залу. В зале страшный шум. Мгновение сцена пуста. Быстро входит Старый Студент и скрывается в дальний угол,

где на скамейках свалены студенческие пальто и шубы. Лампочки вверху гаснут — видимо, в зале погасили электричество; остается только непогашенная свеча на столе. Тишина, и хор молодых мужских и женских голосов поет громко, уверенно и сильно:

Gaudeamus igitur,
Juvenes dum sumus.
Post jucundam juventutem... [1]

Старый Студент падает ничком на шубы и беззвучно плачет.

Post molestam senectutem,
Nos habebit humus.
Ubi sunt, qui ante nos
In hoc mundo fuere... [2]

Занавес

---

[1] Будем веселиться,
Пока мы молоды.
После радостной юности... *(лат.)*

[2] После тягостной старости
Нас ведь примет земля.
Где все те, кто жил до нас
В этом мире... *(лат.)*

ПРИЛОЖЕНИЕ

12. Я ГОВОРЮ ИЗ ГРОБА

(ГЛАВА ИЗ ЧЕРНОВОЙ РЕДАКЦИИ «РАССКАЗА О СЕМИ ПОВЕШЕННЫХ»)

Бумага, составленная Вернером, была немедленно рассмотрена, но по отсутствию в ней каких-либо новых фактических данных, оставлена без последствий и приобщена к делу «о пяти».

По-видимому, писавший очень торопился и был взволнован: разгонистый, смелый почерк, в отдельных словах, и буквах хранивший еще твердость начертания, часто ломался, становился крайне неразборчивым, и точно падали в одну сторону набегающие буквы. Некоторые слова не были дописаны; другие были выписаны крупно и четко и подчеркнуты резко; довольно большой кусок письма, ближе к концу, оказалось невозможным понять — подчеркивания, вставки, неоконченные слова представляли собою грязный чернильный хаос, лишенный смысла.

Вот эта бумага.

«ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, неизвестный, по прозвищу Вернер, присужденный к смертной казни через повешение и повешенный в пятницу, 20 марта 1908 года от Рождества Христова (слова «от Рождества Христова» были зачеркнуты, потом надписаны вновь),— умоляю людей понять, что смертная казнь никогда, ни в каком случае, ни при каких условиях не должна быть в человеческом обществе.

Меня я прошу не жалеть, я всегда был готов к смерти, и теперь, когда я понял, что такое смертная казнь, я ухожу из жизни с радостью и с необходимостью. Я понял и отк-

рыл в людях то, после чего нельзя мне жить так, как я жил, а другой жизни я не знаю. А понял и открыл я в людях то, что мозг у них маленький и заключен в железную коробку, из которой нет выхода. И понял я, что все люди — немые, и языка у них нет, а то, что они называют своею речью, служит только для всеобщего обмана, и от этого люди живут хуже, чем звери, которые говорят и понимают глазами. И еще понял я, что все люди — слепы и глухие и нет у них ни глаза, ни уха, а то, что они называют зрением и слухом, служит только для всеобщего обмана; и от этого каждый человек есть гробница правды, а между людьми ходит только Ложь. И от этого они видят жизнь и не знают, что такое жизнь; видят смерть — и не понимают; видят человека — и не знают, что такое человек.

Надо поторопиться. От того, что я увидел, я скоро стану совсем сумасшедший, и тогда я не пойму той правды, которая во мне. Правда же эта такая, что меня, человека, нельзя казнить.

Вот я в тюрьме, и если я стану кричать, то никто не услышит, и, может быть, придут сторожа и положат мне тряпку в рот, чтобы я не кричал. Но если бы я был на площади, днем, и тоже стал бы кричать, меня также никто не услыхал бы, и может быть, посадили бы опять в тюрьму за то, что громко, а это все равно, что на площади, что в тюрьме. Вот я хотел вам объяснить, почему казнить нельзя, а теперь думаю, стоит ли, потому что вы все равно не услышите. Ведь очень возможно, что мертвецы в гробах тоже кричат, а кто их слышит? Вот они и гниют от этого. И я был живой, а теперь тоже мертвец — и вы послушайте меня — я говорю из гроба. Только, пожалуйста, не бросайте моей бумаги в ватерклозет, а лучше сожгите или разорвите.

Впрочем, может быть, людей вообще совсем нет, а это мне только показалось. Когда бьют часы...

(Здесь несколько строк густо замазаны чернилами.)

Убивать совсем не то что казнить, это ужасная разница. Убийства есть везде, а казнь только у людей, и это делает людей самыми ужасными на свете. Мне все равно, убьют меня или я умру от тифа или старости, ведь все равно, до самой смерти я не буду знать, что умру. Даже когда я буду болен смертельно и мне скажут это, то у меня от жара и от болезни будет такое состояние, что я этому не поверю и до самой смерти не буду знать, что умру. А теперь я, не больной и без жара, знаю, что через десять часов умру. Это невозможно. Тогда нужно уничтожить все часы и прекратить восход солнца. Во всяком случае, людей перед

казнью — это практическое соображение, которое я усиленно рекомендую,— нужно два месяца держать в абсолютной темноте и в таких толстых стенах, чтобы времени совсем не слышно было. Нет, мысли у меня путаются, это не поможет, человек будет считать пульс и узнает время. Необходимо прекратить восход солнца.

(Дальше зачеркнуто.)

Вы раскорячили мой ум. Вы поставили мою мысль на острие, с которого одновременно открываются две бездны — жизнь и смерть.

(Дальше опять зачеркнуто. Можно только разобрать несколько раз встречающиеся слова: «две бездны». И дальше буквы начинают быстро падать вправо; к концу они почти лежат.)

Я слышу вращение земли. Я слышу, к[а]к быстро поворачивается она, и по ней бежит назад черная тень ночи, и она приближает к солнцу тот бок, на котором я. Чужая земля или нет, вот что важно знать. Я так быстро несусь, что у меня кружится голова, к[а]к на воздушном шаре. Ты должна принять меня, земля. Ты не должна быть мне чужою.

Странно: кажется, я потерял слух. Сейчас входил какой-то человек и долго раскрывал рот, а я ничего не слышал. И потом скорее догадался, чем услыхал,— так глухи и невнятны были его слова, хотя, кажется, он кричал — что пора кончать.

Что же это я! Что же это я! Он приходил опять и говорил, что прошел час, а я написал только эти четыре строки. Мне же еще нужно вам объяснить, почему казнить нельзя — нельзя — нельзя.

Вы раскорячили мой ум. Откуда у вас такая склонность распинать — вы распяли мою мысль. Ого, Вернер, у тебя не голова, а барабан. Они распяли твою мысль, натянули ее на барабан и бьют по нему своими кулаками: бум-бум-бум!

Человек, ты великий клоун. Ты берешь мозги ближнего, натягиваешь их, как кожу, на барабан и бьешь кулаками: бум! — бум! — бум!

Сюда, скорее! Здесь великий клоун, самый лучший, самый остроумный клоун. Бум-бум-бум! Вы думаете, что это ослиная кожа? Нет, это человеческие мозги натянуты на барабан, и с злостью я бью моими кулаками: бум! — бум! — бум! Ежедневные представления утренние — вечерние! Женщины и дети имеют вход бесплатный! Женщины и дети, идите же сюда — сюда, вам вход бесплатный! Вы насмеетесь вдосталь, когда я сделаю вам шутовскую грима-

су, высуну язык и подниму обе руки — и ударю по барабану — и разорву его!

Кто сказал, что это человеческий мозг? Это ослиная кожа, дубленая ослиная кожа, натянутая на железные обручи. И если ее разорвать, там окажется пустота. Клоун, будь осторожен, не бей так сильно — там пустота. Там — пустота.

(Дальше — сильно и резко зачеркнуто и пером продрана тонкая серая бумага. Дальнейшее написано почерком твердым, буквы стоят прямо и стройно.)

Нет, не к ним обращу я мое последнее слово,— к вам, милые товарищи мои: ты, Муся,— ты, Сергей,— ты, бедный Вася,— и ты, Таня! Завтра я ничего вам не скажу, чтобы не мучить вас напрасной и жестокой лаской, и вы никогда не прочтете и не узнаете того, что я написал для вас,— но пусть хоть на мгновение оживут мои слова на этой мертвой бумаге. Кто знает? Быть может, к[а]к-нибудь они и дойдут до вашего сердца. Милые мои товарищи, я вас очень люблю. Прежде я, глупый Вернер, не понимал, что такое казнь, и думал: ну, смерть и смерть, и мне не было вас жаль.— Теперь я понял, что это, и очень люблю вас и очень, очень жалею. Пусть они себе остаются жить, если им не страшно еще стало жить,— мы же, милые товарищи мои, пойдем в смерть. Я не хочу вас утешать, но кто знает? я сам этого не знаю — быть может, земля для нас и не чужая. Оттого, что они раскорячили мой ум и я сейчас немного сумасшедший, или оттого, что с вершины смерти я одним взглядом могу окинуть всю жизнь,— она кажется мне дурным и тяжким сном. И он кончится, этот сон, со своими виселицами и палачами, со своим безумием и дикой клоунадой — и наступит пробуждение.

А может быть, и смерть есть такой дурной и тяжкий сон, как и жизнь, и есть еще третье, к[отор]ого мы не знаем, и которое есть ни жизнь, ни смерть и которое ждет нас в конце нашего великого и скорбного пути? Кто знает, кто знает! Пред нами открывается следующая ступень, а ведет ли она вверх, на небо, или вниз, в преисподнюю,— это мы все узнаем завтра...

До свидания, милые товарищи мои.

Идут.

Не казните! Не каз...»

16 марта 1908



КОММЕНТАРИИ

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Блок — Блок Александр. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 5, 6. М., Гослитиздат, 1962.

Брусянин — Брусянин В. В. Леонид Андреев. Жизнь и творчество. М., 1912.

ЛН — Литературное наследство, т. 72 — Горький и Леонид Андреев. Неизданная переписка. М., Наука, 1965; т. 89 — Александр Блок. Письма к жене. М., Наука, 1978; т. 95 — Горький и журналистика начала XX века. М., Наука, 1988.

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства (Москва).

ЦГИА — Центральный государственный исторический архив (Ленинград).

Произведения, составившие настоящий том, были созданы Л. Андреевым на протяжении трех лет — 1908—1910 гг. Эти произведения написаны художником, находившимся на вершине своего мастерства и таланта и одновременно с этим на вершине своей популярности. Вряд ли кто-либо из современных Андрееву писателей мог бы соперничать с ним в степени популярности. Его творчество было в высшей степени созвучно духу времени, отражало его самые глубинные, зачастую трагические стороны. Поэтому К. Чуковский тогда же в 1908 г. писал: «Он синтез нашей эпохи под сильнейшим увеличительным стеклом. Если другие поют теперь отвлеченного общечеловека, то Андреев поет отвлеченнейшего. Если другие враждебны мещанству, то Андреев враждебнейший из всех. Если другие теперь поголовно «стихийны», то Андреев стихийнейший. ⟨...⟩ Он так врос в нашу эпоху, что отвергнуть его значит отвергнуть и ее; принять его значит принять и ее» (Чуковский К. От Чехова до наших дней. 3-е изд. СПб., 1908, с. 238—239).

Читающая публика испытывала обостренный интерес к творчеству Андреева, газеты того времени нередко печатали подробное изложение произведений писателя еще до выхода их в свет (например, о рассказе «Сын человеческий»), журналисты, корреспонденты различных газет наперебой брали интервью у писателя, желая передать в печати его высказывания о своих творческих планах и намерениях, его истолкования своих произве-

дений. В течение 1909—1913 гг. вышло два собрания сочинений Андреева (в издательствах «Просвещение» и А. Ф. Маркса), что также является свидетельством огромной его популярности.

«Отшумевший благодатный дождь революции», по словам самого писателя, и наступившая затем «темная ночь» реакции со столыпинскими виселицами не могли не отразиться в творчестве и миросозерцании Леонида Андреева. Писатель трагического мироощущения, Андреев очень остро и крайне своеобразно воспринимал общественно-политическую «температуру» России.

Современных Андрееву критиков и собратьев-писателей самых различных направлений и вкусов зачастую отличало полное непонимание поэтики писателя, его творческих исканий, особенностей его художественного ви́дения. Так, говоря о рассказе Андреева «Проклятие зверя», критик журнала «Современный мир» М. П. Неведомский писал, что «стиль и тон» этого произведения «глубоко двойственны: то схема и шарж, или символ, превращенный почти в аллегорию, то явственно личные ноты. ⟨...⟩ И эта двойственность порождает неясности, иногда страшно затрудняющие понимание» (Современный мир, СПб., 1909, № 3, с. 187). Весьма часто упрекали Андреева за «грубость формы», «некультурность», «необразованность», дурной вкус.

Непонимание критики страшно травмировало нервного, ранимого писателя и, несомненно, порождало в нем ощущение одиночества — одиночества человека, болезненно воспринимавшего непонимание его современниками. «Снизу доверху, во всех этажах российского литературного дома, иногда весьма смахивающего на веселый дом, меня ругают»,— жаловался он в одном из писем. А. А. Блок вспоминал в 1919 г. о Леониде Андрееве конца 1900-х гг.: «...В нем накопилось много всякой обиды, слава его была громка, но критика его не щадила, а он был к ней странно внимателен» (*Блок*, т. 6, с. 134—135).

К. И. Чуковский в своей изданной в 1911 г. книге «О Леониде Андрееве» составил в алфавитном порядке словарь ругательств, переходивших часто в площадную брань, которыми осыпала Андреева современная критика. Впоследствии, уже в 1915 г., Андреев выступил на страницах газеты «Биржевые ведомости» со специальной статьей «Ответ художника критику», в которой с глубокой обидой писал о тех несправедливостях, которые ему пришлось претерпеть от критики на протяжении всей его литературной деятельности. И не будет, на наш взгляд, преувеличением сказать, что столь неравнодушное и во многом беспрецедентное отношение к Андрееву современной критики — одно из красноречивых свидетельств тому, что его творчество не укладывалось в традиционные, привычные рамки. Никакой другой писатель начала века, пожалуй, не будоражил так своих современников, как Л. Андреев.

В конце 1900-х гг. предельно обострились отношения Андреева с А. М. Горьким, который становился для него постоянным оппонентом. Андреева оскорблял и коробил тот поучающий тон, который постоянно давал о себе знать в письмах к нему Горького, в печатных и устных высказываниях о нем. Оба писателя в это время зачастую прямо противоположным образом оценивали как политические события в России, так и новые явления в литературе. Андреев часто воспринимал жизнь сквозь призму трагического отчаяния, его настроения отличались крайним пессимизмом.

Поэтому оптимизм Горького становится для него неприемлем. В этом смысле характерно то разграничение понятий «трагедия» и «драма», которое делает Андреев в письме к Горькому от 11 февраля 1908 г.: «Трагедия — утверждение жизни, и только драма исключает жизнь. ...Люди трагедии — живучи, и только люди драмы кончают с собой» (*ЛН*, т. 72, с. 302). Понятие «трагедия» в сознании Андреева являлось синонимом самого высокого и благородного как в искусстве, так и в самой жизни.

Не нашел понимания Леонид Андреев и у «патриарха» русской литературы — Л. Н. Толстого. Толстой, познакомившийся со многими его произведениями, несомненно, выделял его из плеяды современных писателей молодого поколения и чувствовал его явную талантливость, но и столь же активно не принимал многого в андреевском творчестве, считал андреевский трагизм грубым и искусственным. Отсюда известное выражение Толстого: «Он пугает, а мне не страшно».

Тяжелое, пессимистическое состояние духа Андреева не в последнюю очередь обусловило постановку в его творчестве таких «вечных» вопросов, как жизнь и смерть, которые, конечно, серьезно занимали его и прежде, но и теперь волновали неотступно. К этому времени окончательно оформились те особенности художественного метода и стиля Андреева, которые современная недоброжелательная к писателю критика окрестила как «леонидандреевщину», сделав из них своего рода жупел. Трагический, мрачный колорит большинства его произведений, сильнейший эмоциональный накал, а также схематичность некоторых образов (порою как бы нарочитая) позволили позднейшим исследователям определить поэтику Андреева как поэтику экспрессионизма. В то же время с произведениями, написанными в экспрессионистском стиле («Царь Голод», «Черные маски», «Анатэма», «Проклятие зверя»), у Андреева сосуществуют как прозаические, так и драматургические произведения, созданные в традиционном реалистическом ключе («Дни нашей жизни», «Сын человеческий», «Неосторожность» и др.). Это одна из основополагающих особенностей художественного мира Леонида Андреева в целом — два этих стилевых течения были налицо в его творчестве, начиная еще с раннего этапа писательской деятельности — конца 1890-х гг.— начала 1900-х гг. В 1908—1910 гг. это сочетание двух художественных сфер творчества Андреева достигает своего наивысшего проявления, хотя нереалистические тенденции (прежде всего в драматургии) заметно преобладают.

Двойственность своего художественного мира, свое особое, в известной мере обособленное положение в современной ему русской литературе сам Андреев хорошо осознавал. «Кто я? — задавал он вопрос в письме к Горькому.— Для благороднорожденных декадентов — презренный реалист, для наследственных реалистов — подозрительный символист» (*ЛН*, т. 72, с. 34). Это суждение, относящееся к 1912 г., было весьма важным для Андреева и конца 1900-х гг. В одном из писем Андреева содержится такого рода признание: «...Я ненавистник голого символа и голой, бесстыжей действительности» (Ученые записки Тартуского гос. ун-та, вып. 119, 1962, с. 386). А в 1913 г. в более развернутом виде: «Я никогда не мог вполне выразить свое отношение к миру в плане реалистического письма. А вернее: это показатель того, что я внутренне, по существу моему писательски-человеческому — я не реалист. Кто же я? Мистик? — Не знаю. А в конце концов я просто не понимаю и не принимаю этого деления,

оно мне кажется смешным. ...Для всех серьезно мыслящих и живущих жизнь — мистерия, и весь вопрос ⟨...⟩ в том, на чьей стороне человек, а не в том, предпочитает ли он «символы» для выражения своих чувств или форму тургеневско-купринского романа. Пусть даже кубом выражается или излучением — только выражал бы он человека, а не свинью в ермолке!» (Из письма к А. В. Амфитеатрову от 14 октября 1913 г. Цит. по кн.: *ЛН*, т. 72, с. 540.)

В открывающем том рассказе «Иван Иванович» Андреев обращается к столь свойственной его творчеству экстремальной ситуации: низкий, подлый человек, околоточный надзиратель Иван Иванович, получивший ненадолго власть, становится законченным подлецом. В ключевой сцене рассказа писатель создает образ торжествующего доносчика и мерзавца, как бы олицетворяющего собой торжество темных сил. По сравнению с ним выведенные в рассказе революционеры — высоконравственные люди, способные на подвиг самоотверженности. Именно поэтому Андреев в определенной мере оправдывает революционное насилие, стремится найти в нем позитивное начало.

Изображение революции и революционеров у Андреева своего рода фон для постановки вечных вопросов человеческой жизни, выражаемых антиномией «жизнь — смерть». В этом смысле необычайно характерным является одно из вершинных произведений Леонида Андреева — «Рассказ о семи повешенных», который весьма показателен именно в плане совмещения в нем «вечных» проблем человеческой жизни и смерти и злободневных вопросов своего времени — террористических актов, военно-полевых судов, смертных казней.

Столыпинские военно-полевые суды приводили Андреева в состояние крайнего возмущения и потрясения, о чем он писал В. В. Вересаеву еще в конце 1906 г.: «Военно-полевые суды... Только сумасшедшие могут додуматься до них. Как можно даже думать о военно-полевых судах, не будучи свихнутым!» (цит.: В е р е с а е в В. В. Собр. соч. в 4-х томах, т. 3. М., Правда, 1985, с. 397). Для Андреева эпохи реакции было очень характерно ощущение безумия, охватившего современную ему жизнь и проявившегося прежде всего в массовых смертных казнях,— в этом смысле он сближался с Л. Н. Толстым, автором «Не могу молчать», и В. Г. Короленко, автором статьи «Бытовое явление». Но в то же время, конечно, безумие и ужас массовых смертных казней Андреев-художник рассматривал не только с точки зрения социально-общественной — как величайшее зло и трагедию своего времени,— но и с общечеловеческой, общегуманистической позиции. Об этом свидетельствует письмо Андреева к американскому переводчику «Рассказа о семи повешенных» Герману Бернштейну от 18 октября 1908 г. «Моей задачей было,— писал Андреев,— указать на ужас и недопустимость смертной казни при всяких условиях. Велик ужас казни, когда она постигает людей мужественных и честных, виновных лишь в избытке любви и чувстве справедливости — здесь возмущается совесть. Но еще ужаснее веревка, когда она захлестывает горло людей слабых и темных. И как ни странно покажется это: с меньшей скорбью и страданием я смотрю на казнь революционеров, подобных Вернеру и Мусе, нежели на удавление этих темных, скорбных главою и сердцем убийц — Янсона и Цыганка. Даже последнему безумному ужасу неотвратимо надвигающейся смерти могут противопоставить Вернер — свой

просвещенный ум и закаленную волю, Муся — свою чистоту и безгрешность. А чем могут отозваться слабые и грешные, как не безумием, как не глубочайшим потрясением всех основ своей человеческой души? А их-то, набивши руку на революционерах, и вешают теперь по всей Руси где по одному, где сразу по десятку. Играющие дети натыкаются на плохо зарытые трупы, и собравшийся народ с ужасом смотрит на торчащие из-под земли лапти. Прокуроры, присутствующие при казнях, сходят с ума и отвозятся в больницу, а их всё вешают, вешают...» (*ЦГАЛИ*, ф. 11, оп. 5, ед. хр. 6).

Чѐрез несколько месяцев после опубликования «Рассказа...» Андреев написал статью под названием «О казнях. Из частного письма», являющуюся своего рода публицистическим комментарием к «Рассказу о семи повешенных», в которой утверждал, что смертная казнь не должна существовать, так как она «противна закону жизни» (Эпоха, СПб., 1908, 15 сентября, с. 1) и «не только нарушает права человека на жизнь, но права на разум, священный дар, которым прокляла и благословила нас судьба» (там же). Именно с такой точки зрения Андреев и изображает своих героев, ожидающих смертной казни через повешение. Перед лицом смерти равны все, показывает Андреев. Вместе с тем он проводит отчетливую грань между уголовными преступниками (Янсон, Цыганок) с их почти зоологической жаждой жизни и революционерами, в образах которых запечатлена высокая духовность, поразительно ярко раскрывающаяся накануне их страшной гибели.

В «Рассказе о семи повешенных» Андреев достиг высочайшего мастерства как художник-психолог прежде всего в изображении человека в момент наивысшего напряжения всех его душевных и физических сил. В одном из интервью Андреев отвечал критикам и читателям на некоторые высказанные в его адрес претензии по поводу якобы допущенных им преувеличений в описании приговоренных к смерти: «За мой «Рассказ о семи повешенных» меня основательно упрекали, что я не исчерпал во всей полноте того многообразия ужасного, что испытывают приговоренные. Но уверяю вас, только думая о казни, только ставя себя на место одного из этих несчастных, я приводил свой человеческий ум в то состояние, при котором только тонкая пленка отделяла меня от сумасшествия. И когда, по рассказу, я стал приближаться к моменту казни, меня, полноправного российского гражданина, которому козыряет соседний городовой, уже следовало отправить в лечебницу» (Измайлов А. А. Литературный Олимп. М., 1911, с. 285). Не случайно, что «Рассказ о семи повешенных» был написан в состоянии крайнего напряжения, «кровью сердца».

Тяготение к художественно-психологическому эксперименту привело Андреева к созданию почти карикатурного, гротескного, но и в то же время трагического образа героя повести «Мои записки» — такого рода сочетание является в высшей степени характерным для поэтики творчества Андреева в целом. Можно сказать, что пристрастие писателя к крайним, экстремальным ситуациям и положениям здесь доведено до предела. Герой повести Андреева, которого в критике часто называли потомком «парадоксалиста» из повести Достоевского «Записки из подполья», находясь в пожизненном тюремном заключении, приходит к чудовищной, страшной мысли о том, что «перед закатом солнца наша тюрьма прекрасна». В «Моих записках» в определенной мере отразилась полемика Андреева с некоторыми издерж-

ками толстовской идеи непротивления злу насилием, но этот спор с Толстым в образе героя «Моих записок» выступает в нарочито заостренно-гипертрофированном виде.

Очевидно очень сложное и неоднозначное авторское отношение к своему герою. Извращенный преступник, циник, но в то же время человек высокого интеллекта и культуры вызывает у автора и активное неприятие, и осуждение, и в то же время столь характерное для писателя-гуманиста сострадание к человеку вообще, каким бы нравственным уродом он ни был.

В интервью, данном А. А. Измайлову, Андреев таким образом объяснил образ своего героя: «...Условия, в которых нет места ни надежде, ни жизни, заставляют его страшным усилием воли создать свой собственный мир, в котором царит целесообразность, гармония и красота. «Ибо,— как говорит он,— я должен жить», ибо он цепляется за эту жизнь всеми средствами и наделен от природы огромной способностью приспособляемости. Я думаю,— закончил Л. Н.,— его можно было бы назвать *гением приспособляемости*» (А. И. Леонид Андреев о своей повести.— Биржевые ведомости, СПб., 1908, № 10797, 6 ноября, веч. вып.).

В рассказе «Проклятие зверя» отчетливо продолжается модернистская линия творчества Леонида Андреева. Не будет преувеличением сказать, что это — одно из наиболее субъективно-лирических и «бессюжетных» произведений писателя. По поводу рассказа Андреев говорил своему секретарю В. В. Брусянину: «Много моих личных мучительных переживаний, моей ненависти к городу — в «Проклятии зверя». Многое, что там показалось всем вычурами, мое, не сочиненное настроение» (*Брусянин*, с. 75). Тот же Брусянин говорит о том, что в рассказе «Проклятие зверя» как бы получили дальнейшее развитие антиурбанистические настроения Андреева, выразившиеся в рассказе «Город» (1902) (там же, с. 11).

В «Проклятии зверя» создан образ капиталистического города, враждебного человеку, где «много домов... много стен, глухих, черных и страшных... В них нет ни дверей, ни окон,— и вдруг кажется: это не дома, это — огромные каменные гробницы, весь живой город замурован в них». «Я боюсь города!» — восклицает герой рассказа.

Несчастные измученные животные, которых он видит в зоологическом саду, в его сознании становятся чем-то близкими человеку, запертому в железной клетке города. Повторенная несколько раз в виде рефрена фраза (этот стилистический прием очень характерен для творчества Андреева, особенно для позднего творчества), относящаяся к старому, умирающему льву: «Он стар и болен и скоро должен умереть»,— создает определенную тональность произведения. Лирическая струя «Проклятия зверя» связана в наибольшей мере с мотивом тоски героя о любимой женщине (в этом смысле здесь, несомненно, нашел отражение автобиографический элемент — тоска писателя по безвременно умершей жене) и выражается посредством фразы-рефрена «...Возлюбленная моя...». Сам Андреев в письме к Горькому от 11 февраля 1908 г. определил «Проклятие зверя» как «какую-то душевную замазку, чтобы не так дуло в щели» (*ЛН*, т. 72, с. 302). В рассказе очевидны черты экспрессионистской поэтики.

Современный исследователь русской литературы начала XX века К. Д. Муратова полагает, что рассказ «Проклятие зверя» носит следы

влияния американских памфлетов Горького с их антиимпериалистическим, антиурбанистическим пафосом (см.: *ЛН*, т. 72, с. 29).

В рассказе очевидны некоторые литературные реминисценции, свидетельствующие о своеобразном восприятии Андреевым поэтики романтизма XIX века. Так, в сцене в ресторане, можно предположить, опосредованным образом отразились впечатления от рассказа В. Ф. Одоевского «Бал» (1833), с которым этот эпизод в «Проклятии зверя» сближает подчеркнуто экспрессивная образность. У Одоевского — это образы танцующих на балу скелетов, у Андреева — жующий и пьющий череп.

В творчестве Леонида Андреева выделяется особая группа произведений, в которых за внешней анекдотичностью, почти курьезностью сюжета скрывается трагический смысл, определяемый теми роковыми силами, которые часто распоряжаются человеческой жизнью, являются непостижимыми для «маленького» человека и губят его. Таков рассказ «Неосторожность», носящий крайне «фаталистический» характер. У наивного сельского батюшки, заинтересовавшегося достижениями техники, очевидно, была столь же наивная, неиспорченная вера в Бога, которую безжалостно разрушили и уничтожили непостижимые для его разума силы. Неуправляемый паровоз, несущийся по рельсам навстречу гибели, и жалкий, маленький человек, находящийся в нем, который также неминуемо должен погибнуть, при всем своем реалистическом жизнеподобии и превосходном андреевском юморе, становятся многозначительными образами-символами, отражающими ту же андреевскую художественную антиномию «жизнь — смерть».

Как уже было сказано, в творчестве Андреева весьма часто соседствовали различные мировоззренческие и стилевые тенденции, отражавшие сложные и противоречивые художественные искания писателя. Так, одновременно с трагедией «Анатэма», летом 1909 г. Андреев написал, по существу, антиклерикальный рассказ «Сын человеческий». Этот рассказ написан с присущим Андрееву юмором, кроме того, в нем налицо элементы сатиры и гротеска. Отказ священника от фамилии Богоявленский, так как он, по его мнению, ничего божественного не являет миру, и его желание перейти из православной веры в магометанскую — все это, разумеется, содержит много анекдотического. Идея рассказа «Сын человеческий» — протест против церковной лжи, узаконенных догм — в определенной мере перекликается с фрагментом из повести Леонида Андреева «Жизнь Василия Фивейского» под названием «Сон отца Василия» (см. т. 2 наст. собр. соч.).

Для героя рассказа Ивана Богоявленского присущи сильнейшая неудовлетворенность этой мертвой верой и обращение к чему-то возвышенному, подлинно божественному, чего он найти не может. В этом смысле отцу Ивану резко противостоят окружающие его оскотинившиеся священнослужители с их предельной бездуховностью, глупостью и ограниченностью. Отсюда трагикомический смех в рассказе.

А. А. Блок в заметке «Памяти Леонида Андреева» (1919) писал, что в произведениях Андреева «поставлен нелепый, досадный вопрос, который предлагают дети: «Зачем?» 〈...〉 Взрослые на этот вопрос ничего не в состоянии ответить; но они также не в состоянии признаться в том, что не могут ответить на этот вопрос. Просто — «глупый вопрос», «детский

вопрос»; вот что мне лично кажется самым драгоценным в Л. Андрееве» (*Блок*, т. 6, с. 133).

Вновь обращается Андреев к теме революции и бунта в рассказе «День гнева», написанном в конце 1910 г. «Dies irae» — день гнева, день мести и грозной расплаты, день Ужаса и Смерти» — таков комментарий самого Андреева, определяющий смысл рассказа.

В отвлеченно-бессюжетном, аллегорическом рассказе определенно проглядывают реалии того времени — эпохи реакции. Это «день Ужаса и Смерти», наступивший после радостной и хмельной свободы.

«День гнева» с его библейско-евангельской риторикой и фразеологией содержит те стилевые черты, которые станут определяющими в стиле позднего Андреева, особенно его публицистических статей 1916—1918 гг.

1908—1910 гг.— новый этап в творческой эволюции Андреева-драматурга. Вслед за символистской драмой «Жизнь Человека» (1907) появляются такие отмеченные чертами модернизма пьесы, как «Царь Голод», «Анатэма», «Черные маски», в которых ставятся общечеловеческие и «космические», «вселенские» проблемы. Но параллельно с ними Андреев создает реалистические пьесы о студентах — «Дни нашей жизни» и «Gaudeamus», драму «Анфиса», в которых (особенно в последней) порою причудливо сочетаются реалистические и модернистские элементы.

В драме «Царь Голод» Андреев во многом опирался на приемы, найденные им в «Жизни Человека». Содержание и идея пьесы обозначены в прологе, в котором выступают аллегорические персонажи-символы — Голод, Смерть, Время. В пьесе развертывается «драма» революции, которая предсказана в прологе: восстание превращается в разгул диких, низменных инстинктов толпы. Поэтому основной идеей пьесы является возможность поражения революции, ее перерождения в разрушительную стихию бунта — рабочие, люмпены, хулиганы, воры, проститутки по воле Царя Голода разрушают машины, дома, библиотеки, музеи, убивают, истребляют друг друга. Неслучайно один из персонажей пьесы восклицает: «Не оскорбляйте революцию, это бунт!» Сам писатель говорил по этому поводу в одном из интервью: «Идею «Царя Голода» поняли как объявление банкротства революции. Может быть, я сам до известной степени виноват в том, что я так понят. Я не дал ясно понять, что здесь речь идет о простом бунте, а не об истинной революции» (Русское слово, 1908, № 82, 8 апреля, с. 3). В драме «Царь Голод» в наибольшей мере выявились экспрессионистские тенденции драматургии Андреева — в подчеркнутом схематизме образов, абстрактной символике, нарочито укрупненной плакатной выразительности гротеска.

Пьеса «Черные маски» — одно из наиболее загадочных произведений Андреева, носящее причудливо-фантастический характер. Ее действие происходит в театрально-условной средневековой Италии со всеми атрибутами символистского театра. В основу пьесы положена столь характерная для Андреева мысль о глубочайшей дисгармонии мира. Эту мысль персонифицирует главный герой — герцог Лоренцо, все существо которого находится в состоянии постоянного раздвоения. Андреев показывает, что человек — раб и бессильная жертва хаоса. Этому и служит прием «масок». Борьба Лоренцо с Черными масками приобретает в пьесе глубоко символи-

ческий смысл: в этом сумасшедшем вихре масок стираются грани между маской и истинным лицом, здравым смыслом и сумасшествием, жизнью и смертью.

В «Черных масках», при всей условной обобщенности драмы, все же проступают и очертания конкретных социально-общественных отношений, которые, разумеется, не следует истолковывать прямолинейно, но в то же время невозможно и вовсе отбросить. В годы реакции трагическое мироощущение Андреева усилилось, он не раз приходил к выводу о неспособности людей озарить жизнь светом, время реакции ассоциировалось в его сознании с темной ночью. Но мечта о подвиге, который уничтожил бы этот мрак, оставалась для писателя неразвенчанной. Ее он передавал и своим героям. Именно поэтому в финальной сцене драмы Черные маски исчезают.

В письме к Н. К. Рериху, написанном за неделю до смерти, 4 сентября 1919 г., Андреев вспомнил «Черные маски» и дал им несколько неожиданный комментарий: «Вот она, окруженная зваными... или незваными Революция, зажигающая огни среди мрака и ждущая званых на свой пир... А вот и они, частицы великой человеческой мглы, от которой гаснут светильники» (Родная Земля. Сб. 2-й. Нью-Йорк, 1921, с. 40—41).

В пьесе «Анатэма» Андреев создал своего рода стилизацию библейского сюжета. Пролог представляет собой спор Бога с Анатэмой—Сатаной, а все основное содержание пьесы — история жизни, подвига и смерти Давида Лейзера. Сюжет «Анатэмы» имеет явственную перекличку с евангельским сюжетом о трех искушениях Иисуса Христа в пустыне — хлебом, чудом, властью. Через все это проходит главный герой — бедный еврей Давид Лейзер. Но эксперимент, проделанный Анатэмой, завершается безысходно трагическим финалом — гибелью Давида Лейзера, так и не смогшего принести счастье обездоленным.

В образе Анатэмы, своего рода нового Мефистофеля, Андреев показывает ограниченность человеческого разума, невозможность познания сущности вещей, так как человек, по Андрееву, всегда окружен неведомым, его жизнь и судьба находятся во власти слепого рока, бессмысленного и непредсказуемого случая. Отсюда и тот цинизм Анатэмы, выражающий непредсказуемость человеческой жизни, где все происходит по воле случая. Некто, ограждающий входы в андреевской драме (как и Некто в сером в «Жизни Человека») олицетворяет эту роковую предопределенность всего мироздания.

«Анатэма» — сугубо символистская драма. Такие образы, как Железные врата, Некто, ограждающий входы — образы-символы, органически присущие поэтике Андреева.

Социально-психологические, «бытовые» пьесы, созданные Андреевым в это же время, в определенном смысле даже не противоречили символистским драмам — на традиционно реалистической, социально-конкретной основе в них в известной мере также проглядывают «космические формы», выражающиеся по преимуществу в вопиющем несоответствии (и это у Андреева часто принимает трагический характер) возвышенных запросов человеческой души реальному существованию человека в его повседневной жизни. В этом смысле Андреев-драматург продолжает чеховскую традицию. Такова одна из самых популярных пьес Андреева «Дни нашей жизни» (1908) и много с ней имеющая общего пьеса «Gaudeamus» (1910).

В этих пьесах драматический эффект достигается неожиданным и предельно обнаженным столкновением «полюсов» сознания, обрекающим героев на тоскливое разочарование. Полет фантазии на мгновение поднимает их над прозаической действительностью — и тут же обрывается. Неслучайно поэтому близкими финалами завершаются оба произведения — горьким плачем ненадолго поверивших в свою мечту людей, которых больно ударило это несоответствие мечты и реальности. Вполне понятно и бросающееся в глаза сходство главных героев пьес — Глуховцева в «Днях нашей жизни» и Старого Студента в «Gaudeamus».

Известная студенческая песня «Быстры, как волны, дни нашей жизни» выполняет в пьесе «Дни нашей жизни» роль своего рода рефрена, который подчеркивает обреченность этой надежды человека на счастье, полноту жизни, ее высокую духовность.

Точно такую же роль в пьесе «Gaudeamus» играет старинная студенческая песня «Gaudeamus igitur», которая (особенно в финальной сцене) звучит как контраст отчаянию и полному внутреннему крушению Старого Студента. Невозможно в связи с этим не вспомнить финальную сцену «Трех сестер» Чехова, в которой за сценой звучит военный марш, предельно диссонирующий своей бодрой, веселой мелодией с разбитыми жизнями людей, их несбывшимися надеждами. Сам Андреев неоднократно и по различным поводам указывал на то влияние, которое на него оказал Чехов, прежде всего драматургия Чехова.

Современная Андрееву критика упрекала писателя в том, что он сделал предметом изображения (особенно это относилось к пьесе «Дни нашей жизни») наиболее отсталую часть студенчества конца 1890-х гг., далекую от прогрессивных веяний эпохи, от общественной жизни и интеллектуальных интересов вообще и погрязшую в попойках, кутежах и любовных похождениях. В пьесе «Gaudeamus» Андреев попытался изобразить «идейного» студента в образе Стамескина, но у него получилась бледная, невыразительная фигура, лишенная всякой художественной убедительности.

Эта сторона жизни русского студенчества не была в данном случае в поле зрения Андреева-драматурга по той причине, что писателя занимала чисто психологическая сфера, конфликты сознания, бытовые детали. Именно поэтому для него не являлась главной сюжетная сторона драматического действия. Однако пьесы «Дни нашей жизни» и «Gaudeamus» написаны все же пером драматурга, во многом не порывавшего с традицией русской классической драматургии XIX века, в частности, с традицией А. Н. Островского. Так, в «Днях нашей жизни» колоритно изображены быт и нравы Москвы конца прошлого века с ее реалиями (Тверской бульвар, номера Фальцфейна на Тверской улице, церковь Большого Вознесения). Также реалистически и не без юмора описаны нравы студенческой богемы, офицерства (фон-Ранкен).

Поиски Андреевым новых драматургических и театральных форм рельефно проявились в пьесе «Анфиса» (1909). Здесь в еще большей степени очевидно стремление драматурга к сочетанию реально-бытового и «надбытового» планов.

Основной движущей пружиной пьесы является показ душевных переживаний героини, проявляющихся, в частности, в ее истерично-болезненном поведении, в той скандальной атмосфере, которая окутывает пьесу в целом, выражает предчувствие какой-то всеобщей катастрофы и судорож-

ные метания в поисках спасения. Главная героиня Анфиса — образ «инфернальной женщины» в духе Достоевского — несомненная предтеча Екатерины Ивановны в одноименной пьесе Андреева.

В «Анфисе» значительное место занимает во многом отвлеченный и условный образ Бабушки — «древней старухи неведомых лет и всеми позабытой неведомой жизни», вяжущей на спицах в унисон со «слепыми миганиями» маятника часов, как бы отсчитывающего мгновения жизни. Этот персонаж присутствует во всех четырех актах пьесы наподобие хора в древнегреческой трагедии и в то же время играет роль своего рода безмолвного нравственного судьи происходящего в пьесе. Это — отвлеченный образ-лейтмотив, как бы молчаливо сопутствующий тем остродраматическим коллизиям, которые представлены в пьесе, но никогда не вмешивающийся в них.

В «Анфисе» особую роль играют ремарки психологического и, можно сказать, во многом повествовательного характера, в разных местах заменяющие развитие драматического действия. Ремарки, изображающие и объясняющие интерьер каждого действия пьесы, весьма напоминают описания в психологической прозе с их обстоятельностью. Именно в этом Андрееву удалось в значительной мере воплотить свои идеи нового театра, приближающего драму к повествовательным литературным жанрам — повести и роману.

«Анфиса» ознаменовала собой поворот исканий Андреева-драматурга к театру «панпсихэ», в котором, по мнению писателя, основную роль должны были играть человеческие характеры, эмоции, страсти, человеческая душа во всех ее многообразных проявлениях. В этой «панпсихологической» драме ведущее место должен был занимать, по мысли Андреева, углубленный и укрупненный психологизм. Писатель очень остро чувствовал необходимость обновления реалистической драмы — «старой салопницы», по его выражению,— на путях художественной условности, что предвосхищало многие открытия театра XX века.

Выражаю признательность В. Н. Чувакову за любезное предоставление мне ряда ценных материалов.

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

ИВАН ИВАНОВИЧ

(Стр. 7)

Впервые — в издании «Наш журнал». СПб., 1908, № 1.

Замысел рассказа возник у Андреева еще в 1906 г., о чем свидетельствуют строки из письма к А. С. Серафимовичу, в котором Андреев говорит о своем намерении изобразить революцию с точки зрения околоточного надзирателя: «*Как* их хвалят, *как* они получают награды, *как* они расправляются, *как* они думают. Трудно только выдержать искренность» (Московский альманах, 1926, кн. 1, с. 294).

Рассказ остался неизвестным широкой публике, так как весь тираж «Нашего журнала» за 1909 г. был конфискован и уничтожен в связи с

помещенными в журнале материалами, связанными с революционным движением. Сохранился экземпляр журнала с пометками цензора, красным карандашом отчеркнувшего ряд «опасных» мест. Отчеркнутые фразы не вошли в текст рассказа при переиздании в 7 томе Собрания сочинений Л. Андреева (1913). Так, были сокращены фразы: «...Кого он у дверей поставил? *Архангела, полицейского*». «Толстый, *пьяный* офицер неподвижно сидел в седле, *по земле от хмеля ходить не мог: ноги были мягки,* и тусклыми глазами смотрел попеременно то на околоточного, то на пленника» (*ЦГИА*, ф. 776, оп. 9, ед. хр. 1342 — выделенные курсивом слова были исключены Л. Андреевым).

Критика не откликнулась на публикацию рассказа в Собрании сочинений, посчитав его уже незлободневным.

ПРОКЛЯТИЕ ЗВЕРЯ

(Стр. 17)

Впервые с посвящением «А. М. А.» (то есть памяти покойной жены А. М. Андреевой-Велигорской) — в альманахе «Земля». М., 1908, № 1.

Создание рассказа было навеяно впечатлениями от пребывания Андреева в Берлине в 1906 г.

Рассказ проникнут «болью воспоминаний», так как в Берлине 2 ноября 1906 г. после родов умерла жена писателя А. М. Андреева-Велигорская. «Большой городской лес», изображенный в «Проклятии зверя»,— Грюневальд, где Андреев с женой поселились в сентябре 1906 г.

Критик А. А. Измайлов в одной из статей приводит слова Андреева о том, что он нигде в рассказе прямо не говорит о том, что действие происходит за границей. Это не было главным для писателя. В письме к тому же Измайлову от 18 февраля 1908 г., разъясняя смысл рассказа, Андреев писал: «Ей-Богу, в Германии очень много собак, запряженных в повозку,— это просто рабочие собаки, которые возят дрова, овощи, молоко и т. п. Я и сам удивился, увидев такую собаку, и принял за сумасшедших людей, которые ее запрягли,— как Вы приняли сумасшедшим «меня», думая, что это я запряг. И поклонился «я» им обоим, человеку и собаке, как все тем же жертвам «города», обрекающего на рабий труд и делающего мрачным то, что должно быть свободно и весело. Вы знаете, как приятно видеть играющую собаку? И помните, что говорил хотя бы тот же Ницше об «игре»? Действительно, сумасшествие запрячь собаку — как запрячь и человека!» (ИРЛИ, ф. 115, оп. 3, ед. хр. 10). Предельная обнаженная эмоциональность рассказа заставила Андреева в том же письме к Измайлову признаться в том, что его герой — «сумасшедший».

Современная Андрееву критика отмечала автобиографизм рассказа, и его напряженную эмоциональность, и гротескность многих его образов.

В целом критические отклики на рассказ Андреева были сдержанно-скептическими. Таковы рецензии М. О. Гершензона (Вестник Европы, 1908, № 3, март, с. 404—406), Н. М. Архангельского (Русские ведомости, 1908, № 29, 5 февраля), А. Ачкасова (Киевская мысль, 1908, 11 марта).

Ю. И. Айхенвальду принадлежит отрицательная, несколько даже издевательская оценка рассказа Андреева, который показался ему фальши-

вым: «Г. Андреев много шумит, пускается в риторику и мнимое глубокомыслие ⟨...⟩ — все по поводу того, что в большом городе один человек будто бы до ужаса походит на другого. Но все усилия автора не приводят к убедительности. Он не сумел доказать нам, что город его удручает. Выносишь такое впечатление, словно г. Андреев обобщил какое-нибудь мимолетное свое настроение и уверил себя, что о городе надо писать именно так, как он пишет, что он предварительно составил себе философию города и из нее уже дедуцировал, а вовсе не пережил реально свои ощущения» (Русская мысль, 1908, № 3, с. 45).

По свидетельству Д. П. Маковицкого, в начале 1910 г. рассказ Леонида Андреева читали в Ясной Поляне, и Л. Н. Толстой высказался о нем двойственно: «Описание города — восхитительно! Теперь я буду хохотать! — и передал Софье Андреевне — читать вслух. Потом сам продолжил читать и сказал: «Длинно и в конце скучно» (*ЛН*, т. 90, кн. 3. М., 1979, с. 76). По всей вероятности, Толстому, известному своими антиурбанистическими настроениями, нападками на прогресс и цивилизацию, в чем-то оказались близкими и понятными некоторые мотивы рассказа. Андреевская же символика была активно неприемлема для него, вызывая иногда смех, а чаще всего крайнее раздражение.

Рассказ переведен на немецкий (1907, до публикации в России) и болгарский языки (1908, 1912).

Стр. 38. *...благородный гнев библейского Иова... гневные упреки Каина...*— Имеется в виду Книга Иова из Библии, где говорится о ропоте Иова, которому Бог послал испытания, а также известное библейское сказание о Каине и Авеле (Бытие, 4, 1—17), в котором Каин упрекал Бога за то, что тот не принял принесенной ему жертвы.

РАССКАЗ О СЕМИ ПОВЕШЕННЫХ

(Стр. 48)

Впервые — в «Литературно-художественном альманахе» издательства «Шиповник», кн. 5, СПб., 1908, с посвящением Л. Н. Толстому в 1909 г. рассказ вошел в шестой том Собрания сочинений Л. Андреева, выпускавшегося издательством «Шиповник», и тогда же выпущен отдельным изданием И. П. Ладыжниковым в Берлине.

«Рассказ о семи повешенных» явился откликом писателя на массовые смертные казни периода столыпинской реакции. Отвечая Горькому, отношения с которым в эту пору предельно обострились, на упрек в том, что в погоне за славой и деньгами он якобы пишет дурные вещи, Андреев писал 28 марта 1912 г.: «Семь повешенных» — правда, этот рассказ имел успех, но если здесь я был лакеем, то я прислуживал за одним столом с Толстым, который в ту же пору писал свое «Не могу молчать» (*ЛН*, т. 72, с. 330).

Андреев создавал рассказ с огромным чувством боли и в состоянии крайнего нервного напряжения. «...Я только что отошел от новой работы, которая меня измучила,— передавал в печати слова Андреева Измайлов.— Я написал новый рассказ с простым названием — «Рассказ о семи повешенных». Как догадываетесь, это совсем на близкие нам темы. Я вдумыва-

юсь в психологию семерых, обреченных на смертную казнь, из тех, о которых мы каждый день утром читаем в газетах: «Семеро приговорены в Риге», «четверо в Ревеле» и т. д. Теперь эти впечатления — сидения в тюрьме под одной мыслью о предстоящей смертной казни. 〈...〉 Может быть, вы не поверите и вам покажется рисовкой, но постоянной думой об этом, постоянным постановлением себя на место приговоренных я создал себе адское настроение, которое сгустилось в последние дни до крайней точки. 〈...〉 Не дальше как несколько дней назад я понял, в чем секрет. Я просто так фиксировал свою мысль на психологии моих несчастных семерых, что и сам невольно разделял их предсмертную тоску» (Измайлов А. А. На первом чтении «Рассказа о семи повешенных».— Новое слово, 1909, кн. 2, с. 14).

В основу андреевского произведения были положены реальные события — покушение революционеров-террористов на министра юстиции И. Г. Щегловитова, казненных через повешение в местечке Лисий Нос под Петербургом на рассвете 17 февраля 1908 г. О казни тогда сообщали газеты. Как выяснилось впоследствии, выдал их полиции известный провокатор Е. Ф. Азеф. Герои Леонида Андреева имели также своих реальных прототипов. Так, прообразом Вернера был ученый-естествоиспытатель Всеволод Лебединцев, с которым писатель был знаком. Черты реально существовавших людей — революционеров Елизаветы Лебедевой и Лидии Стуре воплотились в образе Муси.

В «Рассказе о семи повешенных» много и других жизненных реалий — так, о суде над крестьянином-эстонцем Вебером, ограбившим усадьбу и убившим старую помещицу, Андреев читал в газете «Биржевые ведомости» (1908, 15 февраля). Это дало толчок писателю для создания образа Янсона. Рассказы об участнике многочисленных грабежей и убийств, беглом каторжнике-сибиряке Мурилине отразились в образе Мишки Цыганка. Известно также, что материалом Андрееву послужили и рассказы его близкого знакомого, художественного критика С. С. Голоушева (С. Глаголя), который по своей должности полицейского врача не раз присутствовал при казнях политических заключенных.

По выходе «Рассказа о семи повешенных» в печати критикой была замечена определенная близость андреевских революционеров-террористов к народовольцам. Например, Мусю сравнивали с Софьей Перовской. В определенной мере это подтверждают строки из письма Андреева М. П. Неведомскому, написанного еще задолго до начала работы над рассказом — в 1905 г.: «Мне хочется написать о террористах-семидесятниках, дать душу этого движения, этих людей, о которых я знаю только по книге, и я думаю теперь, что это, может, мне удастся» (Искусство, 1925, № 2, с. 266).

Однако все же это не стало главным для Андреева. Самым важным для него оказался показ ужаса смертной казни. В первоначальном варианте Андреев в публицистической форме выражал свою позицию в отношении разгула самодержавного террора: «Это происходило в то мутное и страшное время, когда как бы пошатнулись разум и совесть части человечества. В мутное, как всегда, но спокойное русло жизни вливались отовсюду ярко красивые ручейки чистой человеческой крови. Каждый день в разных концах страны совершались убийства: и в городе, и в деревне, и на дороге; и каждый день в разных концах страны люди веревкою

давили других людей, называя это смертной казнью через повешение... Убийства и казнь стали необходимою и естественною приправою каждого дня, придавая ему горький и ядовитый вкус...» (Цит.: Черников А. П. К творческой истории «Рассказа о семи повешенных» Л. Андреева.— Записки Отдела рукописей Гос. биб-ки им. В. И. Ленина, вып. 47. М., 1988, с. 5). В приведенном фрагменте явственно слышны толстовские обличительные интонации.

Из черновой редакции «Рассказа о семи повешенных» видно, что по первоначальному замыслу главным героем рассказа был Вернер, который как бы олицетворял собой авторский обличительный и гуманистический пафос. В черновом автографе есть глава «Я говорю из гроба», не вошедшая в окончательный текст (см. Приложение к настоящему тому). Она представляет собой предсмертное письмо Вернера, обращенное ко всем людям и содержащее страстный протест против смертной казни. Эта глава отличается подчеркнутой, обнаженной публицистичностью.

В окончательном тексте мысли писателя о недопустимости смертной казни, о невозможности знания человеком часа своей смерти наиболее законченно выразились в главе «В час дня, ваше превосходительство», в которой царскому сановнику сообщают время готовящегося на него покушения. Неслучайно критик В. Кранихфельд, определяя «Рассказ о семи повешенных» как «памфлет против смертной казни», особо выделяет слова из главы «В час дня, ваше превосходительство»: «И не смерть страшна, а знание ее».

Знаменитая статья Л. Н. Толстого «Не могу молчать» была начата через неделю после опубликования «Рассказа о семи повешенных». И можно полагать, что андреевский рассказ явился своего рода одним из невольных импульсов для написания Толстым статьи против смертных казней, бывших самым болезненным вопросом дня.

Но самому Толстому «Рассказ...» показался психологически неубедительным, ему была чужда и непонятна андреевская стилевая манера. По свидетельству Н. Н. Гусева, Толстой говорил по поводу андреевского рассказа: «Отвратительно! Фальшь на каждом шагу! Пишет о таком предмете, как смерть, повешение, и так фальшиво!..» (Гусев Н. Н. Два года с Л. Н. Толстым. М., 1973, с. 162). Несколько позже, 1 января 1909 г., Гусев вновь записывает в своем дневнике резко отрицательное суждение Толстого о «Рассказе о семи повешенных»: «Такие темы, как свидание приговоренного с матерью, за которые и большой писатель не сразу взялся бы, и прямо набор слов, самый смелый, бессовестный...» (там же, с. 227).

Однако революционеры Н. А. Морозов и И. О. Стародворский, пережившие ожидание смертной казни, замененной им потом пожизненным заключением в Шлиссельбургской крепости, нашли, что Л. Андреев в целом верно и художественно убедительно передал психологию приговоренных. Присутствуя на первом чтении «Рассказа о семи повешенных» на квартире Андреева в Петербурге 5 апреля 1908 г., оба они отдали должное громадному художественному таланту писателя. «Меня удивляет,— говорил Стародворский,— как вы, человек, не переживший на самом деле тоски неизбежной смерти, могли проникнуться нашими настроениями до такого удивительного подобия. Это все удивительно верно» (Измайлов А. А. Литературный Олимп. М., 1911, с. 291).

Другого мнения придерживался Горький, который много лет спустя

писал, что «революционеры «Рассказа о семи повешенных» совершенно не интересовались делами, за которые они идут на виселицу, никто из них на протяжении рассказа ни словом не вспомнил об этих делах. Они производят впечатление людей, которые прожили жизнь неимоверно скучно, не имеют ни одной живой связи за стенами тюрьмы и принимают смерть, как безнадежно больной ложку лекарства» (Горький А. М. Собр. соч. в 30-ти томах. Т. 24, М., 1953, с. 63).

«Рассказ о семи повешенных» получил огромный общественный резонанс благодаря своему острозлободневному содержанию, страстному протесту против смертных казней. Многочисленные рецензенты называли Андреева «великим художником», его рассказ «шедевром» (Современное слово, 1908, 16 мая, № 211; Бодрое слово, 1909, № 2, с. 61), утверждали, что в «Рассказе о семи повешенных» Андреев «поднимается до вершины Толстого» (Одесские новости, 1908, 11 мая, № 7515).

По словам критика В. Кранихфельда, Андреев в «Рассказе о семи повешенных» показал весь «ужас безумия, которое несет с собой смертная казнь», поэтому андреевское произведение, по мнению критика, «типичнейший цветок, выросший на почве нашей истинно русской конституции» (Современный мир, СПб., 1908, № 6, с. 97, 108). Говоря об образах революционеров-террористов, критик подчеркивал их как бы вневременной, общечеловеческий характер. Так, образ Муси, пишет Кранихфельд, «говорит нам гораздо больше о христианской мученице, которая жила и умерла в состоянии религиозного экстаза, чем о современной террористке» (там же, с. 107).

В реакционной печати высказывалось мнение, что «Рассказ о семи повешенных» — восторженный дифирамб революционерам (Братский листок, 1909, 9 августа, № 167), писатель обвинялся в намерении «убить в русских читателях чистоту, красоту души и религию» (Живое слово, 1908, № 158, 23 июля).

А. А. Блок в статье «Вопросы, вопросы и вопросы» (ноябрь 1908 г.) назвал «Рассказ о семи повешенных» «одним из сильнейших произведений Андреева» (*Блок*, т. 5, с. 339). Высоко оценила рассказ Андреева и марксистская критика, в частности В. В. Воровский, который назвал его «реалистичным по существу» (Воровский В. В. Литературная критика. М., 1971, с. 275).

Рассказ был переведен на многие языки: еврейский (1908), эстонский (1908), болгарский (1908), латышский (1908), итальянский (1908, 1919), немецкий (1908), шведский (1908), татарский (1909), армянский (1909), польский (1909), английский (1909), румынский (1910), французский (1911), испанский (1911), голландский (1918).

Стр. 109. *Мою любовь, широкую, как море, вместить не могут жизни берега.*— Из стихотворения А. К. Толстого «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...» (1858).

Стр. 110. *Цыганок сказал: «Буде, батя, дурака ломать, ты меня простишь, а они меня повесят. Ступай, откудова пришел».*— Эти слова были вычеркнуты автором по цензурным соображениям. В настоящем издании восстановлены согласно желанию Л. Андреева видеть их в бесцензурном издании, выраженному им в письме к переводчику Герману Бернштейну (об этом письме см. на с. 622—623 наст. тома).

МОИ ЗАПИСКИ[1]

(Стр. 113)

Впервые — в альманахе «Шиповник», кн. 6. СПб., 1908. Одновременно (без указания года) выпущено в издательстве И. П. Ладыжникова в Берлине.

Впоследствии, отбирая произведения, которые должны быть включены в его посмертное собрание сочинений, Андреев назвал «Мои записки» лучшим своим рассказом (Leonid Andreyev. A critical study by Alexander Kaun. New York, 1924, p. 328).

По воспоминаниям Горького, работу над «Моими записками» Андреев начал еще в 1907 г. на Капри (см. очерк «Леонид Андреев».— Горький М. Полн. собр. соч. Художественные произведения в 25-ти томах, т. 16. М., Наука, 1973, с. 349). Первоначальный замысел повести в форме дневника у Андреева родился, по-видимому, после его споров с Горьким по поводу пьесы «Савва» и трактовки им главного персонажа — борца-анархиста Саввы Тропинина. Не принимая упрека Горького, что в Савве он исказил еще не тронутый русской литературой характер юноши-мечтателя, стремящегося возбудить в народе своем «разумную энергию», Андреев решает как бы продолжить пьесу и написать «Дневник Саввы Тропинина». Живший в то время на Капри К. П. Пятницкий 6 февраля 1907 г. упоминает в своем дневнике о разговоре с Горьким, который советовал Андрееву для нового произведения «воспользоваться собственным дневником» (ИМЛИ, Архив А. М. Горького). Однако позже план Андреева изменился и свою острую полемику с Горьким он перенес в другую плоскость: безымянный герой «Моих записок» превратился в прямого антипода Саввы, а вся повесть-дневник стала язвительным выпадом против проповеди Л. Н. Толстого о непротивлении злу насилием.

Как это нередко бывало у Андреева, долго вынашивавшего свои произведения, но быстро, стремительно их писавшего, ему необходим был какой-то импульс, эмоциональный толчок извне, какой-то, казалось, незначительный случай из жизни, чтобы творческий замысел находил единственную для него возможную форму художественного воплощения. «Однажды,— вспоминает К. И. Чуковский,— ему попалась газета «Одесские новости», где известный авиатор Уточкин, описывая свой полет, говорил: «При закате солнца наша тюрьма необыкновенно прекрасна». Такое любование «нашей тюрьмой» очень поразило Андреева, и через несколько дней он уже писал свою знаменитую повесть «Мои записки» — о человеке, полюбившем свою тюрьму,— и закончил ее теми же словами: «При закате солнца наша тюрьма необыкновенно прекрасна!» Причем придал этим словам неожиданный символический смысл» (Чуковский К. Из воспоминаний. М., Советский писатель, 1959, с. 269). Примечательно, что и раннее заглавие «Моих записок» также было «Наша тюрьма».

В. А. Поссе, ссылаясь на свидетельство литератора В. В. Брусянина, писал, что когда Андреев «создавал «Мои записки», то до такой степени перевоплотился в Льва Николаевича, что у него даже изменился почерк, и он их написал почерком, очень похожим на почерк Толстого» (Поссе В. А. Мой жизненный путь. М.—Л., изд. «Земля и фабрика», 1929,

[1] Комментарии к повести «Мои записки» написаны В. Н. Чуваковым.

с. 165). Хранящийся ныне в Гуверовском институте (Станфорд, США) черновой автограф «Моих записок» (начато 15 и окончено 19 августа 1908 г.) не подтверждает свидетельства Брусянина, что, однако, не делает его совершенно не заслуживающим внимания, поскольку Брусянин — первый биограф Андреева — был хорошо осведомлен о «тайнах» творчества писателя. Сам Андреев в беседе с актером Н. Н. Ходотовым сказал, намекая на «Мои записки»: «Мое любимое произведение то, что так напугало старика» (Ходотов Н. Н. Близкое — далекое. Л.—М., Искусство, 1962, с. 213). При несомненной направленности «Моих записок» против некоторых сторон религиозно-этической проповеди Толстого, идей смирения и непротивления злу, было бы ошибкой вслед за В. А. Поссе утверждать, что Андреев изобразил Толстого в образе героя «Моих записок» и что вся повесть эта — кощунственное надругательство над учением Толстого. Нельзя не согласиться со словами современного исследователя, что «Андреев попытался в иронически парадоксальной форме представить лишь тот логический конец, результат, к которому должны привести идеи пассивности, непротивления (не только толстовские) — к полной отрешенности от жизни, к бездеятельности, к «формуле железной решетки», к признанию наиболее целесообразной жизнь человека в одиночной камере с самым строгим режимом» (Беззубов В. Леонид Андреев и традиции русского реализма. Таллинн, 1984, с. 38). По наблюдениям венгерской исследовательницы Лены Силард, «Мои записки» написаны Андреевым под свежим впечатлением от повергшей его в негодование статьи А. В. Луначарского «Тьма», напечатанной в сборнике «Литературный распад», 1908, кн. 1 и обвинявшей Андреева в «мещанстве» и «нигилизме». В своей повести, по мнению Лены Силард, Андреев пародирует стиль Луначарского и скрыто полемизирует не только с его статьей «Тьма», но и с другими его работами (Studia Slavica Hungariacae. XVIII, XX. Budapest, 1972, 1974, S. 303—342 и S. 41—89, 271—304). См. также: Генералова Н. П. «Мои записки» Леонида Андреева (к вопросу об идейной проблематике повести).— Русская литература, 1986, № 4, с. 183.

«В «Моих записках» я дал злодея»,— признался как-то Андреев брату (Андреев Андрей. Из воспоминаний о Л. Андрееве.— Красная новь, 1926, № 9, с. 221). В этой связи большой интерес приобретает развернутая авторская характеристика героя «Моих записок», данная автором в интервью сотруднику газеты «Биржевые ведомости» А. А. Измайлову: «Вы спрашиваете, убийца ли герой «Моих записок», или, как он уверяет, жертва судебной ошибки? Вначале я был убежден в его невиновности, но с некоторого момента я стал *подозревать* его в убийстве. Да, да, я положительно подозреваю, что старикашка лжет, повторяя чуть ли не на каждой странице уверения в своей невиновности. Вы не удивляйтесь тому, что я не знаю этого наверное. Между тем это так. Я действительно не могу считать себя в разрешении вашего вопроса авторитетней всякого другого человека. Ведь мы — писатели — вовсе не властны заставлять своих героев проделывать все, что нам вздумается, но только то, что соответствует их духу и характеру. Иначе получится фальшь, а не художественное произведение. Таким образом, наша власть над создаваемыми нами персонажами чисто призрачная. С некоторого момента создаваемый мною образ оживает и начинает жить самостоятельною, независимою от моей воли жизнью; как же могу я быть ответственным за его поступки и почему я должен знать их лучше,

чем кто-либо другой? Я сказал, что я *подозреваю* героя «Моих записок» в убийстве. Я подозреваю его по некоторым, малоощутимым признакам и по тому, что дойти до такого извращения мысли, до таких чудовищных логических построений мог только человек, за плечами которого стоит какое-нибудь тяжкое преступление. Мне легко проследить и тот моральный путь, который прошел он после преступления. Молодой ученый, доктор математики, совершает почти невероятное по своей жестокости тройное убийство отца, брата и сестры, сопровождавшееся надругательствами над трупами. Такие убийства бывают, и во время совершения их личность человека как бы раздвояется, рука его действует бессознательно по воле страшных инстинктов, дремавших дотоле где-то в глубине его души. Но вот на суде перед ним снова проходит страшная картина убийства со всеми подробностями, и на этот раз уже при ином душевном состоянии, когда по-прежнему разум вступил в свои права и задавил кровавые инстинкты. Разумеется, она так потрясает и поражает пришедшего в себя преступника, что даже самому себе он боится сознаваться в своей вине. И уж, конечно, он не в силах признаться в том другим людям. И, даже представ перед престолом Бога, он будет твердить: нет, невиновен. 〈...〉 Он (герой «Моих записок».— *В.Ч.*) не перестает лгать всю жизнь, и нет ничего удивительного в том, что даже Христа заподозрил он в том же» (А. И. Леонид Андреев о своей повести.— Биржевые ведомости, 1908, № 10797, 6 ноября, веч. вып.).

15 сентября 1908 г. выходящая по понедельникам петербургская газета «Эпоха» (№ 1) в информационном отделе «Листки писателя» сообщила о завершении Андреевым «Моих записок» и о том «потрясающем впечатлении», которое произвела рукопись на первых ее читателей. В следующем № 2 той же газеты от 22 сентября 1908 г. было передано краткое содержание «Моих записок» и опубликована подборка наиболее впечатляющих цитат из повести. Всполошившаяся цензура наложила запрет на этот номер газеты, а против ее редактора М. П. Ялгубцева, обвиненного в «порнографии» и «кощунстве», было возбуждено уголовное дело (*ЦГИА*, ф. 776, оп. 9, ед. хр. 1368/48; см. также «Известия книжных магазинов Товарищества М. О. Вольф», 1910, № 5, стб. 85). Все это, конечно, не могло не подогреть интереса к новому произведению Андреева.

После напечатания всей повести в альманахе «Шиповник» большинство столичных и провинциальных газет посвятило ей обстоятельные рецензии. Н. Сербов писал, что «Мои записки» производят впечатление «страшного кошмара» (Столичная молва, 1908, № 22, 20 октября). «Психопатологической вещью» назвал повесть А. Измайлов (Биржевые ведомости, 1908, № 10741, 4 октября, веч. вып.). Анонимный литературный обозреватель газеты «Донская жизнь» (1908, № 234, 11 октября) определил замысел Андреева в «Моих записках» словами: «картина душевной жизни психически больного арестанта». Критики ставили «Мои записки» в один ряд с такими произведениями Андреева, как «Стена», «Бездна», «Ложь» и «Мысль». «Андреев — поэт настроения,— отмечал А. Радин.— Внутренние глубокие переживания души — вот истинная область его творчества. У него мы почти не встречаем образов, а одни только схемы, но зато внутренние переживания он умеет изображать с необыкновенной силой» (Киевские вести, 1908, № 308, 19 ноября). Не без основания писали о том, что «новая повесть Андреева является дальнейшей разработкой тех же вопросов, которые затронул Достоевский» (Б о ц я н о в с к и й Вл.—

Новая Русь, 1908, № 75, 29 октября). Влияние Ф. М. Достоевского на Андреева отмечает и А. Д. Альман, автор брошюры «Леонид Андреев. «Мои записки» (Саратов, 1908).

В рецензии Боривого (Д. П. Якушева) говорилось, что «Мои записки» — это «язвительная сатира, написанная кровью израненного любящего сердца. Ее жестокая мудрость — это горечь оскорбленной любви к людям. Ее издевательство — самобичевание. И какая это великолепная сатира!» (Голос правды, 1908, № 921, 16 октября). «Пессимизм г. Андреева,— утверждал С. О. в «Одесских новостях», 1908, № 7635, 5 октября,— обостряется в его новом произведении с такою же силой, какой высоты достигает его сатирический и обличительный пафос, ядом пронизанный и со злостью выливаемый на головы современных культурных людей, кичащихся своим гуманизмом, искусством и утонченностью взаимных человеческих отношений». Ощущая философский подтекст произведения, другой рецензент утверждал, что Андреев в образе центрального персонажа «Моих записок» — «воплотил не живое лицо, не жизненный тип, а дал «символ» мучающей его проблемы» (Н. С-к и й.— Старый владимирец, 1908, № 87, 18 ноября). Не «подлежал сомнению» и общий «саркастический тон» повести для К. И. Арабажина, сопоставившего «Мои записки» с пьесой Андреева «Савва» (А р а б а ж и н К. И. Леонид Андреев. Итоги творчества. Литературно-критический этюд. СПб., изд. «Общественная польза», 1910, с. 212—220).

Одновременно демократическая критика осуждала пронизывающие сатиру Андреева настроения отчаяния и безысходности. Так, М. Морозов в статье «Ужас бесцельности» писал: «Как и всегда у Леонида Андреева, замысел в «Моих записках» огромный и мощный, ⟨...⟩ но по мере того, как контуры предугадываемых образов тщательно обрисовываются, а бледные, слепые силуэты заполняются краской,— наступает разочарование» (Вершины, кн. 1. СПб., 1909, с. 221—222). Очень резкую критику встретили «Мои записки» у Горького. В письме к В. Л. Львову-Рогачевскому от декабря 1911 г. он писал, что «Андреев совершенно лишен общественного инстинкта», «упорно доказывает себе самому и читателю всегда одни и те же два — или вернее — одно положение: бытие бессмысленно, а стало быть, и всякое деяние бесцельно» и что «лучше всего это выражено им в «Моих записках» — это верный ключ, коим отпираются все «тайны» его творчества...» (*ЛН*, т. 72, с. 450). Анализ сильных и слабых сторон повести Андреева сделан в статье В. В. Воровского «Правда» или «ложь», впервые, за подписью «П. Орловский», напечатанной 12 октября 1908 г. в № 248 газеты «Одесское обозрение». «Невольно думается,— подчеркивал Воровский,— что за печальным рассказом о человеке, постигшем формулу железной решетки, кроется другой, еще более печальный рассказ: это трагедия современного интеллигента, отколотого от общества, одинокого со своей сверлящей мыслью» (В о р о в с к и й В. Сочинения, т. 2, Соцэкгиз, 1931, с. 269).

«Мои записки» переведены на английский (1910), французский (1913), испанский (1926) языки.

Стр. 123. *Шопенгауэр* Артур (1788—1860) — немецкий философ-иррационалист, представитель волюнтаризма — идеалистического течения, рассматривающего волю как высший принцип бытия.

Стр. 128. *...как Ньютону — его бином, Кеплеру — его законы враще-*

ния светил.— Речь идет об английском математике, механике, астрономе и физике Исааке Ньютоне (1643—1727), сформулировавшем основные законы классической механики, и о немецком астрономе Иоганне Кеплере (1571—1630), открывшем законы движения планет относительно солнца.

Стр. 130. *...микельанджеловского Моисея...*— Имеется в виду знаменитая статуя Моисея, выполненная для гробницы папы Юлия II в 1515—1516 гг. итальянским скульптором, живописцем и архитектором Микеланджело Буонарроти (1475—1564).

Стр. 173. *Подобно... Агнцу...*— Агнец — барашек или молодая овца, приносимое в жертву животное. Символическое наименование Иисуса Христа, принесшего себя в жертву за грехи мира.

СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

(Стр. 183)

Впервые — в альманахе «Шиповник», кн. 9. СПб., 1909.

Рассказ написан в весьма характерном для Андреева плане совмещения «вечных» вопросов человеческой жизни с очень конкретными и колоритными реалистическими деталями. В. В. Брусянин в своей книге о Андрееве засвидетельствовал высказывание самого писателя о рассказе: «Я не могу ошибиться в описании деталей: изображаемое лицо я вижу во всех мелочах. Может быть, герой моего «Сына человеческого» неясно представляется другим, но я-то вижу как живого этого деревенского попика, его бороду, глаза и т. д.» (*Брусянин*, с. 84).

В беседе с А. А. Измайловым Андреев подтвердил промелькнувшее в прессе сообщение, что его рассказ написан под впечатлением от газетного сообщения о вятском священнике, который захотел из православия перейти в магометанство. «Да, это правда. Сверх того, в газетной хронике была еще одна великолепная репортерская фраза: «Горе семьи священника не поддается описанию». ⟨...⟩ Как бытовой рассказ он — никакой рассказ. В нем нет быта, характерных черточек жизни этого священника в захолустье,— ничего подобного! Я и не искал бытовых красок. ⟨...⟩ Но психология священника ⟨...⟩ для меня была совершенно понятной, как психология мести отравленного злобой человека. Есть такие люди, которые дрожат каждую секунду от какой-то клокочущей в них неистребимой злобности на всех и на всё. Под этим углом понятно и то, почему он мог желать перемены своей фамилии. Как «Бог явлен» в нем, если он просто не верит в Бога!» (А. И. У Леонида Андреева.— Русское слово, 1909, № 211, 6 сентября).

Еще до выхода рассказа в свет газета «Речь» (1909, № 109, 23 апреля) поместила у себя изложение его содержания. Пересказ содержания еще не напечатанного «Сына человеческого» появился и в других газетах.

Но, по признанию многих критиков и рецензентов, ожидания, связанные с новым рассказом Андреева, не оправдались. В прессе появилось много скептических, а зачастую и прямо отрицательных отзывов. А. А. Измайлов назвал рассказ «неправдоподобным и невероятным» (Биржевые ведомости, 1909, № 11095, 20 мая). О «безвкусных балясах» Андреева писал Ю. И. Айхенвальд (Слово, 1909, № 801, 20 мая). Основной причиной

неприятия «Сына человеческого» в критике явилось то, что своего «взыскующего истину» героя автор во многом окарикатурил, как бы переместив из трагедии в фарс. Именно в таком смысле оценивал андреевский рассказ И. Голов (Б. А. Садовский). В «Сыне человеческом»,— писал критик в статье «Розы без шипов»,— как будто против воли автора преобладает *юмор*, благодаря которому новый герой г. Андреева, глупостью превосходящий предыдущих, с высоты трагедии мгновенно упадает в фарс» (Весы, 1909, № 9, с. 96—97).

Однако были и положительные отклики на андреевский рассказ. Весьма примечателен отзыв критика журнала «Вестник Европы» С. Адрианова о художественных особенностях андреевского рассказа: «Давно уже не было у Андреева такой благородной скупости на слова и образы, такой глубины и искренности настроения, такой выпуклой лепки фигур, такого соответствия между замыслом и выполнением. Как живые встают перед читателем все действующие лица повести в рамке их несложного быта и кругозора. ⟨...⟩ Сила художественного таланта позволила автору воплотить все его волнующее в формах выбранной им реальности» (Адрианов С. Критические наброски.— Вестник Европы. СПб., 1909, № 6, с. 759).

Положительную оценку рассказа высказал в письме к Горькому от 8 июля 1909 г. А. В. Амфитеатров: «Сына человеческого» Андреева ругают, а мне нравится. Если и шарж, то очень реальный. Напиши это Чехов, все бы поверили» (*ЛН*, т. 95, с. 155).

Рассказ переведен на болгарский язык (1910).

Стр. 196. *Мурмоны.*— Речь идет о мормонах, членах религиозной секты, основанной в США в первой половине XIX века.

Стр. 197. *Аще, сказано, кто соблазнит единаго от малых сих...*— Андреев использует евангельское изречение: «А кто соблазнит единого от малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской» (Евангелие от Матфея, 18, 6).

НЕОСТОРОЖНОСТЬ

(Стр. 209)

Впервые — в газете «Утро России», 1910, 14 февраля, а также в «Новом журнале для всех», 1910, февраль, № 16. Заглавие в рукописи — «Батюшка и паровоз».

Обобщенно-метафорический смысл рассказа оказался не понятым Л. Н. Толстым. По свидетельству В. Ф. Булгакова, Толстой сказал после прочтения андреевского рассказа: «Это написано каким-то непонятным, не русским языком — по-испански, должно быть. Все дело в том, что какой-то священник залез на паровоз, повернул рычаг и уехал...» (Булгаков В. Ф. Лев Толстой в последний год его жизни. М., 1957, с. 102).

ДЕНЬ ГНЕВА

(Стр. 214)

Впервые — в журнале «Современный мир». СПб., 1910, № 12. Рассказ не получил никаких откликов, оставшись не замеченным критиками.

ПЬЕСЫ

ЦАРЬ ГОЛОД

(Стр. 229)

Впервые — с подзаголовком «Представление в пяти картинах» — напечатана отдельной книгой в издательстве «Шиповник». СПб., 1908 (с рисунками Е. Е. Лансере). Отрывок «Суд над голодными» впервые появился на страницах легальной большевистской газеты «Гудок» (Баку, 1908, № 24, 23 марта) и в журнале «Былое—грядущее». СПб., 1908, кн. 4—6.

Над пьесой Леонид Андреев работал в 1907 г. На хранящейся в Гуверовском институте (Станфорд, США) рукописи ранней редакции «Царя Голода» даты: 27 сентября — 4 октября 1907 г.

По свидетельству В. В. Вересаева, первоначальное заглавие пьесы «Бог, человек и дьявол». «Однажды вечером сидели мы с ним в его кабинете. Разговорились как-то хорошо и задушевно,— писал В. В. Вересаев в своих воспоминаниях.— Андреев излагал проекты новых задуманных им пьес в стиле «Жизни Человека», подробно рассказывал содержание впоследствии написанной им пьесы «Царь Голод». В его тогдашней, первоначальной передаче оиа показалась ярче и грандиознее, чем в осуществленной форме. Леонид Николаевич говорил: «Но это — изображение бунта, а не революции» (Вересаев В. В. Собр. соч. в 4-х томах, т. 3. М., Правда, 1985, с. 401).

У Андреева был неосуществленный замысел драматической трилогии, которую должны были составить пьесы «Война», «Революция», «Бог, человек и дьявол». Однако им была написана только одна пьеса под названием «Царь Голод».

9 октября 1907 г. на квартире Андреева в Петербурге состоялось чтение автором пьесы по рукописи, на котором присутствовали А. А. Блок, С. Н. Сергеев-Ценский, С. Я. Елпатьевский и др. «Захватывающего впечатления она (пьеса.— *А. Р.*) не произвела,— впоследствии вспоминал Сергеев-Ценский,— и мнения о ней высказывались больше с точки зрения трудностей ее постановки на сцене и возможных придирок театральной цензуры» (Сергеев-Цеиский С. Н. Воспоминания.— Октябрь, 1965, № 9, с. 212—213).

После опубликования пьесы постановки ее иа сцене в России были запрещены цензурой. «Царь Голод» никогда не был поставлен на сцене профессионального театра (были попытки поставить «Царя Голода» после революции на самодеятельных сценах). Но как литературное произведение экспрессионистская драма Андреева вызвала огромное количество кри-

тических откликов. Так, А. В. Луначарский не признал за пьесой больших идейно-художественных достоинств, считая ее главным недостатком «бесконечно упрощенное, мрачное, почти клеветническое изображение рабочего класса» (сб. «Литературный распад». СПб., 1908, с. 176). «Хулиганы у Андреева делают дело вместе с рабочими,— писал Луначарский,— сопровождая революцию разбоем» (т а м ж е, с. 177—178).

Крайне отрицательный отзыв о «Царе Голоде» принадлежит Горькому, который он дал в письме к К. П. Пятницкому: «Как «произведение пера» «Царь Голод» — реакционная вещь, и если Леонид с этой тропы не сползет, быть ему в мракобесах!» (Архив А. М. Горького, т. 4. М., 1954, с. 237).

Ю. И. Айхенвальд находил, что в трагедии Андреева гражданственность преобладает над художественностью, что рабочие изображены удручающе банально и прямолинейно-шаржированно. Критик отдавал дань весьма распространенному мотиву в критических отзывах того времени, посвященных Андрееву, проводя мысль о грубости, резкости, некультурности писательской манеры Андреева. И вся пьеса, по его мнению,— «шумная, эффектная, крикливая, но пустая» (Русская мысль, 1908, № 3, с. 46).

Рассматривая андреевскую драму с точки зрения ее чисто театральных качеств, К. И. Чуковский писал: «Пьесу «Царь Голод» нужно ставить в цирке Чинизелли или на Марсовом поле, на балаганах. Она не для театрального партера. Она словно не пером написана, а метлой, шваброй,— и, когда я читаю ее, мне кажется, что я слышу, как стучат в огромный барабан.— Бум! бум! бум! На барабане сыграешь ли фугу Баха? Ее юмор вульгарен, ее символы примитивны, она вся — для последних рядов райка» (Ч у к о в с к и й К. Леонид Андреев большой и маленький. СПб., 1908, с. 25).

Э. Старк полагал, что в трагедии Андреева театральное действие заменено преимущественно машинными фокусами, что эта совершенно несценичная пьеса произведение «преимущественно кинематографическое...». «Я полагаю,— писал критик,— что актеров никаких не надо, совершенно достаточно бесстрастного чтеца в соединении с кинематографом» (Э. С т а р к (З и г ф р и д). «Царь Голод» Леонида Андреева как театральное представление.— Театр и искусство. СПб., 1908, № 25, с. 439).

Однако андреевская драма вызвала не только ругательные отзывы. Многие деятели литературы и театра, а также критики высказали положительное отношение к «Царю Голоду», желая разобраться в сложном произведении. Так, А. А. Блок, получив в подарок от Андреева экземпляр драмы, в письме к жене Л. Д. Менделеевой-Блок от 7 марта 1908 г. определил «Царя Голода» как «очень замечательное произведение» (*ЛН*, т. 89, с. 223). В статье «О театре», характеризуя свою эпоху, Блок заметил: «Кажется, ярче всех до сих пор трепет нашего рокового времени выразил тот же Леонид Андреев» и в качестве иллюстрации привел начало четвертой картины «Царя Голода» (*Блок*, т. 5, с. 257).

«Царь Голод»,— по мысли Н. Валентинова,— «обнажает трагизм социальной жизни, ставит на размышление много вопросов, и прежде всего, в первую голову — о смысле и содержании своего заключительного рефрена: «Мы еще придем». Что связывается с этим «мы еще придем» и почему «мы еще не пришли»? Читатель, внимательно прочитавший «Царь Голод», легко поймет, почему «мы» оказались побежденными и дали торжество вандалистической беспомощности победителей» (В а л е н т и-

нов Н. «Мы еще придем!» О современной литературе, «Жизни человека» и «Царе Голоде» Л. Андреева. М., 1908, с. 65).

Отмечая социальные мотивы пьесы Андреева, критик В. Ф. Боцяновский писал: «Царь Голод — ненадежный царь. Его жестокость оказалась столь же бессильной изменить железную решетку мировой гармонии, как и любовь Давида Лейзера» (Боцяновский В. Ф. Леонид Андреев и мировая гармония.— Библиотека театра и искусства. Кн. X. СПб., 1910, с. 65). Тот же критик писал, что «Царь Голод» — «это сплошной кошмар, притом кошмар страшный, удручающий потому, что от него нельзя отмахнуться, как от сновидения. За этими кошмарными образами чувствуется живая правда, правда жизни» (там же, с. 39). Последнее замечание представляется верным в том смысле, что Андреев очень остро чувствовал и с большой художественной силой изображал весь трагизм и неблагополучие жизни своего времени.

Сам же писатель достаточно высоко ставил свое произведение. В интервью корреспонденту газеты «Биржевые ведомости» в ноябре 1908 г., отвечая в основном на отзывы критики, он говорил: «Более других, из последнего написанного мною, удовлетворяет меня «Царь Голод». Большинство критиков отнеслись к этой вещи совершенно отрицательно. Но, по-моему, как преувеличенны были восторги по поводу «Семи повешенных», так несправедливы были отзывы о «Царе Голоде». Во всяком случае, я думаю, что эта вещь свою настоящую оценку получит только в критике будущего...» (Кодак. У Леонида Андреева (В скиту на Черной речке).— Биржевые ведомости, 1908, № 10806, 12 ноября, утр. вып.).

В 1921 г. пьесу поставил в Театре Пролеткульта В. В. Тихонов. В 20-е гг. неоднократно ставили в театрах Эстонии: в Таллинне (1921, режиссер П. Сепп), в Пярну (1928, режиссер А. Сярев).

В 1967 г. «Царь Голод» был поставлен в парижском театре «Амандир» (режиссер Пьер Дебош).

Пьеса была переведена на болгарский (1908), латышский (1908), еврейский (1910), английский (1911) языки.

ДНИ НАШЕЙ ЖИЗНИ

(Стр. 295)

Впервые — в 26-м сборнике «Знания», 1908. Заглавие в рукописи — «Любовь студента».

В 1907 г. Андреев предлагал А. С. Серафимовичу совместную работу над пьесой о студентах. Однако это сотрудничество не состоялось.

Андреева очень занимала тема студенчества, в которой для него было много лично пережитого, и в пьесе «Дни нашей жизни» отразились воспоминания о собственной студенческой поре, проведенной в Московском университете в 1890-х гг. А. Кауфман, хорошо знавший Андреева в ранней молодости, со слов его родственницы С. Д. Пановой, свидетельствовал: «Когда Андреев был в университете на последнем курсе, мать, переехавшая из Орла в Москву и нуждавшаяся в средствах, сдала комнату пожилой женщине, у которой была дочь-институтка. Андреев познакомился с вну-

шавшей ему симпатии девушкой и, к ужасу своему, узнал, что жилица промышляет дочерью как доходною статьей. Девушку скоро выставили из института, что окончательно развязало руки матери, и она бесповоротно толкнула дочь на скользкий путь. Однажды Андреева пригласили в гости в комнату жилицы, где было несколько человек и среди них офицер. Возмущенный тем, что ему пришлось наблюдать, Андреев вступил с матерью девушки в спор, закончившийся дракой: Л. Н. стал выгонять мать из квартиры, за нее заступился офицер, ударил Андреева шашкой по голове, но не ранил его» (Кауфман А. Андреев в жизни и в своих произведениях.— Вестник литературы. Пг., 1920, № 9, с. 3). Эта коллизия и послужила материалом для создания образов пьесы — Оль-Оль, ее матери, Евдокии Антоновны, офицера фон-Ранкена.

Пьеса «Дни нашей жизни» создавалась почти одновременно с трагедией «Черные маски», и в письме к Вл. И. Немировичу-Данченко от 9 октября 1908 г. Андреев признавался: «Чем больше я думаю над этими двумя пьесами, тем яснее вижу, что «Черные маски» предназначены для Художественного театра, «Любовь студента» же для прочих» (Архив музея МХАТ, фонд Немировича-Данченко, № 3143/3).

Премьера «Дней нашей жизни» состоялась 11 сентября 1909 г. в театре Корша. В роли Евдокии Антоновны выступила превосходная актриса М. М. Блюменталь-Тамарина. В Новом драматическом театре в Петербурге пьеса была показана 6 ноября 1908 г. Оба спектакля имели успех. Но Андреева огорчали неудачные, во многом даже низкопробные постановки пьесы в других театрах, низкий уровень театральной культуры в целом, то, что некоторые режиссеры ставили во главу угла мелодраматические и натуралистические элементы пьесы.

Критика отнеслась к пьесе Андреева по-разному. Например, рецензент «Биржевых ведомостей» увидел в андреевской пьесе только лишь «частный случай житейской хроники» (Биржевые ведомости, 1908, 7 ноября, веч. вып.).

Не понравилась пьеса Горькому. В письме к И. П. Ладыжникову от 18 декабря 1907 г. он спрашивал: «...Получили ли новую пьесу Леонида — «Любовь студента»? Вот начал валять парень...» (Архив А. М. Горького, т. 7. М., 1959, с. 172).

В провинциальной печати (Волгарь, 1908, № 297, 5 декабря) часто говорилось об «однобоком изображении молодежи». Вредной из-за идеализации пьянства и кутежей, выведения на сцену лишь студенческой богемы называл пьесу рецензент газеты «Новороссийский край» А. Инд (1908, № 260, 10 декабря). Однако ему возражал другой рецензент той же газеты (подп. «Монокль»), писавший о необходимости исторического подхода к пьесе и ее персонажам. «Да, все это было. И даже очень недавно. ⟨...⟩ Надвигалась гроза. Теперь она прошла, и жизнь отливается в новые, более осмысленные формы» (№ 262, 12 декабря).

Но были и весьма сочувственные отзывы о пьесе и ее постановках в различных театрах. Многие рецензенты писали о «жизнерадостности» и «жизненности» пьесы. Андреева называли талантливым жанристом. Н. Шебуев (Обозрение театров, 1908, № 571, 8 ноября) одобрял «Дни нашей жизни» за удачное изображение психологии «мелких душ», отмечал «великолепие» третьего и четвертого актов пьесы. О «полезности» пьесы, изображающей темные стороны жизни студенческой богемы, писал рецен-

зент газеты «Голос правды» Кесарин (1908, № 944, 13 ноября). Шумный успех пьесы при ее постановке в Одессе Лоэнгрин (Герцо-Виноградский) объяснял тягой публики к отражению реально-жизненного на сценических подмостках и подчеркивал, что в этой пьесе «более чувствуется фельетонист Джемс Линч, чем автор «Саввы» (Одесские новости, 1908, № 7670, 15 ноября).

Очень тепло была принята постановка «Дней нашей жизни» на родине писателя, в Орле (см.: В о н ф а с. Театр и музыка.— Орловская речь, 1908, № 271, 19 ноября), при этом особо отмечалось, что в зрительном зале находились прототипы героев пьесы (Орловская речь, 1908, № 273, 21 ноября).

«Дни нашей жизни» оказались самой популярной пьесой Андреева, имевшей достаточно долгую сценическую историю. В советское время пьеса шла на сценах Московского драматического театра им. А. С. Пушкина и Ленинградского театра им. Ленинского комсомола. На сюжет пьесы композитором Н. Н. Черепниным была написана опера «Оль-Оль», поставленная в 1928 г. в Германии на сцене Веймарского театра.

Пьеса ставилась в «Резиденц-театре» в Вене (1910) и в «Малом театре» в Берлине (1911).

Была переведена в 1909 г. на болгарский и латышский языки.

Стр. 298. *Из Таганской тюрьмы, из сто двадцать девятого, Воробьевы хорошо видны...*— В этой камере в 1905 г. сидел Андреев.

«Вдали тебя я обездолен...» — романс И. Ф. Деккершенка «Москва» на слова В. А. Соллогуба.

Стр. 301. *«Не осенний мелкий дождичек...»* — русская народная песня на слова А. А. Дельвига.

Стр. 302. *«Вечерний звон»* — народная песня на слова И. И. Козлова.

Стр. 303. *Мы рождены для вдохновенья, для звуков сладких и молитв* — строки из стихотворения А. С. Пушкина «Поэт и толпа» (1828).

Что затуманилась, зоренька ясная? — песенный вариант стихотворения А. Ф. Вельтмана из повести «Муромские леса».

Стр. 304. *«Ни слова, о друг мой, ни вздоха...»* — романс П. И. Чайковского на слова А. Н. Плещеева (перевод стихотворения австрийского поэта М. Гартмана). В пьесе текст романса несколько изменен.

«Быстры, как волны, все дни нашей жизни...» — студенческая песня на слова А. П. Серебрянского.

Стр. 305. *Ницше...*— Ницше Фридрих (1844—1900) — немецкий философ, представитель иррационализма и волюнтаризма. Индивидуальный культ сильной личности сочетался у Ницше с романтическим идеалом «человека будущего». В конце XIX в. его воспринимали в России как противника буржуазно-мещанской культуры.

Стр. 307. *«И ночь, и любовь, и луна...»* — романс К. Ю. Давыдова на слова Н. П. Грекова.

«Зигфрид» — музыкальная драма Рихарда Вагнера (1876), являющаяся третьей частью тетралогии «Кольцо нибелунгов».

Стр. 309. *«Из страны, страны далекой...»* — старинная студенческая песня на слова Н. М. Языкова.

«Тореадор и андалузка» — отрывок из сюиты А. Г. Рубинштейна «Костюмированный бал» (1877—1879), обработанный для духового оркестра.

Стр. 322. *«Московский листок»* — бульварная газета, издававшаяся с 1881 г. по 1918 г.

Стр. 340. *Театр Омон* — кафешантан, открытый неким Шарлем Омоном в Москве на углу Тверской улицы и Триумфальной площади.

Стр. 341. *«Так сказал Заратустра»* — намек на широкоизвестное произведение Ф. Ницше «Так говорил Заратустра».

ЧЕРНЫЕ МАСКИ

(Стр. 352)

Впервые с подзаголовком «Представление в 2-х действиях и 5-ти картинах» — в альманахе «Шиповник», кн. 7. СПб., 1908.

Замысел трагедии «Черные маски» относится ко времени пребывания Андреева в Италии, на о. Капри в 1907 г. Главному герою пьесы — герцогу Лоренцо ди Спадаро писатель дал имя каприйского рыбака. Горький вспоминал в своем очерке о Л. Андрееве, что «когда ему (Андрееву.— *А. Р.*) говорили, что «герцог Спадаро» для итальянца звучит так же нелепо, как для русского звучало бы «князь Башмачников», а сен-бернардских собак в XII веке еще не было,— он сердился: «Это пустяки» (Горький М. Полн. собр. соч. Художественные произведения в 25-ти томах, т. 16. М., Наука, 1973, с. 350), как бы подчеркивая тем самым абсолютную несущественность для своей пьесы какого бы то ни было реально-жизненного и исторического правдоподобия.

«Черные маски» — одна из самых обобщенно-символистских драм Андреева. Как о сугубо символистской драме Андреев говорил о ней корреспонденту газеты «Одесские новости»: «Поворотным пунктом моего творчества была сначала «Жизнь Человека», а теперь говорят о «Днях нашей жизни» как о повороте моем в сторону реальной драмы. Завтра я выпущу свои «Черные маски», и будет опять поворотный пункт к старому» (Одесские новости, 1908, № 7680, 28 ноября).

Сообщая в письме к В. Ф. Комиссаржевской от 19 октября 1908 г. об отказе Московского Художественного театра ставить пьесу, Андреев писал: «Отдаю судьбу «Масок» в ваши руки, дорогая Вера Федоровна. Уверен, что ваш театр сделает все возможное и покажет Художественному театру (как это было с «Жизнью Человека»), что и с малыми денежными средствами могут достигаться большие результаты. Одного мне очень хотелось бы: чтобы в заглавной роли выступил Бравич. ⟨...⟩ И одного мне только жаль: что не удалось мне создать в пьесе ни одной роли, достойной Вас; хотя в сцене в капелле перед моими глазами проходили именно вы, но этого так мало для вашей великолепной силы» (Театр, 1940, № 2, с. 116).

Премьера в театре Комиссаржевской состоялась 2 декабря 1908 г. В роли Лоренцо выступил К. Бравич. Спектакль имел средний успех.

Драма Андреева вызвала противоречивые толки и отзывы в критике. Пьесу считали в высшей степени непонятной. Поэтому перед постановкой

«Черных масок» в Москве, в театре К. Н. Незлобина (премьера состоялась 7 декабря 1909 г.), Андреев вынужден был сделать специальный комментарий в письме к режиссеру К. Н. Незлобину, носивший характер объяснения автора перед публикой накануне представления его пьесы. «Кажется, ни над одной новой вещью своею я не думал так много, как над «Черными масками»: как сделать так, чтобы стала пьеса понятнее и ближе публике,— писал Андреев.— Я не могу забыть буфетчика в театре Комиссаржевской, у которого на «Черных масках» спросили, как идет торговля, и, разведя руками, горько отвечал буфетчик: «Недоумевают — и не пьют». Как же рассеять недоумение? Гайдебуров читал перед спектаклями лекцию — не помогло и даже, как говорят, стало еще хуже. Сделать пояснения, обнажить скелет пьесы и вложить в уста герцога Лоренцо нечто в высокой степени удобопонятное: на тему о раздвоении личности, о борьбе в душе Лоренцо двух начал, мрака и света, Сатаны и Бога, о том, что мир призрачен, что обманывают нас и люди, и вещи — и мы сами обманываем себя, не зная правды? Провести ли наконец (так того желали критика и зритель) резкую разграничительную линию между реальным и ирреальным, между здоровьем Лоренцо и «болезнью» Лоренцо, наставить вех, дощечек с протянутым указательным перстом, как это делается на всех немецких тропинках и в аллегорических произведениях, дать ясную хронологию событий: сперва заболел, потом позвал гостей, или сперва позвал гостей, потом заболел? Много думал я, дважды очень внимательно перечел пьесу и, простите,— ничего сделать не могу. Не вижу возможности, да и надобности не вижу. Что бы ни говорили недоумевающие о недостатках работы, о спешности, неряшливости, непродуманности,— для меня «Черные маски», печальная судьба герцога Лоренцо, есть нечто цельное, раз и навсегда законченное и ничьего вмешательства не терпящее... даже вмешательства автора. И сколько бы я ни пояснял, никогда не поймет меня тот, кому чужды терзания совести бунтующей, печаль потерянных надежд, горе любви обманутой и дружбы попранной. Никогда не поймет меня тот, чья спокойно-комфортабельна душа, толстым здоровьем здорово ожирелое сердце, чей слух, обращенный к внешнему, никогда не обращался внутрь, никогда не слышал лязга сталкивающихся мечей, голосов безумия и боли, дикого шума той великой битвы, театром для которой издревле служит душа человека... Никогда не поймет меня тот, кто ни разу не зажигал огня на башне ума и сердца своего и не видел освященной дороги, по которой приближаются странные гости, и не понял той великой загадки бытия, по которой на зов пламени приходит тьма — эти черные, холодные, ни Бога, ни Сатаны не ведающие существа, тени теней, начала начал. Рожденные светом, они любят свет, стремятся к свету и гасят его неизбежно. И ни слова лишнего не хочу добавить к тому, кто не понимает меня и не поймет никогда. А для тех, кто понимает, лишние слова... излишни. ⟨...⟩ Боюсь, что и вас постигнет судьба тех театров, что мужественно брались за постановку «Черных масок», не поймут и вас, хотя, как я видел на репетиции, вами делается всё, чтобы довести вещь и до сознания и до чувства зрителя. Но что ж поделаешь?» (Утро России, 1909, № 47, 2 декабря, с. 6).

Во время репетиций первого и последнего действий Андреев давал актерам свои указания и пояснения. Однако сомнения и недоумения и режиссера, и актеров относительно «непонятности» пьесы так и не рассеялись. Спектакль успеха не имел.

В газетах появились весьма сдержанные, порой язвительные отзывы о постановке. П. Ярцев в своей рецензии отмечал «грубость живописной стороны спектакля». Рецензент считал, что «Черные маски» у Незлобина разыгрываются в «оперной обстановке» и, самое главное, актер, исполнявший роль Лоренцо, не справился со своей задачей. В спектакле, по мнению Ярцева, следовало бы показывать «не подлинный замок с малахитовыми колоннами», а подлинную душу герцога Лоренцо (Утро России, 1909, № 53, 9 декабря, с. 6).

Как литературное произведение «Черные маски» оценивались в критике более объективно. Но таких откликов было немного. С. Струмилин, например, отмечал крайнюю противоречивость центрального и по существу единственного образа пьесы — герцога Лоренцо, в душе которого «сталкиваются царственное и хамское или, если угодно, божеское и сатанинское начала. Сталкиваются и порождают страшную психологическую трагедию, не лишенную, однако, и глубокого социального смысла» (Струмилин С. Аристократия духа и профаны. Два идеала. СПб., 1910, с. 193). Тот же критик находил, что «безумец» Лоренцо, борющийся с Черными масками, прежде всего «великий артист» и «художник-творец» (там же, с. 192).

Критик журнала «Русское богатство» А. Е. Редько назвал «Черные маски» «горькой элегией в драматизированных формах» (Русское богатство, 1909, № 4, с. 173). Он определил пьесу Андреева как «произведение сверхзашифрованное и в то же время — обнаженное» (там же). «...На свои тяжелые переживания автор надел маски символов» (там же, с. 177). Герцог Лоренцо, сталкиваясь с масками, «убеждается,— пишет Редько,— что божеское и дьявольское далеко не исчерпывает мира. Кроме масок определенных, символизирующих, как «сердце», «ложь», «мысль», на призывные огни замка явились еще и «черные маски» (там же, с. 179). Но вместе с тем «Черные маски»,— по мнению критика,— «торжественный гимн в честь «живого огня», написанный пессимистом Л. Андреевым» (там же, с. 183).

Пьеса переведена на латышский (1908) и английский (1915) языки.

АНАТЭМА

(Стр. 396)

Впервые — в октябре 1909 г. отдельным изданием в издательстве «Шиповник» с подзаголовком «Трагическое представление в семи картинах». В том же году с подзаголовком «Трагедия в пяти действиях с прологом и эпилогом» пьеса была размножена на стеклографе петербургским журналом «Театр и искусство».

Над пьесой Андреев работал в конце 1908 г. Первоначально заглавие предполагалось по имени главного героя — «Давид Лейзер» (см. об этом в письме Андреева к А. И. Южину.— *ЦГАЛИ*, ф. 878, оп. 1, ед. хр. 26). Тему пьесы Андрееву в определенной мере подсказал эпизод, который приводит в своей книге о Андрееве Н. Н. Фатов: «В одном из больших южных городов умер очень богатый еврей, который при жизни все свое

состояние роздал нищим, и по смерти его последние пожелали схоронить богача на свои средства. При проводах меня поразил этот странный кортеж, состоявший не только из городских, но и из приехавших из уезда нищих,— под этим впечатлением написана «Анатэма» (Фатов Н. Н. Молодые годы Леонида Андреева. М.—Л., 1924, с. 252—253).

Но все же основу пьесы составляют отвлеченные философско-этические идеи, что признавал и сам автор. Именно так поставил «Анатэму» на сцене Московского Художественного театра Вл. И. Немирович-Данченко. Премьера состоялась 2 октября 1909 г. Это была вторая пьеса Андреева после «Жизни Человека», поставленная на сцене МХТ. Однако у Андреева с театром были сложные отношения, возникали и серьезные разногласия, сам писатель видел несоответствие своего «романтико-трагического» настроения «реально-трагическому» настроению театра. Немирович-Данченко вскоре после премьеры сказал в интервью по этому поводу: «...Он (Андреев.— *А. Р.*) говорит, что предпочитает хотя бы картонное геройство на сцене, лишь бы геройство, а мы говорим, что ничего картонного мы не допускаем у нас на сцене. И геройство должно быть у нас в жизненной и простой передаче. И в «Анатэме» мы этого достигли — в этом наша внутренняя победа» (Русское слово, 1909, № 243, 23 октября).

Немирович-Данченко находил в «Анатэме» наиболее важным не религиозные реминисценции и аллюзии, а общественно-философский ракурс пьесы. «Как бы всю нищету мира собирает поэт в этом произведении,— говорил Немирович-Данченко в прениях по лекции С. В. Яблоновского об «Анатэме» в Московском Политехническом музее в декабре 1909 г.,— заставляет нас прислушаться к ее воплю. Глубоко философская правда лежит в том, что эта нищета потеряла всякую веру в реальное добро и может поверить в него только как в чудо, и все чудеса, о каких она только может молить, сводятся к одному: справедливости. Вот чудо, которого ждет человечество. И когда Анатэма бросает этот многомиллионный вопль в железные врата вечности — произведение достигает громадной трагической силы. ⟨...⟩ И вот эта песнь печали и скорби — самое глубокое, самое сильное и самое красивое, что есть в произведении Андреева. В ней громадный талант Андреева избавлен от всякой риторики и близок нашему сердцу, доколе оно способно болеть скорбью других» (Архив музея МХАТ, фонд В. И. Немировича-Данченко, ед. хр. № 7269).

Художественный театр в своей постановке стремился усилить протестующее, бунтарское и богоборческое начало андреевской пьесы, что проявилось в наибольшей мере в сцене требования толпой чуда. Главную роль в спектакле играл В. И. Качалов, который создал многогранный, глубоко философский образ Анатэмы, дополнив тем самым его новым содержанием и смыслом. Посылая в подарок Качалову 16 октября 1909 г. отдельное издание пьесы, Андреев сделал следующую надпись: «Посылаю Вам, Василий Иванович, эту книгу как дань бесконечного восторга моего. В ярком образе, творя как великий художник, вы дали жизнь и краски тому, что в мечтах носилось передо мною,— и встал пред удивленным миром великий и мудрый Анатэма, ползающий на брюхе, как собака, тоскующий об истине, как богочеловек. Живите долго для людей» (цит.: *ЛН*, т. 72, с. 441). В своем ответе Андрееву Качалов писал: «Вчера сыграли в

16-й раз «Анатэму» — это в один месяц. Несмотря на сильное физическое утомление, играю с большим удовольствием и энергией и продолжаю чувствовать к вам живейшую благодарность за эту роль. Хотя вы и заставляете меня ползать на брюхе,— а это занятие очень утомительное, и прав Анатэма, который очень на это обижается,— но в то же время вы даете мне радость загораться огнем вашей души...» (там же).

Спектакль имел огромный успех, рецензенты восторженно писали об игре Качалова.

В Новом драматическом театре в Петербурге пьеса была поставлена А. А. Саниным 27 ноября 1909 года. В роли Анатэмы выступил М. Я. Муратов. Трактовку своей пьесы в «петербургской» постановке Андреев считал более соответствующей его замыслу, нежели в спектакле «художественников». Тем не менее у публики «петербургский» спектакль имел гораздо меньший успех.

9 января 1910 г. вышел циркуляр П. А. Столыпина, запретивший дальнейшие представления «Анатэмы». Травлю пьесы и автора открыла газета «Московские ведомости», обвинившая писателя в оскорблении религиозного чувства, в проведении «кощунственной» аналогии между Давидом Лейзером и Иисусом Христом. Запрещение пьесы вызвало взрыв негодования и возмущения прогрессивной художественной интеллигенции. Так, режиссер А. Я. Таиров, готовивший постановку «Анатэмы» в Риге, писал Андрееву: «...«Анатэма» в тысячах книг все же будет расходиться в Риге и по миру, и волновать сердца, и будоражить сонных довольных людей. ⟨...⟩ Сел я писать с тем, чтобы мысленно пожать вашу руку, чтобы сказать вам, что не одиноки вы в этом горе, что много сердец задернулось трауром под этим новым победным ударом пошлости, что настанет все-таки день и оживет «Анатэма», ибо это трагедия не злобы дня, а вечности, переживущей и пошлости, и «тявканье» и непонимание» (цит.: *ЛН*, т. 72, с. 442).

Впервые за рубежом пьеса была поставлена в 1911 г. в Вене режиссером Шнайнертом. Затем были спектакли, имевшие большой успех, в гамбургском театре «Талиа» (режиссер Л. Иесснер, 1912), в Чешском национальном театре в Брно (1924).

Как литературное произведение трагедия «Анатэма» относительно мало привлекала внимание критики — о ней в основном писали только в связи с театральными постановками.

Постоянные недоброжелатели Андреева, З. Н. Гиппиус и Д. В. Философов, не преминули в очередной раз поиздеваться над «некультурностью» Андреева. Очень язвительно писал об «Анатэме» Андрей Белый: «Все горе Андреева в том, что он желает быть символистом и вместо того становится, в сущности, «сентенционалистом»; облекать сентенции в сюртуки в виде кавалеров в плащах — это еще не есть символизм. Козьма Прутков ведь тогда символист куда более удачный: вспомним его бесподобную комедию «Сродство мировых сил» (Белый А. Арабески. М., Мусагет, 1911, с. 500).

Пьеса была переведена на еврейский (1908), финский (1909), английский (1910), румынский (1911) языки.

АНФИСА

(Стр. 471)

Впервые — в альманахе «Шиповник», кн. 11. СПб., 1909. Заглавие в рукописи — «Господин».

В интервью газете «Новости сезона» Андреев говорил о своей новой пьесе: «Господин» написан в реальных тонах, без той «стилизации», за которую меня так ругают г. г. критики. Почтеннейшая публика останется в этом отношении довольна. Нападая на меня за стилизацию, критики удивлялись, почему я пишу свои вещи в этом стиле. Ответ простой: каждое произведение должно быть написано в том стиле, какой для него требуется. «Голод» («Царь Голод».— *А. Р.*) нельзя было писать без «стилизации». «Семь повешенных» нельзя было писать иначе как в реальных тонах... Новая драма написана мною на сюжет из современной жизни. Понятно, что «стилизация» в этом случае неуместна» (Новости сезона, 1909, № 1819, 27—28 сентября, с. 10).

Первое чтение пьесы, еще до ее опубликования, состоялось 20 сентября 1909 г. в Петербурге на квартире директора Нового драматического театра А. Я. Леванта. На нем присутствовали писатели Е. Н. Чириков, А. С. Серафимович, С. С. Юшкевич, Б. К. Зайцев, О. Дымов, критики А. А. Измайлов, Ф. Д. Батюшков, режиссер А. А. Санин, а также актеры. Вскоре рукопись пьесы была отослана Андреевым А. И. Сумбатову-Южину в Москву, а затем 5 октября 1909 г. Андреев читал «Анфису» актерам Малого театра, где предполагалась ее постановка. Однако постановка пьесы Андреева на сцене императорского театра не была разрешена, так как театральная цензура сочла ее безнравственной. По этому поводу Андреев писал Сумбатову-Южину: «Сколько труда, сколько волнения, трата лучших сил — и все это падает жертвой полицейского гнета» (*ЦГАЛИ*, ф. 878, оп. 1, ед. хр. 626).

В Петербурге премьера «Анфисы» состоялась 10 октября 1909 г. на сцене Нового драматического театра (бывш. театра В. Ф. Комиссаржевской) в постановке А. А. Санина. Главную роль исполняла актриса О. А. Голубева, в роли Костомарова выступил В. В. Самойлов. Спектакль успеха не имел. Отзывы в прессе были более чем прохладные, сводившиеся в основном к тому, что «Анфиса» Андреева — пьеса «дурного тона», ибо в ней нет даже намека на какую-нибудь нравственную идею, что содержание пьесы — «обыкновенное распутство» (Обозрение театров, 1909, № 878, 13 октября, с. 8—10). Кроме того, критики и рецензенты на всевозможные лады твердили то, что сюжет «Анфисы» имеет реальную основу, что в ней автор пасквильным образом изобразил некую семью, живущую под Москвой. Л. Андрееву пришлось выступить на страницах печати с опровержением этого слуха (Русское слово, 1909, № 238, 17 октября).

«Анфиса» была поставлена также в Воронеже, Полтаве, Одессе, Пензе, Херсоне, Нниколаеве, Ялте, Севастополе и др. Все эти спектакли также не имели успеха, о чем свидетельствуют многочисленые отзывы в печати.

В январе 1910 г. начались репетиции пьесы в театре К. Н. Незлобина в Москве, на которых присутствовал автор. Премьера состоялась 25 января 1910 г., после чего Андрееву был преподнесен лавровый венок. В главной роли выступила Е. Н. Рощина-Инсарова, игра которой отличалась тон-

костью психологических нюансов. Ее героини несли в себе печать душевного надрыва. И актрисе удалось создать образ, наиболее адекватный авторскому замыслу.

Отзывы прессы о спектакле были весьма разноречивы, однако рецензенты отдавали должное огромному таланту Андреева и верному пониманию им законов сцены. «То, что при чтении казалось в пьесе малоинтересным, незаметным,— писал С. В. Яблоновский,— переданное на сцене — ожило, углубилось, сделалось сложней и значительней» (Русское слово, 1910, № 20, 26 января, с. 6).

С. Глаголь (С. С. Голоушев) писал, что замысел пьесы — «столкновение двух сильных, властных, богато одаренных натур». Но произошло расхождение замысла с исполнением, сместился центр тяжести: получилось вместо «трагедий воли» — «вечная трагедия пола». «...Вместо Леонида Андреева нечто из Станислава Пшибышевского» (Утро России, 1910, № 91, 27 января, с. 6).

Известный театральный критик А. Р. Кугель весьма тонко уловил сплетение символов в андреевской пьесе с изображением реальности жизни, ее обыденного хода и заметил, что само ее имя «Анфиса» — «прямо в гущу быта» (Кугель А. Р. Театральные заметки. «Анфиса» Л. Андреева.— Театр и искусство. СПб., 1909, № 42, с. 72). А Н. Н. Евреинов в отклике на постановку «Анфисы» в петербургском Новом драматическом театре писал о том, что пьеса Андреева — «с известным риском» (Аполлон. СПб., 1909, № 2, с. 32). Для того, чтобы поставить «Анфису» на сцене в соответствии с авторским замыслом, замечал Н. Н. Евреинов, «чтобы развить ее жизнеспособность, необходимы особо бережное обращение, проникновенная внимательность, чуткость и нежные-нежные руки» (там же).

Из всех пьес Андреева «Анфиса» оказалась наиболее прочно забытой, никогда более на сцене не ставилась и не переиздавалась. Лишь в 1991 г. к ней вновь обратился московский театр «Современник».

Пьеса переведена на несколько иностранных языков.

Стр. 484. *«Разбив мое сердце безбожно, она мне сказала: прости...»* — Отрывок из романса «Хоть трава не расти», слова и музыка А. М. Шмидтгофа (1890).

Стр. 497. *«Под двуглавым орлом»* — австрийский военный марш, музыка И.-Ф. Вагнера.

Стр. 511. *Шарлотта Корде* — монархистка, убившая кинжалом Ж.-П. Марата, одного из вождей французской революции конца XVIII в.

«GAUDEAMUS»

(Стр. 540)

Впервые — в альманахе «Шиповник», кн. 13. СПб., 1910.

При работе над пьесой Андреевым был использован его рассказ «Тенор» (1902), при жизни писателя не публиковавшийся (впервые напечатан в «Неделе», 1962, № 50, 9—15 декабря, с. 6—7, 23). Кроме того, в «Gaudeamus» нашел непосредственное отражение сюжет и другого

незаконченного рассказа, «Старый студент» (1900; Рукопись хранится в *ЦГАЛИ*). Пьесу «Gaudeamus» восприняли прежде всего как продолжение «Дней нашей жизни» — и для этого были определенные основания в том смысле, что это тоже пьеса о московских студентах 1890-х годов, в ней даже фигурирует имя одного из героев пьесы «Дней нашей жизни» — Онуфрий. Однако сам Андреев решительно возражал в одном из своих интервью против восприятия «Gaudeamus» как продолжения «Дней нашей жизни», настаивая на абсолютной самостоятельности пьесы (см.: Новости литературного мира. (Без подписи).— Известия книжных магазинов т-ва М. О. Вольф. СПб., 1910, № 3, стб. 38—39).

Чтение автором «Gaudeamus» состоялось на одном из собраний литературного кружка «Среда» в доме Н. Д. Телешова 27 января 1910 г.

После опубликования пьесы критики подчеркивали главным образом «узость» радостей жизни у андреевских студентов, в известной мере тем самым повторяя аналогичные оценки пьесы «Дней нашей жизни», которую порицали именно за изображение наиболее отсталой в идейном отношении части студенчества (см.: А р а б а ж и н К. И. Л. Андреев и радости бытия. «Gaudeamus».— Новый журнал для всех. СПб., 1910, № 24, с. 79). Преимущественно это относилось к образу Старого Студента, «несчастье» которого «в его духовном ничтожестве и пустоте нравственной» (т а м ж е, с. 80).

О. М. Картожинский (Оскар Норвежский) в заметке «Литературная спекуляция. «Gaudeamus» Л. Андреева» (Раннее утро, 1910, № 223, 29 сентября, с. 2) назвал пьесу Андреева «сценарием для кинематографа» и писал, что автор якобы надеялся, что «его пьеса, удовлетворяя трафаретным требованиям сцены, удовлетворит в то же время и литературным требованиям. Но ему не удалось капитал приобрести и невинность соблюсти. Он не сделал ни того, ни другого». Все в этой пьесе, по мнению критика, «нежизненно, надуманно, подогнанно» (т а м ж е).

Н. Абрамович отмечал, что Андрееву «с его постоянными темами смерти, трагической неизбежности фатума, кошмара не свойственна тема юности. Потому-то под его пером жизнь русской молодежи тускла и бескрасочна» (А б р а м о в и ч Н. Критические наброски.— Студенческая жизнь, 1910, № 30, 26 сентября, с. 10).

Столь же противоречиво и неоднозначно оценивал пьесу Н. Державин, полагавший, что студенческая среда, изображенная Андреевым, отразила «все типичные черты текущего безвременья: общественный разброд, преждевременное утомление жизнью, крушение всех идеалов и органическую боязнь какого бы то ни было дела. ...И когда за сценой хор этих молодых мужских и женских голосов поет громко, уверенно и сильно «Gaudeamus igitur, Juvenes dum sumus...», в этом пении невольно слышится не гимн молодости, полной светлых надежд и стремлений, а разбитая шарманка общественного развала и безвременья» (Д е р ж а в и н Н. «Gaudeamus» Леонида Андреева.— Тифлисский листок, 1910, № 230, 10 октября).

На сцене «Gaudeamus» впервые был поставлен в Майкопском театре 31 августа 1910 г. и имел успех (см. об этом: Майкопская газета, 1910, № 13, 2 сентября, а также: Театр. М., 1910, № 685, 3 сентября). Постановки же пьесы в других городах прошли значительно менее удачно. В Петербурге премьера «Gaudeamus» состоялась на сцене Нового драматического театра (бывшего Комиссаржевской) 16 сентября 1910 г. В Москве пьеса

была поставлена в театре К. Н. Незлобина (премьера — 21 сентября 1910 г.).

Пьеса переведена на немецкий язык (1912).

Стр. 540. *«Gaudeamus»* — старинная студенческая песня, известная в Германии с XIV в., являющаяся средневековым студенческим гимном. В России получила распространение во второй половине XIX—начале XX века в обработке немецкого писателя Киндлебена, сделанной в 1781 г.

Стр. 542. *Келькшоз* (искаж. ф р. quelque chose) — нечто, кое-что.

Стр. 552. *Безумству храбрых поем мы песню* — строка из «Песни о соколе» М. Горького.

«Травиата» — опера итальянского композитора Д. Верди (1853).

Стр. 554. *Флер д'оранж* (ф р. fleur d'orange — апельсиновый цветок) — украшение подвенечного платья невесты.

Стр. 555. *Это было давно... приморской земли...* — усеченная строка из поэмы Эдгара По «Аннабель-Ли» в переводе К. Д. Бальмонта.

Стр. 557. *«Фауст»* — опера французского композитора Ш. Гуно (1859).

Стр. 558. *Наша жизнь коротка...* — из студенческой песни 60-х гг. XIX в. «Золотых наших дней...».

Стр. 563. *Мамон свой бережешь...* — Мамон — богатство, пожиток, желудок.

Стр. 579. *...на градуснике, что у генерал-губернатора...* — Имеется в виду дом генерал-губернатора на Тверской улице (ныне здание Моссовета).

Стр. 601. *Дульцинея* Тобосская — персонаж романа Сервантеса «Дон Кихот».

ПРИЛОЖЕНИЕ

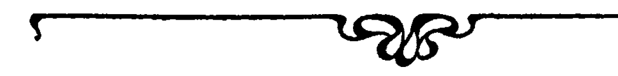
12. Я ГОВОРЮ ИЗ ГРОБА

(Стр. 613)

Впервые — в «Записках отдела рукописей ГБЛ», вып. 47. М., 1988. Печатается по тексту автографа.

Глава «Я говорю из гроба» была исключена Андреевым из окончательной редакции «Рассказа о семи повешенных» и заменена на главу «Их привезли» (с. 106 наст. тома).

А. П. Руднев



СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Иван Иванович 7
Проклятие зверя 17
Рассказ о семи повешенных 48
Мои записки. *Повесть* 113
Сын человеческий 183
Неосторожность 209
День гнева 214

ПЬЕСЫ

Царь Голод. *Представление в пяти картинах с прологом* 229
Дни нашей жизни 295
Черные маски 352
Анатэма 396
Анфиса 471
«Gaudeamus» 540

ПРИЛОЖЕНИЕ

12. Я говорю из гроба *(Глава из черновой редакции «Рассказа о семи повешенных»)* 613

Комментарии 619

Андреев Л. Н.
А 65 Собрание сочинений. В 6-ти т. Т. 3. Рассказы; Пьесы. 1908—1910 / Редкол.: И Андреева, Ю. Верченко, В. Чуваков; Подгот. текста Т. Бедняковой; Коммент. А. Руднева и В. Чувакова.— М.: Худож. лит., 1994. 655 с.
ISBN 5-280-01528-8 (Т. 3)
ISBN 5-280-00978-4

В третий том Собрания сочинений Леонида Андреева включены повести, рассказы и пьесы 1908—1910 гг.: «Рассказ о семи повешенных», «Мои записки», «Сын человеческий», «Царь Голод», «Дни нашей жизни», «Анатэма» и др.

А $\frac{4702010106\text{-}41}{028(01)\text{-}94}$ Подписное

ББК 84 (2 Рос=Рус)1

ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ АНДРЕЕВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ШЕСТИ ТОМАХ

Том третий

Зав. редакцией
С. КНЯЗЕВА

Редакторы
С. ЧУЛКОВ и Н. ЖИЛЬЦОВА

Художественный редактор
Г. МАСЛЯНЕНКО

Технический редактор
Н. КОШЕЛЕВА

Корректоры
Б. ТУМЯН и Т. ФИЛИППОВА

ИБ № 6222

Издат. лицензия ЛР № 010153 от 27 декабря 1991 г.

Подписано к печати 07.06.94. Формат 84×108[1]/32. Бумага тип. № 2. Гарнитура «Тип Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 34,44 + вкл. + + альб. = 35,33. Усл. кр.-отт. 36,64. Уч.-изд. л. 40,11 + вкл. + альб. = = 40,88. Тираж 50 000 экз. Изд. № II-3694. Заказ № 632. «С»-244.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва Б-78, Ново-Басманная, 19

Диапозитивы изготовлены в типографии «Печатный Двор», 197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15

Отпечатано в издательско-полиграфическом предприятии «Правда Севера», 163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, 32